ISSN 0130—6545

3. 1987

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Дальний гром»

На 1-й и 4-й страницах обложки —
«Дочь Маги»
«Полнолуние».

Цветные иллюстрации номера — работы художника Эндрю Уайета (США)

Публицистика

МАРК ГЕРЗОН — Герои, которых мы выбираем. Идеал Мужчины — вчера и сегодня *(Фрагменты книги. Перевод с английского В. Воронина. Вступление Ларисы Васильевой)* 166

БОГУСЛАВ ШНАЙДЕР — Золотой треугольник *(Главы из книги. Перевод с чешского Виктории Каменской)* 179

Отклики, встречи, впечатления

ПАВЕЛ МЕДВЕДОВСКИЙ — Джованни Пирелли — партизан, антифашист, писатель 197

Критика

Из бесед в редакции

Голос автора и проблемы романа *(О некоторых особенностях современной западной прозы. Д. Затонский, Г. Злобин, А. Зверев, В. Лакшин, С. Микоян, Т. Григорьева)* 201

Я. ЗАСУРСКИЙ — Роберт Стоун: человек и писатель 218

Зарубежная литература в СССР 217

Антирубрика

Рассказы финских писателей

КЕРСТИ БЕРГРОТ. ОРИГО. СЕРП. МАРТТИ ЛАРНИ *(Перевод с финского Таиры Джафаровой)* 222

Наши гости

Булаид Дуду и Мулуд Ашур *(Алжир)* — М. Мещерякова 229

Нэлида Пиньон *(Бразилия)* — Е. Мирская 231

Редакцию посетили... 233

К нашим иллюстрациям

М. Соколов — «Американские элегии» Эндрю Уайета 234

Среди книг

Издано в СССР

Б. Гиленсон — Открывая «другую Америку» *(Верю в человека. Голоса демократической Америки)* ✦ И. Дюшен — Нехрестоматийный Флобер *(Гюстав Флобер. О литературе, искусстве, писательском труде)* ✦ Вадим Климовский — Праздник в будни *(Винцент Шикула. Избранное)* 235

Издано за рубежом

С. Шерлаимова — Время разводить сады *(Йозеф Пушкаш. Сад, в пятое время года)* ✦ И. Тогоева — Мятущийся «герой»? *(Чикайя У Там'си. Тараканы. Медузы, или Морская крапива. Ночные бабочки)* ✦ И. Волевич — Возвращаясь к «Дневнику Анны Франк» *(Дневник Анны Франк)* 239

Из месяца в месяц 245

© «Иностранная литература», 1987

ФЕРНАНДО НАМОРА

Река печали

РОМАН

Перевод с португальского ЛИЛИАНЫ БРЕВЕРН

Четырнадцатого ноября 1965 года в Лиссабоне человек ушел рано утром из дома и не вернулся. Не вернулся ни в тот день, ни в последующие. Не увидели этого человека и на работе. Звали его, а может, и зовут (есть люди, которые считают, что дело так и осталось нерасследованным) Родриго дос Сантос Абрантес. Имя и фамилия самые обычные, особенно имя — Родриго, и потому, похоже, ненавистные их обладателю, который, как станет известно позже, намеревался сменить фамилию Абрантес на Масиейра — Родриго Масиейра,— о побуждавших его к тому причинах мы в свое время тоже узнаем.

Стоит, пожалуй, поразмыслить, и даже пофантазировать, вокруг обстоятельств исчезновения этого человека (тем более что сведения, которыми мы располагаем, почти ничего нам не дают). Так вот, предположим, что, после того как прозвенел проклятый будильник и нарушил утреннюю тишину, Родриго, как обычно, позавтракал и выглянул в окно, выходящее во двор, ощутив прохладу, сделал вывод, что необходимо надеть плащ, и стал искать его на вешалке в прихожей — плащ должен висеть здесь (да, именно так он подумал, браня про себя жену за то, что плаща нет на месте, и крикнул ей, чтобы она разыскала плащ в шкафу или там, куда она его запрятала), а услыхав шарканье жениных домашних туфель, проворчал, что вынужден из-за нее задерживаться; поглядев в зеркало, висевшее над подставкой для тростей, резко откинул волосы — откинул скорее в раздражении, чем желая привести в порядок,— и вышел из дома. Каким-то чудом он избежал встречи с инженером, живущим на втором этаже справа, которого всегда бесила необходимость кого-то ждать и который всегда стучал в дверь лифта, требуя поторопиться освободить лифт, предоставить ему, инженеру, все жизненное пространство. Инженер вел себя так, будто здесь все — от привратницы до почтовых ящиков и ночного сторожа — принадлежало ему. Деспотизм его распространялся даже на тех, кто включал достаточно громко свои радиоприемники и телевизоры, принимаясь их настраивать, чтобы послушать хорошую музыку. Ну тип: сплошные претензии. Однако он был владельцем «альфа-ромео» — превосходной машины, которую не забывал каждый вечер укрывать пластиковым чехлом, оберегая от сырости. И когда с утра пораньше все прочие жильцы дома трудились в поте

© Fernando Namora

ФЕРНАНДО НАМОРА — FERNANDO NAMORA (род. в 1919 г.)

Португальский писатель — романист, поэт, публицист. Лауреат нескольких литературных премий. Член Европейской академии наук, искусств и литературы. На русский язык переведены многие его произведения, в том числе романы «Живущие в подполье», «Свет в темной ночи», «Хлеб и плевелы», «Человек в маске», сборник «Рассказы врача», стихи. Роман «Река печали» вышел в Лиссабоне в 1982 г. («O rio triste». Lisboa, Livraria, Bertrand).

лица у своих машин, а машины не трогались с места, он с победным видом и саркастической улыбкой легко и просто приводил «альфа-ромео» в движение.

На улице пасмурно, в небе ни единого просвета. Деревья словно в ознобе ежатся от налетающего ветра. Вдали, будто чего-то ожидая, застыла коричневой полосой река Тежо. Не пройдет и нескольких месяцев, как эта застывшая коричневая полоса скроется из виду: уже торчат бетонные сваи будущего дома, который завладеет последним незастроенным участком на этом холме. И реки видно не будет.

Жену Родриго не поцеловал — должно быть, не поцеловал. И скорее всего не поцеловал бы и в восемь вечера, если бы вернулся к ужину и последним телевизионным новостям. Нет, размолвки между ними не произошло, хотя, задумайся над этим фактом Тереза, она могла бы объяснить холодность мужа желанием указать ей на беспорядок в доме и отсутствие вещей там, где они должны быть, когда в них есть необходимость. Да, но если бы Родриго сам отличался пристрастием к порядку! А ведь ничего подобного, я в этом убедился лично. Порядка нет даже в его бумагах. Да и Тереза о размолвке не говорила, нет, не говорила. А поцелуй, входивший в семейный ритуал, последнее время был (как, впрочем, и многое другое) явлением редким. Сегодня поцелуй забыт, завтра вспоминать то, что забыто вчера, поздно, да и ни к чему. Привычки в большинстве своем появляются и исчезают сами собой или изживаются. Да и поцелуй ли — холодное прикосновение губ к щеке?

Окутанная выхлопными газами машина инженера из квартиры на втором этаже справа, проехав всего несколько метров, уже делала поворот, нагло пересекая сплошную линию разметки. Как же, будет он гнать машину чуть ли не в конец проспекта только ради того, чтобы развернуться: бывают правила, которые досаждают людям. К тому же у инженера не что-нибудь, а «альфа-ромео», и с кожаной обивкой. Да, Родриго, конечно, знал, что Тереза обиделась. В обиде на него и дочь. А кто виноват? Сесилия ведь даже перед сном, идя к себе в комнату, не находила для них ни ласкового слова, ни улыбки, да и обычное «до завтра», роняемое ею в коридоре, похоже, казалось ей лишним. Дверь ее комнаты тихонько прикрывалась, сразу же включался проигрыватель, и табачный дым начинал расползаться по всему дому. «Сесилия, ну хотя бы поцелуй, неужели так трудно быть ласковой?» Виноват, без сомнения, сам Родриго — он подал дурной пример. Это его замкнутый характер, Тереза права. К тому же в проявлении чувств он, как видно, усматривал некую театральность и испытывал неловкость и неуверенность, свойственные статисту. А может, это и не совсем так? Выказывал же Родриго свои чувства и, как правило, людям, которые того не заслуживали. Должно быть, именно потому, Тереза, именно потому, что не заслуживали. Такой уж он человек. Да и кто не поступает вопреки здравому смыслу? А вот черствость Сесилии — это посерьезнее. «Альфа-ромео», черт бы ее побрал, мелькнула и исчезла.

С этими мыслями (мозг ведь никогда не отдыхает, он все время работает) Родриго шел и вдруг метрах в ста увидел автобус, свой автобус, который должен был к определенному часу доставить его к месту службы, и ему показалось, что автобус переполнен: кондуктора окружали пассажиры — значит, не так-то просто будет сесть. Автобус переполнен или будет переполнен, как только дверь откроется на следующей остановке по ту сторону проспекта, чуть ниже, прямо напротив snack [1], где жарят цыплят на углях. Очередь образовалась мгновенно и тут же взяла в кольцо газетный киоск. Обычное дело. Инженер, тот что живет на втором этаже справа, вполне мог бы подбросить его на своей «альфа-ромео» хотя бы до улицы Чили. Как же,

---

[1] Закусочная *(англ.)*.

жди от него! Всего три недели назад, когда шел проливной дождь, такой, что не добежишь до подъезда, чтобы в нем укрыться, и то он этого не сделал. Родриго вымок до нитки, и инженер видел это. Но прикинулся, что не видел. В часы пик, будь то утром или вечером, всегда одно и то же, хоть возмущайся, хоть не возмущайся. Ничего не оставалось, как ускорить шаг и рассчитывать на худшее. Лавируя между двумя потоками ураганом несущихся автомобилей и моля всех святых, чтобы большинству стоявших в очереди был нужен другой автобус — девятнадцатый номер или двадцать шестой, что шли в фабричные кварталы,— он быстро пересек проспект и, прыгая на тротуар, чуть было не потерял равновесие из-за ожидавшей автобуса старухи: она испугалась спешащего неловкого человека и толкнула его. В этот самый момент шофер автобуса открыл переднюю дверь, сошли два пассажира. Все равно что ни одного. Дверь тут же стали брать штурмом стоящие в очереди люди — каждый претендовал на освободившееся место. Кондуктор разрешил войти четверым, пересчитывая их, как пастух овец, и дал сигнал к отправлению, шофер включил скорость, и, скрипя, точно немазаная телега, автобус двинулся с места.

Все, этот автобус Родриго упустил. И если в ближайшие пять минут чудом не появится другой, идущий в нужном ему направлении, он приедет на службу с опозданием. А опоздание повлечет за собой вызов к внутреннему телефону, телефон зазвонит тут же, сразу, не дав прийти в себя после дикого воя сирены, похожего на рев издыхающего зверя, который замолчит точно, секунда в секунду, когда все служащие, независимо от их положения, должны быть на своих рабочих местах. Чтобы его не слышать, Родриго затыкал уши, и все же, до тех пор пока не смолкала сирена, его била внутренняя дрожь. Он ничего не мог с собой поделать: это было выше его сил. Родриго считался дисциплинированным сотрудником, да и директор («патрон») приглашал его к себе в кабинет только спустя какое-то время после начала рабочего дня, но стоило Родриго задержаться хоть на минуту, телефон тотчас разражался дикими звонками. Казалось, наступал конец света, и существование конторы, фабрики да и всего города зависело от того, сидит или не сидит Родриго Абрантес за письменным столом. «Мануэла, где этот сеньор, почему он не берет трубку?» — «Сеньор Перейра, он должен быть с минуту на минуту»,— спокойно, без волнения, но и малоубедительно оправдывала Родриго невозмутимо-серьезная секретарь-телефонистка. Бедняжка Мануэла, ей тоже приходилось выслушивать всякую чушь, и она не всегда имела возможность, когда того требовала природа, сбегать в уборную. «Как только он появится, тут же сообщите. Пусть поднимется ко мне, я хочу его видеть». И едва Родриго успевал вытереть ноги о широкий половик у лестницы (предписание директора, манкировать которым не было дозволено никому: у дверей стоял служащий низшего ранга, осуществлявший надзор за неукоснительным соблюдением сего предписания), секретарь-телефонистка слово в слово повторяла сказанное патроном, поглядывая на Родриго, но делая вид, что занята полировкой ногтей.

Чтобы не терять времени, Родриго, не позволял себе даже заглянуть во вчерашние бумаги, машинально поправлял галстук, принимал подобострастный вид, направлялся к кабинету директора и нажимал на звонок. В ответ рядом с дверью вспыхивал красный или зеленый свет. И по тому, насколько быстро он вспыхивал, можно было судить о настроении директора, или «патрона». «Где это вы изволили гулять, сеньор Абрантес?» Узел гластука Родриго полз в сторону. «Я не гулял, сеньор директор. Автобус...» Когда патрон был не в духе, он обращался к Родриго не иначе как «сеньор». Потом разражалась гроза. Шея патрона краснела и напрягалась — пожалуй, не было такого размера воротничка, который в тот момент сошелся бы на ней,— и казалось,

вот-вот лопнет. Наконец, не в силах вымолвить ни слова — слова застревали в горле, а грудь раздувалась, как кузнечные мехи,— патрон указывал Родриго на дверь. Минут пять спустя он звал Родриго снова, но вел себя так, будто видит его сегодня впервые. Натянутая, сдержанная вежливость. Однако разговор мог кончиться и совсем неожиданно, скажем так: «А как успехи в учебе у вашей дочери?»

Что-нибудь в этом духе произойдет, произойдет обязательно, если в ближайшие минуты не появится автобус. А он, подлый, не появлялся. Надо заметить, что этот автобус прямо до фабрики не шел. На площади Чили Родриго должен был пересаживаться. Вот на эти ожидания и пересадки подчас уходило столько времени, что Родриго и опаздывал на службу. А что делать? Запастись терпением, больше ничего. Очередь, это многошеее живое существо, все время проявляющее беспокойство, росла с каждой минутой. Замерзли уши — Родриго поднял воротник, запахнул габардиновый плащ и вдруг, подняв глаза на окна своей квартиры, заметил Терезу, которая, убедившись, что поблизости нет блюстителей порядка, вытряхивала скатерть в открытое окно. Родриго был уверен, что и она увидела его, ему даже показалось, несмотря на расстояние, что лицо ее выражало досаду из-за того, что он все еще не сел в автобус. Надо же, а он с ней не простился, как это принято у них в семье,— нехорошо. Что стоит быть внимательным и вежливым! Да, холодная и независимая Сесилия в него, не иначе. Жена продолжала стоять у окна. Следила за ним? Ждала, чтобы увидеть, как он сядет в следующий автобус? Вчера вечером он ведь тоже не сказал ей ни одного ласкового слова, когда поворачивался на бок, чтобы заснуть. И она с укоризной в голосе пожелала ему «спокойной ночи», в ответ он, почувствовав неловкость, буркнул что-то невразумительное. Это все моя забывчивость, Тереза, ты же хорошо знаешь, что я рассеян; ничего такого, что бы меня рассердило, не было. Она все еще стояла у окна, хотя уже вытряхнула скатерть. Родриго помахал ей рукой. Потом помахал еще и еще раз, несмотря на то, что стоящие в очереди стали на него оборачиваться, и махал до тех пор, пока жена не заметила и, обрадовавшись, не помахала в ответ. Взгляды их встретились,— а может, ему показалось, что встретились? — и тут же потеряли друг друга. Когда же подошел следующий автобус, словно его вытолкнули с перекрестка светофоры, жена все еще стояла у окна и глядела на убывающую очередь, потом скрылась в комнате. Загрустив, Тереза принялась за уборку, но была рассеянна и невнимательна. Вышла в коридор еще раз позвать к завтраку дочь, которая, по обыкновению забыв обо всем на свете, заперлась в ванной комнате.

— Сесилия, кофе на столе. Поторопись.

Оскорбительное молчание. «В чем дело, Сесилия?» Потом снисходительное: «Сейчас иду». На кухне шумит стиральная машина: она неисправна, но за вызов механика надо платить большие деньги; Родриго вот уже два месяца обещает попросить какого-нибудь рабочего с предприятия, на котором служит, чтобы тот пришел и починил машину, но до сих пор не попросил.

Кофе стынет, и зачем она его налила? Сесилия тоже становится рассеянной, и Тереза заранее чувствует себя усталой от всего, что ждет ее в предстоящий день, даже если он закончится как все прочие.

Однако этот день будет особенным. Муж домой не вернется. Тереза видела его из окна в последний раз.

Трудно сказать, что я чувствую, спускаясь по ступеням старого дома, в котором живет Фария Гомес. Скорее всего дверь этого дома закрылась за мной сегодня в последний раз. Я почти уверен, что не вернусь сюда или вернусь, когда все будет кончено. Фарию Гомеса я видел только что, но, спускаясь по лестнице его дома, думаю о нем как о герое истории, которая уже завершилась. И все же, хотя у меня нет

оснований полагать, будто он умирает, абсурдность, зловещая абсурдность происходящего меня пугает. (И над этим надо тоже поразмыслить, Фария Гомес — это личность, сердце того Лиссабона, которому нужен летописец. Кто знает, может, герой моего будущего романа уже найден?) Мне внушает подозрение обтянутое кожей лицо Фарии Гомеса, его нервные руки, теперь от слабости покоящиеся на простынях, пахнущих болезнью (воспаление легких? туберкулез?), которая заставляет его смириться с заботливостью друзей. Боюсь, что он в западне. А ведь Фария Гомес из тех, кто умирают стоя, в пустыне, подставив грудь клюву коршуна или палящему солнцу. Блистательная агония — и без зрителей. Мне как-то не по себе оттого, что он с такой готовностью принимает утешения обеспокоенных друзей, новейшие лекарства, принесенные Невесом, заботу своей гейши Биа, которая, глотая слезы, пичкает его молитвами вместе с горячим бульоном. Нет, это не Фария Гомес, это кто-то другой, настоящий Фария Гомес уже не существует.

Между тем абсурдно не только поведение Фарии, он, без сомнения, личность, и я должен изложить по порядку некоторые подробности его биографии. Абсурдно все: болезнь — следствие голода, она пришла, чтобы довести до конца начатое голодом черное дело. Необычная предупредительность Невеса. Меня, например, Невес просто напугал. Пусть бы он пришел к Фарии Гомесу и, застав того прикованным к постели, наслаждался своими собственными разглагольствованиями, это куда ни шло. Но Невес-то — я сразу это заметил — молчит, не вступая в спор, не наскакивает, как бойцовый петух. Иногда он все-таки поднимает палец, тот самый палец, которым обычно пригвождает жертву к стене, прежде чем обезглавить ее серпом аргументов, но сидит на месте, обеспокоенный признаками неизбежного конца. Я заметил, что он промолчал не менее четверти часа и все это время внимательно-нежно глядел на Гомеса. И его молчание, и эта его сдержанность предвещают беду. Ни то ни другое Невесу не свойственно. Похоже, жизнь Фарии Гомеса действительно в опасности.

Думаю, что и сам больной обратил внимание на поведение Невеса, в особенности на его частые визиты и необъяснимую ласковость — все это неспроста и очень меня смущает; вот если бы Фария Гомес не боялся ни пневмококков, ни стервятников, ни одинокой смерти и отринул бы тяжкую и мрачную солидарность Невеса, даже восстал бы против нее: выбросил за окно лекарства, выставил пинком (фигурально, конечно) Биа и продолжал бы выплевывать куски легких до тех пор, пока не отдал концы,— тогда это был бы тот самый Фария Гомес, о котором я хочу написать повесть, а возможно роман, и даже придумал хлесткое название, которое мне кажется подходящим,— «Принц». Пусть нищий, но сеньор. Нищета сопутствовала ему всю жизнь, начиная с беспризорного детства; он не знал ни отца, ни матери — мать умерла, производя его на свет, хотя здесь уместнее слово тьма,— а знал одну-единственную глупую и слепую тетку, которая не могла даже избавить от вшей его детскую голову. Однако, возвратясь в родные края уже взрослым мужчиной, он, выйдя из вагона первого класса и сев в машину, дал чаевые тому, кто доставил его с вокзала в поселок,— об этом и сегодня вспоминают завсегдатаи таверн. И хотя сейчас трудно себе представить ситуацию иной, но уже ничто в нем не напоминает мне моего «принца»: подумать только, Фарию Гомеса трогают крохи обращенной к нему нежности, он подбирает их как изголодавшийся пес. А может быть, именно теперь он настоящий? Не знаю, но я должен все осмыслить и переварить. Фария, Фария Гомес с недоверчивым, мрачным взглядом для меня до конца останется загадкой. Или он всегда был только несчастным бедняком? Кто он — загнанный волк? Любопытнее всего то, что именно в данный момент, глядя на окна комнаты Фарии Гомеса (их два, они очень узкие, похо-

жие на щели), я испытываю потребность разобраться в его натуре. Мой будущий персонаж прежде всего должен быть ясен мне самому.

В полицейских романах опытные детективы, расследуя дело, неоднократно возвращаются на место преступления и по крупицам воспроизводят образ преступника. Puzzle [1] побуждает. Нечто похожее происходит и при создании некоторых романов. В случае с Фарией Гомесом «местом преступления» я избираю кафе. Поэтому я иду вниз по тем самым улицам, по которым ходил он ежедневно с наступлением вечера (его утренний час), в центр города и вхожу в кафе под арками. Вот стол, за которым он сиживал. За соседними столами — статисты его жизненной комедии или драмы. Не приветствуя ни одного из них, а высоко подняв голову — так делал он, Фария Гомес,— я прохожу вперед, сажусь за его стол, заказываю кофе по-бразильски и покупаю газету. По обыкновению, это «Трибуна», я читаю ее, чтобы сделать приятное Феррейринье — он работает в ней репортером; его кое-кто недолюбливает, заподозрив в нем кандидата в «эрудиты», особенно после того, как Феррейринья отпустил интеллектуальную бородку.

Чтение газеты для Фарии Гомеса всегда было торжественным и прочувствованным ритуалом. Кафе — это храм, вечерняя газета — требник. Не хватает только облачения священника. Встряхнув газету, я широко ее разворачиваю и все так же в подражание Фарии Гомесу, особенно копируя его настороженную серьезность, читаю все сообщения подряд. Газета служит ширмой между мной и теми, кто присутствует в кафе. Я отгораживаюсь ею от любопытных взглядов, важно закидываю ногу на ногу, хотя прекрасно знаю, что долго так не просижу: у меня расширение вен. У Фарии Гомеса ничего такого не было. Между тем я только что был свидетелем страданий Фарии, подавленного правдой — или ложью — Невеса, успокоенного ласками Бии — женщины, которая спит на стеганой подстилке у кровати своего хозяина.

В кафе уже знают о его болезни (это болтливость Феррейриньи, у того нет секретов, в которые не был бы посвящен весь Лиссабон), хотя обычно никто из завсегдатаев не обращает внимания на временное отсутствие (пусть это будет день-два или несколько месяцев) кого-либо из постоянных членов здешней литературной братии. Наше наигранное поведение в кафе, где каждый кого-то из себя изображает, скажем литератора (так ли это?),— одно, а наши друзья, с которыми мы здесь запросто встречаемся, и наша профессия: адвокатура или служба в государственных учреждениях (большинство из нас простые чиновники) — другое. Мы как бы живем двойной жизнью, и подмостки второй жизни — столики в кафе. Время от времени я поглядываю и на собирающихся здесь торговцев, врачей, инженеров и прочих — в кафе все имеют свою строго определенную территорию. Их поведение (они смеются здоровым, искренним смехом, непринужденно беседуют) не имеет ничего общего с характерной для нас яростной жаждой быть причастным ко всему, что происходит в жизни. Не говорит ли это об ущербности моих собратьев? Казалось бы, мелочь, но мелочь, на которую я должен обратить внимание, если вдруг решусь писать роман именно на эту тему.

Я складываю газету, размешиваю сахар, осевший на дно чашки. Алсиндо из-под полуопущенных век сверлит меня взглядом, тянется ко мне носом, крупным носом священнослужителя, любящего выпить, точно старается учуять запах болезни Фарии Гомеса, исходящий от моей одежды.

— Бедняга, бедняга... так внезапно?

И замирает в задумчивости, словно сочиняет эпитафию. Алсиндо — мастер некрологов. Каждый умерший писатель имеет право на

---

[1] Головоломка, загадка *(англ.)*.

две колонки (престиж Алсиндо дозволяет это) волнующих душу воспоминаний, которые в некотором роде мстят читателю за его безразличие к живым, ведь большинство, прочтя какое-нибудь нашумевшее произведение уже умершего автора, спрашивают: да когда же он жил-то? К тому же литературные «прости» Алсиндо прочувствованны — этого отрицать не станет никто, и прочувствованны потому, что он сам хоть и несостоявшийся писатель, но все-таки написал биографию Рильке, правда, с большим трудом и тощую. А еще и потому, что в этих его «прости» сквозит протест живого против смерти и мольба о помощи. Алсиндо — медлительный толстяк (в широких мятых брюках без складок), он завладел некой «жемчужиной» (такой юной, что она вполне могла бы приходиться ему дочерью) и теперь хочет пожить подольше. А всякий умирающий напоминает ему и о его часе, который тоже не за горами. Вот он и измеряет себе каждую неделю давление.

— Сколько ему было лет?

— Было? Да Фария Гомес еще живее нас. Даже больной, он способен переспать подряд с тремя женщинами и наградить их целым выводком детей. Он никогда не нуждался в гормональном лечении.

Так ответил Феррейринья, соперник Алсиндо, а лучше сказать, его ярый противник в газете «Трибуна». Многие подозревают, что Феррейринья так и не поднялся выше репортера — попросту затычки ко всякой бочке — только потому, что Алсиндо не давал ему этой возможности. В редакции, осином гнезде, как ее называли, Алсиндо действительно фигура.

— Это намек?

Естественно, и злой. Ведь Алсиндо, с тех пор как нашел молодую девицу и снял для нее квартиру, обивает пороги врачебных кабинетов в надежде восстановить утраченную мужскую силу. Однако я считаю, что, сказав это, Феррейринья проявил излишнюю жестокость. Подобные намеки не в его правилах. К тому же здесь, в кафе, он числится среди менее ядовитых и, когда нападает, объясняется мимикой и жестами, правда, скорее потому, что, обозлившись, теряет дар речи и начинает заикаться.

— Это намек? — повторяет вопрос Алсиндо, мертвенно побледнев и приглаживая аристократическими, но уже старческими руками остатки уцелевших на висках седых волос. Потом устремляет взгляд куда-то вдаль, поскольку теперь, после сказанного Феррейриньей, я его уже не интересую.

Откладываю в сторону газету и вытягиваю начавшие затекать ноги. Рассеянный Кастел-Бранко (лишь с виду рассеянный, это известно всем) покусывает сигару и, снизойдя с высоты своего самодовольства, обращается ко мне:

— Так как он?

— Не знаю. Но его худоба пугает. Ты не идешь к нему?

— Боюсь, не хватит мужества.

Разумеется, не хватит, на этот раз он не притворяется. Знать бы, что́ выражают глубокие морщины в уголках его рта: сострадание или отвращение? Физическое страдание, которое он именует деградацией, оскорбляет его. А между тем Кастел-Бранко никогда не занимался гимнастикой и всегда похвалялся своими хилыми руками (мозги-то, мол, у него не хилые) и рано поседевшими волосами — пасма пряжи, со временем приобретшая серый цвет и готовая размотаться и упасть на изборожденный морщинами лоб,— все как у Фолкнера, его кумира. Он даже ежедневно стал пропускать стаканчик-другой, чтобы добиться большего сходства. Однако болезнь вызывает у него отвращение, этого он не скрывает. У Кастел-Бранко (я хорошо знаю) есть свой эталон мужественности, достичь которого он стремится, а вот подлая природа ему в этом отказывает. В кафе поговаривают, что он импотент, и я этому верю. С того дня, когда Кастел-Бранко, возмож-

но мстя своей экономке, с которой он, старый холостяк, жил и которая прогнала сладострастника из постели за неверность (проститутки — его слабость), отказался от ее услуг, всем стало ясно, что дела его пойдут еще хуже. Так и случилось. Ведь нет средства вернуть мужскую силу. И теперь он только злится на тех, кто еще способен быть мужчиной. И сводит счеты в своих «Апологетических заметках», публикуемых (по понедельникам) на полосах еженедельника «Трибуна», где не упускает малейшей возможности очернить соперников по перу. У Кастел-Бранко душа сотрудника ПИДЕ[1]. Он родился, чтобы стать им. И это доказано. Все, что могут уловить его «антенны», а особенно то, что не соответствует истине, и все, что он может переиначить в свою пользу, он заносит в обвинительный реестр, который вызывает зависть у самых усердных шпиков. Подвал с «Апологетическими заметками» имеет успех, и когда он идет, газета увеличивает тираж.

Кастел-Бранко — мой однокашник по Коимбре[2], это было так давно, еще в героические времена нашего поколения. Как сейчас вижу его в позеленевшей от старости студенческой тужурке, уже тогда, будучи студентом, он славился свой скупостью и опытностью в рукоблудии, причем в скором времени совсем закоснел в этой склонности. А началось все после того, как одна его любовница, неизвестно откуда взявшаяся «залетная птичка», сбежала от него к некоему субъекту по прозвищу «гроза девственниц», который доводил женщин до такого состояния, что их срочно увозили в больницу. Думаю, что эти fait-divers[3], да и темперамент Кастел-Бранко объясняют его творчество. Да, Коимбра — это не только наше прошлое, но и наше настоящее. И когда мы оглядываемся назад, то понимаем, что сбились с пути, а может и погибли, и смотрим друг на друга подозрительно, точно боимся узнать, кто же из нас предатель.

Однако я слишком спешу с выводами. Возможно, совсем не fait-divers были решающими, и это всего лишь мои домыслы. И если бы читатель этих строк сам прошел Коимбру, он бы меня понял. Ведь чем была Коимбра для нас, только что вылупившихся птенцов, познававших жизнь с ее неприглядной стороны. Чем-то вроде купели, но с кипящей водой, в которой мы, освободившись от родительской опеки, получали крещение. Простодушные, трусливые, избалованные, мы получали это крещение у проходимцев, из всего извлекавших выгоду. А потому наше погружение в купель было стремительным и безжалостным, нас просто топили.

Так вот, это посвящение в жизнь происходило не только в стенах Коимбры, но и в доме терпимости, именуемом «семейным учебным заведением». Я его тоже окончил. Назвав его «семейным», я не оговорился. Мы посещали с большим или меньшим прилежанием «коллежи» Олиндиньи или Элизабет (самые престижные хозяйки, в их распоряжении всегда имелся товар первого класса), не всегда по требованию плоти, которую, кстати сказать, в юности успокоить куда труднее, чем в зрелые годы, а чтобы чувствовать себя в атмосфере общения, приветливости, веселости, освященной женским присутствием. Посещали развлечения ради. В зале имелась длинная софа с потертой зеленой обивкой, над которой висело огромное, во всю стену зеркало, несколько рядов стульев сомнительной прочности, поскольку, когда затевались драки, их пускали в ход: ими защищались и даже арканили врага, а к вечеру, особенно в ночное время, им находили иное применение. Слова «Девочки, в зал!» служили сигналом к бою, и девочки тотчас выходили к нам, поправляя прически. Между тем начало церемонии часто затягивалось, и нас одолевала зевота, хотя де-

---

[1] Политическая полиция (охранка), учрежденная диктатурой Салазара.

[2] Старинный университетский город, где находится Коимбрский университет, называемый просто Коимбра.

[3] Происшествия *(франц.)*.

вицы рассаживались в соблазнительных позах (возможно, не всегда удачно), причем у одной была задрана юбка, у другой спущена, у той расстегнут лиф, а у этой протянута рука — вроде бы случайно — в поисках ответного пожатия, а та глядит сладострастно, суля высшее наслаждение. Потом от скуки они брались за вязание или разглядывали иллюстрированный журнал, который лежал на этажерке, но и тут ни один из клиентов (многие из которых отличались робостью и нерешительностью) не отваживался сделать условный знак, по которому одна из девиц поднималась, не теряя больше времени даром, брала кандидата за руку, если тот заслуживал подобной фамильярности, и парочка под сообщнические взгляды поднималась вверх по ступеням, ведущим в спальни, обычно все одинаковые: полуторная кровать, маленькое биде, ночной горшок, иногда и комод, уставленный разными флаконами. Знаком мог быть легкий наклон головы, чуть заметное движение пальца — словом, всякие тонкости, язык которых, как и на аукционах, хорошо понимают только обращенные в данную веру,— а то и прямое предложение доставить удовольствие за установленную твердую цену. Чаще всего мы шли к Олиндинье (она уже была на пенсии) и смотрели, как она самовлюбленно глядится в зеркало, оправленное в резную раму. «Сегодня, сынок, я как будто в дурмане»,— а потом нас приглашали на ужин на четвертый этаж, для «влюбленных» ужин заканчивался постелью на всю ночь, остальные писали письма для неграмотных проституток или просто изливали души. Мы шли к Олиндинье или Элизабет, чтобы (да простят мне мою ересь) почувствовать себя в семейном кругу, пансионы и студенческие общежития никогда не могли создать даже видимости чего-либо подобного: семейного круга без женщин не бывает.

Время от времени в этих «семейных учебных заведениях», посещение которых стало для нас обычным делом, как обычными для нас стали грубость и чрезмерная чувствительность, уживавшиеся в них рядом, вспыхивали страсти. Это случалось и с девицами, содержащимися как в зоопарке, и с нами — мы были в том возрасте, когда открываешь мир со всей пылкостью и азартом. Робкий и мрачный Кастел-Бранко, все время преследуемый неудачами, позже сказавшимися на его мстительном характере, был одним из тех, кто частенько наведывался к Олиндинье, но не потому, что горел желанием принять участие в вечеринке, а из-за пылкой страсти к Ауроре Зоролье. У Ауроры он был не единственным, однако очень скоро все мы стали смотреть на него как на ее постоянного «сожителя», и хотя причина оного нас волновала мало, нам казалось странным, что косоглазая (может, именно поэтому и более привлекательная) и пышнотелая девка с Террейро-да-Эрва отдает предпочтение этому зазнайке, неспособному ни поддержать разговор, ни затеять драку, ни прижать к себе в танго женщину, ни, как считали мы, предложить ей лечь с ним в постель. Между тем он все же был ее постоянным сожителем. А со временем просто поселился у Олиндиньи. После лекций его можно было найти только там. Там он сидел часами, сидел молчаливый, тихий, с замутненным злостью взором, но твердый в своих намерениях. Ну совсем как дурачок Никитас, который, только ради того чтобы находиться возле девок, был у них на побегушках. Кастел-Бранко ждал, тихонько сидя в уголке, ждал, когда наконец схлынет клиентура и Олиндинья освободит Аурору от ее профессиональных обязанностей Над ним потешались все. А кое-кто из студентов даже издевался, бросая ему в лицо мерзкие намеки, вроде «а вот и наш лизунчик» и разные прочие. В то время и распутство подчинялось принятым уставам, а Кастел-Бранко эти уставы нарушал.

Так вот, был один студенческий клан, который возглавляли два известных головореза, именуемых Come on Brothers! [1] (на португаль-

[1] Нападай, братцы! *(англ.)*

ский лад это произносилось как «Камонес»), они-то и задавали тон на португальском студенческом «диком Западе». Эти Камонес были и шерифами и ковбоями одновременно. Удар кулака любого из них валил на землю того, кто попадал им под горячую руку, а потому, едва они появлялись, Никитаса словно ветром сдувало. Надо сказать, этих парней остерегалась даже полиция, которую они не раз ставили в смешное положение. Лучше было от них держаться подальше. И излишне говорить, что случайные посетители заведения Олиндиньи тут же, как только эти двое заглядывали на Террейро-да-Эрва, покидали его, дабы избежать неприятностей.

Но Кастел-Бранко оставался на посту. Однако и его голгофа была не бесконечна. Всему приходит конец. Благосклонность Ауроры скоро сменилась отвращением, отвращение — презрением, а презрение — умышленным издевательством. Какое-то время она выжидала, чтобы кто-нибудь из клиентов взял ее, а покончив со своими обязанностями, делала своему воздыхателю знак, властный, как у дрессировщика, явно желая, чтобы Кастел-Бранко побарахтался в той грязи, что оставили в ее теле другие, и чтобы все прочие клиенты знали это. Кастел-Бранко стал в Коимбре притчей во языцех.

Так продолжалось до того самого дня, когда Аурора Зоролья, теперь уже в присутствии братьев Камонес, один из которых тут же бросил: «Пошел подлизывать за другими», в очередной раз повторила позорящее Кастел-Бранко приглашение.

Кастел-Бранко, казалось, не обратил внимания на сказанное, разве только чересчур побледнел. Но спустя минут десять из комнаты Ауроры Зоролья донесся пронзительный крик. Острой маникюрной пилкой Кастел-Бранко располосовал ей живот. Рана была неглубокой, но крови — ужас сколько, все перепугались.

Когда взломали дверь и проникли в комнату, Кастел-Бранко был в состоянии шока: глаза стеклянные, в руках острая пилка. Камонес увели его под руки, он не сопротивлялся — надо было замять дело. Оскорбление Кастел-Бранко смыл кровью, а Олиндинья сумела утихомирить своих подопечных.

Однако позже Кастел-Бранко этот случай кое-кому припомнил и кое-кого упрятал в тюрьму. Очень может быть, что я еще вернусь к этой теме. Во всяком случае, стоит отметить, что Кастел-Бранко и по сю пору любит держать в руках острые металлические предметы, берет, машинально вертит их, окружающих это тревожит, а иногда и просто пугает.

Но оставим это. Я ведь пришел в кафе, чтобы обнаружить следы Фарии Гомеса, и, глядя на Кастел-Бранко, для которого мир — остров (ОН САМ), окруженный со всех сторон пустотой, не нахожу их. Обнаружу ли я хоть что-нибудь, глядя на Алсиндо или Феррейринью, явно насторожившегося, как настораживается притаившийся охотник? Вряд ли. Сегодня в кафе ничто решительно не говорит мне о Фарии. Мы не чувствуем его присутствия, того присутствия, которое ощутимо даже тогда, когда человек покинул свое место на какое-то время, но оставил на стуле платок или книгу, а то и просто теплоту своего тела, и скоро вернется. Мы остро ощущаем его отсутствие. А это нечто качественно иное, впрочем, тоже о многом говорящее. Именно. И в конце концов то, что отсутствие Фарии Гомеса мы ощущаем, побуждает меня к действию: я могу вызвать в памяти его образ, воссоздать его по мелочам, наконец, выдумать. Он мой «принц». И я начинаю связывать отдельные воспоминания, жить атмосферой, которую навевают эти воспоминания, задерживая внимание буквально на всем, к чему в свое время был равнодушен...

Здесь, в кафе «Мартиньо», мы познакомились, хотя суровый Фария Гомес был мне близок давно: я читал его деревенские рассказы.

дышащие чертополохом, развороченной плугом землей и крестьянским потом. Вот тогда-то он и загадал мне загадку: за внешне грубоватым, четким повествованием чувствовалась сентиментальность, и все это критики пытались определить как «грубую лирику» в духе Фиальо [1]. Возможно, что так оно и есть. Однако это определение меня лично не удовлетворяло. Как бы то ни было, но в его прозе сквозила доверчивость, беззащитность и даже свойственная автору одержимость, нисколько не напоминающая стиль «философских» упражнений Кастел-Бранко, мнившего себя пупом земли.

Фария Гомес, как я и представлял его себе, был худ. Впрочем, все знали, что он голодал. Голодал в буквальном смысле слова. И теперь я мог удостовериться, как правдивы были фотографии, на которых он походил на обнаруженного в пещере отшельника: сведенные брови, глаза мечут молнии. Выражение его лица все время менялось. Длинные ногти, желтые от табака, были загнуты, как у китайского мандарина.

На мою попытку ему представиться он что-то проворчал и тут же погрузился в чтение газеты, а когда мы выходили из кафе, он, проглатывая слоги, а то и целые слова (теперь я вижу, Феррейра подражает его манере разговаривать), избегая смотреть мне в лицо, сказал:

— От вас несет провинцией. Но я люблю провинцию.

Я почувствовал себя пристыженным за грубые сапоги и блузу и мое желание выставить напоказ свою провинциальность — тогда мне это казалось особым шиком. Фария Гомес тут же все понял и выстрелил по мне прямой наводкой. Я ему ответил, когда нас уже никто не мог услышать:

— Если вы имеете в виду мою одежду, то я так одевался всегда.

Он зашагал еще медленнее, но так же размеренно и с особым вниманием взглянул мне в лицо.

— При чем тут ваша одежда! Какое мне дело до того, как вы одеваетесь. Меня интересуете вы и то, что вы несете в литературу из своих родных мест. Лично для меня нет ничего приятнее, чем запах земли, на которой я родился. Запах, а не люди, заметьте. Я люблю запах мочи, навоза, скота. Я не знаю, пожалуй, более характерного запаха, чем запах мочи. Вас это удивляет?

— Почему же вы совсем не бываете в родных краях?

— Я не из тех, кто возвращается куда бы то ни было.

И мы двинулись в сторону Шиадо[2] — «резервации» нашего писательского племени. Тут мои воспоминания прерывает Феррейринья:

— Вы уже видели фильм Озорио? Потрясающий!

Кастел-Бранко округляет рот, он становится похож на куриную гузку, морщит лоб, закладывает большой палец в вырез жилета (Фолкнер носил жилет) и актерски поставленным голосом вопрошает:

— И где же этот «потрясающий» показывают?

Сейчас Феррейринья начнет заикаться.

А Кастел-Бранко пустится в сногсшибательные разглагольствования. Любую похвалу в чужой адрес, даже если она никак не ущемляет его интересов и не затрагивает запретную зону — зону литературы, он воспринимает как личное оскорбление. В такой бедной стране, как Португалия, талант, по его мнению, не может быть достоянием многих, это было бы расточительством. И без сомнения, справедливее, когда он сосредоточен в одном человеке, а именно — в нем. Впрочем, это его кредо вполне недвусмысленно выражается в его «Апологетических заметках» (не скрывается ли за этим названием оскорбительная и злая ирония?), а потому Фария Гомес, когда заметки Кастел-

[1] Жозе Валентин Фиальо де Алмейда (1857—1911) — известный португальский писатель.

[2] Район Лиссабона, изобилующий кафе и ресторанами, в которых собираются артисты, писатели, художники.

Бранко довели до белого каления наш литературный солярий, сказал ему:

—Вы, верно, мните себя Хорхе Луисом Борхесом[1], так вот, не приходилось ли вам читать следующие его строки: «Нет ничего более глупого для художника, чем считать себя гением?» Примерно так.

— Кому адресована ваша шпилька?

— Да просто к слову пришлось.

Так вот, пройдет время, Фарию Гомеса забудут. А может, уже забыли. Сегодня мне не хочется принимать участие в словесном турнире, опять затеянном Кастел-Бранко. Уйду-ка отсюда, может, до ужина успею написать страницу-другую. Правда, сюжет все еще никак не вытанцовывается. Писать я принимаюсь почти с яростью, но при виде полудюжины написанных слов чувствую, что жую жвачку. Допустить еще один провал я не могу. Образ Фарии Гомеса мог бы быть неплохим отправным пунктом, вся атмосфера мне хорошо знакома, она во мне: война в Африке, разложение, недовольство, отчаявшаяся молодежь; я чувствую, как разъедают мою душу тяжкие думы о будущем, чувствую беспочвенность ожидания: мы словно на железнодорожном вокзале, но не знаем, ни когда придет поезд, ни куда он направится,— все это во мне, страна неверия, массового исхода, усталости, она похожа на пороховую бочку, осталось только поджечь фитиль. Я должен действовать, должен писать. Но что? Что подтолкнет меня к тому, чтобы я наконец начал писать? Возможно, Фария Гомес, нет, не он сам, я это понимаю, а та среда, в которой он варится и которая приведет его к пропасти. Хуже, что и в этом я не уверен, вполне возможно, что я вновь принимаю облако за Юнону. А что, если бы у меня хватило смелости вообще бросить писать, хотя это все равно что смотреть со стороны на собственную агонию? Нет, я, должно быть, на такое не способен. Я обязан пройти свой жизненный путь в одиночестве, которое избрал.

Поначалу к исчезновению Родриго дос Сантос Абрантеса газеты интереса не проявили. Достоверных фактов почти не было, а если и были, то кто такой Родриго? Никто. А при таких обстоятельствах газетчики вынуждены придумывать не только факты, но и самого героя. И уж если им это удается, то тут жди чего угодно. Прошлым летом, например, целая страница «Газеты» была занята репортажем, которому был дан следующий заголовок (цитирую): «Пьянство, проституция, убийство. Преступление, совершенное из ревности в местечке Санта-Текла». Репортаж подписал Алфредо Моуран.

> «Большинству людей (их сотни), которые вчера вечером, превозмогая жару, провели несколько часов на холме Санта-Текла (округ Жоан, неподалеку от Фамаликана), человек, воссоздавший в присутствии уголовной полиции сцену совершенного им четыре месяца назад преступления, рисовался исчадием ада или «зверем, которому нет прощения». Эти слова мы слышали собственными ушами.
>
> Однако после того, как Страдалец воссоздал одну за другой подробности преступления, многие стали думать иначе, и те, кто совсем недавно сурово обвинял убийцу, стали теперь его оправдывать, сокрушенно говоря: «А кто бы из нас поступил по-другому?» Да, этот бедняга защищал свою честь. Мы уверены, что суд сумеет понять его.
>
> Энрике да Силва, тридцати лет, и его жена Жертрудес да Силва, двадцати семи лет, родители троих детей (четвертый умер), семья влачила жалкое существование: жили на милостыню, боль-

[1] Хорхе Луис Борхес (1899—1986) — известный аргентинский писатель.

шая часть которой шла на выпивку. Ютились в двенадцатиметровой лачуге, обстановку которой составляли полдюжины досок, соломенный тюфяк и печь».

Потом шел подзаголовок: «Всю жизнь он был бездельником». И следовало продолжение:

«Случилось это 8 марта. В доме Страдальца жизнь была хуже не придумаешь. Дети одеты в обноски родственников, родственники их и подкармливали. По словам самого Энрике, нищета толкнула его жену Жертрудес на проституцию. По показаниям свидетелей-соседей Страдалец бездельничал всю жизнь и никогда не задумывался над тем, где и как добывает деньги его жена.

После неоднократных перебранок с соседями, которых Страдалец обвинял в предательстве, поскольку те брали сторону жены и говорили ему: «Топал бы ты лучше отсюда, бездельник», он понял, что ждать ему нечего. И 8 марта совершил то, что и следовало ожидать. Утром следующего дня на дороге, ведущей в дубовую рощу, что находится неподалеку от дома Страдальца, в луже крови было найдено мертвое тело. Местные власти тут же начали расследование. И на Энрике, жена которого скончалась на следующий день от сильной дозы хлорофоса, указали все живущие рядом.

Правда, скоро суть дела прояснилась: драма Энрике поистине оказалась впечатляющей. Он рассказал нам о своей жизни, о том, как воевал в Африке, а вернувшись домой, услышал от соседей: «Топал бы ты, несчастный, отсюда, твоя жена пошла по рукам».

Вот его версия преступления: «Часов в десять вечера мы с женой поругались в первый раз. Она обозвала меня рогоносцем и сукиным сыном. И ушла. А я сунул в карман кухонный нож — и за ней. Настиг я их с хахалем в кустах. Но они, видно, что-то почувствовали и тут же разошлись. Она пошла вниз к ручью, а он вышел на дорогу. Вот на обочине дороги мы с ним и схватились. Вцепились друг в друга и упали на землю. Вначале-то я под ним оказался, и он принялся меня дубасить. Тогда я и вытащил нож. Один ведь из нас все равно должен был умереть».

Эти слова Энрике повторил вчера вечером после воссоздания сцены преступления, он утверждал, бурно жестикулируя: «Было именно так, сеньоры, все так, как я сказал». И, идя по тем же тропинкам, хладнокровно показывал, как совершил убийство. О том же, что произошло в доме позже, следственные органы пока молчат. Вполне возможно, что муж и жена поругались снова. Кое-кто даже говорил, что слышал, как жена угрожала мужу, что донесет на него. А факт тот: на следующий день Жертрудес умерла».

И еще один подзаголовок, последний: «Отцовское благословение». Читаем:

«В конце следственного эксперимента Страдальцу было разрешено навестить родных. Свояки и братья не могли совладать с собой, когда Энрике целовал детей. Потом к нему подошел старик. Вот тут подсудимый впервые разволновался и попросил благословения. Старик был отцом Энрике. Он молча вынул из кармана последние сто эскудо и так же молча отдал их сыну».

Опубликовав этот репортаж, газетчики создали событие и сделали из никому не известного Энрике «Страдальца», а это уже не лишено интереса, во всяком случае для большинства читателей, не исклю-

чая и интеллектуалов, как, скажем, Андре Бернардес — завсегдатай кафе «Мартиньо». Кстати, в этом же кафе журналист Алсиндо разнес в пух и прах написанное с профессиональной точки зрения. Между тем Андре Бернардес занял иную позицию, и только потому, что его раздражал печальный, полусонный взгляд ораторствовавшего Алсиндо.

— Не совсем так, Алсиндо. В свое время вы тоже писали нечто подобное. Верно? — уязвленный Алсиндо угрюмо кивнул, то ли соглашаясь, то ли возражая, объяснить этот кивок можно было двояко.— И я хочу заметить, что о стране можно судить по тому, что печатается на страницах ее газет. Достаточно их почитать, и все станет ясно.

Тут даже Кастел-Бранко — и он здесь присутствовал — присоединился к дискуссии, хотя тема ему представлялась малозначительной и скучной:

— Чтобы ты, Андре, да не получал удовольствия от подобной мелодраматической стряпни?! Не смеши меня.

Возможно, так оно и было. Только вряд ли такая «стряпня» оказалась вне поля зрения язвительного Кастел-Бранко. Кстати, не пройдет он и мимо «дела» об исчезновении Родриго дос Сантос Абрантеса, если, конечно, печать этим исчезновением займется. А она им занялась. Занялась как бы между прочим, но заворожила читателя уже первой строкой. «Тайна парома» — так в минуту вдохновения был состряпан заголовок заметки о Родриго дос Сантос Абрантесе, явно рассчитанный на то, что даже самый недоверчивый читатель клюнет на столь туманную и призрачную приманку.

А случилось все так: репортер «Трибуны» (скажем сразу, что им был Феррейринья) забежал в кафе, но, не желая тратить время на ожидание, пока его обслужат за столом, подошел к стойке и здесь, держа в руке рюмку, подслушал разговор двоих мужчин, заставивший его насторожиться. Говорили они следующее:

— Вот именно, когда человек исчезает, то рано или поздно его находят. Куда бы он ни запропастился. И потом, почему он именно упал с парома?

— Может, столкнули?

— И он испарился, так, что ли?

— А может, его похитили? Попахивает преступлением, вот что.— И тот, кто сказал эти слова, поправил накинутую на плечи самарру[1].

Его собеседник был не из разговорчивых, но, обдумывая выдвинутые предположения, заметил:

— Такое случается только в кино.

У Феррейриньи запершило в горле, его правая нога застучала по тумбе, и он заказал еще одну рюмку. Спасаясь от военной службы, Феррейринья какое-то время жил в Брюсселе и работал в одном из ресторанов мойщиком посуды. Так вот там подобных происшествий было хоть отбавляй, репортеру выбирать приходилось.

— Такое случается там, где должно случиться. А правда, что Родриго был...

— Был, а может, есть? Обрати внимание на то, что ты уже говоришь о нем в прошедшем времени.

— Ты прав. Но Родриго не из тех, кто подвергает себя риску. И если его не находят ни в больницах, ни в тюрьмах, то, может, его убили.

— Когда человек исчезает, то рано или поздно его находят — это ведь твои слова.

Феррейринья уже опаздывал на десять минут, и по всему было похоже, что опоздает на все двадцать или сорок. Объяснения с шефом не избежать, да еще на глазах у Алсиндо и ему на радость, но

---

[1] Кожаная куртка.

не дослушать разговор до конца он не мог. Возможно, это как раз тот самый случай, которого он ждет...

— А вдруг все же произошло несчастье? Хотя кому придет в голову убивать Родриго?

— Да, несчастный случай тоже возможен. Он мог попасть под машину, а шофер, чтобы избежать ответственности, его припрятал.

— А тебе не кажется, что мы все же преувеличиваем?

Слушая эту болтовню, Феррейринья неожиданно вспомнил о происшествии, которое несколько лет назад помогло Алсиндо занять твердое положение в газете: треть колонки ежедневно, хотя в ней сплошная чертовщина и злословие. Выдал ее и сиди, плюй в потолок да гляди, как все прочие лезут из кожи вон. Он написал репортаж о больничных койках, отбросах общества, ничейной земле, жестокости, страданиях. Ассоциация медиков оскорбилась, радио и телевидение превознесли подвиг Алсиндо. Тогда его разве что на руках не носили. И с тех самых пор, да еще помня, что он когда-то написал о Рильке, ни один главный редактор не позволял себе быть непочтительным с Алсиндо. Когда же его геройский поступок канул в лету, он заделался эрудитом и обдирал нагло и безнаказанно чужие заметки.

— Что преувеличиваем? Несчастный случай вполне мог произойти, я просто о нем не подумал. Тогда почему бездельничает полиция? А в морге справлялись? Дочь его просто голову потеряла, никого не хочет видеть.

Тут, набрав воздуха, в разговор решил включиться Феррейринья, он почесал ноздрю указательным пальцем, прищурился и, уловив удобный момент, спросил:

— Прошу прощения, сеньоры, о ком это вы говорите? — Он облокотился на стойку и, что было особенно характерно для его позы, выражавшей внимание, склонил голову набок.

Окинув его взглядом, один из собеседников ответил:

— О нашем общем друге, который исчез.

— И это уже известно?

— Кому? — переспросил неприязненным тоном другой, тот, что был в самарре.

— Ну, газетам, например,

— Думаю, что нет. Во всяком случае, я этого не знаю.

— Прекрасно. Так вот, я — журналист.

Да, он был журналистом и, увидев изумленно-уважительное выражение лиц своих собеседников, тут же понял, что сегодняшний день — его. Эти оба пойдут с ним куда угодно, и он соберет для репортажа все необходимые сведения. А шеф и рта открыть не успеет, как он выложит ему на стол «кассу». Раз уж эти люди говорят об исчезнувшем человеке, морге и прочем, он с пустыми руками не останется, даже если ничто не подтвердится.

Они привели его в дом Родриго, дом находился в соседнем квартале. Один даже настоял на том, чтобы вино, выпитое Феррейриньей, было оплачено ими.

Дверь открыла жена Родриго, надежда и страх сквозили в ее взгляде: ей, должно быть, показалось, что мужчина, стоящий позади друзей Родриго, несет ей дурную весть. Ухватившись за косяк, она переводила суровый, недоверчивый взгляд с одного на другого. А когда услышала: «Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на кое-какие вопросы. Их совсем немного. Я — журналист»,— залилась краской.

— Входите, пожалуйста,— голос ее звучал спокойно, в нем чувствовалась скорее усталость, чем тревога, что никак не соответствовало выражению ее лица.

В общем-то, женщина (надо запомнить: глаза красивые, зеленые, словно морская волна, на них нельзя не обратить внимания) ничего не знала, говорила мало и казалась озабоченной лишь тем, как развязать передник, который, судя по всему, только что надела. Зря сюда

пришел Феррейринья. А уж если бы Алсиндо узнал, что он тут, то зашелся бы своим долгим, беззвучным смехом. Вполне возможно, что исчезнувший человек просто ушел из дома после обычной семейной ссоры. И сидит в ближайшей гостинице, а может, еще и утешается любовью какой-нибудь девки. Однако его отсутствие на службе, само по себе мало о чем говорящее, все же наводило на размышления. Репортерский нюх Феррейринью подвести не мог. А если Родриго ушел из дома не просто так?.. В самом деле, может, он взял с собой личные вещи, одежду?

— Вы звонили в контору фабрики, сеньора?

— Звоню все время. И они мне звонят. Никто ничего не может понять: не такой он человек, чтобы прогуливать.

— А когда ваш муж уходил, он взял с собой чемодан?

— Какой чемодан?

— Простите, я предположил... А как называется то предприятие, на котором он работает?

— «Новилектра». У них торговая контора и фабрика. Они в разных зданиях. Вы будете записывать каждое мое слово?

— Еще не решил.

— Лучше не надо.— Ее беспокойные и нежные руки поглаживали колено. Видно было, что она находилась в нерешительности.— Мне хотелось бы обдумать слова, которые я скажу. Эти сеньоры хорошо знают моего мужа.

— Они мне сказали.— Что-то в этой женщине Феррейринью трогало. Хрупкость? Нет, совсем не это, скорее удрученное состояние, в котором она пребывала, ничего не драматизируя и никого не обвиняя.— А что говорит полиция?

— Из полиции звонили в больницы и... прочие места. Никаких следов.

— А каков он, ваш муж?

— Что именно вы хотите знать о нем?

Феррейринья почесал короткую бородку. По правде говоря, он спросил первое, что пришло ему в голову,— вдруг нечаянно оброненное слово, жест, взрыв эмоций спасут возникшую было, но ускользающую возможность прославиться, написать репортаж. Незримое присутствие Алсиндо и зависть к нему заставляли Феррейринью проявлять терпение, а то бы он уже давно поспешил в редакцию.

Один из друзей Родриго ответил за Феррейринью:

— Газеты обычно дают портреты тех, о ком пишут, так ведь?

Феррейринья поддакнул. Ему показалось, что он сделал неверный шаг. А жена Родриго со странным спокойствием произнесла:

— Мой муж — человек уравновешенный. Друзья его это знают.

Разочарованный Феррейра не стал продолжать расспросы. Ни к чему. И только когда вышел на улицу, все так же в сопровождении своих добровольных посредников, вспомнил, что не попросил фотографии Родриго. Однако возвращаться смысла не имело: шеф наверняка ее не опубликует. Не только фотографию, но и вообще ни строчки.

А позже, в кафе «Мартиньо», Алсиндо за стаканом виски расскажет о репортерских перипетиях Феррейриньи, а Кастел-Бранко, снизойдя с высоты своего положения небожителя в такой скучной компании, изречет, вскинув голову:

— Так вы у нас, оказывается, детектив, дорогой Феррейра. Недурно, недурно. Именно так начинают закоренелые реалисты. Ходить далеко не надо, вот наш Андре Бернардес.

Бернардес и Кастел-Бранко всегда чувствовали себя как два петуха в одном курятнике. И не за горами день, когда шпоры того или другого окрасятся кровью. Но Андре Бернардес играл в открытую и смело. Соперник же действовал исподтишка, наступал осторожно, держал в резерве Алсиндо как союзника.

Однако вопреки скептическому настроению Феррейриньи «Трибуна» в тот же день опубликовала десять строк в одну колонку (без единой отбивки) о «странном исчезновении некоего Родриго дос Сантос Абрантеса, служащего известной фирмы «Новилектра» (неплохая реклама в вечернем выпуске), добропорядочного семьянина, отца студентки естественного факультета, женатого на Терезе Кастро Соуза Абрантес, домохозяйке. Семья будет чрезвычайно признательна тому, кто случайно знает о его местопребывании...» — и так далее и тому подобное.

Вот все, что осталось от двух страниц текста, вымученного Феррейриньей и положенного на стол главному редактору, который был скор на расправу с подчиненными; шеф скривился и сжал зубами сигарету, едва репортер начал оправдывать свое опоздание с материалом, в котором он почувствовал «кассу».

— И это дерьмо ты называешь «кассой»?

Феррейринья пожал плечами, счастье его, что рядом не было Алсиндо, тот пошел в уборную: туда он наведывался каждые полчаса. К грубости начальства Феррейринья уже притерпелся, вежливым главный редактор был только с редакторами отделов и сотрудниками высшего ранга. Однако обратил внимание, что грозный карандаш шефа (синий, толстый, неумолимый карандаш) не вычеркнул упоминание о дочери пропавшего — студентке естественного факультета. А то, что заметка, пусть даже такая жалкая, была все-таки опубликована, объяснил ассоциативным мышлением начальства.

— Послушайте,— спросил шеф,— а эта самая «Новилектра» не наш ли клиент? Запросите срочно отдел рекламы.

Отдел дал справку незамедлительно:

— «Новилектра» публикует свою рекламу в нашей газете каждую субботу.

— Тогда в печать.

В эту самую минуту Феррейринья увидел вышагивавшего по залу секретаря директора, напомаженные и расчесанные на прямой пробор волосы прикрывали его узкий недоразвитый лоб. Что-то у него было с ногой, поговаривали даже, что у него протез, а фамилия... фамилия Абрантес. Он и главный редактор не переваривали друг друга, это секретом не было, не переваривали потому, что как-то на стажировку в редакцию пожаловала одна студенточка, большая любительница водить за нос всех сразу, кто пленится ее прелестями. И тут Феррейринья подумал: а не вызвано ли пренебрежительное отношение шефа к его заметке фамилией исчезнувшего Абрантеса? Очень, очень может быть. Здесь, в газете, чего только не бывает. Задумавшись над этим, Феррейринья принялся постукивать шариковой ручкой по столу и с напускной наивностью спросил:

— Нет ли у нас в газете статистических данных о пропавших без вести за год?

Его коллеги переглянулись — на заданный вопрос никто не мог ответить. Тут у Алсиндо брови поползли вверх: он решал, обрушиться ли ему на собрата или выказать безразличие. И решил, что безразличие подействует вернее.

— Кого это вы спрашиваете? — вдруг отозвался шеф, скорее с недовольством, чем с любопытством.

— Конкретно никого.

— Тогда замолчите.

Однако вопрос Феррейриньи засел у шефа в голове, по выражению лица было видно, что он озабочен. Такое случалось всякий раз, когда кто-нибудь из редакторов опережал его в «общих идеях» — термин он изобрел сам и очень им гордился. «Общие идеи — это все то, чем руководствуется журналист в своей деятельности, дорогие друзья. Остальное — ерунда, литературная стряпня». Через некоторое время шеф, опасливо поглядывая на Алсиндо — «Алсиндо-

Рильке» перерос в его глазах энциклопедические справочники, завидную коллекцию которых он собрал,— вернулся к вопросу, заданному Феррейриньей:

— Пропадает людей больше, чем мы себе представляем.

— Вот и мне так кажется, — не без издевки отозвался репортер.

Однако в то утро дело этим и кончилось.

Позже, в кафе, Феррейринья, доверявший Андре Бернардесу больше, чем кому-либо из собратьев по перу, тихо сказал ему:

— Прочтите в «Трибуне» заметку об одном пропавшем человеке. Это я написал. Я был у его жены. Случай любопытный. Думаю, он заинтересует и вас.

— Расскажите, расскажите...

— Завтра я еще что-нибудь разузнаю, тогда и поговорим.

Итак, попробуем изложить вкратце то, что нам известно.

Четырнадцатого ноября 1965 года здесь, в Лиссабоне, человек ушел из дома на работу и исчез. Звали его Родриго дос Сантос Абрантес, но он хотел сменить фамилию на Масиейра. Почему? Да потому, что фамилия Абрантес никак не подходит художнику. Достаточно ли серьезно подобное объяснение и можем ли мы с ним согласиться? Однако можем мы с ним согласиться или не можем — неважно, а важно то, что думал по этому поводу сам Абрантес, ведь он-то к тому относился серьезно. Для художника фамилия Абрантес не годилась, а Родриго собирался стать известным художником. Или скульптором. Правда, художником или скульптором он хотел быть в зависимости от настроения и посещения выставок: он посещал все выставки, всегда с каталогом в руках, помечая в нем звездочками то, что особенно нравилось.

Вечерами, возвращаясь с работы, он частенько заглядывал в кафе «Мартиньо», где писатели, скульпторы, художники собирались в свои кружки, отделенные друг от друга рядами столов, за которыми сидели случайные посетители — «абрантесы» города. Назовем эти кружки своеобразными укрепленными пунктами, которые постоянно испытывали осадное положение, одновременно сохраняя нейтралитет, поскольку правила дислокации строго соблюдались. Родриго располагался на мирной, ничейной земле, но мечтал оказаться в стане мятежных. Что и случится несколько позже. Почти всех завсегдатаев он знал, но предметом его особого поклонения был некий Жесус Домингос — прекрасная шекспировская голова (случайная аналогия), без сомнения выделявшаяся среди прочих заурядных голов кафе; это был большой знаток театра и одновременно скульптор, автор многих скульптурных работ, робкий авангардизм которых прикрывала опавшая листва деревьев лиссабонских бульваров, где они стояли. Как правило, эти его работы напоминали обломки потерпевшего крушение корабля. Мастер — именно так, обращаясь к нему, его здесь называли. Интересно, что чувствует человек, если кто-то всерьез называет его Мастером? Родриго, надо сказать, своего мнения по этому поводу не имел. Газеты писали, что Жесус Домингос работал над макетом памятника Марии да Фонте[1], символизирующего непокоренный народ. Однако вероятность, что проект выйдет из стадии макета, была невелика.

Итак, Родриго вышел из дома, чтобы идти на службу. Тереза помахала ему из окна. Дорога была знакома до мелочей, по ней он ходил по меньшей мере десять месяцев в году. Так как же развивались события дальше? Во-первых, около полудня из «Новилектры» позвонили — позвонили, чтобы узнать, где он. Звонила Мануэла:

---

[1] Настоящее имя — Мария Луиза Балаидо, хозяйка постоялого двора, где собирались заговорщики. Под именем Марии да Фонте вошло в историю народно-освободительное движение, начавшееся в провинции Миньо в 1846 году.

— Что, сеньор Абрантес заболел?

— Добрый день. А почему вы спрашиваете?

— Потому что сегодня на работу он не явился. А сеньор директор хочет срочно поговорить с ним.

Последовало молчание, естественное со стороны жены Родриго, она лишь успела поздороваться, прервав тем самым словесный автоматизм Мануэлы. Ведь Мануэла только завтра станет разговаривать по-человечески, стараясь смягчить свою профессиональную холодную речь. Тогда же Мануэла сочла, что Тереза просто подыскивает оправдание — это так обычно. Оправдания и у самой Мануэлы всегда наготове — даже в большом выборе для тех, кто опаздывал. Но нет, Тереза была действительно растерянна. С работы звонили и раньше (случалось, что трубку брала Сесилия и, выслушивая, что нужно «передать отцу», выходила из себя: «И как отец выносит все это?» — вопрошала она, испытывая досаду, что директор фабрики, или кто бы там ни был, так вот бесцеремонно беспокоил своих служащих), но все истерические выходки патрона начинались сразу же после воя сирены, когда опоздание сотрудника еще можно объяснить плохой работой транспорта, аварией или любой другой неприятностью, свидетельствовавшей о том, что опоздание было вынужденным. Однако в тот день и час оправдать отсутствие Абрантеса на рабочем месте чем-либо подобным было невозможно. Что-то произошло, и произошло что-то необычное. Возьми себя в руки, Тереза. Нельзя расстраиваться, не зная причины, даже если Родриго не явился на работу. Ведь если бы произошел несчастный случай, ей бы уже сообщили — в портфеле у Родриго столько личных документов.

Все это пронеслось в голове у Терезы, пока она молчала, и позже, когда догадалась спросить — будто она действительно старалась выиграть время, а может, и старалась, только не время, а самого Родриго? А спросила она следующее:

— Это из «Новилектры»?

То, что звонили из «Новилектры», было ясно и так. Мануэла упомянула сеньора директора. И даже если бы не упомянула, то Тереза прекрасно знала ее голос, потому что не раз (хотя и не так уж часто) звонила в контору фабрики по какому-нибудь срочному делу. Они с Мануэлой даже как-то обменялись по телефону кулинарными рецептами, да, праздничного торта, теперь она вспомнила. Однажды, придя домой, Родриго сказал: «Сегодня мы праздновали день рождения нашего секретаря-телефонистки. Она принесла торт собственного изготовления, не торт — объедение!» — и Тереза не удержалась и под предлогом, что хочет приготовить торт для мужа, попросила у нее рецепт. Теперь, хотя с тех пор прошло много времени — Тереза не была общительна,— обе узнали друг друга.

— Но он вышел из дома как всегда вовремя. Позвоните мне, пожалуйста, если он не появится в ближайшие часы.

Все это она произнесла упавшим голосом, но без волнения, только чуть хрипловато. Голос ее делался хриплым, когда она тревожилась, но об этом мало кто знал и полагали, что это от застенчивости.

Мануэла в этот день, вернее в конце рабочего дня, позвонила, и не один раз («у нас нет никаких известий, может, было бы лучше, сеньора...»), скорее с возрастающей, чем сдерживаемой тревогой, на что Тереза отвечала ей с обычным спокойствием. И только позвонив в третий раз, Мануэла услышала:

— Я очень тревожусь.

Сомнений быть не могло: Родриго на службе уже не появится. Теперь оставалось одно — ждать его дома. Но он не пришел и домой. Тереза не звонила друзьям, колебалась. Желание обратиться в отделение полиции («Идем, мама,— настаивала Сесилия,— нужно действовать, мы не должны сидеть сложа руки») или в службу «скорой помощи» (но так непросто рассказывать совершенно посторонним лю-

дям о себе, о Родриго, вроде бы раздеваться догола, нет, она не могла действовать) она сдерживала всеми силами. С одной стороны, ей самой было несвойственно демонстрировать кому-либо свое беспокойство, с другой — она знала, что Родриго будет недоволен, если узнает, что ею был предпринят необдуманный шаг там, где, возможно, делать его не следовало. Что ж, очень может быть, что произошел несчастный случай, но Родриго — лишь свидетель случившегося. Ведь из-за свидетельских показаний человека часами держат в участке. Да и кроме того, что Родриго может давать свидетельские показания, ей приходили в голову другие успокаивающие мысли. Вот только почему он не позвонил, почему не предупредил о случившемся? Странно. Даже в голосе Мануэлы она почувствовала, что и на фабрике («фабрикой», «конторой», «предприятием» Родриго называл свое место службы, в зависимости от настроения) его отсутствие истолковывали по-разному. Да хотя бы по одному этому она должна была сдерживать себя и ждать. Личные документы при нем, Тереза уверена. Набивать свой портфель разными документами, включая членский билет клуба «Атлетико», Родриго стал после того вечера, когда полиция, устроив облаву на бездельников и сутенеров в кафе «Парк Майер», прихватила и его, так как при нем не было ничего, что удостоверяло бы его личность. Теперь он брал документы с собой. Даже рассказывая об этом случае, Родриго испытывал унижение. А как только со стороны зоологического сада, расположенного рядом с высоким, отделанным изразцами зданием, где его держали до опознания, задувал ветер, несущий тяжелые запахи, у него начинал болеть желудок. Но только ли унижение испытывал Родриго, вспоминая случившееся: ночное путешествие в полицейской машине, допрос в каком-то странном кабинете? Тереза сомневалась, не все ей было понятно, не все между собой вязалось. Для Родриго же это событие — как брошенный в болото камень.

— Да что во всем этом такого необычного, Родриго?

— Уж не кажется ли тебе, что я все выдумал? Ты же знаешь, я никогда не лгу.

Молчание. Он чувствовал, что минуты молчания Терезы наполнены сомнениями и обидой. Молчание, и опять вопрос, но короткий:

— Ты уверен?

— В чем?

— В том, что никогда не лжешь?

Теперь эти воспоминания — беспорядочная кавалькада мыслей — осаждали Терезу, и желание услышать звук отпираемой двери становилось все невыносимее. Нет, он с минуты на минуту должен прийти. Где бы он ни был, он услышит ее зов. Ее крик. Наконец, устав от ходьбы по спальне, потом по гостиной (именно здесь они все трое — Сесилия, правда, присоединялась к ним редко — сиживали вечерами, и, бывало, допоздна, с пластинкой на pick-up[1], с книгой или вязанием), потом по коридору, она села на корточки, прижавшись к холодной стене головой, которая шла кругом. Тело ее было сломлено, но дух по-прежнему был начеку. Три раза она открывала дверь и слушала шум идущего вверх лифта. Лифт останавливался, слышался резкий стук двери — то были соседи, живущие этажом ниже. Господи, что же произошло? Нет, она даже представить себе не может, что же могло произойти. Приди, Родриго, скорее, я жду тебя, скажи, что все это дурной сон, кошмар, и ничего больше!

Но наступила ночь, и мысли о Родриго и их жизни не оставляли ее. Когда все это началось и где? Кто мог предугадать, что их встреча и именно та фраза, сказанная на пароме,— они встретились на пароме, до той минуты не подозревая о существовании друг друга,— положит начало их совместной жизни? Случайная встреча, случайная

[1] Проигрыватель *(англ.)*.

улыбка, ему понравилась ее улыбка, ей — произнесенная спокойным тоном фраза, рядом хныкал упрямый мальчик, хныкал оттого, что никак не мог поймать большой воздушный шар, а на берег обрушивались искрящиеся волны Тежо, и виднелся таинственный город, город в легкой дымке — Лиссабон, утопавший в предзакатных сумерках.

То была неожиданная вспышка чувств («По мне, либо все, либо ничего»,— он умел говорить подобные вещи), ее улыбку вызвал плач мальчонки, но эту же светлую, радостную улыбку она дарила какому-то мужчине на пристани, Родриго был тому свидетелем и с того самого момента не выпускал Терезу из поля зрения, им завладела беспокойная страсть, завладело необъяснимое ощущение того, что с этого мгновения им необходимо быть вместе.

Что осталось от всего этого? В начале совместной жизни он то и дело с волнением напоминал ей:

— Первым словом любви, которое я тебе сказал, было «Сегодня рано стемнело».

Тереза поправляла его:

— Это было не слово, Родриго, а фраза. Очень красивая фраза. Меня даже в дрожь бросило.

Он же, несколько раздосадованный ее замечанием, настаивал:

— Мне больше нравится называть сказанное словом — так лучше звучит.

И она отвечала:

— Называй как хочешь, Родриго.

Между тем это самое «как хочешь» было обычной присказкой Терезы, когда они расходились в мнениях или вкусах. И говорила она это совсем не по слабости характера, нет, а скорее наоборот: ради мира и согласия между ними. Самым, пожалуй, удивительным было то, что эта видимая покорность рождала у Родриго ответное желание подчиняться. Он не принимал никакого решения, не спросив: «Как ты думаешь, Тереза?» — в любом случае, даже когда сам не сомневался, не говоря уж о выборе блюд в ресторане. Прежде всего он предлагал меню ей и ждал: «Выбрала? Тогда посмотрю я». Рука его всегда лежала у нее на плече, вернее чуть ниже плеча, а потому, когда ей случалось идти по улице одной, она чувствовала себя неустойчиво. Так было много лет. Сколько, Родриго? Над рекой сгущались сумерки; в тот год горели леса, а потому отливавшие медью корпуса больших застывших пароходов, похожих на динозавров (или монстров, впавших в спячку), и дым в атмосфере напоминали о пожарах все время; вода в реке, как только паром отходил от покрывавшейся пеной пристани и страшных подъемных кранов, казалось, прибывала.

Потом они совершали эту прогулку по Тежо много раз, вначале каждую неделю, как правило это было воскресенье — так было проще, потом каждый месяц, она стала своеобразным ритуалом, данным друг другу обетом. Между тем прогулки становились утомительными и утрачивали свой смысл. И даже хуже: Тереза и Родриго чувствовали их никчемность, но молчали. Да в общем-то ни она, ни он необходимости в словах не испытывали. Они так хорошо знали друг друга или между ними была такая полнейшая гармония (удобная ли? неудобная? опасная?), что едва один из них собирался что-нибудь сказать, как другой опережал его: «Я думал о том же самом». И они улыбались, глаза их радостно и заговорщически поблескивали. Должно быть, потому же (но почему, Тереза?) они предчувствовали без какой-либо видимой причины и невеселые минуты их жизни. Черты лица Терезы заострялись от тоскливого или строгого выражения, Родриго вдруг ощущал ее далекой, нежность исчезала. Это было нечто похожее на беспричинно плохое настроение. Именно беспри-

чинность ее плохого настроения и волновала Родриго, иногда он даже взрывался:

— С тобой что-то происходит, Тереза? Я все время чувствую твое раздражение.

Она тут же менялась.

— Так бывает, ты же знаешь. Сейчас это пройдет,— отвечала она, и лицо ее озаряла радостная улыбка. Руки ее с нежностью тянулись к его рукам в знак примирения, может быть и не до конца осознанного.

А иногда причину этого беспричинно плохого настроения хотелось объяснить чем-то иным, выплывавшим из глубин прошлого.

— Что это за мужчина, с которым ты прощалась на пристани? — вдруг спрашивал Родриго.

— На пристани?

— Ну да, в тот день, когда мы познакомились.

— Но я же тебе сразу сказала — мой брат. Мы ведь похожи.

Родриго удовлетворен не был, но не настаивал: излишняя настойчивость унизительна для обоих. Да, может, это и действительно был брат, Родриго на него не смотрел, а смотрел на Терезу, на ее чистую, нежную улыбку. Ее улыбку, в которой он так нуждался и хотел, чтобы она была адресована ему, и только ему, как тогда на пароме, который совершал ежедневные и ежечасные рейсы через реку под названием Тежо, и там, на пароме, Тереза ему улыбнулась искренней и сообщнической улыбкой.

А бывало, мучившие Родриго сомнения избирали другую мишень. Тереза была женщиной опытной — в момент близости она умела то щедро одаривать лаской, то отказывать в ней, знала, когда и как использовать ее более действенно, и время от времени удивляла Родриго чем-нибудь новым — это не могло быть случайностью. Опытная, умелая женщина. Неведение мучило Родриго, мучило своей неясностью или невыясненностью, было подобием нарыва, который назревал, но учинить ей допрос с пристрастием Родриго боялся (из гордости? из ревности?).

— Ты умеешь любить, Тереза.

— Приятно это знать.

Однако совсем не этот ответ он надеялся услышать и, пытаясь докопаться до истины, прибегал к некрасивому лукавству:

— Ну, а до меня?..

— Что до тебя? — спрашивала Тереза и, небрежно сгибая руку и подпирая лицо ладонью, смотрела на него, медленно отводя в сторону свои ласковые глаза.— До тебя у меня были две встречи, ты же знаешь, Родриго, случайные. Ты же все хорошо знаешь, и знаешь, что с тобой у меня все как в первый раз. Тебя я люблю, одного тебя. Все остальное не в счет.

Он ничего не отвечал. Выражение лица задумчивое, даже чуть растерянное: и почему это Тереза сбрасывала со счета других? Никогда не был он способен вскрыть этот нарыв и спросить напрямик, кто они были? Сколько это длилось? Способна ли ты мне изменить? Он подозревал, что Тереза, такая тонкая и так хорошо его знавшая (опытная? хитрая?), никогда не сказала бы всей правды хотя бы потому, что не хотела причинять ему боль. Как-нибудь потом. Он откладывал решительный разговор (суровый, нелепый и нелегкий) на потом, когда-нибудь он все-таки должен состояться.

Однажды вечером после очередной речной прогулки, с каждым разом утрачивавшей свой смысл («Ласточек над паромом вдвое меньше, чем тогда, а может, и втрое, ты заметила?» — «Да, ласточки исчезают, они спасаются от людей — человек ведь самое опасное существо»), когда их усталые тела отдыхали друг подле друга и он смотрел на обои с бордюром из китайских вееров, а она проводила

острым ногтем (ногти белые, без единой крапинки) по его влажному от пота животу, Тереза сказала:

— Сегодня наша любовь была грустной.

В голосе Родриго тут же послышались тревожные нотки.

— Серьезно? — спросил он робко, и взгляд его был по-прежнему и блуждающий и вопрошающий, она могла бы расшифровать слово за словом запутанный (а в сущности, примитивный) язык его мыслей.

— Да! — продолжала Тереза с настойчивой и решительной твердостью, на какую была способна.

— Почему грустной?

— Потому что грустной. Все было грустно: и поцелуи и ласки — все. Разве ты не почувствовал?

Какое-то время он молчал, потом сказал:

— Да, ты права.

Несколько минут они еще лежали, молча глядя друг на друга. Потом он приподнялся, взял с ночного столика книгу, раскрыл, закрыл, чуть не свалил будильник, потом надел брюки, быстро, нервно, что казалось вполне естественным, но всегда служило прелюдией к чему-то — например, желанию уйти или побыть одному.

— Ты решил одеться?

— Спать еще рано, читать не хочется, пойду-ка в кафе.

Она тоже тотчас набросила на плечи халат, чтобы у него даже мысли не возникло, что она надеется на приглашение. Кафе было для Родриго своеобразным убежищем, и она не хотела в него вторгаться. Все мужчины ходят в кафе. Она знала: они нуждаются в общении, кстати так же, как женщины (женщины даже больше), у которых тоже есть свои места встреч.

Тереза проводила Родриго до двери, слегка привела ему волосы в порядок, потом, точно желая скрасить его неожиданный, огорчавший ее уход, обняла.

— Я долго не задержусь, пока.

— Ты рассердился?

— Ты прекрасно знаешь, Тереза, что сердиться мне не на что. Но с нами что-то происходит. Иногда мне кажется, что ты чужая.

Она стала серьезной. Потом печально и нежно улыбнулась:

— Только ли с нами? Бывают такие периоды.

— Может, период такой. Я скоро вернусь.

— Когда придешь, тогда придешь.— Она поцеловала его. Поцелуй тоже был печальным.

И вот уже в щели ставен и в двери заглядывало утро, вкрадчивое, но торопливое. Тереза поднялась, чувствуя себя разбитой, виски сжимало. Услышала шаги Сесилии. Вот она перед ней, лицо суровое, улыбаться дочь не умеет, и вид обвинительницы: у нее всегда есть причины, чтобы требовать ответа.

— Ты не ложилась, мама?

— Легла и даже задремала.

— Неправда.

Тереза не ответила. Она устала, устала от душевных страданий, тело отказывалось подчиняться, голова была тяжелой. Ей было абсолютно безразлично, что она, как побитая собака, провела ночь, забившись в угол дивана. Она молчала. По обыкновению, молчала. Собиралась оглушить себя обычными хлопотами по дому. Пошла в кухню готовить завтрак, машинально включила обогреватель, вынула из холодильника сливочное масло. Сесилия последовала за ней и, вопросительно глядя на мать, остановилась у полуприкрытой двери Потом подошла и разрыдалась.

— Никаких новостей, мама?

— Пока нет.

Нужен был именно такой ответ, чтобы Сесилия не уклонилась от ласковых рук матери, которые прижали ее голову к груди. И вдруг Терезу осенила мысль: со времен лицея Сесилия вела дневник и прятала его, как вор краденое, может, ночью или вчера вечером она что-то написала об отце? Как бы ей хотелось знать что! Однажды Тереза нашла этот дневник в ее ученической папке, среди домашних тетрадей — неосторожность девочки? случайность? папка не тайник,— и была потрясена (взволнована, изумлена, напугана — всем вместе: «жизнь меня не раз била, Родриго, но подобного удара...»). Она переписала несколько страниц, чтобы их перечитывать, и все же продолжала сомневаться в том, что все написанное в нем — правда, а главное, правильно ли она понимает Сесилию. Возможно ли, чтобы она совсем не знала свою дочь, единственную дочь?

— Что случилось, мама?

— Это нам еще предстоит узнать. Пей кофе, успокойся. Нет причин думать плохое.

Обойдя маленький круглый столик, Сесилия хоть и поколебалась, но все же спросила:

— Отец никогда ничего такого не делал?

— Чего такого, Сесилия? Что такое мог делать твой отец?

— Не ночевать дома.

Тереза повернулась к плите, неизвестно зачем взяла в руки тостер и тем самым выдала свое волнение. Продолжая стоять к Сесилии спиной, она медленно произнесла:

— Иногда отсутствовать дома просто необходимо.

Сесилия взглянула на мать с недоумением.

— Что ты хочешь этим сказать? Ты знаешь, куда пошел отец? — Голос ее сделался резким.— Знаешь, да?

Лицо Терезы помрачнело, она больше не притворялась:

— Не знаю, Сесилия. Обманывать тебя не в моих правилах. Думаю, нам пора обратиться куда-то за помощью. Ты пойдешь со мной?

— Куда?

— Надо подумать.

Стоя, Сесилия выпила в два глотка чашку кофе, откусила пирожок и ушла к себе. Даже в такой день она не переставала держаться отчужденно. Неужели так глубоко их непонимание друг друга? Почему, Сесилия? Дневник. Сколько раз Тереза перечитывала переписанные ею страницы, чтобы найти в них ответ на мучившие ее вопросы, она помнила эти страницы наизусть.

■ ■ ■

Не знаю люблю ли его или просто чувствую к нему нежность знаю только что могу идти с ним куда угодно и когда угодно в тот самый момент когда наши руки встречаются или моя голова ложится на его плечо это уже так много я звоню ему по телефону и говорю Жоан поедем посмотрим на море и держась за руки только за руки мы сидим в машине а он меня спрашивает люблю ли я его. Нет дорогой ночь и звездное небо и красивое море вот почему я тебя люблю люблю потому что мы около моря только море и мы. Это я ему переписала вопросы для экзамена перепечатала на машинке и никто не поверил что целый вечер мы были в доме одни и каждый сидел в своей комнате а вечером он бросил мне в дверь посвященную мне поэму я прочла ее выучила наизусть в ней говорилось что иметь идеал значит иметь что-то одно а я хочу тысячу разных вещей иметь идеал — это глядеть на тебя а я гляжу на всех сразу и во всех вижу тебя взволнованная я вошла к нему в комнату и спросила правда ли все то что я прочла Жоан и он увидел по моему лицу что я пришла обнять его чтобы вложить себя всю в это объятье а он протер глаза и пригладил волосы точно проснулся и спросил о

чем это я уже не помню как начался наш разговор но я тут же почувствовала в горле комок. У Жоана был день рождения и я пошла к нему чтобы его поздравить он был так доволен и так мил и тут же сказал что поехал бы в Монако с Артуром если бы я тоже поехала и что я не должна отказываться участвовать в празднике я пошла домой и сказала маме что иду к сапожнику за туфлями а она сказала что прежде я должна ей рассказать о Монако почему все так неожиданно. Сапожник мой сосед и мой друг у него очень симпатичная жена сеньора Грасинда я ее зову дона Грасинда мне это ничего не стоит она да и они оба меня любят и я постучала к ним в дверь которая прежде никогда не бывала запертой дона Грасинда вышла ко мне с опухшими глазами. Я спросила что с ней дона Грасинда ответила мой муж умер и я конечно ничего про туфли не сказала а пошла к Жоану и стала обвинять его что он празднует свой день рождения в день когда умер сапожник. Что с тобой случилось Сесилия мы ведь только что разговаривали должно быть мать не пускает тебя с нами. Жоан как может быть так чтобы ты праздновал свой день рождения смеялся чтобы у тебя был автомобиль и отец. Конечно он станет тебя оправдывать перед лицеем за твою поездку в Монако в то время когда умер сапожник. Он умер а у тебя праздник у тебя деньги которых у него никогда не было. Жоан смотрел на меня с ужасом и пятился и пятился а я наступала на него и била кулаками в грудь будто он виноват что у него праздник в день смерти сапожника.

■ ■ ■

Я так разволновалась что грохнула тарелку мать позеленела но ничего не сказала лучше бы уж сказала. Отец очень серьезный. Я лежу в постели и собираюсь читать сегодня не стала обжаривать фасоль как этого требует мать которая учит меня готовить.

■ ■ ■

Обстановка в доме просто отвратительная сегодня в обеденный перерыв мать пошла в лицей чтобы поговорить с преподавательницей французского я видела как она уходила но она мне ничего не сказала ну и пусть. Я очень хочу видеть выражение лица матери когда в ближайший четверг она скажет что преподавательница говорит будто я рассеянная. Мать все время пристает ко мне то с французским то с математикой то с физикой вечно я расплачиваюсь за то что она раздражена отцом что они не разговаривают друг с другом но я-то знаю причину и мне хочется уснуть и больше никогда не просыпаться. Субботу я люблю больше других дней и в субботу обязательно приключается что-то неприятное. Мне хочется куда-нибудь пойти но я не иду хочется поехать с Жоаном на автомобиле но и с этим не получается. Я чувствую себя даже не знаю как когда закрываю глаза я вроде бы парю в воздухе. Очень странное чувство я его не могу объяснить. Мать все время вздыхает плохой признак отца уже два дня я не вижу.

■ ■ ■

Отец за мной в лицей не приехал и я вымокла до нитки. Дона Арминда дала мне взаймы двадцать эскудо на такси и я бессовестная купила на них книгу которая совсем мне ни к чему. Отец пообещал что заедет за мной на машине на обещания он не скупится это-то меня больше всего и злит.

■ ■ ■

Я бессовестная и мне стыдно но вина-то их знают что идет дождь и не беспокоятся. Вчера я купила книгу и сегодня не отдала

деньги доне Арминде я знаю что когда я делаю что-нибудь приятное для себя наказание следует тут же. Интересно что за все это мне будет сегодня?

■ ■ ■

Я пошла посмотреть «Королевские фиалки» но им ничего не сказала ведь они бы меня не пустили как пить дать но мне понравилось больше то что я видела на прошлой неделе гораздо интереснее. Какой некрасивый Луис. Мне бы очень хотелось иметь песни из того фильма. Я лежу в кровати ем хлеб с маслом и пью кофе глясе мать не поняла что я заметила их настроение я сказала что у меня болит живот и не стала ужинать а есть хотела как тысяча чертей. Кофе такой холодный и мне так холодно и хочется спать я приняла две таблетки аспирина чтобы завтра не болела башка и можно было учить историю.

■ ■ ■

Виржиния что живет в Аморейрас такая высокая приятная белокурая на уме у ней одни бароны других она за людей не считает а только тех у кого титулы. Вот сегодня придя в лицей я ей сказала Виржиния только что в парке я видела одного из твоих знатных но не помню его имени он вечно там стоит она тут же спросила не граф ли Атоугия а я ей ответила что нет он и плотнее и важнее тогда она стала называть подряд все знакомые ей имена знати и даже устала. Нет Виржиния сказала я нет ты его знаешь хорошо но должно быть забыла. Больше ни одного имени она припомнить не могла тогда я сделала вид что наконец припоминаю сама подожди Виржиния подожди минуту сейчас сейчас в парке стоял маркиз Помбал[1]. Это было жестоко с моей стороны или нет?

■ ■ ■

Я сказала Жоану возьми меня к «Дон Кихоту» и он ответил оставь это не для тебя. Тогда меня возьмет с собой Тозе. Он засмеялся. И я пошла с Тозе. Входишь в зал в глубине зала лестница кругом полумрак оркестр похоже подражает какому-то американскому джазу из их кинофильмов перед ним белокурая девчонка вырез сзади чуть не до ягодиц Тозе говорит что ей восемнадцать лет. Так вот она сказала что ее брат сволочь такая нацелился на хорошую добычу хочет за сотнягу получить крупную рыбку. Пойди сказал Тозе утешь ее и скажи что ты просто хочешь есть и пусть принесут бифштекс. Потом появилась другая тоже восемнадцати лет в черной блузе без лифчика может даже без трусиков юбка в обтяжку так что все видно хуже чем голая. Тозе даже присвистнул вот с этой я сегодня пересплю. Потом появились какие-то толстые типы все из золотой молодежи хорошие костюмы и много денег в кармане и первый из них увидев что я гляжу на него сказал громко чтобы слышала белокурая она уже отстала от Тозе и приставала к нему он ей сказал нет девочка когда я решу жениться то женюсь не на блондинке и не на рыжей а на серьезной и в знак почтения поклонился мне точно мы с ним танцевали танец времен моей матери он конечно притворялся. Я сказала Тозе что хочу уйти мне это не понравилось честное слово и я спросила его что это за девушки такие молоденькие но он тут же обрезал меня нет эти не молоденькие они видали виды удовольствий у них хоть отбавляй они ведут такую жизнь что закачаешься потом помолчав добавил дорогостоящие — сотняга. Бесстыдный мужской цинизм!! Дома же я

[1] Маркиз де Помбал — Себастьян Жозе де Карвальо-и-Мело (1699—1782)— видный португальский государственный деятель, о памятнике которому идет речь.

наврала что заболела Карлота и я до двух ночи поила ее бульоном. Мои считают себя всевидящими а глотают любую ложь возможно потому что когда не верят и ругают думают только о себе только о себе. Тозе подарил мне пачку хороших сигарет.

■ ■ ■

М. если именно так его зовут встречает теперь меня каждый вечер оставляет машину за углом чтобы его не видели из лицея я же стараюсь выйти одна. Это очень привлекательный мужчина у него серые влажные глаза. Сегодня он довез меня до начала улицы Звезды... до свидания девочка печально поцеловал меня в лоб я не отстранилась. У него новый желтый платок в черную крапинку.

■ ■ ■

На улице Казала Рибейро живет одна сеньора которая хотела бы сдать комнату она спросила Гиду не знает ли та кого-нибудь кто бы нуждался в комнате. Надо подумать. Допустим родители живут в провинции а я учусь в Лиссабоне или предположим что они разозлились и выгнали меня из дома или что я не могу их больше выносить и ушла от них. Потрясающе просто мечта я бы могла ходить с Жоаном в любой dancing[1] на побережье могла бы когда захочу надеть свое любимое платье и могла бы всю ночь сидеть на море.

Нет, Сесилия, нет. Все, что ты написала, неправда, нет.

Тереза дождалась часа, когда на фабрике начинается рабочий день. Нет, она не надеялась, что Родриго появится на службе, так и не дав о себе знать дома, никаких причин для этого не было, да и собираясь позвонить Мануэле, она ждала любой неожиданности. Даже предчувствовала, что эти неожиданности будут, и внутренне готовилась встретить их со свойственным ей достоинством.

Какое-то время Мануэла не брала трубку: иногда, если патрон отсутствовал, она не спешила в свою каморку (под «стеклянный колпак» — как говорила она, в «скафандр» — поправляла ее секретарша директора), так как срочно должна была раздать большому числу своих «заказчиков» все ею принесенное. Она была своего рода мелким торговым агентством: получала заказы от своих друзей, коллег и их знакомых, а потом распределяла эти заказы среди довольно сомнительных поставщиков. Это был ее приработок, в котором она нуждалась.

Потом наконец Мануэла ответила — ответила, что Родриго она так и не видела. Мануэла уже не скрывала своего беспокойства. И тут же попросила:

— Не кладите трубку, я спрошу кого-нибудь еще.— Тереза услышала стук телефонной трубки о коммутаторную доску, потом разговор с портье, уборщицей и служащими отдела сношений с заграницей, которым заведовал муж, потом тяжкий вздох и ответ: — Нет, он не приходил.— Тереза уже собиралась поблагодарить Мануэлу, но та ее прервала, желая услышать то, что ее интересовало с того момента, как в телефонной трубке раздался голос Терезы: — Простите, сеньора, неужели со вчерашнего дня вы не пытались искать своего мужа?

— Нет.

Обе замолчали. Молчанию, казалось, не будет конца, потом Мануэла сказала:

[1] Танцевальный зал *(англ.)*.

— Не могу поверить. Я бы уже обратилась в полицию, я бы...

— Я собираюсь это сделать. Но прежде хотела узнать, не появится ли он утром на службе.

— Если вам что-нибудь станет известно, сообщите нам...

— Обязательно, спасибо.

Полицейский, вернее сидевший за столом агент полиции, крепкого телосложения, с двойным подбородком, так и не поднял глаз на вошедшую в кабинет Терезу. Она обратилась в самое близкое отделение полиции, ведь столько раз проходила мимо дверей этого здания, что оно казалось ей знакомым, и обратиться сюда, к этим людям в форменной одежде, ей было проще, чем к другим, хотя форму она никогда не любила, потому что всегда помнила то ночное приключение Родриго (может, сомневалась в его версии?). Страна наводнена полицейскими: одни в форме, другие без формы,— они вездесущи, даже в воздухе, даже в пустом, необитаемом доме, войдя в который чувствуешь присутствие кого-то, кто не имеет внешних очертаний, скрыт, невидим, но опасен. Начиная с агента полиции, который встретил ее у двери, и кончая тем, кто наконец, согласно протокольным нормам, будет задавать ей вопросы,— четверым одетым в разную форму чинам она уже была вынуждена повторить причину своего появления в участке. Сидящий за столом агент спокойно перебирал бумаги. Не испытывая ни малейшего любопытства, он даже не поднял глаз, чтобы увидеть, что за женщина вошла в его кабинет: малорослая или высокая, худая или толстая.

— Садитесь, и вы, девушка, тоже.

Вот теперь он взглянул на них, но тут же уткнулся в бумаги. Тереза, пока он продолжал заниматься бумагами, оглядывала кабинет. На стене напротив довольно высоко висела карта Португалии, взятая в деревянную раму. Ни толстый картон, на котором была напечатана карта, ни деревянная рама не сумели противостоять летней жаре, карта выгнулась так, что приняла форму арки. Главные города страны были отмечены флажками: они держались на булавках с разноцветными головками — голубой, зеленой, красной. На боковой стене справа — календарь, рекламирующий одну из марок пневматических шин с помощью фотографии, где красовалась обнаженная женщина в позе, позволявшей кое-что скрыть. Несколько неожиданной выглядела здесь старинная гравюра, изображающая увитую плющом стену, за которой был изображен патио с деревьями и сгустившиеся тучи, чувствовалось даже, как медленно течет день.

— Итак, ваш муж не ночевал дома.— Полицейский явно приготовился к развлекательной беседе и не скрывал этого.— И частенько так бывает?

— Если бы частенько, то я не пришла бы сюда.

— Сколько ему лет?

— Сорок три года.

— Ну, это следует принимать во внимание.

— Я вас не понимаю.

— И не надо.— Во рту у него была зубочистка или то, что от нее осталось, висела точно окурок, он передвигал ее языком из угла в угол.— Сколько раз уже это случалось?

— Ни разу, я ведь уже ответила вам.

Он с недоумением поглядел на нее и прикусил зубочистку.

— При нем были документы?

— Да, были, я думала об этом. Удостоверение личности, водительские права и что-то еще. Во всяком случае, дома я их не нашла.

— И до сих пор вам никто не позвонил? — Он положил руки на стол с явным раздражением и продолжил: — Вы не ссорились? Ваш муж не из тех, кто любит пошутить?

Сесилия на стул не села, она молча продолжала стоять в сторонке, но тут выпалила:

— Сеньор, вы злоупотребляете своим положением.

Полицейский (заместитель начальника участка — это значилось на прикрепленной к столу пластинке) не ожидал подобной выходки. Какое-то время он помолчал, потом сказал:

— Вы так всегда разговариваете? Вам, видно, нужны успокоительные таблетки, девушка.

— Это моя дочь, она очень обеспокоена.

— Понятно.— Он опустил глаза, на его озабоченном лбу обозначились две морщины.— Но это еще не основание для того, чтобы быть невежливой.

Потом из лежащей перед ним пачки типографских бланков он выбрал — надо сказать, выбирал долго — три разных и аккуратно разложил на столе, давая тем самым понять, что собирается их заполнить. Помедлил, вынимая шариковую ручку из бронзового цвета стаканчика, похожего на ступку, который был сделан из папье-маше.

— Имя, возраст, местожительство?

— Чьи? Моего мужа?

— Начнем, конечно, с него.

Разумеется, Сесилия еле сдерживалась, это ей давалось нелегко. И пока полицейский записывал, стараясь быть точным (и мать, поправляя его дважды, была вынуждена подробно объяснять, где и кем работал ее муж, назвать предприятие и чем там занимаются, пока они оба не пришли к выводу, что Родриго идет по графе «торговый служащий»), Сесилию прорвало, она вмешалась в разговор:

— А не лучше ли сеньору сначала проверить, не попал ли мой отец в больницу или...

Полицейский положил шариковую ручку на стол, его маленькие, сидящие в двух складчатых сумках век глазки на мгновение закрылись.

— Вы переступаете черту дозволенного. Этого я уже не могу допустить.— Он держал себя в руках, хотел усмирить девицу, снять эмоциональное напряжение, которое принесли в его кабинет мать с дочерью, а потому как мог мягко сказал: — Всему свое время.

Спустя несколько минут, чтобы девице не пришло в голову, что это из-за ее выходок он связывается с кем-то, возможно с другим полицейским участком, он позвонил:

— Силва, ты? Прочти-ка мне список опознанных. Нет, со вчерашнего дня. Со вчерашнего утра. Да, по стране, только имей в виду, что прежде всего меня интересует район Лиссабона. Нам придется заняться одним случаем.— Слушая ответ, он откинулся всем своим грузным телом и головой на спинку стула, изжевывая зубочистку.— Хорошо. Нет, среди этих нет. И еще, среди убитых? Конечно, нелегко. Да-да, я позвоню Гедесу.

Когда заполнение бланков было закончено, он встал и, прикрыв бланки ладонью, сказал:

— Все, сеньора, что касается нашего участка, то все. Я дам вам отношение в уголовную полицию. Дело подлежит рассмотрению там.

— Зачем же, сеньор, вы задавали мне столько вопросов, записывали, звонили, а теперь говорите, дело подлежит рассмотрению в уголовной полиции?

Лицо заместителя начальника участка приняло высокомерное выражение, а пальцы смяли бумаги.

— Я хотел помочь вам, разве это не ясно? Помочь только потому, что вы, сеньора, живете в той части города, которая относится к нашему участку, если бы не это, я бы вообще не стал с вами разговаривать. И хотя я отсылаю вас в уголовную полицию, наводить справки в больницах, моргах и тюрьмах будем мы. И результат розысков станет вам известен от меня. Но на это нужно время. Теперь понятно? — Успокоившись, он посмотрел на нее внимательно, первый раз с состраданием, хотя и недобро.— Но мне почему-то кажется, муж

ваш постучится в дверь дома раньше, чем наступит вечер.— Потом они обменялись с Сесилией враждебными взглядами, и он, не сдержавшись, правда мягко произнес: — Поспокойней, девушка.

В уголовной полиции задавали те же вопросы и в той же последовательности, хотя к подробностям было проявлено гораздо больше внимания и полицейский порой даже вынуждал Терезу, прибегая к разного рода уловкам, чувствовать себя соучастницей какого-то темного преступления. В конце концов Тереза поняла, что ее раздевали донага и что жизнь ее и жизнь Родриго перестала принадлежать им. Она стала достоянием этих людей, сегодня троих, семерых, дюжины, а завтра — целого города. Каждый вопрос пригвождал ее к позорному столбу. И все говорил: идите домой и ждите известий. Ждите, ждите — но чего же ждать?

Однако до середины дня никакого звонка не последовало. Между тем Тереза снова позвонила на фабрику («в последний раз, клянусь» — ей было стыдно отвечать на вопросы даже Мануэлы) и наконец (не понимая, почему так долго колебалась) Карлосу Мурте — самому близкому другу мужа. Он примчался к ней тут же, за десять минут проехав полгорода, руки его дрожали, он походил на перепуганного любопытного хорька, примчался к ней домой («как это произошло, как, ведь должно же быть объяснение случившемуся»), точно здесь, в доме, есть тайник, куда Родриго силой запрятали.

Тереза мало знала Карлоса Мурту и, обращаясь к нему, всегда называла его полным именем. Это был человек замкнутый, но вместе с тем добрый друг, преданный, как никто.

— Больницы, Тереза, я возьму на себя. Больницами займусь я.— Он явно не хотел иметь дело с «другими местами», хотя, похоже, думал о них все время. Посидев несколько минут с зажатыми между колен руками, нервничая и не зная, что предпринять, он молча и не докучая расспросами, поднялся и медленно пошел к двери, произнося как заклинание: — Все, что необходимо сделать, Тереза, мы сделаем. Думаю, было бы лучше, если бы кто-то из вас все время находился дома. Могут позвонить. И не падайте духом, Тереза, исчезнуть бесследно человек не может.

Еще он вспомнил, что надо поцеловать Сесилию, и только ради этого вернулся. Между тем Сесилия заперлась у себя в комнате, и трогать ее не стоило: ничего, кроме раздражения, это не вызовет. Трудная девочка. Все трудные. Кто в том повинен: они сами, дети, матери, отцы, семьи? Бывали дни, когда Тереза испытывала острое, нестерпимое чувство вины, ей хотелось бежать к дочери и просить у той прощения, даже не зная за что, особенно после того, как в руки к ней попал дневник. Сесилия переживала переходный возраст, и ей надо было помочь. Через то же самое прошла сама Тереза, и тоже вела дневник (правда, недолго), и была такой же молчаливой, и ссорилась со взрослыми, и жила в собственном скрытом мире, бунтующем против насилия близких. Ведь даже взрослой женщиной она нет-нет да прибегала к этому средству — излить душу на бумаге. Ей хотелось уехать, уехать далеко, освободиться, но от чего, Тереза? Как-то, видя ее в подобном состоянии, Родриго сказал:

— Ты меня пугаешь.

— Пугаю? Почему?

— Ты все время замыкаешься, вернее, ты мне противишься, ты не целиком моя.— Она тут же уходила в себя, а Родриго, пытаясь объяснить точнее, продолжал: — Иногда ты вся моя, и я это чувствую, но ненадолго.

Тереза ничего не опровергала и не подтверждала, но лицо ее делалось мрачным и обиженным.

Уехать далеко, освободиться, но от чего? Еще сейчас она отдавала себе отчет в том, что способна умирать, умирать сотни раз в

сутки и каждый день возрождаться к жизни. Так же, как Родриго и как любой другой человек. Но как сделать, чтобы этот другой чувствовал то же, что и ты? Кто из них троих чувствует острее? Она или Родриго? Она или Сесилия? Сесилия окончит школу, окончит университет, найдет себя в работе. Тереза же останется домохозяйкой. Иногда на эту тему она заговаривала с Родриго, он уклонялся от разговора, но все же замечал: «Работа для женщины — дело важное». Больше ничего. С Сесилией будет по-другому. Не сдержавшись, она подошла к двери ее комнаты и постучала.

— Сесилия, открой, нам нужно поговорить.

— Сейчас, мама, только кое-что закончу.

Этим «кое-чем», конечно же, была сигарета. Оказалось, не только сигарета. С того момента, как вниманием Сесилии завладел рыжий полосатый кот, вышагивавший по подоконнику третьего этажа дома напротив, она уселась на пол на подушки и смотрела на этого кота не спуская с него глаз. И кот вероломно вытеснял из ее мыслей образ отца, преследуемого где-то в городе бандой людей, одетых в форменную одежду (и Карлосом Муртой, она питала к нему отвращение, к нему и его чиновничьим манерам), и этим людям наконец удалось настигнуть его и схватить.

Сесилия и кот прекрасно понимали друг друга, хотя животное об этом и понятия не имело. А может, и имело? Кот был рыжий, но грудь белая — признак породы. С такого расстояния пятно на груди воспринималось именно белым. Она угадывала (а может, воображала, что угадывала) кошачью хитрость, изумление, презрение, ненависть, а иногда подозрительность, он отзывался на все. Как же Сесилия хотела, чтобы этот кот был ее собственностью! Клички его она не знала, но хорошо бы назвать кота Тареко С окна или с балкона, уставленного горшками цветов (их поливали два раза в день), Тареко наблюдал за людьми и автомобилями, его маленькие ушки стояли торчком, все время улавливая самые тонкие звуки, доносящиеся с проспекта. Когда их взгляды (Сесилия и кота) встречались, у Тареко появлялось насмешливое выражение: они чувствовали себя сообщниками — в протесте против тюрьмы, где надзирательницей была служанка старой сеньоры. Сейчас Тареко не спеша поднимался, потягивался и шел прямо на кухню. Сесилии нравилось смотреть на него! Сообщники — что правда, то правда. На башенных часах уже четыре часа дня. Еще совсем немного — и наступит вечер. Ожидание отца? Может, ему поручили какое-то новое дело и никто до сих пор о том не вспомнил? Бедная мама, что ей пришлось вынести на этих дурацких допросах. В конце концов, может, лучше решиться на юбку и жакет в тон блузке? Она еще раз подумала: натуральный, пепельный тон. Сесилия очень хотела купить шерстяные чулки того же цвета, но отец сказал, что они выглядят дешевыми. Служащий магазина взглянул на отца и дочь с пониманием и пошел за другими, более дорогими, но мать отодвинула их, точно они были заражены чумой. Что же происходило между отцом и матерью? Ссориться они не ссорились, но вряд ли были счастливы. Надо же, она даже забыла о своем Жоане. Его невеста приезжает в Лиссабон, чтобы решить, когда ей переехать насовсем, между тем Жоану от ее приезда ни жарко ни холодно. Пять дней назад Сесилия ему позвонила, но, услышав голос его матери, повесила трубку. Тареко опять появился, разлегся в своей любимой позе. Я иду, мама, сейчас кончаю. Только еще две затяжки сделаю и выйду, ей, бедняжке, тяжело в одиночестве, надо перебороть себя и выйти, как ужасны эти допросы, похоже, что люди получают от них удовольствие. Только две затяжки. С ханжами, что помешаны на чистоте, надо быть осторожней и выбросить окурки в окно или спрятать в карман. Тареко смотрит на улицу, смотрит не отрываясь — что-то привлекло его внимание. Что же там происходит? И как живется коту в таком богатом доме у такой старой

сеньоры? Какую рыбку он ест, может лососину? Еще только одну затяжку. Сесилии нравилось следить за тем, как быстро рассеиваются спирали серовато-голубого дыма, всегда нравилась душная атмосфера зала, где курят. Вялым движением она открыла дверь. Мать ждала ее (как же она за эти два дня похудела), они взялись за руки и пошли в гостиную, где вечерами должна была собираться семья, но где она так никогда и не собиралась — редко ты бывала здесь, с нами, Сесилия.

Мать улыбнулась ей, чтобы подбодрить: они должны чувствовать взаимную поддержку. И улыбнулась не только чтобы подбодрить: в эту улыбку она вложила все свои чувства и мысли — ведь Сесилии даже в голову не могло прийти, что в этот самый момент мать со своим непонятно-спокойным выражением лица говорит ей без слов, одними глазами, что знает о ее дневнике и очень хотела бы почитать его вместе с нею. Почитать и объяснить дочери, как хочет всем сердцем понять, что же так подействовало на нее и потрясло ее, сказать, что всегда становится легче, когда случившимся поделишься, и что она тоже облегчала душу, изливая ее на белых листках бумаги, особенно по ночам, когда Родриго бывал в командировках, а ей не спалось. Исписывая листки бумаги, она вроде бы чувствовала присутствие мужа, беседовала с ним. Свет от стоявшего на столике ночника (Родриго любил, чтобы ночник горел всю ночь) падал расплывающимся пятном на белую пустыню бумаги, и переполнявшие душу Терезы четкие, исполненные чувства слова ложились на нее, но, оказавшись на бумаге, искажались до неузнаваемости. Она рвала листы, рвала на мелкие кусочки, хотя иногда и переписывала иную фразу, которую хотелось сохранить, например эту: «Когда я думаю, что ничего нового и хорошего нас уже не ждет, ты вдруг находишь для меня ласку, какое-то слово, которое меня трогает и привязывает к тебе еще крепче. Я люблю тебя. И сегодня больше, чем вчера, без сомнения, но меньше, чем завтра. Ты, безусловно, хочешь, чтобы так было? Но на душе у меня так тоскливо, так болит сердце». Она рвала все, что писала. Сохраняла только то, что называла «четверть бифштекса» и было написано ею в закусочной в то самое утро, когда они с Родриго за три месяца до свадьбы стали близки друг другу. (Сесилия, о чем ты думаешь? Это твой отец, он здесь, с нами, а вот ты, тебя, мне кажется, здесь нет. А может, это только кажется?) Все произошло в его доме или нет — в доме его тетки и дяди, куда он переселился, когда они уехали на время в Алгарве[1]. Вот то, что написала Тереза и дала прочесть Родриго, который был потрясен (потрясен, без сомнения) и в то же время удивлен написанным. «Четверть бифштекса». Воспоминания начинались так:

«Думаю, что где-то совсем рядом находилась типография, потому что, когда мы были у него дома, слышался шум типографских машин. Был обеденный перерыв, молодые парни-печатники высыпали во двор. Они шутили, смеялись, гоняли резиновый мяч. А когда заметили меня в дверях, принялись разглядывать со всех сторон. Я это почувствовала. Но притворилась, что не замечаю. У меня вид гордый, даже, возможно, презрительный, взглянув на меня раз, люди обычно больше не смотрят. И походка у меня, говорят, похожа на походку цапли, что еще больше усиливает первое впечатление. Я — сеньора. Мне везде открыт вход. И я вхожу почти всюду. Вот этим «почти» я и соблазняю. Тайны. Тайны моего выдуманного мира. Так вот, я вышла и стала подниматься вверх по улице, возможно, опустила голову. Но даже с опущенной головой я тот человек, который вынуждает других опускать взгляд. Конечно, никто не видит моей слабости, особен-

[1] Провинция на юге Португалии.

но когда я держусь в стороне и, ко всему безразличная, поглядываю на людей, делая вид, что они для меня не представляют никакого интереса. Так вот, я поднялась по крутой улице и оказалась на площади с антикварными магазинами, такси, церковью. На одном ее углу была закусочная, в которую я и вошла. А может, таверна? Пол был грязный. И скверно пахло от столов и стульев. Это был запах еды и пота — все вместе. Не люблю потеющих людей.

Что собиралась я делать после того, что только что *случилось*? Или, вернее, что хотелось мне сделать? Я чувствовала себя как-то странно: я не была счастлива, но и не раскаивалась, а пребывала в какой-то растерянности, вроде бы совсем в ином мире, чем те юные печатники, что бегали за мячом, или продавец лотерейных билетов, или слепые муж и жена, собирающиеся перейти улицу точно на переходе — как они могли с такой точностью определить, где он находится? Я вошла в закусочную. Села. Когда кружится голова и испытываешь такую слабость, лучше сесть, даже если стул тебе кажется грязным, ведь на самом деле он, может, и не грязный, лучше сесть, когда не знаешь, куда идти, или когда точно знаешь, что туда, куда идешь, тебе идти не хочется. Официант приближается ко мне, встает рядом навытяжку, с тоской поглядывает вокруг и ждет, что я скажу. Но я молчу. Я все еще испытываю странное головокружение, люблю его, знаю, что люблю, люблю тебя, Родриго, но то, что случилось, кажется мне, не знаю почему, чуждым этой любви, или я так думаю оттого, что все вокруг меня кружится. Спустя какое-то время я посмотрю на все происшедшее трезво. Я молчу, погружаюсь в себя, точно вся я, кроме моего все еще ноющего тела, нахожусь где-то, но не здесь, в закусочной, а он, официант, спрашивает: «Что вы желаете?» «Что я желаю?» — собираю все свои силы, чтобы находиться здесь, в закусочной, я повторяю сама себе его вопрос, который звучит как эхо. Что я могу желать, кроме того, чтобы сидеть на этом стуле, засунув руки в карманы и закусив губы, которые он целовал, даже сделал мне больно, я вся какая-то расслабленная, разгоряченная, точно больная? Что могу я, Тереза, желать? Вернуться туда, откуда только что пришла, то есть к нему домой, может, я его еще застану, и быть с ним весь день, все дни, недели, всю его жизнь? Любить его с каким-то странным чувством вины, в чем ты, в конце концов, виновата? Что ты хочешь, Тереза? Может, никогда туда не возвращаться? Отвечай. Официант смотрит на тебя — он ждет, и ты тоже смотришь на него, и поскольку он ждет, он тебе, бедный, подсказывает: «Сейчас обед. У нас есть бифштексы, целый, полпорции и четверть бифштекса». Он медлит, прежде чем сказать «четверть бифштекса». В мире есть все, все что угодно, это факт. Есть Тереза, это я, есть дом, откуда я пришла, дом тети и дяди Родриго (официально я с ними познакомилась три недели спустя после нашей близости), есть закусочные, красивые пароходы, которые ходят по Тежо, и над ними летят чайки, и есть, оказывается, четвертушка бифштекса. Люди кафе позаботились о своих посетителях. Они позаботились обо всех на свете, даже о тех, кому не хочется есть или у кого мало денег, хватит только на четверть бифштекса. Очень возможно, что и я себя чувствую даже не половиной, а четвертушкой. Поняв это, официант тут же добавляет: «Так сеньоре четверть бифштекса?» Четверть бифштекса, четверть (это половина половины), куда ни шло. Порция ничтожная. Порция голодающих, которая утолить голод не сможет. Я согласилась: «Хорошо, четверть бифштекса».

И тут я стала думать: как же выглядит эта четверть бифштекса? Четверть (половина половины) — это может быть так мало, а может быть и много. Странно, слово «четверть» и слово «комната» — такие разные вещи, а звучат по-португальски одинаково. Комната — спальня, комната, где друг друга любят,— это уже так много. «Чья это комната, Родриго?» — «Моя, дорогая, а дяди и тети вон та». Комната, оклеен-

ная обоями золотистого цвета. Цвет старого золота, матовый, благородный. Отчего старого? От времени. От рук времени — они пачкают, дают возможность выцвести, оставить пятно, дают жизнь и смерть. Она была в комнате Родриго, принадлежала ему вся целиком, но не переставала думать о золотом узоре обоев. Старая позолота в глаза не бросается. Она ласкает взор, ее нежный, мягкий блеск не утомляет.

Вот и официант с четвертью бифштекса. Да, четверть бифштекса — это очень мало. Миниатюрный кусочек тушеного мяса, обложенный жареной картошкой. Теперь я поняла, чем пахло в закусочной, чем пах этот стол и стул — жареной картошкой. Мяса так мало, что его запах не может перебить запах картошки. Но какое оно вкусное! Бифштекс — настоящая еда, неважно, много его или мало. Я отведала нечто божественное. Съела в мгновение ока, и с такой жадностью, с таким удовольствием, что внимательный официант подошел ко мне снова. «Может, сеньора хочет еще четверть бифштекса?» И я тут же ответила, и, думаю, тон мой был соответствующим: «Прекрасно. Может, еще одну четверть бифштекса?»

Четверть и четверть будет половина. Половина чего? Одного бифштекса, пусть будет половина одного бифштекса. И снова мозг мой сверлит та же мысль: что же такое четверть чего бы то ни было, даже если это кусочек мяса с жареной картошкой? Что такое половина, треть, пятая часть, я отвечу не задумываясь, но что такое четыре четверти одного целого? Как бы ни было, но вторая четверть бифштекса была больше, чем первая. Официанту я понравилась. А может, он решил, что мне надо поправиться? Что мне нужен кусок побольше, чем первая четверть бифштекса, чтобы я, наконец, утешилась. И потому что я ему понравилась, меня так и подмывало сказать ему (хотя я и не сказала, не могла сказать): «Хотите знать, что со мной? Сегодня утром, когда вы (я считала необходимым обратиться к нему на «вы» или назвать «сеньором», «ты» — никогда) здесь, в закусочной, обносили посетителей кусочками бифштексов, стаканами молока и поджаренными хлебцами или ухаживали за этими стариками, пенсионерами, которые надевают пальто за два месяца до наступления холодов, у меня и, думаю, у него была свадебная ночь. Когда любишь, все происходит как в первый раз. Несколько минут назад я была выбита из колеи, растеряна, даже разочарована (нет, нет!), теперь, после вашей четверти бифштекса, я пришла в себя, обрела себя.

Сейчас утро. А я говорю о ночи, и это лишь потому, что существует убеждение, будто люди любят друг друга только ночью, но я хорошо знаю, что сейчас утро. И это мне подтверждают не только часы, но и люди, занятые тем, чем положено им заниматься в утреннее время. Сейчас утро потому, что прошедшая вчера летняя гроза с молнией и всем прочим расчистила все небо, чтобы с приходом рассвета можно было смотреть в яркую синеву. Мои глаза полнятся этой синевой, впитывают ее и, возможно, сами становятся синими.

Заметил ли ты, Родриго, что утро было прекрасным? Нашло ли в твоей душе отклик умытое небо, когда ты спускался по идущей вниз улице? Я спрашиваю потому, что ты ведь не шел, как я, пешком. А я отдалась красоте голубого утра, и вся была омыта свежестью дождя, дождя, которого уже не было, и в глазах моих, когда ты открыл мне дверь и целовал их отражалась безоблачная голубизна. В моем поцелуе чувствовался дождь и яркий, сменивший дождь солнечный свет, почувствовал ли ты это, Родриго? Мог ли ты все это почувствовать, когда с нетерпением припал к моим губам?

Теперь я, кажется, припоминаю, что официант не предлагал мне вторую четверть бифштекса. Он просто принес ее мне, не спрашивая моего согласия, принес, потому что понял — я съем еще одну порцию. но я не в себе и никак не могу попросить его об этом. И что я теперь буду делать, после того как съем вторую порцию? Я люблю тебя, я мо-

гу тысячу раз, даже не раскрывая рта, повторять, что люблю. Проведенного с тобой утра я не забуду никогда. Только ради этого стоило узнать тебя, стоило любить тебя, и все же, кто ты, я не знаю. Но люблю тебя, мой неизвестный. Что я буду делать после этого утра, в которое мы отдались друг другу, в которое любили и страдали, словно больше такой возможности любить и страдать нам никогда не представится, мы хотели остановить каждое мгновение. Ты оставил меня опустошенной, нет — в тревоге и растерянности, потому что неожиданно выражение твоего лица изменилось. Я ощутила, что между нами встала какая-то стена. Это я должна тебе сказать. Неожиданно твои нежные, но вдруг чужие руки перестали ласкать мое тело, они были в каком-то замешательстве, они прощались со мной и жаждали проститься как можно скорее. Потом эти сказанные тобой слова: «Все, Тереза, мне нужно идти на службу. Я отпросился на это время. но я должен быть там до перерыва на обед. Встретимся вечером». Я даже похолодела, так я была поражена. Но постаралась как могла сделать так, чтобы ты этого не заметил. Удалось ли мне? Это было наше утро, наша ночь, а ты думал о службе, придумывал какую-то причину, чтобы оправдать свое отсутствие на работе да еще чтобы оно послужило интересам конторы, в которой ты служил. Что-то ты сказал еще, но я уже не слушала. Кажется, ты спросил меня о чем-то, и твои же слова были ответом на твой вопрос, ты говорил о своей службе и был искренен. Ты сказал, что такова жизнь, твоя и моя: предприятие контролирует твое время, и, возможно, оно, это предприятие, станет опорой твоей жизни, и что в это утро (такое необычное и такое банальное) мы с тобой встретились с тем, что станет нашими буднями. Так (неловко, наивно?) ты доверился мне, раскрыл то, что и без того было ясно. Мне тебя винить не в чем.

Похоже, у всех такая жизнь. Но я всегда ждала большего, и ты сам, я уверена, ждешь большего, того, что мне трудно выразить да и ты мне дать не можешь.

Потом наше утро быстро погасло, сколько раз я тебя раздражала, вмешивалась в твои решения, а иногда и совсем оставалась в стороне как безразличный, сытый тобой по горло наблюдатель, предоставляла тебе возможность идти стремительно вперед, идти самостоятельно, хоть и нетвердо, хоть и обычным твоим путем. И когда ты пытался понять мое молчание и отдаление, я же сама тебе призналась: «Не обращай внимания, Родриго. Я всего лишь хочу видеть, куда ты придешь в одиночку». Не стану отрицать: я всегда ждала большего. Вот почему я иногда обеими руками хватаюсь за такие, казалось бы, пустяки: заботливость официанта, неожиданное открытие вкуса крошечной четверти бифштекса».

Привратница уже знала об исчезновении Родриго. Может, ей сказала сама Тереза? Тереза не была уверена, но вполне возможно, что она сама же и сказала. О своей встрече с привратницей, которая подметала улицу у входа в подъезд, она вспомнила, спускаясь вниз по улице к «Булочной» и «Молочным продуктам», но тут же это воспоминание растворилось в тумане бессонницы. А может, это Сесилия ей сказала? Да не все ли равно кто! Как бы там ни было, но происшедшее стало известно людям, с которыми Тереза никогда ни о чем не говорила. Со вчерашнего дня все всё знали. Выходила ли Тереза из дома, подходила ли к окну — на нее смотрели. Потом неожиданно начинал звонить телефон: почти все звонки были из «Новилектры» или от друзей. И так же неожиданно замолкал. И молчал целый час. Так ли уж были взволнованы те, кто знал Родриго? Может, это была простая необходимость выразить сочувствие? Посещение полиции, решение, что Карлос Мурта справляется о Род-

риго везде, где может. Потом эти двое, что рассказывали о Родриго в кафе. Визит репортера, он не был ни назойливым, ни неуместным. Заметка в газете, оставившая ощущение совершившегося насилия. И ужасное молчание — молчание Родриго. Мертв? Жив? Полиция, которая не давала покоя Сесилии, была вынуждена сообщить, что пока (они подчеркнуто повторяли «пока») поиски никаких результатов не дали. «Но зачем же так беспокоиться, сеньора? Было бы гораздо хуже, если бы вашего мужа уже нашли в какой-нибудь сточной канаве. Он объявится, ждите». И у Терезы возникало чувство, что все обойдется. Родриго жив. Она видела его живым. Была уверена. Этой ночью Тереза заснула только под утро, сон подкрался неожиданно и сморил ее, он был короток и тяжел. Кошмар за кошмаром. И кошмары эти были ужасны. Родриго был заключен в капсулу, походил на зародыш, туловище которого обвивали две змеи, руки его пытались высвободиться из этих объятий, моля, взывая о помощи. А как он ненавидел змей и вообще всех пресмыкающихся! Родриго был жив.

Потом произвошло нечто странное. Опять зазвонил телефон. Обе бросились к аппарату, как только услышали его призывные и пугающие звонки, но первая трубку схватила Сесилия. В трубке молчали. Потом послышались короткие гудки. «Кто это?» — спросила Тереза. «Должно быть, из автомата». Через несколько минут все повторилось. Кто-то дышал в трубку, кто-то был там, на той стороне провода. Но молчал. «Кто это?» Ответа не последовало, но кто-то же дышал в трубку? Что, он не умел пользоваться автоматом, не опустил монету или?.. И так три раза, и все три раза брала трубку Сесилия. Позвонив третий раз, кто-то, прерывисто дыша, точно от бега, долго не клал трубку, и Сесилия неожиданно крикнула: «Это ты, отец? Отвечай, ради бога отвечай, я знаю, что это ты».

Терезу кольнуло, сердце пронзило как иглой, но Сесилию она ни о чем не спросила.

И еще. Полицию заинтересовала одна мелочь:

— Опишите плащ вашего мужа. Вы нам не сказали, что он, прежде чем выйти из дома, взял плащ. Так как было: он держал плащ в руке или надел его?

— Как раз на это я обращала ваше внимание. Погода была хмурая, как сегодня. Я попытаюсь вспомнить, надел ли он плащ или держал в руках. Это так важно?

— Какой был плащ?

— Что случилось? Объясните, пожалуйста.

— Сейчас нам важно, чтобы вы описали плащ.

— Обычный плащ. Такие носят почти все. Цвет, цвет...

— Цвет?

— Бежевый.

— Поношенный?

— Не очень, но, в общем, поношенный. Лет пять он у него.

— Какая марка?

— Вы имеете в виду фабричное клеймо?

— Клеймо торговой фирмы. Пожалуй, торговой фирмы устроит.

— Подождите, я вспомню. Да, я купила его на улице Пиньейрос, кажется, там.

Собеседник, похоже, сопоставлял данные и не клал трубку. Тереза попросила:

— Пожалуйста, скажите, почему вы все это спрашиваете?

На другом конце провода медлили, молчали, потом глухо сказали:

— Найден плащ, такого же цвета. Кофе с молоком, на пароме. Один человек видел...— Тереза почувствовала удушье, губы ее мгновенно высохли.

— Это он!

— Кто он?

— Плащ моего мужа.

— Опознать можете только вы.
— Я опознаю плащ! Я сейчас у вас буду.
И, положив трубку, бросилась вон из дома.
Найденный плащ оказался плащом Родриго.

Невес сообщил мне, что Фарии Гомесу стало несколько лучше, и тут же мрачно добавил: «Но хорошего ждать все равно не приходится. Зашли бы к нему». Я вопреки желанию зашел, но ненадолго, и поскольку темы для разговора не было, каждая минута казалась мне часом. По правде говоря, никакого улучшения я не заметил. Возможно, именно потому я и продолжаю копаться в прошлом («в случившемся ранее», как сказал бы на моем месте строгий педант Невес), пытаясь оживить время и память.

Я снова вижу себя, вижу его — мы молча идем по Шиадо. Моего присутствия он, казалось, не замечал. Вышагивал, высоко подняв голову, как на параде, и, свирепо сдвинув косматые брови, не проявлял никакого интереса к окружавшей нас фауне. Через головы юнцов, толпившихся у витрин книжных магазинов, Фария Гомес скептически оглядел литературные новинки. Но ни у одной из витрин не задержался, точно был заранее уверен, что стоящую вещь здесь не найти. Однако когда мы пришли в квартал Байро-Алто, он обошел не спеша лотки букинистов. Листал одной рукой, не снимая с лотка, книгу за книгой, а другой — я ничего подобного никогда не видел — подкручивал упрямые концы своих бровей. И хотя я действительно никогда не видел, чтобы кто-нибудь подкручивал брови, жест этот сразу же напомнил мне моего дядю-нотариуса, обладателя нафабренных, как у якобинца, усов. Выражение лица у Фарии Гомеса было скучающее, временами он даже походил на Кастел-Бранко, но взгляд его оставался проницательным. Ему явно было безразлично, нравится мне или не нравится этот просмотр антикварных книг. Потом он протянул одну из взятых им с лотка букинисту:

— Сколько?

Букинист сдвинул берет на затылок, поднес книгу к глазам и, вроде бы обнюхав ее корешок, сказал:

— Двенадцать эскудо.

Это было старое издание сборника «Простых»[1]. Фария Гомес обернулся ко мне и, глядя в упор, почти грубо спросил:

— Есть у вас двадцать эскудо?

Я тут же дал ему деньги, надеясь, что Фария Гомес вернет мне сдачу, но он небрежно сунул ее в карман.

Из бара вышли две девушки. Фария Гомес оборачивался, поглядывал им вслед, пока они не исчезли из виду, но ничего не сказал. Пожалуй, именно тогда я заметил, что его интересуют женщины. (Нет, не тогда — я вспомнил: как-то в кафе он стоял на галерее в проходе между столиками и не спускал глаз со смуглой девушки, подошедшей к компании киношников, а потом чуть ли не с яростью сказал: «Провести бы с такой хоть недельку, а потом — трава не расти». Да, интерес к женщине — характерный штрих его личности, пожалуй, мне следует повнимательнее отнестись к его связи с Бией, которая спит на циновке у кровати хозяина всякий раз, как тот насытится ее ласками.)

На смотровой площадке у Сан-Педро-де-Алкантара он замедлил шаг и присел на краешек свободной скамьи, таким образом приглашая сесть и меня. Перед нами высились холмы, залитые яркими лучами солнца. Отблеск этих лучей трепетал на окнах домов, четко вырисовывавшихся на фоне недвижных подрумяненных облаков. Купола церквей, строящиеся дома, узкие, сбегающие вниз улочки и

[1] Сборник стихов португальского поэта начала XX в. Алибио Герры Жункейро.

высящийся на вершине замок с застывшими вокруг него деревьями — все это напоминало сцену из сказочного рождественского вертепа, освещенного бушевавшим внутри огнем. Тем приятнее был ветерок, который дул в спину. Он, казалось, смягчал сухость во рту.

— Мне понравился ваш роман, если мое мнение вас интересует,— сказал он, и сказанное, подобно выстрелу, после которого на рубашке расплывается красное пятно, попало в цель.— Ваша книга пришла в кафе с улиц, пришла сама, без чьей-либо протекции. Она признана читателями, никогда не забывайте об этом. Вы на верном пути. Даже если вас будут кусать за пятки, идите вперед. Помните это.

Я это помнил. Однако не мог оценить значение брошенных, точно объедки с царского стола, слов (нечего и сомневаться, «Принц» — великолепное название для моей книги), прозвучавших как высшая похвала и даже более того — своего рода предложение (великодушное) покровительства. Да, Фария Гомес решил мне покровительствовать. Возможно, он чувствовал, что у нас одни корни. Ведь мой роман в какой-то (а может, и значительной) степени мог воссоздать атмосферу его детства, однако со временем я убедился, что он просто любил брать под свое широкое крыло всех начинающих, вернее, всех, кто по той или иной причине еще не был принят в злополучный кружок завсегдатаев кафе. Потом, при первом проявлении самостоятельности, он предоставлял их самим себе или присоединялся к лагерю их противников. Кстати, Фария Гомес хвастался, что ему ничего не стоит создать или погубить чью-либо репутацию, тут вполне достаточно двух слов, а иногда — одной фразы. И уж если он брался за это черное дело, жало его языка вонзалось в жизненно важный орган. К примеру, в случае с Кастел-Бранко, начавшем публиковать свои «Апологетические заметки» (кстати, зная, что Гомес люто его ненавидит, Кастел-Бранко расточал ему самые нежные похвалы), Фария Гомес сказал одну-единственную фразу, после того как неделю-другую слушал брюзжание образованных лиссабонцев и видел ликование тех, кто на страницах газеты делал пометки красным карандашом, подчеркивая восторги параноика, возомнившего себя гением.

— Да...— сказал он.— Никогда не думал, что он такая сволочь и такое ничтожество.

И это был приговор «Апологетическим заметкам». Можно сказать, реквием. Любопытно, что после сказанного Фарией Гомесом читатели перестали называть «Апологетические заметки» острыми и полемическими.

Взаимоотношения между моими собратьями меня всегда тревожили, но особенно когда я приезжал в столицу. Я их не мог понять. Они испытывали друг к другу какую-то неясную, но глубокую неприязнь, постоянную настороженность, которая отравляла их общение друг с другом. Нечто похожее на соперничество или зависть. Иногда Кастел-Бранко, как и Фария Гомес, снисходительно поддерживал какого-нибудь неофита критической похвалой, если тот, конечно, чем-то выделялся, но тут же выходил из себя:

— Да, черт побери, это слишком. Он того не стоит.

Итак, соперничество, иногда искренние страдания, зависть к чужому успеху. И даже нечто большее чем зависть. У меня создавалось впечатление, что каждый из них совершил в жизни какую-то подлость и живет в постоянном страхе, что эта подлость вот-вот выплывет наружу. Возвращаясь в свое деревенское убежище, я испытывал огромное облегчение. Между тем собратья мои были люди как люди, и многим, особенно в юности, довелось узнать истинную дружбу. Так в чем же дело? Почему, например, Кастел-Бранко, страдавший прежде отчаянным (или патологическим?) «самоедством», вдруг воспылал любовью только к собственному таланту и любую похвалу в адрес

другого считал заговором против себя, а молодых литераторов в своих «Апологетических заметках» поносил или восхвалял, согласуясь с тем положением, которое они занимали. Он забыл нашу юность? Или она послужила лишь отправной точкой для затаенной злобы? (А я, я тоже забыл нашу юность? Отвечай-ка, Андре Бернардес, ну-ну, скажи: все мы — лишь жалкое подобие литераторов.) Если посмотреть на нас *со стороны*, вне метастазы злокачественной литературщины, и не на тех, что сидят в кафе, а на постоянно живущих повседневной настоящей жизнью (а настоящая ли она? — вот в чем вопрос) — жизнью чиновников, торговцев, врачей, журналистов, учителей,— то все мы мало чем отличаемся от тех, кого обычно называют обывателями. Да и от деревенских батраков из тех мест, откуда я родом, мы тоже мало чем отличаемся, разве что у тех на уме одни виноградники, и будучи обделенными духовно, они жадны, себялюбивы, хитры и заносчивы, как и живущий по соседству сапожник мастер Дионизио, который колотит жену и детей только потому, что он мужчина, а мужчина должен кого-то дубасить. И те и другие стремятся в общем-то к одному и тому же: утвердить себя, определить сферу действия, которую смогут назвать своей, а потом ясно и четко предъявлять свои требования. Разница только в том, что мои собратья (я должен заострить эту мысль, хотя и выражу ее наверняка не очень ловко) скрывают, словно постыдную болезнь, все чистое и настоящее, что у них есть. А это неизбежно приводит к душевным мукам и одиночеству.

Для Фарии Гомеса одиночество, как я считал, было составной частью его самого — чем-то вроде второй шкуры. Вроде физиологической среды, которой становятся внутренние органы человека, когда в них поселяются некоторые виды глистов. Однако в его жизни была Биа, непонятное существо,— какую же роль она играла в его жизни? Служанки, домоправительницы, любовницы? Биа — это персонаж, во всяком случае, для моего романа.

Снова вспоминаю тот вечер на смотровой площадке. Я не хотел упускать возможность побыть с ним рядом и дал ему насладиться городским пейзажем. Какое-то время спустя, не сказав ни слова, он встал, встал в нерешительности, видимо выбирая, в каком направлении двинуться, и пошел по одной из улочек квартала Байро-Алто, не оглядываясь, не желая даже удостовериться, иду ли я следом. Конечно, я пошел за ним не раздумывая. Мы миновали одну улочку, потом другую и очень скоро снова оказались на смотровой площадке. Тут я понял, что сделанный нами круг был его привычным маршрутом. Шел он, как ходят крестьяне: твердо, неторопливо, рассчитывая силы на весь предстоящий путь. Мятые брюки на тощих ногах обвисли, как у паяца. Что-то комическое было и в спокойном, высокомерном выражении его лица, которое так не соответствовало заношенному до блеска пиджаку и жеваным брюкам. Лишь много позже я понял, что прогуливался Фария Гомес не просто так — целью его прогулок было желание посмотреть на закат. А чтобы скоротать время, он ходил не останавливаясь. Когда у подножия прибрежных холмов погас последний луч мягкого вечернего света (была осень) и все вокруг обрело жесткие очертания. Фария Гомес заговорил. Понимать его было трудно: он обкатывал во рту слова, обволакивал их слюной, а потом будто выплевывал, выплевывал все разом. Но как бы то ни было, я не осмеливался просить его повторить сказанное и вел себя точно так же, как с моими коллегами по кафе: осторожно, словно шел по минному полю. Один неверный шаг — и взрыв неминуем.

Вот то, что касается Фарии Гомеса, а сейчас меня, пожалуй, больше интересует разговор с Феррейриньей, разговор без свидетелей, и возможность сосредоточиться на заметке, которую он посоветовал мне прочесть. Сама по себе эта история с исчезновением человека интересной мне не кажется, но Феррейринья, похоже не без умысла,

обратил на нее мое внимание. С серьзным видом он описал свою встречу с женой пропавшего, это была не простая встреча, нет (и многозначительный намек на то, о чем он умолчал), он живописал мне эту женщину в общих чертах, но и того было достаточно, чтобы я представил себе ее манеру поведения, уклончивые ответы, эмоциональную сдержанность. Я как будто вижу ее перед собой. Еще есть дочь, судя по всему, дикий зверек, есть серые будни, и эти серые будни заставляют меня подозревать, что они — дешевая рама, в которую заключено что-то необычное. Возможно, этот самый Родриго послужит мне прообразом для будущего персонажа, и скорее, чем Фария Гомес,— ведь между ним и мной ничего нет и не было, и я волен додумывать его образ без обязательной сверки с прототипом. Человек исчезает, и город тут же узнает о его существовании (интересоваться им он не начал, нет), и потому его исчезновение нарушает некую мнимую, предательскую гармонию. (Еще раз продумать возможность подобной отправной точки.)

Опять я разбрасываюсь, я это понимаю. Сегодня утром я получил письмо от Марты, кое-что в письме меня заинтересовало. Может быть, отправной точкой для моего романа явится именно оно, и на нем мне необходимо сосредоточить все свои чувства, с тем чтобы заняться расследованием, вот только расследованием чего? Я дезориентирован и трачу свои эмоции попусту. Именно поэтому я не пишу, а все откладываю да откладываю. Что же внутри меня разладилось? Для писателя это постоянное, разъедающее душу откладывание — смерть. Но о чем, о ком писать? Не знаю. Знаю только, что не писать — это, будучи живым, не жить, а существовать, быть калекой, пустоцветом. Возможно, Кастел-Бранко сыплет соль на открытую рану, когда говорит нечто подобное и ведет себя с людьми и событиями так, будто имеет полное право приносить в жертву и этих людей, и эти события жестокому, но высокому предназначению — творчеству. Он признается (в художественной прозе, конечно, которая всегда искупительна) в своей ненависти ко всему живому — даже к детям, да, к детям, наивным, доверчивым, обездоленным, верящим во что-то или в кого-то. Для него это глупости. Пустозвонная и докучливая чушь. Он признается, что частенько испытывает желание пырнуть кого-нибудь чем-нибудь острым, чтобы изуродовать, оставить след, обречь на страдания, как это он сделал с Ауророй Зарольей. Но, выворачивая свое грязное нутро предателя и себялюбца, Кастел-Бранко приносит его на алтарь жестокого и требовательного бога — литературы. Терзая себя, он, как я понимаю, наслаждается. Это смущает меня, множит мои сомнения, и я не могу решить, где мое место: в литературе или вне ее? Марта меня знает. Знает, как никто другой. Даже когда я прячусь от самого себя, она находит меня в моем убежище и указывает мне самому, где я. В письме, которое я сегодня получил, об этом ни слова, но это само собой разумеется. Марта уехала (надолго ли — не знаю). Мне будет не хватать ее, хотя пока что я чувствую облегчение оттого, что она далеко. Грустно, конечно, я лишился ее моральной поддержки и в то же время, повторяю, вздыхаю с облегчением. Но пройдет несколько дней, и я не буду знать, куда девать себя. Все так сложно. Или я сам все усложняю? Легко мне только тогда, когда я слушаю голос Марты, слушаю, как она призывает меня быть стойким, быть последовательным. «Послушай, Андре, приезжай ко мне. Я готова на все. Мои страхи кончились». Тут я заражаюсь ее бесстрашием, и мне хочется сказать ей об этом, хочется проверить это свое бесстрашие. Письмо ее я перечитывал несколько раз, она пишет так, что невольно начинаешь жить ее чувствами. Я беру ее письмо и опять перечитываю:

«Станция Пампильоза.
Андре!
Пока поезд стоит и к нему прицепляют новые вагоны (резко, рыв-

ками, точно стараются всех нас напугать), я хочу поговорить с тобой. Последние дни я читаю «Слова — это камни» (помнишь, эту книгу мы начали читать вместе? Ты посоветовал ее прочесть) и словно слышу тебя снова — расстояния сокращаются, и мне кажется, что ты рядом. Жаль только, что трудно отключиться от окружающей действительности (такой шумный поезд), мои попутчики стараются втянуть меня в завязавшийся разговор. Если бы не мое острое желание побыть одной, то, может. я и поддержала бы их болтовню. Они настойчивы, не отступают, говоря громче обычного. Я мельком поглядываю на них, и это их воодушевляет. Должно быть, мой взгляд — как у побитой собаки — не внушает им ни страха, ни уважения. И это так, ты же знаешь. Кстати, еще раз хочу сказать тебе: будь у меня деньги, я бы летала самолетом (это искреннее желание и, как видишь, обоснованное). Экономия времени, сил и никакой докуки. К тому же в самолете люди застрахованы от общения с себе подобными. Путешествие в самолете отдаляет людей друг от друга, держит их на определенном расстоянии, а в поезде они стремятся к сближению. Как только человек входит в вагон, он тут же начинает выкладывать попутчику всю свою жизнь или делиться с ним припасами. Это, конечно, не так уж плохо, иногда даже поднимает настроение, но есть и неудобства, так ведь? Вот как сейчас, к примеру.

Кстати, эта их болтовня еще не самое худшее. Злит меня (глупо, я понимаю) другое: стоит мне поднять глаза, как я тут же вижу молодого человека, который сверлит меня взглядом. Такая настойчивость претит мне. Мне неприятно, я испытываю беспокойство, к тому же она мне надоедает. Поезд — слава богу! — тронулся. Наконец-то. Молодой человек (опять я о нем) просто бесит меня, и, главное, потому, что его глаза — не твои глаза. Твои *успокаивают*, вселяют уверенность, как бы ни казалось это странным. Ты-то в себе не уверен, занимаешься самокопанием, выискиваешь крупицы мужества, точно оно все из тебя вышло, а на самом деле ты им полон. Я это знаю, Андре, ощущаю твое мужество, ты мне его передаешь. Оно-то и дает мне силу жить, вынести эту поездку и все, что с ней связано, на твое мужество я и надеюсь. Так вот, взгляд этого парня возвращает меня к действительности: тебя со мной нет. Подтверди и ты свое отсутствие, скажи, что обманывать себя незачем. Эти глаза не твои, твои — такие ласковые, такие любящие, они видят меня насквозь. Когда я думаю о твоих глазах, я тут же вспоминаю твои руки: сильные и слабые, грубые и нежные, нервные, но для меня всегда прекрасные. Все, к чему они прикасаются, оживает. Они — вода, они — огонь. Теперь я всегда обращаю внимание, какие у человека руки. Я тебе никогда раньше не говорила, но сейчас скажу: ты меня завораживаешь, гипнотизируешь (только не возгордись, прошу). И взгляд твой не ранит, не причиняет боль, он сама нежность, он проникает в меня, как жизненные силы — в кровь. (Не удивляйся. Я пишу все, что приходит в голову.)

Сейчас мы едем среди гор. Ни сосны, ни оливы, ни эвкалипты не способны привлечь внимание тех, кто увлечен словесным потоком. Я чувствую себя оглушенной, голова идет кругом. Мне так и хочется крикнуть: «Да замолчите же вы!» В вагоне я как в плену, у меня бешеное желание рвануть стоп-кран, остановить поезд и бежать. Сбросить туфли, ощутить под ногами траву и хвою, пить напоенный ароматами воздух, слушать шум ветра, уткнуться в папоротники и замереть. Этот лес напоминает мне другой лес — «мой». Лес твоих волос, жестких и непокорных, иногда торчащих во все стороны, а иногда падающих на лоб. Я запускаю в них пальцы и чувствую, как твои волосы противятся

моему желанию приручить их. Самый манящий и самый недоступный для меня лес. Я вспоминаю его с безысходной грустью, жажду его, но эта жажда никогда не будет утолена.

Потихоньку спускается вечер. Мелькающие за окном тоскливые пустоши успокаивают меня, я почти счастлива. Я люблю ночь. Когда она приходит, исчезают преграды, а расстояния скрадываются. Она — широкое и необъятное покрывало, которое, укрывая все, успокаивает страсти. А знаешь, Андре, у меня была тайная надежда, что ты мне скажешь: «Я не отпущу тебя, Марта. Не возвращайся к мужу, мы с тобой созданы друг для друга. Давай переживем вместе все, что уготовано нам судьбой». Мне так хотелось от тебя это услышать, и мне показалось, что я услышала. Но то была игра воображения (это сразу стало ясно), хотя она и доставила мне такую большую радость, какую доставляет путешественнику оазис в пустыне. И тут же чудо обернулось болью: на лице твоем я увидела страдание, нежность и желание удержать меня, но одного желания мало. Честно говоря, я не понимаю: чего ты боишься, за что так держишься? Как не понимаю и того, что же для тебя главное. Мне кажется, ты многое хочешь отдать, а может, наоборот: только взять. Все остальное — маскировка. Тебя подавляет твоя литература или как вы это называете (прости, я обещала не говорить на эту тему, особенно так резко, как сейчас, я причиняю тебе боль).

На рассвете мы уже в Испании. Я все еще в чреве воображаемого мною бесформенного чудовища, чувствую вокруг себя его грязные внутренности. И пытаюсь, вспоров его брюхо, впустить чистый воздух, чтобы можно было дышать. Но осуждающие взгляды пассажиров говорят, что они не разделяют моего желания. Я не обращаю внимания и рывком опускаю окно, всего на несколько сантиметров, как мне только это удалось? Сама не знаю. Резкий холодный ветер треплет мне волосы и наполняет легкие. Закрыв глаза, я жадно вдыхаю его и пьянею. У меня за спиной здравый смысл и не признающая риска мудрость (мудрость знакомых тебе крестьян, так ведь, Андре?): «Девушка, вы же простудитесь!» Что за народ? Они и не рабочие, но уже и не крестьяне, теряют родину и никогда не обретут другой, привычные к зимам, они же знакомы с холодным утренним ветром — и вдруг пугаются струи свежего воздуха! Но даже струя свежего воздуха не вынудила умолкнуть бывшую крестьянку, а теперь то ли работницу фабрики, то ли прислугу парижской буржуазной семьи, в глазах и теле ее усталость. («Я девятерых выкормила, выкормила своей грудью, сеньоры, детский рожок — это для француженок, у них ведь в грудях не молоко, а моча!») Будь я жестокой, Андре, я назвала бы ее дойной коровой. Но я молчу. Что-то в ней внушает мне уважение, и я отдаюсь этому чувству. Должно быть, в благодарность за это она избирает меня своей слушательницей и продолжает: «Хозяева охотней берут нас, и это понятно — француженки все лентяйки. И французы тоже. Им бы только поесть повкуснее да поспать послаще. А уж стыда-то у них... если бы вы, девушка, знали!..»

Вот каковы наши несчастные эмигранты (иногда я забываю, что я сама из тех, кто приехал с первой партией). Для них фабрика — тюрьма, они не замечают времен года. Для них (этой бывшей крестьянки, выкормившей девятерых детей,— сколько же ей было, когда она родила первого? Можно подумать, что она родилась замужней) воздух, солнце, дождь — что-то давно ушедшее и смутно напоминающее о нищенских годах, проведенных в родных краях. «Я уже купил в Португалии два дома и сдаю их внаем. Я тоже не как французы, нет, они ведь только об удовольствиях думают. А для меня существует работа и дом, и так с

пятнадцати лет». Тому, кто только что так хвастливо и поучительно сказал это, около сорока, не больше, трудно определить его возраст. Его поддерживает другой, которому явно за шестьдесят: «Не жалей, что живешь так, не жалей. Со временем поймешь, что поступал верно. Самое надежное дело и верный доход — это дома». К ним присоединяется еще один: «Я в Португалию вернусь не поездом, нет, прикачу не на какой-нибудь таратайке, а на «баньоле». Они, видно, никак не могут понять, кто же я. Еду в поезде скромно, как и они, терплю эту муку и в то же время везу мешок книг, все время пишу или читаю. Я для них «чужая», и мои капризы, как, например, желание открыть окно и впустить воздух, им непонятны. Должно быть, именно поэтому один из них швыряет камешек в мой огород: «Для чего учиться? Учеба теперь денег не приносит». В его словах даже нет враждебности, наоборот. В своих потертых jeans[1] (так я написала это слово, сеньор писатель?) я кажусь им подростком, студенткой, возвращающейся после каникул. Мое ненакрашенное лицо, его желтоватый цвет говорят им, что я из эмигранток-интеллектуалок. И он продолжает, теперь уже явно стараясь задеть меня: «Они ведь заработанные деньги на учебу тратят. Никакого здравого смысла. А ведь учеба не для всех». Я улыбаюсь, а та усталая крестьянка, которая девятерых выкормила, кладет мне в знак расположения на колено руку и призывает к благоразумию. Бранные слова «сволочи», «зараза», «сукин сын» — для нее самые ласкательные. Ими она пересыпает свою речь. Но никто, кроме меня, на это не обращает внимания. Дорогой Андре, письмо пора кончать. К тому же я смертельно устала. Хочу спать. Пусть ветер донесет до тебя мою тоску. Забудь все, что я тут тебе написала. Я знаю, что ты меня любишь. И когда-нибудь все изменится, уверена. Когда-нибудь ты обнимешь меня, мы будем любить друг друга при лунном свете, но ты не согласишься, чтобы он ко мне прикасался. Целую,

Марта».

Милая, милая Марта, ты знаешь не хуже меня, что цена мне грош в базарный день. И все-таки любишь. И все-таки безжалостно обнажаешь мои слабости. А я не хочу даже думать, где ты сейчас и с кем.

Эмигрантка Марта (я пытаюсь отделить ее от той, которую люблю) — это тоже героиня моего произведения. Попробую-ка описать ее: смуглая, с глубоко посаженными блестящими глазами цвета морской волны. Стройная, походка танцующая, гибкая, тонкая талия, округлые бедра, на которые так и хочется положить руки. В ее трепещущем теле разлита трогательная истома. От наслаждения Марта вскрикивает. На все вокруг смотрит жадным, обеспокоенным взглядом. Даже сегодня, когда самому себе пытаюсь нарисовать, кто же такая Марта, чувствую полную растерянность. Марта безусловно многолика, она не одна, их несколько, и все разные. Ту, с которой я познакомился три года назад, теперь считаю грубой подделкой: тогда она играла роль, и, надо сказать, совсем ей неподходящую.

Впервые мы встретились с Мартой в коридоре суда, оба мы были свидетелями по делу одной студентки — племянницы поэта Жоана Пруденсио, с которой ПИДЕ собиралась свести счеты. Она была членом молодежной организации, помогавшей дезертировать тем, кто вопреки своим убеждениям должен был ехать в Африку. За месяц до суда полиция поместила эту студентку в психиатрическую клинику, поскольку известный всем дядя развил такую деятельность, что

[1] Джинсы *(англ.).*

поднял на ноги чуть ли не полсвета, он хотел, чтобы все узнали о чудовищной бойне; сотни интеллектуалов выступили с протестом, а во французской «Монд», всегда метившей в самое уязвимое место португальского режима, появилась удивительно смелая статья. Кстати, среди сборщиков подписей, как и среди подписывающих акты протеста, были очень известные, не раз принимавшие участие в подобных кампаниях люди, однако случались и сюрпризы, как, например, с модным в то время режиссером Аугусто Травассосом: он заявил, что сыт по горло подобными представлениями, и отказался поставить свою подпись. Тогда, конечно, никому даже в голову не могло прийти, что тринадцать лет спустя, 26 апреля 1974 года, когда из тюрьмы Кашиас будут освобождать политзаключенных, Аугусто Травассос поспешит туда, на холм, чтобы возглавить тех, кто пришел приветствовать выступавших против фашистского режима борцов — правда, этот момент снимался для показа по телевидению.

Так вот, в день суда над племянницей Жоана Пруденсио полицейские заполнили все коридоры судебного здания, выставив любопытных на улицу, а нас троих — Марту, соученицу племянницы Жоана Пруденсио, экстравагантную художницу из фауны Шиадо Авелину и меня — поместили в один из закутков. Время шло, нас не вызывали, и Авелина от нечего делать стала ко мне присматриваться. Подобно опытному торговцу скотом, она оценила мои метр восемьдесят роста и семьдесят килограммов веса. Потом, неожиданно ткнув длинным мундштуком мне в грудь, выпалила:

— Скажите, а чем вы привлекаете?

— Кого?

— Женщин.

— Грубой силой,— ответил я, угадав, что желала она слышать.

Марта решила удостовериться в истинности моих слов и скользнула взглядом по моим бицепсам. Я смутился. И, как бывает в подобных случаях, прибег к резкости — надежной ширме моей застенчивости. После того как были записаны наши показания, мы все трое сели в мою машину и поехали. Художница вышла первая, она опаздывала на свидание. У дома Марты я остановил машину, какое-то время мы говорили друг другу обычные банальности, какие говорят в подобных случаях, неожиданно Марта принялась болтать без удержу и вдруг, подражая тону Авелины, спросила:

— Как, по-вашему, я привлекательна?

Вынужденный держаться соответственно положению, в которое попал, я ответил:

— На первый взгляд — нет. Обычная женщина.

— А вот вы мне симпатичны. Там, в суде, вы показались мне неопытным скромником, рада, что ошиблась.

— Внешность бывает обманчива.

— Это я знаю и хотела бы получить тому подтверждение.

Я был изумлен, но времени на раздумье не было, и я поинтересовался:

— Не шутите?

— Нет, не шучу.— Она тут же преобразилась, особенно глаза, они стали огромными, серьезными и смотрели на меня то ли с мольбой, то ли с презрением.— Я влюбчива. Чувство меня захватывает целиком, и я цепляюсь за него, как плющ за полуразвалившуюся стену.

Несмотря на вложенную в слова иронию, Марта явно играла. И все же меньше, чем я думал, как выяснилось позже.

— Если вы действительно не шутите, в чем я все же сомневаюсь, то скажу сразу: у меня могут быть приключения, но только мимоходом. Чувственный порыв, не больше. Я женат, у меня дети — я всем доволен. Но чем-чем, а развалиной себя представить не могу.

— Прекрасно. Предлагаю не откладывать, а тут же подняться ко мне наверх. Там никого нет. Я постараюсь быть женщиной, а не плющом.

Вот так мы отдались друг другу. Отдались неистово, как враги в схватке, убеждая один другого в том, чего не было и в помине.

Через несколько дней Марта, обойдя десяток кафе, нашла меня.

— Я тебя не отпущу, Андре, ты мой. Ты мой первый мужчина.

— А все прочие?

— А их не было, я просто хотела произвести на тебя впечатление. Да если бы и были, они не в счет. Ты мой мужчина.

— Но я тебя предупреждал — никаких обязательств на себя не беру.

— А мне и не нужно. Я согласна быть твоей второй женой, даже если у тебя ко мне нет ничего.

— Ничего нет, Марта. И не было. Приятное воспоминание, и только.

Несколько дней Марта встреч со мной не искала. Видеться мы виделись два раза, да и то случайно. Первый раз на улице, она грустно мне улыбалась, ни бравады, ни упрека, второй — на вечеринке в доме Аугусто Травассоса. Она довольно много выпила, похоже специально, но не навязывалась, когда все расходились, а только спросила: «Ну, как поживают воспоминания? Они все еще приятны?» До сих пор слышу ее слова в первый день нашей встречи: «Я хочу быть женщиной, доставившей тебе самое большое удовольствие, чтобы ты не мог меня забыть».

Спустя какое-то время меня пригласили в Париж на писательский симпозиум. О симпозиуме дали сообщение в газетах. И вот в аэропорту, прощаясь с женой в зале ожидания, я вдруг увидел Марту, она ждала посадки. Я был поражен. Взгляд Марты был тверд, как никогда. А после того как я распрощался с Доритой, стал еще тверже. Когда же мы прошли полицейский досмотр и Марта не подошла ко мне, я окликнул ее:

— Куда ты летишь?

— Туда же, куда и ты.

— А как ты узнала, куда лечу я?

— Я знаю о тебе все.

Позже я понял, что уже тогда Марта искала работу во Франции, так как после смерти отца дела их семьи пошли совсем плохо. Но как бы там ни было, во Франции мы оказались вместе. Сначала во Франции, потом в Брюсселе. Сумасшедшая неделя: переезды, неожиданности, случайности — мы пребывали в оглушительном возбуждении. «Видишь, Андре, мы не можем быть друг без друга. Я все время с тобой — и днем и ночью. Ты в моей голове как опухоль». Я ничего не отвечал, только протягивал к ней ладонь, и Марта тут же склоняла голову и щекой касалась моей руки. Лаской это было назвать трудно, но Марта от удовольствия зажмуривалась, и уголки ее губ начинали дрожать. Я же молчал из-за мучившего меня трудно объяснимого чувства вины. А Марта продолжала: «Наша любовь особенная, не такая, как у всех, не веришь? Мы ведь говорим друг другу все, что думаем. Правда, прекрасно? Когда смотрим фильм, то понимаем его одинаково. Да и на улице, и в кафе наше внимание привлекает одно и то же. Это чудесно, Андре, я твоя».

Как-то я попросил ее достать из моего бумажника нужную мне бумагу. Открыв его, она наткнулась в нем на мои семейные фотографии. Очень долго рассматривала жену и на следующее утро появилась ненакрашенная, с такой же прической и таким же наклоном головы, как у Дориты,— удивительно похоже. Возможно, она предполагала, что это вызовет мое неудовольствие, но то, что я его выра-

жу так резко, не ожидала. Тут же растрепала прическу, движения ее были испуганными и суетливыми, и заговорила о фотографии моей матери. «Ты похож на нее, Андре. Тот же рот. И та же еле уловимая усмешка. И морщинка. Мне понравилась твоя мать».

Да, так вот такая Марта ничего не имела общего с той нагловатой, с которой я познакомился в суде, и это, в общем-то, меня удручало и портило настроение: она заслуживала любви, а то, что я к ней испытывал, любовью никак не назовешь. Когда мы вернулись в Лиссабон, я решил, что ставлю точку на наших отношениях, и даже намеревался сбежать в деревню. Но Марта стала звонить, писать письма. Писала она, будто вскрывала вены. По телефону объяснялась аллегориями: «Мое тело — неведомый тебе плод, возьми его», «Ты живешь во мне». А иногда произносила одно-единственное слово: «Привет!» Вот письма ее были яркими и многословными. И вдруг все: и письма, и звонки — прекратилось, Марта уехала ва Францию. Ей была свойственна решительность. Да и ничего удивительного в таком повороте не было: найти в Португалии работу она не могла, а семья влачила жалкое существование. Души отчаявшиеся и мятежные бежали во Францию. Иногда к эмиграции побуждал гнев. Однако решались на отъезд только мужественные люди, а Марте мужества не занимать.

Письма стали приходить нерегулярно, но двухнедельный отпуск, который она проводила в Лиссабоне, бросал нас в объятия друг друга. «Будь готов, Андре, к тому, что когда-нибудь я тебя не отпущу». Отношения наши были одновременно и тривиальными и нетривиальными. Скорее их следовало бы назвать не до конца понятными, но необходимыми. Марту влекло все, что бросало вызов здравому смыслу, она частенько брала мою руку и говорила: «Линия ума четкая, заканчивается звездочкой. Жить будешь долго-долго; у-у-у, да твоя жизнь, похоже, не кончится никогда. А на сердце одни страдания. Дай-ка мне твою правую руку. Вот тут я вижу островок, но ты его уже миновал, а вот еще, побольше — опять будешь страдать, Андре. Но все кончится хорошо. И все же судьба твоя меня тревожит». Время от времени она, видно, вспоминала о моих «островках», но предчувствия, которые ее пугали, стойко скрывала.

И вот как-то после долгого молчания Марта, назначая мне свидание в кондитерской, сказала: «Я приехала вчера, и мне очень нужно тебя повидать,— и добавила: — Я вышла замуж и хочу тебя познакомить с мужем. Он француз».

Это был учтивый, лощеный субъект с усиками, как у коммивояжера, который заботится о складке на брюках. Они приехали в покрытой ржавчиной и вмятинами машине, оба выглядели усталыми и неумытыми с дороги. Будучи хорошо воспитанным, он принял меня как человека, у которого с ним много общего. «Марта мне о вас рассказывала». Я пригласил их на обед и решил, что наконец сумею поставить на прошлом точку. Но, наблюдая за Мартой, понял, что от нее можно ждать любого сюрприза. Что же меня поразило больше всего? Их манера говорить друг с другом и как-то особенно держаться. И еше походка Марты — она стала размеренной и неспешной Мне стало неловко.

Тут же я получил ответное приглашение на обед — обмен любезностями. Однако ни я ни Марта не устояли перед «последним разом». Удивительно но мы считали это нашим правом и не испытывали ни морального запрета, ни чувства вины. Лишним был он, ее муж, был и остается по сегодняшний день.

Она призналась первой:

— Знаешь, я не могу жить с двумя мужчинами.

— Я тоже не из тех, кто может жить с двумя женщинами.

— Это не одно и то же.

— А я и не считаю, что одно и то же.

— Ладно. Я ведь только хотела тебе сказать, что в тот вечер, когда мы были с тобой в последний раз, он пришел ко мне тоже. Отказать я не смогла. Но как это ужасно. Позорно.

Не сказав друг другу больше ни слова, мы расстались. Позже по телефону она высказала то, что не могла высказать при встрече: «Можно перенести все, Андре, если бы ты любил меня. Любовь ради любви дает на все права».

Так кончилась наша близость. Но поскольку ее жизнь с мужем так и не наладилась, он — как это ни нелепо — именно после того, как все кончилось, стал ко мне особенно подозрителен и винил меня в своих любовных неудачах. Думаю, что он даже припугнул Марту, что приедет в Лиссабон и пальнет в меня.

Я жду его приезда по сей день.

(Продолжение следует)

ВАЭ ГОДЕЛЬ

Перевод с французского АЛЕКСАНДРА РЕВИЧА

Друг мой

Друг мой
нынче утром ваши последние стихотворенья
пронеслись по мансардам —
небольшая стайка форелей —
мы перечитаем их при луне
когда на реке ребятишек не будет
пишу вам в горной долине
склоненный над облаками
красные домики рядом толпятся
треск подрубленных лиственниц слышен
(растут ли они и у вас в горах?)
наше богатство лишайники рожь и смола
этот горный поселок на кручах
совсем потемнел среди снега
вы писали что не отрываясь переводите теофиля
как я рад что вы в полном здравье
ваш язык — как ропот воды как усмешка
похож на узоры арабских дворцов
этим вечером снова читаю ваши стихи
на просеке светлой в лесу
вместе мы пьем
«свободу тишины» (как сказал теофиль)
и тишину свободы
кончается лето
в стогах шевелится сено
жму руку

ВАЭ ГОДЕЛЬ — VAHÉ GODEL (род. в 1931 г.)

Швейцарский поэт. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Рубка леса» («Coupes sombres» 1974). «Пылинки» («Poussières», 1977), «Армянские страницы» («Papiers d'Arménie». 1979). «Падения и ушибы» («Chutes et bris», 1980).

Публикуемые стихи взяты из сборников «Особые приметы» («Signes particuliers». Paris, Éditions Bernard Grasset, 1969). «Пути воды» («Voies d'eau». Paris, Éditions Arcam, 1977), «Поступки и жесты» («Faits et gestes». Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1983).

Мой мальчик считает ступени акрополя

Алену Боске

Мой мальчик считает ступени акрополя
мой мальчик рисует ракету с хвостом
мой мальчик ласкает поверхность зеркал
сосет агатовый шарик
мой мальчик мысленно учительницу разоблачает
сквозь белые хлопья топает по полю
мой мальчик спрашивает: где дед?
мой мальчик пытается белый свет
измерить длинным шпагатом
мой мальчик мурлычет: птица ночная вьетнам
вьетнам старый раненый волк
черный барашек распятый на лысой горе
утром в кровати моей я кормлю его медом речей
мой мальчик себя украшает совиными перьями
мой мальчик чуть свет голосит
когда мне протягивают рогатку
когда мне приносят стрелы и лук
мой мальчик горланит: нет больше бога
насыщайся ветром деревьями солнцем
мой мальчик глядит сквозь меня и видит
обозы далеких племен ночные кочевья
когда я стану большим я на маме женюсь
когда я стану большим поплыву через реку
найду там гробницу самого первого фараона
мой мальчик себе на бедро наносит наколку
мой мальчик дорос мне почти до плеча
мой мальчик бежит вдоль белых оград скотобойни

*Женщины безлюдье крепостные стены**

Один здесь подступ лестница в два марша
спуск и подъем и никого навстречу
путь к таинству любви и таинству войны

зияет вход в жилье на каждом этаже
слепят огни ракет (снопы и ливни)
карнизы башни мраморные истуканы
— подобья мертвых кукол из гробниц
средь мертвых городов

издалека стена сплошные арабески
вот женщина которой ветер вздыбил
пепельные пряди

а вблизи
она исчезла на кирпичной кладке
и стала лишь одной из многих башен
(стена планер недвижимое пламя
голубки очертанье на камнях)
вон там сильфида а вон там клоринда [1]

---

* © Аста, 1977

[1] Одна из героинь поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». *(Прим. перев.)*

к руинам прислонилась — вот и сердце
простреленное трелями дроздов
развалины каприз бездумного резца
— поверженной воительницы образ
а в самом сердце замка
женитьба саламандры
и цветка

(а за стеной
на берегу реки
щебечет птица)

Материнская ветвь *

Никола́ Бувье

под навесом жиденьких этих ветвей
слишком редких для тени
четыре женщины щурят от солнца глаза
море за их спиной

две из них
во весь рост: слева вся в белом
(шелковая пелерина шляпка из перьев) птица
раскрывшая крылья — мама моя
а справа
серое платье растрепаны волосы ветром
может она показаться маминой старшей сестрой
— это мамина мать

между ними
сидят две старушки в черном
маленькие — с виду двойняшки
одна
кажется в небо глядит — это бабушка мамы
вторая моя прапрабабка сидит как-то боком
лицо расплывается зыбкой улыбкой
туманно от света (на коленях ее
развалился голый младенец
глаза ручонками трет
— это я)

* © By les Èditions de la Baconnière, 1983

РЕВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1921 г.)

Советский поэт и переводчик. Автор двух сборников стихов: «След огня» (М., 1970), «Единство времени» (М. 1977). Из французской поэзии в его переводах публиковались стихи П. Ронсара, Агриппы д'Обинье, В. Гюго, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, Ст. Малларме, Арагона и др.

ХЯРТАН ФЛЁГСТАД

У-3

РОМАН

Перевод с норвежского Л. ЖДАНОВА

В поэзии всегда война
О. Мандельштам

Звук перевалил через болевой порог. Заткнув уши указательными пальцами, я смотрел, как два факела прорезают жаркое марево за хвостом самолета. Алф Хеллот заглянул в поверочную таблицу и расписался в эксплуатационном формуляре. Авиатехник — в меховой шапке, сапогах и нейлоновой куртке на меху — принял формуляр и спустился по стремянке на землю. На фонарь кабины ложились большие мокрые снежинки. Хеллот в последний раз проверил привязные ремни. Пробежал взглядом справа налево по приборной доске. Наушники и ларинги закреплены и подключены.

— Что ж, поехали, пукалка! — пробормотал Хеллот, не нажимая кнопку передатчика.

Он поднял вверх два больших пальца. Техник прижал руки к бокам, потом развел их в стороны. Изобразил одной рукой в воздухе круги. Остановил руку и тоже поднял вверх два пальца.

За хвостом самолета прибавилось черного выхлопа. По бокам рулежной дорожки чернели сугробы. Заземление отсоединено, компрессор выключен. Отпали последние узы, связывавшие Алфнка Хеллота с землей. Капитан Хеллот, один на один с машиной, увидел, как стрелки приборов стронулись с места, чуть покачались и замерлн на зеленом поле шкалы. Техник оттащил тормозные колодки от главных колес. Нажав кнопку передатчика, Хеллот вызвал вышку, сказал позывной диспетчера, затем свой. Запросил разрешение на выруливание и взлет. Техник еще раз показал иапоследок большой палец.

Корпус машины качнулся. Колеса тонкого шасси начали вращаться. Капитан Хеллот прибавил газу и покатил по дорожке в дальний от вышки гражданского диспетчера конец взлетно-посадочной полосы. Здесь он развернул самолет против ветра. Перед ним простиралась свободная полоса. С работающими двигателями он проверил генераторы и ручку управления иосовым колесом. Зажглись красные и зеленые аэродромные огии. Хеллот вернул рычаг дросселя на холостой ход и одновременно нажал радиокнопку. Вызвал вышку и запросил данные о скорости ветра и атмосферном давлении. Легкий юго-западный ветер дул со скоростью пять узлов. Давленне низкое — 29,78 дюйма; плотная облачность.

Алф Хеллот получил разрешение.

ХЯРТАН ФЛЁГСТАД — KJARTAN FLØGSTAD (род. в 1944 г.)

Норвежский писатель. Автор романов, сборников стихов, рассказов, эссе. Начинал в литературе как поэт-лирик, выпустив два сборника стихов. Затем вышли сборник рассказов «Тросы» («Fangliner», 1972), романы «Расмус» («Rasmus», 1974; литературная премия «Аскехауг»), «Долина Портланд» («Dalen Portland», 1977; премия Северного Совета), «Жар и пламя» («Fyr og flamme», 1980; премия норвежского Союза критиков), «Седьмой климат» («Det 7. klima», 1986.) и др. В разные годы публиковались его эссе и переводы с французского и испанского, в том числе стихи Пабло Неруды.

Роман Х. Флёгстада «У-3» вышел в Осло в 1983 г. («U-3». Oslo, Det Norske Samlaget). Печатается в журнальном варианте.

Уверенным, слитным движением он подал вперед рычаг дросселя и обжал ногами педали колесных тормозов. Обороты увеличились до максимума, так что машина и с ней сам Хеллот дрожали от могучих противоборствующих сил, которые не давали самолету тронуться с места и в то же время стремились бросить его и пилота вперед по взлетной полосе со скоростью нескольких сотен километров в час.

Отпуская тормоза, Алф Хеллот открыл рот и сделал глубокий вдох. Пульс был в норме, двигатели не прибавили оборотов организму. Мощный толчок сорвал машину с места. Реактивные силы взвыли головокружительными децибелами. Мимо мелькали сугробы, сигиальные буи, красные огни и шлагбаумы перекрестных дорожек.

Когда прибор показал, что достигнута скорость отрыва, Алф мягко взял штурвал на себя. Руль высоты в задней части хвоста поднялся кверху. Сначала носовое колесо, затем и главные колеса оторвались от бетона. На прощание земля дружески подтолкнула одно из них, машина слегка накренилась, и Алф Хеллот взлетел.

К отметке 1500 футов он убрал шасси, закрылки и приготовился к набору высоты. Включив форсаж, ощутил рывок, когда впрыскиваемое в дополнительные камеры топливо добавило тяги двигателям. Проверил число оборотов и скорость изменения высоты по вариометру. Время от времени он регулировал температуру топливных фильтров, чтобы избежать обледенения. Элероны в задней части крыльев заняли нейтральное положение.

Алф Хеллот поднимался курсом норд-вест между незримыми отвесами горных склонов. Стрелка высотомера уверенно ходила по кругу. Над ним по-прежнему нависали набухшие от влаги облака. Он высмотрел просвет, отрегулировал обороты, уперся ступнями в педали и отклонил руль направления. Самолет скользнул вверх в узкую щель в мокрой облачной вате. Последние снежинки разбились в пыль о фонарь кабины.

Я опустил цейсовский бинокль. Алфик исчез. Два языка пламени, точно от паяльной лампы,— последнее, что я видел. Я повернулся, прыгнул через мазутную лужу и зашагал по ярко освещенному коридору из ангара в дежурку.

В десяти тысячах футов над моей головой Алф Хеллот протянул руку к тумблеру, включающему ретроспектоскоп.

1953

Рядовой

Из плоти и крови состоит надежда. Исходная позиция — нагнувшись вперед или стоя навытяжку. Из кости и жил состоит надежда и готовых к рывку, тугих, хорошо тренированных мышц. Алфик Хеллот был великой надеждой, он был самым многообещающим, был тем, на кого надеялись все мы, остальные. Последняя, самая большая надежда. Принято говорить: цвет надежды — зеленый, но наша надежда была белого цвета.

Прямо из Великого Ничто явился молодой Алф Хеллот — писали газеты и, как обычно, ошибались. Было это, когда он еще до травмы, весной восемнадцатого года своей жизни, выиграл вольные упражнения на соревнованиях за так называемый кубок Осло, опередив, в частности, шведа Туресена, который позднее, в том же году, стал чемпионом Олимпийских игр в Хельсинки. Но Алф Хеллот за неделю до злополучной травмы победил Туресена, и по сей день многие вместе со мной считают, что он лучше всех в мире исполнял вольные. Свое упражнение он закончил безупречным высоким двойным сальто с пируэтом и мертвым доскоком в центре старого гимнастического зала Осло, под вспышки блицев и гром аплодисментов.

Вечером того же дня его ждали кубки и поздравления, а дома — родители с новым, дорогим спортивным хронометром, и Алфик, привыкший сопрягать дни своей жизни с историческим временем по стенным часам в гостиной, горячо поблагодарил и затянул ремешок на левом запястье, как бы прибавив новый мускул поперек всех тех, какими и без того был щедро наделен.

В газете на другой день появился отчет на четыре колонки и портрет на две. Листая газету дрожащими пальцами с конца, с последней страницы, Алфик доходит до спортивной информации. Сидя на пятках перед распластанной на коврике газетой, он не читает ни заголовок, ни врезку, ни сам отчет, ни подписи под снимками, нет — он смотрит на собственный портрет.

А портрет поразительный. Уже в эту пору Алфик Хеллот излучает достоинство и решительность, вроде бы и неприличные у столь молодого человека. Фотография снята анфас, и фотограф явно опустился на колени, прежде чем щелкнуть затвором. Алфик заложил руки за спину и сцепил пальцы вместе. Только этот молитвенный жест наизнанку и отличает стойку белой фигуры от солдатского «смирно». Словно он стремится укротить кистями рук буйную внутреннюю силу, которая все равно бросается в глаза дугой могучих мышц от кисти до плеча и запечатлена в силовых линиях корпуса. Мускулы рук напряглись, как будто противоборствуют темноте за его спиной, а грудная клетка слегка развернута вперед, и белый кант майки рисует плавную кривую над буграми мышц. Только этот кант и выделяется: в свете блица блестящее от пота тело, магнезия на руках и весь костюм кажутся одинаково белыми, получается сплошная ярко-белая фигура. Легкое напряжение грудных мышц придает выпуклость снимку. Прогиб спины подчеркивает гимнастичность стойки. Прямая шея чуть подала голову назад, и хотя резкий свет блица делает лицо плоским, стирая характерные детали, все же нам видны его главные черты: строгая линия рта, мощная нижняя челюсть и высокие скулы. И глаза — отсутствующие, то ли устремленные в мечту, то ли погруженные в воспоминания, то ли парящие в сферах триумфа. А может быть, глаза его обращены в собственную душу. Расширенные ошеломляющей мыслью: быть первым — значит быть одиноким.

Похоже, именно эта сдерживаемая и контролируемая сила, которую излучает снимок, побудила спортивного редактора уделить ему больше площади на газетной полосе, чем он заслуживал, если исходить из информационной ценности фотографии и значения победы, которой добился спортсмен. Фотограф (если не редакция) обрезал снимок по пояс, но даже это надругательство над классическим творением не может умалить воплощенный в нем героический пафос. Присмотрясь внимательнее, читатель видит, что объект схвачен в неуловимом движении, при смене упора то ли на правую, то ли на левую ногу, то ли к камере, то ли от нее, вперед к свету или назад в сплошную темноту, в которую ретушер превратил интерьер и скамьи с публикой в зале. Может быть, Алфик Хеллот позировал, а может быть, фотограф засек его в момент приземления после высокого акробатического полета. Как бы то ни было, снимок говорит о незаурядной силе, профессиональной силе фотографа, выстроившего композицию из света и теней, или же силе самого объекта в его борьбе за то, чтобы подчинить себе собственный образ.

Надежда. Обещание. Сила Алфика Хеллота.

Вечером следующей субботы, когда обмывали победу, Алфик исполнил поистине произвольный и вдохновленный пивом прыжок с крыльца пятейного заведения как с трамплина. Прыжок этот включал могучий взлет, двойной нельсон, арабский флик-фляк, сальто Ямасито и свободное паденне со всеми на свете степенями трудности, пируэтами и финтами. Мы, наблюдавшие с тротуара этот номер, можем подтвердить, что, паря высоко в светлом весеннем воздухе, Алф один за другим зажег все фонари на площади, а стрелки на часах ратуши передвинул на час вперед, если не больше. Одновременно средняя температура воздуха поднялась на три градуса Цельсия. Толпа прибывавших со всех сторон зрителей могла бы вместе со мной подтвердить, что Алфик Хеллот — ноги вместе, носки оттянуты — парил в воздухе не одну минуту, прежде чем с лета — корпус прямой, руки прижаты к бокам — ударился затылком об асфальт перед крыльцом. Могу уверенно сказать, что никогда еще у Алфика не проявлялась так головоломно смесь самоуничтожения и бунта.

Понятно, после того он уже никогда не участвовал в соревнованиях. Казалось бы, высшим баллом за это упражнение должна быть фрактура черепа, но наш идол обошелся даже без трещин. Врачи не смогли обнаружить ни малейших повреждений черепной крышки или иных травм. Одного дня в больнице оказалось достаточно. Затем его выписали, и время, отведенное для окончательной поправки, Алфик Хеллот использовал, чтобы заполнить ожидавшие его дома бумаги. Так что те читатели, которые, подобно Китти, усматривают здесь причинную связь между повреждением головы и выбором профессии, — проще говоря, считают, что Алфик потерял один винтик, — лишь выражают свое предвзятое отношение к военной карьере.

Заявление о приеме в военное училище

Анкета предполагала рассказ о себе, уходящий в прошлое многими прямыми и окольными путями. Тут требовалось показать не лепку тела светотенью, а лепку личности историей.

Алф Хеллот за столом в гостиной: пальцы сжимают ручку, на черном лаке березовой столешницы — белый лист с зеленым типографским шрифтом, рядом — чернильница; макает и пишет.

Имя и фамилия родителей — проще простого. Перышко скрипит по бумаге. Констанца, урожденная Виньяквельвен, и Авг. Хеллот.

Алфик написал так, потому что так всегда писалось и говорилось: Авг. Хеллот. Писалось все чаще и чаще — на пригласительных билетах, на протоколах собраний и переговоров, на извещениях об увольнении, на требованиях прервать переговоры, призывах бороться за повышение заработной платы, заявлениях об отставке, ходатайствах об арбитраже, о прекращении арбитража. Авг. Хеллот (подпись) — на предупреждениях, приглашениях, требованиях, запросах. Он требовал, созывал, боролся, ходатайствовал. Но всегда на основании Коллективного договора и никогда от себя лично. Его личные высказывания чаще всего обрывались на полдороге неожиданной и преждевременной точкой, совсем как его имя. В нижней части листа, под текстом посередине,— подпись: Авг. Хеллот, предс. И совсем внизу, в правом углу, часто можно было видеть еще одну подпись: Марвель Осс, секр. Этот секретарь появился на сцене не сразу, и его прошлое было сомнительным. Но Авг. Хеллот полагался на него, умел с ним сотрудничать и год за годом на отчетно-выборных собраниях голосовал за Марвеля Осса, секр. Сотрудничал с ним, как правая рука сотрудничает с левой. Пока Хеллоту не предложили сменить туловище и он сам стал кистью более сильной руки. Сам стал секретарем, избранным на конференции в центральный комитет профсоюзного объединения.

Сведения о родителях

Алфик написал: домашняя хозяйка и секретарь. Указал также даты рождения.

Домашний адрес

По слухам, до того, как Констанца и Авг. Хеллот въехали в этот дом, в нем обитали преимущественно четвероногие твари. А именно — триста шестьдесят пять кошек, по числу дней в году, всевозможной породы, масти, нрава и немыслимых генетических комбинаций. Прежнюю хозяйку дома никто из ныне здравствующих не видел. И не было ни у кого знакомых, которые могли бы похвастаться, что лично ее лицезрели. В представлении людей она существовала лишь как выведенная дрожащей рукой подпись на счетах за свет и отопление, как заложница, следящая за тем, чтобы на блюдечках богемского фарфора на полу во всех комнатах не переводились лучшие рыбные консервы и свежее молоко для четвероногих жильцов.

К тому же у нее была фамилия, до такой степени напичканная феодальными центральноевропейскими стечениями согласных вроде sz, и xc, и sch и pbrz, что ни выговорить, ни поверить в такое невозможно. В конце концов она сделала из всего этого самый естественный вывод. Совершила самое аристократическое деяние. Она не умерла. Она вымерла. Никакие наследники не предъявили своих претензий.

Остались только несчастные кошечки, которые долго бродили по дому на легких лапках, хвост торчком, изливая горе и жалобу на отсутствие пищи на своем режущем слух кошачьем языке. Дом поступил в распоряжение местных властей для вселения нуждающихся в жилплощади. Похвальный образец социальной справедливости. Первые нуждающиеся уже стояли у ворот со своими пожитками — и обнаружили, что дом пуст. Кошечки успели его покинуть, возвратясь к природе и приступив к новому существованию в качестве простых, невзыскательных лесных четвероногих. Однако пахучая память о них хранилась в стенах, потолках и полах еще долго после того, как хозяйка обратилась в пепел, над которым свершили христианский обряд, и первые нуждающиеся благополучно разместились в доме. Она еще не выветрилась и тогда, когда Констанца, и Авг., и маленький Алфик Хеллот, жертвы жилищного кризиса, существовавшего и до опустошений мировой войны, явились в дом, принюхиваясь, поднялись со своим барахлом по скрипучей спиральной лестнице мимо нашей двери и заняли отведенные им две комнаты.

Откуда они пришли?

Известно, что начало всякой жизни — в океане, но Констанца побывала также в глухом горном селении, где она родилась и выросла. Зато Авг. Хеллот явился прямо с моря и ступил на землю по примеру наших далеких общих предков. Мысленно вижу, как Авг. Хеллот, словно некая доисторическая амфибия, поднимается из того,

что в те времена еще называлось народными глубинами, и, ступив на сушу в каком-нибудь далеком, изобилующем пороками портовом городе с бездной ждущих вмешательства недостатков, входит в политику, в историю, с льнущей к ногам, подобно верному псу, тощей морской котомкой, которая есть все его имущество.

Но сейчас они уже разобрали котомку Авг. Хеллота и расписной сундучок с приданым Констанцы и расположились этажом выше нас. Картинки на стене, цветы на подоконнике, ноги под собственным столом.

Вокруг стола: Констанца, Алф и Авг. Хеллот. Я стою на лестнице за дверью. Слышу разговор. Больше того: я их вижу. Через два слоя зеленой краски, деревянную стену со звукоизоляцией и обои в крупный цветок вижу, как они сидят за кухонным столом в бывшей спальне. Со временем я кое-как разобрался в этом явлении, но в тот первый раз зрелище четверых людей за цветастыми обоями меня малость озадачило, я бы сказал — напугало, хотя, по существу, я не увидел ничего примечательного, напротив — это была самая обыкновенная, будничная семейная картина.

Я стучусь в дверь. Три рта перестают жевать, Алфик, Констанца и Авг. Хеллот поднимают глаза от тарелок. На столе — все сытные блюда. Картофельные клецки, баранина, свинина, сардельки, сухие хлебцы. Они и первого куска не проглотили, а я уже отворил дверь. Тем самым я, как поймет зоркий читатель, выхожу на сцену в этом спектакле, покинуть который могу, фигурально выражаясь, только после демократического голосования в парламенте по меньшей мере одной страны или обязательного постановления транснациональных органов.

Словом, я пришел, чтобы остаться. Делаю шаг вперед и закрываю за собой дверь. Трое за кухонным столом видят белокурого, курносого мальчугана с кудряшками и розовыми чулками ниже коротких штанишек.

— Огонь! — кричу я, глядя на Алфика.

Алфик реагирует молниеносно. Его вилка и нож со звоном падают на пол. Он целится в меня указательными пальцами. Остальные пальцы прижаты к ладони, большой — под второй фалангой среднего.

— Бах-бах! — отвечает Алфик и сдувает с кончиков указательных пальцев незримый пороховой дым.

После чего опускает их вниз и не спеша засовывает «револьверы» на место, под кожаный пояс.

— Ты убит!

Я убит. Я готов. Персон убит.

Но я получил от своей мамы часы, которые не идут. Большим и указательным пальцами правой руки сжимаю головку заводного винта дамских часиков.

— Ребячество! — фыркаю я и принимаюсь заводить сорванную пружину.

— Алфик! — произносит Авг. Хеллот, напуская на себя строгость.— Подними с пола вилку! И нож.

Констанца смотрит на гостя, который, стоя посреди кухни, упорно заводит часы, остановившиеся раз и навсегда.

— Можно Алфику пойти со мной рыбу ловить?

— Валяйте!

Нас не надо уговаривать. Мы уходим. Алфик и я. Алфик и Персон.

Персон. Коротко и ясно. Без имени. Многие, кто не догадывается сразу, что речь идет о псевдониме (или подпольной кличке, если вводить конспирацию прямо с этой страницы), видят в этой фамилии указание на то, что по отцовской линии я во втором колене потомок раллара, как некогда шведы называли сезонных рабочих. Но во-первых, у меня нет отца, во-вторых, во мне нет ничего от беспечного шабашника. Я не драчун и не хулиган, не живчик и не гордохват. В глазах большинства я — серьезный, тихий мальчуган, который собирает марки французских колоний, а сверх того откладывает по гривеннику, чтобы накопить на атласы и географические книги. Слыву до того тихим и непредприимчивым, что кое-кто несомненно считает этого мальчишку Персона придурковатым. А моя способность внезапно выдать какую-нибудь мудреную реплику, наверное, многих склоняет к еще большим сомнениям в моих умственных способностях.

Мы шагаем бок о бок вверх по берегу реки. Уже не первый десяток лет она перегорожена плотиной, так что русло куда как велико для бегущего по нему ручейка. Зато нам места вдоволь. По белой гальке мы прыгаем курсом на заводь.

Алфик опережает меня. Стоит, забросив удочку, и смотрит, как я догоняю его неловкими прыжками. «Этот Персон с комплексами,— говорят люди.— У Персона-младшего комплексы». Что верно, то верно. Явившись на урок физкультуры в белом бумажном белье, я неловко вскочил на гимнастического коня и засел на нем, цепляясь за все его сочленения, пока кто-то не сжалился и не снял с коня. После чего с физкультурой и гимнастикой было покончено. Были комплексы, были. А вот отца не было, только мать-коротышка, постоянно кудлатая, черная и неопрятная с виду. Так говорили люди.

Наживив крючки, забрасываем удочки. Где находится старший Персон, никому не ведомо. Поднимаю глаза от лески и удочки: за горами, за долами!

Клюет. Рыба попалась. Дергает леску там, в голубой глуби, леска дрожит, удочки гнутся, в воздухе мелькает серебро. Нам обоим повезло. Снимаем с крючков маленькие рты и ломаем хребет глотающим воздух форелькам. Рыба. Мгновения. Из потока времени мы выдернули трепещущий на тонкой нити напряжения миг, решающее мгновение — блестящее, бьющееся, живое, мускулистое, наше. Мгновение. Последняя судорога. И смерть. Форелька мертва. Недурной улов! Ай да мы!

Мы с Алфиком Хеллотом от радости кричим и пляшем на гальке. Бросив удочки на траву, впервые вместе хмелеем. Источник хмеля — классическая детская игра. Мы кружимся на месте вокруг собственной оси, кружимся все быстрее и быстрее, до той поры, когда уже нет хода обратно, ни повернуть, ни остановиться, не теряя равновесия и опоры под ногами, и уже кружится голова.

Знай продолжай кружиться, покорясь вращению. Все кружится у нас перед глазами. Камни, солнце, мгновения, рыбы, река. Все вращается. Земля вращается вокруг Солнца. Луна вращается вокруг Земли. Земля вращается вокруг своей оси. И мы докружились до одурения. Шатаемся и падаем, шлепаемся в воду в каскаде брызг, и больно ударяемся, и снова встаем на ноги.

— Гляди!

— Гляжу, да не вижу.

Глаза — блестящие, точно капли росы. В них отражен весь мир. Едва держусь на ногах, голова кружится, в голове туман, меня качает, но я стою — стою с камнем в руке. О, эта страсть оставлять свой след! Жажда наложить на мир свой отпечаток! Мы с Алфом — хмель мгновал — стоим на берегу, держа в руке по каменюге, и разом бросаем их в заводь. Есть! Громкий всплеск, два круга на воде, круги расходятся, выполаживаясь, сталкиваются, перемешиваются, сливаются воедино и бьются о береговые камни. Поглотив наши каменюги, глубокая заводь снова лежит без движения, без каких-либо следов, по-прежнему нас отражает блестящая гладь, гудят тугие струи над заводью, журчит вытекающая из нее речушка.

— Пошли! — говорит Алф.

И мы идем. Шагаем вниз по берегу, держа в руках удочки и наш улов. Внезапно Алфик бросает удочку и рыбу и срывается с места. Бежит со всех ног. Несется сломя голову. Кричит мне через плечо:

— Засекай время! Засекай мое время!

— Сам засекай!

— Почему?

— Потому!

Я вижу только, как сверкают в кустах пятки моего товарища. Засекай время, хватай его, держи! Время идет, время мчится во весь опор. Рыба всплыла. Камни разбили водное зеркало. Скоро и мы будем взрослыми. Алфик! Я пролью слезинку за нас, каплю соленой воды, осколочек зеркала.

Итак, я рос вместе с Алфиком, сросся с ним, пока мы не стали расти врозь. Вместе с ним и с одной девчонкой из того же дома. Она старше нас на год, и на голову выше, и вдвое больше, и в десять раз более зрелая, и мы незнакомы. Лицо как у кошки, длинные каштановые волосы волнами спадают на плечи и широкую спину. Она не знает нас с Алфиком Хеллотом, но мы-то знаем ее! Самой ей дела нет до каких-то там Алфиков или Персонов, чихать с высокого дерева на подобную мелюзгу, мы же, когда ничем не заняты, видим только ее, слышим только о ней. О ней ходят слухи. Говорят, она дерется. Дерется с парнями. И берет верх над ними. Одна едет на автобусе до озера и дерется с ремесленниками. И с ними тоже справляется. Должно быть, у нее когти как у кошки, и глаза ночью видят, и живуча она как кошка. И сил у нее, как у десятерых, ума, как у дюжины, так у нас про медведя говорят.

Она непобедима и воплощением победной силы проходит сквозь двери того же дома, где живем мы с Алфиком Хеллотом, проходит по той же жизни, в которой мы с ним только-только нащупываем пути.

Киття!

Прежние места жительства за последние пятнадцать лет

До четырнадцатого дня рождения Алфик рос среди трухлявых яблонь в саду ветхого летнего дома. Здесь он и Констанца продолжали жить, когда немцы взяли Авг. Хеллота за участие в движении Сопротивления. И отправили в концлагерь. Два года он отсутствовал, а вернулся в целости и сохранности, только еще более костистый и угловатый, чем прежде. Еще более молчаливый, более замкнутый. Само лицо его — ровно стена. Красное, будто кирпичная кладка, переслоенное морщинами, как раствором. Суровое — многие скажут: жестокое — лицо венчает туловище, напрашивающееся на сравнение с просушенным на солнце, прокопченным в дымоходе бараньим окороком. Но если Авг. Хеллот вдруг улыбнется, скажем, когда Алфик берет верх на соревнованиях, лицо его трескается, как холодный валун от чрезмерного жара; суровость расплывается, и через глубокие ямки и трещины в камне прорывается улыбка.

С 14 января по 1 мая того года, когда Алфику исполнилось четырнадцать, на заводе ферросплавов, где деловитый Авг. Хеллот добросовестно возглавляет профсоюзную ячейку, отработано 22929½ часов сверхурочных. В награду за трудовой вклад министерство выделяет дополнительную квоту на строительство десяти двухквартирных жилых домов, и во вторник 10 июля представители производственной комиссии тянут жребий с фамилиями тех, кто участвовал в сверхурочных работах и хотел бы строиться. Один из счастливчиков — Авг. Хеллот, член названной комиссии, председатель отд. № 301 и недавно избранный член руководства отраслевого объединения. Фортуна улыбается Авг. Хеллоту, и надо думать, это один из тех случаев, когда и его лицо бороздит улыбка. Морозным зимним днем Алфик переезжает в доставшийся им по жребию двухэтажный деревянный ящик, сколоченный из досок от собственноручно снесенных немецких бараков,— и здесь он живет последние шесть лет перед тем, как набрать высоту.

Адрес

Перышко скрипит: «Улица Индзастрой, 33 Б».

Братья, сестры, другие родственники

Нет. Никаких. А впрочем! Алфику об этом неведомо, но Констанца Хеллот, которой положено дать свое согласие и заверить подпись несовершеннолетнего сына на заявлении, знает про одного родственника. Про младенца, что явился на свет раньше времени и не выжил. Она и Авг. Хеллот сумели вырастить Алфика, но не смогли подарить ему сестру или брата. Другие родственники? Нет!

Школьное и другое образование

Алфик Хеллот был не из тех, что, получив от кого-то удар, подставляют другую щеку. Хеллот-младший слыл красным. Этот сын Авг. и Констанцы — красный что внутри, что снаружи, говорили люди, подразумевая вспыльчивый нрав, политику и рыжие кудри. «Пожар! Караул, пожар! Чердак горит!» — кричали мальчишки в других частях города, когда мы с Алфиком появлялись в их владениях. Или же пели в его честь что-нибудь торжественное, ехидно переиначивая слова. И не было случая, чтобы эти серенады не вознаграждались сполна. Алфик Хеллот заводился с пол-оборота, свирепел, бросался вдогонку за обидчиками и нещадно дубасил тех, кого удавалось поймать. Одно слово — красный. От природы, по нраву и по убеждениям. В школе это приводило к тому, что его частенько выставляли из класса в коридор или вызывали к директору за непочтительное отношение к высокомерным преподавателям, которые — говорил Алфик — чернили демократическое рабочее движение, и профсоюзы, и всех, кто занимался простым физическим трудом, зато превозносили богатых бездельников и реакционных писателей.

Нашему учителю физкультуры хотелось, чтобы мы считали его своим парнем. Это составляло основу всей его педагогики. Хотя ему было уже под сорок, и за ним чис-

лилось участие в боях под Валдресом во время норвежской кампании 1940 года, и он был лейтенантом запаса. Тем ие менее он изображал из себя рубаху-парня, что не очень-то удавалось, так как он в то же время хотел быть отцом для своих парней. Словом, он воплощал в себе тугой узел неразрешимых противоречий, был безнадежным типом. А мне он нравился. Оттого мне было легче мириться с его предубеждениями и офицерскими замашками. Разговаривая с иами, он нагибался вперед, как это часто заведено у младших командиров, наклонив при этом голову набок и смотря под углом в глаза тем, к кому обращался. Такая поза придавала его взгляду особую пристальность и проницательность, и к нему он, в частности, прибегал, вдалбливая в нас разные истины — например, что в наши дни молодежь безбожно балуют. Сама по себе молодежь вовсе не плоха, только бы ее не баловали.

И наш учитель физкультуры решил что-то предпринять. Для чего вдобавок к обычной программе закупил шесть пар боксерских перчаток. Чтобы дать безобидный выход нашей здоровой агрессии. Я-то быстро был забракован. Персон — он может быть секундантом, посчитал педагог и начал вдалбливать остальным науку более предметно — кулаками.

Разумеется, силы были неравные. Голые руки шестнадцатилетних противников свисали тонкими нитками по бокам щуплого тела, и на конце этих ниток болтались боксерские перчатки, смахивая на воздушные шары, а еще больше на непомерно тяжелые гири. Лицо над защитной стойкой — словно яркая лампа, погасить которую ничего не стоит: хоть кулаком ударь, хоть задуй.

Учитель с каждым проводил по тренировочному раунду. Он подзадоривал, заводил, стремясь активизировать в нас волевые задатки, быстроту реакции, контролируемую свирепость. Нужно пробудить инстинкт убийцы, говорил он. бешенство, ярость, неистовство. Показывал исходные стойки, простые встречные удары, уязвимые точки, кое-какие трюки, которые, по его словам, могли пригодиться в жизни.

Одного за другим он вызывал нас на ринг. Тщательно и со знанием дела дубасил до боли, до синяков, до отупения. Избивая нас (я говорю «мы» и «нас», хотя, будучи секундантом, только смотрел, как это происходит. Но ведь и комментаторы тоже так выражаются, верно?). Удар за ударом он утверждал свой авторитет. Не один раз его убийственные нокауты останавливались в миллиметре от наших подбородков. Он вызывал нас на удары, которые только показывали, как мы беспомощны перед ним. Словно какой-нибудь международный гроссмейстер проводил сеанс одновременной игры против целого класса.

Но вот на ринг вышел Алф Хеллот.

Начало боя сулило полное разочарование. Алфик явно не заводился, да и учитель, который провел почти пятнадцать раундов, оспаривая первенство с самим собой, передвигался уже не так легко. Пританцовывая вокруг Алфика, он направлял в цель все менее точные и хлесткие серии ударов, а противник с каждым разом все легче уклонялся. Уходил от ударов. Избегал активного боя. Не оказывал сопротивления. Учитель — глаза чуть видно над перчатками — подзадоривал, все больше раздражаясь:

— Прими боевую стойку, Хеллот! Закрывайся! Выше перчатки, парень!

Алфик не реагировал. Он не стремился проявить себя, вообще ничего не добивался. Ему вся эта затея казалась нелепой. Но одно ему было ясно. Честолюбивый красный Алфик Хеллот умел провести границу и упорно ее защищать. Постоять за себя и за всех нас. И теперь он ощутил, как что-то назревает. Мы тоже ощутили — почувствовали, что воплощаемся в теле, кулаках, мускулах Алфика. Он снова был нашей надеждой. Он должен был поднять перчатку. А голос учителя перед ним все подзадоривал:

— Выше, Хеллот! Не то схватишь хорошую плюху!

Но Алфик продолжал отступать, не поднимая рук для защиты. Вместо этого он быстро глянул на нас, зрителей, поймал мой взгляд и указал кивком на незадачливого противника.

— Защищайся, парень! — Учитель продолжал распаляться.

В ответ Алф Хеллот остановился и застыл на месте, свесив руки вниз. В уголках его рта играла улыбка. Он снисходительно смотрел на прикрытого боксерскими перчатками преподавателя.

Запальный шнур был зажжен, чека сорвана.

И преподаватель взорвался. Как ручная или противотанковая граната — сказать трудно. Но взорвался с грохотом. Его хваленая контролируемая агрессия сменилась не-

управляемой лютой яростью. Длинные руки давали ему преимущество, и он попытался достать Алфа Хеллота ударом, какого ни в одном учебнике бокса не видел.

Кулак преподавателя пробил внушительную брешь — вполне осязаемую, глубокую брешь в прокисшем воздухе физкультурного зала, где меловая пыль смешалась с застарелым потом. Потому что Алфа Хеллота не оказалось там, куда был направлен удар. Мы видели, как он вовремя ушел от удара изящным и гибким нырком. И видели, как в это же время преподаватель открылся. Он сам совершил смертный грех, от которого старался спасти нас тысячами наставлений и чувствительных уроков. Открылся. Тогда как Алфик принял боевую стойку. Закрылся. И — не могу сказать, чтобы мы особенно удивились,— нанес удар. Прямо по открывшейся цели. Короткий удар, его, кажется, называют апперкотом. Чистенько, точнехонько и безо всякого зла.

Удар был не очень силен. Учитель устоял на ногах. Но ведь он стремительно шел вперед, а удар остановил его. И явно потряс. Мы видели, как он остановился, отступил, шатаясь, шага на два назад и мотнул головой, моргая странно изменившимися глазами.

Надо думать, и Алфик видел эти глаза. Несколько секунд перед ними все кружилось. Глаза не понимали, что они видят, где пребывают, где верх, где низ. Только тупо таращились на Алфика.

Потом уразумели. Поняли, что на карту поставлено все. Теперь или никогда. В целом мире остались только два человека. Все произошедшее на свете со времен изобретения каменного топора было уничтожено одним ударом — ударом Алфика. Учитель, в шкуре палеолитического межвоенного периода, видел перед собой Алфика Хеллота, который стоял, заслоняя ему белый свет, стоял неподвижно, руки опущены до пояса, улыбка вздернута до ушей.

За спиной учителя в дверях физкультурного зала копились новые зрители. Девчонки после душа, девчонки, которые несколько минут назад, беззастенчиво голые, как ни в чем не бывало подставляли струям воды свои немыслимые тела. С еще не просохшими волосами они стояли в дверях за спиной учителя, заполнив весь коридор, и хихикали. Учитель слышал их, Алфик видел. Однако он видел только одно лицо, только один взгляд жег его сетчатку.

Китти!

Девичий смех подпалил шнур. Учитель снова взорвался. Алфик легко ушел от первого удара, который можно было назвать прямой правой. Кулак пролетел мимо, курсом на шведскую стенку. Алфик играючи шагнул в сторону, одновременно выбросив вперед левую руку. Я никогда не знал, что сразу за ухом у нас есть кровеносный сосуд, но тут из него по потной шее учителя вдруг потекла красная струйка. Учитель нанес ответный удар. И попал на этот раз. Мы это увидели. Алф Хеллот почувствовал. Короткий боковой удар, налитый доисторической яростью, проскочил снизу под перчатки Алфа. Куда именно он попал, не скажу, но попал крепко, вобрав в себя воздух и боль. Хотя Алфик подался назад и не принял удар всем своим весом. От последовавшего затем свинга он успел нырком уклониться, не нанося ответного удара.

Но учитель уже не замечал, попадает он или промахивается. Лишь с нарастающим бешенством продолжал колошматить воздух, метя в голову Алфа Хеллота, в его улыбку, одержимый желанием стереть прилипшую к лицу противника невыносимую ухмылку. И он бил, бил, чтобы вколотить в землю ухмыляющееся лицо, которое все быстрее мелькало вокруг него, все расплывчатее и недоступнее.

Для нас, зрителей, окруживших ринг, заключительная сцена сочетала в себе как высокую трагедию, так и низкую комедию. Учитель — выдохшийся, бессильный, внутренне сломленный, измазанный кровью, одурелый, руки машут, точно крылья ветряной мельницы при слабом ветре. И Алфик, который все время отступал, пританцовывая, нырком уходил в сторону, вниз, подпрыгивал, дразня соперника и почти не поднимая рук для удара.

Но дважды он ударил. Больше не понадобилось. Сперва его правая как бы случайно угодила в физиономию учителя. Однако тот не упал, только застыл на месте с новой струйкой крови — на сей раз из правой ноздри.

Следующий удар был больше похож на настоящий бокс. Тоже правой, снизу коротко в челюсть, сквозь заслон из медленно вращающихся мельничных крыльев. Лишенный драматизма, давно назревавший финал, точка в конце затянувшейся фразы.

Челюсть была не железная. На удар отозвалась дребезгом. Голиаф описал полукруг, теряя равновесие. На какое-то мгновение простерся косо в воздухе во весь рост.

Глухой звук от встречи головы с деревянным полом.

После чего оставалось только собирать осколки. До сознания победителя дошел гул возбужденных голосов, сиренный вопль учительницы физкультуры, он ощутил полотенце, которое я положил ему на плечи, увидел перчатки, которые я с него снимал, толпу, протиснувшуюся сквозь незримые канаты вокруг ринга.

И Китти.

Она не подходит к нему. Только проходит мимо. Ничего не говоря. Но она открыла для себя Алфика Хеллота. Впервые он стал для нее личностью. Появилась птица. Веки Китти — ее крылья. Птица взмахивает ресницами и вылетает из глаз Китти. Классический номер иллюзиониста. Все смотрят на лежащего без сознания учителя, никто не видит птицу, летящую через спортзал, и только я ощущаю пустоту, видя, где она садится.

Официально происходит нечто совсем другое. Неприятная история. Скажем так: учительское собрание и родительский совет. Незадачливый преподаватель оправился сравнительно быстро, сотрясение мозга оказалось не таким сильным, как вначале почудилось эскулапам. Алф Хеллот получает последнее предупреждение и после недельного изгнания продолжает учиться в школе. Констанца в ужасе, но Авг. Хеллот воспринимает случившееся спокойнее, чем можно было ожидать. Пожалуй, в глубине души он даже слегка гордится сыном. Впрочем, у него слишком много других дел. Авг. Хеллот постоянно в бегах. Ему сулят место освобожденного секретаря профсоюзного объединения. То и дело его вызывают на важные заседания в Осло. У него просто нету времени следить, что там произошло с Алфиком и преподавателем, который, когда его наконец выписывают из больницы, получает взбучку от директора и продолжительный отпуск, а кроме того, обзаводится темными очками, в коих по истечении отпуска и каникул является в школу.

Тут он поневоле вновь встречает Алфика Хеллота, который одним ударом постоял за себя, взял верх над преподавателем, вырвался на волю и простился с детством. И тем не менее чувствует, что ему чего-то недостает. Не беспокойтесь, все будет, все будет! Поздняя осень, дождь льет как из ведра, а у Алфика в душе черти пляшут. Взгляд Китти не оставляет его, куда бы он ни шел,— например, домой из школы, по улице Индзастрой, под огромным черным мужским зонтом Авг. Хеллота. Алфик Хеллот прибавляет ходу, потому что в десяти шагах перед ним идет она. Теперь или никогда! Обычно Китти носит длинные брюки, широкий свитер и сандалии. Когда холодно, надевает поверх свитера зеленую куртку с длинными костяными пуговицами. Сегодня, судя по всему, не холодно. Китти поступает как хочет. Это всем известно, в том числе Алфику Хеллоту. Известно, что с двенадцати лет она водится с восемнадцатилетними парнями и даже со взрослыми мужчинами. И далеко не всегда им принадлежал верх. Что она гостила на пароходах. Это тоже известно. Не менее точно, чем все остальное. Вот и сейчас она верховодит. Тот факт, что Алфик Хеллот прибавляет ход и ускоряет шаг, чтобы поравняться с ней под дождем,— чистая формальность.

Алф Хеллот держит над ней зонт, спрашивает:

— Хочешь укрыться со мной?

Уже тогда Китти была «экстенциалисткой». Она берется за ручку зонта, берется за руку Алфа, отвечает:

— Давай укроемся вместе.

Они шагают вместе по улице Индзастрой.

— Экстенциалистка? — переспрашивает Алф Хеллот, когда она произносит это слово.

Один слог мудреного длинного выражения потерялся где-то на долгом пути от левого берега Сены на север. Алфик задает вопрос, который давно его занимает:

— Что это такое экстенциалист?

Экзистенция...— говорит Китти; они стоят вплотную друг к другу, держась за ручку зонтика переплетенными пальцами.— Экзистенция — это то особое, что отличает человека от вещи.

— Ты не сказала, что это за вещь.

— Та, от которой человека отличает его свобода.

— Ерунда какая-то. Свобода — это демократия. Право голоса, свобода слова. Профсоюзное движение, и НАТО, и тому подобное из области политики.

— Еще можно сказать, что экзистенция превыше сущности.

— Или что ром лучше эссенции.

— А виски со льдом лучше рома.

— Пять ледяиковых пернодов на один стакан рома.

Китти нажимает кнопку и выходит под дождь. Черный зонт складывается, накрывая голову Алфика Хеллота.

— Катись ты! — выпаливает он, и Китти уходит.

Дождь по-прежиему льет как из ведра.

Но Китти вериется, не сомневайтесь. «Приходи,— вертится в голове у Алфика.— Приходи ко мие. Приходи, Кити. Приходи в мои объятия. Объ-ятия. Со-итие».

Опасные игры? Китти этим ие испугаешь. Она приходит. Остается на второй год — из-за Алфика, из-за собственной леии? Сидит с ним на одной парте. Домой из школы они идут вместе — великие, таинственные влюбленные. Их манит риск. Оии не прощают друг другу заблуждеиий. Спорят так, что клочья летят. Красный Алфик Хеллот уважает социал-демократического лидера Хокона Ли; коммунисты представляются ему главной угрозой миру, безопасности и социальному прогрессу. У Китти скорее противоположные взгляды. Немыслимая пара; должно быть, как это чаще всего бывает, только поэтому оии и стали парой.

Оии идут домой к Китти, у которой либеральные родители и отдельная комната. На стене над кроватью висит фотография чернокожего тенора-саксофониста Уорделла Грэя; рядом — аырезаиная из еженедельника «Актюэль» фраицузская певица Жюльет Греко и американский киноартист Монтгомери Клифт. Китти теребит начисто лишенного музыкальиого слуха и поиятия о музах Алфика, требуя, чтобы он учился играть иа саксофоне. Только так он иаучится как следует целовать и станет великим любовником. В шведских музыкальных журналах Китти вычитала, что музыканты, играющие на духовых инструментах, потрясающе владеют ртом, губами, языком и асем дыхательным аппаратом сверху донизу. В ее глазах Уорделл Грэй — аеличайший в мире саксофонист, стало быть и величайший любовник. Вместе с Алфиком Киттн ломает голову над тем, что за тайное послание содержится в музыкальной пьесе «Ты ударяешь мне в голову», ио не может связать это с оральными и эротическими данными духовиков. Тут явио требуются более решительиые шаги.

Китти поднимает руку. В разгар нудного урока норвежского языка. Ей надо выйти. Она выходит. Она — субъект. Выходит — предикат. Что-то из этого выйдет? Алфик тоже поднимает руку. Ему тоже понадобилось выйти. Он и Киттн вместе в коридоре. Они делают нечто такое, чего прежде ие делали, одиако справляются без труда. В классе время идет своим ходом, простые предложеиия состоят из субъекта, объекта, предиката и определения. Точка. А что там делается в коридоре? Что происходит, пока там никто не ходит? Наконец дверь отворяется, Китти и Алфик возаращаются в класс. Рубахи навыпуск, взлохмаченные аолосы, блуждающие взгляды. Всем очевидно, что происходило в коридоре.

Одно слово: скандал. И снова Алфик — одно из главных действующих лиц. На сей раз у иего есть соучастиица. Китти недаром слывет человеком крайностей. Можно сказать, что она прячет свое «я», выставляя иапоказ только крайности, подобно Софи Лорен иа знаменитой фотографии, где она стоит за деревом. Алфик дрейфит и дает задний ход. До летних каникул все рааио только две недели, и Алф Хеллот нанимается иа рудовоз, направляющийся в тропики.

Так оно лучше для асех сторон.

Семейное положение/дети

«Холост, детей нет»,— скрипит перышко Алфика по военному бланку.

Прочие сведения.

Рейс вниз по карте, рейс вверх. Воспоминания о Китти тускло просвечивают в экваториальной тьме, точно компасная картушка. Спокойные вахты в безветреные ночи на темном мостике. Тихие беседы, легко принимающие философский уклон. Взглянуть на корабельные часы в надраенном медном кожухе. Определить точную позицию, держать курс, следить за движениями парохода, что качается иа волнах, растопырив под недвижимыми звездами свои лебедки, и мачты, и навигационную аппаратуру. За кормой бурлит кильватерная струя. По-испански — эстела. Белая пена эстелы на синей мускулистой спине океана, тонкая карандашная линия курса в ежеднеаных коротких

бросках через карту. Резкий звон машинного телеграфа. Болтающиеся в знойный полдень на палубе цепи, раскаленные ломики в руках, чтобы их подтянуть. Сплесень, трос, чекель, брашпиль, лаг, кабельтов — все эти слова глубоко западали в душу юнги Хеллота, звуча чистым голубым звоном, словно райски целомудренные храмовые колокола, прочно врастая в память неповторимым открытием. Скажу без утайки: нет для меня в этом мире ничего, что сравнилось бы безвозвратностью с той моряцкой жизнью, последний отблеск которой довелось здесь увидеть Алфику. А кают-компания! Спартанская столовая в рубке с отдельными столами для механиков и палубной команды, с твердо закрепленными местами, такими же священными, как места в каком-нибудь божьем храме. И в длинном качающемся покое нашего храма с глазеющими на безбрежное море круглыми иллюминаторами Алфик причащается к мирским истинам, посвящается в мужские ритуалы, один за другим сдает экзамены на зрелость. На пароходе Алф Хеллот накачивает силу — в работе вместе с палубной командой, в мужской словесности. Да и на суше не отстает от настоящих мужчин, накачиваясь до изумления в баре Международного клуба моряков. Здесь, в паршивом жестяном сарае с расплесканными по фасаду неоновыми бликами, с тошнотворной водкой в дорогих бутылках Алфик опускается на дно. Но отталкивается ногами и всплывает.

Наконец приходят домой. Алфик рад списанию на берег, счастлив, что теперь никто не назовет его салагой, горд, что познал все на свете. Повязав черный галстук, он совершает круги почета по городу в дешевом голубом костюме, желтых носках и белых туфлях, купаясь в завистливых и восхищенных взглядах.

За исключением того единственного взгляда, который ему важен. Нет Китти, он не встретил ее, не может найти, дом степенного начальника страховой конторы и щепетильной аптекарши, которые произвели на свет четырех образцовых мальчиков и одну девчонку-сорванца, этот дом пуст и заперт. О показательных отпрысках хоть известно, что они уехали на каникулы. Констанца и Авг. Хеллот тоже отсутствуют — отправились в Осло, и Алфик чувствует себя всеми брошенным и преданным. Не жди добра от мира! И Алфик не видит другого выхода, как устроить попойку с товарищами по плаванию.

Над банкетным залом на природе светлый летний вечер раскинул свой необъятный купол, одетые листвой зеленые деревья обрамляли идиллию. И у кого только достало сердца ее нарушить, вызвав блюстителей порядка, уму непостижимо. Впрочем, сидящим на поляне все было нипочем. Но только не Алфику Хеллоту.

Алф Хеллот встал и выпрямился во весь рост. Хмеля как не бывало. Он трезв как стеклышко. Озирается кругом, во все стороны. Лес окружает его сплошной зеленой стеной, держит в плену, он — гонимый зверь в дебрях. Алф Хеллот ныряет головой вперед в ближайшие кусты, вскакивает на ноги, продираясь сквозь ветки и листву, и пускается наутек. Слышит, как за его спиной десять глоток разражаются громким хохотом. Потом слышит только собственные шаги и стук крови в ушах. А еще он слышит, как газует полицейский «воронок».

Мозг Алфика Хеллота сверлит одна-единственная мысль: «Уйти! Уйти, уйти!» Он мчится галопом сквозь чащу ольхи, через россыпь сухой гальки, в каскадах брызг пересекает реку, карабкается через стену на другом берегу.

Позади него река, впереди — тоже река. Он очутился у основания мыса, который вдается во фьорд узкой полоской суши между заводским причалом и пассажирской пристанью. Алф Хеллот бежит в другую сторону, от фьорда. Здесь, где мыс расширяется, расположились бок о бок плавательный бассейн и футбольный стадион. Алф Хеллот — тренированный спортсмен, даже после двух месяцев в море ему не занимать силы и проворства. Он пересекает стадион на такой скорости, будто за ним гонится сам черт. Дышится тяжело, зато на душе легко. Он их перехитрил! Шутя он перемахивает через двухметровый забор стадиона. За забором — пустырь, дальше он в безопасности.

Но нет, Алф Хеллот не в безопасности. Он попадает в западню. С работающим мотором они ждали его возле Утиного пруда. Алфик наскочил прямо на удивленных блюстителей порядка, которым все еще было невдомек, какая муха его укусила. Пробежав через улицу Хокона и бугор за спортивным комплексом, он угодил в объятия полицейских. Это было так неожиданно, что он даже не попытался снова бежать. А тут еще перед клубом, где был объявлен вечер танцев, толпился оживленный люд. Алф Хеллот, мокрый до колен, в забрызганном грязью голубом костюме, покорно позволил вести себя, словно арестанта, сквозь веселую толпу. Тут я и увидел его — увидел,

как он послушно шагает к полицейской машине. Алфик тоже увидел меня, и думается мне, именно поэтому вдруг остановился, отказываясь идти дальше. Полицейские распахнули задние двери «воронка», чтобы запереть в нем беглеца, но не тут-то было. Алф Хеллот уперся ногой в порожек — и ни с места. Два рослых битюга в полицейской форме не могли с ним справиться. Вперед — стало быть, в тюрьму... Назад — на преступную стезю... Алфик чувствовал, что теряет почву под ногами. Точно он стоял на упругом трамплине, готовясь к прыжку в воду. Стоит в одних плавках, а бассейн внизу пуст, воды нет. За спиной у него раздавался смех. Вперед путь заказан. Назад — тоже.

Алф Хеллот безнадежно увяз.

— А-алфик!

Женский голос заставил его и всех нас повернуть голову. Мать, любовница?

Когда Констанца и Авг. Хеллот после многолетних супружеских трудов, наконец, стоя над колыбелькой, могли смотреть на выношенного мальчугана, долгожданного первенца, они, конечно же, как и родители Вергилия, не помышляли о том, что на семейном древе вырастет лавровая ветвь. Но в одном они не сомневались и были вполне согласны. Мальчик будет носить простое короткое норвежское имя, это уж точно. Обойдемся без длинных, мудреных, жеманных имен, которых все равно никто не употребляет, сразу же заменяя их не менее дурацким ласкательным прозвищем. Всякие там Киккан, или Дутте, или Лассе, или Бассе, или Малыш, или Ба, или Лёлле исключаются. Простое, короткое имя. И никакого сюсюканья. Просто и демократично. Назовем его Алф, проще и короче не придумаешь. Алф — записали при регистрации, Алф — возгласил крестивший его священник, однако сами Констанца и Авг. Хеллот сразу стали называть золотенького Алфиком, так и пристало к нему это прозвище.

Китти — прямо противоположный случай. Имя, данное ей при крещении, было таким длинным и недемократичным, что никак не вязалось с крохотным человечком. Эмеренсе Христенсе, а то и еще похуже. Точно никто не знал и не знает, сама же она отзывалась только на «Китти».

Как бы то ни было, сейчас в клубе города Ловра Китти танцевала танго под звуки аккордеона, гитары и контрабаса. Одетая в брюки, танцевала одна, без партнера, в самом центре зала, весело напевая рефрен к «Адьос, мучачос».

Однако тут она заметила, что на улице явно происходит нечто драматическое, перед чем меркнет праздник в танцевальном зале. Зрители, подпиравшие стены, уже вышли из клуба, танцующие пары одна за другой следовали их примеру, и вряд ли это бегство надлежало приписать устрашающему действию сольного выступления Китти.

Она довела свой номер до конца. Трое на эстраде — тоже, хотя едва не вывихнули шеи, пытаясь высмотреть, в чем дело. Теперь они поспешили к окну; контрабасист положил свой инструмент на пол, его товарищи не стали рассуждать. Китти направилась к дверям и вышла на крыльцо. Увидела полицейскую машину в окружении плотного кольца зрителей. А в центре кольца — двух полицейских и задержанного ими парня.

Китти спустилась по ступенькам, паря в теплом вечернем воздухе на крыльях своего недолговечного, но не ведающего страха очарования. Стала протискиваться сквозь толпу и увидела перед открытой дверью «воронка» Алфика Хеллота, прекрасного принца — на каждой руке висит по полицейскому, а он стоит как вкопанный, не желая двинуться ни вперед, ни назад. Публика не скупилась на ободряющие возгласы, обращенные то к блюстителям порядка, то к правонарушителю. Что до меня, то я предпочел держаться в тени, сам изрядно растерялся, если правду говорить. Я ведь чисто случайно проезжал мимо на видавшем виды мотороллере марки «темпо», который совсем недавно купил с рук и по поводу которого вел пространные переговоры с полицией, не одобрявшей карбидного фонаря. Карбидный фонарь! На месте передней фары! Все ясно, не стану больше распространяться. Я давно уже не такой спорщик, как прежде, ну, а в ту минуту, не видя, чем я могу быть полезен Алфику, я больше всего хотел вскочить на свой мотороллер с карбидным фонарем и укатить восвояси, авось обойдется. Но тут я увидел Китти.

Стоя в гуще публики, она смотрела на действующих лиц. Алфик по-прежнему не трогался с места. Наверное, Китти посчитала эту ситуацию экзистенциальной. Требующей от нее действия, участия и полной отдачи. Нужны были решительные меры. И Китти произнесла имя Алфика, крикнула над толпой:

— Алфик, кончай эту волынку!

Рыжая голова Алфа Хеллота медленно повернулась. Его глаза встретили взгляд Китти. Он привык видеть в ней проповедницу хаоса, искушающую человека экзистенциней, эссенцией, ликером и прочими опасными соблазнами. Да и сам Алфик допускал хаос как исходное состояние. Но чтобы этот хаос был упорядоченным, как в армии. Тогда — пожалуйста.

— Слышишь! Перестань ребячиться! — Этот маловразумительный призыв исходил от той же Китти.— Перестань ребячиться. Что ты там возомнил о себе?

Да, что там Алфик возомнил о себе? Китти пристально смотрела на него. И Алфик смотрел на нее, не очень понимая, что она хочет сказать, не зная, что он возомнил о себе. Сделать попытку? Он оттолкнулся от упругого трамплина. Но не нырнул в пустой бассейн, а отказался от попытки, вернулся по доске на вышку, спустился по лестнице вниз. Стряхнув с себя блюстителей порядка, Алфик Хеллот добровольно занял место в «воронке». Один полицейский последовал за ним, другой прошел вперед и сел за руль. Машина тронулась и набрала скорость. Стоя на месте, Китти смотрела, как лицо Алфика становится все меньше, вот уже видно лишь белое пятнышко за решеткой в заднем окне.

Разлука. Китти стоит в толпе. Алфика увезла полицейская машина. Я иду своим путем, ты — своим. Все в полном порядке. Будущее Алфа Хеллота — тоже, как вскоре выяснилось. Правда, он стал предметом насмешек, но тем все и ограничилось. А что это никогда не повторится, в этом он мог поклясться. Жизнь его не была разбита. Ступив на наклонную плоскость, он сумел вовремя повернуть назад. Обошлось даже без пятен в личном деле. Ловра — маленький городок; хоть тамошние люди могут показаться замкнутыми, отношения с властями у них доверительные. Нарушение общественного порядка и спокойствия было не настолько серьезным, чтобы дело нельзя было уладить. Добродушный полицейский отпустил Алфа Хеллота с миром.

Стоя свободным человеком посреди Ратушной площади, Алфик видит, как обретенная свобода летит во все стороны со скоростью света. Летний вечер непостижимо высок и светел. Тени прошли только половину своего долгого вечернего пути через березовые рощи к вершине горы Темпрен. По голубому манежу неба плывут цирковыми животными белые облака; послушные мягкой руке дрессировщика — морского ветра, встают на дыбы белоснежные арабские скакуны; над горизонтом на юге рокочут слоноподобные грозовые тучи; на запад, где низкое солнце загоняет на ночь рыжие стада, потянулись белые барашки вперемешку с одинокими черными овечками. В северной стороне небо над горами затянуто тонкой белой вуалью, словно кто-то водил сухой губкой по синей доске, стирая надпись. Синяя доска недолго остается пустой. Вынырнув из легкой дымки над западным горизонтом, сверхзвуковой самолет беззвучно рисует белую черту на чистой плоскости, перечеркивая грехи и злодеяния прошлого тайнописью вольности, чьи знаки постепенно расплываются и тают в синеве.

Конфликты с полицией

Алфик глубоко макает перо в чернильницу и пишет: нет.

Подписи

Окончив среднюю школу, я покинул родной городок, а потому не был свидетелем последних двух лет царствования Алфика в роли молодежного вожака и спортивного кумира. Но я слышал о его подвигах, а то и читал в газетах, и встречался с ним, приезжая в отпуск. Так что я был в курсе и почитал само собой разумеющимся, что Алф возглавил местную ячейку рабочей молодежи, где он горячо ратовал за помощь Запада развивающимся странам, за ограничение рождаемости в Индии, за любительский театр и агитбригады, за лыжное ориентирование и за танцы после собрания, чтобы привлекать побольше молодежи. В свободное время между школьными занятиями (он блестяще сдал экзамены на аттестат зрелости) и упорными тренировками на гимнастических снарядах Алфик не только успевал заседать в уездном совете по делам молодежи, где был заместителем председателя, но и, как это ни невероятно, справлялся с другими общественными делами. Его особенно увлекали международные вопросы, и он часто выезжал на курсы и конгрессы, организованные так называемой «Европейской молодежной кампанией», которая поставила себе главной целью вовлечь ФРГ в НАТО и оснастить ее современным оружием. Пожалуй, тут уместно напомнить,

что не только Алф Хеллот, но и многие представители нашей нынешней политической элиты начинали свою политическую карьеру в рядах этого движения.

Здесь ли ему пришла в голову эта идея или еще где-нибудь,— во всяком случае, весть о том, что Алфик поступил в авиационное училище, поразила меня, словно громом. И не отмахнуться от этой вести, как от пустого слуха, ведь услышал я ее из уст самого Алфа, совершенно случайно, когда встретился с ним на пароме, который шел в Ловру из Ставангера.

Мы давно не виделись, и оба считали, что у нас есть в запасе большие секреты. Что и дали понять друг другу достаточно ясно. Но если Алфик, без сомнения, превосходил меня во всех других областях, то как раз с защитной стойкой у меня, пожалуй, дело обстояло лучше, я раскрывался в меру. Так или иначе, мы всячески ломались, обмениваясь многозначительными намеками, и, глядя на Алфика Хеллота, я говорил себе, что он излишне увлекается ролью лихого спортсмена. У него появилась спесивость, он щеголял броскими словами, поигрывал мышцами предплечий, то и дело поддергивал штаны. Но я должен первым признать, что это не мешало ему сохранять унаследованное от отца этакое пролетарское изящество, которое у самого Авг. Хеллота с годами поднялось до сугубо пролетарской величавости.

Время шло, полупустой паром еле полз по фьорду меж уходящими к горизонту лесистыми склонами гор. И Алфик не выдержал. Ему не терпелось выложить свою новость, но так, чтобы я первым задал нужный вопрос. Знаю ли я, откуда он? Я-то? Как не знать, в одном городе родились, вроде бы в одном доме жили. Да нет, он не в этом смысле, в другом — откуда он сейчас едет? А-а, вот он про что... Ну, и как, хотел бы я услышать — откуда? Что ж, протянул я, можно и послушать.

И пошло-поехало. На меня обрушился поток слов, целая лекция о нейрофизиологах и психологических тестах, об ожидании в очередях, имитации подъема в барокамере у специалистов по авиационной медицине, о других медицинских обследованиях, выслушиваниях и выстукиваниях вдоль и поперек, о новых очередях, беседах с членами приемных комиссий, бесконечных психических и физических проверках. Коэффициент интеллектуальности, кривые Гаусса, проверки технической смекалки, цветового восприятия, зрения и слуха. Анализы мочи, своего рода посвятительные обряды племени современных воинов, когда двадцатилетние парни стоят нагишом среди канцелярского и лабораторного оборудования. В руке у каждого бокал на высокой ножке. Переливается хрусталь, переливается собственная моча. Шаман, одетый в белое, обходит воинов, опуская в подогретый телом напиток трубочки для коктейля, то бишь лакмусовые бумажки. У всех нормальная реакция.

И новые очереди. Последняя — у дверей комнаты с голыми стенами. Их запускают туда по одному. Приемные испытания длятся четырнадцать дней. И вот осталось последнее. Всю обстановку этой комнаты составляют сдвинутые вместе три-четыре стола на гнутых стальных ножках, перед которыми стоит посередине простая табуретка. Алфик входит, дверь за ним закрывается, назад хода нет. За длинным составным столом сидят неподвижно люди и глядят на тебя. Молча глядят. Немногие метры от двери до табуретки — испытание на психическую выдержку. Но Алфик трогается с места и одолевает эти метры, сам не зная как, доходит до табуретки и садится перед ними. Перед сидящими в ряд членами приемной комиссии. По-прежнему царит молчание. Все смотрят на тебя. Ты один. Язык как средство общения не существует. Словно и не было. Впервые в жизни Алфик видит воочию Власть. Лицом к лицу. Она непроницаема. Никак не изъясняется. Ничего не говорит. Ей нет нужды называть себя. Она просто есть. Просто глядит. Смотрит в упор на Алфа Хеллота. Его глазами мы встретили ее взгляд.

Борт парома скрипит о привальный брус, на пристани в глубине фьорда закрепляются швартовы. Мы спускаемся по сходням. Низкие дождевые тучи над серыми шиферными крышами неустанно всасывают дым из заводских труб.

— Ну, а отец твой,— спрашиваю я,— что он скажет? Не взбеленится?

— Не знаю. Но Констанца не в восторге.

Что ж, вопрос как будто исчерпан. Мы расходимся по своим делам. И тут вновь происходит то, что уже было. Я вижу его, провожаю Алфика взглядом и слышу, как он, придя домой, разговаривает с родителями. Поначалу неясно, точно сквозь стену. Слышу не отдельные слова и связные предложения, а только мелодические фразы —

материнское высокое сопрано, драматический тенор Алфика да изредка глухое рыканье отцовского баса.

Он застает ее в гостиной. Констанца читает. Она поднимает глаза. Над ними — перманент, жесткий, точно серая скала. Пальцы непрестанно двигаются. Она вяжет и читает так же естественно, как дышит. Пальцы преображают шерсть в теплую одежду, глаза вдыхают жизнь в летаргические сочетания букв на книжных страницах. Но главная ее страсть совсем другого рода. Уже много лет как Констанца Хеллот обзавелась счетчиком Гейгера. С этим прибором она исходила вдоль и поперек весь горный край между Сетесдалом Рюфюльке и Хардангером. До последнего времени область эта в основном пополняла копилку национального богатства запружением дождевой водой, по принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Но Констанца полагала, что и в этом унылом непросыхающем краю таится скрытое под выскобленными скалами богатство. А потому каждую весну, вооружась счетчиком Гейгера, она отправлялась на поиски урана. Всякий раз впустую. Горы были свободны — в том числе и от радиоактивности. Ничто не щелкало в наушниках, подключенных к прибору Констанцы Хеллот.

Любому ясно, что такое увлечение запросто могло сделать фру Констанцу Хеллот посмешищем. Но этого не произошло. Во всех прочих отношениях она была надежна, добросовестна, благоразумна и умна. Люди не оспаривали ее убеждение, что уран должен быть — скажем, на Эспеландском увале или на горе Этне. Правда, Алфик никак не мог взять в толк, что за темные страсти заставляют мать все летние месяцы бродить по горам с каким-то странным аппаратом. Не понимал он и какого радиоактивного вещества она доискивается в романах. От вязания хоть прок есть, одежда получается. А про одежду говорят, что она творит человека. Как и перо писателя?

Глаза Констанцы снова обращены на книгу, но Алфик не интересуется, что она читает.

— Отец в подвале,— говорит она; спицы не перестают звенеть.— Вряд ли он будет рад.

Алф Хеллот спускается в подвал. Так уж повелось у Хеллота-старшего — не может он сидеть без дела. Теперь, когда его избрали в секретариат профобъединения, предстоит переезд в Осло, этот дом придется продать. Не мешает кое-что подправить, говорит он, чтобы цену поднять. Стоя на коленях, он на миг поворачивает голову, услышав шаги Алфика на лестнице.

— Протечка,— сообщает он, словно оправдываясь.— Вода откуда-то просачивалась. Не оставлять же так новым хозяевам. А заодно уж решил я весь пол нарастить.

Возле него стоит грохот для песка, а также заступ и совковая лопата — два медиатора, которыми Авг. Хеллот бренчит на струнах грохота. У стены лежит пустой мешок и мастерок. Он уложил цементный раствор, теперь разглаживает вровень с плинтусом. Инструмент расположен в строгом порядке: пила, топор, ножницы, нож, лопата. Остро наточенные лезвия блестят, не инструмент — холодное оружие.

— Я гляжу, ты все гоняешь лодыря.

Алфик пытается шутить. Но не угадывает в лад. Шутка режет ухо фальшью. Он сам это слышит. Авг. Хеллот трудится, говорит, не поднимая головы:

— Ну как, удачно съездил?

— Отец...

Алфик смотрит на уложенный раствор. Такой свежий, что на нем даже слова могут след оставить.

— Да?

— Мне надо тебе кое-что сказать.

— Вижу.

Не иначе у Авг. Хеллота глаза на затылке. Он знай себе продолжает работать. Алфик собирается с духом для решительного шага.

— Меня приняли,— говорит он наконец.— Приняли в авиационное училище. Я ездил в Рюгге сдавать экзамены. Все сдал, и меня приняли. Только что сообщили.

Длинная костистая спина Авг. Хеллота не меняет положения. Ни один мускул не дрогнул. Ноги словно торчат сами по себе из туловища как попало. Голова, когда смотришь сзади, смахивает на сустав, венчающий культю конечности, ампутированной после некоего внутреннего взрыва.

— Будешь офицером?

Голос по-прежнему спокойный. Рука мягко гладит цемент мастерком. Алфик быстро отвечает, радуясь такому обороту разговора:

— Нет, только сержантом. Чтобы стать настоящим офицером, надо еще кончить училище военных летчиков.

Рука Авг. Хеллота ходит влево-вправо, как заведенная.

— Я рад, что хоть ты будешь избавлен от этого,— говорит он, не отрывая глаз от цемента.— Что тебе не надо будет в грязи копаться. Корячиться ради денег. Подниматься ни свет ни заря. Плестись домой к обеду. Горбатиться, чтобы хватило на дом и хозяйство. Как мне пришлось. Рад, что ты будешь от этого избавлен. Становись офицером, Алфик.

Авг. Хеллот продолжает утюжить, заглаживать.

— Я не люблю вспоминать военные годы,— говорит он, и Алфик ждет, что сейчас пойдет речь о немецком концлагере.

Он не угадал. Но и не о тогдашнем поражении рассказ отца, а о незамеченной военной историей победе в скандальной для военной касты норвежской кампании 1940 года. Победе, которая помогла Авг. Хеллоту пережить годы неволи и вместе с другими выиграть не только войну, но и мир — в ходе избирательных кампаний и бурных парламентских голосований.

Вышло так, что 9 апреля 1940 года (день фашистского вторжения в Норвегию) Авг. Хеллот работал в Одде. По его словам, тогда он поддерживал тесные отношения с коммунистами. Фактически сам был коммунистом, разделял партийную оценку немецкой агрессии как элемента войны империалистических держав за передел мира. Дескать, коммунистам нужно следить за ходом событий и держать порох сухим. Однако среди товарищей Авг. Хеллота по партии в Одде был один моряк, который участвовал в гражданской войне в Испании. И вот этот моряк произносит слова, достойные увековечивания: мол, он всюду боролся против фашизма, и теперь, когда фашизм явился к ним в Одду, лично он ни минуты не сомневается, что́ нужно делать.

Утром 10 апреля через Сёрфьорд в сторону Гранвина идет суденышко, битком набитое пассажирами. Тут парни из Сауды, из Одды, из Ловры и окрестных селений. Среди них и Авг. Хеллот. В ночь на 11 апреля они пристают к берегу в районе Воссевангена и размещаются в Доме миссионера. На другой день получают обмундирование, оружие и боеприпасы.

Проходит больше недели, прежде чем они воочию видят врага. На десятый день Восс бомбят немецкие самолеты. Норвежские отряды оставляют город. Начинается отступление через туманы войны, к поражению и позору. И тут происходит неожиданное. Роте Авг. Хеллота удается наладить организованный отпор, тормозя продвижение врага. С каждым шагом назад они сопротивляются все упорнее. Немцы не боги и не дьяволы, мало-помалу выясняется, что с ними можно драться на равных. Правда, вооружение у них получше, но и норвежское оружие стреляет, а в знании местности норвежцы превосходят врага. Они не сомневаются, что могут одолеть его. Постепенно в этом убеждаются и другие. Ранним утром Авг. Хеллота будит голос из громкоговорителей. Схватив ружье, он выскакивает из палатки. Щурится на снежные сугробы, белеющие на черной весенней земле. И различает такое, чего никогда не забудет. Они окружены немцами и собственными командирами. За спиной бойцов офицеры договорились о капитуляции. И направили оружие против соотечественников.

— А иначе мы бы никогда не сдались. И они это знали.

Авг. Хеллот выпрямляется во весь рост, едва не бодая потолок подвала.

— Тебе задание — поливать время от времени,— говорит он вдруг, показывая на свежий цемент.— По мере того, как будет твердеть. Нам могут пригодиться такие офицеры, которым можно доверять.

— Ага,— произносит Алфик вяло, неуверенно.

Авг. Хеллот ополаскивает инструмент водой из шланга.

— Так, порядок. Что ж, пора кончать на сегодня.

Он заворачивает кран и глядит на Алфика. Собирает инструмент и ставит на место. Лезвия лопат скребут по цементу.

— Часы при тебе?

Алфик смотрит на запястье.

— Скоро восемь.

— Тогда пошли наверх ужинать. Выключай свет за собой.

На середине лестницы их окутывает мрак. Авг. Хеллот топает впереди, Алфик шагает за ним к распахнутой двери.

Где-то во тьме беззвучно отмеряют двенадцатичасовые круги часовые стрелки, короткая и длинная, медлительная и быстрая, ходят, словно узники по тюремному двору, по большому кругу, по малому кругу. Ходят, как кобыла с жеребенком на привязи. Обгладывая циферблат.

Дверной проем смотрит в подвал прямоугольником света. На пороге стоит Констанца. Дойдя до верхней ступеньки, Авг. Хеллот поворачивается. Они стоят бок о бок и смотрят на идущего к ним Алфика. Констанца и Авг. Хеллот на верхней площадке подвальной лестницы, два силуэта, резко очерченных светом из кухни. Упование, освещенное сзади ярким блицем.

Медленно поднимаясь по лестнице, проверяя ногой каждую ступеньку, облегченный, отягченный, он говорит снизу, из темноты:

— Спасибо.

— Не принижай себя.

— Вон какого мы тебя вырастили.

Заря

Тронхейм известен как город, где короновались норвежские монархи, а окружающий его район — как военно-стратегический центр тяжести Норвегии. В губернии Трёнделаг — две важные базы ВВС и совершенно секретный командный центр в толще горы Грокаллен, на западной окраине города. Тронхейм — узел, соединяющий север и юг страны; через него удобный выход в Северное море и Атлантику. Здесь располагается также духовный и географический центр творений, получивших название трёнделагских анекдотов, которые выставляют на посмешище некоторые наиболее сомнительные стороны нашего национального характера; на мой непросвещенный взгляд, не слишком остроумно. Сверх того, это единственное место на планете, а то и во вселенной (ежели права либеральная теология, утверждая, что никакого ада нет), где в ходу игра под названием скоттхюлль.

Все эти факты я привожу не затем, чтобы выставить в каком-либо свете местное общество или отдельных лиц, а лишь потому, что город Тронхейм вместе с губернией Трёнделаг играют решающую этапную роль в развитии Алфика Хеллота от мальчика до мужа. В этой связи уместно также сказать, что Тронхейм отличается на редкость четкой и удобной планировкой, благодаря чему он весьма подходит для доброй попойки во время увольнения. Если кому назавтра требуется прощение, покаянная стезя к видным экспертам по отпущению грехов достаточно коротка. Тронхейм — обитель наиболее известного из причисленных к лику святых северных королей; во всяком случае, здесь находится храм, где стоял гроб с бренными останками святейшего из парней, носивших имя Ула. Вокруг коронационного собора желающие могут узреть другие, не столь религиозные храмы, где венчают конькобежных и лыжных королей, а также прочих дурней высшей категории.

Вот так примерно выглядят трибуны вокруг арены, где берет начало воинская трасса Алфика Хеллота; здесь ему улыбается удача и его усилия венчаются победой. Правда, не в самом Тронхейме, а в Эрланде, много ближе к морю, на той из баз норвежских ВВС, что более других заслуживает звания чисто американской. Здесь проводится чемпионат страны по военному пятиборью для летного состава, и Алфик выходит на старт бега с препятствиями, который вместе с ориентированием составляет упражнение «побег».

Преодоление полосы препятствий начинается с короткого броска к первому барьеру — вертикальной деревянной решетке с широкими просветами. Нужно перегнуться через верхнюю перекладину, ухватиться руками и приземлиться кувырком в яме с песком. Следующее препятствие — бревно на подпорках; затем путь преграждает двухметровый дощатый забор. Дальше — подобие лестницы с укреплениями в метре друг от друга круглыми брусьями. Скачи вверх, все выше и выше, пока не кончатся ступени, а назад хода нет, только вперед, в пустоту. Прыгай в грязь, ныряй под растянутую над землей проволочную сетку и ползи как бы под пулеметным огнем. За сеткой висит канат, по нему надо лезть четыре метра вверх, обжигая ладони всеми метрами при спуске. Дальше пробежка зигзагом по грязи — и новое препятствие, что-то вроде рыболовной сети, подвешенной на наклонной раме. Но вот и финиш маячит

впереди, его видит даже Алфик, который выложился до конца и уже не в состоянии разобрать, что его ждет напоследок, то ли доски с гвоздями, то ли огнедышащий дракон, ров с водой, крепостная стена, рогатка, а может быть, раскаленные железные прутья. Одолев последнее препятствие, он пересекает финишную черту, теряет равновесие, шлепается на землю и остается лежать. Лежит, уткнувшись в грязь лицом.

Алфик смутно ощущает какое-то прикосновение. Его подхватывают за руки и за ноги, отрывают от земли, и он убеждается, что не распался на части, туловище не отделилось, усталые ноги не остались лежать в грязи. Алфик чувствует, как его отпускают, подбрасывая вверх, и он летит по воздуху. Достигнув вершины кривой, падает вниз, но его ловят и снова бросают вверх. Еще и еще. Он начинает различать отдельные звуки кругом, громкие крики «ура». Но вот его перестают качать. Сильные руки, поймав, выпрямляют Алфика и усаживают на сплетенные вместе пятерни. Сидя на «золотом стуле», Алф Хеллот сияет, светится от радости, его хлопают по плечам, ласково треплют по затылку, заставляют поднять руки над головой. Весь в грязи с ног до головы, он восседает на «золотом стуле», и грязь превращается в благородный металл. Так мальчики становятся мужчинами. Так они твердеют и надраиваются до блеска, излучая силу. Грязь, через которую они должны пройти, играет роль полировальной пасты, выявляя слагающее их вещество, обнажая их суть. Хочешь очиститься — ползай в грязи. Алф Хеллот поднимает в руках сверкающий трофей. Чистая победа! Его несут в душ, с него снимают башмаки и походную форму, его поливают струи воды, шампанское перебивает вкус крови во рту, парадный барабан в грудной клетке опять отбивает обычный маршевый ритм.

Несколько часов спустя в столовой авиабазы Эрланд курсант авиационного училища Алф Хеллот, в чистой форме, с рыжим ежиком и багровым лицом, принимает первый приз за победу в военном пятиборье. Позади двухмесячный подготовительный курс. Первые теоретические занятия проходили в Ярлсберге, губерния Вестфолл, затем были учебные полеты в Рюгге (тогда тамошний аэродром еще был травяным), теперь же авиационное училище ВВС сосредоточило свою деятельность в Стьордале, губерния Нур-Трёнделаг. Одновременно Вяриес стал оперативным аэродромом реактивной авиации наряду с Эрландом, где сейчас снова получают признание незаурядные бойцовские качества Алфика.

Женский персонал украсил столовую березовыми ветками и национальными флагами: Алфик раз за разом выходит из строя под декоративные арки получать очередной приз. Кроме победы в упражнении «побег», он был первым в плавании с препятствиями и стрельбе. Этого достаточно для победы в сумме пятиборья; относительную неудачу в фехтовании и баскетболе он не принимает близко к сердцу, поскольку не занимался всерьез этими видами. Алф сжимает в руках свои кубки, пожимает руку вручающему награды генералу, держит улыбку, пока фотографы из армейских газет прилежно щелкают затворами. Снимки, которые затем появляются, выглядят еще более плоскими и парадными, чем портрет великого гимнаста Алфа Хеллота,— настоящие военные иконы без индивидуальных черт. В свете блицев сияют генерал, и кубки, и капрал.

Всем известно, что глупость правит миром. И все же, слушая, как судят о нашем мире, я не однажды думал, что мы должны быть вечно благодарны людям действия. Это в необычайно высокой степени относится к застольной речи, которую сейчас мысленно оттачивает начальник училища, молодой подполковник Эг. Он ждет до самого десерта. Наконец строгие губы его приходят в движение. Он стучит ножом по бокалу.

— Воины! — молвит он и, выдержав эффектную паузу, продолжает: — Девяносто процентов. Девяносто процентов видимого глазу солдата составляет военная форма. Если то, что́ между козырьком фуражки и воротничком, выглядит глупо, мы тут ни при чем. А вот об остальном мы позаботимся!

Бурные овации — награда подполковнику за это выступление. Дождавшись, когда стихает шум, он пускается в сумбурные разглагольствования, возвещая, в частности, что военная форма — не просто одежда. Это символ, доспехи, защищающие от всего грязного, горячего и мокрого. Женщина, подвал, кухня. Вот регионы, от которых отгораживает форма. Но надежные рубежи даром не даются. Бег с препятствиями — тоже символ. В нем воплощается принцип: сломи себя — сотвори себя. Кто первым пересек финишную черту в беге с препятствиями, тот одержал самую боль-

шую победу над собой. Тот всегда сумеет защитить себя, будь то от женской или любой другой вражеской оккупации. Девятое апреля не повторится!

После вручения призов Алфик Хеллот сидит за рулем машины, держа курс внутрь полуострова. Мысли его далеко, он не слышит, что там говорят его спутники. Ему есть о чем поразмыслить. Речь начальника училища заставила его вспомнить про Китти. Яд ее голоса, когда она услышала новость. Алфик в летном училище! Пилот реактивной авиации! Офицер — он? Да правда ли это?!

Правда, чистая правда. Китти: с ума сойти! Алфик все больше утверждается в мысли, что это о ней говорил подполковник Эг. О ком же еще! Китти — наваждение, вражеское нашествие. Это от ее оккупационных сил ему надо освободиться. Укрыться в рокочущем жестком корпусе самолета. И — вверх, на волю. С бомбовым грузом стремительно пикировать на дамочек и так же быстро выходить из пике, возвращаясь к самому себе.

— Привет орлу! — бормочет Алфик, прибавляя газ, и уроженец Бергена, отчисленный курсант Хюсен-Андресен, что сидит впереди рядом с Хеллотом, принимает эти слова на свой счет и, чувствуя себя польщенным, отвечает Алфику лестью — дескать, на поворотах за машиной виден конденсационный след, и на участке от лагеря в Эрлайде до приставни в Ванвикене они раз пять пробивали звуковой барьер.

Трое на заднем сиденье согласны с ним. Пока они сидят достаточно спокойно, чтобы их можно было пересчитать, спешу воспользоваться случаем и представить каждого по отдельности. Тот, что швыряет в открытое окно пустую посуду, — честолюбивый сын Трёнделага по кличке Кваксен; это он взял верх над Алфиком Хеллотом в скоттхюлле. В середине — Уно из Осло, и фамилия какая-то есть, но все зовут его просто Паттоном. Обыкновенный обаятельный дикарь и обыкновенный одержимый воздушный лихач. Зато третий несомненно заслуживает эпитета «необыкновенный» хотя бы потому, что он уроженец Кристиансунна. Глёр из Кристиансунна — города, который ничем не славен, из которого никто не вышел и в который никто не вошел, о котором ни разу не упоминается ни в устных преданиях, ни в литературе и которого, сколько мне известно, никто не воспевал, даже самый завалящий трубадур. Так вот, необыкновенность курсанта Глёра заключалась в том, что ему удавалось без малейших усилий с его стороны создавать у окружающих впечатление, что Кристиансунн — всем городам город, что остальной мир решительно проигрывает оттого, что он не Кристиансунн, и беда всех остальных людей заключается в том, что они не уроженцы Кристиансунна и не говорят между собой на тамошнем мягком диалекте. Сам Глёр ничего не говорил об этом; каким-то непостижимым образом все было ясно само собой. Он был общителен, приветлив, открыт и разговорчив. Оставаясь при этом великой загадкой. Сверх того, что его ожидает блестящее будущее, никто не знал о нем ничего: вышел ли он из рыбопромышленной аристократии или коминтерновских коммунистов (обе эти группы занимали видное место в Кристиансунне), или же он многолетний чемпион по классической борьбе — вид спорта, до того развитый в Кристиансунне, что его впору сравнить с фанатической верой. Во всяком случае, от Глёра на эти вопросы ответа не ждн.

Целью всех этих превышений скорости было кафе, которое помнят лишь избранные старожилы Тронхейма. Находилось оно в районе Ила, неподалеку от нынешней «Таверны Мартина», и носило гордое название «Голубой грот». Видимо, соседство фьорда кому-то подсказало естественную мысль открыть в этой части города рыбный ресторан. Очень скоро выяснилось, что с рыбой нет проблем, зато есть проблемы с едоками. Едоки не шли, а кто приходил, больше думал про то, чем рыбу запивают. И «Голубой грот» живо превратился в добрую пивную. Лишь остатки интерьера да освещение — излучаемая проемами в стенах ледяная подземная синева — напоминали о былом величии.

Бочковое пиво и крепленое вино — вот и все приманки этого заведения. Пятерка курсантов разместилась за одним столом, одолжив недостающий стул. На них летняя форма, вид что надо. Алф Хеллот номер один среди них. Он победил в летном многоборье. Выиграл все поединки с секундомером и соперниками. Блеснул на летных испытаниях. Из пятисот восьмидесяти девяти подавших заявление в училище пятьсот шестьдесят восемь не прошли по конкурсу. Из оставшихся двадцати одного Алфик Хеллот — лучший. Он будет истребителем, это твердо решено, никаких там вертолетов и транспортных машин. Он номер один, победитель, ас. И весь остаток вечера, и всю

ночь, и борясь на другой день с похмельем, курсант Алф Хеллот хмуро поглядывает на Кваксена, соображая, как взять реванш за поражение в скоттхюлле.

В скоттхюлле! Кто не знает Алфика, тот не может представить себе, как терзает его это поражение. Он вызывает всех и каждого помериться силами и шутя кладет руку противника на стол, если локти упираются в столешницу, или на пол, если неодинок происходит под столом. Кто и после того не сдается, получает вызов на финальное состязание — перетягивание пальцем, согнутым в крючок. Алф выигрывает тысяча одну крону в покер при ставке всего в десять эре. Он король бильярда. Язык работает как у финалиста первенства мира по анекдотам. Любое слово, малейшее прикосновение — повод для поединка не на жизнь, а на смерть.

Но и сплошная череда триумфов не помогает Алфику Хеллоту забыть поражение в скоттхюлле. Добро бы еще не такой дурацкий спорт! Не такой однотский! Типичная для Трёхделага бредовая затея. Было бы настоящее мужское единоборство. А то ведь больше всего похоже на расшибалочку. Когда это Алфа Хеллота волновало, кто лучше, кто хуже играет в расшибалочку? Точнее сказать, скоттхюлль — нечто среднее между расшибалочкой и кеглями в примитивной форме. Только требуется еще физическая сила. Грубая физическая сила. Вот вам и весь скоттхюлль. И пусть в губернии Трёхделаг устраивают соревнования в несколько кругов и в разных лигах. Все равно скоттхюлль не для цивилизованных людей. Хоть и придумали всякие правила, хоть и ни один обеденный перерыв на мыловаренных заводах, у кондитеров и металлургов не обходится без скоттхюлля. И местные газеты не устают печатать результаты очередных туров. Все равно скоттхюлль был и остается местной разновидностью расшибалочки. А сами жители губернии — те же шведы: блестящие туполобые спортивные звезды. А шведы — немцы Скандинавии. А немцы — марсиане планеты Земля. А все остальные вообще ошиблись планетой?

Скоттхюллы! Мысль о миллиардах жителей Земли, которые и слова-то этого не слыхали, не помогала. Противно до тошноты, до рвоты, ни больше, ни меньше. Гнусная затея. Тяжелые плоские лепешки из чугуна, величиной как раз в нятерию работяги. Алфику казалось, что он все еще ощущает тяжесть металла на ладони. Крепко сжать скоттхюлль пальцами. Готово! Поднять перед собой на вытянутой руке и прицелиться одним глазом над краем круглой лепешки. Вот так. Быстро заиести вытянутую руку за спину и метнуть. После чего теоретически скоттхюлль должен описать в воздухе красивую баллистическую кривую курсом на расположенный в десяти — нятнадцати метрах продолговатый деревянный настил. И — опять-таки теоретически — повалить кегли. В этом вся суть. Попасть в площадку и сбить расставленные одна за другой три кегли. Только и всего. Вроде бы раз плюнуть. Угодить в доски настила так, чтобы чугунная лепешка, скользя по ним, сбила все три кегли. Но как же это непросто, черт подери!

Курсант Алф Хеллот, который не привык проигрывать, который считает любое место, кроме первого, нарушением естественного порядка, чувствует, что еще одно местное изобретение берет верх над ним. Трёнделагское шампанское. Наполни стакан самогоном. Добавь столовую ложку сухой шипучки. И пей, пока шипит. В голове шумит. Тебя качает. Алфик вынужден ухватиться за край стола, чтобы не упасть.

— Очистки,— слышит он голос рядом с собой.— Остаются очистки.

Кажется, я еще не представил как должно члена компании, который громким и звонким голосом произносит эти слова. Так вот, он из Бергена, фамилия — Хюсен-Андресен. Не стоит запоминать потому что чаще всего его кличут (по названиям знаменитых Семи гор Бергена) либо Флёйен, либо Ульрикен, либо Лёвстаккен, либо Людерхурн, либо Свартедикет, либо Рюндеманиен. Недурен собой — лучистые глаза и звездная улыбка голливудского любовника. Но ему этого мало, он мечтает о звездочках на петлице и чтобы в небе за ним тянулся конденсационный след. В первые три дня подготовительного курса все шло хорошо. Он был героем. Свой красивый голос использовал для того, чтобы задавать вопросы, не требующие ответа, возвещать о своем появлении командами вроде «Хейде хох!», вещать о ветеранах двух мировых войн или перечислять технические данные всех летательных аппаратов от архангела Гавриила до Пегаса, Икара и ракеты Фау-2. Все это знал он назубок, а большего явно не мог усвоить. В ходе невесть какой подготовки в Вярнесе был быстро и грубо раздет. После строевых занятий, тренировки на приборах, курсов навигации, аэродинамики, метеорологии и составления рапортов от его лоска ничего не осталось. Под

позолотой было сплошное горе. После двадцати пяти часов учебных полетов он остался голым. Его отчислили первым из всей группы.

— Очистки,— повторяет жертва отбора.— Остаются очистки. После чистки.

— Ну-ну! — отзывается Алф Хеллот.— А дальше? Дальше-то что будет?

— Дальше будут осложнения. Дело в том, что я попал в переплет. А тут дома в Бергене попалась мне одна. Не помню уж точно, чем мы занимались, но кажется, к двум прибавится третий.

— Ты прижимала меня к сердцу,— пропел Паттон.— И не сводила с меня глаз. Я наградил тебя младенцем. И сделал ручкой в тот же час.

И тут никогда не отличавшийся красноречием Кваксен из Трёнделага, карьерист и командирский прихвостень, вдруг пронзнес:

— Это значит, получилась так называемая нежелательная бергемениость.

От удивления парни забыли, что надо смеяться. Они испуганно уставились на Кваксена. Про него на курсах говорили, дескать, до него все так медленно доходит, что ему надо трое суток пить, чтобы окосеть, да и то не хмель, а накопившаяся моча ему в голову ударяет. Еще говорили, что этого кряжа одной пулей не уложишь, надо всего свинцом накачать, чтобы рухнул от тяжести. Во всяком случае, по виду Кваксена невозможно было определить, чем полна его голова — алкоголем или свинцом.

Ульрикен первым обрел дар речи.

— Это пиво в нем говорит,— сказал он.— Не видите, что ли, побурел весь.

— У этого Рюндеманнена не язык, а помело, что где лежит, то и подмело.— Снова Кваксен.

— Я же говорил: после чистки остаются очистки. Вот вам лишнее подтверждение.

— Без промаха шпаришь,— сказал Алф Хеллот.— Не в бровь, а в глаз.

— Этот Лёвстаккен,— заметил курсант Глёр из Кристиансунна,— из породы тяни-толкаев. Оглянется назад и соображает, верно ли поступил. И каждый раз выходит, что верно. Но и по-другому тоже можно было сделать. И опять было бы верно.

Алфик слушал только вполуха. В эту минуту в дверях «Голубого грота» появилась кучка штатских. Кучка эта смахивала на группу поддержки из тыловой команды, которая несомненно сама нуждалась в поддержке. Поддержке с воздуха эскадрильей Алфа Хеллота.

Лёвстаккен не унимался. Его совсем развезло. Он продолжал бубнить:

— После чистки остаются очистки. Мусор остается. Последнее барахло.

— Ну, все! — Алфу Хеллоту надоела его присказка. Он ударил кулаком по столу.— Не можешь стать мужчиной, попробуй хоть быть своим парнем.

— Этого Людерхурна,— сказал Кваксен,— вообще к бабам нельзя подпускать. Ему не шлюхи — плюхи нужны. Трепка, взбучка, тумаки.

— Поцелуй меня в ...!

Пока шло очередное упражнение в солдатском юморе, Алф Хеллот снова поглядел на штатских. Они вошли в кафе и сели за свободный столик. И в памяти Алфика что-то зашевелилось.

Острословы не жалели пороха, но внимание Алфика было обращено на другое. Он услышал смех. Наверное, только один человек на свете смеется так. С глубоким придыханием. Долгие трубные звуки с оттенком печали. Теперь Алфик уже не только слышал, но и видел. Смеялся один из штатских. Вот тот. И он наконец узнал меня.

— А я так плевал на все это! — объявил Свартедикет.

Но Алфик Хеллот его не слушал. Он встал из-за стола.

— Персон! — заорал он.— Старина Персон! Привет, бродяга!

Философ-лингвист Витгенштейн рассказывает (в письме Норману Малькольму), что его критический глаз подобен рентгеновскому и способен разом пронизать от двух до четырехсот книжных страниц. Утверждает, что так приобрел он все свои признания. Мой взгляд пока не прибавил мне познаний, и его, пожалуй, вернее будет сравнить не с рентгеновскими лучами, а с радаром. И в его распоряжении, думается мне, куда более совершенные технические средства, чем те, которыми располагал Витгенштейн. Недаром, как это следует из всего предыдущего изложения, с той самой минуты, когда я прошел через трехтонные двери тамбура на выходе из командного пункта в Рейтане и пока спускался с горы на мотоцикле, направляясь к центру, я не только видел каждое движение Алфика, но и слышал все, что говорилось. Теперь, оказавшись лицом

к лицу, мы согласились, что эта встреча — полная неожиданность для обоих. После чего сели к столу, и Алфик охотно поведал мне все про свое авиационное училище, тогда как я попробовал закрыться встречным вопросом, когда он стал допытываться, что я-то делаю в этих краях.

— Ты подразумеваешь свободное время? — серьезно спросил я.

Но он подразумевал другое.

— Время перед закрытием. Твоей конторы.

Поразмыслив малость, я решил, что могу в самых общих чертах обрисовать служебный путь, по которому следовал не первый год. И поскольку Алф Хеллот, как и я, не был засекречен, позволю себе здесь повторить часть того, что рассказал ему. Итак, пусть читатель вместе со мной попытается представить себе упитанного юношу, который уже не носит длинные розовые чулки, но все еще щеголяет светлыми кудрями и который топает по Североиому мысу курсом на мореходное училище в Бергене, где он учится на радиотелеграфиста. Серьезный и замкнутый, он бредет мимо статуи великой писательницы Амалии Скрам и по узким улочкам вдоль домов, по-прежнему вполне подходящих на роль антуража ее натуралистических бытописаний. Впрочем, качающиеся антенны на крыше Мореходки помогли мне в некотором смысле преодолеть узкие натуралистические рамки моей собственной жизни. Антенны были для меня усами Сальвадора Дали, миражами фантазии. Пусть человек знает свое место, и будет порядок в мире! Но в мире не было порядка. Мне надели на голову наушники, сунули в руку странный ключ. Под тяжестью руки ключ опустился, замыкая электрическую цепь, и я принялся передавать свои первые сигналы азбуки Морзе. Мне открылся мир, полный знаков и сигналов. За одну зиму на Северном мысу я одолел всю беспроволочную азбуку. Я извлекал из пустоты слова и целые предложения и с приличной скоростью морзил ответные послания. Сдал экзамены и получил бумагу, удостоверяющую, что отныне Персон может плавать радистом в море. До училища я ни разу не ходил в рейс, и даже с новым ключом в руке дело ограничилось одним-единственным разом. В прекрасную погоду туда и обратно через Северную Атлантику — не рейс, а мечта. Но хотя высокое небо, и океанский простор, и глубокая пучина, и уединенное рабочее место вроде бы хорошо сочетались с моей раздумчивой натурой и большинством моих интересов, были в моряцкой жизни и другие стороны, побудившие меня списаться на берег после первого плавания. Благополучно ступив на твердую землю, я был призван в ВМС, однако служил так далеко от водной стихии, что дальше некуда: на дне пятиэтажного железобетонного бункера, под многометровой толщей бомбостойкого гранита, я выполнял обязанности планшетиста на одной из радиолокационных станций в юго-западной части страны, недалеко от Ставангера. Здесь планшетист Персон наносил данные о прохождении судов по прибрежному фарватеру и далеко в международных водах на огромную морскую карту, которая занимала целую стену в оперативном центре. Обнажая таким образом то, что обычно сокрыто от людских глаз, он заработал прозвище, отнюдь не совместимое с его застенчивой натурой.

Обнажитель.

Обнажитель Персон уволился из ВМС через два года, но я продолжал наносить на карту дружественные, нейтральные и вражеские передвижения и перехватывать радиообмен в эфире. Где и как это происходило, могу по понятным причинам говорить лишь приблизительно и осторожно. Однако не секрет, что я завербовался и прошел соответствующий курс в богатом традициями городе-крепости у шведской границы, где нам, в частности, преподавали радарную технику, физику твердых материалов, средства электронного противодействия, оптоэлектронику и другие предметы, подробное перечисление которых может завести слишком далеко. С тех пор мне довелось работать на радарах в толще многих «гор» на севере страны. Слушать, пеленговать и раскрывать радиообмен в заданном районе. Не раскрывая при этом себя, заключил я, поведав в общих чертах Алфику Хеллоту и, возможно, другим любопытствующим то, что напечатано здесь и что, на мой взгляд, подтверждает сказанное выше о моей скрытности.

— Пошли! — сказал бергенец Хюсен-Андресен.

— В город,— добавил Глёр из Кристиансунна.

Кое-как нащупав выход из «Голубого грота», они пошли в город, меж тем как мы с Алфиком продолжали поднимать пары, и Алфик чертил в загустелом воздухе

кафе иммельманы и пытался втолковать мне, что чувствует человек, когда поднимает машину, которую он называл «Фэйрчайлд», на высоту одного, двух, трех ангелов!

— Это все равно что бога целовать,— прошептал Алфик, после чего я заключил, что, как ни хорошо мы сидим, лучше и нам уйти.

Там, где железнодорожная ветка между Бюосен и Высшей технической школой пересекает реку Ниду, рядом с рельсами через мост идет пешеходная дорожка. Высокий проволочный забор отделяет ее от рельсов и поездов, а с другой стороны перила призваны не давать людям свалиться в реку.

Уже светает, когда мы приближаемся к мосту. Алфик сидит за рулем, я трясусь на заднем сидении, хотя мотоцикл мой. Настоящий «Темпо-Тайфун» с мотором «Захс», куплен подержанным у военного морячка и приведен мной в надлежащий порядок.

Но сейчас правит Алфик. Каким-то образом он сумел миновать и полицейских, и стены домов, и других водителей. Теперь у него на прицеле узкий вход на пешеходную дорожку. Планировка Сисиньона тут кончается!

Но он все равно попадает в игольное ушко. Подпрыгивая, въезжаем на мост. И все. Что там сперва зацепилось, не ведаю. То ли руль, то ли тормозная рукоятка, а может быть, рукоятка газа, зеркало заднего вида, ноги — мои или Алфика, педали. Мы падаем, грохаемся на дорожку, кое-как поднимаемся на ноги, поднимаем мотоцикл и заводим мотор.

И снова падаем. Все время что-то цепляется. Стоп. Приехали. Распластавшись на воняющих пропиткой досках, я цепляюсь за рукоятку и вижу внизу разбухшую от весеннего паводка Ниду. Пробую высвободить ступню, придавленную задним колесом, но только сильнее вжимаюсь лицом в проволочную ячею. Совсем рядом, по ту сторону двухметрового забора с грохотом катит бесконечный товарный состав, обдавая нас с Алфиком струей тугого воздуха. Колеса тяжело стучат по стыкам, сотрясая весь мост и наши побитые тела.

Солнце возвещает приход нового дня. На востоке заря зажгла пурпурную полосу между землей и небом. Первые лучи тянутся к западу через бледно-голубой небесный мрамор. В утреннем свете сереют посадочные полосы Вярнеса и Эрланда. С готических фасадов кафедрального собора слепо таращатся на спящий город каменные лики средневековых королей. Улицы пусты, дома замкнулись в себе. Пивные и танцзалы открыты для проветривания. Посреди железнодорожного моста у Ставне лежим под мотоциклом мы с Алфиком Хеллотом. Колеса все еще медленно вертятся. Мотор качает синий выхлоп. Но карета опрокинута. Коронационный выезд кончился. Сто процентов доступного моим глазам Алфика Хеллота составляет мундир.

Дозвуковая труба

«Старый медведь!» — таковы два первых слова самого первого письма из Америки мне от курсанта Алфа Хеллота. На штемпеле — «Уэйко, Техас» и по-военному точное время отправки: дата и час — 20.30. А уверенно-грубоватый стиль письма позволяет получателю ясно представить себе, как Алфик воспринял пересадку в Новый Свет.

«Старый медведь! Ты все еще отлеживаешься в берлоге? — вопрошает он.— Вроде бы ты не из тех, кто боится собственной тени? Протри буркалы и выходи к нам на поверхность!

Представь себе прерию, по которой мы мчались галопом в нашем буйном воображении, когда подросли настолько, что научились направлять ход своих желаний. Вот эта самая прерия встретила колеса «Кертис коммандер», когда мы приземлились здесь, на базе Коинели военно-воздушных сил США в сердце Техаса. Правда, краснокожих и порохового дыма пока что-то не видать. Здешний лагерь ничем не отличается от всех других «отелей» такого рода, в которых мне доводилось жить. Разве что порядки в этом заведении раз в десять строже того, к чему привычны норвежские парни. Если сравнивать с подготовительным курсом в Вярнесе, это все равно что из воскресной школы угодить прямиком в духовную академию. Гарнизонная служба, чистка обуви, глажка брюк — весь букет. Прошла не одна неделя, прежде чем мы из группы наземной подготовки обрели настолько приличный вид, что нас стали отпускать в увольнение. Командиры-янки не желали рисковать, что кто-нибудь поймает их с поличным, когда они будут отвечать на приветствие такой расхлябанной братии, как эти норвежские парни!

Нас разместили в комнатах по двое, но мне повезло, я живу один. Что же до рядовых и прочей шушеры, то они громоздятся в спальных ангарах на 30—40 коек. Такова жизнь простых людей! Нельзя же всех равнять! Здешние бараки — большие серые двухэтажные сараи из асбоцемента. С прицелом на жаркую пору года все окна забраны сеткой от комаров, а внутри ты увидишь стол и два стула перед койками, плюс стальной шкаф с замком для личного имущества. Карабины и прочие маломощные огневые средства размещаются на стойке в коридоре. В одном конце барака — умывальня с двумя самыми холодными ледяными душами во всем северном полушарии, в другом конце — уборная со стульчаками типа «бомбардировочный прицел», как здесь принято говорить!

Вот такая обстановка. Служба не покидает нас, где бы мы ни шли, ни стояли, ни сидели на корточках. Представь себе плац в окружении асбоцементных сараев и алюминиевых бараков, жестяные дома с округлой крышей, квартиры начальства, столовку и венчающее флагшток звездно-полосатое полотнище, которое без устали полощется на резком ветру. И вот на дорожке появляется колонна норвежских парней под командованием — кого? Попробуй угадать, а я пока скажу, что, если здесь кого и можно чем поразить, так это норвежскими экзерциями, то бишь нашими военными упражнениями. По команде курсанта Хеллота мы несколько раз повторили для янки на бис номера: «На караул!», «Кругом, марш!», «На плечо!» и так далее.

Так состоялся наш дебют. На плацу командир авиационной группы «Бомбовоз» Каскнани сказал нам: «Добро пожаловать в ВВС США!» — и произнес специально для нас, норвежцев, короткую речь, подчеркивая роль Норвегии как северного щита НАТО против коммунистических атак. Дескать, наша страна — не что иное, как гнездо зенитных батарей на кратчайшем пути бомбардировщиков к Нью-Йорку. Небось ты над этим не задумывался? Поверни карту на девяносто градусов — и тебе все будет ясно.

Затем нас представили старшему преподавателю подготовительной группы — капитану Курту Шульцу, после чего норвежский офицер связи лейтенант Ёттен рассказал нам о порядке прохождения службы здесь в «Эвиэйшн кадетс». Натовское сотрудничество повлекло за собой жуткую гонку в американских авиационных училищах. Каждые полтора месяца к занятиям приступает новая смешанная группа американских и европейских курсантов. И так без перерыва. Наземные службы разных баз буквально дерутся между собой — у кого в работе будет больше тренировочных машин.

Норвежские курсанты разбросаны по всей стране — от Рио-Гранде на юге и дальше на север. В учебном центре ВВС США на базе Скотта в Иллинойсе наших пять офицеров, три сержанта и полтора-два десятка рядовых. Из четырехсот курсантов на авиабазе Уильямса в Аризоне больше пятидесяти норвежцы. Наши парни учатся на базе Гудфеллоу, на базе Кизлер в районе Нью-Орлеана, в училище обслуживающего персонала на базе Поуп в Северной Каролине. На базе Перрин здесь, в Техасе, постоянно обновляются группы предварительной подготовки. Говорят, норвежских курсантов обучают даже в Канаде — на базе Сентрэйла в Онтарио и на базе Пенхолд канадских ВВС в прериях провинции Альберта.

Собственно летное обучение, за которое отвечает кэп Шульц, делится на три этапа. Первый этап — основная подготовка, 135 часов на «Гарвард Т-6», ему наш «Фэйрчайлд» в Вярнесе в подметки не годится. «Гарвард» — «сверхсрочник», некогда самолет первой линии, большая машина, 550 лошадей. После пятнадцати часов практики я могу летать на нем вперед, назад, вверх колесами и с завязанными глазами. Во сне каждую ночь проношусь на нем сквозь звуковой барьер.

Проблема свободного времени нас пока мало заботит. По воскресеньям сидишь, как правило, в одних трусах на койке с банкой холодного пива в руке и таращишься в пустоту. До того тебя выматывает рядовая неделя в «Эвиэйшн кадетс»!

«Привет от штиблет, Алфик»,— так заканчивается этот трактат. Несколько позже, уже с базы Уильямса в Аризоне, тот же автор пишет «Мои дорогие!» родителям домой в Норвегию. В этом письме Алфик по-военному краток. Рассказывает про щедрых американцев, которые на улицах Уэйко запросто останавливают курсантов авиационного училища и приглашают к себе на обед. Рассказывает про «Норвежский клуб» в Северном Техасе. Про норвежско-американскую церковь в округе Босси, где его уговорили дебютировать в роли солиста с песенкой об автобусном шофере. Рассказывает про «Настоящие Норвежские Хрустящие Хлебцы», «Вяленую Рыбу» и «Козий

Сыр». Про игры в саду священника, где на железные штыри набрасывают не кольца, а подковы. И про выдающиеся норвежские достижения в этом спорте.

К письму приложен снимок, где Алфик вместе с четырьмя другими норвежскими парнями после футбольного матча между двумя университетскими командами, на котором курсанты Хеллот, Глёр, Паттон, Кваксен и один незнакомый мне малый были почетными гостями, сфотографированы рядом с лучшими игроками обеих команд. В том же письме Алфик находит нужным заверить родителей: дескать, упоминания о церкви вовсе не следует понимать так, что он ударился в религию и свихнулся. Ничего подобного, все дело в социальной роли, которую играет церковь в среде американцев норвежского происхождения. Дальше Алфик осторожно сетует на кое-какие воззрения, с которыми он то и дело сталкивается и которые выражаются в репликах вроде: «А что, там дома совсем нет черномазых? Мы с радостью вышлем бесплатно целый пароход!» Или: «А не поехать ли нам в Калин (городок по соседству), посмотреть на пьяных индейцев?» Даже многие работяги, отмечает затем Алфик, устроились так, что, повкалывав два-три месяца на стройке, могут позволить себе следующие девять месяцев сидеть на диване и смотреть телевизор. Или отправиться на Гавайские острова, а то и в Рено, чтобы совать жетоны в игральные автоматы или опускать в избирательные урны бюллетени с именем сенатора Джозефа Маккарти. Словом, стиль жизни и взгляды людей таковы, что не могут не пугать Алфика, чистокровного отпрыска пуританского, демократического и свободного от откровенного расизма скандинавского рабочего движения. «Вот и вся предвыборная речь на этот раз,— заключает Алфик.— Дело к ночи, лагерный трубач уже сыграл вечернюю зорю, так что пора и мне подводить черту. Да, еще одно: если твоя фамилия появилась на доске приказов, чаще всего это плохой знак. Либо ты согрешил и пойман с поличным, либо схлопотал наряд вне очереди. Как раз перед тем, как нам уезжать из Уэйко, в приказе по части появилась моя фамилия. Мне присвоили звание «кадет-сержант» — первый командирский чин у курсантов. С этим званием я отправился на запад, самый дикий запад, в страну апачей, в город под названием Феникс, птица такая есть. Подходящее название, потому что здесь мы будем проходить интенсивную летную подготовку».

В конце письма Алфик шлет приветы и добавляет постскриптум — дескать, что касается Марвеля Осса (о котором, очевидно, справлялся Авг. Хеллот), то он загляиет по указанному адресу и выяснит, что там о нем известно.

В один из дней второй половины августа на полке для писем в общежитии курсов медсестер в Бергене появляется голубой конверт авиапочты. Как уж там Алфик проведал, что Китти тоже надела форму и учится на санитарку (напрашивается догадка, что подсознательно это было сделано как бы в противовес воинственной профессии Алфика), не знаю. Во всяком случае, я тут ни при чем, хоть и учился на радиотелеграфных курсах в первый год пребывания Китти в Бергене и вполне мог с ней встретиться. Но чего не было, того не было.

«Привет!» — на такой развязной ноте начинается упомянутое письмо; автору и дальше явно не дается верный тон. Не слишком-то умело прибегая к лирическому высокому штилю, Алфик пытается передать ощущение свободы, которое дают ему учебные полеты. Стуча деревяшками сабо по вощеному коридору общежития, Китти в форме санитарки читает: «Это все равно что большие обороты и опорный прыжок одновременно. Оторвался от снаряда — и ты свободен от законов тяготения. Толчок, прыжок, взлет — и поднимайся все выше и выше. Представь себе, что с высоты трех тысяч метров старина Алфик из Ловры видит изгиб земного шара в океане, видит, как Миссисипи с ее дельтой, рукавами и притоками стремит свой бег к морю и свободе, точно огромный караван невольников. Вообрази Мексиканский залив — серебряный лук, огибающий сушу могучей дугой прибоя и посылающий теплые воды Гольфстрима на север, где наши берега служат мишенью для его стрел. Вообрази зеленый мыс Флориды с кустарником и топкими болотами, а за ним призрачным видением на карибском горизонте один райский островок за другим. Возвращаясь, я делаю планирующий разворот, заходя так далеко на север, что сквозь знойную мглу различаю плато Озарк, район угольных шахт в Аппалачах и уходящие плоскими волнами на запад необозримые степи. Последняя, самая великая надежда, говорил о них Авраам Линкольн».

«Поневоле ударишься в лирику,— пишет Алфик.— Хотя поэзия здесь далеко не преобладающий жанр. Чтобы толковать про то, чем мы заняты, надо осваивать совсем новый язык. Мы отрываемся от полосы и садимся на землю. Топчем педали рулей направления. Осторожно ложимся на шасси. Вырубаем двигатель. Забираемся вверх на один, на два ангела. Висим на хвосте впереди идущего. Я задираю нос, когда сажусь. Шасси заедает. Штопорю триста метров, но выхожу из штопора на одном моторе. Один курсант за другим выпадают в осадок, только не Алфик Хеллот. Я проваливаюсь при пологом планировании, но вовремя выравниваю машину. Меня оставляют на земле на две недели. Завтра снова поднимусь в воздух.

Мне бы поведать тебе о прилежном посещении джазовых клубов от океана до океана, о бесконечных сольных номерах Уорделла Грэя и Чарли Паркера. Куда там, увольнительных почти не бывает, а когда в этих краях включаешь радио, чаще всего оно выдает тебе Хэнка Уильямса и Фрэнки Лэйна. Единственный намек на джаз — малый по имени Чарли Рич, он несколько раз выступал в клубе училища. Носит форму, как и мы, служит в ВВС в Индиде, штат Арканзас, играет на фоно и поет, рассказывает о Стэне Кентоне и прочих известных тебе парнях. О сочетании стиля биг-бэнд с музыкой черных батраков, которые гнули горб на отцовской ферме, когда он был мальчишкой. Блюз, одним словом.

Иначе говоря, нечто вроде того, что чувствую я, когда думаю о нас, о тебе, такой далекой. Хотя не могу сказать, что желал бы видеть тебя здесь. Напротив, ты после первого же дня вошла бы в штопор. Я только что с урока на тему «промывание мозгов», который вел офицер с опытом Корея. Он так скрупулезно излагал процесс превращения доверчивых индивидуалистов из кукурузного пояса Среднего Запада в безликих коммунистов с азиатскими чертами, что мы буквально видели перед собой таз с водой и кусок мыла в огромных волосатых коммунистических пятериях, отмывающих американское серое вещество от всего хорошего, капиталистического. После чего мозги засовывают обратно в череп и захлопывают крышку. Как нам тут в училище описывают промывание мозгов, это что-то вроде элементарного курса обществоведения, рассчитанного на политический уровень, заметно уступающий уровню обыкновенного норвежца. Промывание мозгов на Востоке — психогигиена на Западе. Так, что ли?

Сама понимаешь: ощупью тут не продвинешься. Дело такое, что необходим точный расчет. Я сообщил тебе свою позицию. А ты еще долго не оторвешься от своих кумиров?

С любовью, Ал.»

Своими заключительными словами Алфик протягивал Китти руку. С поднятым указательным пальцем. Учитывая тон письма, нетрудно понять, что Китти руку не приняла. За указательный палец не удержишься. И в ожидании ее ответа Алфик пишет еще одно письмо мне:

«Старый лис! Помнишь Тонто — бессменную наземную обслугу Одинокого Всадника? Теперь я обитаю по соседству с Национальным парком Тонто и даже выяснил наконец, что по-испански означает Тонто. Сбегай и ты за словарем, после чего мы с тобой встанем на сторону Тонто, когда апачи задумают мстить белому человеку.

Итак, вместе с шестеркой оставшихся в группе норвежских парней (из тех, кого не отчислили, ты знаешь Глёра, Кваксена и Паттона) я теперь пребываю на базе Уильямса в Аризоне. Лагерь наш расположен всего в десяти английских милях к юго-востоку от города Феникс. Наконец! Уж теперь-то тебе не засечь меня своим радаром. В самом разгаре подготовка на реактивных. 135 часов напряженной летной тренировки, отработка слепого полета, групповой полет, полет по приборам на машинах типа Т-33 и Ф-80. Потом вдобавок учебные стрельбы бортовым оружием.

Дисциплина здесь строже, чем на базах Коинелли, Вярнес, Уэйко и Уильямс, гайка закручена еще на три оборота. И теперь мы, что стальные пружины, заведены для усилий во имя бога и отечества. Если подготовительный курс нам давался нелегко, то перед здешним первым классом он просто ничто. Некогда вздохнуть. С парнями из Норвегии обращение такое же, как с янки, не хуже, но и не лучше. Курсантам из младших групп не дозволено даже по лагерю ходить свободно, только маршировать строем в сопровождении сержантов. Курсанты постарше отвечают за то, чтобы служба шла строго по уставу. Мы для молодых, как говорится, папа-мама. На утренней линейке мы проверяем, как наши физиономии отражаются в башмаках курсантов четвертого класса. Беда тем зеркалам, которые заставляют нас хмуриться! Алфик Хеллот в роли

младшего командира, в роли «белоперчаточника» — каково? Черт!.. Подумал я, когда меня поставили командовать. Белые перчатки (от них и прозвище) служат нам, когда мы проверяем, как вытерта пыль и почищено оружие. А пыль эта, скажу тебе, не пустяк, ведь вся Аризона — сплошь огромная пустыня, и песок проникает всюду, через металл, через стены, одежду и кожу. Даже через черепушку, если нарушишь устав внутренней службы!

Наряду с летной подготовкой важное место занимают такие предметы, как руководство и мотивировка. Согласно формуле «К в третьей степени»: «$К^3$ = командование — контроль — коммуникация». Усвоение и эффективное восприятие информации. Умение руководить и принимать решения — единолично, коллегиально, со штабом. Идентификация с группой. Так называемая системная активность. Отношения «человек — машина» — очень важный вопрос, в частности для пилота и командира танка. Теория ведения современной войны и переход от классической стратегической триады «армия — флот — самолеты» к новой межконтинентальной триаде «атомные бомбардировщики — атомные подлодки — атомные ракеты».

Нам то и дело читают лекции офицеры со свежим опытом из Корен. Один полковник из службы безопасности подробно наставлял нас, как надлежит вести себя, очутившись в плену. Казалось бы, что может быть проще, ан нет, оказывается, далеко не все предусмотрено Женевской конвенцией. Врага могут интересовать самые неожиданные вещи. Совсем безобидные по видимости сведения, вроде девичьей фамилии вашей матери. Или у кого в семье какие дни рождения. Кем ты играл в школьной футбольной команде? Имя тренера? Наверное, болельщиками дирижировала симпатичная девчонка — не помнишь, как ее звали?

Помимо психологии Корея явно служила также огромным полигоном для новой военной технологии. Тут инструкторы подчеркивают позитивный опыт в применении напалма, горючего продукта, составленного из нафтена и пальмитина, который показал себя особенно эффективным в борьбе против танков. Новый истребитель «Ф-86 К Сэйбр» тоже получил боевое крещение в Корее. Если наш парламент поднатужится, может быть, наши ВВС до 2000 года перейдут на эту машину.

Больничная койка не место для отдыха воина, как сказал военфельдшер. В последнее время увольнений было даже с избытком, соответственно — и контактов с крашеной, так сказать, истиной. Но нам уже видится финиш. Если тебе повезет, через полгода или около того увидишь на своем экране мой греческий радарный профиль».

В конце осени курсант Алф Хеллот пишет свое последнее письмо из Аризоны. Адресовано оно родителям, которые въехали в тесную квартиру в столичном районе Русенхофф. Здесь Констанца (пользуюсь случаем сказать ей «спасибо» за возможность ознакомиться с письмами) корит себя за праздный образ жизни, тогда как Авг. Хеллот ежедневно корпит на посту штатного секретаря профсоюзного объединения. Очевидно, он опять справлялся про Марвеля Осса, потому что в начале письма Алфик сообщает, что пока не смог выйти на след бывшего секретаря профсоюзной ячейки. Но он получил два новых адреса — в Миннеаполисе и Сент-Луисе — и не теряет надежды.

Вообще же Алфика на этот раз заботит другое, более важное дело. Судя по всему, частые аварии и падения реактивных самолетов на его родине сильно встревожили родителей, и Алфик пытается успокоить их, подробно описывая новейшее катапультное сиденье, с которым их только что ознакомили:

«Кстати, уже сам инструктор был необычный субъект. Строго говоря, слишком высокого роста для пилота, но зато тощий, как вязальная спица; видимо, когда он поступал в училище, приемная комиссия сложила рост и ширину и разделила на два. А еще его отличало сильно развитое чувство кислого юмора, отчего даже самые мудреные технические подробности звучали занимательно в его устах. Под моим командованием группа бегом явилась к ангару, где я и доложил о нашем прибытии подполковнику (кажется, я еще не сказал, что он носит это звание и что он отмечен высокими наградами за боевые действия в Корее и как летчик-испытатель). Инструктор принял командование, и мы столпились около модели среди радужных керосиновых лужиц на полу. Белый свет с потолка ангара, черная от копоти у люка вытяжной вентиляции задняя стена... Для начала инструктор объявил, что новое катапультное сиденье действует безотказно на всех высотах, вплоть до самой земли. А уж когда ты приземлился, то катапультироваться вроде бы ни к чему! Конструкция английская; предполагается со временем снабдить такими сиденьями все истребители.

Может, вы знаете, что на прежних моделях пилот должен был сперва отстегнуть ремни безопасности, а уже затем браться за рычаг отстрела. Новое кресло проще в этом смысле. Безотказность действия полнейшая. Единственное условие, чтобы катапульта сработала,— минимальная скорость, 70 узлов. В отличие от прежних моделей спусковое устройство расположено над головой пилота. В нужный момент он берется двумя руками за рукоятку и дергает на себя, включая стреляющий механизм; одновременно опускается своего рода шторка, защищающая лицо. Раньше пилот перед катапультированием должен был сдвинуть назад фонарь — пластиковый пузырь, внутри которого он сидит. Новое кресло разбивает плексиглас торчащим над головой пилота острым шипом, вроде шишака на шлемах, какие, если помните, были у Людендорфа и кайзера Вильгельма. После того как пилота, по-прежнему пристегнутого к сиденью, выбрасывает из машины, парашют раскрывается не сразу, а когда до земли останется три тысячи метров, потому что выше — сильный холод и мало кислорода. Для полной безопасности к парашюту прикреплен запасной кислородный баллончик, соединенный с маской. Итак, на высоте трех тысяч метров раскрывается сперва полуторакметровый парашют, затем и основной. И лишь после этого пилот отделяется от кресла.

Но кресло оснащено еще одним страхующим устройством. Ниже края сиденья находится запасная рукоятка, которой пользуются, если пилот из-за перегрузки не в силах поднять руки к главному рычагу. При таком отстреле пилот не защищен шторкой. Но конструкция сиденья все равно оберегает от травм.

Как видите, надежнее некуда. Ну, а в последнее время мои мысли и вовсе заняты другими, более важными вещами, чем возможные опасности в полете.

В «Эвиэйшн кадетс» лучшему курсанту первого класса присваивают звание «главный кадет». Наряду с командирами экипажа он начальник над другими курсантами, в его руках дисциплинарная власть. Так вот, я первым из европейцев стал асом и лучшим курсантом первой группы. Это значит, что под моим начальством 400 человек. Представьте себе мои чувства, когда я вывел на построение курсантов из всех натовских стран для инспекции полковником Зонненкальбом и норвежским полковником Эгом, который разъезжает по Штатам, инспектируя базы, где обучаются норвежские курсанты. Не говоря уже о том, что здесь, на базе Уильямса, ему докладывал младший командир из норвежцев, он явно был вполне доволен достижениями норвежских парней, заметно превосходящих здешний средний уровень.

Ну, и с нашей стороны было не так уж много жалоб. Курсантский клуб — запретная зона для курсантов подготовительной группы и четвертого класса. Однако в клубе проходят танцевальные вечера для старших групп, и тут многие ребята чувствуют себя неважно. Дело в том, что у нас, норвежцев, нет парадной формы, которой обеспечены курсанты изо всех других стран. Опять эта норвежская расчетливость хуторянина, вот и попробуй достойно представлять родную страну, не говоря уже о том, чтобы производить впечатление на молодых дам из Скотсдейла и Хайли, когда на тебе вечно одна и та же летная форма. Посмотрим, сумеет ли полковник Эг добиться для нас парада, когда вернется домой.

Как вы знаете, скоро и еще кое-кто возьмет курс на родину. Через четыре месяца наша группа закончит здесь летное обучение, и вернемся мы в Норвегию сержантами, с «крыльями» на груди. Рюгге или Сула — тамошние тренировочные отделения — будут нашей первой остановкой. Будем совершенствоваться в пилотировании по приборам и штурманском деле, тактическом и стратегическом полете в строю эскадрильи. После чего нас переведут в то или иное боевое подразделение. Так что вы там поглядывайте,— может, скоро в один погожий день небо над Ловрой пересечет реактивный самолет и помашет вам крылом!

Ну, до этого еще надо дожить, а пока нам предстоит заслуженный долгосрочный отпуск. Мы, оставшиеся в группе норвежские парни, задумали совершить основательную экскурсию по южным штатам, затем на запад, в сторону Калифорнии, Тихого океана... Отпуск, гражданская одежда, знай лежи в одних трусах на пляже с утра до вечера. Упиваясь свободой, чувствуя, как военная выправка и мышечное напряжение постепенно отпускают тебя — подобно тому как, по выражению одного мыслителя, стальные пружины растворяются в концентрированной кислоте.

Пока наши пружины не заведут для новых усилий.

По дороге заедем в Сент-Луис, и там я справлюсь в конторе КТПП о Марвеле Оссе».

Этим заверением и наилучшими приветами всем-всем заканчивается письмо. Дальше, как принято выражаться, факты будут говорить за себя.

Болевой порог

Алфик сел за руль прокатной машины, включил мотор, оглянулся через левое плечо назад, набрал скорость, занял место в шеренге автомобилей и покатил на юг, через границу.

Далеко на юге над горизонтом громоздились ржаво-красные наковальни туч. Шальной аетер внхрил песок на шоссе, раскачивал телевизионные антенны. С занада наползала тонкая облачная пелена; навстречу ей, много ниже, плыло легкое белое облачко.

Прямая, как стрела, дорога устремлялась в глубь страны через пыльные равнины, пересохшие соляные озера, мимо желтых известняковых скал и вулканических гор. Оранжевыми языками пламени колыхались вдоль шоссе космы сухой травы. Дальше высились агавы я кактусы. Горы и кактусы сливались воедино, как будто растения, камень и человек взаимно имитировали друг друга. Алфик барабанил пальцами по баранке и подпевал приемнику, нещадно фальшивя.

Перед ним были двести километров пустыни и три дома.

После коротких газово-голубых сумерек спустилась ночь. Какое-то мгновение солнечные лучи переливались кристалликами льда в песчинках. И тут же канули вместе с солнечным диском и ртутными столбиками, в свободном падении канули в зябкую черную ночь меж двух жарких дней. В глубокую ночь, окаймленную знойными днями.

Свет встречных машин вторгался в кабину к Хеллоту. Огни вырастали из тьмы и плавно уходили в нее, словно голоса, поющие желтые гаммы.

Над рыночной площадью нависла черная ночь, начиненная монотонным звучанием голосов, моторов, цикад и клаксонов. В том конце, где площадь неприметно переходила в пустыню, на фоне известняковых скал проступали очертания дерева сапоте. С остальных трех сторон площадь окаймляли одноэтажные глинобитные домики. Окна были закрыты ставнями, двери — железными шторами. Хеллот свернул в переулок и зашагал по отлогому спуску, где дома стояли поперек, как бы споря с выбранным им курсом.

Он без труда нашел кафе. Сквозь занавес в дверях на тротуар просачивался оранжевый свет. Подойдя к входу, Хеллот на фоне нестройного галдежа и гитары услышал высокий тенор.

Отпустив шнуры занавеса, Хеллот прошел к бару. От обилия посетителей рябило в глазах.

Женщина в платье цвета морской волны, с кружевным воротником и черной шалью, неподвижно сидела за кассовым аппаратом. Сидела с закрытыми глазами, будто спала, и не видела Хеллога. За стойкой возвышался бармен, стоя на деревянной подставке. Алф Хеллот положил газетное фото Марвеля Осса на стойку между пивными лужицами и тарелочками с сальса брава. Бармен поглядел сперва вниз на снимок, потом на Алфика. После чего принялся протирать стаканы. Хеллот поместил рядом с Марвелем Оссом изображение Джорджа Вашингтона. Смятую по краям зеленую картинку с напечатанной по бокам портрета цифрой 50. Бармен внимательно рассмотрел оба лица и остановился на Джордже Вашингтоне. Одна рука его легла на зеленую бумажку. Пальцы медленно сжали в кулаке шелестящее изображение основателя республики. Оттопыренный большой палец указал вверх, где под потолком жужжал вентилятор. Туда же указал жест головой.

Засунув в грудной кармашек сложенное фото Марвеля Осса. Алф Хеллот прошел к лестнице в глубине кафе. У гитариста были длинные напомаженные волосы и темные очки; он отбивал высокими каблуками такт по доскам примитивной эстрады. От верхней площадки короткий коридор вел к одинокой двери. Хеллот потянул ее на себя и вошел.

Конусы желтого света — и поглощающее свет зеленое сукно. Хеллот сразу понял, что очутился в бильярдной. Привыкнув к освещению, насчитал около десятка зеленых столов. Вдоль одной стены протянулась стойка бара. Окон не было, только

штативы для киев. Танец играющих вокруг столов подчинялся строгим хореографическим законам. Царила полная тишина, нарушаемая только сухим стуком, когда свой шар посылал чужого я лузу, да хрустом ассигнаций, переходящих из одного кармана в другой.

Хеллот заказал кружку пива и прислонился к стойке спиной. Он сразу, как только вошел, увидел то, что яскал. Марвеля Осса нетрудно было высмотреть. И трудно не узнать. Габариты оставались такими же огромными. К тому же он покрасил волосы в черный цвет и обзавелся замысловатой прической в стиле «помпадур». Он натирал мелом кожаную пашлепку на конце кия, не отрывая глаз от шаров на столе. Стол был карамбольный, без луз; четыре борта замыкали три шара в наглухо замкнутом строгом зеркальном мире. Положив мел на край борта, Марвель Осс оторвал кий от пола и стал целиться, прикидывая, как поразить игровым шаром два других.

Он целился долго, водя кий взад и вперед между сложенными в кукиш пальцами левой руки, которые упирались в сукно. Хеллот подошел к световому кругу у стола. Свисавшие на тонких цепочках с потолка прямоугольные абажуры напомнили опрокинутые гробы без крышек. Облитые мертвенным гробовым светом игроки смахивали на выпавших из гробов покойников. Верхнее освещение удлиняло черты лиц синеватыми тенями. Туловища тонули во мраке между столами, словно рыбьи хвосты в черной воде.

Тук-тук. Наконец Марвель Осс ударил. Алфик никогда особенно не увлекался бильярдом, хотя на базах Коннелли и Уильямса играл в пирамидку на столах с шестью лузами. Теперь он смотрел, как игровой шар Марвеля Осса в математически строгом зеркальном мире карамбольного стола привел в движение два других шара. Движение, подчиненное тем же законам, что отраженный свет.

Марвель Осс ударил снова, завязывая еще одну драму треугольника бильярдных шаров. Хеллот услышал стук, но третий шар не был задет игровым. Марвель Осс молча выпрямился и отступил назад, в тень. Коротыш с жидкой бороденкой и восточными чертами наклонился в световой конус над столом и один за другим быстро сделал четыре карамболя. Один из зрителей фиксировал результат на висящих на стене счетах.

Вокруг стола со всех сторон толпились люди, но Хеллот протолкнулся вплотную к Марвелю Оссу. Он почувствовал, как что-то назревает. И что-то произошло — мгновенно, вдруг, как по мановению волшебного жезла.

Произошло прямо перед глазами Алфа Хеллота.

В мертвенном свете над бильярдным столом ледяной синью сверкнул пистолет в руке Марвеля Осса.

Жидкобородый нацелил кончик кия на игровой шар, готовясь направить его в левый край мишени. Резкое движение Марвеля Осса и голубой отблеск стали заставили его окаменеть в этой позе.

Окаменели все, как на стоп-кадре. И фонограмма выключилась. Утих говор, перестали стучать шары, только снизу, из кафе, доносился негромкий гул. Медленно, очень медленно коротыш с восточными чертами оторвал взгляд от игрового шара и поднял глаза на Марвеля Осса.

Оружие было малого калибра. В мясистой лапе Марвеля Осса пистолет казался игрушкой. Но китаец видел темный канал ствола, в котором таился патрон, видел изгиб жирного указательного пальца на спусковом крючке. Он продолжал стоять, наклонясь над столом и сжимая правой рукой кий, тонкий конец которого лежал между большим и указательным пальцами левой руки.

Жидкобородый застыл в этой позе. Он не двигался. Зато двигался Марвель Осс. Держа противника на мушке, он скользнул к нему вдоль борта бильярдного стола. И повелительно выбросил вперед свободную руку: «Деньги!»

Китаец медленно выпрямился. Он не сводил глаз с пистолета, и Хеллот не видел, чтобы он подал какой-нибудь знак. Тем не менее Марвеля Осса явно поразила молния. Дважды. Два удара со спины слились в один. Марвель Осс даже не вскрикнул, только обе руки его вдруг повисли, точно пустые рукава. Пистолет стукнул о плитки пола. И покачнулась вся огромная туша Марвеля Осса. Стоявший за его спиной человек — наверное, тот самый, что ударил его,— принял падающее тело. Обхватил Марвеля Осса руками вокруг пояса и удержал на ногах.

Так они стояли, пока китаец снова тщательно прицелялся и пробил. Быстрое «тук-тук». Карамболь. Посылая правую руку с кием вперед, игрок одновременно вы-

прямился, потом кивнул, и человек, державший Марвеля Осса, обыскал его карманы и высыпал на стол содержимое.

Не могло быть у китайца оружия. Негде держать: брюки сидели на нем в обтяжку, рубаха облегала корпус так, что каждый мускул видно. И однако, в руке у него появился какой-то предмет. Бритва. Опасная бритва с перламутровой рукояткой. Коротким движением он вытряхнул из рукоятки лезвие. И пошел на Марвеля Осса.

Их разделяло несколько шагов. В бильярдной стояла мертвая тишина. Алф Хеллот в панике говорил себе, что надо что-то предпринять. Но что именно? Он зажмурился и услышал легкий стальной звон, когда певучее острое лезвие коснулось лица Марвеля Осса. Звук исчез, Хеллот открыл глаза и увидел, как бритва вонзилась в тонкую кожу. Короткое хлесткое движение проложило в подкожном жире белую борозду через всю щеку вниз к уголку рта. И тотчас показалась кровь.

Ничьи руки больше не поддерживали Марвеля Осса, и он упал. Огромная туша с грохотом распласталась на полу. Ноги сделали несколько резких движений, словно согревая пятками холодную постель. Потом он затих.

Алф Хеллот шагнул вперед. Два человека наклонились над Марвелем Оссом и оглянулись на жидкобородого. Китаец кивнул. И что-то сказал. Тонким голосом, почти фальцетом, стремительно выпалил несколько слов. Забывшие на время про бильярд зрители расступились, пропуская тех, кто понес Марвеля Осса к выходу.

Никто не стал останавливать Хеллота, когда он вернулся к стойке бара и одним глотком осушил свой стакан. Он подождал, пока не возобновился стук шаров. Подождал, пока не возвратились те, что унесли Марвеля Осса. Потом рассчитался за пиво и опасливо прошел через зал, мимо бильярдных столов к дверям. Коридор за дверью, лестница вниз. В полупустом кафе царило уныние. Алф Хеллот бежал на улицу.

Часы на запястье показывали шесть ноль-ноль. Может быть, вечера, может быть, раннего утра. Алф Хеллот соскреб щетину острым лезвием, глядя, как в зеркале из полос сонной пены проступает лицо. Одевшись, он спустился в вестибюль. Низкое солнце просвечивало сквозь пальмовые кроны, расписывая тротуар за окном трепещущим полосатым узором... Портье назвал ему номер.

Дверь в глубине коридора он нашел без труда. Подняв руку, сжатую в кулак, постоял так несколько секунд. Затем постучал, громко и отчетливо. Изнутри тотчас отозвался голос, так же отчетливо:

— Кто там?

— Это я.

— Кто — я?

— Ты — Марвель Осс.

Алфик нажал ручку. Дверь была незаперта, и он вошел. Марвель Осс лежал одетый на постели, как колода. На щеке зияла открытая чистая рана. Из ванной выглянула женщина с бутылкой мексиканской водки в одной руке и белым тампоном в другой. Отвела глаза и снова скрылась.

По лицу Марвеля Осса нельзя было сказать, что он удивлен. Как будто он ждал гостей. Руки явно обрели способность двигаться. Одной из них он указал на единственный стул в комнате. Уголки рта изобразили тусклую улыбку.

— Как ты меня нашел?

Алф Хеллот продолжал стоять, закрыв за собой дверь. Вошла женщина из ванной. Она промыла рану Марвеля Осса и наложила марлевый тампон.

— Старик попросил,— сказал Алфик.— Дал мне адрес одной конторы в Нью-Йорке. Там мне назвали другой адрес. В Миннеаполисе. Некоего мистера Берглуффа из КТПП. Он слышал, что ты в Сент-Луисе. Дальше я сам разобрался.

Алфик пододвинул стул и сел. Женщина продолжала сидеть на кровати возле Марвеля Осса. Алфик кивнул ей.

Марвель Осс сказал:

— Повезло тебе с отцом. Достойный человек.

— Ты правда так думаешь?

— Правда? Да таких людей в музеях выставлять!

— Он все голову ломает, как ты тут. Как твои дела и все такое прочее. Может, он что не так сделал? Или чем-то может помочь?

Марвель Осс лежал на спине, сложив руки на груди. Глаза его смотрели в потолок.

— Со мной все в порядке,— сказал он.— Справлюсь. Хоть и не знал тогда. Не знал ни когда уезжал, ни когда решил не возвращаться, что это была самая важная минута в моей жизни. Я принял решение. Путное решение, в виде исключения. Вот так. Не мог больше выносить КТПП и все, что с этим связано, включая Авг. Хеллота и прочую шатию. И соскочил на ходу. Я принял самостоятельное решение. Уложил свое барахлишко — и в путь. Вышел на улицу и приземлился в первом попавшемся баре. Там я и принял решение.

— Да уж вижу.

— Во-во.

— Видели мы,— сказал Алф Хеллот.— Вчера.

Марвель Осс сел на кровати. Взял с тумбочки вентилятор и поводил им у себя перед лицом. Охладившись, вытолкнул щелчком из пачки сигарету, но ветер от большого вентилятора под потолком не давал ему прикурить. Марвель Осс протянул сигарету и зажигалку своей подруге, она отошла в угол, подальше от шторма, и остановилась там спиной к ним.

— Значит, видел? — Марвель Осс провел пальцами по щеке вдоль тампона.

— А кто он такой? — ответил Хеллот вопросом.

Женщина вернулась с зажженной сигаретой. Марвель Осс отнял руку от щеки и глубоко затянулся, прежде чем ответить.

— Ты это про Вонга? Диего Вонга? Назови товар — Диего Воиг добудет. Все — от телевизоров до разобранных на части военных самолетов — переправляется через границу в другую сторону, на юг. Отсюда недалеко до базы Сандиа. И до полигона Аламогордо. Знаю по меньшей мере двух сотрудников федеральной полиции, которые были бы не прочь потолковать с Диего Вонгом.

— И что же ты предприимаешь?

— А ничего. Я болтаю языком. Болтун я. Когда отдам концы, некролог будет начинаться такими словами: «Умер Марвель Осс. Его подвел язык». Вот так: говорю то, что услышал. Больше ничего я не делаю. Ровным счетом. Каждую неделю могу с чистым сердцем идти к моему исповеднику и говорить, не кривя душой: «Отче, я ничего не делал». На что он каждый раз отвечает: «Вот и хорошо, дитя мое. Очень хорошо. Продолжай в том же духе». И я следую его совету.

— И кто же твой исповедник? Аль Капоне или Дж. Эдгар Гувер?

— Это длинная история.

Прежде чем вкратце пересказать длинную историю Марвеля Осса и заполнить ею следующие страницы, считаю должным объяснить, как это можно дословно излагать доверительные беседы, которые велись с глазу на глаз в далекой чужой стране, где я к тому же никогда не бывал.

Сразу отмечу, что естественного объяснения тут нет, а вот техническое, учитывая мое знакомство с новейшей электроиной аппаратурой, вполне возможно. К тому же позволю себе напомнить, что́ говорит об этом Фукидид (писавший, правда, о Пелопоннесской, а не о «холодной войне») в своей известной вводной главе: «Я передаю то, что́ действующие лица должны были говорить в данной обстановке, стараясь держаться возможно ближе к сути того, что говорилось на самом деле».

Если, с другой стороны, Фукидид довольствуется описанием политических и военных событий, накладывая тем самым на официальную историю ограничения, коими она грешит по сей день, то я должен заявить, что история государственного правления и военного искусства нередко, даже поразительно часто, прибегает к тем же письменам и оборотам, какие призваны передавать наши маленькие индивидуальные истории, а потому регулируется синтаксисом, чьи правила нам все еще неизвестны.

Так я не без интереса, особенно в свете его последующих нарушений границ и содействия враждебным действиям против других государств, отмечаю, что Марвель Осс награждает деву, оказавшую ему первую помощь, двадцатью долларами и шлепком по заду, прежде чем выпроводить ее за дверь и самому покинуть гостиницу в обществе Алфа Хеллота, который моложе его на пятнадцать лет.

На улице кромешный мрак и зной. Время стояло на месте, ожидая их.

В одном из переулков расположилось некое подобие кафе, предлагающее посе-

тителям блюда южных штатов и восточную кухню. Сасими — маринованная рыба, своего рода японское севиче, «пища для души» луизианских негров, жаренная на собственном жире и поданная в глубокой меланхолии. Свинина с вареной капустой, жареные цыплята, жареная грудинка с настоящим креольским соусом, кроваво-красные бобы с рисом, пюре из батата, засахаренные фрукты. Прошу: Алф Хеллот угощается. Резкий верхний свет бьет в барабаны свободных столиков, ножи и вилки звенят по белой глиняной посуде, бесшумные официанты парят между столами, жужжат мухи из мужской уборной.

— Он хочет знать — почему,— говорит Алфик, налегая на еду.— Старик мой. Почему ты спрыгнул? Что произошло? Как это все получилось? Я так понимаю, что в его мире все ответы сходятся. Вот только один остаточек путается. Этот остаток — ты. Оттого и хочет знать.

Марвель Осс — в розовой шелковой рубашке с широким галстуком и серебряными запонками, на каждом пальце по перстню с громадным камнем, отвечает, что старине Авг. Хеллоту следует узнать — почему.

— Это пример негодности примера,— говорит он.— Ведь Авг. Хеллот сам позаботился о том, чтобы меня включили в эту группу. Его как раз выбрали в руководство профобъединения, так что его слово кое-что значило. Он лично провожал меня в Осло. Здесь Марвеля Осса и четыре десятка других многообещающих деятелей из профячеек со всей страны накачали прививками и протащили через консульские шлюзы. И не успел Марвель Осс, можно сказать, опомниться, как уже сидит в серебристом «Дугласе Диси 4 Клаудмастер» и застегивает привязной ремень. Сейчас он расстанется с изрядно заснеженным восточнонорвежским февральским днем. А возле здания аэропорта стоит его основательно заснеженный соотечественник Авг. Хеллот. Как будто все снегоочистители царства небесного вышли убирать последний рождественский снег и сваливают его прямиком на Авг. Хеллота. Он стоит особицей в зеленовато-синем габардиновом пальто, под черным мужским зонтом, придавленным белой шапкой снега. Авг. Хеллот машет свободной рукой, машет и машет без устали. А вот и винты на крыльях замахали в ответ, пошли описывать круги, все быстрей и быстрей, мощь моторов встряхивает самолет, у Марвеля Осса все сжимается внутри, а снаружи весь мир окутывается метелью. Самолет выруливает на взлетную полосу, разворачивается и набирает скорость. Колеса глухо стучат о бетон, аэродромные огни мелькают и скрываются. Марвель Осс в воздухе, и напоследок заснеженный Авг. Хеллот видит, как его давний протеже выходит на новую трассу, по которой будет следовать дальше как стипендиат от щедрот плана Маршалла.

Теперь же сын Авг. Хеллота сидит в кафе в пограничной области и слушает, как Марвель Осс описывает эту трассу нехитрыми, анекдотическими координатами. На первом этапе она устремляется вверх, все выше и выше, и на крейсерской высоте за четыре с половиной часа доставляет Марвеля Осса по воздуху в Престуик в Шотландии. Оттуда — пять с половиной часов до Исландии; после пяти часов ожидания в Кефлавике еще девять часов в воздухе между Исландией и Ньюфаундлендом и затем последний, семичасовой, прыжок в Нью-Йорк.

Первые три дня после прибытия в Новый Свет Марвель Осс был всецело занят тем, что приспосабливался к новому суточному ритму, заставлял встроенные в его тушу часы поспевать за стрелками, которые мчались по кругу на всех циферблатах в американском темпе, и в то же время старался побольше увидеть в городе Нью-Йорке. Нескончаемые шеренги подержанных автомашин с дощечкой «Продается» по обе стороны шоссе, ведущего от аэропорта. Впечатление от этой картины превосходит все, что когда-либо испытывал Марвель Осс. Сотни автомашин! Тысячи! Несметное множество! Совсем новые на вид! Без единой царапины!

Сидя в кресле в одном из первых рядов большого зала, Марвель Осс видит, как руководитель всей программы КТПП выходит на трибуну и приветствует участников. Точно и кратко он излагает смысл Курсов теории и практики производства. Во-первых, надлежит развить в участниках качества руководителей. Во-вторых, программа призвана ознакомить с современными американскими принципами предпринимательства. Далее, участники освоят динамику, обеспечивающую высокую производительность. Программа расширит также их технический кругозор и поможет понять американский образ жизни посредством участия в социальной деятельности.

Шестой пункт в вводной речи не называется. Зато он проходит красной нитью в выступлениях всех представителей стран-участниц плана Маршалла, а также в кон-

кретизирующих программу документах, из коих явствует, что слушатели курсов прибыли в США, чтобы вооружиться для борьбы против мирового коммунизма.

— Мистер Аасс! Мистер Марвель Аасс!

Его фамилия пишется по-норвежски через два «А» и стоит в списке первой. И вот она громко отдается в переполненном зале. Час пробил! До этой минуты никто из слушателей не знал, в какую именно часть США его направят. Алфик Хеллот отчетливо видит, как это происходило, как Марвель Осс, импозантный мужчина в полном параде, встает и поднимается на трибуну, где его ждут горячие рукопожатия, хлопки по плечу, широкие улыбки и известие, что в наступающем году мистеру Марвелю Аассу из Норвегии предстоит постигать теорию и практику в городе Сент-Луисе, штат Миссури. Что до остальных норвежцев, то одна группа останется в Бриджпорте, вблизи Нью-Йорка, а другая отправится в города-близнецы Миннеаполис и Сент-Пол в штате Миннесота.

Но Сент-Луис! Прямо-таки белое пятно на карте. Однако пятно, которое быстро заполняют улицы с оживленным движением, дома и небоскребы, силуэты города и морозная дымка над Миссисипи и общежитие рядом с университетом им. Вашингтона, куда поселяют Марвеля Осса.

Далее речь пойдет не столько о разбитых иллюзиях, сколько о не оправдавших надежды реальностях, тогда как иллюзии окупились. Казалось бы, условия были благоприятные. В Сент-Луисе есть большой и пользующийся доброй славой пивзавод, фармацевтические и электронные предприятия. Есть авиазавод «Макдоннелл-Дуглас». Однако ничего не происходит. Им обещали скорое трудоустройство. Марвель Осс надеялся на авиазавод. Надежды не оправдываются. Три недели спустя Марвель Осс сидит в студенческом общежитии, пытаясь поймать по радио скандинавскую музыку, все еще безработный. Университет? А какие предметы ему изучать? Созерцание витрин? Денег у него нет, английским владеет плохо. Спустя еще неделю им выплачивают пособие по безработице. Шесть долларов в день. Последующие дни заполняются спорами: следует ли удерживать тридцать процентов налога с пособия.

В конце апреля Марвеля Осса и полтора десятка других слушателей КТПП переводят на восток, в Питтсбург. Еще полтора месяца безделья. После чего красивые обещания красочных брошюр в какой-то мере реализуются. Вместе с двумя бельгийцами Марвеля Осса подключают к некой технической программе, в рамках которой им надлежит разъезжать по Пенсильвании, изучая условия труда в сталелитейной промышленности.

Каждый вечер Марвель Осс ложится спать в другом мотеле. Каждое утро он у ворот другого завода. Следом за очередным очкастым сотрудником отдела кадров шагает вверх по ступенькам, вниз по ступенькам. Дальше Алфик Хеллот теряет его в технических зарослях индустриализма.

Марвель Осс пропал из поля зрения, это очевидно. Он принял решение, и у решения этого несомненно красивое женское имя. Он бросил курсы, ушел в подполье, как в воду канул. И Алфик не верит в этапы, будто бы пройденные Марвелем Оссом на пути к драке в баре сонного, пыльного пограничного города. Не верит тому, чему Марвель Осс хочет, чтоб он поверил. Не верит, что он обжег крылья на солнце и пошел ко дну. Не верит в Марвеля Осса в роли этакого маленького частнокапиталистического Алексея Григорьевича Стаханова из Кадиевки в Донбассе, десятикратно перевыполняющего норму под землей в глухой долине среди Аппалачей. Не верит, что он работал штейгером на добыче ртутной руды в Нью-Мексико. Не верит в рассказы об автокранах, коротких шнурах и особой взрывчатке, которая срабатывает от простого чиха. Не верит, что Марвель Осс был уволен с должности управляющего на хлопковой плантации в Центральной Америке. Что-то не вяжется. Не вяжется с шелковыми сорочками, с изумрудами на пальцах и серебристыми переливами исполняемых ими златогоровских варнаций на темы злоключений Марвеля Осса. Не похоже, чтобы ему все так давно осточертело, что теперь он сам себе осточертел. Неубедительность этой истории Алфику очевидна. Так что и писать домой Авг. Хеллоту особенно не о чем. А время уже позднее. И все уже сказано. Марвель Осс состряпал историю, чтобы морочить голову легковерным норвежцам и повернуть их носом обратно на север, пока не сунули его еще глубже в дела других людей.

Кухня, где готовят пищу для души, уже не работает, кафе закрыто. На столиках

вокруг Алфика и Марвеля Осса растопырили ноги опрокинутые стулья. Два официанта, сменив свою форму на обычный костюм, спят, подпирая косяки кухонной двери.

Алфик Хеллот и Марвель Осс выходят вместе. Утро. Солнце еще не встало. На востоке рассвет провел поперек смелую красную черту, разделяющую землю и небесный мрак.

Руконожатие крепко отпечатывается в пальцах.

Они сказали положенные «никогда» и «всегда».

Я никогда тебя не забуду. Я всегда буду помнить тебя.

Я никогда о тебе не вспомню. Я всегда буду тебя забывать.

Пустыня меняет окраску. Пришла машина, и Марвель Осс ушел.

Жизнь — послание. Ты получил мое.

(Окончание следует)

■

ЖДАНОВ ЛЕВ ЛЬВОВИЧ (род. в 1924 г.)

Советский переводчик с норвежского шведского, датского, английского. В его переводах издавались романы Коре Холта «Морской герой», Сары Лидман «Я и мой сын» («ИЛ», 1962, № 5), «Край морошки», Рэя Брэдбери «Марсианская хроника», документальная повесть Тура Хейердала «Экспедиция Кон-Тики» и др. произведения.

ИШТВАН ГАЛЛ

Кафф-ка

РАССКАЗ

Перевод с венгерского Т. ВОРОНКИНОЙ

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Г. обнаружил, что он у себя в постели превратился в статую.

Наверное, я пролежал бока, было его первой мыслью. С ним и прежде случалось, что по причине больных суставов он при пробуждении чувствовал все тело как бы скованным. Но скованность эта обычно сопровождалась болью, и он едва мог дождаться, когда, выбравшись из постели, разомнет ноющие конечности.

А вот на этот раз боли не чувствовалось. Неприятного ощущения, правда, тоже не было. Скованность воспринималась как состояние естественное и окончательное.

Должно быть, я умер, подумал он, воззрясь в темноту.

Но тот, кто умер, не пялится в темноту. А кто пялится, того должна страшить мысль о смерти. Однако он не испугался, а скорее испытал удовлетворение оттого, что способен логически мыслить даже в столь необычном состоянии.

На себя всегда можно рассчитывать, подвел он итог. Было, по всей вероятности, часа четыре утра — обычно в эту пору его пробуждала боль в суставах,— и он шевельнулся, чтобы, по своему обыкновению, встать, сделать гимнастику, напиться чаю и сесть за работу. То есть хотел шевельнуться.

Однако тело было странное, непослушное. Правда, скованность не вызывала боли, воспринималась как естественное и окончательное состояние, хотя Г. и не умер, как он только что установил путем логических умозаключений.

Может, я стал бессмертен, размышлял он, лежа в темноте.

Г. был писателем, поэтому о бессмертии он всегда думал попросту как об одном из шансов — правда связанных с кончиной,— вроде рака или белой горячки. Иными словами, если с ним это и произойдет, то не такое уж оно великое дело. А почему, собственно говоря, бессмертие должно начаться после смерти? Выходит, он заслужит бессмертие тем, что перестанет жить, а вовсе не всей своею жизнью? Не каким-нибудь своим произведением или вообще своим творчеством? Нет, это исключено! Стало быть, бессмертие начинается еще при жизни, только человеку не дано того знать, поэтому он не может быть

© Yáll Istvan, 1982

ИШТВАН ГАЛЛ — GÁLL ISTVÁN (1931—1981)

Венгерский писатель, лауреат премии имени Кошута. Автор романов «Солнцепоклонник» («A napimadó», 1970), «Старик» («Az öreg», 1975), «Управляющий конным заводом» («A ménesgazda», 1977), сборников повестей и рассказов «Первоапрельский дурак» («Április bolondja», 1976), «Железный век» («Vaskor», 1980) и др.

Публикуемый рассказ взят из сборника «Пишем — пописываем» («Karcolgatunk», Budapest, Magvetö, 1982). Он войдет в том произведений И. Галла, подготовленный к печати издательством «Радуга».

уверен. Каждый писатель вынужден подходить к конечному порогу, пребывая в проклятой неизвестности.

Каждый писатель, но только не я! — подумал Г.

Он и до сей поры был уверен в себе, а если теперешнее его состояние означает определенность, то это можно счесть разве что беспримерным в мировой литературе исключением из общего правила, но никак не больше. Он написал немалое число книг; статьи и рецензии о его творчестве составили бы внушительный том (разгромная критика прежних лет — в приложении, мелким шрифтом). Сейчас он находится в расцвете сил, лауреат высшей премии (о прочих премиях, почетном гражданстве и других наградах можно даже не упоминать). Так что оно — то бишь бессмертие — имело все основания считать, что час его пробил. А ему, Г., остается лишь отметить в дневнике день и час, когда это с ним произошло. Только и всего. В конце концов все факты выстраиваются в целое, суть выкристаллизовывается, время приспевает, и в один прекрасный день наступает...

И баста, больше я этим вопросом не занимаюсь!

Теперь он сосредоточился лишь на том, чтобы подняться: будучи по сути человеком объективным, он во всем знал меру, даже в самовосхвалении. И хотя эта загадочная скованность по-прежнему его не отпускала, ему вроде бы удалось пошевелить ногами, и он сдвинул к краю постели сперва одну, затем другую ногу, путем упорных, терпеливых усилий повернул и туловище, пока наконец ноги не повисли в темной пустоте, вслед за тем рывок — и вот он уселся на краю постели. Протянул свинцово-тяжелую руку к изголовью кровати, чтобы, опершись на него, подняться. Деревянная спинка треснула у него под рукой, но он даже не обратил на это внимания, поглощенный своими думами.

А ход его размышлений был примерно такой. Вот ведь, что бы с ним ни случилось, а он не поддается напастям (кондиция у него хорошая, по утрам он плавает в бассейне), и тут его самодовольство было перечеркнуто внезапно промелькнувшей мыслью: а ведь мог бы и удар хватить! — и эту пакостную мыслишку так и не удавалось от себя отогнать.

Стоило только ему подняться, как он почувствовал, что удерживать равновесие будет очень нелегко; если он не хочет завалиться на бок или на спину или же ткнуться ничком, то придется двигаться прямо, как ступает пьяный по одной половице. Осваивая новую походку, он протопал через всю комнату, включил свет в холле, и вспыхнувшая лампа сквозь матовое стекло двери послала неяркий пучок лучей ему в лицо. Он с довольным видом зажмурился: свет он включал машинальным движением, из двух находящихся рядом выключателей щелкая всегда тем, что от лампы в холле; тогда глаза постепенно привыкали к свету.

Все в порядке, все идет в точности так, как обычно.

Однако, едва выйдя в холл, он застыл на месте.

Что это?

В большом, до пола, зеркале Г. увидел свое отражение: он превратился в статую, памятник самому себе, и даже пижама не сумела скрыть сей несомненный факт.

Удар хватил — подумать смешно!..

Значит, предположение его оказалось верно, и с ним произошло то, на что он и рассчитывал.

Невольно он коснулся рукой своего отражения, и зеркало треснуло.

Он стал разглядывать свои руки. Коснулся одной руки другою, и пальцы его при этом стукнулись, как камешки. Да, это меньше всего похоже на живую плоть. И ему вспомнилось, как затрещала спинка кровати, когда он поднимался. С каменным лицом уставился он на свое отражение, а затем каменными пальцами слегка раздвинул пи-

жаму, чтобы разглядеть и свои каменные ребра. Любой другой на его месте пришел бы в ужас. Вместо этого он ощущал лишь мраморно-холодное спокойствие; присущее ему чувство стиля — а это литературоведческий факт — не покинуло его.

По жалобно скрипящему под его ногами паркету, пошатываясь, добрел он до кухни и поставил чайник. Двигаться он может. Во всяком случае — пока что.

Надо стараться все делать как обычно, подумал он.

Но вместо того, чтобы заняться гимнастикой, все же встал перед зеркалом и принялся разглядывать себя. Нет, что-то тут не так. Ага, пижама! Где вы видели статую в пижаме? Да все теперь станут смеяться над ним! Минуточку, а кому это неймется выставить его в смехотворном виде? Кого-то явно распирает от зависти, что с ним *это* произошло еще при жизни, вот ему и подстроили (как знать, с помощью каких манипуляций? и по партийной или государственной линии? ведь он даже не знает, кого подозревать), чтобы факт столь неопровержимой определенности застиг его в пижаме и обернулся позором. Ну и люди, ни перед чем не останавливаются!

Необходимо принять меры!

Спокойствие его внезапно сменилось безмерным отчаянием и неукротимым гневом. Эта дикая вспышка чувств, которая была так хорошо знакома ему — и от которой он страдал как частное лицо,— успокоила его: он способен чувствовать, значит, он жив, он не безвольная марионетка, у него есть связи и возможности, есть влияние и власть, он может раздавить кого нужно, и так и сделает, это его долг по отношению к самому себе и к будущим поколениям, ибо искусство, человечество и его скромная родина требуют, дабы не дал он себя на посрамление.

Окаменелыми пальцами он сорвал с себя пижамную куртку.

Вот вам, выкусите!.. Если враги рассчитывают оставить его в дураках, им придется убедиться, что они вгрызаются в каменную глыбу. За истекшие тридцать пять лет как только под него не подкапывались: сперва «Сабад неп» в пространных статьях подвергала его нападкам, затем лет десять о нем упоминали с каверзной объективностью, после этого делали попытки лягнуть исподтишка, однако имени его уже нельзя было опустить при перечислениях, а в последние годы его не решались задевать, он стал неуязвим, и враги его сделались противу него бессильны.

И этот их грязный трюк тоже не пройдет — он посмотрел на валяющуюся на паркете пижаму.

Он повернул кран в ванной, вспыхнул газовый бойлер, и, дожидаясь, пока пойдет теплая вода, он уставился в зеркало прилаженного над раковиной туалетного шкафчика; ему всегда портит настроение ежедневная процедура бритья, ибо эти независимые от него упрямые нападки собственного организма, олицетворяемые каждое утро его заросшей физиономией, напоминали ему о враждебном внешнем мире.

Сейчас он, в испуге подняв руку, каменными пальцами провел по каменной щетине, и дробный перестук подтвердил, что на каменном лице его окаменела и отросшая за сутки борода.

Господи ты мой боже! — бессильно опустился он на краешек белой эмалированной ванны, и она хрустнула под его задом.

Этого еще не хватало! Впрочем, его должно было бы насторожить то, что ему совсем не хотелось помочиться, а прежде, стоило только ему вскочить с постели... Но ведь теперь все в нем и на нем изменило свою субстанцию, и с этим надо примириться...

Он опять наклонился к зеркалу. Да, видно, что лицо заросшее. Вернее, теперь это уже не щетина, но торчать все равно торчит, черт ее побери! Обязательно чем-нибудь да отравят радость. Если уж с

ним произошло то, что он заслужил, тогда почему не после бритья? Один-два часа с точки зрения вечности ничего не значат.

Между тем мозг его — с кристально-ясной логикой и подкупающей находчивостью прежде служивший творчеству, а затем вот уже довольно долгое время нацеленный лишь на достижение карьеры и защиту собственной персоны — выдал решение: каменную щетину необходимо сбить. Первым делом он направится в гранитную мастерскую, при каждом кладбище такие имеются. Нет, все же он не может доверить себя в любые руки (до сих пор у него был свой постоянный парикмахер в лучшем салоне). Придется обратиться к скульптору.

Он наклонился ближе к зеркалу, медленно повернул голову из стороны в сторону, при ярком свете любуясь тем, как скользит по его покрытому каменной щетиной лицу тень, то пропадая, то появляясь вновь, и эта мгновенная игра светотени придавала его окаменелому облику характер оригинального, художественно выполненного произведения искусства.

Вот именно — искусства! Это наиболее современная художественная техника. Такой скульптуры еще никому не удавалось создать, и это само по себе — новшество в мировом масштабе. «Возникло оно, вдохновленное мною, хотя сам я не художник, а попросту гений».

До этого момента он представлял себе свой памятник в виде безликих каменных скульптур Генри Мура, с шероховатой или гладко отшлифованной поверхностью, считая, что такое изображение сумело бы передать его индивидуальность, монументальный характер его творчества, его общие достоинства и эпохальное новаторство.

Решили на мне сэкономить? Я поставлю вопрос об этом перед компетентными лицами. Или мною увенчается мировая мода на неонатурализм?

Шум льющейся из крана горячей воды и свист кипящего чайника на кухне вывели его из раздумий.

Ох, уж эти досадные мелочи будней! Долго ли мне суждено сносить их?

Он завернул кран: нет необходимости мыть скульптуру, к тому же горячая вода может повредить ей.

Да, кстати, что это за камень?

Приникнув к зеркалу, он стал внимательно изучать себя. Каррарский, рускиальский и паросский мрамор белого цвета, никозианский — серого. Нет, не похоже: этот материал желтый, с коричневым отливом. Должно быть, полудрагоценный камень: алебастр, оникс, яшма или что-нибудь в этом роде. А вдруг это вульгарный отечественный известняк?.. Нет, невероятно, чтобы его так дешево ценили.

Пройдя в кухню, он заварил чай. Машинально обхватил чашку ладонями; ему нравилось чувствовать, как фарфор постепенно прогревается. Однако жест этот оказался излишним — ведь тепла он не ощущал. В новом и вечном его состоянии ему придется отвыкать от множества лишних движений.

Он сделал несколько глотков чаю. Теплая жидкость, словно сливаемая в сток мойки, с клокотаньем хлынула внутрь и, достигнув желудка, издала громкий всплеск. Никакого вкуса при этом он не ощутил.

Значит, отныне и чай пить незачем. Есть, очевидно, тоже не понадобится. Деньги целее будут.

Он был несколько экономен, хотя злые языки называли это скупостью. В сберкассе у него хранились полтора миллиона, из осторожности распределенные на несколько разных вкладов с самым высоким годовым процентом. По выигрышной сберегательной книжке однажды он выиграл машину «Запорожец» и, обиженный, взял деньгами: он рассчитывал на машину более дорогой марки.

После ненужного чаепития он присел на табуретку, и жидкость булькнула, переливаясь у него в желудке. В прозаической кухонной обстановке его вдруг начали одолевать сомнения.

А вдруг он превратился всего лишь в бюст — какое было бы издевательство! Он схватился за ширинку пижамных брюк, и пальцы его, коснувшись нижней части тела, издали знакомый уже стук. Однако даже этот звук — камня, ударившегося о камень,— не успокоил его. Он задумчиво разглядывал свои руки — этот материал неопознанного происхождения, о котором нельзя сказать с уверенностью, мрамор ли это.

А вдруг эта метаморфоза — вовсе и не...? Ведь такого еще никогда и ни с кем не случалось. Что, если это всего лишь роковая ошибка или болезненное состояние? Необходимо предусмотреть все варианты, прежде чем кому-либо станет известно о происшедшем.

Лекарства! Наверное, я превысил дозу.

Г. жил в состоянии шаткого равновесия, поддерживаемого множеством различных лекарств. Противовоспалительные и болеутоляющие — по причине больных суставов. Средство для стабилизации давления — из-за склонности к гипертонии. Пилюли, способствующие пищеварению Особый препарат, регулирующий деятельность печени, дабы вечерние возлияния вкупе с лекарствами не вызвали осложнений. Таблетки антидепрессивного воздействия. Стимуляторы по утрам, снотворные по ночам. Ну, и конечно, витамины. Пчелиное молочко и экстракт женьшеня. Он пил даже какую-то раскритикованную всеми бурду, якобы противораковое свойства. И врачи постоянно предостерегали его от чрезмерного увлечения медикаментами.

Уж не происходит ли в нем процесс некоей кристаллизации? Какое-то время он еще сможет двигаться, а затем...

Стать объектом клинических демонстраций — только этого еще не хватало! Хотя новую болезнь, по всей вероятности, назвали бы в мою честь, а это ведь тоже своего рода бессмертие.

Он опять протопал в ванную, извлек из шкафчика все лекарства, ссыпал их в унитаз и спустил воду. Пусть даже следа от них не останется. Если не дай бог произошла ошибка, потомки не должны знать об этом!

Желая успокоить себя и удовлетворить собственное любопытство, он решил проверить, есть ли у него голос, и если есть, то какой. Выйдя из ванной, он замер на месте и залпом выпалил:

— Ябессмертенотнынеивовек!

Он прислушался к отзвуку своего заявления, но в сонной, предрассветной тишине дома любые слова звучат странно и отчужденно; с таким же успехом он мог бы сказать: свинаякотлетасморковнымпюре. Во всяком случае способности говорить он не утратил, а при теперешнем его состоянии это немаловажно.

И тут вдруг от страха у него голова пошла кругом, чувство собственного бессилия перед неисповедимой участью охватило его с такой же остротой и внезапностью, как в сорок шестом году, когда он студентом попал в Пешт и его неделями терзали тошнота и головные боли от громады домов, тисками охватывавших улицы, от столичной сутолоки; а однажды, с тупостью провинциала, он угодил на главной улице между двух встречных трамваев и думал, что ему пришел конец, он видел искаженные испугом и злостью лица обоих водителей, слышал отчаянный визг тормозов и истошные сигналы звонков и, не зная, что между трамвайными путями достаточно места для человека, только нельзя двигаться, с неизданной рукописью в кармане смотрел, как мчится на него желтое чудовище смерти и не в силах ничего сделать, застыл статуей — на свое счастье! — а трамваи, скрипя колесами, проползли мимо него с приникшими к окнам удивленными пассажирами. Иногда ему снится эта сцена. И вот сейчас его охватило то же самое чувство.

Он взглянул на себя в зеркало холла: пижамные штаны, голый торс. Превратившееся в скульптуру тело. Головокружение разом прошло.

Надо одеться, сейчас это важнее всего.

Он стал перебирать развешанные в гардеробе костюмы. Одевался он всегда с большим тщанием. Но что же надеть сейчас? Состояние его может ухудшиться, может стабилизироваться, надо быть готовым ко всему. Необходимо подобрать подходящую одежду — может, и навечно... Джинсовые брюки и куртку он отмел из-за преходящей моды. Темный костюм, пожалуй, будет смотреться слишком парадно. Вельветовый пиджак с водолазкой придадут его облику несколько богемный характер. Клетчатый гарнитур а-ля Эстерхази не подобает выходцу из народа. Спортивная куртка на молнии, холщовый костюм сезонного типа, двубортный английский пиджак так же не подходят случаю. Он остановил свой выбор на костюме кремового цвета, который подчеркнет смуглоту его каменного лица, подобрал к нему рубашку бежевого оттенка — без галстука, с воротом нараспашку, дабы и в современной небрежности проскальзывала некая верность традициям, этакий тонкий намек на Петёфи, некогда досадившего министру своим публичным появлением без галстука. Туфли венских и лондонских фирм отодвинул в сторону решительно и без колебаний, а вот югославские ботинки телячьей кожи никак не назовешь капиталистической продукцией, и в то же время они свидетельствуют об определенной независимости вкуса и свободе выбора.

Терзаемый скованностью движений и внезапными нарушениями равновесия, он вынужден был одеваться крайне медленно.

Одевшись, встал перед зеркалом и смотрел, смотрел на себя.

Он поднял вверх руку — жест чересчур патетический. Опустил руки вдоль тела — излишне скромная поза. Выставил ногу вперед — поза неоправданно динамичная. Слегка откинулся назад — осанка несколько самоуверенная, зато положение крайне неустойчивое. А выбрать подходящую позу необходимо, ведь может случиться так, что процесс ускорится и завершится.

Впрочем, до этого дело не дойдет: у него впереди еще по меньшей мере лет двадцать. Хотя теперь, когда уже ясно, что наступило бессмертие?..

В семье у них все доживали до восьмидесятилетнего возраста, его предкам, потомственным кузнецам, с трудом удавалось упиться на смерть; прародичи оставили ему в наследство цепкость, живучесть организма (в физическом отношении) и чувство долга перед народом (в плане эстетическом).

Да, но мои гигантские тридцатилетние усилия! Литры выпитого коньяку и килограммы выкуренного табаку, работа от зари до зари, изнуряющие тело и расшатывающие нервную систему переживания — неужели все это не дает мне права?..

В глубине квартиры протрещал будильник. Жена тоже встает рано и, обходя стороной кабинет мужа, из боязни помешать ему, под звуки негромко включенного радио собирается, чтобы к семи успеть в школу. К своей работе библиотекаря она относится всерьез; до начала и после окончания учебных занятий она должна быть в распоряжении преподавателей и учеников. Жожо настаивала на том, чтобы у нее была своя жизнь и своя работа, если уж ей отказано в призвании.

Когда-то его раздражало такое упорство жены, однако, поскольку они с Жожо вот уже долгое время живут не вместе, а всего лишь под одной крышей, он свыкся с тем, что они избегают друг друга. Злые языки поговаривали, будто бы супруги встречаются только на приемах.

Сейчас, вопреки своему обыкновению, он не удалился к себе в комнату, а остался в холле: рано или поздно должна состояться его первая встреча со смертными. (И Жожо для этого самый подходящий человек; в молодости он всегда по утрам зачитывал ей вслух то, что успел написать на рассвете. А разве это не одна и та же процедура?)

Тощая женщина в халате, с опухшим со сна лицом, от неожидан-

ности остановилась перед ним — ведь они никогда не встречались в эту пору,— затем обошла его, точно какой-нибудь предмет обстановки, и прошмыгнула в уборную.

Выходит, она ничего не заметила? Может, еще не проснулась толком?

Он дождался, пока прошумит спущенная в уборной вода, и через минуту, которая показалась ему целой вечностью, жена, шаркая ногами в шлепанцах, опять очутилась против него. «Позавтракаем вместе?» — тоном добропорядочной супруги осведомилась она, и он едва смог пробормотать, что есть ничего не хочет. Жожо узкой рукой взъерошила свои безобразно стриженные седые волосы. И зевнула! После чего он, теперь уже не боясь, что голос откажет ему, нетерпеливо спросил, не замечает ли она в нем чего-либо необычного... словом, все ли в порядке? Жена, склонив набок взъерошенную птичью голову, заверила его, что рубашка выглажена безукоризненно и не из-за чего поднимать шум, если ему так хочется, она разок-другой пройдется по ней утюгом, только пусть снимет побыстрей, ведь ей надо к семи поспеть в школу... «Да не об этом речь — взгляни на мое лицо!» — «Пожалуй, с кварцем ты немного переборщил»,— неуверенно поморгала глазами Жожо. (К ее равнодушию примешалась и доля обиды: вот ведь теперь уж и на свидания с любовницами ей приходится снаряжать мужа, а если он идет на деловое совещание, то к чему, спрашивается, такой парад, господи, как он стал с собой носиться, повадился делать маникюр и педикюр, а прежде, помнится, ей насилу удалось приучить его, чтобы... Ну вот, повернулся и ушел ни с того ни с сего; какая муха его укусила?.. Сроду не скажет, во сколько вернется домой вечером, ничем не поделится, ах, да не все ли теперь равно!..)

Он затворил за собою дверь в кабинет, не зная, что и думать об этом разговоре с Жожо.

Она ничего не заметила, но почему? По своей привычке не обращать на меня внимания? А может, заметила, но нарочно не хочет говорить? Нет, на нее нельзя рассчитывать.

Впрочем, он уже давно знает, что на жену ему рассчитывать нечего. А ведь чего он ради нее не сделал: в трудный момент не отказался от нее, пойдя на риск, хотя Жожо подцепила его еще в университете, прописала жильцом в комнатушку для прислуги на роскошной будайской вилле, и кто знает теперь, какие чувства ею руководили — сладострастие, материнская заботливость или трезвое предвидение, ведь мать Жожо его демонстративно не замечала, а он назло ей взял и женился на Жожо, которую в пятидесятом как чуждый классовый элемент исключили из университета, и он в приложение к диплому получил партийное взыскание, зато квартира уцелела, правда, их уплотнили, подселив к ним старшего лейтенанта, который в пятьдесят шестом повел себя недостойно, после чего уже легко было от этого жильца избавиться, но теща до самой смерти так и не усвоила своим куриным умом, что для нее неприятности не кончились заключением в гетто в сорок четвертом году и что от высылки из столицы в пятидесятом ее спасло лишь присутствие зятя... ну да неважно, в первые супружеские годы они между собой жили хорошо, ютясь в комнатушке для прислуги, теща барыней разместилась в двух больших комнатах, старший лейтенант с женой — в остальных трех, а холл был этакой ничейной территорией, он писал и попутно учился, даже после университета все продолжал учиться, Жожо строку за строкой, страницу за страницей пересказывала ему книги английских, немецких и французских писателей старшего поколения и материалы из специального библиотечного хранения, благодаря чему он мог идти в ногу с современной западной литературой, успеха он добился в нелегкой борьбе, двадцатилетний труд положил на то, чтобы раздавить собратьев по перу и недругов, а к тому времени, как сделался признанным писателем, друзья его кто умер, кто перестал водить с

ним дружбу, да и на жену нельзя положиться. Больше ему рассчитывать не на кого. До сих пор он как-то не придавал этому значения, но сейчас его болезненно поразила мысль: все усилия и жертвы оказались тщетны, если для других не является очевидным то, что с ним произошло...

Тогда чего он этим добился?

Он подошел к окну и раздраженным жестом поднял жалюзи. В окно хлынул яркий солнечный свет, заливая всю комнату слепящими лучами. Пойти поплавать? Вряд ли стоит: вдруг его придется подъемным краном вытаскивать со дна бассейна?

Он обвел взглядом сад — пятьсот квадратных саженей зелени,— недавно высаженные деревца с неровной, как взлохмаченная голова, кроной и единственное оставленное с прежних времен старое ореховое дерево, которое из года в год с испугу дает плоды, и все в округе этим восхищаются, а он ненавидит это дерево, не стоило поддаваться на уговоры садовника оставить орех, но ничего, он еще до него доберется, пусть только попробует разок не принести плоды: каждую осень, когда садовник и его сын, взгромоздясь на приставные лестницы, длинными палками лущцуют дерево по кроне и с него дождем сыплются коричневые плоды и сбитые ветки, он, прищурив глаза, следит за старым мошенником с почтительного расстояния, куда разве что иногда откатится вывалившийся из зеленой шкурки крупный орех, который жена тотчас подхватывает с радостным криком, но его никогда не смягчить было этой заискивающей подачкой, он внимательно наблюдает за избитым деревом и знает, что оно тоже следит за ним, поэтому униженные стоны и скрип ветвей не трогают его, весь год он обходит орех стороной и лишь по весне начинает жадно к нему приглядываться, вдруг дерево упустит срок зацвести и бунтарством своим заслужит казни. Когда им вернули национализированную виллу, он «простоты ради» оформил ее на свое имя. Нижнюю половину обширного участка у них урезали и построили на ней виллу с одинаковыми квартирами для двух заместителей министра, которые благодарны ему за то, что он не чинил препятствий, «сервус-сервус» — по-приятельски приветствуют они друг друга, садовника он получил от министерских шишек, а взамен каждую свою новую книгу самолично вручает Иштвану и Золтану, они вместе пьют коньяк, обмениваются информацией, и служебные машины всегда в его распоряжении, если он желает отправиться в город одновременно с хозяевами автомобилей. Старое ореховое дерево исподтишка за всем этим наблюдает.

В саду мелькнуло какое-то серовато-белое пятно и тотчас скрылось из виду, затем под окном, у самой стены дома, послышалось хрипловатое «каффф-каффф-каффф!», дробный стук собачьих лап и радостное повизгивание.

Да это Пушок!

Сердце его (теперь каменное) дрогнуло, счастье пронзило его с такой силой, что он вынужден был ухватиться за оконную ручку; горячая волна чувств, заливающая его всякий раз, когда собака бросается к нему, внове и непривычна для него. В прошлом году, когда садовник принес в ладонях теплый пушистый комок шерсти, он не хотел брать щенка: только одни заботы. «Помилуйте, господин писатель, какие с ним заботы? Станет жить себе тут, в саду, сторож при доме не помешает, его даже зимой в квартиру брать не обязательно, а как на ваши отбросы в помойке посмотришь, так столько у вас добра пропадает, Пушку аккурат на пропитание пошло бы, верно, кутенок? Глядите, малая тварь, а понимает, что о ней говорят!» Садовник протянул ему сплетенные корзинкой толстые узловатые пальцы, пушистый комок блеснул на него темными глазками, и когда он нерешительно поднес к щенку руку, тот лизнул его горячим алым языком. «Не надо его бояться, господин писатель!» А ведь он отдернул

руку не от страха; в детстве у них всегда была собака, ее держали во дворе кузни, и он, не видавший ласки со стороны угрюмого отца и вечно недовольной матери, только от собак получал бескорыстную любовь,— эта мысль отозвалась в нем болью, тотчас слившейся с вновь обретенным пьянящим чувством счастья, какое вызывает в человеке собачья преданность. Щенок нечистопородный, высказала вечером свое мнение жена и, опасаясь за чулки, испуганно попятилась от когтистых лап. Вот и хорошо, упрямо возразил он, зато здоровый, а не какой-нибудь невропат. При этом он ведь даже не поинтересовался у садовника, все ли в порядке с собачьей родословной, но ведь если бы за него причитались деньги, а стало быть, и документы были бы в ажуре, не достался бы им щенок задаром. Щенка вымыли в ванне шампунем, на следующий день приобрели для него будку, накупили специальной литературы. Пытались назвать его какой-нибудь кличкой пооригинальнее, он звал щенка Мирко, жена экспериментировала с модной кличкой Лесси, но Пушок так Пушком и остался, резвый был, игрун, так и хотелось его помять и потискать, покорность удивительным образом сочеталась в нем с самолюбивой обидчивостью, но вот дрессировке он никак не поддавался. Ничего нельзя было вбить в его дурашливую башку — как только пытались научить его уму-разуму, он тотчас переворачивался на спину. Глупый пес, да и только! Он-то сам считал это недостойным себя, однако жена, видя его досаду, подмигнула ему: хватит в семье и одного умника. Оба они рассмеялись, Пушок ревниво метался от одного к другому, чтобы не упустить чего, а они одновременно собрались потрепать его лохматую голову, руки их соприкоснулись, и у обоих возникла уверенность настолько твердая, что не было нужды высказывать ее вслух: с тех пор как у них появилась собака, им будет о чем поговорить. Пушок в течение нескольких месяцев очень вырос, и, поскольку завтрак свой получал от него, встающего ни свет ни заря, и при возвращении домой сносить счастливо-бурные собачьи наскоки, ухватив за шею, повалить Пушка на землю мог лишь мужчина, в то время как женщина из-за калитки испуганно произносила ласковые слова и решалась войти лишь после того, как пес, чтобы дать выход своему восторгу, мчался в другой конец сада,— то в семье сложился иерархический порядок, как в стае, где мужчину Пушок признал вожаком, а женщине с доброжелательной снисходительностью отвел место позади себя. Некий иллюстрированный еженедельник в рубрике «Мои учителя, мои друзья» помещал фотографии видных общественных деятелей и представителей искусства, запечатленных на одном снимке с тем человеком, кого данное лицо считает своим наставником и образцом для подражания. Гуляя по саду с редактором, он предварительно советовался с ним, не зная, кого бы осчастливить своим доверием, когда навстречу им бросился Пушок, и дожидавшийся на почтительном расстоянии фотограф, воспользовавшись моментом, заснял его, Г., как бы парящим в воздухе с распростертыми руками и блаженной улыбкой — точь-в-точь возносящийся на небеса Иисус, а у ног его — наложившимися один на другой контурами — силуэт собаки, схваченной в броске... Эта фотография и была напечатана в журнале, к радости читателей и досаде коллег. Интервью, где пес с нарочитым вызовом упоминался как беспородный, подтолкнуло известного кинолога обратиться к нему с письмом, в котором предлагалось обследовать собаку и реабилитировать ее в общественном мнении, а некий собаковод из пригорода Будапешта в явной надежде подзаработать намекнул в телефонном разговоре, что готов признать Пушка ведущим свою родословную от прославленных родителей. Возможно, что оба доброжелателя разбирались как в собаках, так и в сделках, однако ничего не понимали в психологии творческой личности.

Он только собрался было открыть окно, чтобы ухватить подпры-

гивавшего пса за лохматую шкуру и почувствовать, как жаркий язык покорно и преданно лижет ему руки, когда услышал шум захлопнувшейся входной двери. Постепенно удалялся и собачий лай: пес, огибая дом, понесся к двери. Пушка ждет разочарование, ведь он рассчитывал увидеть хозяина, а вместо этого Жожо, испуганно отбиваясь хозяйственной сумкой и ридикюлем, пробирается на улицу, торопясь в свою злополучную школу.

Повернулась и ушла, а ко мне даже не заглянула. Не почувствовала, что сегодня особенный день, когда мне необходима поддержка. А ведь не было случая, чтобы я утром поджидал ее в холле, чуткая жена могла бы сделать из этого для себя вывод...

Нет, на жену рассчитывать нечего, да и вообще ни на кого рассчитывать нельзя. Но если для других людей не является очевидным то, что с ним произошло, выходит, все было напрасно...

Выходит, и этим он ничего не добился?

Раздраженным жестом он опустил жалюзи, чтобы в комнате был полумрак. Ему так многое необходимо взвесить и продумать... А что, собственно, продумывать?

Он беспомощно топтался посреди своей солидной — в семь тысяч томов, библиотеки, занимающей все стены кабинета. В центре, на самом видном месте,— застекленная полка с его собственными книгами: первые издания, переиздания, переводы на другие языки выстроились в строгом хронологическом порядке. Которой из книг он обязан тем, что с ним прозошло? Он имеет право знать это. Пробежавшись взглядом по книжным корешкам, он почувствовал чуть ли не ненависть к своим творениям, которые скрывали от него тайну. А тайны могут быть только у него, в других он никогда не терпел скрытности. Ведь то, что является для него тайной, в любой момент может послужить исходным пунктом любых выпадов против его личности. Потому-то и стремился он присутствовать везде и всюду, заседать в каждой комиссии, в любом президиуме, в выбранном или назначенном правлении, посещать все парадные спектакли и приемы, где за содвинутыми бокалами с полуслова решаются важные дела. Если хоть один день у него не было очередного приглашения, ему казалось, что под ним земля разверзается; и вот он заседает, председательствует, представительствует, открывает мероприятия, закрывает, подводит итоги, подбивает бабки, играет в бирюльки и так далее и тому подобное.

За своими книгами он хранил привезенные с Запада порнографические журналы, поскольку на опыте убедился, что к застекленному святилищу никто не осмеливается прикоснуться. Гости почтительно смотрят, удовлетворенно кивают и проходят дальше, вытаскивая заинтересовавшие их книги с каких-нибудь других полок. Ему известно, что в литературных кругах его считают до неприличия самовлюбленным. Насколько ошибочно это суждение! Не без ехидства присматривается он к визитерам, подавляя соблазн продемонстрировать им собственноручно осквернение им святилище. Эта маленькая тайна укрепляет в нем чувство самоуважения; да, в самоиронии ему не откажешь. Но поскольку он никогда и ни перед кем не открылся, то никто и не делал поползновения порыться в его книгах, и факт этот лишний раз подтверждал, что друзей у него нет. Все проходят вдоль ряда его книг, как вдоль почетного караула: настороженно и вроде бы с пиететом, за которым, однако, ощущается сдержанная брезгливость. Впервые он подметил это в жене и своеобразным способом отомстил ей за ее почти нескрываемое презрение. Порнографические журналы наводят его на мысль, что следовало бы предупредить свою очередную любовницу: в течение нескольких дней, пока определится его состояние, им лучше не встречаться.

Или мне теперь уже никогда и ни с одной женщиной не встречаться? Об этом я как-то не подумал...

О своих любовных делишках он, с мученическим вздохом, обычно отзывался так: чем больше растет число министров, раскланивающихся со мной запанибрата, тем большее количество хорошеньких девушек приветствуют меня почтительно, как старого дедушку. Да, ничего не попишешь, таковы издержки времени!.. А сам между тем не упускал случая попользоваться вниманием увивающихся вокруг него наивных поклонниц или расчетливых старых дев. Не так давно в кафе из-за него произошел публичный скандал: две дамочки (обе писали о нем исследования) вцепились друг другу в волосы. Прежняя его возлюбленная — пышнотелая красотка нордического типа, которая на собственном опыте успела убедиться, что после публикации хвалебного отзыва страсть его мгновенно охладевает, тряся белокурой гривой, кричала: «И что ты нашла в нем хорошего, как есть старый хрен!» На что другая — гибкая, как кошка, креолка с синячищем во всю щеку, стиснув прелестный ротик, упрямо шипела: «Для тебя, может, и старый хрен, а со мной так любого молодого за пояс заткнет!..» Насилу удалось замять дело, представив его так, будто бы в действительности произошло столкновение эстетических воззрений по поводу силы его писательского таланта. Вскоре после этого упомянутая креолка раззвонила по всему городу, что любовные письма он пишет под копирку. Хорош человек: садится за интимное послание, а думает при этом о будущих поколениях, которым доведется его читать!..

Но он не только косился на потомков, но и стремился обезопасить себя; если уж от письма нельзя было отвертеться,— осчастливив адресата автографом,— то надо было сохранить хотя бы копию. И он хранил каждую написанную им строку — не только подстраховки ради: в письмах он иногда излагал кое-какие мысли, которые впоследствии можно было развить в отдельной статье. Вот уже довольно длительное время из печати выходили лишь старые его произведения — в расширенной или суженной подборке, в том или ином составе, в виде карманного издания или в очередном томе собрания сочинений. Совсем недавно он выпустил сборник под названием «Фокус и горизонт», куда вошли его интервью, статьи, речи и высказывания, биографические заметки и прочие стружки из творческой мастерской. При этом, ссылаясь на загнанное положение человека, с которого все что-то спрашивают, он доказывал, что в часы, урываемые от правки корректур и многочисленных общественных обязанностей, он ухитряется параллельно работать над несколькими крупными произведениями...

Наконец подошло время отправляться в город. Впереди напряженный день, мероприятие на мероприятии. И так тянется из года в год.

Ничего, выдюжу,— конечно, пока могу двигаться. Надо сделать вид, будто ничего не случилось.

Напряжение спало, как только, выйдя на веранду, он услышал шумное дыхание собаки. Позабыв обо всем на свете, он приготовился побороть и опрокинуть навзничь блаженно повизгивающего Пушка.

Однако пес не стал бросаться на него по своему обыкновению. Застыв на месте как вкопанный, он прижал уши, и шерсть у него встала дыбом.

Что с тобой? Иди сюда!

Тело собаки напряглось, хвост был испуганно поджат. Г. нетерпеливо хлопнул себя по боку, подзывая собаку; ладонь его глухо ударилась о каменное бедро, а неподатливое тело качнулось вперед, как бетонный столб.

Пушок, припав к земле, опасливо подполз к нему; блестящий нос, выискивая знакомый хозяйский запах, подрагивая, обнюхал его брюки, и вдруг в собачьих глазах отразилось смятение. Пес испуганно отпрянул назад.

Кафф-ка, кафф-ка...— в страхе залаял он, потом заскулил, попятился и стремглав убежал в дальний угол сада.

Совсем спятил пес. Или почуял великую перемену и теперь не знает, как вести себя со мной? Ах ты, милый, глупый мой Пушок! Ничего, постепенно привыкнет...

Он пошел к калитке, старательно преодолевая каждый шаг: движения давались ему все с большим трудом.

Долгий день предстоит сегодня, долгий и необычный. Пес предостерег его, теперь он знает, к чему следует быть готовым.

Выйдя за калитку, он какое-то время в нерешительности стоял на тротуаре. Вообще поймать такси нетрудно — пора бы наконец подыскать какую-нибудь должность, при которой полагалась бы машина,— поскольку отсюда, из квартала вилл высоко на горе, такси возвращались в город порожняком. Но сейчас он все же не решался поднять руку. Если спуститься вниз до перекрестка, то проще будет сесть в автобус, не придется экспериментировать со сгибанием и разгибанием туловища, да и вес его может оказаться не рассчитанным на легковой автомобиль.

В автобусе он действительно не произвел сенсации. Это успокоило его, но в то же время и ударило по самолюбию. Правда, вокруг люди посторонние. Они же не знают, с кем едут.

Г. трясся на задней площадке, ухватившись за металлический поручень, и обдумывал предстоящие дела. Надо будет зайти в издательство. Не только из-за своих личных дел, но и по общественным нуждам: он ведет серию «Современные классики» и выцарапал себе и антологию молодых писателей. В Союзе писателей состоится заседание президиума, и нужно направить его в должное русло. Кроме того, он же является председателем редколлегии центрального ежемесячника; там без него никак не обойтись, а в особенности сейчас, когда придира главный редактор (получивший от него урок коллективного руководства) угодил в неврологическую клинику.

Господи, что бы они делали, не будь меня? Кипящая ключом творческая деятельность, демократизм, совместные действия... Наверху знают, что могут рассчитывать на меня и только на меня. Ну, а Пушок?..

Мысли его вновь и вновь возвращались к собаке. Ни разу они так не расставались. Что же мог почуять Пушок? А может, пес не признал его? Или ему все же всучили нервнобольное животное?

Малейшая возможность того, что он в чем-нибудь мог ошибиться — или не дай бог, его обвели вокруг пальца! — не давала ему покоя.

Он решил для начала заглянуть к себе на работу, поскольку там наиболее знакомое поле деятельности. Вот уже год он является главным редактором журнала «Хунгария». (Перед этим он побывал в Индии с делегацией, возглавляемой государственным секретарем, и тогда-то они с Кароем и подружились.) В связи с выработкой концепции и сложностью организационных проблем ни один номер журнала до сих пор не вышел из печати. Ему удалось убедить Кароя, что необходимо создать качественно новый журнал, а не разгрузочный пункт для произведений-однодневок. Необходимо снять самые сливки литературы, подогнать алмаз к алмазу, по крупице отобрать непреходящие ценности! Венгерское издание будет повторено на английском, русском, немецком и французском языках. Иными словами, это будет не просто журнал, а супержурнал. При таких высоких качественных требованиях нельзя опираться лишь на ныне живущих писателей. Значит, придется открыто признать наше прошлое и поднять его до уровня нынешнего времени, дабы наследие классиков составило органический сплав с современной литературой. Такова программа, с которой незазорно вторгнуться в мировую литературу. Бедняга

Аттила, неудачник Михай, первопроходец родной земли Жига[1] заслуживают того, чтобы за ними выстроилась мощная писательская гвардия. Он уже написал статью, открывающую новый выпуск, и его собственные творения на четырех иностранных языках ожидают сдачи в типографию. Но кроме самого себя он пока еще не нашел писателя, произведения которого могли бы войти в журнал. В этом-то и вся загвоздка! Ответственность чрезвычайная, поймите, выдвигал он аргументы в ответ на понукания сверху, ведь я готовлю не просто журнал, а Журнал с большой буквы, и не намерен идти на какие бы то ни было уступки за счет качества... Первоначальное оживление в литературных кругах с течением времени сменилось равнодушием. Писатели забрали из редакции свои рукописи.

Ну что ж, это к лучшему, время работает на меня.

Смерть очередного коллеги всегда его восхищала. Его надгробные речи пользовались необычайным успехом. Никто лучше его не умел сочинять душещипательные некрологи. Сквозь сито времени постепенно просеивается поколение, взвихренное «светлыми ветрами» первых послевоенных лет, и как ни прискорбно, а процесс это естественный. Подумаем о ближайшем будущем: к чему нам дюжины семидесятилетних великих писателей на такую маленькую страну? Стервятник, называли его коллеги. Неблагодарные смертные.

Прежде чем наведаться в редакцию, он, памятуя об инциденте с Пушком, решил проделать еще один опыт. Он зайдет в кафе. Садиться не станет, а то вдруг да не сможет потом подняться. Просто пройдет между столиками, будто разыскивая кого-то. А сам будет наблюдать, как на него смотрят. Замечают ли, что он... Ведь в конце концов за бутылкой пива в кафе убивает время писательская братия.

Официанту, поспешившему ему навстречу, он сделал знак, что не собирается задерживаться. Тот принял его жест к сведению и попросту отвернулся, не выразив изумления. Г. исподтишка, краешком глаза, наблюдал за писателями. Того, кто подобострастно раскланивался с ним, он удостаивал великодушным жестом. Тому, кто отделывался легким кивком, он отвечал тем же. И в упор не замечал тех, кто смотрел на него как на пустое место. (Jedem das Seine[2].)

Делают вид, будто ничего не замечают. Но я-то знаю, что буквально на глазах каменею и превращаюсь в статую.

В центре большой компании сидел его давний друг Пуши. Он невольно направился было к нему, ведь Пуши наверняка заметит перемену. Да и кто, как не Пуши, ведь они знают друг о друге всю подноготную. Вместе они жили в общежитии, вместе начинали учиться в университете, уже будучи в зрелом возрасте, и свои первые пробы пера тоже показывали друг другу. Какой горячей, закадычной была их дружба! Одно лишь воспоминание о ней, как и ласковый, горячий язык Пушка, всегда вызывало в нем радостное чувство.

И этот пакостник меня видеть не желает, уставился как на пустое место!

Все поплыло у него перед глазами, и он вынужден был ухватиться за спинку стула; удерживать равновесие становилось все труднее.

Пуши попал в Будапешт тоже из провинции, из придунайской деревушки. Он говорил всем, будто отец у него старатель. Как его ни высмеивали, он упрямо стоял на своем: старатель, золотопромыватель, и точка. Впоследствии оказалось, что он вообще не знает своего отца. Был он приблудным ребенком, и растила его бабка. Однако экзотическая профессия отца до сих пор значится в биографии Пуши. И в этой легенде о промывании золота было что-то от истины:

---

[1] Имеются в виду выдающиеся представители венгерской литературы XX века: Аттила Йожеф, Михай Бабич, Жигмонд Мориц.

[2] Каждому свое *(нем.)*.

Пуши писал мало, но хорошо. Вот только в жизни он ничего не добился. Сидит, окруженный людьми, вечно он душа компании. Постарел, а все равно выглядит как мальчишка. Иного человека морщины старят, а хлипкий Пуши в своем нескладном свитере, с веселой физиономией младенца как бы вне возраста.

Не так давно он застал Пуши одного и подсел к нему: отчего бы нам не потолковать как прежде? Пуши сквозь сетку дружелюбных морщин долго разглядывал его — точь-в-точь истинный старатель, наблюдающий за промывкой золота,— и начал разговор следующими словами: я согласен потолковать с тобой лишь об одном, а именно — как дошел ты до жизни такой?

Они обсудили этот вопрос и с тех пор перестали здороваться.

Он вышел из кафе и побрел к себе на работу. Ноги становились все непослушнее. И вроде бы он ждал еще чего-то, но чего — и сам не знал.

Однако больше ничего не случилось. Секретарша, сотрудники, переводчики встретили его с привычным энтузиазмом, а отнюдь не с удивлением. Он следил за выражением их глаз, но и в глазах ничего не увидел.

Не заметили. А может, и не желают замечать?

«Меня ни для кого нет»,— он захлопнул за собой дверь кабинета. Никто этому не удивился, все привыкли, зная, что в это время он ведет важные разговоры, каждый день названивая ответственным лицам, чтобы наверху о нем помнили.

...Как дошел ты до жизни такой? С твоим талантом, старина, с твоими сочинениями! Ведь как ты сумел написать правду о пятидесятых годах, мы восхищались тобою и завидовали тебе! Да знаешь ли ты, какие ценности разбазариваешь, когда уродуешь свою собственную душу? Вот и Бела мой всякий раз вздыхает, когда говорит об этом...

Бела мой! — Он придвинул к себе телефон. Надо рассказать ему, каким изощренным образом ухитряются его ни во что не ставить. Его подвергают остракизму. А это уже не просто интриги или выпады против его личности, но дело политического характера.

...Ты рассчитываешь запугать нас, выстреливая именами: шандорйожефмартон-тра-та-та... или ты полагаешь, что если спрячешься за какую-нибудь высокопоставленную спину, то не повредишь этому человеку своим поведением, которое господин учитель Помпом квалифицировал бы как новый вариант trahison des clercs [1]? Но leben und leben lassen[2], mon fils[3]. это я преподал тебе с самого начала, когда ты пожелал научиться у меня языкам, и цитирую я бабушку Пушлер, которая была швабкой от рождения, by gosh[4]! Еще какой швабкой, unter uns gesagt[5], в один прекрасный день вдруг — damn it[6]!— подумает Бела мой и бросит тебя, старина, рано или поздно обязательно тебя бросит, когда знакомство с тобой перестанет импонировать ему, когда он сообразит, что ты ни одного языка толком не знаешь, когда ты станешь ему в тягость, ведь нам известно, как это бывает, время от времени выдвигается среди нас какая-нибудь grandeur [7], сияет во всем блеске, делает что хочет, а потом раз — и Abgang, the end, конец, и хорошо еще, если он останется писателем и сохранит право опять сесть за наш стол распить кружку пива...

Наконец удалось прозвониться к Беле. У него люди, он проводит совещание, с безразличной любезностью сообщила секретарша. Но я по делу, очень важному делу! Вы ведь встретитесь после обеда на

---

[1] Разоблачение интеллигенции *(франц.)*.
[2] Жить самому и жить давать другим *(нем.)*.
[3] Сын мой *(франц.)*.
[4] Черт возьми! *(англ.)*
[5] Между нами говоря *(нем.)*.
[6] Проклятье! *(англ.)*
[7] Знаменитость *(франц.)*.

конференции, неужели до тех пор не потерпит ваше дело? — удивилась секретарша. Нет, не потерпит! Он решил, что она попросту не хочет соединить его с начальством, у него и раньше возникало впечатление, будто эта злюка не жалует его, надо будет преподнести ей свою книгу с дарственной надписью, а может, Пуши оказался прав, и Бела уже?.. Секретарша положила трубку. Он раздумывал, не связаться ли с Кароем, государственным секретарем, или, может, обзвонить соседей по участку Иштвана и Золтана? Нет, в этом деле должен разобраться Бела мой, уже хотя бы потому, что тут замешан Пуши!

«Бела мой» — такое словосочетание он впервые услышал от Пуши двадцать лет назад: в их комитате Бела занимал важный пост. И любит писателей! В средней школе Бела мой всегда писал за меня сочинения по литературе, ухмыльнулся Пуши, так как я в отличие от тебя слабоват по части прозы. В небольшом дунайском городке в доме для приезжих в их честь готовили уху, ведь они уже считались известными писателями. Пуши вызвал главного повара на кулинарное состязание, напоил до бесчувствия местного начальника милиции, он развлекал компанию анекдотами, распевал народные песни, и поскольку в то время он только что вернулся с полугодовой учебной практики за границей, то, к смятению музыкантов-цыган, закатил концерт из старофранцузских песен и английских баллад, а под конец вечера ему захотелось поплавать, и как над ним ни потешались, он разделся до трусов и тут же принялся отчаянно хлопать себя по груди, по спине, по ногам, пытаясь избавиться от облепивших его комаров; на другой день он ничего этого не помнил: спьяну я обычно отплясываю танец свинопаса, оправдывался он.

...Все верно, я сам тоже ухватился за первую попавшуюся возможность и по сей день редактирую все выпуски «Жемчужин мировой лирики», но я не зачерпывал по два раза из общего котла, не лез вперед других, хотя мог бы, поверь мне, вся беда в том, что от бесконечных собраний да заседаний у меня по заднице мурашки бегают, да и некогда мне рассиживаться, здесь, в кафе, ждут меня не дождутся старые друзья-приятели да многообещающая молодежь, а дома — мои любимые женщины, Эстер забирается на одно колено, Анна усаживается на другое, ну чем тебе не гарем! Слушай, старина, а не завести ли тебе ребенка? Или ты боишься размножить самого себя? Ты ведь теперь всего на свете боишься, и сочинительства, и окружающего мира, боишься прежнего самого себя, оттого и подпираешь свое существование всякими покровителями, за подпорками и не видно стало твоего большого таланта, не видно той самобытной творческой личности, какою ты был когда-то! Поверь, мне жаль тебя, да и нас тоже жаль...

Пуши мог себе это позволить — говорить с ним свысока. В общежитии они на пару пытались выступить против обязательного еженочного мытья ног. А черный кофе считали пижонством: дома они пили по утрам кофе с молоком из пузатых кружек, большим пальцем придерживая ложку, чтобы не лезла в рот, и поначалу проделывали этот фокус и с крохотными кофейными чашечками, пока не усвоили, что ложку следует класть на блюдце. На четвертом курсе оба признались друг другу, что от постоянного сидения нажили себе геморрой. Отправились к врачу: спустить штаны, наклониться вперед, стоять спокойно, ну, это еще не так страшно, пропишу вам мазь, но если не хотите угодить под нож, то про кукурузное лыко и газетную бумагу извольте забыть, а после испражнения, молодые люди, следует подтираться влажной губкой, если вы этого еще не знаете! Тогда они этого не знали.

...Как дошел ты до жизни такой...

Ну а Пуши? Не так-то далеко ушагал он по жизни, вот и ищет себе оправдания, над другими измывается.

Навалившись грудью на стол, он смотрел в окно. Слушал доносящийся снизу шум оживленного уличного движения.

И вдруг его осенило.

Ну конечно же, то, что внове для меня, что я заметил лишь сегодня, другие подметили давным-давно и свыклись с этим. Но разве есть у меня время заниматься собою, обращать на себя внимание? Поэтому я не первым, а последним обнаружил, что еще при жизни...

Он облегченно вздохнул, поняв, что так приятно разочаровался в себе.

Когда-то была у него робкая, мальчишечья улыбка — сейчас она вновь появилась на его лице. Он испугался бы этой улыбки, если бы увидел себя со стороны.

А Пушок? Что означает странное поведение собаки? Один Пушок не пожелал принять к сведению неоспоримый факт.

Этого я так не оставлю, надо принять меры!

Он не потерпел бы возле себя ни единого инакомыслящего. Ненавидеть его, завидовать ему можно, но не признавать его нельзя!

Гнев жаркой, неудержимой волной захлестнул его. Он снова схватился было за телефон, однако неподвижно закаменелым пальцам оказалось не под силу справиться с диском. К черту телефон! Надо идти самому и действовать, действовать. Прямо сейчас, с утра, пока не разошелся слух о противоположном мнении. Да и кабинет вдруг стал для него удушающе тесен.

Ему еще удалось подняться из-за стола.

Удалось вовремя выбраться на улицу.

Удалось перехватить один-другой удивленный взгляд прохожих, которые мельтешили где-то у ног его, все ниже и ниже.

Он начал расти и раздаваться вширь, очевидно, из статуи в натуральную величину он превратится в монумент, но даже сейчас он не стал вникать в вопрос о собственном величии, не стал тратить время на то, чтобы заглядывать в окна верхних этажей или изучать прохожих внизу

я всего лишь добиваюсь справедливости, карой, помоги мне, живодер, милиция, армия, помогите! пойми, бела мой, ты ведь знаешь, и иштван и золтан тоже знают, все знают, что такое справедливость, а тут какой-то беспородный пес вздумал нам перечить

теперь ему приходится выбирать, куда ступить ногой, чтобы не продавить крыши домов, и он выискивал улицы пошире, а люди внизу даже не удивлялись, он стал слишком велик для того, чтобы его можно было заметить

бела мой, я пригнусь к тебе

а ты, карой, подойдешь к окну, не так ли

иштван и золтан, на вас я могу положиться

и вдруг почувствовал, что и сам не знает, к кому хочет обратиться и что должен сказать

одним махом проскочил он через весь город

мыском ботинка походя зацепил шпиль парламента

одной ногой он находился в задунайском крае а другой уже за пределами страны

в европе ему стало тесно и он перешагивал с континента на континент

откуда ему было знать что он оставил по себе облегченное молчание

и лишь из сада одной будайской виллы доносился горестный призыв к хозяину каффф

каффф

каффф.

ИАН КЕРЬЮ

Деревня Рим-Агрикола: фасад третьего мира и скрытые за ним пейзажи

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Бесчисленные немые угрюмые предки
спят беспокойным сном в пропитанной кровью земле.
Ступай по ней осторожно, осторожней, чем ягуар.
Лунной ночью прильни ухом к почве —
узнаешь о неисчислимых тайных страданиях.
А если услышишь звуки веселья, то это лишь эхо смеха,
которым смеются, чтобы не умереть.
Ступай осторожно, ибо каждый дюйм почвы —
заброшенная и забытая могила предка.
Но также прислушайся к ветру
Ветру известны имена всех, кто пробился сквозь стену расовой ненависти
и нашел выход в смерти.
Ветер открыл свои тайны деревьям.
Семена эти прорастают — но так же медленно,
как пробуждаются дикие гиацинты перед неизбежным восходом солнца.
Ступай осторожно — и ты услышишь
звучную песнь пробуждения.

Гимн карибских шаманов

Я родился в Риме-Агриколе шестьдесят лет назад — по сей день деревня моя лепится к восточному берегу янтарно-желтой реки Демерары, неотъемлемая частица вечнозеленого болотистого побережья между дельтами Ориноко и могучей Амазонки Две эти великие реки, так же как прочие — Эссекибо, Демерара, Бербис, Корантейн и Карони,— все впадают в Атлантику. В сезон дождей, когда реки вот-вот лопнут от полноты, они изрыгают воды свои в океан, вспенивают прибой и превращают Атлантику миль на сто в пресноводное озеро. Индейские шаманы говорят: земля — наша мать, а река — сестра всех живущих вдоль берегов, ибо обе они — знаки тайны и плодородия, и обе дают живущим и мертвым вечную связь с прошлым, со временем и пространством Шаманы предостерегают: если люди не живут в согласии с Природой, река приносит им яростное возмездие.

Когда Христофор Колумб в первый раз увидал Ориноко, старшую сестру Демерары, в двухстах милях к северо-западу, он провозгласил в безумном бреду. что столь великая река непременно ведет в Рай земной. Но поглощенный болезнями и интригами, ибо впал в немилость у своих царственных покровителей — Фердинанда

ИАН КЕРЬЮ — JAN CAREW

Гайанский писатель — романист и драматург. Его перу принадлежат автобиографическая книга «Дикий берег» (1958), романы «Прикосновение Мидаса» (опубликован в «Иностранной литературе» 1963, № 1,2), «Последний варвар», пьесы «Побег», «День лисицы» и др. произведения.

Публикуемый рассказ получен от автора в рукописи.

и Изабеллы, он не поплыл вверх по реке в поисках призрачного эдема. Вместо этого он записал в дневнике:

«Я уверен, что это весьма обширный материк, доселе неведомый... Если это действительно материк, это чудо... а река столь огромна, что образует пресноводное озеро поперечником в сорок восемь лиг».

Полустолетием позже сэр Уолтер Рэли, обрекший себя на тщетные и трагические поиски Эльдорадо, поплыл на юго-восток вдоль дикого побережья Гайаны, восторженно восклицая, что он набрел на зеленый рай. Он бесстрашно искал Эльдорадо, но окончил свои дни в тюрьме, сложив голову на плахе. Со времен Рэли пейзаж, частица которого — Рим-Агрикола, существенно изменился, но если поплыть на запад, то обширные районы от Демерары до Амазонки и сегодня имеют тот дикий и первозданный облик, который видали карибы, араваки, Колумб, Рэли, Кабрал и прочие мореходы былого.

Демерара начинается близ экватора и срывается к северу с многих крутых порогов, а между белыми бешеными водопадами неспешно петляет по лесам и саваннам и, наконец, подчиняясь ритму приливов и отливов, выбрасывает свои мутные воды в Атлантику. В устье ее — причудливые узоры отмелей: она нанесла туда столько ила, словно хочет сама себя удушить. Порою в ней пробуждается воля к жизни, она вступает в сговор с волнами океана и струями Ориноко и Амазонки и прорезает в наносах каналы, сохраняя звание судоходной реки. С птичьего полета видно, как встречаются и не сливаются янтарная Демерара и голубая Атлантика. Кажется, что граница меж ними незыблема и постоянна. Этой границы нет в глубине: они встречаются, и сливаются, и становятся неразделимыми

Я покинул Агриколу и дикое побережье Гайаны неуклюжим пятнадцатилетним подростком с телом взрослого и умом, сбитым с толку стихами, романами историей незнакомых народов, легендами, музыкой, сказками и суевериями. Я отправился на войну с далеким тираном по имени Гитлер. Я читал и видел в кино, как Гитлер измывается над евреями и покоренными народами,— однажды после такого фильма мужчины Агриколы пришли в ярость и, вскочив на помост, рассекли серебристый экран на ленты своими мачете. Однако наш деревенский пророк Джордан, высокий старик с шапкой снежно-белых волос над сверкающим антрацитом лица, гипнотическим своим голосом объявил, что Гитлер наслан на белого человека как бич, карающий за беззакония по отношению к черным, коричневым и желтым народам. Джордана арестовали и продержали в тюрьме до конца войны за то, что было для англичан призывом к бунту, а для сельчан Агриколы — не высказывавшейся дотоле истиной. Все же мое возмущение Гитлером, равно как стремление убежать из Агриколы, взяло верх над пророчествами и предостережениями Джордана, я скрыл свой возраст (сказал, что мне восемнадцать) и попал в полк береговой артиллерии. Покинув Агриколу и поскитавшись по свету, я понял, что под солнцем моя деревня — важная точка отсчета для уразумения того, что происходит на планете Земля. Чем больше я путешествовал, тем больше меня поражало, что Агрикола со всем, что скрывалось в ней за обманчивым фасадом нищеты, убожества и видимой безнадежности, являет собой микрокосм мироздания Вырастая в ней, в скрытых за фасадом пейзажах взаимоотношений, я, естественно, познавал ее тайные скорби и глубоко запрятанную неискоренимую надежду — и таким образом получал ключ к пониманию не только десяти миллионов других деревень третьего мира, но также и мира больших городов и странных умственных несоответствий, при которых одержимые современной техникой люди как будто готовы уничтожить

весь мир, лишь бы удовлетворить свою бредовую жажду власти и непристойное влечение к материальным излишествам. Я мечтал сделаться странником, но для этого надо было сначала понять, каков я снаружи (на вид, на слух и на ощупь), и узнать, что я собой представляю внутри,— много точнее, чем мне подсказывал внутренний взор и слух. Если я собирался как-то ладить с самим собой и успешно справляться с существованием в мире чужих людей, мне надлежало собрать воедино все разрозненные осколки моей жизни в Агриколе и нащупать все звенья, связывающие меня с причудливым миром предков.

Когда в отдаленных и чуждых краях я впервые взялся за этот труд, я пришел к осознанию факта, что являюсь плодом смешения ошеломляющего количества рас, народов, верований и культур, что мое лицо, мое тело (все шесть футов четыре дюйма) и их цвет наложены на историческую голограмму множества лиц, цветов кожи, линий и форм; что во мне течет кровь угнетателей и угнетенных, надсмотрщиков и рабов, предателей, бунтарей, изгоев и каторжан. В непосредственном прошлом, которое своими непристойными и незабываемыми рассказами приоткрывала мне стодвадцатилетняя прапрабабка, был настоящий калейдоскоп самых разнообразных предков, таких как Манахарва и Шантоба, карибские касики из Кайтумского Треугольника; бенинский вождь Акпата, чьи ближайшие родичи предательски продали его в рабство; евреи-сефарды из Португалии Мендоса и Селманн, которые, недолго пожив в Пернамбуко и Суринаме, кончили дни в Гайане; братья Хинтцен, потомки северогерманских переселенцев,— немецкие банкиры вынудили их уехать в Гайану при испанском короле Карле Пятом; отпрыск богатой английской семьи Чарльз Ален Персиваль-Керью, которого поспешно сплавили сюда в разгар весьма неблагоуханного скандала; шотландские бунтари братья Кемпбелл, чьи недавние предки бежали из высокогорных твердынь после Каллодена: полуфранцуз Лароз, сын беглого каторжника с Чертова острова и индианки медоса.

Я всегда думал, что моя прапрабабка — сияющие глаза на черном лице в нимбе лилейно-белых ватных волос — весьма похожа на Бога; иногда, покуривая белую глиняную трубку, она прямотою и неподвижностью напоминала исхудавшее изваяние Будды. Мы звали ее Бель, ибо она требовала, чтобы все ее звали именно так. В ней было больше шести футов роста, и, даже перешагнув за сотню, она держалась величественно, как африканская царица,— она клялась, что в самом деле была царицей. Когда ей исполнилось сто пятнадцать, и ее голос еще гудел в моей голове, как колокол, она мне сказала:

— Не пренебрегай этой деревней. Куда бы ты ни отправился, всегда держи ее при себе. У нас есть умные люди и глупые люди — что же, во всем мире есть умные люди и глупые люди; у нас есть смелые люди и трусы — что же, во всем мире есть смелые люди и трусы. Не обращай внимания на цвет кожи — важно, какой у кого цвет души; душа бывает как радуга и как ком грязи. Тянись к радуге — в противном случае, чем дальше ты будешь странствовать, тем сильнее в тебе будет равнодушие.

Я слушал ее и думал, что она не только похожа на Бога — когда на нее находил стих всерьез пофилософствовать, она и изрекала, как Всемогущий. Но по большей части с такой же серьезностью и откровенным бесстыдством она говорила о самом земном:

— Считают, у старости есть свои преимущества: мне больше сотни, а я до сих пор не заметила ни одного. Что до моих мужей, то я человек честный и не могу вспомнить о них ничего хорошего. Они были совсем не в моем духе... другое дело с любовниками — им не хватало времени, чтобы показать себя с дурной стороны...

теперь все они благополучно перемерли, а, как говорят в Бенине, мертвые всегда виноваты.

Бель рассказывала мне об Африке и очень редко — о рабстве. Воспоминания о нем были так мучительны, что она старалась как можно быстрей закруглиться:

— Смазливость, сообразительность и везенье избавили меня от кое-чего из самого худшего. И все равно это был ад земной. Я выжила только потому, что в детстве меня увезли в Англию, а когда я вернулась в Гайану, я была уже взрослая, да и рабство уже отменили.

Бель не раз говорила мне, что африканцы не любят, чтобы их бог был слишком высоко в небе, ибо он обязан постоянно давать отчет тем, кто его боится и ему поклоняется; поэтому каждый день на закате он сходит на землю и вселяется в душу деревенского сказителя. В каждой гайанской деревне был свой сказитель, но наш, в Агриколе, был самый прославленный. Когда солнце скрывалось за вершинами деревьев, сказитель обычно ходил по деревне и песнями скликал ребятишек на деревенскую площадь, в середине которой стояло огромное шерстяное дерево. Когда все дети и их родители собирались под деревом, сказитель при постуке барабанов затягивал гимны, он повторял их и повторял, и вот голова его делалась легкой, как воздух, а тело превращалось в жилище снов, и тогда истории рассказывались сами собой. Он погружал нас в причудливые предания о живущих в Лесу Призраков демонах и героях-плутах, о всадниках на крылоногих конях, о ведьмах и великанах, о чародеях, которые могут вмиг превращаться в хищных зверей, оленей, кроликов даже броненосцев. Во многих рассказах присутствовал особенно злобный колдун, шагавший по воздуху на языках пламени вместо ног. Сказители располагали несчетным множеством злых чародеев и героев-плутов, и все эти духи, твари и существа происходили из африканского, индейского и евроазиатского фольклора. Водяной Массакруман рыскал в поисках человечины; старая ведьма Хига летала, как огненный шар; карлик Демон Бейку преследовал молоденьких девушек; прекрасная Русалка появлялась на морском берегу и сулила отдать все богатства мира в обмен на твою душу; призрачная Белая Леди насылала на тебя неизбежную гибель, отвести это заклятие могли лишь христианская Библия, крест и тыква-трещотка карибского шамана. У древолаза Энанси был такой острый ум, что он мог перехитрить самых могущественных и коварных врагов; древнейший индейский дух Канаима служил средоточием всех зол; карибский бог возмездия Ураган во время дождей проносился по небесным пастбищам с диким воем, змеей-молнией и топором-громом; и наконец, по обочинам твоей жизни все время крался Мантоп, вестник Смерти. Все эти существа, духи, боги, герои-плуты и демоны принадлежали к многорасовому пантеону, в то время как среди живых людей действовали жрецы вудуизма, пророки всех толков, мастей и оттенков, служители индийской богини Кали, китайские дьяволопоклонники и индейские шаманы, которые магическим могучим дыханием выдували из тебя всех злых духов. И еще было немало самозваных Христов и Спасителей - ибо Агрикола и другие деревни не преследовали сумасшествие и даже видели в нем некоторую волшебную силу. И хотя, казалось бы, крестьяне не могли позволить себе такой роскоши, они с бесконечным состраданием привечали, одевали и кормили тех, кто нашел себе вечное прибежище в царстве безумия и пророческих грез.

Но Бель выучилась читать и писать еще до отмены рабства, и оба ее покойные мужа, Курт Хинтцен и Родерик Кемпбелл, были людьми просвещенными и взяли ее как законную венчанную жену, а не держали как сожительницу на задворках своей жизни — за

что рисковали подвергнуть себя остракизму со стороны собратьев, колониальных проконсулов. Сверкая глазами, она передавала мне давние сплетни о том, как она африканским коварством, черной магией и черной красотой приворожила двух отборных белых холостяков. Бель вышла за Курта Хинтцена, когда ей было семнадцать, а ему пятьдесят два. Брак их длился двадцать пять лет и принес троих детей. Во второй раз она торжественно обвенчалась с Родериком Кемпбеллом через шесть месяцев после похорон Хинтцена. Разумеется, это вызвало такое негодование, что проповедников, призывавших громы на ее голову, чуть не хватил удар.

— И я из-за этих ханжей должна была строить скорбную мину?— восклицала она. — Да у меня всего две жизни: раз я потеряла одного мужа, кто меня может утешить, как не второй?

Она родила Кемпбеллу ребенка, когда ей было уже за сорок, их брак длился двадцать лет. От покойных мужей и любовников она получила не только плантации и деньги, но также мысли, и книги, и возможность путешествовать в Англию, Францию, Италию и Испанию. Несмотря на это, в глубинах ее натуры таилась темная разбереженная неудовлетворенность. Она ненавидела ограничения, которые налагало на ее жизнь узколобое, лицемерное и тираническое колониальное общество.

— Англичане привыкли вышвыривать свою падаль — и сажают ее нам на шею,— как-то изрекла она. — Здесь были нужны лучшие люди, а вместо тружеников они прислали нам трутней.

Поездки за границу помогали на время бежать от одуряющей колониальной атмосферы — хотя и дома она жила в полуфеодальной независимости и достаточно далеко от столицы, чтобы отгородиться от повседневных унижений, которым подвергали темнокожее население неуверенные в себе мелкобуржуазные проконсулы и их местные сатрапы. По Англии и Европе она всегда путешествовала с белой служанкой.

— Англичанки держат при себе негритянок, чтобы подчеркнуть свою белизну,— говорила она,— а мне была нужна белая негритянка, чтобы подчеркнуть мою черную красоту.

— А что о твоих делах говорили твои мужья?— спросил я.

— Они терпели. Что им еще оставалось?

И она добавляла, ехидно кривя губы:

— Я выходила замуж за белых — совершенно верно, но любовников я выбирала демократично — белых, черных, коричневых, желтых; сам Господь захохочет, вспомнив, что я пережила всех сплетников, расистов, женоненавистников и церковных ханжей, которые сочиняли про меня проповеди. Этим скотам в голову не приходило посмотреть на вещи моими глазами. В конце концов, я женщина и жила так, как имеет право жить всякая женщина.

Впоследствии несколько поколений пыталось представить себе, как выглядела Бель со свитой в Европе: впереди сама, муж на голову ниже ростом, за спиной — белая служанка. Порой, поддавшись настроению, Бель перебирала струны допотопной мандолины и напевала хрипловатым голосом, который был так переполнен чувством, что юное мое сердце не могло не затрепетать. В ней было что-то от Клеопатры, от Нана, от Иезавели и вдобавок — высокомерие аристократки из придворных кругов Бошонго. Ее живой ум, мятежная натура и дар рассказывать, незаметно обучая искусству выживания, поразительным образом привили мне глубокое чувство собственного достоинства. Ее уроки также помогли мне вырасти свободным от тогдашнего обыкновенного мужского шовинизма и сексуальных фантомов. Она считала себя выше всех мужчин, независимо от расы, цвета кожи, религии и национальности, но именно она заставила меня ощутить себя мужчиной куда сильнее, чем если

бы меня воспитывали в иллюзии, что мой пол от рождения возносит меня над всеми женщинами.

И еще Бель помогла мне понять, почему самым униженным и презираемым сельчанам Агриколы так естественно удается за одну жизнь перешагнуть через столетия и стать врачами, юристами, физиками, всемирно известными адвокатами, художниками, писателями, композиторами, певцами, поэтами, профессорами и рабочими сверхвысокой квалификации в главнейших столицах мира.

В наш век взрывов и скоростей бесчисленные, столь же презираемые люди из десяти миллионов таких же деревень третьего мира точно так же каждый день перешагивают через столетия. Это могущественное незаметное перемещение преображает мир. Если быстрота и ритм этого гигантского тайного движения сохранятся и впредь, может быть, планета Земля еще спасется от атомного уничтожения. Голодные, отчаявшиеся, казалось бы, утратившие надежды, мы, несчетные миллионы людей третьего мира, упрямо преданы самой великой мечте — чтобы все народы ходили по свету прямо и во весь рост и заняли свое место рядом с богами, которые на заре творения постановили, что добро должно торжествовать над злом, а жизнь над смертью.

Я так и не выяснил, кто дал Риму-Агриколе столь высокопарное имя. Захмелевшие плантаторы, проконсулы и поселенцы (а они принадлежали к завзятым потребителям того рома, который производили ценой ужасных человеческих страданий) были склонны предаваться необузданным грезам — в них они представали истыми римскими патрициями и гордо хранили заветы империи и Pax Britannica[1]. И действительно, Рим-Агрикола на Демераре имел некоторое, почти неуловимое сходство с Римом на Тибре.

Третий мир всегда сосуществовал с первым — да и как могло быть иначе. Города и деревни обоих миров возникали и разрастались лишь благодаря дьявольскому сложению труда рабов и пленных, крепостных и каторжан. Неисчислимые столкновения между строителями соперничающих империй и между колонизаторами и колонизуемыми разбрасывали по континентам и островам людей всех оттенков спектра, всех цветов кожи, верований и убеждений. Это непосредственно относится и к Британской империи, крохотным и весьма малоуместным вкраплением в которую был Рим-Агрикола. Если бы восстановить и записать хоть немногое из жизни тех, кто вынес на своей спине Римскую империю, а много позже — Британскую, во всех библиотеках мира не хватило бы места для историй о мучениках и героях.

Легендарный Рим на Тибре — и военный город, и святой город, и языческий город. Его украшают исторические здания, памятники и триумфальные арки. Его безымянные строители оставили нам в наследство воспоминания о величии, горе, неосуществленных стремлениях и несбывшихся грезах.

Зыбкое глинистое побережье Гайаны, жаркий и маслянистый экваториальный воздух, ливневые дожди и вечнозеленая буйная растительность не способствуют сохранению рукотворных строений. Их поглощает лес, они тонут в глине. Памятники Рима-Агриколы — пейзажи, укрощенные и очеловеченные безвестными рабами.

Но оба Рима — колыбели таинственных, магических, первозданных мифов. Рим на Тибре, сердце утвердившегося христианства,— также и Рим его мифических основателей Ромула и Рема, которых вскормила волчица. Языческий Рим с подсознательными реликтами доэтрусских времен живет бок о бок с Римом цезарей и сегодняшним Римом. Современный Рим-Агрикола на Демераре тоже живет бок о бок с неуютными призраками отдаленного прошлого и повседневной действительностью борьбы за существование.

[1] Букв. «Британский мир» *(лат.)*.

Безымянный творческий труд создателей того и другого Рима объединил их, как и во сне не снилось первопоселенцам. Так безнадежно влюбленный шекспировский Антоний, сам того не подозревая, словно предсказывает появление моего Рима:

> Пусть в Тибре сгинет Рим
> И рухнут своды вековой державы!
> Мое раздолье здесь. Все царства — прах.
> Земной навоз — заслуженная пища
> Зверям и людям [1].

А Брехт со своим необыкновенно поэтическим воображением, интуитивно прибегая к диалектическому методу, в одном стихотворении задал вопрос:

> Великий Рим украшен множеством триумфальных арок.
> Кто воздвиг их? Над кем
> Торжествовали цезари? Все ли жители прославленной Византии
> Жили во дворцах? Даже в сказочной Атлантиде
> В ту ночь, когда ее поглотили волны,
> Утопающие господа призывали своих рабов [2].

И если когда-то поэт бросил вызов историкам, пишущим «О князьях и прелатах и их ливрейных лакеях», а не «Об отверженных и оскорбленных и преследуемых плебеях», то сегодня мы с тем же чувством можем спросить: кто построил дамбы, столетиями отгораживающие дикий берег Гайаны от Атлантики? Кто осушил отвоеванную у океана и болот землю, прорыв тридцать шесть миль каналов на каждую квадратную милю поля? Кто, прорывая эти каналы лопатами и кирками, перевернул два с половиной миллиона тонн земли на каждую квадратную милю?

Мой деревенский одноклассник во время второй мировой войны был в американской армии, освободившей Рим от фашистов, а я ездил туда много раз в послевоенные годы. Так что мы с ним установили живую связь между двумя Римами. Если бы кто-то захотел измерить столетия, через которые столько моих сельчан переступило за время моей жизни, ему пришлось бы как подготовительный материал изучить все миграции человечества с тех пор, как оно возникло на девственной почве Африки, стало плодиться и начало гордое шествие по планете Земля. В те дни когда понятия о временах года, движении пространстве и времени забрезжили в пробуждающихся умах, людям было нетрудно увидеть себя плодами одного и того же дерева. И в те дни в умах и душах мужчин и женщин могло зародиться только первозданное восприятие одного-единственного мира. Но как только мы начинаем осознавать время и историю, они все явственнее обретают ограничения и пределы, и вот в пределах исторического времени возникают Рим-Агрикола на Демераре и Рим на Тибре, и как будто их разделяют три тысячелетия. И все же я передвигаюсь между ними с поразительной легкостью. В первый раз я приехал в Рим сразу после конца второй мировой войны и там среди памятников древности увидал то, что меня приучил видеть другой Рим,— несчастных людей, отчаянно борющихся с нуждой, голодом и бездомностью, только здесь бедовали белые, а в моей деревне — черные коричневые или желтые. И никакой другой достойной упоминания разницы. Впервые увидев на городской улице человека в лохмотьях над маленьким костерком, я оплакал его и лишь когда слезы просохли, понял, что обездоленный — белый.

Я оглядываюсь на шестьдесят лет прожитой жизни, и Рим-Агрикола представляется мне скорее фантомом, чем реальной действительностью. Деревня лежала по обе стороны проселочной дороги,

---

[1] Перевод Б. Пастернака.
[2] Перевод И. Фрадкина.

без смысла и без причины извивавшейся на плоской равнине. Быть может, широкие голубые тропические небеса и прибрежные земли изрядно ниже уровня моря заставили колониальных проектировщиков позабыть положение, согласно которому кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая; быть может, тоскуя по родине, они весьма неуместно воспроизвели в Гайане образ дорог, змеящихся по холмистым пейзажам Англии.

Проселочная дорога прорезала восточную окраину Агриколы, резко поворачивала вправо и далее шла так близко к реке, что с нее было видно лоснящуюся береговую глину и серебристых солнечных зайчиков на воде. При въезде в деревню на толстенных голых корнях стояло высокое узловатое шерстяное дерево. Из года в год после дождей оно засыпало окрестность лепестками, падавшими медленно, как снежинки. Это дерево, символ тайны и магии для сельчан, стояло прямо перед Домом, центром местного управления, где заседали деревенские власти и хранились официальные бумаги. Непосредственно напротив Дома располагалось кладбище — там насупившиеся деревья с ветвями, удушенными испанским мхом, охраняли покой покосившихся надгробий и склепов, из которых наружу пробивались юные деревца и лозы дикого черного винограда. Красные цветочки испанского мха поблескивали над усопшими, как кровавые слезы. На западной окраине деревни возвышались дома правительственного врача и английского пастора. Врач проводил большую часть времени, ухаживая за вишневыми и мальвовыми куртинами и дикими азалиями в своем саду; пастор же, славившийся знанием древнееврейского и латыни, как будто больше преуспевал в совращении молоденьких прихожанок, чем в религии и науках.

По обе стороны проселочной дороги в Агриколе стояли деревянные дома на высоких сваях. В середине деревни была методистская церковь и школа, а по бокам их — мечеть и индуистский храм. На полпути от окраины в доме на каменном фундаменте помещалась авторемонтная мастерская, выплевывавшая на придорожную траву ржавые скорлупки легковушек и грузовиков; далее шла швейная мастерская, где в мрачном помещении призрачные фигуры гнулись над ножными машинами. Пивная занимала стратегически выгодную точку между мечетью, церковью и индуистским храмом. От нее далеко несло затхлым темным демерарским ромом, и, бывало, даже в полдень из ее дверей, шатаясь, выбирался рубщик сахарного тростника с распухшими губами и красными, как огненные цветы, глазами.

Большой приземистый деревянный дом деда держался в опасном равновесии между дорогой и изгибом реки. Приближаясь к нему по аллее королевских пальм, вы видели лишь части стены, заляпанные пятнами солнца и тени. Вокруг него росли звездные яблоки и китайские яблоки, свиная слива, манго, авокадо, петушьи гребешки и хлебные деревья вперемежку с кокосовыми пальмами, чьи кроны вращались над головой, точно подсолнухи. На доме всегда лежала патина красной пыли, ибо каждая петляющая по дороге машина вздымала плотные красные клубы. В сезон дождей дорога в Агриколе казалась незаживающей раной.

За фасадом придорожной Агриколы скрывались умонепостижимые тайны и монументальная многовековая жестокость. Если бы кто-то проник достаточно глубоко в коллективное сознание живущих в глубинке Агриколы, он встретил бы невообразимые, нечеловеческие ужасы; но если бы он не отшатнулся и пошел еще глубже, его вознаградили бы образы девственного великолепия и непобедимой надежды.

И то, что верно по отношению к Агриколе, верно и по отношению к десяти миллионам других деревень третьего мира.

В отличие от явной, видимой всем с дороги, тайная Агрикола состояла из отдаленных ферм, рощ, болот и небольших пастбищ с тощими козами и коровами. По временам на этих пастбищах на скорую руку возводились навесы, под которыми проходили ритуалы и церемонии вудуистов и шекеров, поклонников Шанго, Кали, Обиеми и других запрещенных культов. До иных мест можно было добраться только на плоскодонке, работая шестом в черных, как патока, узких каналах, исчертивших вдоль и поперек поля за домами.

Агрикола — свободная деревня, вокруг нее — плантации сахарного тростника и небольшие имения. Землею здесь сообща владеют потомки освобожденных рабов, которые выкупили ее у своих бывших хозяев. Бережливые предки агриколян свозили деньги на тачках — центы, пенсы и шиллинги,— чтобы заплатить за землю, которую они и их прародители веками орошали своим потом, не получая за труд ни медяка. Они сознавали — и говорили об этом вслух, — что за эту землю им пришлось заплатить не один раз. Именно поэтому они так яростно утверждали свою независимость и так ревниво оберегали свободу, добытую столь дорогой ценой.

Мой дед с материнской стороны Стивен Арменіус Робертсон был одним из владельцев Агриколы. Бель была его бабкой, тоже по материнской линии. Мать деда умерла родами, и Бель его вырастила. Он унаследовал ее ум, ее высокомерие и ее красоту — можно вообразить, как яростно и непримиримо сталкивались их характеры, пока он не уехал на Ямайку, в Кингстонский учительский колледж. Бель желала, чтобы он стал адвокатом или врачом, он же избрал себе профессию школьного учителя. Ростом шесть футов семь дюймов, он был широкоплечий и необычайно живой и проворный. Шапка густых и курчавых черных волос увенчивала высокий лоб и длинное лицо цвета черного дерева. Сначала вы замечали его высоту, а потом, впервые увидев его лицо, вздрагивали от прозрачного взгляда неожиданно серых глаз. Сельчане, беззлобно шутя, шептали, что у него кошачьи глаза, которые светятся ночью, как у леопарда. В лицо они звали его Учитель, а между собой — САР, по инициалам. Он был директором Методистской школы и президентом Национальной учительской ассоциации. Мой дед не уставал повторять, что черный леопард должен быть объявлен геральдическим животным Гайаны.

— Нам нужны собственные гордые эмблемы, а не ярлыки, навешанные колонизаторами,— твердил он своим ученикам и мне.— Для нас нет эмблемы величественней, чем черный леопард,— что скажешь?— И, прежде чем ты успевал раскрыть рот, он продолжал: — Леопард — это ум, сила, хитрость и смелость. На него и охотятся только вдвоем, один ищет следы на земле, а другой следит за деревьями, потому что этот типчик имеет обыкновение оборвать след и начать самому охотиться на охотника. Черный леопард всегда стремится заманить врага на свое собственное место на земном шаре, потому что, если он на собственном месте да еще призовет на помощь подругу, победить его не может никто.

Дед издавал литературный и общественный журнал с ироническим названием «Последнее слово». Читатели получали его довольно нерегулярно, потому что после каждого номера оскорбленная жертва беспощадных сатирических уколов подавала в суд за клевету. Дед ненавидел холуев, и прилипал английского губернатора, и его присных и часто называл их колониальными болонками или афро-саксонскими присосками. Деньги и влияние Бель и ее преклонный возраст — он вызывал почтение, граничившее с поклонением,— неизменно спасали внука от тюрьмы. Каждый раз он приходил в бешенство, врывался в ее дом и обрушивал на ее снежно-белую голову поток яростного красноречия с протестами против вмешательст-

ва в его жизнь. Она спокойно выслушивала внука до конца и указывала ему на дверь. На другой день после неизбежного примирения она со стонами восклицала:

— Это проклятие — у меня не внук, а зверь в человечьем обличье. В его жилах течет яд... но самое ужасное, что мы с ним так похожи — такая же злобность и вспыльчивость... Господи, охраняй его до поры, когда он научится охранять себя.

Злоязычная троюродная сестра, которой только бы повыставлять напоказ семейные тайны, таинственно шептала, чтобы разоблачения выглядели еще скандальней:

— Эта парочка, Стивен Арменнус и Луиза Робертсон, каждую неделю играли в Отелло и Дездемону, только ревновала она, а он давал ей для этого кучу поводов. Он мгновенно вспыхивал и утихомиривался — смотришь, уже хохочет,— а в ней холодная злоба сидела по месяцам, он от этого с ума сходил. Они оба считали, что попали в общий капкан,— а какой страшной смертью они умерли! У нее был рак, а у него от нехватки йода вырос огромный зоб. Она была прекрасна, как сон, и он достаточно красивый и ловкий мужчина — ни одна женщина не могла устоять. Но вдвоем — стоило их глазам встретиться, как летели искры. На их браке было проклятие!

Раз в неделю, в любую погоду САР проходил по Агриколе от проселочной дороги туда, где сужавшиеся деревенские улицы переходили в тропки, которые упирались в сплошные, непроходимые стены зарослей. Еженедельные походы уводили его от шума машин, звона церковных колоколов и индуистских храмовых колокольчиков, от пронзительных криков муэдзина, с крыши шиитской мечети призывавшего правоверных на молитву, от шестичасовых пчел, гудевших, как провода высоковольтной передачи,— в глубинное сердце Агриколы, на призыв барабанов. Чем дальше был он от проселка, тем полнее владели они его слухом. Ибо в сердце Агриколы стучали барабаны Шанго афро-бразильские барабаны макумба; шиитские барабаны пульсировали все напряженней от месяца к месяцу до священного дня та зийа, когда символические изображения гробов Хасана и Хусайна приносят к реке; индуистские барабаны, индейские барабаны и барабаны дюжины прочих древних культов, обнажающие необъяснимые и ужасающие порывы духа. Не удивительно, что на протяжении столетий рабства плантаторы почитали барабанный бой подрывной деятельностью. Сердцебиение агриколян и бессловесное пение барабанов от века неслись по ветру как первозданные музыкальные звуки и первый порыв к гармонии воплощения, восторга и избавления.

Весь спектр народов, занесенных строителями испанской, голландской, французской, португальской и британской империй в Агриколу и на побережье Гайаны из Африки, Индии, с Азорских островов, из Китая, с Мальты, Явы, из трущоб и тюрем Великобритании и Ирландии и из лесов и саванн бассейна Амазонки и Ориноко, был с исчерпывающей полнотой представлен в чертах лиц, оттенках и многоязычных культурах моей родной деревни. И для агриколян всех видов, рас, цветов кожи и верований барабаны и ветер были архетипами и вечными символами жизни, тайны, надежды, свободы.

Путешествия от проселка в тайное сердце деревни много значили в жизни САРа, хотя временами он ощущал себя лесорубом, которому надо прорубиться сквозь чащу гигантских стволов дакама с помощью одного мачете. Ощущение полной беспомощности охватывало его, когда он останавливался перед глинобитными хижинами, в которых жили обширные семьи Он лишь догадывался, сколько народа населяет такую хижину, когда в темном входе видел настоящую лестницу глаз — младенческих, детских, юношеских и взрослых. Приближаясь ко входу, из которого на него смотрели

ярусы глаз, он почти ощущал на своем лице дыхание вестника смерти Мантопа — так часто тот посещал эти нечеловеческие жилища, войти в которые можно было, только встав на колени и локти. И когда он отходил прочь и переводил дух, знакомый стук барабанов слегка развеивал горе. Ведь он обучал наукам сыновей и дочерей этих несчастных. Расстояние между зловонными нечеловеческими жилищами и его школой по временам казалось ему столь огромным, что натаскивание местных детей по школьным программам, составленным в Англии, выглядело скорее непристойным, чем смехотворным. И все-таки он понимал, что он обязательный элемент всеобщей мозаики. Сердце подсказывало, что существенная часть его трудов отнюдь не напрасна. Хотя миссионеры и политиканы пытались представить колонизованные народы лишь плодом воображения колонизаторов, сущность лучших сторон английской культуры открывалась жителям окраин мира и приносила немалую пользу. И в конце концов, налицо были его семь детей, да еще семеро деревенских сирот, которых они с Луизой усыновили; все четырнадцать боролись с противоречиями и преодолевали ужасающие трудности из-за домашнего воспитания. САР был суров и нетерпелив и старался выжать из них все, на что они только способны; изысканно утонченная Луиза лаской и твердостью добивалась от них куда больших успехов.

Еженедельные походы как будто приоткрывали перед ним то, что было и должно было оставаться навеки сокрытым, и вовлеченность в тайны заставляла его почувствовать себя еще сильнее привязанным к этой земле, ибо он в глубине души всегда стремился вырваться на свободу и посетить те страны, о которых столько мечтал, слушая рассказы Бель. Как-то он сказал Луизе:

— В нашей деревне есть только две расы — живые и мертвые. Англичане правят, но настоящая власть у смерти.

Одним из тех, кого он неизменно встречал на пути, был некий господин по прозвищу Живой Мертвец, мужчина без возраста, с лицом покойника; одежда висела на нем как на огородном пугале. Когда после первой мировой войны мир охватила эпидемия испанки, в Агриколе вымерла треть населения, и похоронных дел мастера богатели быстро. Правительственный врач заявил, что Джон Томас (впоследствии Живой Мертвец) скончался, но по пути на кладбище он вышел из летаргического сна и стал стучать в крышку гроба и кричать, что он жив. Тем не менее возница, доставлявший Томаса и других умерших к месту вечного упокоения, услышав шум в гробу, заорал:

— Эй ты, потише! Врач сказал, что ты умер, а он в таких делах понимает побольше, чем мы с тобой!

Прохожие, услышав вопли о помощи, в конце концов вызволили Томаса. Агриколяне отнеслись с глубочайшим почтением к Живому Мертвецу, возвратившемуся из Леса Долгой Ночи, и просили его снова и снова рассказывать, каково быть умершим. Средняя продолжительность жизни сельчанина колебалась между тридцатью пятью и сорока годами, поэтому к смерти относились со средневековой непосредственностью. На поверхности жизни она проступала так же часто, как пот на коже.

В глубине души САР понимал и признавал, что Живой Мертвец — символ бессмертия Агриколы, черный леопард был эмблемой всего лучшего и благороднейшего, но человек, прошедший тропинку от жизни к смерти и возвратившийся, был символом, который агриколяне понимали безотчетно, на самом глубоком уровне подсознания. Для них смерть являла собой существеннейшее звено, соединяющее с прошлым, с духами предков, звено такое же близкое и живое, как вечные постуки барабанов. Каждый раз, когда САР проделывал путь между проселком и тайным сердцем деревни,

он заново переживал пустоту, простиравшуюся между двумя несоединимыми мирами. Погружаясь в эту пустоту еженедельно, он получал возможность взглянуть на микрокосм борющихся за выживание во всем мире миллионов. И посреди ужаса бедности, болезней и океана отчаяния, глубоко в черных пропастях он различал блики света. И понимал, что лишь на самом дне бездны можно увидеть вечный факел надежды.

Там, в сердце Агриколы, смерть служила способом выхода во времени за пределы грегорианского календаря. Для всего здешнего спектра рас и культур усопшие предки были важнейшей частью живой коллективной памяти, уходившей во вневременную бесконечность. В глазах агриколян прошлое парило выше хрустальных облаков и по всему огромному синему небу, оно было бескрайним. Настоящее воспринималось как нечто предельно конкретное, которое нетрудно видеть и осязать; будущее при этом выглядело не слишком длительным. Какое-то реальное значение придавалось лишь непосредственному будущему, тому будущему, в котором, если только вдруг не заглянет вестник смерти, человек пробуждается каждое утро. Будущее воспринималось как умственное построение или смутное ожидание. Будущее казалось чередованием пустот, которые одну за другой предстоит преодолевать.

Поэтому в Агриколе существовали два различных понятия времени — время возле проселка и время глубинных теней в сердце деревни. Придорожное время выражали машины, бешено мчащиеся из города или в город. Эти машины были приемными дочерьми проселка. Они гудели, взвизгивали, скрежетали, играли на нервах, калечили и убивали. Каждый дом вдоль дороги принес в жертву безумным машинам ребенка или даже взрослого, обитателя или гостя. Машины и их водители были прикованы к демонам будущего, они вечно куда-то неслись, «чтобы поспеть вовремя». В тайном сердце Агриколы, наоборот, время без усилий качалось между временами суток, между днем и ночью, между первыми звездами и поздней луной, которая долго держалась в небе после того, как лучи солнца перехлестывали через лесные вершины. И еще у глубинных агриколян были вневременные периоды, когда зарождалось новое время. Прикованные к демонам будущего ворчали: дескать, сельчане «ленивые», «набитые предрассудками», но люди глубинки лишь улыбались и, как всегда, отдавали все свои силы на выживание.

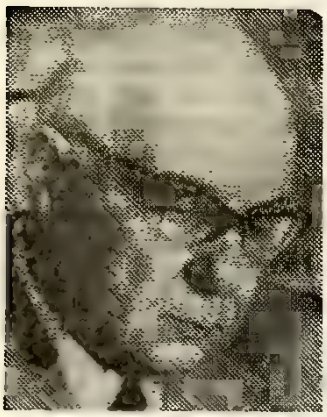
Живого Мертвеца уважали за то, что он прошел от одного времени до другого, не от проселочной дороги до тайного сердца, но от жизни до смерти и назад.

Воспитав несколько поколений агрикольских детей, САР кончил дни свои инвалидом, стонущим, как раненый черный леопард. Его втроем поднимали и усаживали в большое резное кресло с инкрустацией из крупных кусков красной яшмы, поблескивавших, как налитые злобой глаза. Так он сидел изо дня в день, читал и писал, а когда требовалась помощь, зычно звал слуг. Я побаивался этого огромного старого инвалида, который всегда требовал, чтобы я держался прямо.

— Не забывай: ты прямой потомок африканских и карибских царей и цариц!

Бель пережила его на двадцать лет. Она сидела во главе обширного семейного стола, за которым с удобством могло разместиться человек сорок, и проверяла мои домашние задания, как она делала с шестью подрастающими поколениями до меня. Глядя мимо моих тетрадей она, должно быть, видела на пустых стульях призраки десятков родных и приемных детей, которых она вывела в люди. Во время нашего последнего длинного и серьезного разго-

Литературное наследие



ЙОРГОС СЕФЕРИС

Перевод с новогреческого ЛЮБОВИ ЯКУШЕВОЙ

Нет необходимости представлять читателям «Иностранной литературы» нобелевского лауреата Йоргоса Сефериса (1900—1971), одного из крупнейших греческих поэтов современности. Хотя его произведения еще не изданы у нас отдельной книгой, тем не менее лучшие из них — «хрестоматийные» стихи и поэмы — публиковались в периодике, в том числе и в «Иностранной литературе», включались в альманахи, сборники и антологии греческой поэзии.

Судьба поэта несколько необычна, во всяком случае не традиционна для писателя. Многие годы почитатели яркого, самобытного таланта поэта Сефериса не подозревали, что их кумир и известный греческий дипломат Йоргос Сефериадис — одно и то же лицо. Получив юридическое образование в Афинском университете, а затем во Франции и Англии, Й. Сефериадис занимал посты консула и посла Греции в ряде стран и с 1926 по 1962 год жил за рубежом. Лишь уйдя на пенсию, он покинул Лондон, где был послом, и вернулся на родину.

«Как и всякая профессия, дипломатия имеет свои преимущества и недостатки для поэта,— говорил Й. Сефериадис.— Главное преимущество, по-моему, в том, что дипломат может многое увидеть в мире. Главный же недостаток — что в наше время дипломату приходится много работать и поэтому остается мало досуга для писательской деятельности. В те давние времена, когда Шатобриан был послом в Лондоне, все обстояло иначе. Он считал, что профессия дипломата нисколько не вредила его литературному делу. Меня же, напротив, очень беспокоил успех в моей служебной карьере: чем выше я поднимался, тем меньше времени у меня оставалось».

В литературе Сефериc дебютировал в 1931 году сборником стихотворений «Поворот», в котором нашли отражение поиски молодой греческой поэзии того времени, стремившейся к обновлению композиционной структуры, лексической палитры и ритмической организации стиха. Начиная с поэтической книги «Роман-миф» (1935), поэт обращается к верлибру, который становится для поэта основной формой поэтического мышления.

Усложненная поэтика Сефериса сродни поэтической культуре Элиота или Валери. Глубина и острота восприятия, тонкость поэтического чувства в стихах и поэмах греческого поэта гармонично сочетаются с концентрацией мысли, с многоплановостью образа, причудливостью ассоциативного ряда.

Наша подборка открывается тремя стихотворениями из сборника «Роман-миф». В первом из них нашла отражение остро переживаемая и поныне в Греции проблема отношения греков к античному наследию, которое накладывает заметный, неоднозначный (порой болезненный) отпечаток на облик и повседневную жизнь этой древней страны. Мраморная голова, которая «силится что-то сказать» поэту,— это символ античности в современной жизни Греции: былая слава не должна сковывать воображение, препятствовать развитию нового в национальной культуре, вместе с тем это новое невозможно без опоры на традицию

«Чем больше я чувствую себя греком, тем лучше я могу понять других»,— говорил Й Сефериc. Его поэзия охватывает широкие географические горизонты: Египет, Южная Африка, Ближний Восток, Кипр, Албания, Англия... Но о чем бы ни писал по-

вора, незадолго до ее смерти, она перескакивала с темы на тему, словно спешила сообщить мне все недосказанное:

— Хорошенько задумайся над своими учебниками географии. На картинках в так называемых текстах черные, коричневые и желтые всегда полуголые и согнутые в три погибели, а белые хозяева стоят прямо или восседают на лошадях. Мой дед любил говорить, что на свете есть две высшие расы — те, которые уже умерли, и те, которые еще не родились... Есть люди добрые и злые, одаренные и обыкновенные, глупые и умные — что же касается высшей расы или избранного народа, их не существует. Если народ избранный значит, он сам объявил себя избранным, а на это способна любая толпа дураков... Англичане, которых к нам сюда присылают,— самая невысшая раса, какая тебе может встретиться на земле. Скажи: король выше тебя? Конечно, если ты сам так считаешь. Верно, что кровь гуще рома и что наша семья необыкновенная. Но нам повезло, и во всех поколениях у нас были некоторые преимущества. Если нас забросить назад, в глинобитные лачуги, нам понадобилось бы четыре-пять поколений, чтобы выползти из них и выбиться в люди. Из-за того, что нам везло и у нас были преимущества, мы обязаны вернуть долг тем, кому не везло, а если мы не отдадим этот долг, на голову нам падет самое грозное возмездие — не забывай! Нам стараются внушить, что Бог — белый, поэтому я перестала ходить в церковь лет сто назад: иметь белого мужа, да еще поклоняться белому Богу — это уж чересчур. Черный Бог и белый муж, по крайней мере, уравновешивали бы друг друга.

Когда Бель была на смертном одре и священник ее уговаривал отречься от сатаны, пока она еще в силах, она ответила буквально словами Вольтера, что время самое неподходящее для того, чтобы заводить новых могущественных врагов.

Я приоткрыл дверь в фасаде, так чтобы вы могли взглянуть на одну деревню третьего мира. Мои рассказы о Риме-Агриколе могут показаться вам необыкновенными и единственными в своем роде. Но в нашем третьем мире есть еще десять миллионов деревень, десять миллионов человеческих миров с десятью миллионами историй, которые ждут, чтобы их рассказали.

■

эт, его взоры неизменно обращены к родной земле и ее людям. Свою личную судьбу Сеферис отождествляет то с бесконечными странствиями Одиссея, то с полным опасностей и приключений походом аргонавтов за золотым руном. Не случайно три его поэтических сборника названы «Судовыми журналами» (1940, 1944, 1955). В них занесены наблюдения и размышления поэта-скитальца, путешествующего не только в пространстве, но и в историческом времени. «Куда бы ни был я ведом судьбой, наносит мне раны Эллада»,— замечает Сеферис в одном из стихотворений. Даже в любовной и пейзажной лирике, предаваясь воспоминаниям о детстве и юности, любуясь неповторимой красотой Эгейского моря и его бесчисленных островов, поэт настроен скорее на минорный, ностальгический лад (см. стих. «Остров Идра»). Нет-нет и прорвется щемящая боль человека, вдали от родной земли размышляющего над трагическими поворотами ее многовековой истории («Море такое горькое порой для души...»).

В годы второй мировой войны Й. Сеферис — на дипломатической службе в Африке и на Ближнем Востоке. В его поэзию вторгается многоликая армия беженцев из порабощенных фашистами европейских стран с их отчаянием и растерянностью. В ряде стихов поэт создает символический образ залитой кровью Европы, мужественно сражающейся с фашистскими варварами. И если раньше социальное содержание стихов и поэм представало в хитросплетении мифолого-исторических ассоциаций, то теперь Сеферис все больше занимает конкретика реальной действительности, опаленный войной человек с его страданиями и тревогами. В этом нас убеждают стихотворение «Рассказ» из сборника «Судовой журнал—I», стихи «Дни апреля 1943 г.» и «Актеры» из сборника «Судовой журнал—II». Поэт борется за человеческое в человеке, безоговорочно осуждает тех, кто в час всеобщей беды остается равнодушным.

Усложненная, богатая оттенками смысла и ассоциациями поэзия Сеферис требует определенных духовных усилий, предполагает достаточно эрудированного читателя. Но в какие бы далекие сферы ни уводила читателя капризная цепочка ассоциаций, окончательный смысл этой поэзии, ее основное содержание глубоко гуманистичны. К народу, а не к элитарной публике обращены стихи и поэмы греческого поэта. Разве не об этом свидетельствует широкая популярность в Греции многих песен и крупных музыкальных произведений М. Теодоракиса, созданных на стихи Сеферис?

Включенные в подборку переводы стихов Сеферис взяты нами из архива молодой поэтессы-переводчицы Любови Якушевой (1947—1984), очень рано ушедшей из жизни. Получив филологическое и искусствоведческое образование в МГУ, Л. Якушева около десяти лет увлеченно изучала творчество греческого поэта. Итогом этого углубленного постижения поэтического мира Сеферис стали многочисленные переводы, а также литературоведческое исследование творчества поэта — кандидатская диссертация «Художественный язык Й. Сеферис», которая, к сожалению, так и осталась незащищенной.

Поэзия Й. Сеферис, оказавшая заметное влияние на художественный поиск нескольких поколений греческих литераторов и в известной степени определившая облик современной греческой поэзии, безусловно заслуживает внимания советских исследователей, переводчиков и издателей.

ВИКТОР СОКОЛЮК

■ ■ ■

Я проснулся с этой мраморной головою в руках;
она отняла мои силы и я не знаю
куда ее прислонить.
Она упала в мое сновиденье когда я уже просыпался:
так наши жизни слились и невозможно
разъединиться.

Смотрю на глаза: не открыты и не закрыты
говорю со ртом который все силится что-то сказать
трогаю щеки не чувствуя кожи.
Нет больше сил.

Мои руки вдруг исчезают и вырастают снова
будто обрубки.

Остров Идра

Дельфины флаги пушка на берегу.
Море такое горькое порой для души
поднимало белокрылые цветные корабли
с волны на волну их швыряло
темное с белыми крыльями
такое горькое порой для души
сегодня цветное под солнцем.

Свет и белые паруса и мокрые весла
бьющие в ритме тимпана по укрощенной волне.

Как были б красивы твои глаза видя все это
как засверкали бы руки твои раскрываясь
как трепетны были бы губы встречая чудо
которого ты искала.
Что ты искала
в дожде в темноте на ветру
в час когда меркли огни
и город тонул и с каменных плит
тебе сердце показывал Назорей —
что ты искала? Почему тебя нет? Что ты искала?

▪ ▪ ▪

Порой твоя кровь холодеет словно луна,
кровь твоя ночью бездонной
белые крылья свои простирает
над черными скалами и деревами над бедным жилищем
со слабым светом далекого детства в окне.

Рассказ

Тот человек всегда шагает плача
никто не знает отчего
быть может это ускользнувшая любовь
как та что мучила и нас
на летнем побережье с граммофоном.

Другие люди озабочены работой
бумагами растущими детьми и женами
стареющими трудно
а у него глаза как будто маки
разорванные лоскутки весны
и два соленых родника в их уголках.

Без отдыха он ходит по дорогам
шагая по спине земли деленной на квадраты
машина бесконечной боли
дошедшей до того что потеряла смысл.

Кто-то слышал
как он бормотал
о треснувших зеркалах далекого прошлого
которые невозможно склеить.
Кто-то слышал как он рассказывал сны —
видения ужаса
нестерпимые лица любви.

Мы привыкли что он шагает молча и гордо
только ведь он непрерывно плачет
словно ива на речном берегу которую видишь
просыпаясь внезапно и тяжко на темной заре.

Мы привыкли не обращать на него вниманья
как на предмет примелькавшийся взгляду.
Я говорю вам о нем потому что
ничего не могу отыскать
к чему бы вы не привыкли;
Преклоняюсь.

Дни апреля 1943 г.

Рельсы трамваи грохот зубовный скрежет
хлороформом действуют на сознанье —
как будто вслух считаешь
крепишься — и падаешь в наркоз
и милосердие хирурга.

Он по улицам осторожно шагает боясь поскользнуться
на дынной кожуре которую кидают невозмутимые арабы
и политические беженцы
и ждут: наступит или не наступит —
как бы гадая по ромашке.
Он движется
раскачивая связку никчемных многочисленных ключей
и вспоминает скудную голубизну
поблекшие рекламы пароходства
любимые лица за рамами окон
и немного чистой воды у подножья платана.

Так он идет на работу в то время
как сотни прожорливых псов вцепившись в икры
ткань обрывают клоками.
Так он идет спотыкаясь и на него показывают пальцем.
А мощный ветер крутит
сор и навоз зловонье и злословье.

Актеры

Строим подмостки, стелим настилы,
где б нетерпение нас ни носило,
строим подмостки, ищем пути,
но от судьбы никуда не уйти.

Нас настигая, губит актеров,
антрепренеров и режиссеров,
все превращает в сумрак и прах
на беспощадных пяти ветрах.

Тело, холстина, грим, украшенья,
рифмы, волненья, вуаль, ухищрения,
возгласы, маски, закат и рассвет,
вопли и стоны, вопрос и ответ—
в этом придуманном мире живем
(кто мы такие? куда мы идем?),
прямо по коже протянуты нервы,
словно полоски онагра иль зебры,

обнажены и засохли от зноя
(где нас родили? где нас зароют?),
как непрерывно трепещут они,
будто бы струны на лире. Взгляни
вот наше сердце! Как губка
морская
по площадям и дорогам таскаясь,
поры питает, от жажды горя,
кровью разбойника, желчью царя.

◆

ЯКУШЕВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА (1947—1984).

Советский поэт-переводчик, филолог. В ее переводах публиковались стихи Й. Сефериса, К. Варналиса, Я. Рицоса и других греческих, а также немецких и английских поэтов. Автор научных статей «Некоторые ритмические и интонационные особенности верлибра Й. Сефериса» и «Семантика и типология поэтических текстов Й. Сефериса».

Литературные иллюстрации

КЛОД ЖОНЬЕР

Чары одного вечера

Перевод с французского Е. ШИШМАРЕВОЙ

Чары одного жанра

Сегодня во Франции о любви пишет подавляющее большинство авторов — женщины и мужчины, молодые и пожилые, реалисты и модернисты, сторонники традиционного письма и новаторы, создатели серьезных произведений и представители так называемой массовой литературы. И это не случайно. В современном французском технократическом и рационалистически-функциональном обществе, в значительной степени уже американизированном, ощущается острый дефицит чувств. Как никогда прежде, люди испытывают все нарастающее желание обрести своего рода «оазис» в социальной пустыне, спасти живое человеческое начало в обесчеловеченной среде.

Литература по-разному откликается на эту читательскую потребность. Одни писатели показывают трагедию индивидуума, болезненно ощутившего распад личностных связей. Другие, напротив, стремятся отыскать примеры проявления ярких и сильных чувств, видя в этом способ отстаивания оказавшихся под угрозой человеческих ценностей. Тема любви предстает в сегодняшней французской литературе как своеобразная проверка степени человечности общества, как выявление коэффициента его гуманистичности. Ее раскрытие в литературе обретает тем самым глубокий социальный смысл, становится как бы плацдармом битвы за человека, средством защиты душевного и нравственного богатства личности. Наиболее подходящим оружием в этой борьбе является, разумеется, психологический роман.

Вполне закономерно, что в атмосфере резко возросшего спроса на книги о любви приобрел огромную популярность, можно сказать — второе дыхание, старинный жанр так называемого «сентиментального романа», который сейчас имеет миллионы читателей, главным образом женщин (они покупают и читают 50% всей книжной продукции во Франции). Он восходит к тому времени, когда сентиментализм и романтизм, для которых были характерны культ чувства и чувствительности, начали отступать на задний план, уступая место иным настроениям и пристрастиям. Но романтизм и сентиментализм не исчезли полностью, а как бы спустились на ступень ниже, ушли «в народ», то есть в ту разновидность литературного творчества, которая адресована не столько культурной, образованной публике, сколько самым широким массам зрителей и читателей. Так, романтическая драма трансформируется в мелодраму, собирая толпы восторженных парижан в театрах бульвара Тампль. А сентименталистская и романтическая проза перерождается в очень читаемый во Франции жанр «сентиментального романа». В нем сохраняются уходящие из большой литературы приподнятый слог, повышенная эмоциональность, противоборство «черных» злодеев и светлых, благородных героев, бурные проявления страстей, высокие душевные порывы. Главная, можно сказать единственная, тема этих книг — любовь, но не грубая и чувственная, а возвышенная, чистая, идеальная, к которой стремится героиня романа, преодолевая стоящие на ее пути препятствия и выпавшие на ее долю испытания. Этот жанр предполагает обязательную счастливую концовку в отличие от тех романтических про-

---

КЛОД ЖОНЬЕР — GLAUDE JAUNIÈRE

Роман «Чары одного вечера» публикуется в журнальном варианте («Vertige d'un soir». Paris, Librairie jules Tallandier, 1972).

изведений, из которых он вышел. Женщины — основные потребительницы «сентиментального романа» — находят в нем то, чего им так недостает в реальной жизни: романтику чувств, большую, красивую любовь, а главное, неизбежное торжество добра и благородства над злом и подлостью.

Когда эта литература только начала наводнять Францию (то есть примерно в 50-е годы XIX века), еще существовал соблазн попытаться воплотить в жизнь ее идеалы. За это жестоко поплатилась героиня романа Гюстава Флобера Эмма Бовари — увлеченная читательница «сентиментального романа». Но писатель не столько критикует ее выбор чтения, сколько стремится разоблачить бескрылость, приземленность и безысходность серого буржуазного существования, лишенного каких бы то ни было высоких побуждений, даже таких иллюзорно-романтических и наивных, какие мадам Бовари почерпнула из своих любимых романов.

В XX веке уже никто не разделяет рокового заблуждения флоберовской героини, ибо по мере развития капитализма французское общество все заметнее освобождается от морали и нравственности, расчищая путь циничному меркантилизму и безжалостному деловому напору буржуазии. Становится все очевиднее полная несовместимость реальной действительности с миром «сентиментального романа». Этот жанр постепенно совсем отходит от «большой дороги» развития литературы, костенеет в своих структурах и, сохранив прежнее содержание, застывает в тех повествовательных формах, которые сложились в прошлом столетии. Но при этом круг его читателей постоянно расширяется (особенно в связи с всеобщей грамотностью), потому что он теперь сделался своего рода красивой сказкой для взрослых, которая отвлекает от тягостей повседневной реальности, переносит в мир грез и мечтаний. Словом, отвечает глубинным потребностям в добрых чувствах и благородных стремлениях, которые не могут быть удовлетворены в окружающей читателей действительности. Спрос на «сентиментальный роман» привлек к нему немало ловких дельцов, ремесленников, халтурщиков, которые как по трафарету стали изготовлять в большом количестве дешевые поделки.

Однако есть в этой автономной, условно выражаясь, литературной области и свои серьезные авторы, так сказать, «классики» жанра, которые искренне стремятся использовать его для того, чтобы пробуждать благородные устремления, противопоставляя их низменным, корыстным побуждениям, преобладающим в обществе. «Сентиментальный роман» представляет собой не однородное явление, а имеет много разновидностей и разные литературные уровни, и нижние и верхние «этажи». Немало элементов его стилистики, присущих ему приемов и способов изображения входят в сегодняшний психологический роман и не ослабляют, а, напротив, увеличивают силу его художественного воздействия.

Долгие годы «сентиментальный роман» оставался вне внимания литературоведов и критиков, жил своей, не связанной с основным литературным процессом жизнью. Но нельзя по-настоящему понять и верно оценить литературную и социально-психологическую атмосферу Франции наших дней, не получив должного представления об этом жанре, который занял столь заметное и влиятельное место в духовной жизни общества. Редакция «Иностранной литературы» поэтому сочла возможным познакомить советских читателей с характерным образцом этого жанра — романом «Чары одного вечера» Клод Жоньер, написавшей уже около 100 романов этого типа.

Клод Жоньер известна не только своей литературной, но и своей активной общественной деятельностью. Несмотря на преклонный возраст, она участвует в работе ряда писательских организаций и делает немало для развития дружественных связей между писателями разных стран, в частности между французскими и советскими писателями. В 70-е годы она посетила нашу страну, побывала в Москве, Ленинграде, Сибири и Средней Азии. Она стала членом общества «Франция — СССР» и по сей день принимает деятельное участие в его работе. Свое уважение к Советскому Союзу писательница выразила, в частности, в романе «Роза Ташкента» (1977), в котором она познакомила читателей с некоторыми эпизодами истории нашей страны, с памятниками культуры и архитектуры, с богатой и разнообразной природой тех районов СССР, где она побывала. Благожелательное изображение нашей страны резко отличается от той неприглядной картины, которая складывается из десятков и десятков антисоветских книжонок, наводняющих сегодня книжный рынок Франции. Впечатления о Советском Союзе, которыми проникнут роман, имеют тем больше шансов дойти до самых широких масс, что писательница искусно вмонтировала путевые заметки в сюжет популярного «сентиментального романа».

В «Чарах одного вечера» тоже причудливо соединяются конкретные и точные описания примет сегодняшней французской действительности с приемами романтической прозы XIX века. Сюжет строится по устоявшимся канонам «сентиментального романа»: искренняя, чистая девушка подпадает под «чары» «злодея» и, пережив драматические, страшные последствия своей роковой ошибки, обретает счастье с благородным героем. Клод Жоньер пытается не просто воссоздать переживания своей героини, а ставит перед ней — а значит, и перед читателем — нравственную задачу. Героиня должна найти для себя правильную жизненную позицию: поселиться в столице, вести светскую и праздную жизнь, быть женой блестящего, красивого, богатого, но морально нечистоплотного, жестокого человека или же остаться в деревне, разводить племенных лошадей вместе со скромным, неприметным, но трудолюбивым, честным и любящим ее мужем. Речь идет о противопоставлении простоты, естественности внешнему блеску, престижности и рационалистическому расчету. Этот конфликт в том или ином виде фактически присущ значительной части французской литерату-

ры, в том числе реалистической. В «Чарах одного вечера» явственно ощущается и модный «экологический» привкус: нравственную чистоту и подлинные ценности Клод Жоньер связывает с жизнью и трудом на лоне природы, с любовью к животным, а безнравственность, бесчеловечность и цинизм — с соблазнами, суетой и роскошью большого города.

Роман Клод Жоньер, таким образом, по содержанию и тематике вписывается в основные направления современной французской литературы. Но при всей социально-конкретной достоверности материальных примет времени его образная система, манера изложения, язык таковы, что кажется, будто он написан сто лет тому назад.

Обращаясь к стилю «ретро», писательница стремится особым образом выделить идею своей книги. Если уж героиня, то чистая, без единого пятнышка, идеальная, прекрасная во всех своих поступках — и в радости и в страданиях. Если уж «злодей», то коварный, насквозь фальшивый и «черный», без малейшей полутени. Его соперник — благородный герой, предстающий по всем параметрам как живое воплощение добродетели. Естественно, что и события, происходящие с такого рода персонажами, носят не драматический, а м е л о д р а м а т и ч е с к и й характер. Когда же трудности преодолены, то и развязка не просто счастливая, а безоблачно счастливая. Такая подчеркнутая контрастность и резкая очерченность образов романа сказываются в его языке и стиле: никаких полутонов, оттенков, никакой недосказанности, никакой неопределенности. Все отчетливо сформулировано культурным книжным языком, без малейшего отклонения от норм, без каких бы то ни было вульгарных жаргонных слов и оборотов. Такая непривычная для сегодняшней западной литературы чистота речи кажется архаизмом, но и придает повествованию возвышенную тональность.

Клод Жоньер принадлежит, по сути дела, к «последним могиканам» классического «сентиментального романа». Огромная популярность жанра, так резко возросшая в наши дни, привела к его полной коммерциализации. Налажено поточное, массовое производство. Такова, например, продукция издательства «Арлекин», выпускающего каждый месяц тридцать четыре книги со средним тиражом в 110 000 экземпляров. В 1982 году вышло 30 миллионов книг этого издательства. Эти удешевленные варианты сентиментальной прозы переводятся на полтора десятка языков и выходят в полусотне стран, в том числе в США, где продукция «Арлекина» составляет половину всех книг этого типа. Кроме того, «сентиментальный роман» публикуется в массовых иллюстрированных изданиях.

Вся эта огромная, наводнившая книжный рынок продукция «нижнего этажа» жанра качественно отличается от книг типа романа Клод Жоньер, ибо здесь вместо простоты и скромности прославляются роскошь и успех в обществе — речь вроде тоже идет о любви и по той же схеме, но с противоположными целями. Рожденный и развивающийся как реакция на бесчувственность и жестокость буржуазного прогресса, «сентиментальный роман» в своих нынешних коммерческих проявлениях как бы интегрировался в тот самый мир, который он прежде не принимал, стал частью его охранительной идеологической системы.

Ю. УВАРОВ

I

Шум понемногу стихал. Сначала со двора вихрем вылетела машина ветеринара. Я так хорошо знаю его манеру срываться с места, что не могла ошибиться. Затем я услышала глухие шаги конюхов, ходивших взад-вперед по мощеному двору в резиновых сапогах; потом захлопали двери запираемых денников. И наконец яркий свет, проникавший в мою комнату стал меркнуть и погас, хотя дом и стоял довольно далеко от конюшен

Я прислушивалась и ждала. С той самой минуты, как Джерри влетел в гостиную и объявил «Началось!» я была полна ожидания, тревоги, даже гнева, ибо отец, а еще решительнее мама, невзирая на мои протесты, тотчас отправили меня в мою комнату.

— Мы прекрасно обойдемся без тебя!

Однако перед уходом я все же услышала, как Джерри пробормотал:

— Лучше было бы позвать Доршана

Доршан — наш ветеринар, значит, все обстоит не так уж гладко как со свойственным ему оптимизмом надеялся папа.

Теперь я лежу в кровати, прислушиваюсь к бою больших стенных часов в коридоре и тщетно пытаюсь уловить отзвуки того что там у них происходит. Увы, я ничего не слышу и только теряюсь в догадках. Разочарование и тревога не дают мне уснуть, но мало-помалу я впадаю в забытье.

■

— Эй, барышня!

Тихий, приглушенный зов вмиг пробуждает меня... быть может потому, что я его ждала.

Я вскакиваю с постели и босиком подбегаю к окну. Джерри стоит внизу в холодном лунном свете, заливающем весь двор Я вижу его поднятое ко мне лицо и всклокоченную рыжую шевелюру.

Дрожа от холода, я высовываюсь из окна в студеную мартовскую ночь и нетерпеливо кричу:

— Ну как там?

— *Она* родилась.

— Она? — мой голос звучит громче, чем я бы хотела, и мы на секунду замираем — не разбудила ли я кого-нибудь в доме? Но все по-прежнему тихо, и я шепчу недоверчиво:

— Это и в правду *она*?..

— Да, барышня, прехорошенькая алезаночка, с белой звездой на лбу Вы просили меня сообщить вам, и я вопреки запрету господина Гобсона...

— Спасибо, Джерри. Я сейчас спущусь. Так хочется ее видеть!

— Боюсь, ваш отец будет недоволен. Он хотел сделать вам сюрприз.

— Да вы не беспокойтесь! Подождите меня... Я иду.

Я закрыла окно и быстро натянула на себя толстый свитер и брюки для верховой езды. Сапоги я взяла в руки, чтобы не шуметь на лестнице. Я осторожно спустилась, перешагивая через скрипучие ступеньки, тихонько открыла замок и вышла во двор. Джерри, дожидаясь меня, изрядно продрог на ледяном ветру. Не промолвив ни слова, мы направились к конюшням. Дом остался позади, мы могли говорить без опаски.

— Все прошло благополучно?

— Да, только немного затянулось. Белла вела себя молодцом, но ей пришлось нелегко. Мы с вашим отцом помогали ей как могли, однако все же решили позвать Доршана.

Я пробормотала раздраженно:

— Почему папа не позволил мне побыть с вами возле нее?

— Там вам не место.

Как мне хотелось сказать Джерри, что я давно знаю лошадей и что теперь, в восемнадцать лет, пора бы разрешать мне присутствовать при рождении жеребенка; кроме того, мне обещали: если родится кобылка, она будет моя. Но я сдержалась и промолчала, не хотела поддаваться дурному настроению. Мы вошли в стойло: Белла еще тяжело дышала, бока ее так и ходили. Она повернула ко мне изящную головку, словно указывая на своего детеныша, еще нетвердо стоящего на неуклюжих, дрожащих ножках.

Через мои руки прошло много жеребят, но, несмотря на старания Джерри доказать, что малышка прелестна, она мне совсем не понравилась. Белая звездочка на лбу казалась ее единственным украшением. Но я никак не могла себе представить, что из этого нескладного существа получится отличная скаковая лошадь, о которой я мечтала. Белла положила голову на мое плечо, я молча гладила ее шею, а Джерри продолжал расхваливать жеребенка:

— Это будет великолепная лошадь. Посмотрите на ее ноги. Нервная, может даже немного пугливая. У вас она будет в хороших руках.

Поняв, что его старания бесполезны, Джерри замолчал и принялся поглаживать прижавшуюся к матери малышку.

Я была очень разочарована, мне даже захотелось плакать. Так долго я дожидалась этого события — и вдруг почувствовала, что мои надежды рухнули. Завтра надо вести себя поосторожней, чтобы не выдать своих чувств, когда папа будет торжественно делать мне подарок. Я обернулась к Джерри. На его худом лице играла дружеская улыбка, но в его голосе я услышала насмешку. Он сказал:

— Она вам не нравится?

Я покачала головой:

— Нисколько!

Он решил, что бесполезно дальше защищать жеребенка, и произнес с некоторой иронией:

— Тогда мне жаль, что я вас разбудил.

Мне не хотелось с ним спорить: он бы меня не понял, ведь я возлагала так много надежд на эту новорожденную лошадку!

Он отошел, чтобы дать кое-какие распоряжения конюху, который должен был дежурить всю ночь.

Я медленно направилась к выходу. На пороге меня охватил резкий ночной холод, и я вернулась в тепло. Джерри подошел ко мне, и под ярким светом электрической лампочки я снова увидела его дружеское и чуть насмешливое лицо.

— Да ладно, барышня, не расстраивайтесь. Не пройдет и месяца, как вы согласитесь со мной.

— Вы так думаете? — пробормотала я недовольно.— А что говорит папа?

— Таковы его слова.

Я немного успокоилась, улыбка Джерри подбодрила меня. Да, мы с ним друзья. Однако он никогда ни словом не намекнул, что питает ко мне особую симпатию. Он поступил к нам четыре года назад. Приехал из Ирландии. По матери он наполовину француз. Его отец — коннозаводчик, как и мы. Джерри любит лошадей, он очень скоро стал папе незаменимым помощником.

Отец страдает от старой раны, его правая нога немеет, ему все труднее передвигаться и водить машину.

Сначала я встретила нового человека в нашем доме с недоверием, так как думала, что могу помогать отцу сама. Я никогда не увлекалась учением и уже в четырнадцать лет решила, что с меня наук хватит. Однако мама была иного мнения и продержала меня в пансионе до восемнадцати лет. Теперь я свободна, и отец разрешает мне работать с ним; объезжаю наших лошадей и занимаюсь их выездкой до продажи.

С осени, когда я вернулась домой, мы делим с Джерри эту ответственную задачу. Я прекрасно отношусь к Джерри, хотя в его светлых серо-зеленых глазах порой мелькает непонятное выражение, которое меня немного смущает.

Итак, он живет у нас четыре года. Для меня он стал чем-то вроде брата или кузена, но он ни разу не позволил себе никакой фамильярности и называет меня всегда «барышня»; должна признаться, что решительно ничего о нем не знаю, кроме того, что он любит лошадей и предан моему отцу.

Не понимаю, почему все эти мысли вдруг пришли мне в голову. Как будто не к месту и не ко времени. Я никогда не задумывалась о его делах, а тут неожиданно для себя спросила:

— Вы никогда не навещаете родителей, Джерри?

Его улыбающееся лицо вдруг застыло. Ничего не ответив, он повернулся к лошади, словно был ей еще нужен.

Я не настаивала и, выходя из конюшни, крикнула:

— Доброй ночи, Джерри!

— Доброй ночи, барышня!

На дворе похолодало. Я помчалась домой. Там все было спокойно. Никто не заметил моего отсутствия. Я поднялась по лестнице, тихонько ступая в шерстяных носках, и, вся продрогшая, нырнула в еще теплую постель. Мрачные мысли кружились у меня в голове, я долго не могла уснуть.

II

Мама разбудила меня, принеся завтрак.

— Вставай, лентяйка! — сказала она, смеясь.

Говорила она спокойно и, по-видимому, не собиралась меня торопить: уселась у изножия кровати и молчала, пока я с аппетитом уплетала завтрак.

Мама у меня — сплошное очарование, но вкусы у нас совершенно разные. Ее часто возмущает отсутствие у меня кокетства. И в то же время она мечтает, чтобы я стала девушкой положительной, степенной и под ее руководством превратилась в образцовую хозяйку дома. Она уже видит меня замужем, окруженной прелестными детьми. Мои повадки, моя мужская работа на конюшне приводят ее в отчаяние. Я не знаю, с какого конца берутся за иголку, романы меня усыпляют, из книг меня интересуют только те, где пишут о лошадях и собаках. Я хотела бы стать ветеринаром или, сознавая, что способности у меня далеко не блестящие, поступить в сельскохозяйственное училище. Но мама решительно воспротивилась. Ни отец, ни я не захотели ей перечить. Однако по складу характера мне гораздо больше подходит быть жокеем, конюхом или фермером, чем светской женщиной.

Мама — женщина красивая, изысканная. Но ни папа, к которому она относится с любовью и восхищением, ни я с молчаливым Джерри не разделяем ее любви к светскому обществу. Она перестала приглашать меня, когда принимала гостей. Я так неловка во время чаепитий, чувствую себя в гостиной так неуютно, становлюсь такой мрачной и молчаливой, что маме, некоторое время заставлявшей меня занимать ее гостей, пришлось отказаться от этой затеи. Отсутствие у меня женственности приводит ее в отчаяние. Зато, когда папа приглашает коннозаводчиков, объездчиков и жокеев и устраивает деловые завтраки, я всегда на них присутствую и участвую в переговорах. Несмотря на мою молодость, гости часто спрашивают мое мнение и к моим словам прислушиваются, потому что я знаю достоинства и недостатки наших питомцев.

Сегодня утром мама как будто хотела задержаться у меня, и на ее нежном лице появилось лукавое выражение, которое меня заинтересовало.

Лучи мартовского солнца, вливаясь в окно, ласково касались маминого платья орехового цвета — того же оттенка, что и ее глаза.

Я допила шоколад и, поставив чашку на поднос, тихонько спросила:

— Ты хочешь мне что-то сказать, мамочка?

Я думала о дочке Беллы. Мне было трудно скрывать мою ночную вылазку, но молчание не казалось мне настоящей ложью. Мама улыбнулась и воскликнула:

— Подумайте, какой тонкий психолог! Да, у меня есть важная новость. Утром я получила письмо от Режи. Он сообщает, что ему удалось развязаться с делами и он проведет с нами пасхальные каникулы. Сегодня вечером он будет у нас.

— Веселенькое известие!

В моем восклицании прозвучала скорее досада, чем радость, и удивленная мама недовольно нахмурила брови:

— Что это значит? Разве после такой долгой разлуки тебе не приятно снова увидеть Режи?

— Разумеется, нет!

— Как? Ведь он же твой друг детства! Мой крестник, сын моей лучшей подруги, а со смерти бедной Берты — почти мой сын!

— Уж скорее дочь! — пробормотала я.

Я не видела Режи лет пять. Так уж получилось, меня не оказывалось дома всякий раз, когда он у нас гостил. Хотя мы с Режи и были — правда весьма недолго — друзьями детства, ни малейшей привязанности друг к другу мы не питали. Мы скрывали свою вражду от родных, но, оставаясь наедине, давали волю своим чувствам, так что дело иной раз доходило до потасовки. Говоря точнее, это я, несмотря на свои десять лет, лупила этого длинного и застенчивого увальня, чувствовавшего себя гораздо спокойнее в гостиной, в обществе дам, чем со мной на конюшне или на скаковой дорожке, где надо прыгать через препятствия.

Он был старше меня лет на шесть, однако я постоянно помыкала им и испытывала злорадное удовольствие, когда по моей вине ему случалось испачкать или порвать красивый костюм, в котором он любил щеголять. Он боялся и лошадей, и собак, а уж если крысу увидит — просто визжит от страха. К тому же он был примерным учеником, а для меня четвертные отметки были сущим бедствием. Его постоянно ставили мне в пример. Всего этого было достаточно, чтобы я его возненавидела.

В последующие годы он продолжал бывать у нас в доме, но я с ним не встречалась. Его мать умерла, отец женился вновь. Режи покинул наш город и поступил в Париже на юридический факультет; он хотел стать адвокатом. Я считала, что это ему вполне подходит: он всегда был таким несносным болтуном!

Хотя его предстоящий приезд и радовал маму, у меня он не вызывал ничего, кроме досады. Мне придется слушать его, притворяться любезной, и я уже не смогу, как прежде, тиранить его, щипать и всячески над ним насмехаться. Мама заставит меня корчить из себя благонравную девицу. Но больше всего меня бесило, что мама, наверное, все еще лелеет старую мечту, которую в свое время разделяла и ее подруга Берта,— мечту о том, чтобы нас поженить. Я и Режи! Ну уж нет! Если он и думает как мама, я на этот раз постараюсь быть такой невыносимой, что навсегда отобью у него охоту.

Но мама как будто читает мои мысли:

— Пообещай, что будешь вести себя с Режи как можно ласковей. Он писал мне: «Я так хочу всех вас поскорее увидеть!» Ты должна понять, что наш дом отчасти заменяет ему родной очаг, разрушенный после смерти матери.

— Но не должна же я проводить с ним все время?

— Нет, конечно, днем я постараюсь занимать его сама. Но я хочу — слышишь, Дилетта? — хочу, чтобы ты была с ним мила и дружелюбна. Я требую, чтобы, когда здесь будет Режи, ты сбросила с себя эти обноски конюха.

— Как! — закричала я вне себя от возмущения.— И я не смогу ездить верхом?

— У тебя есть приличный костюм для верховой езды, можешь его надеть, если пожелаешь показать ему, какая ты замечательная наездница.

— Ему на это наплевать! Он до смерти боится лошадей!

— Перестань спорить, девочка Я требую послушания

Мама редко сердилась, но я почувствовала, что она просто взбешена. Я вовсе не хотела ее огорчать, в конце концов всего одна неделя, она быстро промелькнет. Я наберусь терпения, чтобы доставить ей удовольствие. Но какая скучища!

— Хорошо,— сказала я, обнимая ее.— Буду кротка, как ангел.

— Я не требую многого. Но обещай, что будешь вести себя прилично.

■

Как только мама вышла из комнаты, я тут же выбросила из головы и Режи, и все осложнения, связанные с его приездом. Я стала поспешно одеваться. Было уже довольно поздно, и я представляла себе, с каким нетерпением дожидается меня папа, чтобы преподнести свой подарок.

Он, очевидно, решил не подниматься ко мне сам, предоставив маме первой сообщить новость. Для нее приезд крестника был, разумеется, куда более важным событием, чем рождение какого-то жеребенка.

Я прошла к отцу в кабинет. Эту комнату я обожаю. В ней все напоминает о лошадях и о том, что с ними связано Тут пахнет одновременно кожей и лошадиным навозом: два здоровых, таких привычных для нас запаха. На стенах выставлены трофеи отца: кубки, полученные им, когда он был чемпионом по скачкам с препятствиями, пока искалеченная нога не лишила его возможности садиться в седло.

Из любви к лошадям он и занялся коневодством, переоборудовав для этого усадьбу, полученную в наследство от родителей. Папа организовал свое хозяйство рационально, не признавая никакого любительства, и вложил в него как свое состояние, так и приданое жены.

Брак моих родителей был союзом по любви. Красивая молоденькая девушка из Анжера вместе с братом — выпускником Сомюрской военной школы — часто бывала на конных состязаниях, где восхищалась блестящим всадником Эдуаром Гобсоном, победителем на самых трудных скачках. Она снова встретилась с ним несколько лет спустя. Он пережил тяготы войны, превратился в полуинвалида. Но для нее остался все тем же и занимал в ее сердце все то же место, не тронутое ни временем, ни разлукой. Раньше он целиком отдавался спортивной карьере и не хотел связывать себя брачными узами. Жестокие последствия войны вновь привели его к Мюриель, и их соединила нежная любовь, преданность и взаимное восхищение. Ни одну женщину нельзя было сравнить с Мюриель, а Эдуар оказался идеальным мужем, к которому она после двадцатилетнего союза привязалась всем сердцем.

Папа сидел за столом в своем рабочем кресле, сделанном специально так, чтобы он мог вытягивать больную ногу, давая ей отдохнуть. Когда я вошла, он поднял голову:

— Ну как, Дилетта, ты довольна?

По его слегка насмешливому тону я поняла, что он уже знает о моем ночном походе и постигшем меня разочаровании. Я хотела уверить его, что очень довольна. Но легким движением он меня остановил:

— У тебя еще мало опыта, чтобы в этом разобраться, а вот я уверен, что она будет украшением моей конюшни. Впрочем, если ты предпочитаешь подождать следующую лошадку...

Он весело поддразнивал меня, и я запротестовала:

— Нет! Ведь ты мне и вправду ее даришь?

— Я человек слова! А ты придумала ей имя?

Я покачала головой. Согласно традиции, имя жеребенка должно частично включать клички и отца и матери. Я думала, что для дочки Беллы можно было бы взять только букву «И» от имени жеребца — его звали Итак. Получилось бы «Ибелла», но малышка показалась мне такой некрасивой, что я не хотела обижать ее мать, так хорошо отвечающую своему имени, и решила возложить ответственность за новорожденную на производителя, назвав ее Италла. Папа пожал плечами. Он не очень-то понимал мои соображения, но согласился с этим именем. Я не выказывала желания поскорей отправиться на конюшню, и он спросил:

— Мама уже сообщила тебе о приезде Режи?

— Зачем ему понадобилось являться сюда? — проворчала я, довольная, что нашла предлог объяснить свое дурное настроение.

— Не раздражайся раньше времени. Он очень мил, этот молодой человек.

Папа не проявлял особой симпатии к Режи во время наших с ним перепалок и частенько с явным пристрастием становился на мою сторону и помогал мне выйти сухой из воды. По его тону я сразу догадалась, что он уже получил внушение от мамы, и погрозила ему пальцем.

— Надеюсь, ты не заставишь меня обещать?..

— Доставить удовольствие твоей маме — большего я не требую.

Я обняла его.

— На это я согласна! И обещаю не пререкаться с ним.

— Но этого еще маловато; заставь себя хоть несколько дней быть любезной.

Я повернулась и воскликнула:

— Бегу смотреть на Италлу! И спасибо тебе, милый папа. Можешь не беспокоиться. Сегодня вечером ты поймешь, что твоя дочь сущий ангел!

— Вернее, чертенок, это больше на тебя похоже...

— Если бы мне не помешала мама!

III

С несколько враждебным любопытством я ждала появления дорогого Режи. Чтобы доставить маме удовольствие, я надела свое лучшее платье: синее с белой отделкой. В нем я выглядела скромной и застенчивой девушкой. Я предпочитаю брюки для верховой езды и старую кожаную куртку, но дол-

жна сознаться, что в таком наряде выгляжу почти красивой. У меня были мягкие, коротко остриженные, темно-русые волосы, и они без всякой завивки изящно обрамляли мое чуть удлиненное лицо. Я осталась довольна и глазами, унаследованными от папы, — они меняют оттенок в зависимости от освещения и кажутся то светло-голубыми, то фиолетовыми. И вдруг, глядя на свое отражение в зеркале, я почувствовала смущение. До сих пор я никогда себя не разглядывала. Я так привыкла вести себя как сорвиголова, что мне было чуждо всякое кокетство. Теперь у меня появился новый стиль: я выглядела «барышней», это меня удивляло и забавляло.

Я поскорей спустилась вниз, чтобы посмотреть, какое произвожу впечатление. Мама ахнула от восхищения, и я искренне порадовалась, что доставила ей удовольствие. Папа, читавший возле нее,— они сидели в маленькой гостиной, где всегда проводили послеобеденное время,— снял очки. Он разглядывал меня с таким печальным выражением, что я была озадачена. Вытягивая свою раненую ногу, болевшую по вечерам, он вздохнул:

— И правда, она растет.

В голосе его звучало сожаление, и я поняла, о чем он думает. Скоро я уже не буду его постоянным маленьким товарищем. Я становлюсь девушкой, меня придется выдать замуж, и я покину родной дом. Милый папа! Успокойся, если я и уйду, то уж во всяком случае не с Режи!..

Я решила еще раз пройти в конюшню и посмотреть дочку Беллы. Набросив на плечи шарф, я перебежала двор, так как уже стало совсем холодно. Мне хотелось убедиться, что папа был прав, называя малышку будущим украшением своей конюшни. Все утро я вертелась вокруг новорожденной под насмешливым взглядом Джерри. Сейчас я захотела еще раз взглянуть на нее. В деннпках было темно; подойдя поближе, я услышала строгий голос:

— Посещение конюшен запрещается, сударыня!

Я расхохоталась. Передо мной появился Джерри, он не узнал меня в новом наряде и досадливо извинился:

— Вас нечасто увидишь в таком платье! Вы идете на бал?

— Причина куда серьезнее! Сегодня приезжает Режи!

Он нахмурил свои рыжие брови, а я сердито добавила:

— Это будет восхитительно!

— Мсье Бедарьё очень симпатичный джентльмен.

Тут я прямо взорвалась:

— Слишком уж вы снисходительны! Это назойливый дурак. Если бы не мамина воля, я устроила бы ему такую веселую жизнь, что он смылся бы отсюда в два счета.

Когда Джерри настроен иронически, его правая бровь забавно вздергивается вверх. Он ничего мне не ответил, но пристально взглянул во двор поверх моего плеча и направился к выходу. Я повернулась и увидела, что к нам идет какой-то незнакомец: вероятно, папа послал к нам покупателя, зная, что мы оба тут. Это был высокий стройный человек, и пока он приближался, я разглядела, что у него красивое энергичное лицо. Он улыбнулся, смотря на нас, и я спросила Джерри:

— Вы его знаете?

— Немного, — ответил тот спокойно.

Незнакомец подошел к нам и церемонно поклонился мне. Затем протянул руку моему собеседнику и дружески сказал:

— Здорово, old chap'. Рад снова видеть вас.

Потом повернулся ко мне:

— Будьте добры, представьте меня.

— Стоит ли? — спросил насмешливо Джерри.

Тут мы оба поняли, в чем дело, и воскликнули в один голос:

— Неужели это ты?!

Я не узнала в этом красивом молодом человеке моего бывшего врага, а он во мне — свою прежнюю мучительницу. Мы со смехом повторяли:

— Как же ты изменилась!

— А ты-то!

Я вдруг почувствовала, что у меня с плеч свалилась тяжесть. Метаморфоза Режи, его открытое улыбающееся лицо говорили мне, что мои опасения напрасны.

Я даже огорчилась и с сожалением подумала, что мне будет трудно помыкать им, как я собиралась вопреки обещаниям, данным мною родителям.

Режи расхаживал по конюшне, расспрашивая Джерри о лошадях, о новом приплоде, и я с удивлением убедилась, что во время своих приездов к нам он, оказывается, с большим интересом следил за ходом нашего дела. Его замечания были совсем не так глупы, как я ожидала.

Было похоже, что они с Джерри вполне понимают друг друга, но я заметила, что Джерри говорил с куда большим знанием дела, а Режи не возражал ему и слушал все его объяснения с видом ученика...

Джерри показал ему дочку Беллы и всячески расхвалил ее. При этом он незаметно подсмеивался надо мной, утверждая, будто она станет великолепной лошадью и, что бы о ней сейчас ни говорили, оправдает самые смелые надежды.

В конце концов мы вышли из конюшни и направились к дому. Солнце зашло, и я сильно замерзла. На мне не было пальто, а только тоненький шарф, и я дрожала от холода. Режи это заметил и сказал:

— Ты совсем замерзла! Какое безумие — ходить раздетой!

Не успела я отстраниться, как он, не слушая моих возражений, скинул пальто и набросил его мне на плечи. Потом заставил пересечь бегом уже влажную от вечерней росы лужайку, чтобы поскорее добраться до дома. Одной рукой он обнял меня, и я, согретая его теплом, старалась бежать с ним в ногу, не отставая. Запыхавшись, мы со смехом домчались до крыльца.

Мама бросила на нас быстрый взгляд и радостно улыбнулась. В нашем быту сохранилось немало английских обычаев, хотя мои родители всю жизнь прожили во Франции. У нас всегда свято соблюдался час вечернего чаепития. Это была настоящая трапеза, проходившая под маминым председательством. Наша старая служанка

[1] Старина *(англ.)*. *(Прим. перев.)*.

Мари приготовляет точно к пяти часам столик на колесиках, за которым мама всякий раз самолично отправляется на кухню: он бывает уставлен пирожками, сандвичами, фруктами, горячими тостами, пшеничными лепешками. Я лакомка и обычно оказываю большую честь этому столу. А сегодня я надулась: из-за маминой улыбки мне вдруг показалось, что меня завлекают в ловушку. Мама заранее предугадала, как я буду удивлена, и добилась того, на что рассчитывала: вместо прежней вражды между Режи и мною возникла неожиданная симпатия. Неужели она так и не отказалась от плана, задуманного ею когда-то вместе с ее подругой Бертой? Я-то сразу же отбросила его прочь. Я не желала, чтобы меня выдавали замуж помимо моей воли.

Вскоре папа встал и направился в свой кабинет. Я тотчас последовала за ним, вопреки знакам мамы, давшей мне понять что она хочет, чтобы я осталась. Режи не двинулся с места. Рассеянно перелистывая коневодческий журнал, я слышала через оставшуюся открытой дверь их разговор с мамой. Порой раздавался веселый смех. Папа не задавал мне никаких вопросов: наверное, он понимал, что я недовольна и что перспектива терпеть этого гостя уже начинает выводить меня из себя.

■

Первый вечер был просто невыносим. Главным его героем стал Режи — тут не обошлось без мамы, старавшейся всячески его поощрять. Впрочем, он очень подходил для такой роли. К ужину у нас было приглашено шесть человек гостей, не считая Джерри. Наш ближайший сосед, коннозаводчик Ришар Кур с дочерью Мабель ветеринар Доршан с женой, два брата Буссара — их считали лучшими наездниками во Франции: они постоянно занимали первые места на международных соревнованиях по скачкам с препятствиями. Папа их очень любил — ведь они напоминали ему о его молодости,— а они тоже уважали его и восхищались им. Вообще-то они очень славные парни и неистощимые говоруны, когда речь идет о лошадях. Когда же затрагиваются другие темы, они предпочитают помалкивать. Они гораздо старше меня, но мы были друзьями, и если папа порой и подумывал о моем браке то был бы рад видеть меня замужем за одним из них.

К счастью, ни они, ни я не думали об этом.

Мабель — почти моя подруга. Я не зря говорю «почти»... Мы знакомы с детства, но мы такие разные, что, по правде сказать, у нас нет ни одной точки соприкосновения. Это прелестное белокурое создание — образец красоты английского типа: у нее роскошный цвет лица и пышные волосы. Высокая, в расцвете красоты, она в свои двадцать два года похожа на богиню. Ее мать больна больше трех лет, и Мабель приходится исполнять роль хозяйки дома. Она воплощение совершенства и добродетели, но говорить мне с ней не о чем!

С самого начала ужина Режи при маминой поддержке завладел всеобщим вниманием. Он очень скоро заметил, что очаровал Мабель, и стал всячески перед ней красоваться. Должна признать, что он показал себя во всем блеске. Он смешил все общество, рассказывая анекдоты, в нашей провинции как будто пахнуло парижским воздухом.

Я, конечно, лицемерю, когда говорю, будто бы этот вечер был невыносимым: на самом деле всем нам было очень весело. Это я позже надумала, что вечер был отвратительным, потому что мы веселились как раз благодаря Режи.

Когда мы вышли из-за стола, Режи включил радиоприемник. Послышалась танцевальная музыка, и он тотчас подхватил маму. Та сначала удивилась, а потом просияла.

Мама очень молодо выглядит. Папа до ранения был отличным танцором, а мама после войны, возможно, танцевала в первый раз. Я подумала об этом, заметив брошенный ею на папу взгляд, как бы просивший разрешения или снисхождения. Он нежно улыбнулся ей в ответ, но по его лицу проскользнуло легкое облачко грусти. И тут мое раздражение против назойливого гостя еще усилилось: как он смеет огорчать моего любимого отца?

С того времени, когда мои родители еще танцевали, танцы сильно изменились. Однако мама — красавица Мюриель Тибсон,— подчиняясь партнеру, быстро приспособилась. Она двигалась так легко и грациозно, что я втайне завидовала ее непринужденности. Вскоре Режи разохотил всех наших друзей. Через полчаса гостиная превратилась в танцевальный зал: плясали и ветеринар, и Ришар Кур с дочерью, и братья Буссар, за которыми я до сих пор не знала таких талантов.

В стороне оставались только папа — он не без сожаления — и Джерри, не поддававшийся на наши с мамой уговоры. Я дала себе слово что откажусь танцевать с Режи. Но мне не пришлось отказываться, так как он танцевал больше всего с сияющей Мабель, а иногда, держась очень почтительно и мило,— с мамой и мадам Доршан. Что до меня — а я, признаться, обожаю танцевать и запросто справляюсь и с джерком и с роком,— то я переходила от Алена к Франсуа Буссару и от Ришара Кура к ветеринару.

Однако безразличие Режи начинало меня бесить. Я отметила, что у него прекрасное чувство ритма и сдержанные, четкие движения которые резко отличали его от моих неуклюжих хотя и старательных партнеров. С Мабель они составляли очень красивую пару; я искренне любовалась ими, но все же было досадно, что мной пренебрегают. Можно было подумать, что Режи следит за моим настроением и ждет подходящей минуты. Наступил короткий перерыв: я помогала маме подавать прохладительные напитки. Не глядя на Режи, я протянула ему стакан, а он шепнул мне:

— Ты и в самом деле не хочешь танцевать со мной?

Я вспыхнула ошеломленная тем, что он как будто прочел мои мысли! И в то же время мне захотелось дать ему пощечину. Он насмешливо улыбнулся:

— У тебя такое выразительное лицо, милая Дилетта!

Быстрым движением он взял у меня из рук кувшин с фруктовым соком и, не спрашивая разрешения, нежным, но властным движением обнял меня, увлекая в медленный танец с завораживающей мелодией.

После ритмов синкопической музыки, звучавшей весь вечер, этот воздушный, прозрачный танец, в котором мой партнер лишь едва направлял меня, показался мне сплошным очарованием. Режи молчал, лицо его было сосредоточенно, а глаза, встречаясь с моими, смотрели нежно, почти умоляюще и вызывали у меня непонятное смущение.

Мне хотелось остановить это мерное кружение и в то же время я желала, чтобы оно никогда не кончалось. Наше объятие, казалось, невозможно было разорвать. Оно словно сковало меня целиком. Его рука, касавшаяся моей спины, вызывала во мне непонятное томление, а когда его щека прижалась к моей, я не смогла отстраниться. Понемногу он сжимал меня все сильней. Мы еле двигались, и я спрашивала себя: не потеряла ли я рассудок под влиянием каких-то колдовских чар?

Внезапно музыка смолкла. Мы с Режи стояли обнявшись посреди гостиной. Послышались аплодисменты, и тут мы увидели, что все вокруг смотрят на нас. Я освободилась, смущенная тем, что невольно обратила на себя внимание гостей, и это чувство еще усилилось, когда я увидела, что Джерри выходит из комнаты...

IV

Режи гостил у нас уже три дня, и я была все больше недовольна собой, чувствовала себя выбитой из колеи. Я себя не узнавала. Меня обволакивала какая-то расслабляющая атмосфера, и причиной тому был Режи.

Он не отходил от меня ни на шаг, а когда я сбегала от него, всякий раз получалось так, что в конце концов мы все равно встречались снова. Самое поразительное что хотя я и злилась на себя, но не сопротивлялась.

Помня, как он плохо ездил верхом, я решила от него отделаться. На второй день я спустилась пораньше к завтраку в своих старых брюках и кожаной куртке, но застала Режи уже сидящим с папой за столом. Он был в костюме для верховой езды. Я вопросительно взглянула на отца, и он сказал:

— У Джерри слишком много возни с Беллой и ее дочкой. Режи выведет Фальстафа, а ты возьмешь Гувернера.

Я так и подскочила, не сумев скрыть своего недовольства. Но с хозяином не спорят. Режи рассмеялся:

— Дилетта без всяких слов показала, как высоко оценивает мои достоинства!

Я ничего не ответила и наспех проглотила горячий чай, чтобы поскорее сбежать.

На крыльце в лицо мне дохнул порыв теплого ветра. Было только восемь часов, но солнце уже припекало. За несколько дней трава запестрела маргаритками и лютиками, а на деревьях набухли и уже раскрывались почки. Подле меня послышался негромкий голос Режи:

— Как ты любишь природу!

Взяв меня за руку и не давая уйти, он продолжал:

— Послушай. Я не хочу ни надоедать тебе, ни доставлять неприятность. Если ты относишься ко мне по-прежнему враждебно, я под каким-нибудь предлогом уеду завтра.

Он говорил твердо, его решительный тон удивил меня. Я обернулась и хотела сказать, чтобы он уезжал, но, взглянув в его красивое лицо, вдруг запнулась, смущенная его серьезным и в то же время нежным выражением.

Я испытала то же чувство, что и накануне, когда он увлек меня в свой колдовской танец, его музыка грезилась мне даже во сне. И я поспешно ответила:

— Оставь, что за глупости!

Потом, высвободив руку, побежала к конюшням. Поискала глазами Джерри, но его не было. Конюх уже оседлал лошадей. Он держал их на поводу, прогуливая по двору и поджидая нас. Без всякой помощи я вскочила на Гувернера и украдкой следила, как Режи не спеша шел к Фальстафу. Это один из наших лучших коней, но он немного пуглив и не любит меня. Мне приходится быть с ним очень осторожной. Он так и норовит сбросить меня всякий раз, когда я его выезжаю.

Режи погладил шею лошади — ее кожа задрожала под его рукой,— а затем одним махом вскочил в седло. Меня удивила его ловкость, уверенность и хорошая посадка, однако я повременила со своей окончательной оценкой.

Мы выехали со двора: я — впереди, он — следом. Я выбрала дорогу на скаковой круг через лес, решив не обращать внимания на своего спутника. Пусть себе делает что ему угодно, а я буду работать как всегда: сначала короткая рысь перед малыми препятствиями, затем разгон перед большими. Гувернер был в отличной форме. Погода стояла прекрасная, и я чувствовала, что мое раздражение проходит.

Режи повсюду следовал за мной. Я должна была признать, что он сделал большие успехи. Вернее сказать, стал хорошим наездником: хладнокровным, сдержанным, избегающим ненужного риска.

Когда мы достигли перекрестка, откуда начинается обратный путь, я дала Гувернеру отдышаться и подождала Режи. Скрывая за легкой иронией свое признание его ловкости, я сказала:

— Итак, ты теперь уже не боишься лошадей?

— Благодаря тебе. Я ужасно стыдился своей неуклюжести и дал себе клятву доказать, что ты была неправа, когда кричала: «Никогда он не научится даже сидеть на лошади!»

— Браво! Ведь ты и впрямь этому научился!

— Твое признание для меня—самая большая радость.

И добавил со смехом:

— А ты знаешь, что имела на меня необыкновенное влияние?

Я смотрела на него, не понимая, а он продолжал:

— Именно благодаря тебе этому неповоротливому юнцу удалось выработать силу воли. Да, да, думая о тебе, о твоем пренебрежении или, скажем прямо, презрении, я сделался другим человеком. Я хотел стать

сильным и смелым физически и морально. Добился ли я этого?

Я отвернулась в смущении. В пристальном взгляде Режи было что-то тревожившее меня, но не могу сказать, чтобы это было неприятно. Он снова рассмеялся и воскликнул:

— Прежняя злая и несносная девчонка, какой ты была, оказала на меня большее влияние, чем лучшие учителя. Правда, смешно? Помнишь тот день, когда ты уговорила меня сесть на необъезженного жеребчика, на котором сама едва могла усидеть?

Я кивнула:

— Как не помнить! Я получила за эту проделку суровое наказание: сказать по правде, меня выпороли — а это так унизительно для двенадцатилетней девчонки, какой я была в ту пору.

Он расхохотался:

— Как ты потешалась, когда я свалился в грязь, куда ты меня нарочно затащила, и встал весь измазанный, с ушибленным плечом. В тот раз я себе поклялся доказать, что ты не права, что я вовсе не трус. Вернувшись домой, я сказал, что хочу учиться верховой езде. Мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы преодолеть страх, и с того времени мой характер и поведение стали меняться. Этим я обязан тебе.

Я не знала, могу ли этим гордиться, но чувствовала себя немного смущенной рядом с этим красивым малым, приписывавшим мне такие заслуги.

В то утро он не был настойчивым, зато в следующие три дня приложил все усилия, чтобы меня приручить. Он отступал всякий раз, едва замечал мое раздражение, но в нужную минуту снова был тут как тут, чтобы развлечь меня или позабавить. Все свободное время он проводил либо со мной, либо с мамой. Они гуляли вместе и вчера вечером, а когда вернулись, я узнала, что они были в гостях у господина Кура. Они не позвали меня с собой, так как я давным-давно заявила, что не хочу участвовать в светской жизни. И все же мне стало досадно, когда Режи принялся с восхищением рассказывать о том, как их принимали, какой прекрасной хозяйкой оказалась Мабель, как она хороша собой и какая у них прелестная квартира.

На другой день мы были все приглашены на обед к Доршанам. Мне хотелось найти какой-нибудь предлог, чтобы отказаться. Я не желала наблюдать, как эта долговязая английская дуреха будет любезничать с Режи, а он увиваться за ней. Выходит, я ревновала? Не думаю, ведь тогда я должна была бы испытывать к нему нежные чувства, но этого не было. Он привлекал меня и в то же время бесил. Мне хотелось бы, чтобы он никогда у нас не появлялся, и вместе с тем я чувствовала странную тревогу при мысли, что через несколько дней он уедет.

■

Все разворачивалось так быстро, так стремительно, что я просто не успевала опомниться. Можно сказать, что все началось с этого обеда у Доршанов. Ветеринар живет на окраине, в большом, немного нескладном, но комфортабельном доме, меблированном как положено, но неуютном. Прием оказался удачным, несмотря ни на что. Я решила не отказываться от приглашения и блеснуть новым платьем.

Только когда мы забрались в машину и Режи сел за руль, я заметила отсутствие Джерри.

— Разве он не поедет? — спросила я.

— Он просил извиниться за него.

— Почему?

— Не знаю,— ответил папа.— Джерри немного нелюдим, и я не стал спорить, когда он сказал, что не пойдет к Доршанам.

А мама добавила:

— Последнее время, когда Джерри получает письма из Ирландии, лицо его мрачнеет. Мне кажется, что его огорчают известия, приходящие, быть может, от родных.

Я мельком подумала, что последнее время Джерри и впрямь замкнут и молчалив более, чем обычно, и решила расспросить, не огорчают ли его какие-нибудь печальные вести из дому.

Как только мы приехали к Доршанам, у меня чуть дрогнуло сердце, когда я увидела, как Мабель красива, спокойна и уверена в себе. Ухаживание Режи, сидевшего рядом с ней за столом, бросалось в глаза. Если он собирается жениться, ему следует выбрать именно ее.

И мне вдруг стало грустно, хотя эта перспектива, разбивающая все мамины планы, должна была бы привести меня в восторг. Я совсем не помню, как прошел обед, вижу только эти два красивых лица: они то и дело нежно склонялись друг к другу.

Всякий раз, когда я волнуюсь или возмущаюсь, у меня перехватывает горло, и я не могу проглотить ни куска. Я, можно сказать, вовсе не притронулась к обеду, который все расхваливали, надеясь, что в пылу разговоров, среди оживления, вносимого Режи и вторившей ему Мабель, никто этого не заметит.

Когда все вышли из-за стола, Режи направился прямо ко мне.

— Что случилось, Дилетта?

— Ничего, все в порядке.

— Весь вечер ты ничего не ела, не сказала ни слова.

Я попробовала отшутиться:

— В твоем присутствии другим трудно вставить слово.

— Уж не рассердилась ли ты на меня?

— Господи, за что же?

— За то, что я болтаю с Мабель.

Меня возмутила его самоуверенность, и я ответила, стараясь скрыть свое волнение:

— И ты думаешь, меня это трогает? Из вас выйдет прекрасная пара.

— Мабель мне неинтересна. Ее слишком легко победить. Улыбнись, Дилетта, ты такая прелесть, когда веселишься!

Мое дурное настроение прошло словно по мановению волшебной палочки, и я вдруг почувствовала себя легко и свободно. С этой минуты я словно преобразилась. Мабель же понемногу мрачнела. Весь вечер я участвовала во всех выдумках Режи. Мы танцевали, затевали общие игры, вовлекая в них даже папу. Время летело незаметно. В какую-то минуту, уж не помню точно когда,— кажется, после ужина, которому на этот раз я отдала должное,— из проигрывателя послышались звуки медленного танца, того самого, что звучал в первый ве-

чер, и я оказалась в объятиях Режи. Те же чары завораживали нас, пока мы медленно кружились по комнате, а когда мы остановились вместе с музыкой, щека моего партнера касалась моей, и я не попыталась освободиться, не испытывала ни малейшего смущения, никакой неловкости.

Когда мы вернулись домой, было уже три часа ночи. В машине никто не промолвил ни слова. Папа сел вместе с мамой сзади, чтобы вытянуть больную ногу, а я примостилась рядом с Режи, сидевшим за рулем. Вскоре его правая рука отыскала мою, лежавшую на сиденье, и сжала ее. Я не ответила на его пожатие, но и не убрала руку. Только въезжая в аллею, ведущую к гаражу, он отпустил меня, чтобы взяться за руль. А дальше все понеслось в таком стремительном темпе, словно я летела с крутой горы, и мне приходилось принимать решения почти против собственной воли.

V

На другой же день поведение Режи резко изменилось. Он как будто утверждал свои права на меня, а я никак не могла понять, почему не даю ему отпор и не возмущаюсь, когда он говорит:

— Сегодня утром ты не поедешь верхом. Я хочу погулять с тобой у реки.

Или:

— Твои родители не будут возражать, если мы поедем сегодня в Мортань? Там идет хороший фильм. Я тебя увожу.

Я не люблю ходить пешком, терпеть не могу кино, а тут почему-то без возражений соглашалась.

И вот как-то раз, возвращаясь из кино, когда мы, стараясь не шуметь, входили в уснувший дом, Режи спросил, задержав мою руку в своей:

— Скажи, Дилетта, ты согласна стать моей женой?

Я уже поднялась на несколько ступенек; в гостиной стоял полумрак, и я не могла разглядеть обращенного ко мне лица Режи, а только слышала его низкий и нежный голос. В эту минуту я поняла, что именно своим голосом он и зачаровывал меня своим великолепно поставленным голосом, который со временем поможет ему стать самым сладкоголосым оратором в суде. Я была не способна рассуждать, стояла, дрожа, со смятенной душой, охваченная тревогой, паническим страхом. Он медленно, очень медленно привлек меня к себе. Я спустилась на две ступеньки. Режи обнял меня за плечи. Он не пытался меня поцеловать, а только старался унять мое волнение, смирить мой мятежный дух очень нежными, очень ласковыми словами. С удивительной проницательностью угадав мои переживания, он заставил меня поднять голову, прижатую к его груди, и прошептал с чуть насмешливой улыбкой:

— Дилетта, дорогая, неужели ты меня боишься?

Я отрицательно покачала головой, но этот мой жест не был искренним. Что-то притягивало меня к Режи и одновременно отпугивало, особенно его обаяние, которому я не могла противиться. Пока мы так смотрели друг на друга, я была уверена, что не люблю его, и все же почти готова согласиться на его предложение. И не могла поступить иначе. Я попыталась освободиться. Мне надо было понять, что же мною руководит. Он крепче обнял меня и наклонился. Увидев, как его губы приближаются к моему лицу, я вся сжалась. Он остановился, не закончив своего движения. Лоб его прорезала глубокая складка, выражение глаз изменилось. Они стали вдруг твердыми, беспощадными. В них сквозила жестокость, я бы сказала — почти ненависть. Это выражение было мимолетно, но оно потрясло меня. Только голос оставался таким же чарующим. Он меня обезоружил, успокоил. Режи медленно проговорил:

— Ложись спать, маленькая дикарка, хороших тебе снов, и пусть я буду участвовать в них.

Я не ответила и убежала, задыхаясь. Спала я плохо. Вместо хороших снов меня мучили кошмары. Я не запомнила их, но какая-то тяжесть продолжала давить мне грудь даже после пробуждения.

■

Мама снова разбудила меня сама, принеся поднос с завтраком. По выражению ее лица я поняла, что она успела поговорить с Режи. Однако, зная, какая я недотрога, она не решалась заговорить первой о том, что так ее волновало. Усталая, апатичная, я внезапно решила: будь что будет, если уж я не могу этому помешать. Забавное у меня было ощущение. Я казалась себе чем-то вроде парализованного и оцепеневшего насекомого, в котором, однако, сохранилась искорка жизни. Этой искоркой был мой внутренний бунт против насилия, которое меня сковывало. Как выразить мое состояние, если самой так трудно в нем разобраться? Мне вдруг стал нужен Режи, я чувствовала, что мне не хватает теплоты и света, которые он излучал. Однако я не любила его. Я против воли поддалась его чарам, хотя они и не затрагивали моего сердца.

Мама весело болтала со мной, однако я угадывала, что она беспокоится. Она желала мне счастья, но боялась оказывать на меня давление. Я сказала с легкой насмешкой, имея в виду себя и ее:

— Ну что, довольна? Твой дорогой Режи победил!

— Ах, Дилетта! Как ты об этом говоришь!

— Да это — настоящее поражение. Я не ожидала, что меня можно так быстро покорить.

— Но это же чудесно дорогая! Несмотря на свое предубеждение против него, ты так быстро переменила о нем мнение. Скажи, ты счастлива?

Я постаралась за шуткой скрыть свою растерянность.

— Как можно быть счастливым, если принужден сдаться на милость противника?

— Какой он противник! Он давно любит тебя!

Мне раньше не приходило в голову что Режи мог любить меня еще в то время, когда я так его презирала. Эта мысль немного смягчила меня. Значит, в то время я могла обидеть его, ранить его чувства? Од-

нако события, на мой взгляд, развивались слишком быстро, и я спросила с опаской:

— Но мы же не обязаны жениться немедленно?

Маму шокировала моя прямота, и она возразила:

— Что ты, Дилетта, у вас нет никаких обязательств. Режи тебя любит и хочет на тебе жениться. Никто — а я и подавно — не думает тебя принуждать. Ты вольна согласиться или отказать, ты можешь выбрать кого угодно.

Я вздохнула с облегчением и, сделавшись немного приветливей, сказала, поддразнивая ее:

— Боюсь, что я уже согласилась.

Мама была слишком умна. Она молча поцеловала меня, но ее красивые глаза слегка затуманились тревогой. Когда она вышла а я встала, чтобы одеться, я все-таки уже была — мне пришлось это признать — невестой Режи.

■

С того вечера, когда Режи, можно сказать, принудил меня согласиться, он больше не заговаривал об этом, только окружал неустанным вниманием и предупредительностью. Считая, что я уже покорена, Режи прилагал теперь все свое умение, чтобы успокоить меня и закрепить свою победу. Однако он не проявлял ни рабской покорности, ни смирения. Но добился, чтобы я изменила прическу, и с маминой поддержкой настоял на том, чтобы я пользовалась косметикой. Он заставил меня расстаться с будничным нарядом конюха, но ему нравилось, когда я сижу на лошади в парадном костюме для верховой езды. Вместе с мамой он обдумывал, в чем мне выступить летом на международных состязаниях в Ла-Боле. У него хороший вкус, и он уговорил меня заказать костюм из черного сукна с желтыми отворотами, придававший элегантность и четкость моей фигуре.

— Я буду гордиться своей Дилеттой,— нескромно добавил он.

Это немного испортило мне удовольствие: хотелось бы знать кем он считает меня сейчас: своей женой или невестой. Всякий раз, когда я пыталась представить себя его женой, меня охватывало беспокойство.

— Ты хорошеешь с каждым днем,— говорила мама.

Режи повторял посмеиваясь:

— Мы созданы, чтобы дополнять друг друга: ты сделала меня личностью, я дарю тебе красоту.

Он должен был прожить у нас всего неделю, но задержался. Иногда он говорил:

— Пора подумать об отъезде.

Мама возражала:

— Время у тебя еще есть — суд закрыт на каникулы.

— Это так, но не забывайте, дорогая, что у меня есть еще и патрон и моя практика у него не закончена. К тому же,— добавлял он, смеясь,— клиенты не прибегут сюда за мной. Значит, мне надо поскорей заняться своим устройством. Передо мной такая упоительная цель — могу ли я не спешить?

Он бросал на меня влюбленный взгляд, не упуская случая напомнить, что он адвокат и живет в Парнже. Если я выйду за него замуж, мне придется покинуть Нормандию и наш дорогой Поммельер. Прежде я никогда не задумывалась над такой возможностью. Я не могла себе представить жизнь взаперти, в квартире большого города, вдали от природы и моих лошадей.

Всякий раз, когда такие мысли осаждали меня, я находила, что все это сплошной абсурд и что всем нам надо отдать себе в этом отчет — Режи, и маме, и мне самой. Свадьба эта невозможна. Однако, если я порву с Режи, его уже не будет возле меня — при одной этой мысли меня бросало в дрожь.

А у него, казалось, нет иной заботы, кроме одной: потихоньку закрепить свою победу. Он, разумеется, знал, что я не вполне подчинилась ему и не так много нужно, чтобы я от него ускользнула.

Как-то мы отправились погулять на берег реки. Несмотря на мою нелюбовь к пешим прогулкам, он добился того, что я стала признавать этот «спокойный вид спорта», как он его называл. Весна с каждым днем расцветала во всей своей невыразимой прелести. Мы немного устали и присели отдохнуть на солнышке друг против друга, так как я пресекла его попытку устроиться возле меня, предвидя, что тогда он не замедлит нарушить мое спокойствие.

Задумчиво приглядываясь ко мне, он сказал:

— Какая ты странная, Дилетта. Ты похожа на своих жеребят: кажется, что уже приручил их, а они вдруг возьмут да убегут. Вот и сейчас ты почти ненавидишь меня.

Я не могла удержаться и расхохоталась:

— Ты заставляешь меня делать то, чего я терпеть не могу!

— Быть со мной?

— ...И ходить пешком.

Режи даже не поморщился, услышав, что я его не опровергаю. С иронической улыбкой но еще более мягким голосом он возразил:

— Никто не заставляет тебя гулять со мной. Ты вполне могла бы остаться дома или оседлать одну из твоих обожаемых лошадей которые тебе дороже меня.

Я надулась и промолчала, а он продолжал:

— Неужели мы проведем так всю жизнь: ты будешь бегать от меня, а я — стараться тебя поймать и удержать? Я не хочу тебя принуждать и считаю великим счастьем, что ты... почти... дала свое согласие.

Я вдруг проговорила, повинуясь невольному порыву:

— Зачем все это, Режи, ведь ты меня не любишь?

Он с возмущением воскликнул:

— Я тебя не люблю?! Зачем же тогда я хочу на тебе жениться?

Я не знала, что и ответить. Для Режи наш союз не был выгодным браком. Благодаря наследству, оставленному матерью, и положению отца, он был довольно богат. По словам моей мамы, его ждало блестящее будущее, а все состояние моих родителей заключалось в нашем конном заводе и поместье в Поммельере. Я могла рассчитывать лишь на самое скромное приданое.

Если так рассуждать, то получалось, что я задала ему дурацкий вопрос. Однако чув-

ствовалось, что вопрос этот скорее смутил Режи, чем рассердил. Некоторое время он молчал, а потом встал и принялся ходить взад-вперед и так углубился в свои мысли, словно бы забыл обо мне. Я не отрывала от него глаз, он казался мне таким обаятельным, что я спрашивала себя, почему никак не могу отделаться от моего старого предубеждения.

Все, что я презирала в мальчишке, товарище моих игр, исчезло, когда он стал взрослым. Это сильный, волевой, умный мужчина, и все же он не вызывает того чувства, какое, как я смутно надеялась, вызовет во мне человек, которого я полюблю и с кем захочу разделить свою жизнь.

Он вдруг перестал шагать и снова уселся напротив. Долго смотрел он на меня с таким униженным видом, что мне стало почти больно. Наконец, взяв мои руки в свои, смущенно произнес:

— Дилетта, ты нужна мне. Я солгал, когда говорил тебе, что стал сильным. В детстве ты меня воодушевляла. Не знаю, можно ли это назвать любовью, но с тех пор, как я тебя увидел, ты стала мне необходима. Я так восхищался тобой, когда ты была маленькой решительной пигалицей, я чувствовал себя таким униженным, что мечтал когда-нибудь одолеть тебя.

Тут он запнулся, но сразу же собрался с духом и продолжал:

— Ты очень чуткая, Дилетта, очень проницательная, чтобы я мог тебя обмануть. Я приехал сюда, думая тебе отомстить. Я хотел обворожить тебя и заставить себя полюбить. Что бы я стал делать дальше — не знаю. Наверное, хотел помучить тебя так же, как когда-то ты мучила меня; но вот я тебя увидел и, желая победить, стал добиваться лишь дружеского согласия, которое возникло помимо нас и почти против нашей воли.

Я потупилась. Он говорил правду, и я была ему благодарна за откровенность. Он казался мне таким слабым, растерянным, сложившим оружие с трогательным простодушием. Я не чувствовала былого презрения к нему. Я как-то смягчилась, мне даже захотелось взять его под свою опеку.

Однако эта комическая ситуация позабавила меня, вызвала насмешливую улыбку. Он испугался:

— Ты смеешься надо мной?— спросил он удрученно.— Ты снова примешься за старое?

Я почти с материнской нежностью погладила его по щеке. Опасения мои прошли. Этот взрослый красивый мальчик смиренно смотрел на меня, как будто умолял дать ему силу, которой ему всегда недоставало. Во мне зародилось новое, незнакомое до сих пор чувство. Он схватил мою руку и, покрывая ее поцелуями, прошептал:

— Ведь ты не покинешь меня, правда, Дилетта?

Мы вернулись домой, весело шагая под руку, и мама, глядевшая на нас с крыльца, улыбнулась, видя нас в добром согласии, показавшемся ей на этот раз прочным.

Вечер прошел чудесно. Только одно замечание папы на минуту отвлекло меня:

— Меня беспокоит Джерри. Последнее время он какой-то странный, как в воду опущенный. Попросил у меня разрешения уехать на неделю. Вообще говоря это естественно: с тех пор, как он тут появился, у него не было ни одного свободного дня. Однако он неудачно выбрал время для отпуска!

Я быстро забыла про Джерри — ведь Режи не давал мне времени даже мысленно отвлечься от него. Оставшись одна, я тотчас вернулась к своему прежнему мнению. Эти планы просто абсурдны: я не могу выйти замуж. Я не создана для Режи, а он — для меня; главное же — и это решающее обстоятельство — мы друг друга не любим.

VI

Для того, кто после здоровой физической усталости привык крепко спать без сновидений, бессонница кажется невыносимой и чудовищной. Я не могла заснуть до самого рассвета, и это была настоящая пытка. Я погружалась в противоречия как в трясину, и мне казалось, что я никогда из нее не выберусь. Чем больше я барахталась, тем глубже увязала. Меня пугала ясность моего ума, я была уверена, что не ошибаюсь. Мой инстинкт безусловно меня не обманывал, но он не мог победить слабости, овладевавшей мною при одном приближении Режи. Обрету ли я снова равновесие, спокойствие и жизнерадостность, когда он уедет? Самое странное, что жизнерадостность эта исчезла со времени его появления у нас: он так сильно связывал меня своим постоянным присутствием, что отдалил от всего и сделал почти равнодушной даже к событиям в нашем хозяйстве. После Италлы народилось еще несколько жеребят, но я не проявила к ним обычного интереса. Я едва успевала заглядывать в конюшню к моей Белле, где новорожденные жеребята жались к своим матерям. Неужели я перестану интересоваться тем, что было до сих пор смыслом моей жизни, только потому, что мной завладел мужчина? В какое же необъяснимое рабство я угодила!

■

Я была так поглощена этими сложными переживаниями, что почти не заметила отъезда Джерри и осознала его отсутствие не в ту минуту, когда он заглянул попрощаться со мной, а лишь спустя два дня, когда вошла в конюшню и почувствовала словно толчок, не увидев его на обычном месте, откуда он следил за работой конюхов.

Его заменял папа, добавивший к своим обязанностям — общему надзору и административным делам — работу нашего друга. И тут до меня дошло, что я бесполезна. Хотя я считала себя верной помощницей папы, я взвалила на его плечи работу, которую должна была делать сама, особенно тогда, когда моя помощь была ему так необходима. Я же продолжала выезжать верхом почти каждое утро, укорачивая по возможности свои поездки, но не находила времени даже на то, чтобы тщательно чистить своих лошадей, что обязан делать всякий наездник. Я просто брала повод из рук конюха, который делал эту работу за меня. Самое бо́льшее — я рассеянно поглаживала лошадь по шее, прежде чем вскочить в седло. Право, можно было подумать, что для меня работа стала обузой.

Это заключение было мне крайне неприятно. Мне вдруг захотелось, чтобы Режи поскорей уехал. Я вообще не способна скрывать свои чувства, и он тотчас это заметил, забеспокоился, однако не сказал ни слова. Он был очень осторожен и приноравливался к моим настроениям — и хорошим и плохим,— так он решил себя вести. Тем не менее он откладывал со дня на день свой отъезд.

Мы обсуждали внезапный отъезд Джерри, только когда Режи не было с нами. У мамы была своя точка зрения: она считала, что причиной его отъезда были получаемые им из Ирландии письма: читая их, он всякий раз мрачнел и становился более молчаливым. Папа качал головой и говорил, что Джерри не вернется: по-видимому, его задерживают дома семейные обязанности

Однако в маленьком флигеле возле конюшен, где он жил, остались кое-какие его личные вещи. Я зашла туда вместе с мамой, чтобы навести там порядок. Комната была обставлена очень скромно и так тщательно прибрана, что казалась бездушной. Однако я заметила на камине фотографию грудного ребенка в синей кожаной рамке. Мы некоторое время разглядывали его, задаваясь вопросами:

— Кто это? Маленький брат? Крестник? А может, сын? Неужели он женат? Он никогда не рассказывал нам о себе, о родителях — не была ли эта фотография, оставшаяся в покинутой комнате, тайной нашего друга? А может быть, и причиной его внезапного отъезда? Мы заперли двери флигеля и больше не говорили о Джерри. Узнав о существовании этого ребенка, мы и без того проявили достаточную нескромность.

Режи, кроткий и в то же время требовательный, продолжал поглощать мое внимание, окружать меня заботами

А у меня все еще не хватало мужества сказать ему, что я не могу принимать всерьез разговоры о жизни в Париже. Это значило бы порвать нашу странную помолвку, а я этого сделать не решалась. Однако все же придется: такое положение не может длиться вечно. Меня связывало то, что он так нуждается во мне, а когда я замечала, как этот с виду такой сильный человек, умно и веско рассуждая, оборачивался ко мне, как бы ища поддержки, я бывала тронута, смущена и немножко горда.

Мама сияла. Однако была осторожна и не задавала вопросов. Она подолгу совещалась с Режи, а так как ни один из них не представлял себе, что происходит во мне, считала, что все идет к лучшему.

Папа, напротив, хмурился. У меня с ним не было серьезного разговора о Режи. Однако он ведь не слепой, и мама, надо полагать, делилась с ним своими давнишними планами. Но я не нуждалась в подтверждениях, мне и так было ясно, что он их не очень одобряет. Он не чувствовал особой неприязни к Режи, но видел в нем человека, который уведет меня из дома, из-под его крыла, и потому не мог его любить.

■

Отъезд Режи был наконец назначен на завтрашнее утро. Он сообщил мне об этом после завтрака, когда папа отправился в конюшни, а мама куда-то вышла. Мы остались вдвоем в гостиной, перед нами стоял поднос с пустыми кофейными чашками. Я взяла его, чтобы вынести, но Режи меня остановил:

— Оставь Дилетта, давай спокойно поговорим.

Я опустила поднос и пошла за Режи к большому дивану, стоявшему напротив окна. Ему нравилось это место, он считал его подходящим для откровенных объяснений. Когда мы уселись рядом, он попробовал привлечь меня к себе Но, почувствовав мое сопротивление отказался от своей попытки. По тому как он нервно закурил сигарету, я догадалась, что он собирается попросить меня о чем-то серьезном, но не совсем уверен в себе Я ничего не делала, чтобы ему помочь. Мысль, что он может робеть передо мной, забавляла меня. Он вдруг прошептал:

— Будь со мной поласковей, Дилетта.— Я промолчала.— Завтра я уезжаю. В Париже меня ждут дела.

Мое молчание не поощряло его, и он быстро проговорил

— Я долго не мог решиться на отъезд, потому что боюсь тебя потерять.

Значит, он более чуток, чем мне казалось. Он продолжал:

— Ты должна дать мне обещание... да-да, обещание выйти за меня замуж.

— Да ведь я уже дала его...

— Я в этом не очень уверен, Дилетта, дорогая, я должен уехать и повторяю — боюсь, очень боюсь тебя потерять! Но я не могу обойтись без тебя: ты мне необходима как воздух. В тебе моя сила, моя вера в будущее. Когда ты рядом, мне все легко, и, клянусь, со мной ты будешь счастлива!

Я закрыла глаза: мой критический ум — или просто здравый смысл — подсказывал мне, что его уверения несколько наиграны и что в этой игре он ловко пользуется своим обаянием. Я позволила ему притянуть меня к себе. Прижавшись щекой к моим волосам, он долго говорил не помню уже о чем. Я словно слушала музыку, которая баюкала и опьяняла меня.

Наконец он умолк, и его губы прижались к моим. У меня не возникло инстинктивного желания оттолкнуть его, чего он так опасался. Поцелуй его стал настойчивым, длительным. Я как будто погрузилась в неведомый мир, пьянящий, безумный. Наконец он отпустил меня и с торжествующей улыбкой, словно держа под гипнозом, заявил:

— Теперь ты мне обещала Мы поженимся через три месяца.

И я прошептала, еле переводя дух, не вполне сознавая, что говорю:

— Да, через три месяца...

■

Мне снова дышалось свободно. Режи уехал окрыленный, хотя я и не разрешила огласить нашу помолвку. Я не собиралась отказываться от своего слова, раз уж я его дала, но не считала нужным оповещать соседей о том, что через три месяца уеду, чтобы сделаться госпожой Бедарьё.

Я была не способна представить себе, какой станет тогда мое существование, и потому, выбросив все из головы, вернулась к своей прежней жизни.

Без Джерри моя работа вдвое увеличи-

лась, и в то время, когда папа и конюхи оставались в конюшне, я одна выводила лошадей, занималась их выездкой и показывала покупателям, которые все прибывали. Кроме того, я должна была подготовить Гувернера к международным конным состязаниям в Ла-Боле. Это был послушный конь и прекрасный скакун. Разве что немного с ленцой. Я умела его расшевелить и надеялась занять с ним очень хорошее место.

Состязания назначены на август. И этот срок был для меня гораздо важнее, чем конец июля, когда должна была состояться наша свадьба.

Мама начала готовить мне приданое. Вскоре она заметила, что меня это нисколько не интересует, и перестала говорить со мной на эту тему. Я снова ходила в старом костюме для верховой езды, не вызывая у мамы резкого протеста, и целыми днями носилась по скаковым дорожкам. К вечеру я падала с ног от усталости и не засиживалась за столом. Я спала как убитая, а на другой день все начиналось сначала.

Я умоляла Режи не принуждать меня ему писать. Я не могла заставить себя ежедневно писать письма, как положено обрученным. Он не настаивал и обычно два-три раза в неделю звонил из Парижа по телефону. Мы болтали несколько минут. Он мне рассказывал о своих делах, я же не распространялась о своих. Как-то вечером он сообщил, что собирается провести у нас конец недели. Я предпочла не спрашивать, какую неделю он имеет в виду.

VII

К большому облегчению папы и всех нас, после месячного отсутствия Джерри вернулся. Мне показалось, что он похудел и стал еще молчаливее. Мы не задавали ему никаких вопросов, и он ничего не рассказывал.

У нас в Поммельере ничего не изменилось, кроме того, что Джерри решительно отказывался обедать с нами, когда мама приглашала его. Прежде он не менее четырех раз в неделю проводил вечера в нашем обществе. А после возвращения не пришел ни разу.

Бедный друг! Он был, как видно, несчастлив; мне так хотелось ему помочь, и я чувствовала, что ребенок, чью фотографию мы видели у него, имел какое-то отношение к его печали. Но не могла и намекнуть об этом. Не попробовать ли маме расспросить Джерри? Мы поговорили с ней об этом, и как-то утром, собираясь уйти, я увидела, что они ходят вдвоем взад и вперед по двору. Джерри шагал, опустив голову, с таким видом, будто упорно отвергал дружеские предложения мамы.

Когда я вернулась к завтраку, в ответ на мой вопросительный взгляд она только сказала:

— Мы ничем не можем ему помочь.

Я не настаивала. Меня уже начало занимать другое — приезд Режи. Он будет здесь через два дня. Уже! Меня это больше злило, чем радовало.

■

Конец этой недели прошел в какой-то странной атмосфере, проникнутой то теплотой, то смущением. Радость, охватившая Режи, когда он снова меня увидел, сквозила в каждом его взгляде, и это было очень трогательно. Право, любому приятно, когда его улыбка или недовольная гримаска оказывает такое влияние на чувства другого человека. Моя снисходительность к Режи, когда он был подле меня, не переставала меня удивлять. Порой он пользовался ею и пытался вести себя более самоуверенно, но это меня забавляло, так как стоило мне сказать слово, как он сразу робел и отступал.

Он был очень нежен, но не злоупотреблял правом, которое давала ему помолвка, чтобы лишний раз меня поцеловать, и не выказывал уверенности в своей власти надо мной. Я была ему за это благодарна и часто сама допускала небольшие вольности.

В день его приезда мы гуляли по двору, и, взяв Режи под руку, я немного прижалась к нему. Мы подошли к конюшне, где стояли Белла и ее дочь, когда вдруг появился Джерри. Он окинул нас обоих таким странным взглядом, что я невольно отстранилась от Режи. Несколько мгновений длилось неловкое молчание, затем Джерри вдруг оживленно заговорил: он захотел непременно показать нам Италлу и расхваливал ее достоинства. Я была вынуждена с ним согласиться.

Жеребенок, так сильно разочаровавший меня в день своего рождения, оправдал все надежды, которые я тогда не разделяла. Однако я все же не могла сказать, что восхищаюсь этой лошадкой. Хотя она и стала моей собственностью, как сказал папа, не я буду кататься на ней, не мне доведется ее объезжать, и не я приведу ее к победе на конных состязаниях! Через два-три года, превратившись из жеребенка в кобылицу, она достанется какому-нибудь покупателю, а я к тому времени стану женой и матерью семейства, живущей в столичной квартире с мужем-адвокатом, сделавшим блестящую карьеру.

Не подозревая, что происходит у меня в душе, этот будущий муж стоял рядом со мной и самоуверенно обсуждал, какую цену можно будет взять за Италлу, когда появится покупатель.

И вдруг эти разглагольствования показались мне невыносимыми. Я резко повернулась и бросилась бегом домой. Перепрыгивая через ступеньки, я поднялась в свою комнату. Кинулась на кровать и разрыдалась. С четверть часа я не могла успокоиться. Для слез как будто бы не было причин. Просто я несколько недель была в подавленном состоянии. Слезы лились неудержимо, я буквально задыхалась от отчаяния.

Я услышала, что Режи зовет меня. Но не ответила. Немного погодя, прижавшись лбом к окну, я стала смотреть, как солнце медленно заходит за соседний лесок. Вскоре мама позвала меня к чаю. Я не двинулась с места, прислушиваясь, что она там, в столовой, говорит.

— Нет, она не вернулась. Что за выдумки, милый Режи? У девочки такой характер...

Дальше я ничего не расслышала. Снова легла на кровать, чтобы хорошенько все обдумать, и сама не заметила, как заснула.

Меня разбудил стук в дверь.

Было темно, снизу раздавался звон переставляемой посуды. Из-за двери послышался встревоженный голос отца:

— Ты здесь, Одиль?

— Да, да! — поспешно отозвалась я.

— Что с тобой? Ты не заболела? Ты не ответила маме и не пришла к чаю.

— Успокойся, у меня все в порядке. Я просто немного устала и заснула.

Я не открыла дверь: не хотелось показываться с распухшими от слез глазами.

Он не настаивал. Я услышала его шаги: спускаясь, он тяжело ступал на каждую ступеньку. Я упрекала себя за то, что встревожила его

У меня едва хватило времени привести себя в порядок перед обедом. Я быстро вскочила, ополоснула лицо холодной водой, хорошенько протерла глаза. На этот раз желание Режи, чтобы я подкрашивалась, было весьма кстати: косметика скрыла следы отчаяния, так внезапно охватившего меня.

■

А вот смущение мне скрыть, по-видимому, не удалось, так как никто не задавал мне вопросов. Даже Режи, всегда такой проницательный, когда дело касалось меня, сделал вид, будто ничего не заметил. Правда, он был не способен понять, что я испытывала, когда слушала его торгашеские замыслы о продаже Италлы. Он говорил о ней как о товаре, который покупают или продают, словно она была какой-то посудой или мешком с зерном. Разумеется, нам приходится продавать наших питомцев, но ведь несмотря ни на что, мы их любим. Мы следим, как они крепнут, хорошеют, приобретают достоинства, которых мы добивались, и когда приходит день расставания, мы словно отрываем их от сердца. Но это понятно только лошадникам. Мог ли понять этот краснобай, который назло мне и самому себе сделался довольно приличным наездником.— мог ли он понять, что испытываем мы, конюхи или наездники, к лошади, за которой ухаживаем со дня ее рождения?

Вечером Режи весьма непринужденно излагал моим родителям свои планы. Время от времени он поглядывал в мою сторону, чтобы удостовериться, слушаю ли я, но говорил главным образом для мамы.

— Видите ли, дорогая крестная, я хочу, чтобы Дилетта, живя в Париже, не чувствовала себя оторванной от родных мест. И потому я приглядел для нас маленькую ферму, километрах в пятидесяти от столицы, где мы могли бы проводить конец недели. Там поблизости есть даже клуб любителей конного спорта.

Мы с папой переглянулись, но промолчали. Затем Режи перечислил все, что он собирается предпринять для нашего будущего устройства. Его отец думает, оставив дела, уехать с женой на юг и предлагает ему свою квартиру. Он одобряет будущую женитьбу сына и хочет помочь ему.

— Это будет чудесно, ведь правда? — обратился Режи к папе.— Мы будем жить на бульваре Мальзерб в двух шагах от церкви Сент-Огюстен. Квартира очень подходит для ведения моих дел. Она роскошна и в то же время удобна: мои рабочие комнаты будут полностью отделены от владений Одиль, для моей канцелярии и клиентов предусмотрен особый вход. Требуются лишь небольшие переделки.

Я слушала рассеянно и совершенно равнодушно, словно меня все это нисколько не касалось.

Он непринужденно шутил, а мама одобряла его, заранее представляя себе, в какой роскошной обстановке будет жить ее дочь. Они без умолку болтали о мебели, обоях, красках.

И вдруг, воспользовавшись минутой затишья, я вполголоса сказала:

— А почему бы не отложить свадьбу до будущего года?

Можно было подумать, что я бросила бомбу: мама и Режи, оцепенев, уставились на меня. Папа и бровью не повел, только еле заметно кивнул, словно одобряя меня.

Первым опомнился Режи.

— Отложить нашу свадьбу! — закричал он. — Ты это серьезно? Уверяю тебя, что там, где я сейчас живу, тебе будет очень удобно. Квартира у самых Елисейских полей, в ней тихо, и добираться туда очень просто. Отложить нашу свадьбу? Нет, нет! Ты и так решила задержаться здесь слишком долго, до августа, и все из-за этого проклятого состязания в Ла-Болё! Я согласился, но не проси у меня больше отсрочек, иначе можно будет подумать...

Он повернул ко мне встревоженное лицо с молящими глазами. Затем встал и уселся рядом со мной. Его близость, его голос снова обезоружили меня. Я покачала головой, а папа вздохнул, когда я сдалась и пробормотала:

— Я хотела только упростить...

Режи возмутился. В своем желании как можно скорей жениться на мне он отметал все возражения. Он прошептал мне на ухо слова, ставшие у него назойливым припевом:

— Я так боюсь тебя потерять!

■

— Вы серьезно думаете выйти замуж за Режи?

Я настолько не ожидала подобного вопроса от Джерри, что на минуту онемела.

Мы только сделали укол кальция Италле, и она точно таким же движением, как и ее мать, прижала свою большую голову к моему рукаву, чтобы я погладила ее по лбу.

Мы с Джерри долго говорили о достоинствах, унаследованных ею от матери, — достоинствах, которые я только теперь признавала.

С тех пор как Режи вновь вошел в мою жизнь и занял в ней такое важное место, Джерри никогда не заговаривал о нем со мной, даже имени его не упоминал. Так грубо задавать вопрос, при его чрезвычайной деликатности было ему совершенно несвойственно. Наконец я собралась с духом и ответила:

— Да. А почему вы меня спрашиваете об этом?

Он пристально смотрел на меня своими светлыми глазами:

— Мне кажется странным, что вы могли его выбрать. Вы — выбрать его.

Я открыла было рот, чтобы сказать, что я его вовсе не выбирала, а скорее стала его жертвой. Но вдруг почувствовала, что

такому человеку, как Джерри, не понять того, что произошло, и ответила отвернувшись:

— Свадьба назначена на июль.

Он процедил сквозь зубы:

— Это невозможно... Этого не может быть!

В ту минуту мне показалось, будто он имеет в виду международные состязания в августе, в которых я должна была участвовать. С его точки зрения, подготовка к празднованию свадьбы никак не вязалась с такой серьезной, трудной, а порой изматывающей работой, как тренировка наездника и его коня.

Я повернулась к нему и увидела на его загорелом лице такое непонятное выражение печали, что озадаченно пробормотала:

— Почему невозможно?

Ему, видимо, пришлось пересилить себя, чтобы заговорить. Но, поколебавшись, он сказал:

— Выйдя замуж, вы уедете из Пом-мельера?

— Разумеется, мы будем жить в Париже.

Он взглянул на наш дом и решился:

— Я не хотел бы вас пугать, не хотел бы тревожить госпожу Гобсон, но вы, вероятно, не замечаете, что здоровье вашего отца ухудшается.

Когда Джерри был в отъезде, я видела, что у папы очень утомленный вид. Его бледность и некоторую подавленность я объясняла переутомлением. И вдруг осознала, что это гораздо серьезнее. Так серьезно, что наш молчаливый друг забыл свою сдержанность, чтобы меня предупредить.

— Если бы я думал,— продолжал он,— что в этом замужестве — ваше счастье, я бы ничего не сказал

Я не хотела обсуждать с ним, каковы мои шансы обрести счастье. Несколько произнесенных им слов лишь подтверждали, что я не обманываюсь и шансов у меня нет. Я угодила в ловушку, глупую, нелепую ловушку, и мысленно говорила, насмехаясь над собой:

— Чары одного вечера!

Какие чары Режи так ловко пускал в ход, что заворожил меня? Почему с того вечера он подавил мою волю, заставлял отказываться от всех моих решений? Долго ли еще его голос, его обаяние будут завораживать меня? Я не помню, что дальше говорил Джерри. Погрузившись в свои мысли, я его не слушала, а когда наконец подняла голову, то спросила:

— Папа вам что-нибудь говорил?

— Он никогда не жалуется, вы же знаете, он тревожится не за себя, а только за вашу мать и за вас.

— Моя свадьба...

— Простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, но вам нельзя выходить за Режи. С ним у вас счастья не будет.

Я возмутилась:

— Кто дал вам право?..

Его это не поколебало:

— Моя привязанность и преданность вам троим — вот что дает мне право предостеречь вас. Вы — сильная натура, и даже если то, что я вам должен сказать, вас оскорбит, даже если вы мне этого не простите, знать это вам все равно необходимо.

Я смягчилась. Прислонившись к низкой перегородке, разделявшей стойла Италлы и ее матери, я ждала.

— Вы принесете в жертву вашу молодость, ваши вкусы, всю вашу жизнь человеку, которого не любите.

— Как вы можете это утверждать?

— Я знаю его лучше вас и не питаю к нему никакой личной неприязни, но он из тех людей, которые берут у других все, ничего не давая взамен: не такой вам нужен муж. На вас лягут все тяготы — и материальные и моральные. У него удивительный дар отстранять их от себя и взваливать на других.

— Не понимаю вас, Джерри. Какое отношение имеют эти яростные нападки на моего жениха к здоровью моего отца?

— Когда я уеду...

Я воскликнула:

— Уедете? Вы хотите нас покинуть?

Он опустил голову:

— Я не решился сообщить об отъезде господину Гобсону. Не решаюсь и теперь. Но я должен вернуться домой.

— Вы нужны вашей семье?

Мне хотелось прибавить: «Нужны этому ребенку?» — но я удержалась, и он продолжал, не ответив на мой вопрос:

— Не хочу утверждать, что я здесь необходим. Но если вы выйдете замуж и будете далеко, а я уеду, ваш отец не сможет вести в одиночку все ваше хозяйство: такой тяжелый труд окончательно подорвет его здоровье.

Это меня сразило. Картина, нарисованная им с нарочитой сухостью, была, к несчастью, правдива. Однако я не стала отговаривать Джерри от его решения уехать. Я не хотела задавать ему лишних вопросов, боясь столкнуться с новыми трудностями.

— Папа не примет от меня такого самопожертвования.

— А это и вправду самопожертвование?

На этот раз он смотрел мне прямо в глаза, и я видела в его взгляде и просьбу, и такую твердость, что была потрясена. Мне захотелось крикнуть:

«Останьтесь, прошу вас, и я откажусь от этой свадьбы, так как вы правы. Я и сама знаю все, о чем вы сейчас говорили».

Но я не произнесла этих слов и ответила против собственной воли:

— Наверное, придется подумать о продаже нашего хозяйства. Тогда папа сможет отдохнуть.

— Если предположить, что это возможно

Я насторожилась и увидела, что Джерри пришлось набраться мужества, чтобы продолжать:

— Вы не в курсе дела. Ваш отец не хотел тревожить вас, а тем более — вашу мать. Однако сейчас положение у вас довольно шаткое.

Я возмутилась:

— Поместье и дом, не говоря уж о племенных лошадях и жеребятах,— все это даст много денег. Продажа, я думаю, позволит моим родителям жить спокойно, без затруднений.

— Вы достаточно серьезны и рассудительны, чтоб осознать те трудности, кото-

рые угнетают вашего отца. Он старался скрыть их от вас. Они, пожалуй, подрывают его здоровье даже больше, чем болезнь. В ближайшие два-три года распродажа всего имущества была бы равносильна разорению: нас постигли неудачи с выращиванием жеребят, хозяйство обременяют тяжелые залоговые обязательства. Тогда как виды на будущее, напротив, превосходны.

Я прервала его:

— Ваш отъезд, Джерри, куда больше осложнит положение, чем моя свадьба.

— Нет.

Он сказал это так резко, что я вздрогнула, а так как он ничего не добавил, я забросала его вопросами. Нельзя уклоняться, надо внести полную ясность в это дело. Мне необходимо знать все подробности, а Джерри все время чего-то недоговаривал. В конце концов он сказал:

— Именно потому, что вы уезжаете, я тоже уеду.

— А я-то думала, что все это из-за вашей семьи,— проговорила я, опешив.

— Я оказался на распутье. Мне нужно сделать выбор.

— И вы уже его сделали? — горячо воскликнула я.

Меня вдруг охватила глубокая печаль, и голос мой дрогнул. Джерри покидал нас по неведомым мне личным соображениям Из-за стечения обстоятельств мы должны расстаться с этим домом, нашим домом,— эта мысль была невыносима. Я надеялась на Джерри, он был мне нужен, а он устраняется в самый решительный момент. Я продолжала запальчиво:

— Вы бросаете нас в трудную минуту. Где же ваша верность?

— Я лишь следую вашему примеру.

— Какое отношение имеет моя свадьба к вашему личному положению?

— Неужели мне надо быть таким грубым, чтобы вы поняли?

Он сделал шаг ко мне и бросил:

— Я надеялся, что мне не придется больше уточнять. Но вы меня принуждаете. Если бы я остался и пришел бы день — я желаю, чтобы он настал как можно позже,— когда Режи, а он уже говорил об этом, стал бы здесь хозяином, он тотчас, по любой цене, ликвидировал бы все, да и меня в придачу. Я не могу и не хочу видеть это.

До меня не сразу дошел смысл его слов. Но вдруг меня осенило, и я побледнела:

— Вы хотите сказать, что Режи открыто говорил о кончине папы и продаже Поммельера?

Не отводя глаз, мой друг кивнул, и я запротестовала:

— У Режи большое состояние. Ему не надо заниматься подсчетами... Ваше обвинение...

— Я не обвиняю, но, если вы всегда считали меня своим другом, мой долг, перед тем как я уеду навсегда, открыть вам глаза. Режи наплевать на все, что составляет смысл вашего существования, а вы, конечно, отвергаете все, что наполняет его жизнь. Такой девушке, как вы, не к лицу выходить замуж за какого-то хлыща только потому, что он хорошо танцует и решил во что бы то ни стало покорить ее словно на пари. Он не годится вам в мужья, и вы это знаете. Вы просто не смеете в этом признаться. В детстве вы были проницательней, вы третировали и презирали его за малодушие, считая ниже себя.

— За эти годы он изменился.

— Люди не меняются. Он и теперь уступает вам и по характеру, и по душевным качествам. Он ненавидит все, что вы здесь любите, для него невыносимо такое соперничество. Если поместье будет продано, Режи полностью овладеет вами. Вот почему я говорю вам — опомнитесь.

— А как бы вы поступили, если бы я осталась?

Ответ последовал мгновенно:

— Я бы никогда не уехал.

В эту минуту я почувствовала, что если мы продолжим этот разговор, то рискуем попасть в опасную зону, и оборвала его:

— Благодарю вас, Джерри, я подумаю, но боюсь, что уже слишком поздно.

— В вашем возрасте никогда не поздно переменить необдуманное решение, если оно может связать вас на всю жизнь. В свое время я не решился пойти на такой шаг, и возле меня не было друга, чтобы поговорить со мной так же резко, как я сейчас с вами. Из-за этого три человека — да что я говорю, все пятеро! — пострадали и еще продолжают страдать. Лучше взять обратно обещание, вырванное у вас насильно, чем испортить целую жизнь!

Он круто повернулся, не дав мне времени возразить или задать вопрос.

Он зашел гораздо дальше и сказал мне больше, чем собирался. Теперь он ничего не скажет, во всяком случае сегодня.

VIII

Я снова и снова мысленно возвращалась к необычному разговору с Джерри, и его поведение казалось мне все более странным. Однако я не могла сомневаться в его искренности, да к тому же он был прав. Попристальней присмотревшись к папе, я увидела, что он постарел. Он казался утомленным, а в его взгляде — когда он, не зная, что за ним наблюдают, смотрел на меня или на маму — порой сквозила печаль, от которой у меня на глаза набегали слезы.

Он не говорил с нами об отъезде Джерри, и хотя наш друг его еще не предупредил, папа чувствовал, что тот окончательно решил нас покинуть. Знал ли он, что его отъезд тесно связан с моим? Денежные затруднения, над которыми я никогда не задумывалась, по-видимому, продолжали его угнетать. Теперь я вспомнила об эпизоде, на который в свое время не обратила внимания. Это было на другой день после того, как Режи вырвал у меня обещание выйти за него замуж. Я проходила по коридору, когда он вышел из кабинета моего отца. Папа следовал за ним. Не останавливаясь, я заметила, что он чем-то озабочен. В последнее время это бывало так часто, что не удивило меня. Жених мой, напротив, сиял от радости, и я услышала, как он проговорил с неприятной для меня развязностью:

— Пусть это вас не беспокоит, дорогой друг! Одиль — бесценное сокровище, а я его похищаю у вас. Но больше мне ничего не нужно.

Это заявление вполне подтверждало все, что сообщил мне Джерри о нашем финансовом положении; заодно я убедилась и в бескорыстии Режи. Он хотел взять меня без приданого и даже по-своему гордился этим. Но это нисколько не меняло самих фактов. Если ирландец и я уедем, наше хозяйство быстро захиреет. Я с горечью почувствовала, что не способна предотвратить катастрофу. Она уже нависла над нами, и мне бесспорно доказали, что я ответственна за нее.

■

У меня больше не было разговоров с Джерри. По-видимому, он сам еще не наметил срок своего отъезда, и никто не заговаривал с нами об этом. Он очень старательно выполнял свою работу, но все реже появлялся у нас в доме. Я же проводила теперь больше времени в конюшнях, где сама чистила и седлала лошадей, которых выезжала, и вскоре заметила, что Джерри готовит одного из наших конюхов, чтобы передать ему свою работу. Это наблюдение очень тревожило меня и часто не давало заснуть по ночам, так как меня теперь мучил страх перед будущим.

Я была вполне довольна поведением Гувернера, его тренировки не доставляли мне никаких затруднений. С ним все шло так гладко, что я подумывала, не представить ли мне на августовские состязания двух лошадей? Почему бы не взять еще и Фальстафа? Он ужасно упрям, но в хорошем настроении — замечательный скакун. Я подходила ему по весу, но он меня не любил. Если бы мы с ним поладили, у нас были бы шансы занять первое место на первенстве мира по скачкам с препятствиями. Как это подняло бы цену его жеребят и всего нашего конного завода! А может быть, в этом и есть наше спасение?

Я еще раньше наметила такой план, но папа отверг его, считая, что Фальстаф слишком опасен. Но теперь я снова вернулась к нему, потому что Фальстаф стал относиться ко мне спокойнее, терпимее. Я выезжала на нем, не заставляя работать, и чувствовала, что он становится более податливым и слушается моего голоса. Несколько раз, повинуясь моей команде, он переходил на галоп и как птица перелетал двойной барьер. Я решила пока никому ничего не говорить о своих намерениях. Если я подружусь с этим великолепным конем, если мы выиграем первый приз, тогда отпадет вопрос о его продаже, о чем уже давно говорил папа, правда с большим сожалением. Однако нам придется расстаться с ним, если мне не удастся добиться победы.

Джерри не любил, чтобы я выезжала на Фальстафе. Если бы я не вмешалась, он на прошлой неделе уговорил бы папу продать его одному итальянцу, дававшему хорошую цену.

Всякий раз, когда Джерри слышал, что я прошу конюха вывести Фальстафа, у него явно возникало желание отменить мой приказ. Но он сдерживал себя, и после того, как я седлала лошадь и успокаивала ее лаской и куском сахара, Джерри подходил, сам затягивал подпругу и выпускал нас со двора, лишь убедившись, что Фальстаф не собирается выкинуть какой-нибудь фокус.

■

Я тем успешнее подготавливала свой прекрасный план, что в поведении Фальстафа произошла удивительная перемена и за несколько дней он стал моим другом. Он был ласков и послушен, как ягненок, и как только я появлялась возле стойла, его ржание свидетельствовало об этой неожиданной привязанности.

Все этому удивлялись и радовались; и хотя вслух никто не говорил ни слова, было ясно, что не я одна думала об участии с ним в чемпионате. Я часто посылала его на препятствия, и он, словно играя, с поразительной легкостью справлялся со всеми трудностями. Сидя на нем верхом, я не чувствовала своего веса, а когда он разбегался, я в нужный момент едва касалась его крупа хлыстом, и мы взлетали, как бы сливаясь в единое целое. Он снова опускался на землю без малейшего толчка, без всякого напряжения.

Джерри, видя нас за работой, успокоился: он убедился в том, что мы помирились, чему раньше не верил. Он высказал свое мнение папе, который еще колебался, и мы договорились, что эту лошадь, записанную вместе с Гувернером для участия в международных конных состязаниях в Ла-Боле, я буду представлять сама.

Я спокойно сообщила Режи эту новость, когда он два дня спустя позвонил мне по телефону из Парижа, но она вызвала у него такой взрыв ярости, что я, опешив, застыла с телефонной трубкой в руке.

— Я категорически возражаю, Одиль, ты слышишь меня! Я согласился перенести нашу свадьбу на конец июля. Я примирился даже с тем, что ты будешь проводить все свое время в Поммельере до этих проклятых конных состязаний, потому что ты выезжала на Гувернере без всякого риска. Но теперь я запрещаю тебе эту новую безумную затею!

Я уже пришла в себя и воскликнула с возмущением:

— Ты мне запрещаешь?!

Обычно, стоило мне немножко повысить голос, как он тотчас понижал свой. Но тут он продолжал с еще большим пылом:

— Да, решительно запрещаю выезжать на Фальстафе. Это капризная, трудная лошадь, и даже если ты способна справиться с ней, такая работа требует сильного нервного напряжения и вызовет большую усталость, чего я не могу допустить, так как наш союз — важнее всего.

Мне удалось сдержаться и не крикнуть ему: «Не для меня!».

Стараясь не выдать закипавшего во мне гнева, я сказала спокойно:

— Проще всего, Режи, было бы перенести нашу свадьбу на конец августа. К тому времени закончились бы и состязания...

— Что ты говоришь?

Он буквально задыхался от бешенства; эта сцена у телефона, превращаясь в разговор двух глухих, становилась просто смешной. Не отвечая, я потихоньку положила трубку, с улыбкой представляя себе, как этот одержимый надрывается перед выключенным телефоном.

Я не сомневалась, что он тотчас позвонит мне снова, и поспешила уйти из дома, предоставив маме успокаивать его. Однако меня не огорчил этот взрыв. Рассердившись, Режи давал мне повод, которого я искала: отказаться от взятого на себя обязательства, так как была не в состоянии его выполнить. Я не хотела знать, что за разговор будет у мамы с ее будущим зятем. Когда я вышла за дверь, в доме раздался телефонный звонок. Я поспешила к конюшням.

В них было темно, свет горел только в домике у ирландца. Я не решилась беспокоить моего друга. Не буду же я обсуждать с ним мои ссоры с женихом! Даже если мне удастся отсрочить свадьбу, это никак не изменит конца нашей истории, то есть неизбежного истощения папиных сил, отъезда Джерри, моего отъезда, развала нашего хозяйства и продажи имущества.

Я снова обдумывала эти перспективы, удаляясь от дома; мне полезно пройтись, ходьба успокоит нервы.

Я долго бродила вокруг, надеясь, что, когда вернусь домой, родители уже уйдут в свою комнату и я избегну разговора, суть которого была мне ясна заранее.

Мама, явно разгневанная, ждала меня в прихожей. Бурные объяснения были не в ее привычках, но когда она решительно направила меня в кабинет отца, в ее жесте не было ни обычной мягкости, ни свойственной ей нежности. У меня сжалось сердце. Разве я это заслужила?

Папа сидел, съежившись в своем кресле. У них с мамой, по-видимому, произошел довольно резкий разговор, и я упрекала себя, что была причиной их разногласий. Я сразу догадалась, что папа был несогласен с мамой и эта размолвка мучительна для обоих.

По поведению мамы я поняла, что она считает меня виноватой, и была огорчена ее тоном, когда она спросила:

— Что произошло у вас с Режи?

Она заранее считала, что я неправа, и решила отстаивать свое мнение. Однако я не выразила никакого недовольства и сказала в ответ чистую правду:

— Он говорил, что запрещает мне выезжать на Фальстафе, боясь, что это слишком опасно. А я ему ответила, что хорошо бы перенести нашу свадьбу на август, только и всего. Мне это показалось логичным. Он пришел в такую ярость, что я решила повесить трубку, чтобы не слушать его вопли.

Несмотря на то что я говорила спокойным тоном, без всякой запальчивости, мама, не обратив никакого внимания на мои объяснения, воскликнула:

— Он прав!

— Что запрещает мне?..

Я сделала ударение на этом слове, и думаю, что моя твердость и папино молчание привели маму в более спокойное состояние. Ее красивое лицо смягчилось. На нем даже мелькнула примирительная улыбка.

— Не обвиняй Режи, дорогая, в том, что он слишком сильно любит тебя! Он боится, как бы твоя горячность и неосторожность не довели тебя до беды. Попробуй стать на его место и пойми, как он возмущен тем, что ты больше думаешь о своих лошадях, чем о нем. Ты так его обидела! Он чуть не плакал.

Я не могла объяснить ей — так же как и Режи — истинных причин моего упорного желания добиться победы Фальстафа. Я думала, что скоро не смогу заниматься нашим хозяйством, но если добьюсь блестящей победы нашей лошади, то по крайней мере хоть немного возмещу ущерб, который нанесет отцу мой уход и отъезд Джерри. И ограничилась тем, что сказала:

— Я совсем не хочу его огорчать. Но его желание проявлять свою власть надо мной меня возмутило, вот я его и оборвала. Однако мое решение вполне обоснованно, и, спокойно рассуждая, он должен был согласиться на небольшую отсрочку.

Тут мама повернулась к отцу и, как всегда ласково, спросила его:

— А ты что думаешь, Эдуар?

Он покачал головой, посмотрел на нас по очереди с трогательной нежностью и сказал:

— Прости меня, Мюриель, но девочка права. Такая близкая свадьба, а за ней немедленная разлука с мужем, если Одиль останется до августа в Поммельере,— не очень-то хорошее начало для счастливого брака. Режи, несмотря на его любовь к нашей дочери, слишком разумный человек, чтобы этого не понять. Он очень верит тебе. Постарайся его убедить.

— Но что еще за блажь — выезжать Фальстафа?

Отец взял ее руку и поцеловал.

— Так надо, дорогая, и для Одиль, и для нас. Не старайся понять, но поверь, что так будет лучше.

— Что же мне сказать Режи?

— Пусть подождет!

— Он хотел приехать в конце недели.

Я решительно воспротивилась:

— Нет-нет, я не хочу его видеть!

— Ты на него сердита за то, что он слишком любит тебя,— грустно сказала мама.

— Только за то, что он связал меня всякими обязательствами. Пусть подождет несколько дней. Тогда мы отнесемся ко всему немного спокойнее. Утешь его, и пусть он знает, что какое бы мы ни приняли решение о сроке нашей свадьбы, это не должно никак отразиться на наших чувствах друг к другу.

С этими словами мы разошлись.

IX

Напрасно я лелеяла надежду, что мне удастся некоторое время держать Режи на расстоянии. Он не тревожил меня около недели, а потом, под тем предлогом, что надо официально отпраздновать нашу помолвку, с помощью мамы и длинного эпистолярного ходатайства вырвал у меня сог-

ласие назначить один из ближайших дней. Речь шла о чисто семейном празднике: только его отец со своей молодой женой и мои родители. Я не видела господина Бедарьё со смерти его жены Берты, тогда мне было лет десять. У меня осталось о нем лишь смутное воспоминание. Когда Режи привез его к нам, он держался довольно скованно, но, видя любезный прием, оказанный мамой его жене, вскоре оттаял. Что касается моего жениха, то он не выразил никакого недовольства, хотя я буквально игнорировала его после нашего довольно бурного разговора по телефону, и не сделал ни малейшего намека на нашу недавнюю размолвку.

Это была, так сказать, молниеносная встреча. С той минуты, когда машина Бедарьё остановилась у нашего крыльца, и до ее отъезда прошло очень мало времени. Сначала мы зашли в ближайшую церковь, где викарий принял наше торжественное обязательство и благословил драгоценный дар, который должен был скрепить нашу помолвку. То было кольцо матери Режи — он надел его мне на палец с тронувшим меня благоговением. Затем последовало застолье, на которое были приглашены наши служащие. Джерри тоже присутствовал, но ни единым словом не поздравил меня. Я напрасно старалась встретиться с ним взглядом. Лицо его было равнодушно, и он первый покинул нас.

Говорили, конечно, о квартире на бульваре Мальзерб, которой мы сможем располагать с первых месяцев будущего года. Решили, что было бы хорошо, если бы я приехала в Париж, чтобы посмотреть ее и обсудить намеченные переделки. Но едва я собралась сказать, что спешить нечего, как встретила умоляющий взгляд Режи. Чтобы не добавлять еще одной обиды к уже нанесенным, я кивнула в знак согласия. Он тотчас воспользовался этим, чтобы настоять на новой встрече, и мы были вынуждены принять приглашение Бедарьё приехать на будущей неделе. Мама согласилась от нашего имени. Мне оставалось только покориться. Наши гости не задержались. Когда они уехали, было только четыре часа дня. Режи не пытался уединиться со мной. Он понимал, что из-за своей бестактности ему пришлось сдать позиции и впредь надо действовать осмотрительней, чтобы их отвоевать. Я была ему благодарна за его сдержанность, и когда он с печальным видом прощался со мной, я подошла к нему и позволила себя поцеловать. Его искренняя радость, дрожь, которую я ощутила, когда он обнял меня, смутили гораздо больше, чем все уверения в любви.

■

Поездка в Париж, которая, несмотря на ее краткость, заранее пугала меня, прошла куда лучше, чем я предполагала. Мы остановились с родителями в тихой гостинице возле Пале-Руаяля и отправились на довольно официальный обед к Бедарьё, где присутствовали известный адвокат Герар, у которого некоторое время работал Режи, супруга адвоката и другие лица, включая одного бывшего министра. Я довольно неуклюже поздоровалась с ним.

Будучи по природе скорее нелюдимой, чем застенчивой, я молча наблюдала, как протекает этот тщательно продуманный обед, стараясь хорошенько понять, чего ждет от меня Режи. Моя будущая свекровь вела себя очень непринужденно и с блеском направляла общий разговор, но я не могла представить себя на ее месте, в роли хозяйки такого дома.

До приезда гостей мне подробно показали всю квартиру: я была подавлена ее величиной и объемом будущих переделок, которые мой жених, госпожа Бедарьё и мама так оживленно обсуждали. Мое мнение спрашивали с какой-то вежливой снисходительностью, но меня это нисколько не задевало. Я никак не могла заинтересоваться их разговором. Кончилось тем, что я покинула их и отправилась к господину Бедарьё, который уединился в своем кабинете. Он встретил меня сочувственной улыбкой.

— Идите сюда, дитя мое, поболтайте немножко со мной. Предоставим людям более сведущим, чем мы с вами, решать, в какой обстановке будет протекать ваша жизнь. Вы не изменились, Одиль, я вижу в вас ту же сдержанную и хорошо воспитанную девочку, которая, улучив минутку, тихонько выскальзывала из-за стола или из гостиной, чтобы бежать в конюшни. Помню я и маленькую отчаянную всадницу, крепко сидящую в седле и бравшую препятствия на глазах у перепуганного Режи. Я частенько смеялся, глядя, как вы помыкаете им, но сейчас, зная ваш характер — вам не скрыть его за внешней сдержанностью,— я счастлив, что вы согласились выйти замуж за моего сына. Ваше влияние на него благотворно во многих отношениях. Он восхищается вами, завидует вам и любит вас с детских лет. И поэтому для его же пользы держите его в повиновении.

Я всматривалась в этого человека с резкими чертами лица, удивлялась его проницательности, а он продолжал, дружески улыбаясь:

— Режи не похож на меня ни внешностью, ни характером. Он — вылитая мать. Я долгое время считал, что для мужчины это недостаток, но он ловок, смышлен и иногда поражает меня своим упрямством. Оно заменяет ему силу воли. Я упрекал себя, что, за исключением материальных забот, уделял ему мало внимания. Я им не руководил. А теперь я думаю, что это, возможно, было к лучшему: так он получил возможность самостоятельно утвердиться.

Он помолчал и, усмехнувшись, добавил:

— Многие, и в первую очередь Режи, упрекали меня за то, что после смерти Берты я быстро утешился, найдя себе жену гораздо моложе меня. Я не оправдываюсь и отчасти понимаю досаду сына. Каковы бы ни были достоинства мачехи, она занимает место ушедшей любимой матери и кажется ему захватчицей. Только в последние годы Режи отдал должное Гертруде, и это принесло мне большое облегчение. Я счастлив, милая Одиль, что у меня нашлось несколько минут, чтобы высказать вам свои чувства! Кроме искренней симпатии к вам я испытываю глубокую благодарность за то, кем вы были и будете для вашего мужа.

Я не прерывала его, но слушала, не отводя глаз. Он мне положительно нравился, этот господин Бедарьё, я уже сожалела, что ни мои дружеские чувства к нему, ни сходство взглядов на Режи ни к чему не приведут: едва возникнув, наше взаимное расположение оборвется, так как мы сразу расстанемся. Мне хотелось ответить ему, поведать о своих переживаниях. Но пришли остальные.

Однако это не мешало мне, разглядывая роскошную обстановку, где мне предстояло жить, задавать себе вопрос: «Как я сюда попала?»

■

Несмотря на мое дурное настроение, Режи не сделал мне ни одного упрека. В следующие два дня он был так внимателен, так нежен, что я вдруг смягчилась. Без особых уговоров я согласилась заглянуть в его холостяцкую квартиру, и она, в противоположность нашей пышной будущей резиденции, очаровала меня. Дом находился на маленькой тихой улочке, возле Елисейских полей, а окна трех комнат его квартиры выходили на большой внутренний сад, окруженный высокими зданиями.

Я наивно спросила, почему бы нам не остаться жить здесь, но горячее возмущение Режи, к которому присоединилась и мама, заставило меня умолкнуть. Карьера, блестящее будущее моего мужа, не может развериуться в столь скромных апартаментах. Я смирилась и замолчала, сразу потеряв интерес к разговору.

Режи старался представить нам столицу во всем ее блеске: рестораны, театр, спектакль в «Лидо» заняли все время, каким мы располагали. Он приготовил мне чрезвычайно приятный сюрприз: в воскресенье после обеда мы отправились на бега, в Лоншан. Это доставило нам с отцом большое удовольствие.

После вечера, проведенного в «Лидо», Режи отвез нас в гостиницу, где мы условились, что он приедет в Поммельер через две недели, на каникулы в Троицын день. Все это время я буду тренироваться и готовить лошадей, чтобы потом дать и себе и им несколько дней отдыха.

X

Режи приехал в Поммельер только в конце мая на каникулы по случаю Троицы. Он хотел добавить к ним еще два-три дня, что меня отнюдь не приводило в восторг. Мне так хотелось, чтобы он понял, что его приезд и, скажем прямо, даже его любовь тяготят меня: в это время я могу себе позволить краткий отдых, а его присутствие неизбежно влечет за собой ненужные хлопоты и тревоги. Я все больше чувствовала себя пленницей. Почему он не хочет дать мне свободу до конца августа? Мы только выиграли бы, и будущее представилось бы нам в совсем ином свете.

Когда мы гостили в Париже, он был необыкновенно терпелив и мил, теперь же, едва приехав, неожиданно стал таким властным, что я сначала растерялась. Он начал с заявления (дело было в пятницу вечером), что теперь не может быть и речи о выездке той или иной лошади. Это совершенно бесполезно; если работа в конюшне на время каникул и не может совсем прекратиться, то она сильно сокращается — ведь животных выгоняют на пастбища. Им, как и людям, нужен отдых.

Это меня взбесило и вызвало желание его оборвать. Однако я промолчала, тем более что разговор шел при бесстрастном Джерри. Режи собирался организовать наш отдых. Мне хотелось побездельничать, расслабиться, ведь он приехал ради меня, зачем же нам колесить по дорогам, принимать приглашения, устраивать приемы? Он был уверен, что мама его поддержит, а папа останется нейтральным, и вскоре я заметила, что его раздражает моя пассивность. Он строил планы на конец недели, полагая провести его у нас, а меня это совсем не устраивало, так как я во вторник с раннего утра собиралась снова взяться за Фальстафа — праздность, наверное, томила его не меньше, чем меня.

Когда в субботу утром мама сообщила, что Мабель приглашает нас на воскресный обед в нашу честь, после которого будут устроены танцы, я решительно заявила, что никуда не поеду. Режи побледнел и с деланной улыбкой сказал:

— Полно, Дилетта, нельзя же так резко отказываться. Они рассчитывают на нас.

— Я должна каждый вечер ложиться рано. Мне нужно много спать. Ничто не мешает тебе пойти одному. Со вторника мне снова придется очень рано вставать. У меня будет трудная неделя, мне надо наверстать потерянное время.

— Спасибо за такое очаровательное определение, я полагаю, оно относится ко мне!

— Не смеши меня! Ты, видимо, не представляешь себе, что лошадь...

— ...Значит для тебя больше, чем будущий муж!

Я пожала плечами, стараясь не сердиться и заставить его понять, что работа требует от меня большой дисциплины.

— Вот против этого я и восстаю.

Мама выскользнула из комнаты, и мне не хотелось, чтобы папа из кабинета слышал наш спор. Поэтому я увела Режи из дома.

— Я не могу допустить,— вскричал он, взбешенный,— чтобы твой отец взваливал на тебя непосильную работу.

— Ничего он на меня не взваливает. Я делаю все добровольно и с радостью. Тем не менее мне каждый день приходится вставать в шесть часов, и в эти дни глупо и утомительно засиживаться допоздна. К тому же мне так скучно на этих званых вечерах, уж лучше поспать подольше!

— Это невозможно! Мы не должны обижать Куров. Твоя мать согласилась от нашего имени.

— Я позвоню Мабель и извинюсь. Они с отцом поймут меня. И умоляю тебя — пусть это не помешает тебе пойти к ним.

Все мои доводы не могли его убедить, и он все больше ненавидел мою работу, считая ее препятствием, стоящим между нами. Желая мира и чувствуя, что совесть у меня нечиста, я уступила, обещав пойти на этот обед. Однако одно условие я все же поставила: если вечер затянется, я возьму машину и уеду вместе с папой, со-

славшись на его усталость. Эта отговорка была немного лицемерна, но мой жених не возражал.

Больше у нас не было столкновений. Несмотря на мою кротость — я старалась ни в чем ему не перечить,— он был явно недоволен мной за то, что я часто бывала невнимательна, когда он излагал мне свои планы. По правде говоря, я вынашивала собственный план, который становился все более четким и твердым. Я окончательно решила перенести нашу свадьбу на месяц: вместо 27 июля отпраздновать ее 27 августа — и считала, что нет никакой причины делать из этого драму. Я сообщу Режи о своем решении перед самым его отъездом. Сделать это я хотела как можно позже, чтобы мне не пришлось слишком долго бороться с ним. Он постарается заставить меня изменить мое решение, и я боялась, что его искреннее огорчение будет не самым легким испытанием, перед которым я должна устоять.

■

Итак, мы приехали в дом Кура на двух машинах. Режи настоял, чтобы я сидела рядом с ним, а мама села за руль, чтобы отвезти папу. Мабель в длинном белом платье была хороша, как греческая богиня. Я высказала ей свое искреннее восхищение. А она горячо и вполне искренне поздравила меня с помолвкой. Приглашенные были завсегдатаями наших обычных встреч, и к ним прибавился наш врач и друг доктор Марэ.

Закоренелый холостяк, Пьер Марэ в свои пятьдесят лет обожал лошадей и был весьма предан своим больным и друзьям. Отец был и тем и другим, и они относились друг к другу с большим уважением. Марэ редко появлялся в обществе, и я удивилась, встретив его здесь. Он ответил на мои слова с легкой иронией:

— Не мог же я отказаться от возможности поздравить тебя с твоей будущей свадьбой!

И добавил тихонько:

— Значит, ты нас покидаешь?

У меня снова возникло ощущение вины; я покраснела. Он заметил, что огорчил меня, и нежно поцеловал, сказав ворчливо:

— Ведь мы тебя так любим, детка. Нам всем будет не хватать тебя.

Воспользовавшись тем, что мы стояли в стороне, я быстро спросила:

— Как вы находите папу?

Он неопределенно развел руками и сказал:

— Он слишком устает, хотелось бы, чтобы у него было поменьше забот

— И вы думаете, что одна из них — моя свадьба?

— Нет. Ведь это счастливая свадьба, не так ли?

В его тоне не было уверенности. Он просто повторял то, что говорила мама, но, хорошо зная меня с самого детства, догадывался, что ситуация была сложнее, чем могло показаться со стороны. Он избавил меня от затруднения, решив не дожидаться ответа, и заговорил о Фальстафе: только вмешательство Режи, которого, должно быть, раздражал наш слишком долгий разговор, прервало оживленное обсуждение достоинств моей лошади.

Так как на этом вечере мы были почетными гостями, Ришар Кур посадил меня справа от себя, а моего жениха на такое же место рядом с Мабель. С самого начала ужина — кстати сказать, великолепного, я насладилась им сполна — Режи стал подчеркнуто ухаживать за ней. Теперь я сидела примерно с теми же людьми, что и три месяца назад, но я была уже совершенно иной: меня ничуть не раздражало то, как они себя вели, я даже чувствовала некоторое облегчение, решившись отложить свадьбу, а разговор с Пьером Марэ подкрепил это решение. Когда начались танцы, Режи не отходил от Мабель, но это меня нисколько не задевало. Время текло, и я все думала, что было бы гораздо лучше лежать в кровати и спать, чем терпеть, как милейший ветеринар наступает мне на ноги, или смотреть, как мой жених пыжится и распускает хвост перед долговязой англичанкой, упоенной своим неожиданным успехом.

Когда он наконец решил подойти и ко мне, лицо его сияло. Он сразу подхватил меня и прошептал:

— Танец нашего первого вечера!

Признаюсь, что из-за усталости или от скуки я не узнала эту мелодию. Во всяком случае, совсем не почувствовала ее прежних колдовских чар. Я высвободилась из рук Режи прежде, чем кончилась пластинка, и сказала, как бы извиняясь:

— Я устала. Мне лучше вернуться домой.

Он не скрывал своего недовольства.

— Все это из-за твоей дурацкой тренировки, я скажу твоему отцу...

— Ничего ты ему не скажешь! — отрезала я. — У него достаточно своих забот, незачем надоедать ему еще нашими мелкими ссорами, он тоже устал, я отвезу его домой. Нам пора спать. А ты оставайся, тебе же здесь весело.

Оскорбленный моим равнодушием, он усмехнулся:

— Ты даже не ревнуешь!

Это слово, да и само чувство были мне так чужды, что я не могла удержаться и засмеялась. Задетый за живое, он повернулся ко мне спиной, проворчав:

— Делай что хочешь!

Последовав его совету, я направилась к отцу, который разговаривал в углу гостиной с Пьером Марэ. Папа сразу согласился со мной, но бросил вопросительный взгляд в сторону мамы, которая, судя по всему, чувствовала себя превосходно, перепархивая от одного из братьев Бруссар к другому.

Пьер Марэ понял мысль отца, не хотевшего портить ей удовольствие. Впрочем, она, не задумываясь, отказалась бы от развлечений, чтобы проводить мужа домой.

— Смывайтесь вдвоем, а я ей все объясню. Она вернется с Бедарьё.

— Уговори ее остаться, и, главное, пусть она не тревожится

— Будь спокоен, я за ней присмотрю.

Мы потихоньку удалились, и никто, кажется, не заметил нашего бегства. По дороге папа намекнул на плохое настроение Режи, оно не скрылось от него. Ему-то я

могла напрямик поведать о своих намерениях. Сначала он неуверенно возражал, но вскоре согласился, добавив только:

— А что скажет мама?

— Она должна понять меня. Ты тоже меня поддержишь И самому Режи, когда пройдет первый шок, придется признать, что так будет лучше.

— Я бы очень этого хотел, моя милая. Я уважаю твоего жениха и надеюсь, что с ним ты будешь счастлива и избавлена от житейских трудностей Но он нас плохо понимает. Будь же поосторожней, старайся его не огорчать, ведь он тебя горячо любит.

В этом я не сомневалась. Однако я не хотела позволить себя тиранить. Я легла спать со спокойной душой, считая, что не заслужила никаких упреков.

■

Когда я проснулась, хотя никто не постучал в мою дверь, напоминая, что пора вставать, и в доме и во дворе было тихо, часы у моего изголовья показывали девять. Значит, все в доме еще спали, и я лениво потягивалась в постели, довольная тем, что сегодня мне не надо мчаться в конюшни и браться за ежедневную работу.

Я встала, не спеша умылась и тщательно оделась. Я не сомневалась, что мне придется выдержать нападки Режи, а может быть, и упреки мамы. Я твердо решила оттягивать время и действовать осторожно, чтобы заставить его проглотить приготовленную мною пилюлю.

Я первая села за завтрак и только-только начала намазывать маслом тост, когда появился Режи. Он слегка коснулся губами моего лба и, несмотря на почти трагическое выражение лица, не сказал ни слова ни о моем поведении на вчерашнем вечере, ни о внезапном отъезде. Вскоре пришли папа с мамой, и все мы заговорили с наигранной веселостью, которая как будто оживила нашу трапезу. На деле же она никого не могла ввести в заблуждение.

Еще раньше мы договорились, что в этот понедельник все вместе поедем пообедать в Кан, но мои родители под каким-то благовидным предлогом уклонились, а Режи не предложил мне ни поехать туда вдвоем, ни отправиться в кинематограф в Мортань. Мы снова собрались за столом на ленч, который проходил в такой же атмосфере, что и завтрак.

После кофе, чувствуя, что буквально задыхаюсь в этой напряженной обстановке, которую мы тщетно старались смягчить, я собралась выйти, и Режи твердо взял меня под руку.

— Я пойду с тобой.

Небо нахмурилось, с моря дул холодный ветер, предвещая дождь. Мы надели непромокаемые плащи и отправились в сторону пастбища. Мы молча шли быстрым шагом. Однако я не сомневалась, что мне не избежать неприятного объяснения.

Не успели мы пройти и полукилометра по направлению к беговой дорожке, как разыгралась буря. На небе громоздились черные тучи, первые тяжелые капли застучали по нашим спешно поднятым капюшонам.

— Нам лучше вернуться,— сказала я Режи.

Я знаю, как внезапно налетают эти яростные весенние бури. Мы повернули назад, и на нас тут же обрушились водяные потоки. Мы бросились бежать под хлеставшими струями. Я скользила по мокрой траве, Режи поддерживал меня. Запыхавшись, мы добежали до «седельной» — ближайшего строения на нашем дворе. Дальше бежать не стоило. Войдя, мы сбросили мокрые плащи и облепленные грязью башмаки, оставлявшие следы на блестящем плиточном полу.

Седельная — место, которое я обожаю. В ней пахнет лошадьми и до блеска начищенной кожей. По стенам в строгом порядке развешаны седла, уздечки, вожжи, стремена, недоуздки, цепочки, мундштуки. Хлысты и плети разложены на козлах. Бичи собраны в углу. Все металлические части сияют. Все кожаные — лоснятся. В шкафу сложены попоны, потники, краги, бинты для ног. На видном месте стоит и ветеринарная аптечка. В стенном шкафу — сбруя, требующая ремонта. В ящике — инструменты, нужные для мелких починок, которые можно произвести на месте, без мастера или кузнеца. Тут же хранятся и наши реликвии: подковы, снятые с наших лучших питомцев, дощечки со стойл, где их держали. Некоторые имена лошадей стали знаменитыми. На столике стоит копыто нашего коня, дожившего до глубокой старости. Не обошлось и без английских гравюр на стенах.

Здесь царствует наш старший конюх, и никто из нас не посмеет оставить седло, не вычищенное после поездки, или не проверенный повод. Уход за сбруей своей лошади не менее, если не более, важен для наездника, чем забота о собственной экипировке.

Я с удовольствием разглядывала эти знакомые предметы, но Режи, присевший на краю стола, становился все нетерпеливей.

Бушевавший на дворе ливень сделал нас пленниками, но место, где мы оказались, было не хуже другого для выяснения наших отношений, ставших невыносимыми Поскольку Режи молчал, мне пришлось начать первой.

— Ты на меня в обиде за вчерашнее,— сказала я безо всяких предисловий.

— Больше всего меня удручают наши постоянные ссоры.

— Я их не ищу.

— Но ты делаешь все, что можешь, чтобы меня огорчить Тебе, видно, доставляет удовольствие мучить меня?

Итак, мы вышли на стезю жалоб и стенаний. Я чувствовала свою вину, но это ничуть не смягчило, а скорее разозлило меня. Я дала себе слово быть терпеливой, как обещала папе. Но перед упорством Режи я не могла отступать. Надо было резать по живому, и я бросила, не раздумывая:

— Довольно, Режи, давай вместе посмотрим фактам в лицо. Наша свадьба не может состояться двадцать седьмого июля.

Я была готова встретить жестокий отпор Но он только потупился, и его подавленность огорчила меня: я видела, какую боль причинила ему своим неумолимым решением. Я приготовилась к схватке и хотела

один за другим разбить все его аргументы, но он обезоружил меня своей покорностью, своим молчанием. Он стоял, опустив глаза, неподвижно, словно окаменев. Только крепко сжатые челюсти выдавали, с каким усилием он сдерживается. Я шагнула к нему. Он медленно поднял голову, его лицо меня испугало: оно было бледно, черты исказились. Я пробормотала:

— Прости меня!

По его лицу пробежала слабая улыбка.

— За что простить, Дилетта? За то, что ты меня не любишь?

Я возразила, вскипев:

— Не об этом идет речь!

— Увы, ты ошибаешься, бедняжка. Но пусть будет по-твоему. Двадцать седьмого августа? Почему бы и нет? Или двадцать седьмого октября... или никогда!

— Режи!

Он выпрямился, и я вздрогнула, потому что он приближался ко мне. Он заметил это и горько усмехнулся:

— Успокойся, я ни в чем не хочу тебе перечить, даже обнимать тебя не стану и готов вернуть тебе слово.

Теперь я дрожала и готова была заплакать. Голос у него стал глухим, невыразительным, каким-то пугающим. Я проговорила:

— Я прошу тебя только отложить...

— Еще счастье, что ты меня не выгоняешь совсем. Скажи, чего ты хочешь, Дилетта, и я исполню твою волю.

Такое самоотречение угнетало меня. Желая оправдаться, я пробормотала:

— Это не каприз, поверь мне. Нам необходимо выиграть в Ла-Боле.

В глазах у него мелькнуло безнадежное выражение.

— С риском переломать себе кости!

— Не делай из этого драмы. Фальстаф очень добр, и мы прекрасно ладим. Что же до Гувернера...

— Я отказываюсь тебя убеждать. Я слишком сильно тебя люблю и дорожу тобой — вот в чем моя ошибка. Лучше всего мне уехать сегодня же вечером.

— Ты хочешь уехать раньше времени?

— Так будет лучше. Мы слишком действуем друг на друга. Когда я здесь докучаю тебе несносными жалобами, я нарушаю твой покой, а он тебе необходим, это верно. Я готов приехать по твоему первому зову, но пока нам лучше держаться на некотором расстоянии. Я только сейчас это осознал.

Он предлагал больше, чем я смела надеяться, а я еще была недовольна. Мы уже были на грани разрыва, а я упустила эту возможность.

Дождь перестал, и солнечный луч, пройдя сквозь застекленную дверь, осветил все помещение, рассыпал блестки на лоснящейся коже и металлических частях сбруи. Я не знала, что сказать и что делать. Погладив меня по щеке, Режи тем же глухим, безразличным тоном сказал:

— Ступай, Дилетта... Пока нет дождя.

— А ты не пойдешь?

— Немного позже. Я должен собраться с мыслями. Я перенес такое потрясение... Не беспокойся, все прошло. Только предупреди крестную и отца. Скажи им, что я уезжаю. Придумай что-нибудь.

— Ты всерьез хочешь уехать?

— Да, и чем скорей, тем лучше. После чая. Постарайся, чтобы меня не задерживали. Это было бы просто невыносимо.

— А когда вернешься?

— Попозже, когда ты меня позовешь.

Мне хотелось смягчить причиненную мной боль. Но он не дал мне на это времени.

— Мы все сказали, дорогая, по крайней мере — все самое главное. Помни только, что я тебя люблю, что ты мне необходима. И потому не суди меня слишком строго за мой деспотизм.

Я хотела его поцеловать, чтобы утешить. Он отстранился:

— Не лишай меня силы, необходимой, чтобы тебя послушаться.

Я была уже почти готова взять назад свои слова и отказаться от моего плана. Но тут, себе во вред, он добавил еще фразу, оберегая свое самолюбие:

— Перед твоими родителями мы сделаем вид, будто приняли это решение вместе.

XI

Сказать по правде, я была недовольна собой. Так легко доставшаяся мне свобода, полученная ценой нанесенной мною глубокой раны, не доставила мне той радости, какую я ожидала. И потому у меня был довольно кислый вид, когда в пять часов я села за стол. Однако я неплохо справилась со своей задачей, когда объяснялась с родителями. Я превозносила Режи, хвалила его за доброту, за понимание, за то, что он сам предложил отложить нашу свадьбу. Не буду утверждать, что я и вправду обманула родителей, но они не стали углубляться в вопрос о его отъезде. Когда Режи появился, примерно через час после того, как мы расстались, я убедилась по его ясному взгляду, что он справился с переиесенным ударом. Он был даже довольно весел и пытался рассмешить меня, утверждая, что признал превосходство лошади перед человеком. Шутил, говоря, что ревнует меня к Фальстафу. Ему удалось изменить общее настроение, даже мое. Однако я так хорошо знала его и понимала, каких усилий ему стоило смириться. Когда мы на несколько минут остались одни, он только повторял, что любит меня и все его поступки — порой, возможно, и неуместные — объясняются его чрезмерной любовью. Голос его снова обрел свое колдовское обаяние. Обняв меня, он твердил нелепые и очаровательные слова, обретающие смысл, лишь когда их произносят из уст в уста, когда два тела прижались друг к другу. И вдруг мной овладело какое-то отчаяние, из глаз брызнули слезы. Режи быстро отстранился и несколько мгновений смотрел на меня. Казалось, мое горе доставляет ему удовольствие и как бы возмещает его унижение. Мне думалось: вот-вот он заговорит... быть может, опять начнет упрашивать меня, а я на этот раз не смогу устоять. Но он благоразумно воздержался, снова обнял меня и сжал с такой силой, что мне стало больно. А потом отпустил и вышел. Я стояла на месте не двигаясь и слышала, как он включил стартер и быстро сменил скорости. Рокот мо-

тора затих, когда Режи выехал на дорогу.

За эти два дня я устала больше, чем во время усиленной тренировки. Нервы были так напряжены, что я плохо спала, хотя и старалась убедить себя, что все устроилось к лучшему. Пережив мучительную сцену, я обрела свободу на необходимый мне срок. А дальше...

Я тщетно пыталась представить себе, что будет дальше: я ничего не видела, ничего не чувствовала. Мне следовало радоваться, что на этот раз я добилась желанного результата без драматических последствий. Но и радости не ощущала. Впереди у меня был месяц... но что значит один месяц по сравнению с целой жизнью?

■

Звон будильника прервал тяжелый сон, одолевший меня уже поздно ночью. Я встала не в очень хорошей форме, однако холодный душ успокоил мои нервы и вернул равновесие. Наспех проглотив чашку чаю, я, как обычно, отправилась в конюшни. Джерри был уже на месте, а конюх прогуливал Фальстафа на корде по двору. Мой конь, покрытый красно-зеленой попоной — это цвета нашей фирмы, — казался веселым. Когда я приблизилась, он заржал, принял из моих рук кусок сахара и дал мне ласково погладить себя по лбу. Я привязала его к кольцу в стене и направилась в седельную, постаравшись выбросить из головы воспоминание о сцене, которая произошла здесь накануне. Выбрала свое английское седло — недавний подарок папы, — изделие знаменитого мастера, владевшего тонким, очень редким в наши дни искусством.

Фальстаф стоял спокойно, нисколько не нервничая, пока я седлала его и надевала все принадлежности сбруи — от потника до уздечки. Зная, какой он чувствительный, мы предпочитали надевать ему уздечку без металлического мундштука, щадя его нежные губы. Я осмотрела его ноги, хотя и знала, что это уже сделано, и затянула подпругу. Затем вернулась в стойло, чтобы положить попону и взять перчатки и хлыст. Не ожидая помощи, я вскочила в седло и разобрала поводья. Тут подошел Джерри и, даже не поздоровавшись со мной, проверил подпругу и чуть подтянул стремена. Похлопывая лошадь по шее, я наклонилась к нему и сказала вполголоса:

— Моя свадьба отложена до конца августа.

Он быстро вскинул голову, молча посмотрел на меня, вспыхнул, словно это его взволновало, и угрюмо проворчал:

— Ладно, я уеду в октябре.

Он отвернулся, а я тихонько позвала:

— Джерри...

Он сделал вид, что не слышит, и ушел.

Я вздохнула и, коленями сжав бока лошади, приказала ей идти. Как только мы миновали мощеный двор, Фальстаф пошел рысью по песчаной аллее, которая через километр выходила на скаковой круг. Фальстаф знал весь наш путь, знал он также, какого усилия требует каждое препятствие. Мне даже не приходилось его побуждать, стоило лишь чуть-чуть сжать колени точно в нужный момент, чтобы напомнить ему, что он должен сделать прыжок. Своим хлыстом, сплетенным из гибкого тростника, с золоченой шишечкой на рукоятке, подаренным мне Джерри в день моего восемнадцатилетия, я пользовалась только перед двойным препятствием из параллельных брусьев, установленных на максимальной высоте,— это был камень преткновения, где разбивалось много надежд.

Легким ударом этой гибкой тросточки по крупу Фальстафа я предупреждала его, что сейчас надо сделать прыжок. На этот раз мой хлыст ударил его не сильнее, чем всегда, однако я почувствовала, как Фальстаф весь сжался, яростно противясь моему приказу и отказался прыгать. Как все опытные наездники, я умела падать, когда лошадь выбрасывала меня из седла. Это было не первое мое падение; обычно я вставала без особых повреждений. На этот раз от резкой боли я на несколько мгновений потеряла сознание. А очнувшись, поняла, что лежу на спине. Превозмогая боль, я выпрямилась и увидела, как Фальстаф с болтающимися стременами рысью направляется домой. Я попробовала встать на ноги, но острая, как молния, боль перехватила мне дыхание. Как это меня угораздило так неудачно упасть? Быть может, неожиданный каприз лошади или мое неважное самочувствие замедлили мою реакцию. Осторожно пытаясь подняться, я поняла, что очень сильно расшиблась. Я упала спиной на острый камешек: наверное, у меня будет изрядный кровоподтек. Однако боль, поднимавшаяся по спине, понемногу становилась терпимой, я пошевелила руками, ногами, головой и успокоилась, убедившись, что ничего не сломала.

После того как конь убежал от меня, мне оставалось только вернуться пешком. Я стряхнула мокрый песок, прилипший к старому костюму, и, морщась от боли при каждом движении, заковыляла, с горечью вспомнив слова Режи: «С риском переломать себе кости!» Обошлось без переломов, но на деле мой конь, хоть и казался спокойным, был не вполне надежен. Больше всего меня бесило, что мне, очевидно, придется на некоторое время прервать тренировки. Я стонала на каждом шагу и, пройдя метров двадцать, с облегчением остановилась, увидев вдали заворачивающую в аллею машину. Из машины выскочил бледный Джерри и бросился ко мне; поддерживая и усаживая меня, он сказал:

— Я увидел, что вернулся Фальстаф, и бросился за вами. Что случилось?

Я старалась поудобней прислониться к спинке сиденья и, пока он разворачивал машину, коротко рассказала о том, что случилось перед моим падением, то есть о непонятном отказе Фальстафа взять препятствие, которое он так охотно брал раньше.

— Я должен был это предвидеть... Должен был помешать вам! Коварная лошадь! Я сам виноват. Вас нельзя было ей доверять.

Несмотря на боль, которая, разумеется, должна была в течение дня превратиться в обыкновенную ломоту, я не могла удержаться от смеха:

— Не преувеличивайте, Джерри! Не первый раз я перелетаю через голову лошади

Сегодня я неудачно приземлилась, только и всего.

— Нет! Нет! Это лошадь меня обманула, а я и не заметил.

Он гневно обрушивался на лошадь; меня позабавило, что ей он уделяет больше внимания, чем мне. Наконец он опомнился и спросил:

— Вам больно?

— Спина побаливает; — сказала я шутливо, — в довершение несчастья упала на камешек.

— Я сразу же отвезу вас к доктору Марэ

— Ни в коем случае! Мама меня хорошенько разотрет. Я проведу денек дома, а завтра все будет в порядке.

Он привез меня домой, помог выйти из машины и чуть не на руках втащил в гостиную, где мое появление вызвало испуганные восклицания Мари. Вслед за ней туда поспешно спустилась в халате и мама, а папа выскочил из своего кабинета. У меня был довольно плачевный вид, и мне пришлось еще раз рассказать о своем злоключении, стараясь представить его как маленькую неприятность, но, по правде говоря, мне было очень больно и больше всего хотелось раздеться и лечь. Теперь, когда мышцы мои остыли, у меня все болело. Я хотела подняться, и Джерри, стоявший наготове, едва успел подхватить меня на руки, так как я потеряла сознание. Вскоре я пришла в себя, но оказалось, что из-за сильной боли вряд ли смогу подняться по лестнице. Джерри решительно взял меня на руки.

— Обхватите меня за шею, — приказал он, не слушая моих возражений.

Он положил меня на поспешно приготовленную постель. Мари помогла маме раздеть меня. Пока они стаскивали с меня сапоги, я терпела адские муки. По моей просьбе мама крепко растерла меня и дала две таблетки аспирина. Вытянувшись на кровати, я почти сразу уснула.

■

Было уже темно, когда я пришла в себя, но едва приподнялась, чтобы встать, как почувствовала такую сильную боль, что вскрикнула и снова упала. Мама тотчас включила свет и подошла ко мне. Она не выходила из комнаты, и ее нежное лицо было встревожено.

— Я не решилась разбудить тебя, дорогая, но ты, наверное, мучилась и все время стонала. Я позвала Пьера. Пусть он тебя осмотрит, так будет лучше.

Пришлось сознаться, что мне очень больно. Без сомнения, это затянется на несколько дней, но доктор Марэ, хорошо зиавший наездников и все, что с ними может случиться, сумеет быстро поставить меня на ноги.

Не без труда удалось сесть, чтобы приняться за еду, которую принесла Мари в сопровождении Джерри и папы. Они стояли все четверо возле моей кровати и подбадривали меня своими сочувственными взглядами Тут вошел Пьер Марэ и, увидев, как уютно я сижу в подушках с подносом на коленях. воскликнул:

— Если ты проголодалась, значит, дело не так уж плохо! Кончай свой ужин, и я тебя осмотрю.

Собрав остатки ужина, Мари отправилась вниз, а Джерри двинулся за ней, но доктор его остановил.

— Подождите, — сказал он, — я хотел бы сначала узнать, что произошло.

Рассказывать пришлось совсем немного. Я заговорила первая и изложила ему факты, а Джерри подтвердил мои слова. Затем Пьер предложил уйти всем, кроме мамы. Он попросил меня повернуться, чтобы начать осмотр. Но стоило мне двинуться, как я вскрикнула от боли, и слезы брызнули из глаз; ему пришлось самому перевернуть меня.

Я чувствовала, как его пальцы прощупывают мне спину, скользят по позвоночнику, и охнула, когда он нажал на какое-то место. Затем наступило молчание. Прижавшись лицом к подушке, я представляла себе, как он переглядывается с мамой. Меня вдруг охватило волнение:

— Это серьезно?

— Лежи спокойно. У тебя великолепный кровоподтек, который понемногу темнеет, но, по-видимому, ничего не сломано. Мать будеть делать тебе растирания мазью, которую я ей дал. А ты лежи.

Я запротестовала:

— Лежать из-за какого-то синяка!

— Завтра тебе покажется, что тебя разрезали на кусочки. Необходим полный покой.

— А лошади?

— Несколько дней ты не сможешь ездить верхом. Ты должна понять, что у тебя нехороший ушиб Завтра я зайду.

Потом, погладив меня по голове, он спросил:

— Ты можешь полежать на животе, пока мать натрет тебя мазью?

Когда я не двигалась и не опиралась на спину, мне почти не было больно, что я ему и сказала. Он подтянул одеяло мне на плечи.

— Будь умницей и старайся побольше спать. Я дам тебе для этого что надо.

XII

За три дня лечения боль стала вполне терпимой, и в субботу я в первый раз смогла подняться без криков и стонов Джерри отнес меня вниз, так как я еще не могла спускаться сама. Опираясь на его руку, я прошла несколько метров от лестницы до дивана, но какая-то тупая боль давила мне на ноги. Когда я шла, она становилась особенно мучительной. Однако я не хотела ей поддаваться и заставляла себя делать несколько шагов по комнате. Пьер Марэ не возражал, когда я говорила, что это просто ломота, но мне казалось, что у него нет уверенности.

— Ты не усердствуй, если тебе и правда больно.

Я не могла помешать маме, и она рассказала Режи о печальном происшествии. Я не хотела знать, как он к этому отнесся. Уж наверняка не преминул высказать обычную сентенцию: «Ну, что я тебе говорил!» Мама передала мне только, что он очень встревожен и хочет меня повидать. Предвидя, как я к этому отнесусь, мама попросила его пока повременить, но каждый вечер в восемь он звонил, чтобы узнать

о моем состоянии, и разговор их затягивался. В моей комнате не было телефона, и я не могла с ним общаться сама. Но в эту субботу я как раз была внизу, когда он позвонил после обеда, и мне не удалось отказаться взять трубку. Я заранее томилась, зная, что сейчас услышу: упреки за мою неосторожность, нудные жалобы, попытки вырвать у меня обещание больше не садиться на Фальстафа. Без этого, конечно, не обошлось, но в сдержанном, ласковом тоне.

— Не мешай им лечить тебя, любовь моя. Я сам виноват, что не сумел убедить отказаться от этой опасной затеи. Мне больно, что ты страдаешь, а я не в силах тебе помочь. Я не хочу быть навязчивым, если мое присутствие тебе неприятно. Но знай, что я брошусь к тебе, как только ты позвонишь. Я люблю тебя, Дилетта, больше всех на свете и терзаюсь, что ничего не делаю для тебя.

Дрожащий голос в телефонной трубке был полон тревоги.

— Не хочу потерять в твоих глазах свой «поэтический ореол». Потерпи до конца будущей недели — и я снова встречу тебя верхом на Фальстафе!

Посмеявшись над его возмущением, я добавила:

— Успокойся. Сейчас я не такая уже лихая наездница, чтобы говорить это всерьез: самое главное для меня — покрепче стоять на ногах. Не волнуйся, Пьер Марэ следит за мной, да и все наши хлопочут вокруг меня.

■

Боль в спине несколько смягчилась, но, вопреки моим надеждам на быстрое выздоровление, новая боль постепенно распространилась в ногах. С начала следующей недели я уже могла вставать без мучений, сама одеваться и даже спускаться по лестнице без посторонней помощи. Но при каждом движении я испытывала тянущую боль в ногах, о которой вначале даже не говорила, считая это следствием того, что мои мышцы, непривычные к длительному покою, просто занемели. И потому заставляла себя ходить, тренироваться, пока болезненные ощущения были еще терпимы, однако не замечала улучшения, а скорее наоборот.

Режи, как мы условились, примчался в субботу рано утром. Должно быть, я выглядела не блестяще: увидев меня, он побледнел и был так потрясен, что только повторял дрожащим голосом:

— Дорогая моя бедняжка! Как же ты, наверное, мучилась!

Но зато он избавил меня от разговоров о прошлом. Я была ему за это благодарна и сказала с наигранной веселостью:

— Ничего, все пройдет. Еще несколько дней — и следов не останется.

Я ни за что не призналась бы ему, что оптимизм мой показной, что я вовсе не поправляюсь, а чувствую себя все хуже и хуже. Сжав зубы, я сдерживала стоны, готовые вырваться при каждом шаге.

В течение двух дней Режи был восхитительно нежен, внимателен, ни в чем мне не перечил и с поразительным тактом вел себя так, чтобы я не почувствовала своей физической беспомощности, которую всячески пыталась скрыть. Однако мне не удалось его провести, и в понедельник утром, перед отъездом, когда я настояла, что провожу его до машины, он обнял меня с тысячью предосторожностей, прижав к груди так нежно, словно боялся разбить. И тут моя броня, которой я отгораживалась от его жалости, вдруг лопнула, и я разрыдалась.

— Любовь моя,— прошептал он мне на ухо,— перестань бороться со мной, с моей нежностью, прошу тебя, выслушай и не возражай, если я дам тебе совет. Я не сомневаюсь в высоких профессиональных качествах доктора Марэ. Однако...

— Пьер прекрасно лечит меня! — воскликнула я, сразу ощетинившись.

— Не сомневаюсь. Но может быть, он слишком полагается на твою здоровую натуру. Несчастье с тобой случилось больше двух недель назад. Поправка затягивается; возможно, следует принять более энергичные меры. Тебе не сделали даже рентгена.

— Я ничего не сломала и отказалась ехать, когда на второй день Пьер предложил отвезти меня в Мортань. Осталась только небольшая ломота, но она скоро пройдет.

Он поморщился, всем своим видом показывая, что не согласен. Не желая в этом признаться, я чувствовала, что за его словами что-то кроется, но не отдавала себе ясного отчета, что именно. Он печально смотрел на меня.

— Ты отвергаешь все, что бы я ни предложил. Однако прошу тебя, не приуменьшай из гордости последствий этого падения. Я говорил с твоим отцом, он тоже встревожен. Никто не хочет тебя волновать... Даже Джерри думает...

Значит, они говорили обо мне за моей спиной и мои старания скрыть боль никого не обманывают. Но они еще не знают, что по утрам, когда я встаю, и в конце дня мои муки становятся просто невыносимыми. И я сдалась, согласившись, чтобы меня показали тому, кому они сочтут нужным. Режи торжествовал и горячо благодарил меня, как будто, последовав его совету, я дала ему доказательство своей любви.

■

Меня отвезли в Мортань, чтобы убедиться, нет ли у меня других повреждений, поскольку, как показал рентген, переломов нет и позвоночник в порядке. Я довольно терпеливо перенесла весьма неприятные процедуры и слышала, как окружающие Пьера медики и сам он отмечали резкое ослабление рефлексов.

Врачи подтвердили то, что Марэ подозревал с тех пор, как у меня появились боли в ногах: поражение поясничного и седалищного нерва. Заключение: нужна немедленная операция, не представляющая серьезной опасности.

Дальше события развивались так быстро, что я даже не успела испугаться. Все, что последовало затем, неясно отпечаталось в моей памяти.

Только на другой день после операции я вновь ощутила живую связь с окружающим. Я проснулась и увидела маму, сидя-

щую рядом с моей кроватью. Я чувствовала себя легкой, словно невесомой. Боли я не испытывала. Я тихонько спросила:

— Мне и вправду сделали операцию?

— Да, дорогая, она длилась довольно долго, и ты немного ослабела, но теперь все это позади.

— Когда я вернусь домой?

— Дней через десять. А пока постарайся не беспокоиться и двигайся как можно меньше.

Последующие дни не оставили у меня четких воспоминаний. Спина у меня не болела. Я чувствовала только легкое ощущение ожога на месте шва. Поправилась я довольно быстро: уже через несколько дней сумела встать и сделать несколько шагов, не испытывая никакой боли. Это вызвало всеобщую радость и ликование: я здорова, я спасена!

Не утешая себя иллюзиями, я вполне понимала, как обстоит дело с конными состязаниями. Но об этом помалкивала, шел уже конец июля, и было ясно, что, пока я не поправлюсь и не восстановлю полностью свои силы, мне в течение нескольких месяцев не позволят ездить верхом, а тем более участвовать в состязаниях. Хотя Режи и не заговаривал о нашей свадьбе, я решила пойти навстречу его желаниям, и когда из-за неотложных дел он должен был уехать в Париж, сказала ему:

— Я думаю, что мы можем вернуться к намеченному ранее сроку.

Он побледнел, не смея поверить. Я не ожидала, что он будет так потрясен. От радости у него перехватило дыхание, он чуть слышно прошептал:

— Неужели ты согласишься?..

Он просто окаменел, и я сказала, поддразнивая его:

— Если только тебя устраивает конец августа...

— Дилетта, любовь моя, я не смею... Не представляешь себе, как я боялся, что ты совсем отвергнешь меня.

Он постепенно овладел собой:

— Я был в отчаянии в тот понедельник, в седельной, и думал, что все уже кончено. Ты отложила свадьбу, оттолкнула меня, и у меня было ужасное ощущение, что это разрыв. Ты была слишком великодушна, чтобы сказать мне об этом прямо. Я прочел все в твоем взгляде..

Надо признать, что он на редкость проницателен, и ничто в моем поведении от него не ускользнуло. Я была наказана за то, что, пусть и невольно, терзала его своим упорством.

— Ты меня упрекаешь? — спросила я жалобно.

— Как я могу упрекать тебя, Дилетта, когда твои слова наполняют меня счастьем?

Он сиял от радости и строил разные планы, а я слушала его, улыбаясь. Он уехал через четыре дня после операции, но обещал приехать, не дожидаясь воскресенья. По словам врача, меня должны были отпустить домой, как только заживет шов

На шестой день я снова почувствовала боль. Сначала что-то вроде легкого покалывания на спине возле рубца. Я сказала об этом Пьеру Марэ, который без промедления пошел с хирургом. Они сняли с меня повязку. Послышались короткие приказы, затем стук пинцетов на металлическом подносе. Пьер прошептал мне на ухо:

— Тебе будет немного больно. Постарайся не шевелиться.

Я почувствовала острый укол, затем второй, третий.

— Так и есть! — пробормотал Пьер.— Еще бы, такое кровотечение!

Когда перевязка была закончена, они перевернули меня на спину и удалились, ничего не сказав. Я почувствовала облегчение, но во мне проснулась тревога. Тогда я принялась задавать вопросы — сиделке, маме, а затем и врачам.

Мне отвечали ласково, как говорят с детьми или с тяжелобольными:

— Подожди, ты все узнаешь попозже.

Наутро я проснулась, не испытывая боли. Я была одна в комнате. Стоявшая поблизости кровать для ночной сиделки была пуста. Вновь вспыхнувшая надежда окрылила меня. Неужели я выздоровела? Неужели мои страдания кончились? Я заплакала от счастья. Я так боялась снова вызвать боль, что не смела пошевелиться. Когда вошла старшая сестра, я воскликнула, улыбаясь ей:

— Сестра, мне уже не больно!

Она подошла ко мне и ласково погладила по голове.

— Какая хорошая новость, дитя мое. Мы быстренько позовем доктора Жалабера.

— И доктора Марэ.

— Они оба внизу.

Сестра позвонила по телефону. Когда вошли врачи, я встретила их, сияя от радости.

— Мне уже лучше! — воскликнула я. — Мне совсем не больно!

Не разделяя моего ликования, они перевернули меня, чтобы сменить повязку, и переговаривались при этом шепотом, так что я ничего не разобрала. Ни одного слова. Пьер пробормотал:

— Отсутствие рефлексов. Никакого сомнения!

После их ухода я стала упражняться: поднимала ноги и шевелила ступнями. Двигаться становилось все труднее, однако, не чувствуя никакой боли, я не беспокоилась, пока в комнату не вошла старшая сестра вместе с мамой, и тут я вдруг поняла, что со мной стряслось что-то неладное.

— Что случилось? — спросила я в тревоге.

— Ваш хирург и доктор Марэ не очень довольны. Ваше выздоровление идет не так, как бы им хотелось, и потому они решили позвать для консультации профессора Парениса. Он приедет к двенадцати часам.

На этот раз я хотела понять, в чем дело: я щипала себе ноги, одну и другую, и, убедившись, что они почти ничего не чувствуют, по-настоящему испугалась. Сестра вышла и оставила меня с мамой. Видя мамино осунувшееся лицо, чувствуя тревогу, которую она пыталась замаскировать напускным оживлением, я решила не задавать ей мучительных вопросов. Она знала не больше меня и не больше лечивших меня врачей.

Меня осмотрел и нейрохирург. Я чувствовала, как его пальцы двигались вдоль моего позвоночника. Когда он посильней нажал на больное место, я вскрикнула, и

вновь наступила мертвая тишина. Не было произнесено ни слова, кроме приказания сестре снова наложить повязку. И все вышли.

Через несколько минут мама вернулась в сопровождении Пьера. Он слишком хорошо знал меня, чтобы смягчать правду.

— Слушай, моя взрослая девочка, мы должны отвезти тебя в Париж, в нейрохирургическую клинику профессора Парениса.

— Почему в Париж?

— Потому что необходимо новое хирургическое вмешательство, а мы здесь недостаточно оснащены для такой деликатной работы.

— Что это значит, если конкретно?

Я напряженно слушала. Он сказал:

— Одной операции оказалось недостаточно, и начался быстро прогрессирующий паралич. Профессор Паренис хочет сделать новую операцию. Время терять нельзя. Вертолет, на котором он прилетел, захватит и тебя.

— Сейчас же?

— Да.

Такая стремительность событий не давала нам возможности подумать. Меня завернули в одеяло и перенесли на носилках в санитарную машину. Она доставила меня на ближайший аэродром. Меня сопровождали мама и доктор Марэ.

Лишь значительно позже я узнала, что нашли у меня хирурги. Между той минутой, когда меня ввезли в операционную, и той, когда вывезли из нее без сознания, прошло три часа. Значительно позже мама рассказала мне, что ей пришлось пережить за это время.

Но настал день, когда я в первый раз была в полном сознании. После укола боль в спине была менее мучительна. Я увидела, что руки мои свободны. Я могла их приподнять и сразу подумала о ногах, вспомнив, что не почувствовала укола. Я попробовала шевельнуть ими — левой, правой,— никакого движения. Я щипала себя, но не чувствовала никакой боли. Мной овладел панический ужас: я парализована! Неужели я все еще парализована? Значит, все муки, которые мне пришлось вытерпеть, привели лишь к такому ужасному результату: я калека! Только Пьер ответит мне с полной откровенностью.

Через два дня после операции он уехал в Мортань, но должен был скоро вернуться. Я решила молчать до его приезда, скрывая свои мысли и стараясь прогнать самые мрачные предположения.

Я только попросила маму сказать Режи, чтобы он навещал меня не так часто. Его трагическое лицо было просто невыносимо. Мне была нужна не скорбь, а бодрая поддержка.

Наконец приехал Пьер Марэ. Он присутствовал при ежедневном обходе профессора Парениса. Температура у меня устаиовилась, заживление раны, обрабатываемой антибиотиками, шло удовлетворительно, не было заметно никаких признаков инфекции. Пьер сам осмотрел мои ноги, двигал их, сгибал, щипал и, наконец, вытянул одну рядом с другой. Я заметила, как он переглянулся с профессором. Они двинулись к выходу, не говоря ни слова, но когда доктор Марэ был у порога, я его окликнула:

— Вы еще вернетесь ко мне?

— Разумеется.

Тогда я повернулась к маме:

— Разреши, пожалуйста, поговорить с ним наедине.

Она испугалась, догадываясь, что я попрошу его сообщить то, что от меня скрывают. Стараясь отвлечь меня, она сказала:

— Звонил Режи. Он спрашивает, когда ему можно прийти.

— Чуть позже. Скажи ему, что мне нужен покой. Не хочу видеть его скорбное лицо. Поговори со мной о папе, о нашем доме, о Джерри и лошадях.

Мама была рада, что я наконец хоть чем-то заинтересовалась, ведь до сих пор я ни о ком, кроме папы, не спрашивала. Я же хотела чем-нибудь заполнить время ожидания и заодно отвлечься от черных мыслей. Папа беспокоился и хотел скорее нас увидеть. Мама противилась его желанию приехать в Париж, чтобы повидать меня; он приехал только раз, в день операции, а я даже не помнила, что видела его тогда. Обострение артроза в больной ноге затрудняло его передвижения. Что касается Джерри, то он практически вел все наше хозяйство.

— А Фальстаф?

Мама вздрогнула, когда я назвала виновника случившейся драмы.

— Твой отец хотел отправить его на бойню. Но Джерри воспротивился.

— А как же быть с состязаниями в августе?

Я произнесла это таким безразличным тоном, но мама попыталась уйти от ответа.

— Когда ты вернешься домой...

— Не беспокойся. Я не грущу. Я сумею покориться обстоятельствам. Вам удалось найти какого-нибудь наездника? Ведь Фальстаф должен участвовать в соревнованиях, и не важно, я или кто-либо другой добьется с ним победы.

— Я не решалась тебе сказать — вывести нашу лошадь предложил Ален Буссар: она готова, а его лошади еще не в форме. Он выступит в цветах нашей фирмы.

Я так искренне этому обрадовалась, что дорогая моя мама успокоилась. Она, наверное, боялась сообщить мне об этом решении, принятом без моего ведома. Но я всецело поддержала его: поручить прекрасному наезднику нашего лучшего питомца — разве это не самое главное?

— А Гувернер?

— Его представит Франсуа Буссар. Он покажет его в лучшем виде.

Я помолчала и задала еще один вопрос:

— Джерри не говорил об отъезде?

Тут мама немного смутилась; она хотела мне ответить, но в комнату зашел Марэ. Она побледнела, встала и по знаку нашего друга вышла из комнаты. Пьер подошел к моей кровати. Его напускному оживлению противоречил серьезный взгляд. По моим глазам он понял, что со мной не надо играть в прятки. И утвердительно кивнул головой.

— Ты хочешь знать?

— Да. Всю правду.

Он не успел и рта раскрыть, как я уже прочитала на его суровом лице свой приговор.

— Ты права, что не стараешься обольщаться. Операцию можно назвать удачной, только если она ведет к полному выздоровлению. В твоем случае — и сейчас, и еще некоторое время — оно останется лишь частичным. Последствия первой не вполне эффективной операции, несмотря на прекрасные результаты последней, привели к поражению ног.

Я ожидала то, что он мне сказал. Однако это заключение, высказанное вслух, просто оглушило меня.

— Значит, я парализована... И останусь парализованной?

— Нет! Твоя молодость и здоровая натура при усиленном лечении позволят тебе...

— Неправда, вы сами этому не верите!

Он отвел глаза.

— Как только зарубцуется шов и ты выйдешь из больницы, профессор Паренис хочет поместить тебя в восстановительный центр, где с помощью массажа и специальной гимнастики...

— Нет! — отрезала я.

— Оставь, Дилетта, ты не можешь отказаться. Есть случаи полного выздоровления.

— Нет, Пьер, я хочу вернуться домой. У меня не выдержат нервы. Если я где-нибудь и смогу успокоиться, так это дома. Больше месяца я терплю невыносимые муки. Пусть меня оставят в покое. К чему все эти пытки? Вы же видите, ноги мои мертвы... мертвы... мертвы!

Я разрыдалась, и он не пытался меня утешить. Когда я немного затихла, он ласково сказал:

— Нельзя упускать ни одного шанса поправиться, ни одного, ты слышишь?

— Я не хочу. Умоляю вас, Пьер, попросите, чтобы меня отпустили как можно скорей. Вы сами видите, что у меня больше нет сил!

— Успокойся, дорогая моя, а я пойду узнаю, что решит Паренис.

Он вышел, но не прислал ко мне маму. По-видимому, он считал, что мне лучше побыть одной. Когда оба врача снова появились в палате, профессор подошел ко мне. Его строгое лицо, которое я чаще видела озабоченным, чем ясным, на этот раз выражало явное неудовольствие.

— Доктор Марэ передал мне, что вы отказываетесь отправиться в восстановительный центр.

— Да, отказываюсь, господин профессор.

— А я не разрешаю вам покинуть клинику. Я против вашего каприза, а это каприз.

— А мои ноги!

— Я абсолютно уверен...

Но, не дав ему договорить, я закричала в истерике:

— Больше не могу. Вы отдаете себе отчет, господин профессор? После банальной травмы, как вы сами сказали, я стала калекой!

— Необходимо время, соответствующее лечение, ваша воля и настойчивость. Мне говорили, что вы обладаете этими качествами, а без них вы не сможете поправиться. Центр, куда я собираюсь вас послать, лечит случаи вроде вашего. Там творят просто чудеса!

— Вы и вправду верите, что это относится и ко мне?

Я пристально смотрела ему в глаза, но он отвел свой взгляд. Я одержала верх.

— Вы даже сами не уверены! Умоляю вас, отпустите меня. Разве дома не могут ухаживать за мной?

— Нет другого места, где вы можете добиться полного выздоровления. Не в моей власти заставить вас согласиться: вы так упрямы, что, если я заставлю вас остаться, можете даже отказаться выполнять процедуры, которые я вам назначу. Итак, делайте что вам вздумается. А я отказываюсь...

Он вдруг остановился, осознав жестокость своих слов, и заговорил другим тоном:

— Сообщая мне о вашем упорном желании уехать, доктор Марэ сказал, что в Мортане есть превосходный специалист по лечебной гимнастике. Если он может провести с вами курс массажа и упражнений, необходимый для полного восстановления, то, может быть, ему удастся сохранить нормальное кровообращение в ваших ногах. И все же я надеюсь, что вы опомнитесь и поймете, что я желаю вам добра.

Он заметно смягчился, хотя чувствовалось, что его обидела моя строптивость. Я не хотела ему признаваться, что потеряла всякую надежду, что у меня осталось лишь одно желание: вернуться домой. Я спросила:

— Когда вы меня отпустите?

— Через неделю, если ничто не помешает полному заживлению шва.

Он помедлил несколько минут, быть может надеясь, что я передумаю, но я молчала. Затем вышел из комнаты, но все же прежде протянул свою длинную руку и, коснувшись моих волос, пробормотал:

— Бедная девочка

XIII

Под предлогом, что мне следует избегать всякого волнения, которое может снова вызвать жар, число моих посетителей было сокращено до минимума. Это касалось и Режи. После моего разговора с профессором Паренисом мама оставила меня на несколько дней одну. Должно быть, ей посоветовали воздержаться от всяких обсуждений, и когда она вошла ко мне с доктором Марэ, оба сделали вид, что согласны с моим решением. Мы стали говорить об отъезде. Все сошлись на том, что следует взять санитарную машину, чтобы избежать утомительных пересадок с одного транспорта на другой, хотя так было бы скорей. Но увы! Куда нам спешить, да и разница всего в несколько часов.

Предписанная врачами неделя прошла относительно спокойно. Температура, скакавшая в капризном ритме дни и ночи, которым я потеряла счет, окончательно установилась. Ко мне вернулся аппетит, каждое утро я безропотно переносила массажи и делала разнообразные движения, предписанные врачом. Шов вполне удовлетворял профессора, и я его почти не чувствовала. Только резкое движение рукой или головой вызывало острое покалывание и

напоминало мне, что вдоль позвоночника тянется рубец, длиною в пятнадцать сантиметров. Он был еще довольно жесткий, но с каждым днем становился все мягче. А что касается ног...

Снова появился Режи. Я выносила его с трудом. Его чрезмерная нежность, горы цветов, которыми он загромождал мою комнату, раздражали меня. Я не сомневалась ни в его искреннем огорчении, ни в глубоком соболезновании. Но этот человек, при всем своем уме и ловкости, был поразительно бестактен. Казалось, он старается мне доказать, будто во всем виновата я одна, а он — несчастная жертва. Будто я должна его утешать, каяться, что доставила ему столько огорчений! Он остался верен себе и ждал, что я волью в него силу, которой ему не хватало, но при сложившихся обстоятельствах это было одновременно и нелепо и невыносимо. Все его обаяние улетучилось, голос утратил свою вкрадчивость. Когда он ушел, я вздохнула с облегчением. Мама, как всегда, вступилась за него:

— Он такой несчастный!

— А я счастлива?

■

Наконец день отъезда был назначен. Стояла середина июля, и, несмотря на свежесть парка, куда выходило окно моей комнаты, я мечтала подышать воздухом родной Нормандии. Поездка прошла легко.

Я попросила, чтобы весь наш персонал не выходил встречать меня. Больше всего я боялась увидеть их жалость, даже самую чистосердечную Когда машина остановилась перед домом, шофер и сопровождающий нас санитар вынесли меня на носилках. Нас уже дожидались: дверь тотчас раскрылась. Папа был в прихожей, а Мари стояла на лестнице. Я отказалась занять нижнюю комнату — папин кабинет,— мама собиралась превратить его в мою спальню. Я решила вернуться в свою комнату. А дальше будет видно.

Итак, меня внесли наверх и уложили в приготовленную постель. Мама заказала для меня прелестные ночные рубашки особого покроя, их можно было надевать, не причиняя боли поврежденной спине. Внезапно я поняла, сколько горя принесла моим близким, и увидела всю меру моего эгоизма. Я думала только о себе, а не о них. Я жаловалась и хныкала, не задумываясь о том, что мое несчастье — это также их несчастье и мне следует хоть иногда забывать о себе, чтобы их утешить.

В этот вечер я быстро заснула под действием обычных снотворных, а еще, мне думается, потому, что была дома и меня окружали мои родные стены и любимые предметы. Меня разбудил стук копыт по моценому двору, и мне стало почти весело. Теперь надобно распорядиться. Пусть люди вокруг меня улыбаются, пусть смеются а я постараюсь присоединиться к ним, сначала мысленно, а потом и на самом деле, участвуя в каждодневной жизни. Раз я потеряла возможность ходить, я заведу себе инвалидную коляску. Я видела немало машин с ручным управлением и знала, что они приспособлены для разных случаев. Надо только иметь достаточно силы воли, чтобы не задумываться о невозвратимом прошлом.

Первая половина дня после приезда домой была занята беседой с массажистом Лораном. Они вдвоем с Пьером осмотрели меня, обсудили инструкции профессора Парениса, выработали программу массажей и длительных упражнений.

Конец дня я посвятила вступлению в мои скромные владения, иными словами — принялась заново обживать мою комнату. Мне нравилось, как она обставлена; в прошлом году ее обновляли по моему вкусу. Все в ней напоминает о моем увлечении лошадьми: на стенах английские гравюры, на книжных полках не романы, а работы по коневодству, верховой езде, скачкам. Моя кровать из красного дерева и кожи, рабочий стол, кресло — все привезено прямо из Англии. Я решила оставить стены белыми, но позволила маме выбрать перкаль для занавесок и покрывало на кровать. Из широких окон свет льется в комнату, а когда бывает жарко, можно устраивать сквозняк: короче говоря, я была дома и не жалела о принятом решений.

Мне хотелось поскорее увидеть Джерри и потолковать с ним, но сначала надо было снова набраться сил, а главное, устроить, чтобы разговор наш произошел наедине. Наши последние беседы крепко врезались мне в память, и их надо было продолжить: с тех пор положение совершенно изменилось, и я хотела знать, что же он решит или уже решил.

Когда я с аппетитом проглотила завтрак — мама и Мари приготовили мои любимые кушанья,— а родители выпили кофе, поданный им в моей комнате, я спокойно сказала:

— Мне хотелось бы повидать Джерри.

Они кивнули и вышли. Через несколько минут послышался стук в дверь и Джерри появился на пороге.

— Здравствуйте, Одиль,— сказал он, протягивая свою большую руку,— рад снова увидеть вас.

Он был настолько тактичен, что не спросил, как я себя чувствую, не стал говорить, что я хорошо выгляжу, или делать сочувственное лицо, а всего лишь крепко пожал мне обе руки, выразив лучше, чем мог бы это сделать словами, свою суровую дружбу.

— Джерри,— сказала я, улыбаясь,— я хочу попросить вас о небольшой услуге. Мне хочется разместить здесь несколько привычных для меня предметов.— И я показала на стену против моей кровати.— Могли бы вы повесить тут мое седло, уздечку?..

— Маленькую выставку рыцарских доспехов,— закончил он шутливо.

Он тотчас нашел правильный тон, и я взглядом выразила ему благодарность за то, что он так хорошо понял меня.

— А теперь расскажите мне о лошадях.

Я указала на кресло возле моей кровати. Он сел и подробно ответил на все вопросы. Во время моего отсутствия появились новые жеребята, а три племенные кобылы, в том числе Белла, были отправлены на конные заводы в Ара-дю-Пен и в Сен-Ло. Фальстаф, о котором я заговорила спокойно, прекрасно ладил с Аленом Буссаром, а тот был в восторге, что представит такого ко-

ня. После того необъяснимого случая он ни разу не заартачился. Для всех его яростная реакция в тот день осталась совершенно непонятной. Отец продал одного годовалого жеребенка за очень хорошую цену.

— А Итала?

— Замечательная лошадь!

Мне пришлось уговаривать его, чтобы он ее описал, потому что у нас возникла одна и та же мысль: эта лошадь принадлежит мне, но я никогда на нее не сяду. Я сжала зубы, чтобы не выдать своего отчаяния: больше всего меня терзала мысль, что я никогда не сяду в седло. Я решила не поддаваться слабости и не уклоняться от разговоров на эту тему: даже лежа в постели, я собиралась участвовать в жизни нашего хозяйства.

Когда Джерри закончил обзор наших дел, как я его просила, он встал, чтобы меня не утомлять. Я кивком указала ему на стену.

— Сейчас? — спросил он.

— Да. Мне бы очень хотелось.

Он уже подошел к двери, когда я, горько усмехнувшись, бросила ему вслед:

— Вы видите, я не уезжаю!

Он повернулся ко мне и, сильно побледнев, ответил:

— Не говорите об этом! У меня такое чувство, будто я принес вам несчастье!

Я покачала головой и спросила:

— А что решили вы сами, Джерри?

— Ваша мать была очень добра ко мне. Она вам объяснит. Я остаюсь. И останусь до тех пор, пока буду вам полезен.

Он стремительно вышел, не дав мне времени задать следующий вопрос.

XIV

Я тотчас расспросила маму о решении Джерри. Мама рассказала мне грустную историю нашего друга — теперь она ни для кого уже не была секретом. Когда он приехал к нам четыре года назад, он бежал из дому, чтобы выйти из драматического положения. Только что окончив сельскохозяйственное училище и уже готовясь заменить отца в коневодческом хозяйстве, очень похожем на наше, он против воли родителей женился на молодой особе.

С самого начала этот брак оказался неудачным. Молодая жена, легкомысленная, безалаберная, вышедшая из самой низкой социальной среды, имела к тому же невыносимый характер. Однако у них родилась девочка. Ее фотографию мы и видели у Джерри. Стараясь скрыть от родителей свои затруднения, он терпел несколько месяцев, но поведение жены заставило его решиться на развод. Некоторые связи помогли О'Райану получить работу у папы; он появился у нас в то время, когда папа почувствовал, что силы его слабеют, а я была еще слишком молода и неопытна, чтобы стать для него настоящей помощницей. Сначала я воспротивилась приходу этого чужака. Но вскоре убедилась, что он нам необходим.

Итак, Джерри оставил свою страну, а его жена, подкинув маленькую Пегги родителям мужа, вела разгульную жизнь.

Его вызвали в Ирландию, как раз когда начались события, вскоре перевернувшие всю нашу жизнь. Его жена, больная, раскаявшаяся, вернулась к родителям мужа, умоляя простить ее и отдать ей ребенка. Тогда О'Райан вызвал сына домой. Прежде чем принять решение, сын попросил дать ему время на размышление и вернулся во Францию. В его отсутствие умерла жена: она действительно была серьезно больна.

Родители Джерри, люди пожилые и переутомленные, не могли взять на себя заботу о ребенке. И мама предложила Джерри привезти девочку к нам. Она приехала месяц тому назад и оказалась прелестным ребенком. Живет она с отцом в маленьком флигеле, и все от нее просто без ума. Жена одного из конюхов присматривает за ней, и девочка играет с ее детьми.

Я немного удивилась, что мне до сих пор ничего не сказали об этом.

— Дорогая моя девочка, — ласково сказала мама,— ты так страдала и к тому же, конечно, одобрила бы нас.

Когда на другой день Джерри зашел ко мне, я прежде всего поблагодарила его за то, что он велел прикрепить к стене в моей комнате подставку и сам поместил на ней мое седло. На легкой решетке под ним он положил мою уздечку и два старых хлыста: один, служивший мне, когда я была еще девчонкой, и другой, купленный несколько лет спустя. Когда мне исполнилось восемнадцать, Джерри подарил мне свой хлыст, полученный им от отца. Меня очень обрадовал его подарок, и с тех пор я ездила только с этим хлыстом. Я сразу заметила, что его нет.

— Верно,— удивленно сказал он,— а я и не подумал, ведь я его больше не видел. Он, наверное, далеко отлетел, когда вы упали с лошади. Скажу, чтобы его поискали.

— Да, Джерри! Я им очень дорожу!

Он покраснел от удовольствия, а я тут же спросила:

— Когда вы приведете ко мне маленькую Пегги?

Краска мгновенно схлынула у него с лица.

— Госпожа Гобсон вам сказала....

— Все сказала, Джерри, и я рада, что ваша девочка живет с вами. Я знаю, что все от нее в восторге, одна я ее не видела. Она дома?

— Да. Она еще мала, чтобы оставаться в детском саду целый день.

— Тогда поскорее приведите ее ко мне.

Не прошло и четверти часа, как он вернулся с маленькой особой лет пяти: у нее была румяная мордашка, рыжие, как у отца, волосы и большие зеленые глаза. Она вела себя тихо и как благовоспитанная девица молчала те несколько минут, что пробыла у меня, но когда отец уводил ее, вдруг заявила, неуверенно выговаривая французские слова — до приезда она говорила только по-английски:

— Я еще приду поиграть с тобой.

Она сдержала слово и в следующие дни приходила и проводила у моей кровати полчаса, а то и больше. Каждый раз она приносила с собой какой-нибудь новый предмет и объясняла мне, как надо обращаться с куклой, книжкой, музыкальной шкатулкой, вырезанием и так далее.

Пегги была очень живая, ловкая девочка, а так как я не двигалась, то обраща-

лась со мной как с ребенком. Она рассказала, что неподалеку от дома ее бабушки живет ребенок вроде меня, только поменьше, и она иногда ходила поиграть с ним. Она доверительно сообщила мне, что он был не такой понятливый, как я.

В конце дня, когда за ней пришла мама, чтобы отвести пополдничать, она заявила мне с непоколебимой серьезностью:

— Тебе надо поскорее научиться ходить.

Мама хотела ее остановить, но я улыбнулась и ответила:

— Обещаю тебе, а ты мне поможешь?

— Ну конечно,— ответила она уверенно,— ты увидишь, это совсем легко.

■

Я как могла отдалила минуту, когда мне придется говорить по телефону с Режи, звонившему по два раза в день, и выслушивать его мольбы о встрече. Мне удалось избежать его визита в конце этой недели, но на следующей так или иначе придется его принять.

Утром мама настояла на том, чтобы я спустилась к ленчу и посидела за общим столом, а затем добавила:

— Режи позвонит около часа. Он будет счастлив поговорить с тобой.

Тут она понизила голос с видимым волнением:

— Ведь сегодня тот день...

Я машинально взглянула на календарь. Сегодня было двадцать седьмое июля, тот самый знаменательный день, но сердце мое не дрогнуло. Я утвердительно кивнула головой и тотчас добавила, заставляя себя говорить самым ровным тоном:

— Мама, дорогая, нам лучше всего немедля покончить с этим. Я поговорю с Режи и верну ему слово. Это обручение, когда свадьба невозможна, просто смешно.

— Он тебя любит и говорил мне...

— ...Что готов жениться на мне, что бы со мной ни случилось. Ох, мама, это так глупо, что я просто не понимаю, как у тебя хватает терпения слушать!

— Ты несправедлива, моя милая. Такое доказательство бесконечной преданности...

Я оборвала ее:

— Прежде всего, Режи имеет право получить полную свободу. Теперь я для него совершенно бесполезна. Ему нужно, чтобы возле него был сильный человек, а не такая развалина, какой я стала...

Мамины рыдания прервали мои слова. Бедняжка не могла примириться с мыслью, что я приговорена навеки. Я ласково успокаивала ее, и она постепенно согласилась, что надо все просто и ясно высказать Режи. Однако, когда он позвонил, я отказалась с ним говорить. Мама не сказала ему, что я нахожусь в двух шагах от телефона, и, выполняя то, о чем мы договорились, пригласила его от моего имени провести с нами воскресенье. Терпеть его целых два дня в нашем доме было свыше моих сил.

■

Итак, он приехал в воскресенье, часов около двенадцати. Я хотела поговорить с ним наедине. Отказавшись спуститься к ленчу, который он провел с родителями, я попросила его потом подняться ко мне.

Меня приодели, и я немного подкрасилась перед его приходом. Несмотря на то, что я похудела, лицо мое сохранило свежесть, и в зеркале, поданном мне Мари, отразилась довольно привлекательная физиономия. Режи принялся распространяться о том, как я хорошо выгляжу, какая я красивая. Я тотчас прервала этот поток красноречия и заявила напрямик, что возвращаю ему слово; мы останемся добрыми друзьями, но я не имею права...

Он не дал мне договорить и с жаром отказался от свободы, которую я ему возвращала. Затем последовала длинная тирада о его беззаветной и беспредельной любви. Это были пышные фразы. Я слишком хорошо его знала, чтобы не заметить, что он был удовлетворен, выказав великодушие и благородные чувства, все это его немного утешило. Быть может, я была несправедлива к нему, но его новый покровительственный тон выводил меня из терпения. Мне казалось, что этим тоном он расплачивается со мной за прошлое. Он уже один раз покорил меня, случайно, мимолетно, в тот вечер, когда я поддалась его обаянию. Он был вполне способен жениться на мне, на той, какой я теперь стала, чтобы потом, красуясь перед зеркалом, повторять себе: «Я добрый, великодушный, я буду заботиться о ней, я посвящу ей всю свою жизнь».

Эта мысль меня возмущала. Неужели я становлюсь злой? А может быть, мое несчастье делает меня желчной? Почему я с ним так сурова? Он нетактичен, это верно, но его доброта не вызывает сомнений. Он громогласно заявил, что никогда меня не покинет, что мы связаны нерушимыми узами и отпразднуем свадьбу, как только я встану с постели. Он пригласит самых знаменитых специалистов, отвезет меня в Швейцарию, а если потребуется, даже в Америку. Пусть на это уйдет все его состояние, но он меня вылечит.

Однако, несмотря на искреннее выражение его красивого лица и явное огорчение, причиняемое ему моими отказами, меня не растрогал фейерверк этого красноречия. Кончилось тем, что я попросила его уйти.

Моя температура, не повышавшаяся более двух недель, в этот вечер подскочила на несколько десятых; этот скачок приписали волнению, вызванному приездом Режи и нашим слишком долгим разговором.

Мама сказала мне, что он уехал глубоко опечаленный, но не разубежденный. Я холодно выслушала ее. Во время ночной бессонницы я здраво обдумала наши отношения с Режи. В какую-то минуту я чуть не согласилась быть его женой, тогда меня растрогало, что он нуждается во мне. Но для меня самой будет невыносимо нуждаться в нем. Не говоря о том, что было бы нечестно связать молодого человека в расцвете сил с такой, как я, калекой. Я сознавала, что люблю Режи недостаточно, чтобы принять от него такую жертву. Пусть он сохранит моральное превосходство, сделав предложение, восхитившее маму и наших друзей. Что до меня, то я об этом и слышать не хотела.

Мы с папой не обсуждали этой темы, но я была уверена, что он разделяет мою точку зрения и одобряет меня.

XV

Два дня спустя мой хлыст был найден: его принес мне молодой подручный конюха, посланный на розыски. Он все обшарил вокруг и, обнаружив хлыст в травянистой канаве возле скаковой дорожки, зная, как я им дорожу, радостно прибежал ко мне. Я поблагодарила парня и попросила положить хлыст рядом с другими предметами. Эта устроенная для меня выставка очень шокировала маму. Она видела в ней проявление отчаяния, тогда как мне было только приятно смотреть на спутников моей спортивной жизни.

С тех пор как Пегги стала моей подружкой, она почти каждый день заходила ко мне поиграть и порой засиживалась сколько ей вздумается Джерри тоже навещал меня все чаще, приводил дочку ко мне или приходил за ней. Вначале он тотчас удалялся, но понемногу стал задерживаться все дольше. Главной темой разговоров было наше коневодство. Он вскоре понял, что для меня это не только не мучительно, но, напротив, чрезвычайно интересно.

Как-то мы заговорили о странной выходке Фальстафа, ставшего снова очень покладистым. Мы старались понять, что же произошло. Несколько раз Джерри настойчиво спрашивал меня:

— Вы не хлестнули его перед прыжком сильнее, чем обычно?

Я прекрасно помнила все, что предшествовало моему падению. И была уверена: удар гибкого хлыста был нисколько не сильнее, чем всегда. Я была не в такой хорошей форме как обычно, ибо поздно легла. Проходя по прихожей я увидела в зеркале, что лицо мое немного осунулось оттого, что я мало спала. Но я нисколько не нервничала, Фальстаф — и подавно. Мы с Джерри часто перебирали все подробности происшествия, до сих пор вызывавшего недоумение у всех, кто меня любил, да и у меня самой

В тот день Пегги, поиграв со мной, заснула, и ее головка лежала на подушке рядом с моей. Поджидая когда она проснется, Джерри, зашедший за ней, снова вернулся к этому разговору Мы пришли к заключению, что лошадь наверное, что-то испугало: она была очень пуглива. Разговаривая со мной, Джерри ходил взад-вперед по комнате; он то брал какой-нибудь предмет, рассматривал и клал на место, то откидывал занавеску и смотрел в окно.

На стене висело мое седло вместе с уздечкой и хлыстами. Иногда он останавливался перед этой «выставкой», смотрел на нее, словно ничего не видя, машинально поправляя какую-нибудь из вещей. Он вновь сказал, что не верит, будто со стороны Фальстафа это просто каприз или злобная выходка. Тут он снял со стены недавно найденный хлыст взял его за оба конца и согнул привычным жестом наездника. И вскрикнул, поднеся ко рту левую руку: на ней виднелось несколько капель крови. Затем на миг застыл и пробормотал:

— Боже мой!

Я ничего не понимала, но видела, как он побледнел, потом покраснел, внимательно рассматривая кончик хлыста и не замечая, что по руке его течет тоненькая струйка крови.

— Что случилось, Джерри? Вы поранились?

Я совсем не понимала, что произошло, но меня поразило лицо Джерри, искаженное едва сдерживаемым негодованием. Я знала, что на вспыльчивых ирландцев налетают порывы гнева, как вихрь или ураган. По-видимому, Джерри делал отчаянные усилия, чтобы не взорваться. Он так побледнел, что я боялась задавать ему вопросы. Он подошел к моей кровати, долго смотрел на меня, а потом проговорил:

— Вы в состоянии выслушать чудовищную правду?

Я задрожала и только моргнула в ответ. Он тихо сказал:

— Вы стали жертвой преступного покушения.

И протянул мне хлыст, показывая своей окровавленной рукой на его конец. Я ничего не разглядела. Тогда он раздвинул маленькую шелковую кисточку, и я увидела кончик острой иглы.

Я не вскрикнула, не шевельнулась, а только вся похолодела, подумав: «Значит, мою беду подстроил кто-то из тех, кому известно, что Фальстаф чрезвычайно чувствителен, кто мог предвидеть что укол взбесит его!»

Мы с Джерри долго смотрели друг другу в глаза, безмолвно спрашивая: «Кто?»

Кто же так ненавидел меня, что хотел причинить зло? Кто так хорошо знал мою лошадь, что угадал, какую яростную реакцию это у нее вызовет?

Джерри первый отвел глаза, и я поняла, что он нашел ответ. И тут ответ встал передо мной, как вспышка молнии. Я так и подскочила, вскрикнув от боли. Я забыла о своей спине. Внезапное разоблачение ранило мою плоть так же сильно, как и мою душу. Я застонала, и слезы градом покатились по моему лицу:

— Не может быть! Не может быть!

Джерри подошел ко мне. Потрясенный пережитым волнением и гневом, а теперь еще и жалостью ко мне, он крепко сжал мою руку Хотя мы не произнесли ни слова об этом, Джерри проговорил:

— Быть может, мы ошибаемся.

Увы! Мы не могли ошибиться... Тот, о ком мы думали, был единственный, кто с досады или в порыве ярости, свойственной слабым натурам, был способен совершить подобный поступок, не задумываясь о последствиях

Мы не сказали больше ни слова,— зачем? — да я и не могла говорить. Я зарыдала, и Джерри не в силах был меня утешить. Он отошел к окну, его лицо было искажено подавляемым гневом. Вдруг я почувствовала, как маленькая ручка обвилась вокруг моей шеи и нежный голосок тихонько спросил:

— Почему ты плачешь? Это папа тебя обидел?

Я взяла себя в руки. Вытерла слезы и, целуя милое личико Пегги, сказала улыбаясь

— Нет, золотко мое, папа здесь ни при

чем. Ну вот! Все прошло. Как тебе спалось?

Смеясь, она соскочила на ковер, схватила лежавшую там куклу и разыграла сценку, объясняя ей на своем милом жаргоне, что ее ребенка, Дилетту, обидели, но она не должна плакать, ведь Пегги ее очень любит.

Милая крошка! Ее лепет рассеял мою печаль, и я уже почти не чувствовала боли. На моем одеяле лежал хлыст-обличитель. Джерри хотел его взять.

— Я оставлю его у себя,— сказала я,— и прошу вас никому ничего не говорить.

Он хотел было запротестовать, но я настояла на своем:

— Не мешайте мне, Джерри, и храните молчание

Он колебался, глаза его красноречиво говорили, что он думает. Однако он подчинился моей воле. Взял на руки Пегги и поднес ко мне, чтобы она могла поцеловать меня перед уходом. Она держала отца за шею и, прикоснувшись губками к моей щеке, попросила его:

— Поцелуй ее тоже, папа.

Он побагровел, отшатнулся, и у меня вдруг возникло ощущение, что Джерри что-то скрывает от меня. Но от него не могло исходить никакого зла, и пока он, не спуская с меня глаз, отступал к двери, я черпала в его взгляде поддержку и утешение.

◘

Оставшись одна, я легко представила себе все, что, должно быть, произошло в тот злополучный понедельник на Троицу, когда я заявила Режи, что твердо решила перенести нашу свадьбу на август Я оставила его в седельной: меня обманула напускная покорность, за которой скрывалась бессильная ярость Режи окружали предметы, необходимые мне для верховой езды, и все они были как бы его врагами. Он наверное, перебирал их один за другим, горя желанием все переломать, все уничтожить. Тут он увидел мой хлыст, и у него родился дьявольский замысел. Он знал, как чувствителен Фальстаф: даже легкий удар хлыста мог вывести его из себя.

Я была уверена, что Режи хотел только унизить меня, заставить свалиться с лошади; принудить отказаться от состязаний, от тренировок, это стало его навязчивой идеей. Результат превзошел все его злобные замыслы. Как бы там ни было, за час, прошедший между моим уходом и появлением Режи в доме он обдумал и тщательно подготовил свое преступление

Из ящика, где лежали инструменты для черных работ и мелкого ремонта седел, он вытащил слегка изогнутую иглу с плоским и очень острым кончиком — такими иглами шьют кожу. Он прикрепил ее к концу моего хлыста и очень ловко спрятал в шелковой кисточке. Таким образом мой легкий удар по крупу Фальстафа оказался нестерпимым уколом, и норовистая лошадь ответила на него яростным протестом.

Невероятное коварство Режи перестало меня возмущать, так же как и его трусость, потому что, как правильно сказал Джерри, люди не меняются.

XVI

Велико было мамино удивление, когда я попросила ее вызвать Режи.

— Он был в таком отчаянии, что ты отказалась его видеть!

— А теперь я передумала. И чем скорей он приедет, тем лучше.

Она так хотела, добрая душа, узнать причину этой перемены. Но я отказалась объяснить свои намерения, а мама не посмела настаивать. Она так огорчалась, видя меня в столь плачевном состоянии, что ни в чем не хотела мне перечить. Я заботливо вглядывалась в ее тонкое лицо, замечая, как она постарела. Замкнувшись в своем страдании, в своем отчаянии, я эгоистично думала только о себе, не отдавая себе отчета в том, как глубоко родители переживают мое несчастье Их любящие сердца разрывались от горя. С моей болезнью они утратили всякую радость, их мучила мысль, что они никак не могут избавить свое дитя от беды, такой жестокой и несправедливой.

А что, если они узнают правду? Особенно бедная мама. Я поклялась себе, что она никогда ее не узнает. Джерри дал мне слово Он никому не проговорится. Но для большей уверенности я потребую признания у виновного, а потом прикажу ему молчать.

Я не задумывалась о том, чем кончится наше свидание, и была удивительно спокойна. Узнав правду, я как бы обрела ясность ума.

Мама позвонила в Париж. Режи, по-видимому, пришел в восторг и сказал, что приедет завтра же. Мой хлыст лежал рядом со мной, и я позаботилась, чтобы его не трогали. Никто не противился этому капризу, теперь все старались выполнять любую мою прихоть.

В то время когда Лоран заканчивал со мной сеанс гимнастики приехал Пьер Он остался доволен, найдя меня более оживленной, чем обычно:

— У тебя сегодня блестят глаза, и вообще мне кажется, что ты стала бодрей. В таких случаях, как у тебя, это имеет большое значение. Прежде всего надо захотеть поправиться.

Я возразила с прежней иронией:

— Вы сами этому не верите!

— Неправда! Я всегда верил в силу, способности и неисчерпаемые возможности человеческого тела и молодости Мы делаем все, что можем. Ты же и не пытаешься нам помочь. Впрочем, сегодня...

Если бы он догадался, отчего сегодня у меня блестят глаза!

◘

Мама ввела Режи в мою комнату. Он бросился, чтобы меня обнять, и при взгляде на него, такого красивого и элегантного, у меня вдруг слегка дрогнуло сердце; но то было лишь мимолетное воспоминание об одном вечере, о необъяснимой теперь власти Режи надо мной, вернее, над частью моего «я». Однако я тут же опомнилась и отстранила его рукой: ведь теперь я знала, что таится за этим лицом с правильными чертами, лживым ртом и нежным взглядом — за ним таилась жесто-

кость. Он, сияя, направился к моей кровати. Но, не доходя двух шагов, остановился как вкопанный. Я держала в руках хлыст, который до этого был спрятан у меня под одеялом.

Если у меня и оставалось хоть малейшее сомнение, то теперь я сразу убедилась в своей правоте, увидев ужас, исказивший его побелевшее как мел лицо и бегающие, как у загнанного зверя, глаза. Тут обнажилась вся его трусость. Я сидела, не раскрывая рта. Наконец он пробормотал:

— Его... отыскали!

Как видно, бывая в Поммельере, он пытался разыскать мой хлыст, но не смел о нем спросить. Если бы он в свое время нашел его, то уничтожил бы последнюю улику своего подлого поступка. В его маленьком преступлении, так хорошо подготовленном, так хорошо выполненном, не хватало этой последней детали.

Мое молчание, мой упорный взгляд поведали ему, что я все знаю. Он упал на колени возле моей кровати, стараясь схватить меня за руки, но я с отвращением отняла их, и он застонал, прижимаясь лбом к одеялу

— Прости! Прости меня, Дилетта! Клянусь, я не хотел...

Я резко оборвала его:

— Прекрати! Не надо смешных сцен, постыдных комедий! Встань, и если у тебя хватило трусости на такую низость, то имей хоть теперь мужество объясниться.

Он послушно встал, и я увидела на его лице прежнее выражение, то, что когда-то не обмануло меня, - одновременно грустливое и хитрое.

— Почему ты это сделал? — спросила я.

— Я мучился тем, что так мало значу для тебя. Считал, что тебе надо преподать маленький урок...

Я сказала с горечью:

— Ты называешь это маленьким уроком!

— Ах, Дилетта! Ты не поверишь, но я и думать не мог о таких последствиях. Ты прекрасная наездница. Ни разу с тобой не случалось опасных происшествий. Мне казалось, что, если ты испугаешься — ведь ты ничего не боишься, - тогда ты откажешься от этих состязаний и станешь просто женщиной, моей женой.

— И ради этого ты меня искалечил?

— Послушай, Дилетта, клянусь, я скажу тебе всю правду, как под присягой. В тот день я вернулся от Куров взбешенный. Весь вечер не мог остыть и возмутительно вел себя с тобой. Когда ты ушла, бросив меня, я был вне себя. Изрядно выпил, чтобы забыться. Но я не привык к вину, и, должно быть, мой ум слегка помутился. Возвращаясь, я еще подогревал свою досаду. Назавтра я хотел устроить тебе сцену и сломить твою волю, сопротивлявшуюся мне. Я обдумывал разные доводы, но в глубине души знал, что у меня никогда не хватит духу высказать их тебе. Я люблю тебя, Дилетта!

Я только отмахнулась, и он продолжал:

— ...Плохо люблю, должно быть! Между нами никогда не было настоящей нежности, полного доверия, кроме того единственного вечера. Тогда я захватил тебя врасплох, но ты всегда сохраняла превосходство. А вот если бы ты пережила унижение, если бы в том, что ты ценишь выше всего, тебя постигла неудача... Все это промелькнуло в моей затуманенной алкоголем голове куда скорее, чем я говорю. Когда в тот понедельник ты оставила меня одного в седельной, я был вне себя от ярости. Там, среди этих разделявших нас предметов, мой смутный замысел принял реальные очертания.

Что было дальше, я знала сама. Он говорил чистую правду. Я не мешала ему продолжать. Если бы он предвидел, к чему это приведет, он никогда не совершил бы этого поступка, скорее идиотского, чем преступного. Он был не способен повлиять на меня и решил, как злобный мальчишка, меня унизить. Я могла, как он и ожидал, просто упасть с лошади, и это, несомненно, заставило бы меня отказаться представлять Фальстафа на состязаниях.

Я так погрузилась в воспоминания о прошлом, ясно подтверждавшие последние события, что забыла о Режи. Он потянул меня за рукав, чтобы привлечь внимание:

— Представь себе мое отчаяние, когда я понял, какие ужасные последствия... Ах, Дилетта! Ты не знаешь, какие муки совести...

— Однако ты ничего не сказал.

— Мне было очень стыдно!

— Напротив, ты выставил себя таким благородным, таким великодушным.

Опустив голову, он пробормотал:

— Я отдал бы за тебя свою жизнь! Я хотел и по-прежнему хочу сделать все, чтобы исправить... Я предлагаю тебе мое состояние, всю мою жизнь.

— Они мне не нужны.

— Будь милосердна!

— А каким был ты?

— Прости меня! Я буду тебя любить. Я буду таким нежным, таким преданным!

— И все будут восхищаться тобой. Превозносить твою доброту, твое великодушие, а меня осуждать за эгоизм, за то, что я сковала тебя цепями! Из своего преступления ты создашь себе великолепный пьедестал.

Я была несправедлива: если Режи и был трусом, он все же любил меня. Но я чувствовала, что, если бы проявила слабость и приняла его самопожертвование, он невольно испытал бы тайное удовлетворение от того, что наконец-то покорил меня.

Об этом не могло быть и речи. Он вызывал во мне отвращение. Нелепое тщеславие Режи, его дурацкая злоба сделали меня калекой. Мне хотелось ударить по этой красивой физиономии, исцарапать ее все еще торчавшей на конце хлыста острой иглой. Мое лицо, мои глаза, наверное, пылали такой ненавистью, что Режи испуганно попятился.

— Чего ты хочешь? — спросил он. — Устроить публичный скандал?

Как юрист, он знал, что его поступок несомненно был преднамеренным преступлением.

Я почувствовала некоторое удовлетворение, видя, как он забеспокоился. Женившись на мне, он избежал бы неприятных последствий своего поступка, разумеется необдуманного, но такого постыдного. Все

его мелкие расчеты, разоблаченные один за другим, вызывали у меня отвращение. Больше всего мне хотелось никогда, никогда не видеть этого человека, еще мой детский инстинкт когда-то подсказывал мне, каким он был и каким мог стать.

Он рухнул на стул и больше не произносил ни слова, смиренно ожидая моего решения. Все его великолепие развеялось, теперь он был просто жалок. Он приготовился перенести все, считая, что заслуживает наказания. Я дала ему время поразмыслить. Когда немного погодя он поднял лицо, выражение его изменилось. Не было страха, а только покорность. Он проговорил:

— Я должен искупить свою вину. Пойду и признаюсь во всем. Я не имею права притворяться честным человеком. Увы! Я ничем не могу исправить причиненного мною зла. Не стану оправдываться. Прощай, Дилетта. Что бы ты ни думала, я тебя любил. Надеюсь, настанет время, когда ты сможешь меня простить, вспомнив о моей неуклюжей и злополучной любви, причинившей тебе так много страданий.

Он шагнул к двери, но я его остановила:

— Постой! Подойди ко мне.

Я жестом велела ему сесть возле моей кровати и сказала совершенно спокойно:

— Мой бедный Режи, ничто не вернет мне того, что я утратила, и тебе незачем доносить на себя. Расследование установило, что это был несчастный случай. Зачем снова возвращаться к этому делу? Я совсем не хочу тебе мстить. Ты и так достаточно наказан. Никто ничего не знает, кроме меня и Джерри.

Его понемногу прояснявшееся лицо вдруг снова напряглось. Он повторил:

— Джерри?

— Это он обнаружил иглу, но я его попросила, и он будет молчать.

— Как он должен меня ненавидеть!

— Он не способен ненавидеть кого бы то ни было.

— Кроме меня... ведь он тебя любит!

Я вздрогнула и воскликнула, возмутившись:

— Джерри? Ты сошел с ума!

Словно не расслышав меня, он продолжал с внезапной резкостью:

— Джерри намного лучше меня... такой человек тебе и нужен. Я панически боялся, что наступит день, когда ваша доверчивая дружба незаметно перерастет в любовь. Ты, конечно, ничего не замечала. Да и замечал ли он сам? И однако..

В этой недосказанной фразе отразилась вся его досада. Я оборвала Режи:

— За такие жалкие измышления ты должен бы сгореть со стыда! Джерри — наш друг, он будет молчать. Требую, чтобы мы все трое сохраняли молчание. Прежде всего ради мамы. Я не хочу, чтобы она утратила веру в тебя и разочаровалась в своей привязанности. Если бы она узнала правду, она никогда не могла бы тебя простить и была бы глубоко несчастна, что так ошиблась в тебе. А теперь уходи и никогда больше не возвращайся.

Я взяла свой хлыст и вынула из его конца иглу-обличительницу. Протянув ее Режи, я сказала с плохо скрытой иронией:

— Сохрани ее на память обо мне.

XVII

Я молча выслушала нежные упреки мамы, жалевшей своего крестника:

— Бедный мальчик! Он выглядел таким несчастным, когда прощался со мной. Он приехал, полный радужных надежд, но ему пришлось согласиться с твоими доводами. Однако для него это жестокое разочарование. Он еще раз, в присутствии твоего отца, предложил нам все свое состояние, чтобы вылечить тебя, пригласив самых лучших врачей.

Когда она замолчала, я взмолилась, чтобы она никогда не говорила со мной о Режи. Она решила, что, порвав со своим женихом, я поранила собственное сердце, и обещала впредь не упоминать о нем. Но в конце концов я очнулась от этого оцепенения. Малютка Пегги продолжала меня навещать, а вот Джерри теперь не появлялся. Пегги приходила и уходила с мамой, с Мари, а иногда даже в сопровождении папы, ставшего ее большим другом. Наслушавшись взрослых разговоров, она повторяла с трогательной наивностью:

— Когда ты научишься ходить, мы пойдем с тобой в сад. Я покажу тебе папиных лошадок.

Я невольно возвращалась в мыслях к словам Режи: «Джерри любит тебя». Я внутренне отвергала это смущавшее меня утверждение. Сдержанность и скромность нашего ирландского друга не давали никакого повода к такому заключению, и когда я пыталась анализировать его поведение, я видела в нем только добрые, товарищеские чувства и такую же преданность мне, как и всей нашей семье.

Я не хотела звать Джерри, он больше не приходил. Почему он держался в стороне? Может, его смущало, что он невольно стал обвинителем Режи? Он догадался, что во время последнего свидания я разоблачила своего бывшего жениха. Должно быть, Джерри не хотел расспрашивать, чем кончилось наше свидание. Может быть, он боялся, что я проявила слабость?

Я не могла больше терпеть. Мне было просто необходимо повидаться с моим верным другом, встретить его прямой взгляд. Надо было освободиться и от чувства неловкости, которую вызвал во мне Режи своими словами. Я попросила маму позвать Джерри наверх. Она ответила:

— Он уехал на несколько дней.

— Что случилось?

Сердце у меня колотилось как бешеное, а мама, не замечая моей тревоги, грустно покачала головой:

— Нам надо привыкать к мысли, что Джерри рано или поздно покинет нас. Боюсь, это будет довольно скоро. Его родители состарились и требуют его домой. Перед отъездом у него был долгий разговор с твоим отцом. Джерри надо серьезно подумать о возвращении в Ирландию, чтобы поднять пришедшее в упадок хозяйство.

Я не удержалась и воскликнула:

— А как же мы?

— Его семья на первом месте, дорогая.

Мама оставила меня одну, и мною снова овладела ужасная тоска. Когда пришел доктор Марэ со своим почти ежедневным визитом, он нашел меня в полной прострации и закричал:

— Не хочу больше видеть тебя в таком состоянии! Ты нарочно мешаешь себя вылечить.

Я об этом и не думала. Что будет со мной, если лучший друг меня покинет?

■

Им пришлось смириться с очевидностью: мои нервы были так истощены, что даже Пьер согласился против воли сократить время сеансов лечения. Моя инертность делала их бесполезными. Но взамен он потребовал, чтобы меня как можно чаще выносили на воздух, на солнце. Я протестовала что было сил. Я не хотела никого видеть, пусть никто не видит и меня. Мне придется садиться в инвалидную коляску, хотя я заранее стыдилась выставлять себя напоказ. Но Пьер был неумолим, и мне пришлось сдаться, с условием, чтобы мне отвели конец сада, вдали от конюшен и всей сутолоки нашего хозяйства. Я отказалась от посещений Пегги. Я терпела присутствие только мамы и папы. Но даже с ними не разговаривала, несмотря на то что меня угнетали их скорбные лица,— ведь я ничем не могла их утешить.

А кто мог утешить меня? Будь проклят Режи, его злоба и глупость! Я могла только убиваться и рыдать. Во мне не было никакой покорности.

Возмущаясь несправедливостью судьбы, я становилась злой даже с теми, кого любила больше всего на свете. Пусть они оставят меня одну! Пусть дадут умереть!

Это был ужасный кризис, и я насилу преодолела его. Но, преодолев, стала другим человеком. И обязана этим Джерри. Какое сердце! Какая удивительная чуткость! И сколько доброты у этого человека, испытавшего немало душевных страданий, но оставшегося таким стойким, доброжелательным и исполненным человеческого сострадания. В минуту моего глубочайшего отчаяния он вернулся во Францию, и мама рассказала ему, в какой ужасной депрессии я нахожусь. Он тотчас отправился ко мне, и, увидев в дверях его высокую фигуру, я вдруг почувствовала невыразимое облегчение. Он подошел к моей кровати и сразу спросил:

— В чем дело, Одиль?

— Ах, Джерри! Все кончено для меня!

Он поднял правую бровь и холодно спросил:

— Что кончено?

— Нет никакой надежды выздороветь!

— Перестаньте! Дело только в вашей воле, такие люди, как вы, преодолевают боль и не отказываются от надежды, пока не испробуют все возможности.

— Я слишком долго боролась! Больше я не могу! Пусть меня оставят в покое.

— Нет!

Голос его гулко отдавался под низким потолком, когда он резко проговорил:

— Если не для себя, то хотя бы для ваших родителей. Вы им нужны.

— Что же мне делать? Разве калека сможет им чем-нибудь помочь? Надо смотреть правде в глаза: нам придется продать Поммельер...

— Почему?

— Потому что вы нас покинете.

— Кто это вам сказал?

— Я знаю, в каком трудном положении ваша семья. Она зовет вас домой, и вполне понятно...

Он прервал меня:

— Я остаюсь.

Я вскрикнула от радости и увидела, что нахмуренное лицо моего друга смягчилось.

— Я ездил домой, чтобы вместе с отцом выяснить положение дел. Совершенно ясно, что наше хозяйство пришло в упадок. Мы решили его продать, а господин Гобсон готов принять нас компаньонами в свое дело.

Я не сразу все поняла, и он принялся обстоятельно объяснять мне свои планы: с денежным вкладом, который он внесет в наше хозяйство, Поммельер, имеющий хорошие виды на будущее, может прекрасно развернуться. Его родители хотят купить небольшой домик на берегу моря в Бретани, на родине его матери, куда она давно стремится. А здесь мой отец избавится от большой части своих забот и обязанностей.

Я слушала его с восхищением. Мы обсудили подробности будущей организации общего хозяйства. Джерри поделился со мной своими планами. Никогда он не бывал таким разговорчивым. Я отвечала ему с давно утраченным оживлением. Вдруг я спросила:

— Для чего вы все это делаете, Джерри?

Он взглянул на меня, и в его светлых глазах мелькнул иронический огонек. Бровь его снова приподнялась, и он спокойно ответил:

— Для вас, Одиль. И для себя. Но мне надо, чтобы вы были рядом со мной. Одному мне не справиться. Мне необходима ваша помощь, слышите - необходима.

Лоран снова принялся за усиленные массажи и упражнения. Я выполняла их по требованию Марэ, чтобы доказать окружающим свою добрую волю, но с таким же недоверием, как и в начале лечения. Я по-прежнему лежала почти без движения. Однако жизнь моя изменилась. Каждый день меня относили вниз. Я сидела за завтраком с родителями и ела теперь с аппетитом. Несмотря на свое решительное заявление, что не желаю выставлять себя напоказ, я была благодарна Джерри, настоявшему, чтобы я приобщалась к жизни всего дома. Вопреки своему отвращению, я быстро научилась управлять инвалидной коляской, что позволило мне обрести самостоятельность, дало возможность передвигаться по саду и даже бывать в конюшнях.

Так я увидела одну за другой всех наших лошадей и даже Фальстафа. Славный конь меня узнал. Он не подозревал, что был причиной моего несчастья. Я не сердилась на него. Он был не виноват. Италла превратилась в прелестную лошадь. Она стала тоньше и приобрела такую благородную поступь, что я гордилась бы ею, но... ее появление на свет не принесло мне счастья, и я не смогла ее полюбить.

С тех пор как я начала появляться на людях и участвовать в общей жизни, Пегги не отходила от меня. Она была очень нежна и внимательна. Не знаю, было ли ей что-нибудь сказано обо мне, но она больше не говорила о том, что научит меня ходить.

Боясь меня волновать, со мной не смели заговаривать о восстановительном центре, указанном профессором Паренисом, но Пьер Марэ, продолжавший свои частые визиты, вел долгие совещания с моими родителями. После его ухода я видела, что они чем-то встревожены, и винила себя за то, что ни словом не утешаю их. Со времени ужасного разочарования, пережитого мной после второй операции, я отказалась от всякой надежды. Я не могла бы снова пережить подобное потрясение.

Когда я оставалась одна, у меня бывали, правда теперь более редкие приступы мрачного отчаяния. Выйдя из очередной депрессии, я пыталась убедить себя, что должна испробовать все средства, но ужас перед окончательным разочарованием удерживал меня, и на робкие намеки родителей я отвечала упрямым и враждебным взглядом.

У меня наверное глаза покраснели от слез, когда Джерри, проходивший по двору, вдруг повернулся и подошел к ужасному креслу, где я проводила свои дни. Пегги была очень занята: она плела венок из вьюнков и не замечала моей печали. Она бросилась к отцу и обхватила его ноги. Он быстро поцеловал ее, отстранил и, остановившись передо мной, сказал напрямик:

— Так больше не может продолжаться, Одиль. Надо принять решение.

Я сделала вид, что не понимаю.

— Какое?

— Восстановительный центр. Если ждать дольше, будет слишком поздно. Сейчас у вас много шансов.

— Я боюсь неудачи.

— Самая верная неудача — ничего не делать.

Я это знала, знала также, что отступать перед испытанием — трусость. Но вся моя былая отвага выдохлась. Что-то надломилось не только в моем теле, но и в душе. Джерри показалось, что он разгадал мои мысли. Наклонившись ко мне, он проговорил:

— Если вы жалеете о нем, то это лишний довод, чтобы укрепить вашу волю выздороветь. Его раскаяние заслуживает снисхождения, он только и мечтает, чтобы вы его простили.

Я не сразу поняла, на кого он намекает. Он думал, что мое отчаяние вызвано разрывом с Режи. Это было так неожиданно и так забавно, что на меня напал приступ неудержимого смеха. Я долго не могла его унять, а Джерри стоял передо мной, растерянный и немного обиженный моим неуместным весельем. Но потом лицо его разгладилось, и он спросил меня, улыбаясь:

— В чем же тогда дело?

— Ох, Джерри! Что вы надумали?

— Что вы все еще любите его.

— Даже не ненавижу! Вы сами недавно говорили, что я его не люблю.

— Я мог ошибиться.

— Теперь он для меня — лишь символ несчастья. Выздороветь ради него? Уж лучше на всю жизнь остаться калекой!

Я отвела глаза, снова погружаясь в уныние.

— Если бы это зависело от меня...

— Вы должны захотеть. Вы поддаетесь недопустимому безволию, и ваше безразличие просто непонятно, если вы не сожалеете, как я боялся, о разрыве с женихом.

Его прямота покоробила меня, а взгляд казался презрительным.

Я крикнула запальчиво:

— Легко говорить! Ведь это же не вам придется переносить новые мучения! Не вам дни и ночи лежать прикованным к больничной койке, дрожа от страха, терзающего душу и тело. И все это только для того, чтобы вернуться домой ослабевшей еще более подавленной и по-прежнему калекой.

Моя вспышка отчаяния на него не подействовала, и взгляд оставался таким же прямым, когда он возразил:

— Если бы у вас был всего один шанс из тысячи — а у вас их гораздо больше,— вы все равно обязаны были бы попробовать.

Да, кто-то должен был сказать мне это с такой твердостью! Однако я не хотела так быстро сдаваться и запальчиво бросила:

— Легко вам решать за других!

Тогда вспылил и он:

— Я говорю так потому, что мне нестерпимо видеть вас в таком состоянии. Если бы я мог стать на ваше место, Одиль, взять на себя все ваши страдания, все предстоящие вам муки, клянусь, я сделал бы это с радостью..

Внезапно он остановился, вспыхнул и обернулся к испуганной Пегги, дергавшей его за рукав. Она спросила:

— Почему ты так кричишь, папа? Разве Дилетта плохо себя ведет?

Он нагнулся, оказавшись на одной высоте и с девочкой и со мной. Я увидела вблизи его худое, покрытое веснушками лицо с неправильными чертами и разглядела на нем такую нежность и такую несомненную любовь, что была растрогана. Он предлагал мне не свою жалость или соболезнование, а силу и ободряющую преданность. На его взволнованном лице я прочла все это как в открытой книге. Он не подозревал об этом и объяснил Пегги:

— Да. Она плохо ведет себя, и ты тоже ее побрани.

С прелестной доверчивостью, свойственной ее возрасту, девочка нахмурила бровки, что придало ей забавное сходство с отцом. Я притянула ее к себе и, смеясь, пообещала:

— Я больше не буду.

Джерри выпрямился. У него был озабоченный вид. Было ли мое обещание только детской болтовней? Он ждал от меня твердого ответа, который, быть может, обречет меня на долгое, мучительное, а возможно, и бесполезное лечение. Вся сила его воли давила на меня. Он отвергал мои трусливые попытки уклониться и дать себе отсрочку.

— Так надо! — говорили его крепко сжатые губы.

— Надо! — твердили его светлые глаза.

— Надо! — кричала каждая черта его лица.

Во мне рождалось что-то новое. Надежда, какой я еще не знала с того злополучного дня, желание жить и стремиться вперед, к далекой и еще неясной цели.

На этот раз я уже не искала себе новых отговорок и согласилась не с покорностью, а с душевным подъемом. Я решила пройти ожидавшие меня испытания. Я захотела выздороветь и была тут же вознаграждена улыбкой Джерри, в которой светилось горячее сочувствие и восхищение.

XVIII

И все же, прежде чем уехать из дома, я дала себе отсрочку. Надолго ли?

Я хотела посмотреть конные состязания 27 августа в Ла-Боле, где Ален Буссар на Фальстафе должен защищать цвета нашей фирмы. Я была по-прежнему уверена в этой прекрасной лошади, и все окружающие были согласны со мной.

Поездка вызвала затруднения, но Пьер Марэ все устроил: я отправлюсь на состязания в санитарной машине, которую поставят на такое место, откуда я буду видеть весь путь Фальстафа

Наш конь имел небывалый успех. Сумела бы я с таким же мастерством, как Ален Буссар, привести его к победе? Это не имело значения. Он оправдал наши надежды и увенчал их золотой медалью — вот что самое главное! День, полный радостных волнений, все же утомил меня, и я попросила сразу уложить меня в постель.

Я проснулась раньше обычного, но отдохнула хорошо. В доме еще стояла тишина и я как будто в полусне стала вспоминать свои вчерашние впечатления — ни малейший оттенок горечи не омрачал испытанного мною удовольствия Я вытянула руки и, опершись на подушку, приподнялась: уже довольно горячее солнце припекало мне щеку. Так я делала каждое утро в тщетной попытке встать и подбежать к окну. Теперь я уже перестала огорчаться, что мне никогда это не удастся и жалеть бедные мои ноги, когда-то такие быстрые! Я сбросила простыню и посмотрела на них: они лежали неподвижные, бессильные. Надо двигаться, заставить их двигаться! И вдруг я увидела, как кончик моего большого пальца шевельнулся. Уже не почудилось ли мне это? Сердце у меня на миг остановилось. Я сошла с ума! Это просто сон! Я осторожно попыталась еще раз шевельнуть пальцем. Снова удача! Значит, я уже не полностью парализована! Профессор Паренис, Пьер Марэ и Лоран говорили мне правду: я могу поправиться! Как бы ни было ничтожно это движение, все же оно доказывало, что мои двигательные нервы не погибли...

Из груди моей вырвался громкий крик. Я звала, не боясь потревожить родителей, я звонила вниз. Я должна была поделиться с ними пробудившейся во мне надеждой. Мама, Мари и папа прибежали ко мне, испуганные моим возбуждением, не дававшим мне вымолвить ни слова. Я плакала и смеялась разом. Среди всеобщего волнения, боясь ошибиться, я сделала третью попытку, и все увидели, что у меня двигается большой палец и кончики остальных. Я без сил упала на подушку, но теперь все знали, что слезы, струившиеся по моему лицу, были слезами счастья.

◘

С этой минуты я стала с безумным нетерпением ждать отъезда. С этого крошечного успеха начнется мое полное выздоровление. Теперь врачам приходилось умерять мой пыл. Марэ и Лоран сначала хотели убедиться в том, что я считала чудом. Я пылко благодарила Лорана за то, что ему удалось хоть чуточку оживить мою правую ногу.

Профессор Паренис, сам осмотревший меня, как только я приехала в клинику, куда он меня назначил, ограничился словами:

— Будем надеяться, что ваше упрямство не привело к потере имевшихся у вас шансов.

— Не упрекайте меня, профессор! Я провинилась, но теперь я здесь и полна надежд и воли.

— Да, воли вам потребуется много. Успехи будут медленны. А будут и неудачи.

— Я готова ко всему!

— Даже к страданиям? Ведь если вы снова обретете чувствительность...

— Да, к чему угодно, если будущее передо мной проясняется.

Он, видимо, был настроен менее оптимистично, чем я, и мне почти приходилось его убеждать. Но под конец он смягчился. Мне дали комнату с голыми стенами, менее уютную, чем в клинике Нейи. Она показалась бы мне тюремной камерой, не будь я полна чудесной веры в будущее.

Работа — да, то была настоящая работа — началась на следующий же день Не стану описывать всевозможные упражнения, начиная с водных массажей в специальных бассейнах и кончая механизмами, насильно заставлявшими тренироваться мое бедное тело. Бывали дни, когда я чувствовала, что меня разбили, разорвали на части и они никогда уже не срастутся. Глядя на других больных, я ободрялась, понимая, что я не одна такая; у всех в глазах горел тот же огонь надежды.

Мама часто навещала меня, но не могла оставаться надолго. Однажды, вскоре после ее прихода, ко мне внесли роскошную корзину красных роз.

— От кого это? — удивленно спросила я.

Она отколола записку и, немного смутившись, ответила:

— От Режи. Он часто мне звонит, представь себе. Пришлось рассказать ему, что тебя привезли сюда. Узнав, что ты потихоньку выздоравливаешь, он начал надеяться...

— Ему не на что надеяться, мама. Пусть он твердо знает об этом.

Она не настаивала. Но на следующей неделе, когда следом за ней ко мне снова внесли цветы, я не смогла удержаться и, улыбаясь, поддразнила ее:

— Твой драгоценный Режи! Какое трогательное постоянство!

— А может, ты согласишься? Он хотел

бы только увидеть тебя, порадоваться вместе с тобой...

Чтобы ее не огорчать, а главное, чтобы у нее не зародились подозрения об истинной причине моего упорного нежелания его видеть, я согласилась.

— Если это доставит тебе такую радость, скажи ему, чтобы он зашел.

■

Теперь я была полна снисхождения к Режи. Я вдруг поняла, что, если бы не его глупость и злобность, я уже три месяца была бы госпожой Бедарьё. И участь моя была бы куда более тяжелой и безнадежной, чем теперь.

Режи пришел ко мне в тот день, когда мамы не было в Париже, предварительно прислав громадную коробку конфет. Я приняла его, испытывая скорее любопытство, чем враждебность. Как видно, все это время он жил в постоянной тревоге На его красивом лице пролегло несколько морщин, а на висках заблестели серебряные нити. Он не решался заговорить первым. Сознавая, чго он для меня теперь ничего не значит, я все-таки смутилась, вспомнив о странном опьянении, сделавшем нас на миг такими близкими. Я улыбнулась, а он, как будто только этого и ждал, разразился напыщенными фразами:

— Дилетта! Ты меня простила! Если бы ты знала, как терзает меня совесть! Я не сплю по ночам! Готов все время твердить тебе, что я не хотел, не хотел..

Я попросила его замолчать. Его пафос утомлял меня и раздражал. Режи воскликнул:

— Неужели я всегда буду только докучать тебе, ведь я так мечтал сделать тебя счастливой!

Я беззлобно пошутила:

— Ну, это тебе, к счастью, не удалось!

— Если бы ты позволила мне все исправить, согласилась, чтобы я сделал это хотя бы теперь...

Режи казался мне почти трогательным, полным добрых намерений, а он, заметив, что я смягчилась, снова пустил в ход все свои чары. Зная силу своего вкрадчивого голоса, он принялся строить планы, считая, что, если я поправлюсь, у меня уже не будет причин его отвергать. Я не мешала ему говорить Он решил, что уже покорил меня, что прошедшие месяцы были для него лишь тяжким испытанием. Слушая его, я думала о том, какое пошлое счастье ожидало бы меня во время предстоящего мне долгого выздоровления.

Я не сразу почувствовала, что он завладел моей рукой и стал покрывать ее поцелуями. Я резко вырвала руку. Он удивился, когда я сказала:

— А теперь оставь меня. Я устала.

— Можно мне прнходить к тебе? Ты позволишь мне доказать...

— Нет, это бесполезно!

Он опустил голову и униженно пробормотал:

— Было просто безумием надеяться, что ты когда-нибудь меня простишь!

— Не в этом дело, Режи. Не укоряй себя и не сожалей обо мне. Наша свадьба была бы отчаянной глупостью, и нам же лучше, что она не состоялась.

Мигом отрезвев, он перешел в наступление:

— Понятно, ты же меня не любила, а я...

— Не больше меня. И даже в эту минуту...

Тут он взорвался:

— Как видно, ты веришь только Джерри!

— Оставь его в покое.

Я немного покраснела, и это не укрылось от Режи. Он захихикал:

— Уж этот-то не сплоховал. Не так уж глупо жениться на дочери хозяина.

Я хотела его остановить, помешать ему произносить слова, которые причинят мне боль, но он злобно проговорил:

— Ведь правда, что это он нашел хлыст и принес тебе?

— Это случайность...

— ...Которой он сумел прекрасно воспользоваться. Джерри давно уже хотел обскакать меня. Но пока он был связан с той несчастной женщиной... кстати, говорят, что она умерла от горя...

Его слова глубоко задели меня. Стараясь быть спокойной, я сказала:

— Уходи!

Ревность ослепила его, и он настойчиво продолжал:

— Я кое-что знаю о нем Жену свою он бросил. Потом забрал у нее ребенка, а ее оставил без средств. Когда она заболела, он насилу согласился дать денег на ее лечение. Но было слишком поздно — она умерла. Он понимал, что делает, ведь он лелеял другие планы!

Я молчала, но в моем взгляде отражалось все мое презрение к Режи. А он уже не мог остановиться. Наверное, им овладела такая же бессильная ярость, как в тот день, когда он совершил свое дурацкое преступленне. Он наклонился ко мне и отчеканил:

— Не знаю, люблю ли я тебя, но я взял бы тебя какой бы ты ни была и заботился бы о тебе. А он выжидает. Если ты выздоровеешь, а ведь ты можешь и не выздороветь...

— Уходи!

Мой голос тон, каким я его выгоняла, как видно, отрезвил его. Оторопевший, пристыженный, бормоча извинения, он отступил к двери и разрыдался; он оплакивал и свое поражение, и новую, только что нанесенную мне рану, и свое горькое разочарование. Все оставалось по-прежнему. Он ничего не добился. Я ускользнула от него; замкнувшись в своем молчании, в своем презрении, и на этот раз уже навсегда.

Из всей этой отвратительной сцены я запомнила лишь одну фразу, она впилась и меня как отравленная стрела: «...ты можешь и не выздороветь» С ней в меня вошло сомнение. Все мои близкие, а Джерри больше всех, постоянно твердили мне, что я поправляюсь, и я почти забыла о возможности другого исхода. Режи напомнил мне о нем, и я испугалась.

Не знаю, видела ли мама Режи после нашей встречи. Я предпочитала молчать о том, что произошло. Он больше не пытался прийти ко мне, но последняя нанесенная им рана была тяжелее всех предыду-

щих. Он подорвал мою веру, набросил тень на Джерри и вызвал сомнения, от которых я долго не могла освободиться.

Дни шли за днями. А я все меньше верила в свое выздоровление, и замечания хирурга, недовольного моей внезапной пассивностью, уже не ободряли меня. Я потеряла аппетит. Укрепляющие средства вызывали у меня отвращение. Я похудела. Все это ухудшало мое общее состояние. Со времени отъезда из дому я больше не видела Джерри. Он не приезжал меня навестить, как и тогда, когда я лежала в Нейи. В его отсутствие я не могла отогнать кое-какие мысли, высказанные Режи, в ушах у меня звучало: «А он выжидает»

Однако при мысли, что Джерри меня любит, во мне всегда зарождалась нежность. Передо мной вставало далекое будущее, такое же туманное, как невысказанное обещание, пленявшее меня своей неясностью. Я не сентиментальна, романы о любви никогда меня не волновали. Однако мне хотелось бы, чтобы в отношениях между мной и моим возможным мужем было больше пылкости, а ее-то в поведении Джерри вовсе не ощущалось. С другой стороны, мое собственное сердце, не успев полюбить, уже было разбито. Сумеет ли оно ожить, если его будут вечно глодать сомнения, если жестокие слова Режи будут и дальше преследовать меня?

Улучшение в моем лечении вдруг приостановилось, и это сразу встревожило врачей и массажистов, занимавшихся со мной, и очень скоро все это дошло до профессора Парениса. Как-то утром он вошел в мою комнату, кипя от возмущения. В руке он держал записку и, взглянув на нее, закричал:

— Вы что это, нарочно, хотел бы я знать?

У меня даже не хватило мужества возражать, и я простонала:

— Отпустите меня домой

— Опять вы за свое! Снова капризы! Сами-то вы знаете, чего хотите? Да или нет? Выздороветь или навсегда остаться без ног?

— Выздороветь,— пробормотала я,— но для чего?

Он нехотя проворчал:

— На ваши сердечные дела мне наплевать, милая моя! Но должен вам сказать, что вы на пути к выздоровлению. Недели через две, если все пойдет нормально, мы могли бы поставить вас на ноги и дать вам костыли.

Я пожала плечами

— Превосходные результаты! Сначала встанете на костыли, потом замените их палками, а затем вы пойдете и на своих ногах! А вы хотите уехать, свести на нет всю проделанную работу, как раз в ту минуту, когда дело пошло на лад...

Я была так ошеломлена, что даже из гордости не могла сдержать слезы. Я плакала беззвучно, не всхлипывая. Он заметил это и, наклонившись ко мне, сказал почти ласково:

— Будет вам! Я вас ругаю, но это для вашей же пользы, упрямица вы этакая! Не огорчайтесь. Я отпущу вас на недельку, если вы обещаете вернуться.

Суровый ворчун смотрел на меня добрыми глазами, и, немного успокоившись, я взмолилась:

— Ох, да! Отпустите меня домой хоть на несколько дней!

— Так и быть! Я позвоню Марэ и вашему массажисту — он с вами неплохо поработал. И дам вам неделю, но с условием, что вы ни на один день не прекратите упражнения. А если будете умницей, даже приготовлю вам сюрприз.

Он не сказал больше ничего, но после телефонных переговоров между моими родителями, Марэ и Лораном санитарная машина на следующее же утро увезла меня домой.

Я поднялась в свою комнату не на носилках, меня внес на руках санитар. Немного обрадовалась, чувствуя, что я дома. Быть может, здесь я снова наберусь сил, чтобы вернуться в этот центр, хотя недавно и преуменьшала его благотворную деятельность. Полтора месяца назад я уехала из этого дома совсем не владея ногами, теперь же я могла ими двигать, правда медленно, но уже самостоятельно сгибала их. Смогут ли мои ноги держать меня и ходить по земле? Это было еще неизвестно.

Профессор Паренис обещал сделать мне сюрприз. Его принес Пьер Марэ на следующий день утром. После очередного сеанса массажей и упражнений Лоран, пришедший в восторг от достигнутых мной успехов, отнес меня вниз, на первый этаж.

Я не сразу увидела, что мне приготовили костыли, на которые я должна была опереться, чтобы сделать первые шаги. Профессор Паренис с трогательной заботливостью распорядился, чтобы я сделала первую попытку в кругу своих близких. Сначала я должна была только постоять. Надо было убедиться в крепости моих ног.

Большое зеркало передо мной отразило мое похудевшее лицо и казавшиеся теперь огромными глаза. Длинные волосы падали мне на лоб. Я нетерпеливо откинула их и отвернулась от своего отражения, не узнавая себя.

Наступила решительная минута — сердце у меня отчаянно забилось. Мама держала один костыль, папа — второй. Доктор Марэ и Лоран подошли ко мне с двух сторон. Они посадили меня так, что ноги мои свесились с дивана. Затем осторожно приподняли и поставили на ноги, как ставят манекен. Мне казалось, что каждая жилка в моем теле разрывается, и я сжала зубы, чтобы не закричать. Родители подставили мне костыли, и это было новой пыткой, так что я даже не заметила, как слезы полились у меня из глаз.

Я стояла не двигаясь. Вокруг меня слышались радостные возгласы, но я чувствовала что вот-вот упаду: ноги мои подгибались под тяжестью тела. Вот-вот я рухну и разобьюсь об этот блестящий паркет, на который я смотрела как завороженная! В ужасе я крикнула.

— Джерри! Помогите!

Он понял, что происходит со мной, гораздо раньше других и подхватил меня в объятия, а костыли с грохотом упали на пол. Он держал меня, как охапку сена, а я цеплялась за его шею и умоляла:

— Отнесите меня в мою комнату Я никого не хочу видеть.

Осторожно держа меня, он медленно пересек гостиную, где внезапно наступила полная тишина. Я тихонько плакала, уткнувшись в грудь моего друга, и мне на секунду показалось, его губы коснулись моих волос.

Он поднимался по лестнице безо всякого усилия, шагая со ступеньки на ступеньку Ведь я стала такой легкой!

Дверь в мою комнату осталась открытой, и он подошел к кровати, чтобы уложить меня. Я вцепилась в него и, не переставая рыдать, проговорила:

— Видите, я была права, все кончено! Я никогда не буду ходить!

Нахмурившись, Джерри слегка отстранился от меня и властно произнес:

— Вы будете ходить, если захотите.

— То, что сейчас произошло..

— Вы поддались отчаянию, не хватило силы воли...

— Я не могу! Ох, Джерри! Это ужасно!

Он осторожно положил меня на кровать Мои руки по-прежнему обнимали его за шею. Он стал на колени рядом со мной Я прижалась лбом к его голове, и он сказал

— Надо, Одиль, слышите! Вам надо ходить! Вы еще будете мучиться. И полосы уныния будут. Вот теперь-то вы должны проявить всю силу вашего духа.

В его суровом голосе не было никакого обаяния Ничего похожего на ту пошлую нежность, какой я однажды дала себя пленить. Я с тревогой спросила:

— А вы мне поможете?

На этот раз он разжал мои руки и, держа их в своих, спросил, пристально смотря мне в глаза:

— Вы этого хотите?

В ту минуту можно было говорить лишь правду. Я не успела открыть рот чтобы сказать ему, как он мне нужен когда он остановил меня Его взгляд стал почти суровым, но в нем таилась тревога. Он сказал:

— Осторожно, Одиль. Помните, что наступит день, когда вы снова станете собой День, когда вы будете сильной. Захотите ли вы и тогда моей помощи?

Джерри так сжимал мои руки, что делал мне больно, и, несмотря на его спокойное лицо, я чувствовала, как глубоко он возволнован. Какими ничтожными показались мне в этот миг грязные измышления Режи! У Джерри никогда не было, да и не могло быть ни малейшего расчета, и мне было стыдно, что я могла хоть на минуту усомниться в нем.

Он с нетерпением ждал от меня ответа. Я улыбнулась. Все мои сомнения рассеялись навсегда. Опираясь на его плечо, я буду шагать по жизни, невзирая ни на какие трудности. Будут у нас и тяжелые дни, когда мужество может покинуть меня, но он будет тут, рядом со мной такой же чуткий и сильный, как и сейчас

Я высвободила руки чтобы снова обвить его шею, и, прижав к себе эту милую рыжую голову, прошептала:

— Я хочу, чтобы вы всегда оставались возле меня. Вот так

Первый поцелуй с привкусом наших смешавшихся слез был бесконечно нежен.

ЭПИЛОГ

Я полностью выздоровела и счастлива. После того страшного случая прошло больше года Снова наступило лето, и у нас в Поммельере снова воцарились покой и радость Профессор Паренис разрешил мне покинуть медицинский центр только в конце декабря Мама и Джерри приехали за мной, и, опираясь на палку, я вышла, чтобы сесть в машину, увозившую меня домой С каждым днем я чувствовала себя все лучше. На Пасху Джерри посадил меня на Гувернера, и я крепко держась в седле объехала шагом вокруг двора.

Спустя неделю мы с Джерри поженились Мы стали пылкими и нежными супругами и я наконец-то узнала, что такое настоящая любовь, полное единение души, сердца и тела

Родители предоставили нам большой дом ставший теперь слишком тесным для всех нас, и строят себе неподалеку новый А пока он еще не готов, папа может полечиться, набраться сил и, главное, отдохнуть

Любовь Джерри переделала, преобразила меня. Я знаю теперь, какую радость, какое удовлетворение испытывает жена, когда может опереться на плечо сильного мужа, подчиниться его воле, его рассудку, но умеет настоять и на своем, если чувствует что она права.

Как отрадно, как хорошо любить, быть любимой и знать, что это — на всю жизнь!

◆

ШИШМАРЕВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА

Советская переводчица. В ее переводах с французского вышли романы «Бюг Жаргаль» В. Гюго «Лилия долины» О. де Бальзака, «Западня» Э Золя (совместно с О. Моисеенко), «Бунтари» Ж П. Шаброля «Монкада» Р Мерля и др., с английского «Квартеронка» Майн Рида (совместно с В. Курелла), «Шпион» Ф. Купера.

Публицистика

МАРК ГЕРЗОН

ГЕРОИ, КОТОРЫХ МЫ ВЫБИРАЕМ

Идеал Мужчины — вчера и сегодня

Фрагменты книги

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

Чувство, с которым я начала читать эти страницы, можно назвать жадным любопытством: довольно молодой — 1949 года рождения — американец рассуждает о сущности настоящего мужчины в современном бытии страны, претендующей на мировое господство и, хотя само ее название «США» не содержит четкого признака пола, все же своим воинственным поведением декларирующей наступательное мужское начало.

Любопытно и то, что этот американец, публицист, киносценарист, побуждаемый стремлением понять сложный процесс американских перемен, разобраться в характерах и нравах соотечественников, а также в существе представлений о мужестве и героизме американцев — каждого в отдельности и всех вместе, приходит к выводам, может быть порой неожиданным для самого себя, остро актуальным именно сегодня.

Не скрою и чисто женского любопытства, ибо возможность для женщины посмотреть на заокеанскую мужественность глазами одного из миллионов американцев не означает ли: понять непонятное, убедиться в своей правоте или неправоте, а также с оттенком печального удовлетворения признать вероятность неких, пока еще не слишком явных перспектив для развития в будущем мирного женского начала.

Взяв книгу Марка Герзона в руки, я уже знала, что она будет правдивой и смелой, в ней будет множество фактов и выводов, могущих не всем в США понравиться. Почему знала заранее? Встречалась с ним и в США, и в Советском Союзе. Его резкое, очень юношеское желание все видеть самому, во всем разобраться, всему дать свое собственное определение могло при первой встрече показаться неудобным, обременительным. На конференции советских и американских сторонников мира в Санта-Барбаре (июнь 1986 года) Марк Герзон был самым беспокойным, самым требовательным, самым въедливым собеседником среди ее участников. Иногда можно было подумать, что он относится к нашей стране чуть ли не враждебно: обострял углы в спорах, даже порой получал от советских участников самые резкие отповеди. Однако тогда-то я и обратила внимание на то, что самый резкий, но убедительный ответ вдохновлял Герзона, давал ему энергию и радость узнавания другой точки зрения.

«Этот парень хочет все потрогать своими руками»,— подумала я.

Приехав в августе 1986 года в нашу страну с группой американцев из общества «Проекты всемирного мира», Марк Герзон оказался еще и самым недисциплиниро-

© By Mark Gerzon, 1982

МАРК ГЕРЗОН — MARK GERZON (род. в 1949 г.)

Американский публицист. Автор книг «Весь мир наблюдает. Взгляд молодого человека на молодежный бунт» («The Whole World Is Watching: A Young Man Looks at Youth's Dissent». New York, 1969) и «Каждому ребенку — детство. Политика отцовства и материнства» («A Childhood for Every Child. The Politics of Parenthood». New York, 1973).

Книга «Герои, которых мы выбираем» опубликована в США в 1982 г. («A Choice of Heroes. The Changing Faces of American Manhood». Boston, Houghton Mifflin Company).

ванным уходил от группы, поздно возвращался, не соблюдал программы. На все замечания организаторов поездки отвечал одно:

— Я свободный человек и хожу куда хочу.

— Марк,— сказала я ему,— вы, конечно, свободный человек, но в поездке вы несвободны. О вас беспокоятся и те, с кем вы приехали, и те, кто вас принимает. Нельзя нервировать людей.

— Нельзя.— согласился он,— но я хочу увидеть больше, чем другие, познать здесь то, что закрыто для меня в США средствами массовой информации, и вообще выяснить, насколько слова у вас не расходятся с фактами жизни.

Читая страницы книги «Герои, которых мы выбираем», я снова увидела неугомонного, верящего лишь факту и собственному зрению писателя,— может быть, одного из первых американцев нового поколения, сказавшего истину самому себе.

Вы прочитаете отрывки из «Героев» и сами сделаете выводы — в этой книге нет ничего сложного, все сказано впрямую, глаза в глаза. Возможно, некоторые абзацы опровергнут иные из ваших стереотипных представлений об американцах, скорее всего будет так, ведь человеку свойственно принимать привычное за действительное, даже если последнее его опровергает

Заметьте также — автор с первых страниц предупреждает: «Присмотревшись внимательней, мы сможем обнаружить нарождающиеся новые представления... Подобно тому как меняется характер опасностей, угрожающих человеческой жизни, меняется содержание понятия мужественности».

Говоря о сегодняшнем дне, Марк Герзон смотрит в день, могущий прийти ему на смену, но могущий и не прийти, если — по его мнению — четыре современных всадника Апокалипсиса не будут выброшены из седла: демографический взрыв, загрязнение окружающей среды, истощение ресурсов и ядерная война.

Тем, кто при чтении заголовка настроился на некую «клубничку», на развлечение, вполне предположительное в теме мужественности, придется испытать разочарование: у Герзона нет и тени обывательского мироощущения, хотя «Герои» построены на бытовом, обыденном (читай — житейском) материале.

Стремление разобраться в собственном времени и оценить его неминуемо привело автора «Героев» к необходимости осмыслить роль того, кто определяет лицо американского общества, движет его силами и создает предпосылки для перспектив — роль мужчины-американца, каков он есть сегодня на фоне драматических перемен жизни в разнообразных сферах.

Герзон рассматривает пять «архетипов» мужчины в Америке: Первопроходец — покоритель дикого Запада, Солдат Специалист Кормилец и, наконец, Господь бог — и приходит к выводу, что функции каждого из пятерых прежде четко разграниченные, ныне сконцентрировались в образе Солдата, ставшего доминирующей фигурой американской мужественности

«Солдат — это Первопроходец, покоряющий бесплодную пустыню поля битвы. Создавая высшее из благ — безопасность, он выступает в роли Кормильца, добытчика. Он же является и Специалистом, владеющим самой мужественной из профессий — военной. К тому же Солдат — это наш Спаситель избавляющий от самого страшного зла — неприятеля. Мудрено ли, что свободные люди наделяют свое правительство властью посылать их сыновей на войну? Ведь быть воином — значит быть мужчиной!»

Но каков этот воин и что стоит за его воинственной фигурой? Четко и определенно, сопоставляя факты, исследуя роль средств массовой информации, Герзон приходит к выводу, что в конце XX века культ милитантизма — воинственности, внедрявшийся в головы американцев, насаждавшийся с помощью экрана и «масскульта», неминуемо привели поколения к апологии милитаризма. Что же в итоге? Смело подобранные Герзоном факты жизни отвечают на этот вопрос: после вьетнамской войны о Солдате Америки говорят без пиетета; наступательная, нападающая функция Солдата заслонила его защитительные функции, и герои типа Джона Уэйна или Рэмбо сегодня — воспитатели поколений в духе захвата.

Как тут не вспомнить слова американской женщины, общественной деятельницы первой половины нашего века Мэри Андерсон:

«Мужество больше проявляется не в том, чтобы затеять драку, а в том, чтобы избежать ее».

Книга Герзона, по-моему, направлена к такой именно цели, его мужская логика ведет читателей по дороге памяти или, как бы сказали в Древней Руси, «по мыслену древу» со смелостью и благородством и мужественностью. Недаром она была встречена читающей Америкой с большим интересом.

Что касается самого Марка Герзона, то я думаю, будучи предельно самокритичным в оценке современного американского мужского начала, он самим фактом своего исследования уже совершил «мужской» поступок, и как бы грустны ни были его выводы, покуда в Америке существуют люди, подобные Марку Герзону, думаю, понятие «мужественность» американцам рано сдавать в архив.

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

«Мы» — белые американцы, окончившие колледж, полноценные мужчины. От нас многое зависит. Хоть мы пока не на самом верху, у нас еще есть возможность там оказаться. Мы составляем меньшинство американского населения, но всюду, где что-то происходит, мы в большинстве. Там, где мы не возглавляем дело сами, мы трудимся рука об руку с руководителями. Мы, члены привилегированного клуба белых американцев мужского пола, везде стоим у руля — в законодательных собраниях штатов и в ректоратах университетов, в военных кругах, в руководстве корпораций, крупных банков и политических партий.

Мы считаем себя стопроцентными американцами, «настоящими мужчинами» Мы хотим, чтобы Америка была сильной, являлась мировым лидером и не стояла за ценой военной экспансии. Но мы все больше ощущаем свою уязвимость.

Эта книга — о нас. О том, почему мы думаем и поступаем так, а не иначе. В ней предпринята попытка заглянуть во внутренний мир американских мужчин, скрытый под хорошо сшитыми костюмами и впечатляющими мундирами Она о том, каких героев мы себе выбираем, ибо в конечном счете герои эти — наше собственное отражение.

Каждый мужчина хочет быть героем, если не перед лицом истории, то хотя бы в глазах женщин. Можно не хвастать этим Можно даже вообще не говорить об этом. Более того, можно не отдавать себе в этом отчета. И тем не менее каждый из нас пытается соперничать с мужскими идолами, которые кажутся нам героями.

Но кто они — наши герои? Вспыхивают ли в нашем сознании имена и лица знаменитых воинов, предпринимателей, политиков, спортсменов, писателей или религиозных деятелей? И выкристаллизовываются ли их четкие образы? У нас создается некое представление, но многое остается недосказанным. Вопрос о героизме — самый важный из всех, который может задать себе мужчина, но мы не осмеливаемся отвечать на него со всей прямотой.

Мы хотим, чтобы везде — в профессорском кругу, в офицерском клубе, на заседании правления или в постели — нас считали настоящими мужчинами (что бы мы под этим ни подразумевали). Эта потребность так сильна, так изначальна, что некоторые из нас готовы ради ее удовлетворения рисковать всем — богатством, здоровьем, даже собственной головой.

Но насколько сознательно культивируем мы в себе это героическое самоощущение? Поведение мужчин как в частной, так и в общественной жизни свидетельствует о том, что наши представления о героизме носят по большей части подсознательный характер. Они так неразрывно связаны с нашими мальчишескими идеалами, что мы принимаем их почти безотчетно. Ведя сидячую жизнь чиновников, мы воображаем себя в мечтах суперменами.

В галерее мужских идолов на первом месте стоит киногерой Джона Уэйна Множество американцев, отвечая на вопрос, кому им хотелось бы подражать в детстве, вспоминают, что они мечтали вырасти такими, как Джон Уэйн. И никто из них не знал самого Уэйна. Они никогда не встречались с Мэрионом Майклом Морриссоном, сыном аптекаря. Они не знали лично долговязого парня, который отрекся от собственного имени из-за того, что оно, по его словам, «звучало недостаточно по-американски». Они не знали мужчину, который на склоне лет признался интервьюеру: «Я до сих пор не всегда откликаюсь, когда меня называют Джоном». Не знали они и человека, который медленно умирал от рака, полученного, вероятно, во время съемок на старом полигоне для ядерных испытаний... Нет, всем им был знаком лишь его образ, тот, что сохранила для них кинопленка.

Стоит, однако, мужчине сойти с ума, и его «герой» может обнаружить себя. Послушаем, например, что рассказывает Фрэнк Барбер, ветеран войны во Вьетнаме В период перенесенного им психического расстройства его обуревал неистовый, демонический гнев. «Я не был Фрэнком Барбером,— вспоминает он.— Я был Джоном Уэйном, Стивом Маккуином, Клинтом Иствудом».

Пройдя курс лечения, Фрэнк вновь обрел свое прежнее «я». Другие же полностью утрачивают собственную личность и как бы становятся своим «героем». Так, Джон Хинкли, сынок нефтяного магната, стрелявший в президента Рональда Рейгана и едва не убивший его, объяснил потом свой поступок желанием произвести впечатление на актрису Джоди Фостер, которую он видел в проникнутом насилием фильме «Таксист» На вопрос, почему он накупил столько оружия, Хинкли ответил: «Спросите у Трэвиса». Трэвис — это герой фильма «Таксист», которого играет Роберт де Ниро

Очевидно, что нормальный мужчина в обычных обстоятельствах не станет столь нелепо отождествлять себя со своими подсознательными образами идеального мужчины. Он помнит, кто он есть, остается самим собой и не подменяет собственного «я» чьим-то чужим. Но при всем том созданные нашей культурой образные представления о том, каким должен быть «настоящий мужчина» оказывают на нас такое влияние, о каком мы и не подозреваем.

На страницах этой книги будут рассмотрены пять архетипов «настоящего мужчины»: Первопроходец — покоритель дикого Запада, Солдат, Специалист, Кормилец и, наконец, Господь бог. Эти архетипы, или героические образы, оказывают влияние на наши поступки, сознаем мы это или нет. Тяжеловесное слово «архетип», означающее прообраз или изначальную форму, здесь вполне уместно, поскольку оно подразумевает невозможность вытеснения этих образов «настоящего мужчины» просто путем маниакального «изменения сознания» или «альтернативными» стилями жизни.

Эти архетипы «настоящего мужчины» существуют потому, что когда-то они были полезны. Тогда они сулили жизнь и достаток. Первопроходец разведывал и осваивал новые земли. Солдат символизировал

защиту от опасностей. Специалист добывал и упорядочивал новые знания. Кормилец способствовал экономическому процветанию своей семьи и всей нации. Господь бог, символ провидения, обеспечивал спасение души и жизнь вечную. Подобные героические образы служили жизненно важным целям. Они побуждали мужчин защищать своих любимых, отстаивать заветные идеалы, делать свою жизнь богаче, расширять ее горизонты.

Но полезны ли эти символы мужественности сегодняшним мужчинам? В этом мы далеко не уверены.

По традиции мужчины отождествляли себя с образами героев, представления о которых передавались из поколения в поколение, от отца к сыну. Эти образы, составляющие неразрывное целое с древними мифами и доисторическими ритуалами, были сердцевиной ранних культур. Но с возникновением современных «технологических» обществ перемены набирают скорость. Как писала Сьюзан Зонтаг («О фотографии»): «Общество можно считать современным, когда одним из главнейших видов его деятельности становится создание и потребление образов, которые сами по себе являются желанными заменителями личного опыта». Итак, сегодня мужчины потребляют определенные образы мужественности, пусть даже мир, к которому они восходят, исчез — если существовал вообще.

Подражать в своем поведении другому человеку — дело само по себе сомнительное. А уж образу, созданному для экрана, подражать опасно.

Прежние представления о том, что такое «настоящий мужчина», живут в нас. Наша задача, согласно Юнгу, заключается не в том, чтобы отрицать наличие этих образов или архетипов, а в том, чтобы осознать это.

Мужество глубже заглянуть в себя и руководствоваться в своих поступках самопознанием — вот в чем состоит подлинный героизм. В этом понимании героизм отнюдь не умер — он постоянно развивается. Старые представления о мужественности отмирают. Однако, присмотревшись внимательней, мы сможем обнаружить нарождающиеся новые представления, новые образцы для подражания, которые так же важны для сохранения жизни, как были важны те, старые для наших предков. Подобно тому как меняется характер опасностей, угрожающих человеческой жизни, меняется содержание понятия мужественности. Выступая в 1980 году перед выпускниками Гарварда, Уолтер Кронкайт сказал, что на них ложится задача «выбросить из седла четырех современных всадников Апокалипсиса: демографический взрыв, загрязнение окружающей среды, истощение ресурсов и ядерную войну». Перед лицом таких опасностей нам не следует тревожиться, если идеалы мужественности изменятся. Тревожиться надлежит, если они останутся неизменными.

■

Образ воина, солдата, это олицетворение мужества, составляет основу всех остальных архетипов «настоящего мужчины». Солдат — это Первопроходец, покоряющий бесплодную пустыню поля битвы. Создавая высшее из благ — безопасность, он выступает в роли Кормильца, добытчика. Он же является и Специалистом, владеющим самой мужественной из профессий — военной. К тому же Солдат — это наш Спаситель, избавляющий от самого страшного зла — неприятеля. Мудрено ли, что свободные люди наделяют свое правительство властью посылать их сыновей на войну? Ведь быть воином — значит быть мужчиной!

Желая подчеркнуть опыт, зрелость или высокий профессионализм мужчины, его могут назвать хирургом-ветераном или ветераном многочисленных политических кампаний. Но если говорят просто «ветеран», неназванная профессия подразумевается сама собой. Испытание в бою считается высшей формой жизненного опыта мужчины, умение сражаться не на жизнь, а на смерть — мерилом его зрелости.

Следовательно, если мы хотим разобраться в том, что представляют собой наши понятия о «настоящем мужчине» и как они влияют на наше поведение, нам нужно прежде всего вникнуть в сущность нашего образа Солдата. Его ремесло — война — отличается от всех прочих видов деятельности, которыми занимаются мужчины, одним непреложным обстоятельством: здесь выше риск. Война может уничтожить все, что достигается мирным трудом. Она может забрать здоровье, богатство, достоинство и саму жизнь. Она способна погубить цивилизацию.

Мы, возможно, думаем о сражениях реже, чем о своей семье и работе. Но даже находясь на периферии житейского повседневного опыта, война по-прежнему занимает центральное место в сознании мужчин. История и будущность идеалов мужества тесно переплетены с историей и будущностью войн.

В последнее время, особенно после вьетнамской войны, о Солдате нередко говорят без пиетета. Ветеранов этой войны не встречали по возвращении домой как героев. Иной раз их и вовсе не поздравляли с возвращением домой. В Солдате ныне зачастую видят просто пленника военных систем, тогда как не только противники, но и сторонники больших военных расходов открыто критикуют мораль и интеллектуальный уровень военнослужащих.

Чтобы понять сущность героического образа Солдата, этой воплощенной мужественности, мы должны вспомнить о том, какая роль отводилась ему первоначально. Солдат был защитником жизни от смертельной угрозы. Он охранял своих близких и всю страну. Он являлся символом безопасности. Настоящий мужчина, он всегда шел навстречу опасности и не поддавался страху. Ради защиты любимых он с готовностью рисковал собственной жизнью.

Солдат был не просто храбрым мужчиной, он был мужчиной особого сорта. Он олицетворял собой силу, отвагу, ответственность. Своим примером он вдохновлял

других мужчин на смелые поступки, сплачивал воедино народ и тем самым помогал ему отстоять свой суверенитет. Фактически любая культура героизировала Солдата, ибо без него никакое общество не смогло бы долго просуществовать.

От Солдата требовались большие жертвы. Тяготы и лишения, страх и душевное напряжение неизбежно становились его уделом. Он жил под постоянной угрозой ранения, плена, гибели. Но Солдат стойко переносил все это потому что за свою службу получал бесценную награду. Культура его общества видела в нем Мужчину. Если он хорошо выполнял свой долг его считали героем. Как писал Джеймс Фоллоуз, война — это «самое отвратительное занятие в жизни» и тем не менее «в глазах многих людей она является высшим проявлением мужской доблести».

Хотя этот образ мужественного героя сплошь и рядом порождал в мужчинах жестокость, он тем не менее представлялся жизненно важным для цивилизации. Для того чтобы проявлять мужество в самых ужасных обстоятельствах, Солдат должен был подавить свой страх. Для того чтобы проявлять силу, он должен был избавиться от чувства собственной уязвимости. Для того чтобы проявлять твердость, он должен был отрешиться от чувствительности. Для того чтобы убивать, он должен был подавить в себе сострадание. У него не было иной альтернативы. Поэтому из века в век неотвратимая, как казалось, солдатская судьба служила мерилом мужественности. Мы безропотно принимали ее. Тех, кто отвергал эту судьбу, мы называли трусами. Лучшими среди мужчин были те, кто лучше воевал.

Командир танка, сражавшийся с танкистами Роммеля в Северной Африке, помышлял только о победе. Разве разоружился бы третий рейх, если бы союзники проявляли сострадание и чувствительность? Ясно как день что Гитлера могли разбить только отважные солдаты.

Послевоенное поколение американцев росло, гордясь своими героями и почитая их. Многие из нас верили, что мы, как и наши отцы, сможем доказать наше мужество на поле брани. Мы мечтали стать «стопроцентными мужчинами» — героями, побеждающими неприятеля. Когда ветераны вьетнамской войны вспоминают, что привело их во Вьетнам почему у них возникли желание и потребность отправиться туда, они говорят не о коммунизме, не о теории падающих костяшек домино, ни даже о патриотизме. Они говорят о Джоне Уэйне.

Рон Ковик, росший страстным болельщиком бейсбольной команды «Нью-Йорк янки», поведал нам, как он плакал, слушая гимн морской пехоты. «Я так любил этот гимн и всегда, когда слышал его вспоминал Джона Уэйна. Вспомню — и заплачу — рассказывает он — Джон Уэйн в «Песках Иодзимы» стал вместе с бейсболистом Микки Мэнтлом одним из моих кумиров».

В детстве Рон играл в войну в лесу неподалеку от дома. «Мы превращали лесок в поле боя. Мы устраивали засады, мы ходили в героические атаки, штурмуя высоту и разя штыком и огнем всякого, кто становился у нас на пути. А затем возвращались из леса как герои, которыми, как мы знали, станем — вот только подрастем»

Когда в старший класс школы, где учился Ковик, пришли вербовщики морской пехоты, его реакция была предопределена. Она была заложена в его сознании, равно как и в многовековом коллективном подсознании мужчин. «Я пожимал им руки, глядел им в глаза, и мне невольно чудилось, что я обмениваюсь рукопожатием с Джоном Уэйном и Оди Мерфи,— вспоминает он.— В тот день они сказали, что морская пехота сделает из нас настоящих мужчин, закалит тело, мозг и дух». Так как ему хотелось стать настоящим мужчиной, он решил пойти в морские пехотинцы. В мир настоящих мужчин его ввел сержант — инструктор по строевой подготовке: «Ладно, барышни!.. Когда вы научитесь слушать команду? Вы не кем-нибудь, морскими пехотинцами должны здесь сделаться!» И Рон сделался морским пехотинцем.

Фил Кэпьюто тоже мечтал стать Солдатом. Он вырос в мирном, чистеньком пригороде Чикаго. Гуляя по «нехоженым дебрям» возле дома, он «предавался мечтам о том первобытном, героическом времени... когда Америка еще не стала страной коммивояжеров и торговых центров». Подобно многим и многим белым американцам, он жаждал «найти в заурядном, будничном мире возможность жить героически». Хотя ему предстояло учиться в колледже, он мечтал о военной службе. «Я представлял в воображении, как я, наподобие Джона Уэйна в «Песках Иодзимы», бросаюсь в атаку, чтобы захватить плацдарм на каком-нибудь далеком берегу, а затем возвращаюсь домой — загорелый вояка с медалями на груди». Когда на территории колледжа, в котором Кэпьюто учился, был открыт пункт по вербовке в морскую пехоту, он отреагировал точь-в-точь так же, как Ковик. Впоследствии он писал:

«Велись поиски талантов для пополнения офицерских кадров. Повсюду был развешан плакат, изображавший элегантного лейтенанта с жестким лицом спортсмена. Такие лица считаются в среде военных красивыми. Это было что-то среднее между чистокровным американским полузащитником и нацистским командиром танка. Его голубые глаза, ясные и решительные, казалось, с вызовом глядели прямо на меня. «Вступай в морскую пехоту,— гласил лозунг над его белой фуражкой — Будь предводителем настоящих мужчин».

Вот тогда Кэпьюто и уразумел, что «героическая жизнь, к которой я стремился,— это война; война, опаснейшее из приключений; война, самое удобное средство, с помощью которого обычный человек может бежать от обыденщины... Меня возбуждала мысль о том, что после окончания колледжа я не стану ездить поездом 7 ч. 45 м., просиживать штаны

в какой-нибудь конторе, а поплыву в опасные и экзотические края».

Однако, поступая на военную службу, он стремился не только бежать от мира «белых воротничков», но и войти в мир настоящих мужчин. Записаться добровольцем в армию побудила его, как он сам признается, та же причина, которая «побуждала молодых людей добровольно идти служить в армию с тех пор, как были придуманы армии: мне требовалось кое-что доказать, а именно — собственную храбрость, твердость, мужественность, называйте это как хотите». Родители все еще видели в нем ребенка; он хотел на деле доказать, что они ошибаются Ему хотелось предпринять «что-то такое, что наглядно показало бы им, да и мне самому, что я все-таки настоящий мужчина».

Не стоит заблуждаться, Кэпьюто и Ковик выражают свои мысли с такой определенностью потому, что оба описали пережитое ими в автобиографических книгах. Большинство же военнослужащих задавались лишь весьма неясными, зачаточными вопросами. Пожалуй, типичны в этом отношении рассуждения армейского сержанта, взятые из документальной книги Роберта Джея Лифтона «Домой с войны»; сержант этот, с трудом подбирая слова, пытается объяснить, почему он решил, что стать солдатом — «это способ доказать свое мужество»:

«Помню, меня глодало сомнение... Ведь может статься, что весь этот треп о патриотизме — дерьмо на постном масле... И тут же из-за этой нерешительности... из-за этой внутренней смуты я говорил себе: если я не посмотрю этому в лицо, если я сам, на деле не выясню это, я, наверно, не смогу жить в мире с собой... ведь в противном случае я всю жизнь буду гадать: а не сдрейфил ли я?.. Мужчина я или жалкий трус?»

Воспитание «сверхмужественности готовит мужчину к войне»,— недвусмысленно заключает сам Лифтон. Каждое поколение американцев или воевало, или готовилось к войне Мы пожертвовали такими чертами характера, как мягкость, открытость, нежность, ибо на войне они были скорее недостатками, чем достоинствами. Мы отдали эти черты женщинам.

Многие американцы не желают расстаться со старым архетипом мужества, пусть даже он перестал их удовлетворять. Он культивирует в нас агрессивность, бесчувственность, готовность повиноваться и приказывать в ущерб человечности, превращает в роботов, в машины мужского пола. Родители и наша культура воспитывали нас в этом духе с определенной целью. Нас воспитывали так, чтобы мы могли выжить.

Вплоть до наступления ядерного века войны считались неизбежными, и поэтому родители растили своих сыновей для сражений, развивая в них качества, являющиеся достоинствами на войне Если смотреть на вещи в военной перспективе, представляется идеальной убежденность большинства американцев в том, что мужчины должны быть «очень агрессивными», «совершенно неэмоциональными», «чрезвычайно властными», «неуступчивыми», «грубыми», «безразличными к чувствам других». Эти качества нужны для того, чтобы выжить на войне.

Солдат, воин — фигура древняя. Его образ, запечатленный Джоном Уэйном, сражающимся на экране то с индейцами (в бесчисленных фильмах), то с мексиканцами (в «Аламо»), то с вьетнамцами (в «Зеленых беретах»), то с какими-нибудь кинозлодеями позднейшего образца,— это лишь последний воитель в череде военных героев, волновавших воображение мужчин. Героический образ Солдата сложился задолго до рождения Соединенных Штатов

В Америке с готовностью восприняли идею, согласно которой военная служба отождествляется с мужеством. Мы привезли с собой в Новый Свет военную традицию, сравнительно мало изменившуюся со времен Цезаря. К моменту создания Соединенных Штатов участие в битве по-прежнему считалось самым главным и самым универсальным обрядом посвящения в мужчины. Американцы, по выражению Джона Адамса, слезли «с колен матери-Британии», чтобы наконец стать мужчинами и попытать в мире счастья в качестве зрелой и независимой нации. Мы достигли зрелости через насилие, через ритуал, именуемый войной. Американец, обязанный всем самому себе, называл себя не сыном Англии, а «сыном пушки».

Война за независимость окружила мужчину, одетого в военную форму, всеобщим почтением — ведь он был акушером новой республики. «О, был бы я солдатом!' восклицал в 1775 году Джон Адамс, втянутый в сложную политическую игру в Континентальном конгрессе.— Каждый должен хотеть стать солдатом и быть им».

Пожелание Адамса сбылось. Амернка и прежде и впоследствии почти постоянно находилась в состоянии войны. Мы никогда не были мирной нацией. За войной короля Вильгельма (1689—1697) последовала пять лет спустя война королевы Анны, затем война с испанцами (1739—1743), с французами (1744—1748) и снова с французами (1754—1763). Потом, в годы Войны за независимость, практически каждый крупный наш город подвергался нападению со стороны англичаи или был оккупирован ими. Вскоре после Войны за независимость началась война 1812 года, далее Мексиканская война, а там и Гражданская. Вдобавок ко всему этому постоянно предпринимались экспедиции против индейцев. Так что из поколения в поколение молодые американцы вступали в жизнь в условиях войны или угрозы войны

Одиннадцать человек из числа президентов или кандидатов в президенты перед Гражданской войной были военными. Героизм, проявленный на поле брани, служил, по словам одного военного историка, «важным доводом в пользу занятия высшей должности страны».

Если у нас был выбор, мы предпочитали видеть в Белом доме человека, обладавшего достоинствами героя. И опознавали мы его по военному мундиру. Тот,

кто был героем на войне, считали мы, будет героем и в мирное время...

После 1945 года, однако, войны лишились героического ореола. Корея и Вьетнам не были «настоящими» войнами; не было в них ни победы, ни героев. Любой конфликт происходит ныне под сенью компьютеризированной системы стратегического ядерного оружия, в сравнении с которой кажутся ничего не значащими действия любого конкретного летчика или пехотинца. Вследствие этого фигура Солдата представляется едва ли не устаревшей. В ядерной войне агрессивность больше не сочтешь достоинством. Она теперь означает не спасение, а гибель.

Молодые люди, которые мечтают сегодня о героизме на военном поприще, возвращаются домой разочарованными. К Рону Ковику прозрение пришло в результате жестокого и внезапного шока: пуля раздробила ему позвоночник. Он спросил себя: «За что?» — и не нашел ответа. Вернувшись из Вьетнама домой, он стал задавать себе новые и новые вопросы. Это привело его в 1972 году в зал заседаний съезда республиканской партии, где, сидя в инвалидном кресле, он выкрикивал: «Прекратите бомбардировки! Прекратите войну!» — пока полицейские не вышвырнули его на улицу.

Другие вернулись из Вьетнама целыми и невредимыми, но пережили душевное потрясение. «Я-то думал, в честь моего возвращения устроят парад со знаменами»,— рассказывал Эдди Грейем сын фабричного рабочего из Бостона. Эдди прослужил два срока в морской пехоте. «Думал, конфетти будут бросать... вот о чем я мечтал». Вместо этого, когда он ступил с трапа самолета на родную землю, которую он как предполагалось, защищал, его встретили гневными криками: «Убийца!» «Фашист!».

Когда ветераны Вьетнама предаются воспоминаниям, они часто смеются над собой. Им стало ясно, что они подражали древнему архетипу «настоящего мужчины», который ныне устарел. «И всякий раз — отмечал Роберт Джей Лифтон напечатавший в своей книге «Домой с войны» десятки интервью с участниками войны во Вьетнаме,— мои собеседники говорили об увлечении Джоном Уэйном». Ветераны снова и снова возвращались к этому ибо хорошо понимали, что они — и мы, никогда не воевавшие,— должны освободиться от отождествления себя с Солдатом. Эдди Грейем Фин Кэпьюто, Рон Ковик это мужчины выросшие в ядерный век, но продолжавшие увлекаться героями доядерной эпохи Наше сознание отстает от хода истории наше самопознание — от роста вооружений.

В конечном счете именно это делает столь опасным ядерный век. В нем изменился самый смысл героизма. Если мы уничтожим себя это произойдет не потому, что мы были трусами. Это произойдет потому, что мы все еще стремились быть вчерашними героями.

Я стою у взлетно-посадочной полосы на военно-воздушной базе НАТО в Битбурге, Западная Германия. Сейчас я буду наблюдать взлет истребителей-перехватчиков по учебной тревоге, представляющей собой проверку готовности военно-воздушных сил США отразить массированное нападение сил Варшавского пакта. Пилоты на дежурстве должны быть готовы подняться в воздух менее чем за пять минут после объявления тревоги.

Взвыла сирена. Четверо дежурных летчиков, спавших сдетыми в помещении над ангарами, выскакивают из постелей и суют ноги в ботинки. По пожарным баграм они соскальзывают вниз в укрепленные ангары и запускают двигатели. **Две минуты.** Летчики разогревают двигатели, проверяют управление, застегивают ремни. Массивные стальные двери открываются, и самолеты выруливают на взлетную полосу. **Четыре минуты.** На какую-то долю секунды самолеты застывают в неподвижности, как могучие орлы, готовые взмыть вверх. Пилоты увеличивают число оборотов двигателей для взлета. Воздух вокруг нагревается. Один за другим истребители F-15 с ревом отрываются от земли. **Пять минут.** У меня все еще звенит в ушах, а четыре огненных метеора прочерчивают в ночном небе дуги во многих милях к северу и югу от того места, где мы стоим.

Более недели группа журналистов, в составе которой я совершаю ознакомительную поездку по военным объектам НАТО в Европе, подвергалась такой усиленной эмоциональной и интеллектуальной пропагандистской обработке, которая была способна превратить горячего миролюбца-квакера в оголтелого милитариста. Однажды, например, нас повезли на вертолете к границе с Восточной Германией. Некоторые из журналистов требовали чтобы в полете дверцы вертолета оставались открытыми, как если бы наша группа была боевым подразделением на маневрах. Под нами проплыли зеленые долины сельской Германии, и вот мы приземлились у границы. Мы поглазели через обтянутую колючей проволокой и оснащенную минами-ловушками изгородь, что отделяла нас от неприятеля. Когда мы погрузились обратно в вертолеты, каждому из нас вручили написанный от руки на пергаментной бумаге документ, в котором удостоверялось, что отныне такой-то и такой-то является почетным членом Пограничного легиона, и с похвалой отмечалось, что он «успешно преодолел трудности путешествия к границе между Западной Германией и коммунистическим миром».

На случай, если такой подход не возымеет желанного действия, нас к тому же усиленно пичкали лекциями. Высшие чины без передышки распинались перед нами об исключительных летных качествах истребителя F-15 о его «коэффициенте сила тяги/вес», о его «нагрузке на крыло», о его необыкновенном «полетном времени». Они снова и снова рассказывали нам о стратегических и тактических контрударах НАТО в ответ на советскую агрессию. Они твердили нам, что Битбург является передовой линией воздушной обороны Америки от внезапного нападения. За десять минут езды в автобусе к месту, откуда мы наблюдали взлет по учебной тревоге, нам попались на глаза семьдесят два реконструированных, укрепленных ангара, в которых стояли семьдесят два истребителя-перехватчика F-15. Мы увидели оружие стоимостью в сотни миллионов долларов, благодаря ко-

торому, как предполагается, мы можем спокойно спать в своих постелях дома в Соединенных Штатах.

Руководители НАТО так явно стремились максимально подогреть к этому моменту наши эмоции, что я мысленно предостерегаю себя: «Не давай волю чувствам. Ты журналист. Ты должен беспристрастно описать то, что увидишь».

Но когда самолеты взмывают друг за другом в небо, меня охватывает волнение. В них есть что-то величественное. От их мощи захватывает дух. Ни одного из нас, журналистов, это зрелище не оставляет равнодушным. Летчики, пилотирующие такие машины, кажутся нам сейчас героями. Ведь эти истребители — как космические колесницы а те, кто ведут их, почти равны богам.

Пока самолеты быстрее, чем успевает следить за ними глаз, несутся к своим целям, я, опьяненный этой мощью, испытываю возбуждение. Я завидую исключительному положению этих летчиков. Вся военно-воздушная база создана ради них: они тут звезды, играющие первые роли. В то время как их ровесники вкалывают от звонка до звонка на заводе или сидят, согнувшись над столами в конторах, эти люди в свои двадцать с лишним лет делают историю. Изо дня в день они живут на грани войны.

Но возбуждение проходит. После того как мы залезаем в автобус, самолеты возвращаются на базу — как всегда. Они ничего не совершили, лишь сожгли топливо. Их балетный номер в небесах каким бы совершенным ни было мастерство исполнителей, теперь представляется мне пляской смерти Ведь постановка рассчитана на мировую катастрофу. В будущих войнах четыре истребителя F-15 оказались бы жалкими мошками, застигнутыми ядерным ураганом. Они сгорели бы и расплавились, как пластмассовые иожи в костре.

Я работаю консультантом в одном институте, разместившемся в доме на Первой авеню как раз напротив здания Организации Объединенных Наций. У нас идет совещание. Вдруг стены кабинета сотрясает звук мощного взрыва. Все мы непроизвольно подскакиваем. Хотя звук этот во много раз громче звуковых ударов, которые мне приходилось слышать раньше, совещание продолжается. В течение нескольких следующих секунд я нервно поглядываю на мерцающий стеклянный фасад небоскреба ООН: не отразятся ли в его стекле желтые или красные сполохи? Нет, зловещих отблесков не видно. На этот раз.

Почему меня преследует мысль о возможности ядерной войны? Я родился в 4 году новой эры начавшейся после Хиросимы. Мое поколение — первое, которое родилось со стронцием-90 в костях. Во время учений по противовоздушной обороне, что проводились у нас в школе с такой настойчивостью, мы должны были строем выходить в коридор, опустившись на колени, прятать между коленями голову. После уроков мне и моим одноклассникам — ученикам начальной школы — позволяли листать многотомную детскую энциклопедию с картинками. Самым большим спросом пользовались тома на буквы З (змеи) и А (атомная бомба). Прочитав о чудовищной мощи этой бомбы, я не мог взять в толк, почему нас выгоняют в коридор и чем там безопасней.

Эти воспоминания не дают мне покоя, потому что моему сынишке Шейну сейчас столько же лет, сколько было тогда мне. За минувшие четверть века кое-что изменилось. У Шейна нет противовоздушных учений, они вышли из моды. По-видимому, гражданскую оборону сочли бесполезной В случае войны он просто умрет за партой.

Сведения о бомбе можно почерпнуть теперь отнюдь не только в энциклопедиях. Они стали частью нашей культуры. Играя как-то раз с Шейном на школьной спортивной площадке, я поднял с земли обертку от конфеты «Атомные огненные шарики». На ее лицевой стороне было изображение красного грибообразного облака. (Конфета «взорвется» у вас во рту — понимаете?)

По счастью Шейн побежал качаться на качелях, и я быстро сунул обертку в карман: моим первым, инстинктивным побуждением было спрятать от него это, защитить его невинность. Я хотел оградить его от ядерной порнографии.

— Что ты там нашел, папа?

— Ничего.

— Но я же видел, как ты что-то положил в карман.

— А, вот ты о чем. Это просто конфетная обертка.

— С конфеткой внутри? — Он подошел и ощупал мой карман.

— Нет. Пустая.

— А почему ты ее поднял?

— Просто подобрал бумажку, чтобы чище было на спортивной площадке.

Шейн вернулся на качели и, вероятно забыл об этом случае. Но я не забыл. Я не переставал спрашивать себя, правильно ли я поступаю, скрывая от него свои мысли и чувства.

Вновь я впрямую столкнулся с этим после аварии ядерной установки в Три-Майлз-Айленд. Когда я смотрю по телевизору новости, Шейн часто играет в той же комнате со своим маленьким братишкой Ари. Но однажды передача новостей привлекла его внимание: на экране плакала женщина. Давясь рыданиями, это беременная жительница города Гаррисберга, штат Пенсильвания объясняла репортеру: она боится, что теперь, когда она подверглась облучению, у нее родится дефективный ребенок.

— Папа, почему она плачет? — спросил Шейн.

— Радиации боится.

— Что такое радиация?

— Помолчи я слушаю. Потом объясню.— Но так и не объяснил.

А через некоторое время подобный разговор повторился. В Дамаске, штат Аркаизас, взорвалась ракета «Титан» с ядерной боеголовкой. На экране телевизора разгневанная женщина выкрикивала обвинения в лицо представителя военно-воздушных сил, который утверждал, что «ситуация находится под контролем».

— Папа, почему она так сердится? — спросил Шейн.

— Потому что произошла катастрофа с ядерной ракетой.

— А что такое ядерная ракета?
— Ракета с бомбой на носу.
— В кого мы ими стреляем?
— Ни в кого.
— Тогда зачем они нам?

И опять инстинктивное побуждение оградить его, оставить в неведении помешало мне ответить откровенно. Я переменил тему разговора.

Подобная уклончивость свойственна, по-моему, многим родителям. Тем более что ни в одной книге по воспитанию детей этот вопрос не затрагивается. Хотелось бы мне, чтобы психологи, которые сочиняют эти книги, встретились с Шейном и послушали его вопросы. А я бы спросил у них: «В каком возрасте следует мне начать рассказывать сыну о ядерной войне?»

Наступило 4 июля. Шейн зачарованно наблюдал фейерверк и взрывы с миниатюрными «огненными шарами» которые устраивали на улицах его приятели постарше.

— Какая бомба самая большая? — спросил он меня
— В каком смысле «самая большая»?
— У которой самый большой взрыв.
— Водородная.
— Она, наверное, с наш дом?
— Не думаю. По-моему, с машину. Видишь ли, эта бомба не очень большая, но взрыв у нее — самый большой.
— Какой?

И я сказал ему.

«Есть край, где мужчина, чтобы выжить, должен быть мужчиной»,— так начинается ковбойский роман «Когда мужчина — это мужчина», напечатанный в 1916 году. Мужчина должен быть тверд как «здешние первозданные холмы». Душа его должна быть чиста, «как девственная лазурь небес, как свежайший ветер, как кристальный воздух». Прижившийся в этом краю обитатель дикого Запада хочет свободы, «которая не ограничена оградами слишком слабого и робкого традиционализма»

«В том краю,— так завершается пролог к роману, — каждый человек — таково его священное право — свободно распоряжается собой. Здесь, в этом краю, мужчина, чтобы выжить, должен быть мужчиной, а женщина, если она не будет настоящей женщиной, обречена на верную гибель».

Полвека спустя два человека спускаются в стартовую шахту межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), расположенную глубоко под землей. в краю тех самых «девственных холмистых пастбищ». Они входят в контрольный центр пусковой установки через «ловушку» — похожее на гроб помещение в десять футов длиной, в пять футов шириной и в восемь футов высотой. За ними с лязгом запираются стальные двери. Через туннель длиной в пятьдесят футов они попадают в саму пусковую шахту. Там, оплетенная стальной паутиной, стоит ракета Она выше, чем десять всадников, поставленных друг на друга. В мгновение ока она способна убить неизмеримо больше людей, чем перебили все меткие стрелки дикого Запада за целое столетие.

Один из вошедших, журналист, задрав голову, смотрит на ядерную боеголовку. Он думает о березках и стадах коров, мирно пасущихся там, наверху. Его пробирает нервный озноб.

— Расслабьтесь,— говорит ему военный провожатый.— Тут, под землей, нечего делать — лишь жди и надейся, что ничего не случится.

Каким образом ковбой, скачущий по широким, вольным просторам, превратился в крота, ползающего по подземным стальным туннелям? Каким образом человек действия превратился в человека ожидания, уповающего на то, что ничего не произойдет? Что случилось с Солдатом? Мы воображаем себе, что он все еще жив. На самом же деле он погиб в огне Хиросимы. Хиросима изменила все: войну и мир, жизнь и смерть. Изменила она и былое различие полов. После Хиросимы мужчина и женщина в равной мере стали обитателями безграничного поля битвы. Перед лицом угрозы быстрого перерастания любой большой войны с применением обычного оружия в войну ядерную устарели прежние правила ведения войн, отводившие роль сражающихся мужчинам. С превращением неба над головой и земель на другом конце света в арену сражений Солдат утратил свою индивидуальность слился со всеми. Он стал таким же, как все. Ведь сегодня каждый человек — старый и молодой, слабый и сильный, мужчина и женщина — живет в зоне боевых действий, где некогда полагалось быть лишь сильным мужчинам, одетым в военную форму. Мужчина-солдат в пусковой шахте МБР находится в большей безопасности, чем женщина с коляской в парке.

В Хиросиме война окончательно перестала быть делом мужчин.

Во второй мировой войне боевые действия между вооруженными военнослужащими противных сторон, которые могли видеть друг друга и войти в соприкосновение, уже не были главной причиной человеческих потерь. Большинство солдат умирало от ран, причиненных минами и бомбами. Жертва редко видела виновника своей гибели. Тем не менее доядерная война все еще считалась войной в которой сражались преимущественно мужчины. Хотя тысячи женщин и детей были убиты в результате бомбардировок Лондона и Дрездена, боевые действия по-прежнему в основном велись армиями, состоявшими из мужчин.

Однако в третьей мировой войне, как и в Хиросиме, различие между полами сотрется. Женщины не будут приветствовать вернувшихся с войны мужчин; война пройдет всюду, где дует ветер. Победы не будет. Победитель не будет насиловать и грабить, как это всегда делали побеждающие армии в прошлом. Насилие будет ныне всеобщим, биологическим. Все мы, мужчины, женщины и дети, станем жертвами насилия, которое учинит над нами наше оружие.

Это звучит грубо и жестоко. Больно писать такое и больно читать, но это правда. Ни одно из стандартного набора понятий—рыцарская доблесть, отвага, поле битвы. гражданское население, победители, побежденные — не сохранило своего первоначального значения. Солдат — героический воин — исчез. Он превратился в безликого исполнителя, «обслугу» массового уничто-

жения. Вместе с ним исчезла и прежняя героиня. Женщины больше не будут пассивно ждать дома, когда вернутся с войны их храбрецы мужчины. Война пришла к ним в дом, чтобы остаться.

Ядерный век вступил в зрелый возраст. Первое послеядерное поколение выросло и обзавелось собственными детьми. Вот уже больше половины сегодняшних американских граждан родилось после Хиросимы. Нам знакома только ядерная действительность. Хронологически атомный заряд — это технологический брат моего поколения, а вернее — сводный братец. Ведь матери-то у него не было.

«Отцом атомной бомбы» стал исключительно мужской коллектив, носивший название «Манхэттенский проект». После первого успешного испытания его руководитель, генерал Лесли Гровс, с гордостью телеграфировал президенту Гарри Трумэну: «Малыш родился». То было беспорочное (мужское) зачатие. Хотя ученые, политики и военные, создавшие бомбу, были мужчинами, они возвестили о рождении ядерного века при помощи сугубо женской метафоры.

Вообще вся эта затея обросла сексуальными образами. На фюзеляже бомбардировщика Б-29, сбросившего «Малыша» на Хиросиму, было выведено имя «Энола Гей». Летчик назвал свой самолет в честь матери. Ну и конечно же, «Малыш» был мужского пола. В атомных испытаниях, проводившихся позднее, отцы бомбы именовали свое детище «Малышом», «Толстяком» или просто «Гарри». Впоследствии стальной каркас, в котором покоится МБР в своей пусковой шахте, назовут, понятное дело, «кроваткой».

Создатели бомбы, как и всякий новоиспеченный отец, ликовали — во всяком случае, поначалу. Они рассчитывали, что благодаря необыкновенной мощи их сынка возрастет их собственное могущество. Им казалось, что они удержат его под контролем. «У меня наверняка будет чем прихлопнуть этих парней»,— хвастал президент Трумэн на Потсдамской конференции за несколько недель до того, как была сброшена атомная бомба. Получив телеграмму от Гровса, Трумэн пришел в восторг. По свидетельству Уинстона Черчилля, Трумэн вдруг «совершенно переменился». Он принялся «ставить на место русских и вообще вел себя как хозяин до конца заседания».

Таково было первое упоение новым оружием. Оно возродило в нас чувство превосходства. Каждое слово, произнесенное руководителями Америки, приобретало новый вес. Они снова доминировали, снова стояли во главе. Располагая бомбой, они могли, по словам тогдашнего государственного секретаря Джеймса Ф. Бирнса, «диктовать наши собственные условия». Они обладали могуществом, этой заветной целью мужчины. А бомба служила доказательством. Американский мужчина стал могущественнейшей силой на свете.

Создатели атомной бомбы обещали использовать свое новообретенное всемогущество не во зло, а на благо. Они, мол, применят атомную бомбу ради спасения человеческих жизней. Ее сбросят, записал в своем дневнике Трумэн 25 июля 1945 года, «таким образом, чтобы мишенью стали военные объекты, солдаты и моряки, а не женщины и дети». Не прошло и двух недель, как слова эти оказались ложью.

Мы должны были применить атомную бомбу, идеалистически рассуждал тогда Джеймс Брайант Конант, дабы «поставить мир перед необходимостью полного упразднения войны». Но прошли десятилетия, а предсказание это так и не сбылось. За истекшие годы мы не только не упразднили войну — мы сделали ее еще более ужасной. Мы создали потенциальную возможность всеобщей катастрофы, в которой сгорел бы не один город или регион, но весь мир.

А куда еще могли привести нас вечные мужские поиски абсолютного оружия? Альфред Нобель, изобретатель динамита, задался целью «изобрести вещество или машину, которые обладали бы такой ужасающей силой массового уничтожения, что война по этой причине стала бы впредь невозможной». Поиски, понятно, не могли закончиться на Хиросиме — они должны были продолжиться.

«Дальнейшие испытания,— мечтал доктор Эдвард Теллер, еще один из печально известных отцов бомбы,— дадут нам возможность поражать военную технику противника, сохраняя жизнь ни в чем не повинных мирных жителей. Оружие подобного рода сократит ненужные потери в будущей войне». Теллер стал запевалой мужского хора, который, по меткому выражению Альберта Швейцера, «пел хвалебный гимн идиллической ядерной войне, что будет вестись с помощью стерильно чистых водородных бомб».

Отцы атомной бомбы, измерявшие рост своего чудовищного детища не в дюймах, а в мегатоннах, вскоре утратили ощущение собственного беспримерного могущества. Русские тоже произвели на свет ядерного сынка. Началась гонка ядерных вооружений.

«Нацистский геноцид и американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — комбинация этих исторических фактов покончила с представлением людей об ограниченности их потенциала самоуничтожения»,— писал доктор Роберт Джей Лифтон, анализировавший в своих работах воздействие ядерной эпохи на наш внутренний мир. Эти столь близкие по своему характеру катастрофы «ознаменовали наступление новой эры в которую человек утратил уверенность, что будет вечно жить как биологический вид». Понадобилась «почти четверть века, чтобы были сделаны первые попытки ясно осознать значение этих событий».— констатировал Лифтон в конце 60-х годов.

Тогда же выяснилось и другое: по иронии судьбы наше неиспользуемое оружие убивает не неприятеля, а нас самих.

Если не считать жертв Хиросимы и Нагасаки, американцы стоят на первом месте по количеству людей, ставших жертвами ядерных взрывов. Американцев, мужчин и женщин, убивала невидимая, но смертоносная сила — радиация. Среди облучившихся американцев были члены специальных отрядов, занимавшихся расчисткой Хиросимы и Нагасаки после войны, и солдаты, которым было приказано наблюдать испытания атомной бомбы с близкого расстояния. Но наибольшее чнсло жертв радиации

приходится на жителей юго-западных штатов, обитавших в период конца 40-х — начала 50-х годов неподалеку от ядерных полигонов, на которых испытывались первые образцы атомной бомбы. Эти люди жили в захватывающе живописном краю, так восторженно воспетом в книге «Когда мужчина — это мужчина», но небеса у них над головой больше не были «девственно чистыми», а ветер — «свежайшим».

Обычно между любым слабым канцерогенным воздействием и возникновением раковых опухолей проходит от десяти до тридцати лет. Вот почему начиная с 60-х годов в таких городах, как Паровон, Сент-Джордж и Сидар-Сити, в штате Юта, и в десятках других городов в пограничных с Ютой районах Невады и Аризоны стало с пугающей быстротой расти число заболеваний раком. В 70-е годы заболеваемость раком возрастала еще более стремительно. Поначалу каждая семья, членов которой поразила раковая болезнь, смотрела на это как на личную трагедию. Но после того как все четыре фермера из штата Юта, чьи земли сходились у перекрестка дорог, расположенного точно с подветренной стороны от места испытаний атомной бомбы, заболели раком — и это далеко не единственный такой пример,— они изменили свои взгляды. Теперь это больше не было личной трагедией. Трагедия обрела политический характер.

— Вон там,— рассказывает Ирма Томас, пожилая жительница из городка Сент-Джордж, штат Юта,— в квартале от моего дома живет Уилфорд, у него рак; жена его, Хелен, умерла от рака желудка. Карл — он жил напротив — умер от рака горла, и Эрни умер от того же, а теперь и у его жены рак. Мальчик их сосед, умер от лейкемии, а у моей сестры — ее дом на той стороне — был рак груди. Она умерла. Теперь и ее муж заболел раком».

У каждого из ее соседей в этом грустном городке есть свой список жертв рака. Вот перечень Элмер Пиккет: «Моя сестра, племянница, тетушка, четыре дяди невестка, теща, бабушка — и жена ..» Ему вторит Дейв Тимоти: «Две мои тетки. Три дяди. И два моих врача».

Когда тридцать лет тому назад над этим районом проплыло зловещее розовато-красное облако, представитель комиссии по атомной энергии заверил жителей: «Никакой опасности нет...» В документальном фильме, снятом по заказу комиссии по атомной энергии, есть эпизод, который вероятно, вызывает неловкость у государственных должностных лиц: капеллан, успокаивая нервничающего солдата, говорит, что он не должен тревожиться по поводу атомного взрыва, который они вскоре увидят с расстояния в несколько миль. Капеллан уверяет, что «армия приняла все необходимые меры предосторожности и позаботилась о том, чтобы мы были тут в абсолютной безопасности». Хотя атомная бомба представляла собой как записал в своем дневнике Трумэн, «самое ужасное из когда-либо сделанных открытий», ее отцы полагали, что могут безнаказанно взрывать ее. Их самонадеянность коренилась в невежестве, или в политике сильной руки, или, может быть, в самоубийственном сочетании того и другого.

Молодой солдат Патрик Стаут был шофером генерала Гровса. Через пару месяцев после успешного испытания первой атомной бомбы (под кодовым наименованием «Троица») генерал сопровождал группу любознательных репортеров к месту взрыва. Чтобы наглядно продемонстрировать им насколько тут безопасно, Гровс велел Стауту простоять полчаса в воронке от бомбы. Впоследствии Патрик Стаут умер от лейкемии.

«Нам объявили, что, за исключением жителей Хиросимы мы станем единственными среди людей, кто увидит ядерный взрыв так близко»,— рассказал один из морских пехотинцев которым было приказано наблюдать испытание атомной бомбы в Неваде с расстояния всего в одну милю от эпицентра взрыва. Он умирает от рака.

«Никто нам ничего не говорил о радиации»,— жаловался шестидесятилетний бывший солдат, которого послали расчищать Хиросиму. Он тоже умирает от рака.

«Выпадение радиоактивных осадков ядерного страха» под таким заголовком писал об этом журнал «Тайм». Газета «Нью-Йорк таймс» назвала это «Мрачным наследием ядерных испытаний». Однако материалы прессы не способны выразить и сотой доли того, что переживают мужчины и женщины у которых разрушается костный мозг а близкие один за другим погибают от рака. «Каково жить зная, что семеро детей в радиусе ста ярдов от вашего дома умирают от лейкемии!

«Это так тяжко,— говорит Фрэнки Ау Бентли из Парована, штат Юта.— Всю жизнь нам внушают: будьте тактичны, будьте тактичны, будьте тактичны, а потом происходит это, и мы не знаем, что делать». Фрэнки Ау Бентли испытывает замешательство, потому что не представляет, кого винить. Ведь когда совершенствуется технология убийства, виновников не найти.

Специалисты, создавшие атомную бомбу, не признают за собой никакой вины. Правительство не считает себя повинным в каких-либо грехах. Никто из пострадавших не может доказать, после какого взрыва, вследствие какого облучения у него начал развиваться рак. Убийца — невидимка. Он невменяем. Это обезумевший Солдат. Его поле битвы не имеет границ. Его битва не имеет конца. И жертвами его являются люди обоих полов и всех возрастов, даже младенцы в материнской утробе.

Подобное смертоубийство нельзя назвать войной. Имя ему — бойня. На смену герою пришел робот, на смену Джону Уэйну — доктор Стрейнджлав. В первую неделю июня 1980 года несколько раз объявлялась ядерная тревога. Тревогу объявлял не председатель объединенного комитета начальников штабов и не президент Соединенных Штатов. Всякий раз тревогу объявляла дефективная компьютерная микросхема размером с монетку в 25 центов и стоимостью в сотню долларов.

Люди поставленные перед лицом такой действительности, реагируют инстинктивно. Мы боимся. Поскольку нас могут убить без предупреждения и без причины, мы вынуждены жить в страхе. Но хронический страх изматывает человека. В большинстве своем мы притупляем в себе ощущение страха. Мы стараемся сделать вид, будто угрозы не существует. Некоторые превращают свой

страх в гнев и пытаются сражаться с военной машиной. Но никто не остается безучастным.

Вот почему извечное мужское стремление — быть всегда сильнее и агрессивнее своего противника — зашло в тупик истории. Солдат перестал защищать своих любимых от угрозы их существованию; наоборот, такой угрозой стало его оружие. Теперь от него требуются иные достоинства, которые называли женскими: способность к самоограничению, самообладание, сдержанность, терпение. «Мужские» качества, которые в прошлом обеспечивали возможность выжить, ныне если они не будут уравновешены «женскими», обеспечат всеобщее уничтожение. Воинственное мужество, к которому прежде женщины относились с почтением, потому что оно служило им защитой, теперь все чаще осуждается ими, ибо подвергает их смертельной угрозе.

Достоинства Солдата, когда они доведены до крайности, хуже недостатков труса. Ведь тот, кто слепо стремится быть храбрее всех других мужчин на свете, идет на безрассудный риск самоуничтожения. Тот, кто на всякий вызов отвечает агрессией, без надобности обрекает на гибель людей в конфликтах, которых можно было бы избежать. Тот, кто поклоняется собственной силе, перестает замечать в других сильные стороны, которых, может быть, нет у него самого. Тот, кто неразумно упорствует, оказывается неспособным реагировать на меняющиеся обстоятельства. Тот, кто требует слишком строгой лояльности, отрицает ту самую свободу мысли и слова, в верности которой клянется. Достоинства мужчины-воина всегда нуждались в ограничении, но никогда они не нуждались в этом так отчаянно, как в ядерную эпоху.

Перед лицом этой дилеммы Солдат становится шизофреником. Своей правой рукой он накапливает оружие, тогда как его левая рука занята разработкой способов избежать применения этого оружия. Солдата подорвало не антивоенное движение. Его сделала безнадежно устаревшим сама война. Героизм его стал самоубийственным. Воин с мечом в руке, сражающийся не с врагом, а с другой своей рукой,— вот картина, олицетворяющая анахроничность этого старого архетипа.

К началу 80-х годов в Америке разразилась гражданская война полов — не между мужчинами и женщинами, а между мужчинами. В споры о внешней политике вошло новое словечко — «мачо» [1]. Администрация Рейгана обвиняла своих противников в мягкости, а критики администрации называли ее «администрацией мачо».

Еще в 1979 году отмечалось возвышение так называемой «коалиции мачо» — сторонников возрождения жесткой внешней политики ратующих не больше не меньше, как за самую широкую подготовку к войне. Эта возродившаяся потребность доказывать нашу национальную мужскую силу характера не терпела духа разрядки. Мы желали действовать. Как и можно было предположить, предвыборная кампания 1980 года, подобно многим и многим предшествующим, представляла собой риторическую перепалку на тему: чья линия жестче. Она свелась к очередному состязанию приверженцев политики устрашения силой. Волна настроений, характеризующихся словом «мачо», внесла Рональда Рейгана прямо в Овальный кабинет Белого дома.

Боясь, что мы утрачиваем свое влияние в мире, американцы отвергли мягкого фермера-арахисовода и выбрали жесткого ковбоя. Как писал Даниел Янкелович, избиратели «были более чем готовы изгнать призрак Вьетнама и заменить его новым образом самоуверенной Америки». Рейган сыграл свою роль в совершенстве. Каждый конфликт превращался в испытание нашей национальной решительности. Вьетнам изображался не трагической ошибкой, ни тем более неудачей, а войной, которую американскому солдату «не разрешили выиграть». Во время встречи с президентом Мексики Лопесом Портильо Рейган преподнес ему в дар ружье. Администрация Рейгана предприняла энергичную попытку вернуться к идеалам, которые олицетворял Джон Уэйн. Она рассчитывала на то, что молодые люди вновь сделают своим кумиром Солдата. Как заявил координатор программ армейской службы подготовки офицеров резерва подполковник Джеймс Хант в первый год президентства Рейгана: «Многие из этих парней не помнят Вьетнама, и это очень нам помогает».

Даже европейские союзники Америки были не на шутку обеспокоены. Тот огромный упор, который делали в Вашингтоне на военные угрозы в качестве основы американской дипломатии, встревожил и англичан, и французов, и западных немцев. Европейцы указывали администрации Рейгана на то, что военный подход, каким бы важным он ни представлялся, должен быть сбалансирован с политическими и экономическими решениями. Они считали своим долгом предупредить нового американского президента, что для осуществления дипломатии в мировом масштабе требуется, в отличие от второсортных вестернов, нечто большее, чем размахивать шестизарядным револьвером [1].

Европейцы, напуганные тем, что воинственное отношение Рейгана к Советскому Союзу может привести к ядерной войне протестовали и окрестили его «нейтронным ковбоем». Слово «ковбой» вдруг широко пошло в ход. Новым «ковбойским героем» называл Рейгана один политолог. Другой политолог сказал, что Рейган экспериментирует с «ковбойской экономикой». «В эпоху космических полетов,— с горечью писал экономист Кеннет Боулдинг,— мы пришли к правлению, которое будущие историки,

[1] Мачо (от исп. macho — мужского пола, сильный; самец) — емкий неологизм, обозначающий в современном английском языке понятия: «энергичный, мужественный человек», «настоящий мужчина», «сторонник политики сильной руки». Чаще всего имеет негативный смысл. *(Прим. перев.)*

[1] Куда отцы, туда и сыновья. По мере того как взрослые проникались воинственными настроениями расширялась торговля военными игрушками. В течение нескольких лет после окончания вьетнамской войны спрос на игрушечное оружие для детей был невелик. Его перестали рекламировать, и родители реже покупали его. Однако к концу 70-х годов сбыт военных игрушек стал возрастать чуть ли не с такой же быстротой, как бюджет Пентагона.

вполне возможно, назовут первой ковбойской администрацией». По понятиям Рейгана, заметил бывший заместитель государственного секретаря Джордж Болл, «дипломатия — это занятие для слюнтяев». «В Белом доме считают, что миролюбие — для слабаков»,— вторила ему журналистка Мэри Макгрори. Рейган видит себя, как писала в передовой статье газета «Нью-Йорк таймс», этаким «последним воином», причем образ этот «берет начало в романтизированной Америке ковбойских кинофильмов». Рейган моделирует «внешнюю политику в стиле Джона Уэйна»,— жаловался автор статьи в журнале «Нью рипаблик».

Старые архетипы утвердились вновь по той причине, что не укоренились новые. Перед лицом кажущегося выбора между мягкостью и твердостью наиболее безопасный курс в беспокойном мире представлялся им очевидным.

Между тем сам этот выбор ложен: ведь коль скоро политическое решение оценивается в подобных категориях, это затрагивает репутацию каждого лица, принимающего решения, как «настоящего мужчины». В своем научном труде «Мир мужчин» Ллойд С. Этередж, политолог из Массачусетского технологического института, проанализировал то, что он назвал «личностными источниками американской внешней политики». Он взял подробные интервью у ста с лишним мужчин — сотрудников Государственного департамента, а также, для сопоставления, с группой работников Пентагона и административного и бюджетного управления. Этередж пришел к выводу, с которым трудно не согласиться, зная историю XX века: «У героических устремлений имеется и более темная сторона». В частности, он установил: чем больше мужчина склонен видеть в себе энергичную и сильную личность, тем более вероятно, что он будет считать советскую внешнюю политику агрессивной и экспансионистской. Как выяснил Этередж, многие из обследованных им мужчин выражали желание видеть Соединенные Штаты в мировой роли «заступника, лидера... кормильца», с тем чтобы подкрепить свой собственный воображаемый образ. Его заключения не радуют:

«Основные представления о Советском Союзе лиц, принимающее решения, черпает отчасти из своего собственного воображения; сплошь и рядом эти представления могут больше сказать о нем самом, чем о русских... в складе личности президентов и внешнеполитических деятелей присутствуют — и в значительной степени — черты повышающие вероятность войны».

Самые рьяные поборники твердости — это и неудивительно — оказались в Пентагоне. Именно там Этередж обнаружил самый большой процент мужчин, рисующих себя в воображении этакими «героическими, исполненными величия ратоборцами» Например, когда он спрашивал у интервьюируемых, высказались ли бы они за вторжение на Кубу в районе Залива Свиней, четверо из пяти сотрудников Пентагона ответили «да» — это намного больше чем в Государственном департаменте и в административном и бюджетном управлении.

Исследование Этереджа, разумеется, не сказало последнего слова о «мужской» политике сильной руки. Это лишь скромное начало. Но он с несомненностью установил один важный факт: мы привносим в выработку политической линии свои собственные личные сомнения и опасения. И чем более бессознательный характер имеют эти личностные факторы, тем они опасней.

Наши нынешние лидеры погрязли в трясине наполовину бессознательных представлений о том, что выбирать надо между твердостью и мягкостью, силой и слабостью. Увязнув по пояс в политике, имеющей целью продемонстрировать их мужской характер, они не видят того, что в действительности выбирать следует между справедливостью и несправедливостью, гуманностью и жестокостью, эффективностью и расточительностью и т. д. Они больше заботятся о том, чтобы выглядеть «настоящими мужчинами», чем о том, чтобы решительно вести нас за собой.

Несмотря на все хвастовство наших руководителей, представляется маловероятным, что они выработают долгосрочные решения каких бы то ни было внутригосударственных и международных проблем, стоящих перед нашей страной. Они будут из кожи лезть вон, стараясь казаться твердыми и непримиримыми, и в результате не смогут правильно осмыслить политические вопросы. В своих воспоминаниях о годах правления Никсона бывший государственный секретарь Генри Киссинджер назвал этот элемент одержимости мужской силой «параноидным культом сильного малого». Покуда наше правительство не освободится от этого культа, мы не будем свободны.

Нельзя допустить, чтобы подобные иррациональные влияния продолжали затруднять процесс принятия решений,— иначе не видать нам мира и процветания. Наше спасение зависит от того, появятся ли у нас руководители нового типа, которые помышляли бы не только о могуществе, но и о познании самих себя. Эти руководители не стали бы автоматически занимать жесткую позицию, как не стали бы они автоматически полагать что мягкая позиция обеспечит успех. Нет, их мышление переросло бы псевдоальтернативы «мужского» и «женского» подхода. Они поднялись бы выше этого противопоставления жесткого и мягкого и направили бы все свои способности на осуществление задач руководства. Они не разыгрывали бы вновь роль мужественных воителей, ставшую анахронизмом. Это дало бы им наконец-то свободу действий.

Так каким же я хочу видеть руководителя этого типа? Поскольку одним кивком он может вызвать ядерную катастрофу, я хочу, чтобы он полностью избавился от подсознательного желания доказать, что он настоящий мужчина. Я не хочу, чтобы он отстранял как «слабака» всякого, кто призывает к осторожности, высказывается за соглашение или поддерживает невоенные пути разрешения конфликта. А если бы ему когда-нибудь пришлось решать, нажать или нет кнопку в критической ситуации, я хочу, чтобы он правильно оценивал кризис и понимал что речь идет об уничтожении Америки, цивилизации и, возможно, жизни на планете, а не об испытании мужества президента.

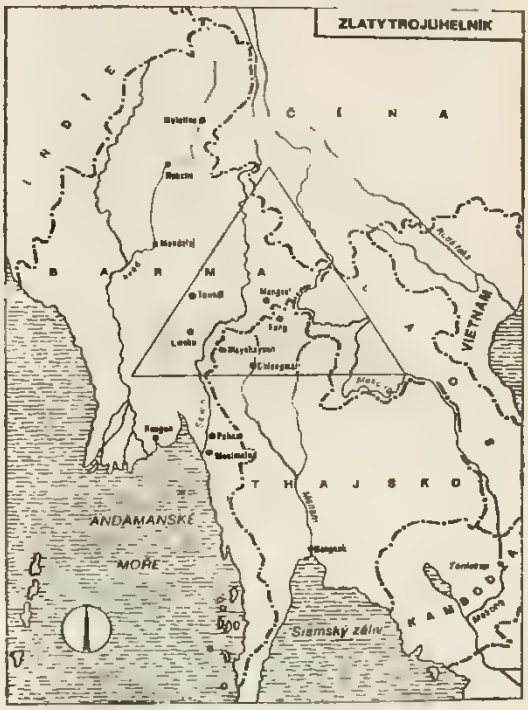
◆

БОГУСЛАВ ШНАЙДЕР

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Главы из книги

Перевод с чешского
ВИКТОРИИ КАМЕНСКОЙ



Часть первая

ЗА МИРАЖОМ

Путешествие начинается

Резкий ветер срывает с ноябрьских туч мелкую вязкую изморось. Мутное утро: по шоссе в три ряда мчатся сотни автомашин с зажженными фарами, но большинство успело набрать скорость, и им уже трудно затормозить, чтобы подобрать одинокого, до нитки промокшего путника. Те же, что сдут помедленнее, отдают дань уважения знаку, запрещающему здесь останавливаться.

Только за мостами через Эльбу, у выезда из порта, подобрал меня грузовичок. Шофер ехал всего лишь до Ганновера, но и за это я был ему благодарен. В кабине грузовичка меня охватила радость — тут было тепло. Я возвращался из Африки, и холод пробирал меня до костей — стояла промозглая европейская осень. Доехать бы до первого приличного ресторана у автострады — и все будет в порядке. Там можно по номерам машин отыскать шофера из южной Германии или хотя бы из района Рура и попросить подбросить до какого-нибудь следующего ресторана. За день таким образом можно покрыть шестьсот — семьсот километров. А больше мне и не требовалось — я попаду к границе.

К сожалению, шофер заблудился и вместо того, чтобы высадить меня на автостраде, завез в глубь старого ганзейского города. Сеть магистралей, удаленных от автострады, лабиринт улиц, асфальтированных дорог, перекрестков и объездов — как теперь выбраться? Я взял и поднял руку — с отчаянья.

Синий «фольксваген» проехал мимо, добрых сто метров не снижая скорости,

© Bohuslav Šnajder, 1984

БОГУСЛАВ ШНАЙДЕР — BOHUSLAV ŠNAJDER (род. в 1940 г.)

Чешский журналист. В годы войны четырехлетним ребенком был брошен в гитлеровский концлагерь, где в 1944 г. казнен его отец-антифашист. В юности сменил много профессий: был рабочим в типографии, бурильщиком колодцев, моряком. В 1968 г. окончил факультет журналистики Карлова университета в Праге. Затем совершил кругосветное путешествие, о котором рассказал в своей первой книге «Бродяга на всех меридианах» («Tulákem na všech polednících», 1977). Опубликовал книги «Планета жажды» («Planeta žízně», 1981), «Тихая угроза» («Tichá hrozba», 1983). Б. Шнайдер также автор нескольких многосерийных радио- и телевизионных передач о своем пребывании в Африке, статей и репортажей в периодической печати.
Книга «Золотой треугольник» вышла в Праге в 1984 г. («Zlatý trojúhelník». Praha, Panorama). Русский перевод готовит к публикации Главная редакция восточной литературы издательства «Наука».

потом вдруг дал задний ход и стал быстро приближаться ко мне. В нем сидела блондинка лет двадцати пяти, с длинными прямыми волосами. Она извинилась, что может подвезти меня всего километров на тридцать. На перекрестке двух автострад ей надо свернуть, но там останавливаться запрещено.

Я уговаривал ее, больше улыбкой, чем словами, дебаты с полицией казались мне приемлемее бесконечных блужданий по Ганноверу — ведь будущие неприятности всегда предпочтительнее нынешних.

Мы обменялись несколькими английскими фразами, словно бы заимствованными из самоучителя. Я понял только, что она студентка. Через двадцать минут мы свернули и, спустившись ярусом ниже, поехали по автостраде, ведущей на восток. Девушка притормозила за белой боковой чертой. Я вылез из машины и пожелал ей счастливого пути. Вдруг девушка охнула: в зеркальце она заметила подъезжающую сзади полицейскую машину.

— Документы,— полицейский в белом шлеме сначала обратился ко мне. Молча полистал полный экзотических штампов паспорт. Я ободряюще подмигнул сидящей за рулем блондинке и в тот же момент заметил неладное.

— Девушка тут ни при чем. Позвольте ей ехать дальше, это моя вина,— бормотал я, пытаясь отвлечь внимание полицейского.

— Не вмешивайтесь,— холодно бросил мне полицейский и потребовал у девушки водительские права. Когда она передавала документы, из-за плеча полицейского я стал делать ей знаки, чтобы она опустила глаза.

Но девушка моих знаков не заметила. Она вообще ничего не замечала. Равнодушная ко всему на свете, она витала в облаках. Мельком глянув на нее, чтобы сравнить с фотографией, полицейский насторожился.

— Посмотрите-ка мне в глаза!

Девушка весело рассмеялась, очевидно приняв его просьбу за какую-то новую игру. Она еще не понимала, что незначительное нарушение дорожных правил переросло в преступление. На ее лице сияли огромные голубые глаза с сузившимися зрачками.

Полицейский взволнованно подозвал коллегу. Попросив девушку выйти и заперев «фольксваген», они усадили ее в полицейскую машину.

Скорей всего, эта девушка даже и не слышала о «золотом треугольнике». Но неведомый ей далекий уголок Азии сам вмешался в ее жизнь.

Я сталкивался с наркотиками на пяти континентах: среди хиппи в Калифорнии и по соседству с амстердамскими каналами, в ателье монпарнасских художников и в бетонных шахтах нью-йоркских улиц, в австралийском порту Сиднее, на склонах Гималаев, в Неаполе и в кенийском отеле «Икбал», в центре Найроби. Названия наркотиков менялись, да и воздействие их неодинаково: это были то трубка с опием, то наполненный героином шприц.

Наркотики появлялись без зова, как бродячие кошки, в дешевых номерах-каморках, где в основном жила молодежь, на улицах, в студенческих общежитиях. На вечеринках в роскошно обставленных квартирах и в горных хижинах Азии, в кругу имущих и средн безработных — они становились все более угрожающей, повседневной реальностью XX века.

С героином, самым опасным из одурманивающих ядов, я впервые столкнулся в Соединенных Штатах. Всю ночь я пытался помочь лаборанту маленькой аптеки: восемнадцатилетний паренек царапал ногтями стену, всхлипывал и бредил самоубийством. Успокоился он, только когда где-то по соседству раздобыл щепоть белого порошка, развел его в ложке воды и шприцем ввел жидкость в предплечье.

В этот момент я не знал, что делать, вырвать ли яд из его рук или пытаться подействовать на него убеждением. В конце концов не оставалось ничего иного, как смотреть: наркоманов нельзя спасти, пока они сами не захотят, чтобы кто-нибудь им помог.

Несколькими месяцами позднее я столкнулся с оптовой торговлей наркотиков, сойдя с парохода в столице Кампучии Пномпене через неделю после свержения принца Сианука. На пятый день своего пребывания в Кампучии ранним вечером я отправился к Ангкору, самому знаменитому из мертвых городов Азии. Наш шестиместный «пежо» вместил семнадцать пассажиров. Один из них, бродяга-американец, рассказал мне о самолетах, набитых наркотиками, о маковых полях. Тогда-то я и услышал впервые название «золотой треугольник». Я представлял себе таинственный, малоисследованный уголок земли, некую заповедную вотчину тайных служб и наемных «личных» армий. На прощанье мой случайный спутник дал мне несколько адресов в Бангкоке и Вьентьяне, где я смогу узнать о наркотиках более подробно.

За одиннадцать лет эти адреса в моей записной книжке пожелтели. В «золотой треугольник» я тогда не попал, вьетнамская война была в самом разгаре, и правительство Таиланда отказывало в визах гражданам социалистических государств. Но я не совсем забыл об этом глухом уголке нашей планеты и в глубине души всегда надеялся когда-нибудь туда попасть.

Мир наркотиков полон подводных рифов и опасностей. За последние четыре года только в неспокойных районах на севере Таиланда погибло двадцать четыре журналиста разных национальностей. Трупы некоторых со следами пулевых ран были найдены, остальные навсегда сгинули в безмолвных, непроходимых джунглях. В газетах, для которых они работали, появились краткие некрологи — их обычно помещают в разделе хроники. Никого это особенно не взволновало: смерть — обычное следствие репортерского риска, когда журналист

получает задание привезти материалы о повстанцах, воюющих армиях или контрабандистах, переправляющих наркотики. Опасность неотъемлема от его работы точно так же, как нерегулярное питание и случайные ночлеги.

Мне вовсе не хотелось во время своего экзотического путешествия исчезнуть при загадочных обстоятельствах, и потому за месяц до отъезда в Юго-Восточную Азию я проник в мир гангстеров, наемных убийц и тому подобных темных личностей,— правда, пока еще только как читатель. Перестрелка, дикие погони и почти шпионские приемы, когда наблюдаешь за ними с дивана, на котором я обычно валялся с книгой в руке, напоминают дешевый детектив. Они поражали своим неправдоподобием, как будто их сочинил плохой киносценарист, так что порой приходилось напоминать себе, что передо мной не уголовный роман, а описание подлинных событий. При всем своем неправдоподобии это чтение должно было познакомить меня с той реальной средой, в которую я вскоре попаду. Я штудировал старые репортажи почти как инструкции. Чужой опыт должен был помочь мне разобраться в законах международной торговли наркотиками, чьи нити тянутся из нищих стран «третьего мира» к богатейшим метрополиям Западной Европы и к Соединенным Штатам.

Химическая формула счастья

Человеческий мозг во многом остается для ученых загадкой.

Мы пробираемся ощупью, не умея отдернуть занавес, скрывающий от нас ясное представление о том, как происходит процесс мышления, забывания, пробуждения памяти. Что такое интуиция, фантазия, гениальность? Как осуществляется в мозгу связь между миллиардами клеток?

Мы и поныне мало знаем о химических веществах, называемых нейромедиаторами. Предполагают, что от этих веществ с точной химической формулой зависят наши настроения и причуды, печаль, радость, отчаяние и равнодушие. Не исключено, что когда-нибудь химические формулы сумеют выразить и любовь Ромео и Джульетты, и ревность Отелло (даже с коэффициентом интенсивности). Это тревожная перспектива, поскольку научное познание ныне слишком часто соседствует с производством атомных бомб и лазерного оружия. Мечта о безграничном счастье легко может превратиться в мрачную картину тотально порабощенного общества, где по заказу сильных мира сего возникают вера и воодушевление, ненависть и слепое послушание, — не случайно ряд ученых с обостренным чувством совести начинает избегать исследований в этой области. Да и где, собственно, пролегает граница между человеком и машиной?

Стоп! — хочется крикнуть нам, потому что именно область чувств мы считаем интимнейшей частью души. В этой ревностно охраняемой области нашего «я» рождаются поэзия и музыка, дружба и радость при виде облаков, плывущих по высокому летнему небу,— чувства, отличающие человеческое существо от самого совершенного компьютера последнего поколения.

Не требуется обладать богатой фантазией, чтобы понять, сколь опасны подобные исследования, чтобы прийти к выводу, что и этика, которой в наши дни все более пренебрегают, может иметь практическое значение.

Нейромедиаторы воздействуют на наше воображение и нашу фантазию, даже болевые ощущения. Так, избыток дофамина в мозгу может привести к нарушению логического мышления и галлюцинациям. Повышение или понижение уровня одних нейромедиаторов влияет на выработку других. Все эти химические реакции взаимообусловлены. Весьма возможно, что именно с их помощью координируется движение миллиардов мозговых клеток.

Наркотики вносят в хрупкое химическое равновесие «сумятицу». Нормальные биохимические реакции выводятся из привычного ритма. Присутствие посторонних химических веществ провоцирует защитную реакцию организма, который пытается нейтрализовать действие ядов. Он вырабатывает ацетилхолин и биогенные амины, циклический аденозинмонофосфат, простагландины и десятки других веществ в ином соотношении, чем при нормальных обстоятельствах, и восстанавливает утраченное равновесие химическим способом. Так возникает патологическая адаптация. Трагедия молодого человека, в пятнадцать лет из любопытства попробовавшего несколько предложенных ему приятелем таблеток, в переводе на язык химии теряет свою остроту. И все же именно эти ученые словечки точнее всего передают сущность того, что происходит в мозгу человека, который сделал первый шаг по улице с односторонним движением, ведущей к преступности, одиночеству и распаду личности.

Наркоман, которого преследует судорожное желание получить новую дозу наркотиков, теряет над собой нравственный контроль. Что ему чужая жизнь, когда он в любой момент готов пожертвовать собственной? Он способен обокрасть родную мать или брата — его не остановит ни чувство любви, ни благодарности или дружбы. Мозг в состоянии патологической адаптации яростно противится любой попытке вывести его из этого состояния. В момент, когда поступление наркотиков задерживается, возникает реакция, которую врачи называют абстинентным синдромом.

Искусственное равновесие, поддерживаемое регулярным поступлением наркотиков, нарушается. Человека одолевает беспокойство, он мучается бессонницей, взгляд его блуждает, глаза с расширенными зрачками часто слезятся, из носу течет, как при насморке. Повышение температуры и давления нередко сопро-

вождается рвотой и ознобом. Мышцы резко напряжены и судорожно сокращаются.

В отдельных случаях может наступить смерть.

Наркоман, привыкший к опиатам, губит не только себя, но и окружающих. Еще десять лет назад на улицах Манхэттена или Бронкса можно было купить дозу героина за шесть долларов. Теперь «рядовой» западногерманский наркоман ежедневно платит за наркотики 400 — 700 марок. Почти исключено, чтобы такую крупную сумму он мог приобрести легальным путем — ведь к регулярному, систематическому труду он не способен. Остается только преступление.

Парадоксально, что самый опасный наркотик нашей эпохи начинал свой путь как безвредное лекарство.

Обыкновенная головка мака

Уже более четырех тысячелетий земледельцы разводят самые различные сорта мака, называемого по-латыни Papaver somniferum. Пирожки и пироги с маком — непременное блюдо на праздничном столе, черными маковинками посыпают булочки и рогалики, красные цветы дикого мака на польской меже ласкают взоры художников и влюбленных.

Опий древнее пирамид, ведь мак цвел на Крите еще в пору минойской культуры. Возможно, он входил в состав напитка забвения, который упоминается в древнегреческих мифах. Маги использовали его, создавая свои волшебные напитки. Рекомендовал его своим пациентам и «отец медицины» Гиппократ. В качестве болеутоляющего он прописывал опийную настойку.

Задолго до того, как химики выяснили, что сок незрелых головок мака содержит более двадцати алкалоидов, родители в деревнях предостерегали детей, чтобы те не жевали стебли мака. Они по опыту знали, что дети легко могут отравиться содержащимся в этих стеблях морфием. Порой бывает достаточно и тысячной доли грамма. Взрослым же требуется в несколько раз бо́льшая доза. Только после этого в одурманенном мозгу возникнут будоражащие или кошмарные видения.

Первым описал это в литературе еще в начале XIX века английский писатель Томас Де Куинси в книге «Исповедь курильщика опиума».

На сцену выступает героин

Столетия странствовал опий по свету, не создавая в Европе особых проблем. Курильщики опиума были в основном исключением. Лишь с рождением науки и с голодом по новым знаниям, с распадом семейных кланов и упадком религии, со все усиливающимся чувством одиночества и обезличением человека в крупных городах и возникла потребность в «химических снах». Они стали заменой прочных устоев и идеалов в постоянно меняющемся, необъятном и враждебном мире. И вот именно в ту пору, точно по заказу, в пробирках химиков родились наркотики, дотоле неизвестные в природе.

Они стали составной частью революции, произошедшей в естественных науках и научившей химиков из обыкновенного, дурно пахнувшего дегтя вырабатывать анилин, индиго и даже духи. Стали нежелательным побочным продуктом человеческого стремления к познанию, той оборотной стороной любого научного исследования, которая никогда не позволяет предугадать, как с результатами работы одного ученого поступят другие.

Томас Де Куинси впервые столкнулся с опием в 1804 году. Не прошло и года, как химик наполеоновской армии Сеген выделил один из трех важнейших алкалоидов, содержавшихся в соке незрелых головок мака,— морфин. Новое лекарство снимало головные боли и помогало уснуть, приглушало беспокойство. Воодушевленные врачи начали широко назначать морфин и лишь позднее заметили его теневые стороны. Дело в том, что он входил в привычку. Пациенты требовали все новых и новых доз морфия, даже когда их страдания были уже позади. И готовы были хорошо за него платить.

Модный наркотик быстро проник в парижские салоны, обрел поклонников в высших кругах общества. Пристрастие к морфию стало считаться проявлением тонкого вкуса. Слухи о жертвах не слишком отпугивали, скорее вызывали приятный холодок. После первой мировой войны в одном только Париже было зарегистрировано свыше шестидесяти тысяч морфинистов. Дальнейшее распространение этого наркотика было приостановлено появлением лекарства, от которого ныне у врачей волосы встают дыбом.

1874 году английский химик К. Р. Райт получил из морфина горьковатый белый порошок. Опыты на собаках показали, что новое вещество вызывает «сильную вялость, страх, сонливость... иногда легкую рвоту» (так гласило сообщение о результатах лабораторных исследований). Эти внушающие опасения признаки побудили англичанина прекратить опыты.

Но, утаив свое открытие, он не мог помешать своим преемникам идти по тому же пути. Здесь и разыгрывается первая драма. С некоторой долей пафоса мы могли бы назвать ее драмой химии. За два года до конца XIX века немецкие химики повторили тот же опыт, но пришли к противоположным выводам: новый препарат — чудодейственное лекарство!

Мы уже никогда не узнаем, в чем именно они допустили ошибку: возможно, провели слишком мало лабораторных исследований или имели дело с недостаточно чистым веществом. Согласно заключению тогдашней экспертизы, хлоргидрат диацетилморфин, получивший коммерческое название «героин» - великолепное средство от бронхита, астмы, простуды и даже от туберкулеза. Специалисты недооценили или вовсе не заметили губительного воздействия нового вещества на человеческий организм и рекомендовали его в качестве препарата широкого спектра действия. Опираясь на

такие оптимистические выводы, известный фармацевтический концерн «Байер» развернул грандиозную рекламную кампанию и выбросил на рынок миллионы горьковатых таблеток. Чудо-лекарство прокладывало себе дорогу во всем мире. Врачи прописывали его как успокаивающее средство — героин должен был развеивать меланхолию и прогонять мысли о самоубийстве. Морфинисты и кокаинисты получали героин без рецептов еще и как средство от наркомании.

Сегодня кажется невероятным, что тысячи и тысячи врачей и аптекарей в самых разных географических поясах долго не замечали устрашающего действия нового лекарства. Героин намного сильнее морфина. Уже после нескольких инъекций у человека возникает ощущение тоски и страха; достаточно даже беглого взгляда на жертву одурманивающего яда, чтобы возникли сомнения. И все же долго ничего не предпринималось.

В 1906 году Американская ассоциация врачей одобрила и рекомендовала героин для широкого употребления вместо морфия при различных инфекционных заболеваниях. Героин стал распространенным патентованным средством. Пациенты пользовались им даже при сильном насморке.

Результатов пришлось ждать недолго.

По приблизительным подсчетам федерального бюро по борьбе с наркотиками, в Соединенных Штатах в 1924 году было уже около 200 тысяч наркоманов. По относящимся к тому же году данным полицейского управления в Нью-Йорке, 94% наркоманов, задержанных за различные противоправные действия, составляли потребители героина.

Эти цифры для законодателей оказались красноречивее научных трудов. В 1924 году американский конгресс единодушно поставил производство и ввоз героина вне закона.

Однако же «чудодейственное» лекарство после этого не исчезло.

Только теперь и появилась возможность как следует на нем заработать.

Самая выгодная коммерция

Сегодня наркотики проникли не только на страницы газет, но и на экраны кино и телевизоров. Сценаристам и писателям, создающим детективную литературу, уже не надо измышлять гигантские гангстерские корпорации, пытающиеся завладеть миром, как это делали их предшественники в двадцатые годы. Они вполне могут обойтись реальными фактами. Ведь осуществляя операции по выявлению наркотиков, государственные власти, представленные полицией, сталкиваются с прекрасно организованной преступной сетью. Изобретательность контрабандистов соперничает с опытностью таможенников, отвага, подстегиваемая жаждой прибыли,— с мужеством, порождаемым чувством ответственности. На обе противоборствующие стороны работают первоклассные мозговые центры, отличные снайперы и водители. Детективы могут опереться на великолепные средства связи, картотеки, компьютеры и дорожное патрулирование. Гангстеры более мобильны, их охраняют деньги, страх, а нередко и излишняя снисходительность закона. Пуля или нож заставят молчать и подозрительного союзника, и неудобного свидетеля. Стоит выкрасть жену или ребенка — и свидетель полностью изменит показания. Миллионные сделки заключаются с помощью посредников, закодированные пароли и односложные телефонные разговоры напоминают методы разведывательных служб. Уважаемые финансисты никогда непосредственно не соприкасаются с исполняющими их приказы убийцами.

Каждая «партия» наркотиков на своем пути — от производителей до заказчиков — должна пересечь несколько границ, преодолеть множество ловушек, расставленных законом и конкуренцией. Только у разветвленных гангстерских организаций хватит денег, опыта и связей чтобы справиться с задачей в таких условиях. Без этого международная торговля наркотиками вообще была бы немыслима.

*

Никогда уже, очевидно, не возникнут столь благоприятные условия для полного изгнания с нашей планеты торговли одурманивающими ядами, какие создались в конце второй мировой войны. Европа, разрушенная, попранная немецко-фашистскими оккупантами, жила верой в братство всех людей доброй воли. Жестокое военное время породило не только страх, но и надежду. Никогда еще представители стольких европейских народов не осознавали с такой ясностью, что они плывут на одном корабле, как это было в момент, когда залпы салютов возвестили победу.

Наркомания почти исчезла. Военные операции на шесть лет прервали связи между Европой и Ближним Востоком. Бои на суше, в воздухе и на море делали контрабанду невозможной. Международная торговля замерла. Цензура под микроскопом проверяла любую почту из-за рубежа. В тени виселиц и концлагерей контрабанда потеряла смысл. На протяжении шести лет наркоманы ни за какие деньги не могли приобрести наркотики. Избавленные от искушения, они были вынуждены с болью освободиться от своей рабской зависимости, и потому в момент прекращения военных операций Европа в этом отношении была совершенно здорова. Спрос на наркотики сошел на нет.

Подобная же ситуация сложилась и в Соединенных Штатах.

В тот великий победный час никто в промышленно развитых странах в наркотиках не нуждался. Никто, кроме людей, которые разбогатели на них еще до войны.

Именно их корыстолюбие и послужило пружиной, которая вновь привела в действие весь механизм.

В шестидесятые годы международную торговлю наркотиками захватили в свои руки три влиятельных корсиканских синдиката — в Марселе, Лионе и Гавре. Члены марсельских гангстерских организаций пытались обойти ловушки на кишащем таможенниками восточном побережье Соединенных Штатов — кружным путем, через Испанию и Южную Америку: почти не охраняемую мексиканскую границу перейти было гораздо легче, чем избежать таможенного досмотра в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. В Буэнос-Айресе, в Парагвае и Колумбии обосновались молодчики из Корсиканской унии Как только «товар» попадал к ним, они уже сами переправляли его на север.

Лионские гангстеры включили в зону своих операций не только Соединенные Штаты, но и значительную часть ФРГ.

При контрабандных перебросках наркотиков через Атлантику лионский синдикат посылал своих курьеров группами Эта тактика основывалась на простом наблюдении. Стоило таможенникам обнаружить наркотики, как они овладевали волнение и радость. В такой обстановке остальным контрабандистам легко удавалось проскользнуть.

Разумеется, со временем таможенники разгадали этот трюк Обнаружив какое-то количество наркотиков они устраивали личный досмотр всех пассажиров самолета. Но даже арест пассажиров с наркотиками не угрожал провалом подпольной сети Дело в том, что кроме тех, кто вез наркотики, в самолете обязательно сидел неприметный представитель унии, у которого наркотиков не было Его роль сводилась к тому, чтобы проследить, гладко ли прошла операция, и в случае надобности предупредить кого надо. Тогда на условные явки никто не придет, и в руках полиции останется лишь несколько несчастных, зачастую и не подозревавших, что было в пакете, который они должны были в Соединенных Штатах отправить по почте.

В отличие от гангстеров из Лиона, гаврский синдикат практиковал пересылку больших партий наркотиков пряча их на кораблях среди грузов или в багаже дипломатов, политиков, известных певцов, который, как правило, не подлежит досмотру.

Однако к концу шестидесятых предприимчивые корсиканцы начали терять почву под ногами. В Ливане все чаще стреляли. На равнинах турецкой Анатолии агенты спецслужб рыскали в поисках маковых полей. А без мака опий-сырец производить невозможно. Когда же поход против наркотиков начался и в Иране — еще одном крупном поставщике, - значение Ближнего Востока, а следовательно и Марселя, стало резко падать.

На сцене появился «золотой треугольник», гористый край на территории Таиланда, Лаоса и Бирмы.

Настало время отложить в сторону книги и соприкоснуться с людьми из плоти и крови. Мне уже надоело наблюдать за всем из своего кресла, вдали от опасных мест. Когда пишешь, опираясь лишь на чужой опыт, возникает нечто похожее на дом, выстроенный из досок и бревен, подобранных среди развалин. Разумеется, такой дом можно построить. Но чего-то в нем будет не хватать.

Город падших ангелов

В 1767 году бирманцы разгромили Аютию, древнюю столицу тайской империи. После нескольких победоносных сражений молодой воитель Таксин изгнал захватчиков, но даже отпраздновать победу ему было негде — Аютия лежала в развалинах. Стоит ли собирать разметанные камни и сызнова возводить кружевные пагоды, высекать хрупкие изваяния, если участники вражеских набегов знают каждый брод, каждое ущелье на подходах к городу и в любой момент могут все уничтожить? Во прах повержены 100 храмов, резные крыши пожрал огонь. Каналы, на которых покачивались королевские ладьи в форме сказочных животных занесены илом.

Со слезами на глазах покинул Таксин город, который во второй половине XVII века был больше Лондона, и на берегу реки Чао-Прая основал город Тхонбури.

Его наследник перенес город на другой берег реки, до этого там была маленькая рыбацкая деревушка Бангкок. Так возникла новая столица, называемая местными жителями Крунгтеп — Город Ангелов. В искусственных каналах, которые должны были напоминать об утраченной Аютии, отражались многокрасочные храмы и дворцы, построенные по древним образцам. Их внутреннее убранство составляли предметы, вынесенные из погибшего города. В храме Пра Кео восседает на золотом алтаре легендарный Изумрудный Будда, сделанный из халцедона. Изваяние семидесятипятисантиметровой высоты, найденное в XV столетии неподалеку от Чиангмая, мерцает во тьме слабым синевато-зеленым светом. На мраморном полу перед ним склоняются и министры, и простые крестьяне. Трижды в год сюда приходит сам король и меняет одежду Просветленного. В хорошую погоду его облачают в ризу с алмазами, в сезон дождей — в позолоченную, с синими солнцами. Одеяние из чистого золота и эмали согревает его в холодное время года.

Бангкок, после второй мировой войны — сонный восточный город, насчитывавший около восьмисот тысяч жителей, растекается по рисовым полям, как клякса на промокательной бумаге. По четырехмиллионной метрополии колесит теперь девяносто процентов всех таиландских автомобилей Местные высшие школы посещают восемьдесят процентов всех тайских студентов. Размерами и численностью населения Бангкок в сорок раз превосходит Чиангмай, второй по величине город в стране. Разросшийся Город Ангелов дышит по-тайски только на рассвете, когда иностранцы еще крепко спят в своих кондиционированных крепостях и улицы с большими магазинами тоже еще не проснулись.

Романтически настроенный иностранец, мечтающий увидеть истинное лицо города, должен встать пораньше. Берега каналов окутаны туманной дымкой, но утро уже выманило из домов детей, собак и кур. Меж серых фасадов неприглядных доходных домов мерцают золотые, зеленые, розовые и красноватые крыши храмов, называемых здесь «ват». Монахи с выбритыми головами по двое и в одиночку совершают свой регулярный обход — с черной лакированной миской, куда им положат рису, пирожков, овощей или кусок рыбы.

Начинается день, и утренняя свежесть исчезает — ее поглощают выхлопы бензина и скрип трехколесных тележек, толпы торопливых пешеходов, толчея на автобусных остановках. В банки спешат одетые в темное чиновники, в маленьких мастерских за грязными занавесками постукивают молотки, уличные продавцы предлагают гребни, а полицейские в желтых шлемах и белых перчатках яростно свистят на перекрестках.

Ночью, когда свет уличных фонарей затмевает мерцание звезд, город на реке Чао-Прая предается веселью. Дворцы и храмы сливаются с ночными тенями, и во тьму глядят только неоновые вывески увеселительных заведений да освещенные витрины магазинов, торгующих английскими книгами и японскими магнитофонами. В это время Бангкок — безликая международная метрополия, ничем не отличающаяся от Сингапура, Джакарты или Манилы.

В Бангкоке самые дешевые и самые красивые проститутки во всей Юго-Восточной Азии. Их здесь не тысячи, а десятки, возможно даже сотни тысяч. В век туристских скидок и бюро путешествий сюда на пару дней приезжают развлечься вечно торопящиеся господа из Токио или сыновья арабских шейхов с берегов Персидского залива. Но чаще всего сюда прилетают туристские группы из Западной Европы.

Проституток здесь столько, что можно с уверенностью сказать: именно они, если учитывать миллионы туристов, стали для Таиланда самым главным источником иностранной валюты.

Ежемесячно в Бангкоке регистрируется свыше трех тысяч преступлений, связанных с наркотиками. Днем и ночью кружат по городу полицейские в форме и в штатском, сотрудники Интерпола и специально обученные агенты из двух десятков стран в попытках поставить заслон дальнейшему распространению наркомании, а ею в Таиланде страдают более шестисот тысяч человек.

Они не обращают внимания на проституток, хотя именно среди них количество наркоманок особенно велико. Преступные сообщества приучают их к наркотикам еще с детства. Привычка к одурманивающим ядам превращает прелестную девушку в сговорчивую машину по добыванию денег. Героин упрощает дело — отпадает необходимость в насилии и уговорах. При столь распространенной наркомании полиция в борьбе с ней почти бессильна — массово преступаемый закон теряет действенность.

Но туристов все эти проблемы не интересуют, их хватает и дома.

Первый шаг

В Бангкоке — Городе Ангелов — довольно просто купить героин или хотя бы дрянь — наркотик бедняков (в действительности это просто пепел от выкуренного опия, в котором еще содержится какое-то количество морфина). Официант в ресторане или коридорный в отеле, если их попросить, раздобудут щедрому гостю небольшую дозу этого яда. Причем они почти ничем не рискуют: щепотка героина еще не дает оснований причислить их к торговцам наркотиками, их будут рассматривать лишь как мелких спекулянтов.

Если же попросишь продать тебе полкило героина, на лице того, к кому ты обратился, застынет улыбка, что в Азии такой же выразительный признак колебаний, негодования или смятения, как высоко поднятые брови на ледяном лице английского лакея. Даже если официант знает, кто мог бы поставить большую партию героина, он не поспешит назвать вам этого человека. Мир наркотиков напоминает джунгли, кишащие диким зверьем. Недоверчивость — условие твоего существования. Контрабандисты и преступные организации законспирированы так же тщательно, как подпольные организации во время войны, а потому чрезмерное любопытство — верный путь к гибели. Настойчивые вопросы могут возбудить подозрение и у различных детективов, и у тайных агентов. Я казался себе игроком, который взял в руки карты, не зная еще, во что играют остальные. Через день после моего приезда в Бангкок возле Фанга, на бирманской границе, погиб турист, который, поддавшись излишнему любопытству, сфотографировал таинственный караван носильщиков. Убийство в горах, поросших тропическим лесом, полиция даже не стала расследовать. Его мог совершить кто угодно: контрабандисты или представители различных наемных армий, бирманские повстанцы или бандиты — пограничье кишит «честными малыми», которые не любят рекламы.

Еще более трудную проблему представлял для меня запутанный мир политики.

На границе с Кампучией постоянно происходили ружейные и артиллерийские перестрелки. Границу с Лаосом Таиланд закрыл, да и границу, проходящую по реке Меконг, нельзя было назвать «границей дружбы». В горах на севере — на территории Таиланда — недавно подорвалась на мине военная машина.

Эхо отдаленных выстрелов докатывалось не только до газетных заголовков, оно как бы отражалось и в глазах полицейских, когда они листали паспорт человека из далекой европейской страны и обнаруживали на страничках этого паспорта визы из Лаоса и Вьетнама: я

был нежелательным лицом, которое в нежелательное время попало в нежелательное место.

Ни один путешественник, впервые ступивший на неизученную и необозначенную на карте землю, не чувствовал себя более одиноким, чем я. Если я возбужу сомнения или неприязнь к себе хотя бы у одного влиятельного чиновника, избавиться от меня будет нетрудно — достаточно подсунуть мне в рюкзак крошечный пакетик с белым порошком.

— Нет, шефа сегодня не будет, он в отпуске,— равнодушно ответил мне высокий тощий человек лет тридцати пяти в канцелярии таиландского филиала серьезного еженедельника «Фар Истерн экономик ревью». Снабженная кондиционером канцелярия на пятом этаже внушительного здания сулила приятный отдых после уличной жары, но в остальном особой роскошью не отличалась.

— У меня к нему рекомендательное письмо...

— Очень жаль. Зайдите через месяц,— произнес этот человек безучастным тоном, каким в редакциях отпугивают докучных посетителей.

— Через месяц я буду в Лаосе, а возможно, уже вернусь в Европу,— нерешительно заметил я.

— А что вам, собственно, нужно? — равнодушно спросил человек за столом, когда молчание слишком затянулось.

— Двадцать минут вашего времени,— услышал я свой голос. Терять мне было уже нечего.

— А что вас интересует?

— Наркотики,— сказал я.— Я хотел бы получить совет, как попасть в «золотой треугольник», в страны, чьи официальные учреждения вряд ли будут питать ко мне дружеские чувства. Мне нужна story, но не хотелось бы лишиться из-за нее головы.

Я нарочно употребил слово из репортерского жаргона.

И тут он впервые улыбнулся. Журналистский жаргон помог ему определить, кто я. Материал для story никогда не стал бы разыскивать новичок, который только постигает основы ремесла. Не пустится на поиски story и научный редактор — ему это ни к чему. Story — удел практиков, которые знают в этом толк.

Я понял, что он мне поможет, его выдала улыбка. Репортеры — особая братия, они способны завязать знакомство в течение одной минуты. Опыт обучил их законам солидарности. Сотни раз оказывались они в незнакомой обстановке с заданием в считанные часы раскопать то, о чем не имели понятия даже старожилы. Их успех и репутация в таких случаях зависят от помощи, которую из профессиональной солидарности окажут им на месте коллеги. Но в ответ и те вправе ожидать того же.

Он испытующе взглянул на меня; байку о рекомендательном письме он явно счел расхожим трюком, упрощающим знакомство.

— Тебе повезло, что ты натолкнулся именно на меня,— снова улыбнулся он.— Я пятнадцать лет занимаюсь «золотым треугольником» и знаю о нем больше, чем кто бы то ни было из моих коллег. Хотелось бы когда-нибудь написать о нем книгу.

В его голосе прозвучали меланхолические нотки. Почти каждый журналист, терзаемый преходящим характером своих статей, мечтает оставить после себя более длительный след, чем газетные страницы — они мертвы уже на следующий день. Но чаще всего до написания книги дело так и не доходит, вечно возникает что-нибудь более срочное, неотложное.

Я вкратце объяснил, что меня интересует в Таиланде. Без долгих разговоров он нацарапал в моем блокноте несколько американских, английских и тайских имен. Каждое из них означало надежный контакт. Впервые счастье начало мне улыбаться. Растущий список влиятельных знакомых обеспечит мне не только важную информацию. Он обеспечит и мою безопасность.

— Сколько сейчас стоит в Бангкоке килограмм героина? — спросил я, когда он записал последнюю фамилию и номер телефона.

— Смотря какого,— пожал он плечами.

— Героина номер четыре,— уточнил я.

Героин под этим номером — белый, кристаллический, хорошо очищенный порошок для инъекций. В основном он предназначается для вывоза в экономически развитые страны.

— В прошлые годы при крупных закупках в Чиангмае оптовая цена — если ее можно так называть — колебалась между тремя и шестью тысячами долларов. Времена низких цен безвозвратно миновали. В Бангкоке тот же килограмм обойдется уже в десять тысяч долларов.

— Это самая высокая цена за всю историю,— заметил я.

— Безусловно. Чем дальше от производящих областей, тем выше цены. Кроме того, каждый из посредников, через чьи руки проходит героин, добавляет к товару различные примеси, чаще всего виноградный сахар. Так что изначальный килограмм разбухает, увеличиваясь в объеме в двадцать — тридцать раз. В Бангкоке еще можно достать стопроцентно чистый героин. При розничной продаже на улицах западноевропейских городов он бывает трех- или пятипроцентным. Остальной вес составляют безвредные примеси.

— А какова прибыль?

— Подсчитай сам. За изначальный килограмм героина наркоманы в Соединенных Штатах заплатят уже миллион долларов,— сказал он, словно носил этот миллион в кошельке как разменную монету.

Я присвистнул. При цене десять тысяч долларов за килограмм исходные затраты окупаются в стократном размере. На свете нет более выгодной преступной деятельности. Я начинал понимать, почему столь трудна борьба с одурманивающими ядами.

— И знаешь, что особенно осложняет ситуацию? Что при такой выгодной торговле не требуется большого ума, предвидения или таланта. Деньги валяются прямо на улице, по крайней мере теоретически. Каждый, кто хоть раз в жизни сумеет доставить из Бангкока наркоманам в Бронксе килограмм белого порошка, может стать миллионером. Необходимо лишь знать нужных людей... или положиться на везение.

Мы оба улыбнулись. Торговля смертью — привилегия могущественных организаций. Сумасбродный турист, который в Городе Ангелов начал бы слишком рьяно расспрашивать про товар, производство которого запрещено во всем мире, не многого бы добился. Любителям не место среди профессионалов. Прежде всего его выдаст сам торговец, продавший ему наркотик,— изредка наводя полицию на мелкую рыбешку, он обеспечивает себе безнаказанность при заключении более крупных сделок. А застраховать себя он должен — мало ли что, вдруг ему подсунули незнакомца в качестве наживки, чтобы иметь против него улики? Имя предприимчивого иностранца сообщат по телефону на ближайший полицейский пост и сами гангстеры, ибо они не заинтересованы, чтобы в их ремесло совали нос всякие студенты, пенсионеры или отважные домохозяйки. Даже если бы такому любителю каким-то чудом и удалось пересечь океан, по ту сторону Атлантики о нем позаботятся крупные «акулы», когда он на свой страх и риск попытается найти заказчика. В торговле наркотиками, как и в любом другом виде коммерции, тенденция к созданию монополий проявляется прежде всего в ликвидации слабейших.

— Интересно, что же послужило причиной столь резкого роста цен?

— В Бирме — а она считается главным источником опия — уже третий год подряд катастрофическая засуха. А мак к засухе особенно чувствителен. Обычно Бирма производила 400—500 тонн опия-сырца в год, что давало 40 — 50 тонн героина. А в прошлом году февральский и мартовский сбор урожая дал всего 200 тонн опия.

— Бирманская полиция должна благословлять засуху. Ведь нужда толкает торговцев на все более рискованные предприятия. Усиливающаяся конкуренция, несомненно, ведет к ожесточенной борьбе между синдикатами,— вступил я на шаткую почву догадок.

Журналист кивнул.

— И тем не менее,— сказал он,— положение начинает улучшаться. Сотрудничество таиландского Центра по борьбе с наркотиками и европейской полиции за последнее время значительно расширилось. В ряде бангкокских дипломатических миссий приступили к работе атташе по борьбе с наркотиками. В Бирме армия взяла под контроль некоторые горные области, где производят опий. Судя по первым сообщениям, результаты превзошли ожидания.

— Серьезно ли относится таиландская полиция к наступлению на наркотики? Ведь широко известно, что немало крупных торговцев наркотиками вышло из тюрьмы на свободу,— заметил я.

Он печально улыбнулся:

— Соперничество между министерствами и даже между отделами в одном учреждении — для Таиланда дело привычное. И полиция не является исключением. Конфликты между таиландским Центром по борьбе с наркотиками, который относится к числу наиболее деятельных и наименее подверженных коррупции полицейских подразделений, и соответствующими отделами уголовной полиции почти исключают сотрудничество. Они утаивают друг от друга источники информации, подчас чуть ли не воюют между собой.

— Какое количество героина проникает из «золотого треугольника» в Европу?— спросил я, понимая, впрочем, что на мой вопрос нельзя ответить точно.

— Этого никто не знает. Даже специальные отчеты ООН во многом построены на догадках. На что они могут опираться? В 1976 году полиция и таможенники конфисковали 535 килограммов героина. С тех пор их улов ограничивается примерно 300-ми килограммами. Специалисты полагают, что это составляет от 3 до 15% годового потребления героина.

Разница в предполагаемых цифрах отражает споры оптимистов с пессимистами. Интерпол и ряд правительств отдали бы за точные данные целое состояние. Ведь по количеству попадающего в Западную Европу героина, будь то десять или пятьдесят тонн, можно определить и число наркоманов.

— Как доставляют героин в Европу?

— Первоначально большинство курьеров были китайцы, малайцы и тайцы, причем зачастую — не по своей охоте. Тайное общество похищало у какого-нибудь несчастного жену или детей и предлагало ему на выбор: или совершить оплаченный полет в Париж, Мадрид или Амстердам, где он оставит груз в условленном месте, или отказаться от всякой надежды увидеть своих близких. Только когда таможенники стали оказывать пассажирам из Азии повышенное внимание, тайные общества начали вербовать европейцев.

Гангстерские организации, переправляющие наркотики из Азии, окутаны еще большей тайной, чем мафия, и масштабы их истинного влияния в Европе почти неизвестны. Взаимные счеты они сводят тихо, без фейерверков. Обнаружив возле какого-нибудь амстердамского канала труп китайца с перерезанным горлом, полиция придет к заключению, что убийство совершено с целью ограбления, и случай этот никогда не попадет в уголовную хронику. Даже самый опытный детектив не догадался бы, что́ означает краткое перемигивание двух посетителей ресторана в китайском квартале Сан-Франциско, а между тем это перемигивание принесло каждому из них по полмиллиона.

— Послушай,— вдруг пришло мне в

голову,— а здесь, в Азии, корсиканцы или американские мафиози никогда не пытались вытеснить из торговли наркотиками китайские тайные общества?

— Мафия, несколько раз пыталась пустить корни в Таиланде, но все ее попытки оканчивались полным фиаско.

— А полиция добивается хоть каких-то результатов?

— Провозить наркотики сейчас несколько рискованней, чем пять лет назад. Еще в начале семидесятых годов длинные караваны мулов возили опий-сырец из Бирмы в Таиланд средь бела дня. Лаборатории в окрестностях Чиангмая, Чианграя и Мэхонгсона почти в открытую перерабатывали его в морфин и героин. Сейчас бы никто такого каравана из Бирмы не отправил: его легко обнаружить с вертолета. И обработку сырья перенесли из Таиланда по другую сторону границы. Из Бирмы теперь вывозят не опий-сырец, а героин, который в десять раз компактнее, и перебрасывают его чаще всего с помощью обыкновенных носильщиков. Растянувшаяся на сотни километров граница проходит через джунгли и дикие горы, так что углядеть за ними просто невозможно.

Я был знаком с азиатскими джунглями по Суматре. В дремучих лесах Юго-Восточной Азии военный или полицейский патруль может пройти в полуметре от человека, не заметив его. В густых зарослях взрослый мужчина за день не прорубит себе путь больше чем на десять метров. За неделю буйная растительность скроет след любого человека или зверя, поглотит протоптанную дорожку, небольшое поле, а то и целый город.

— Но ведь наверняка можно патрулировать шоссе, которое ведет из таиландского пограничья в глубь страны,— предположил я.

Он кивнул:

— Полиция и армия пытаются это делать, но на людных дорогах невозможно обыскивать каждого пешехода и копаться в каждом автомобиле. И все же кое-чего они добились. Хотя немалая часть бирманского опия направляется теперь не в северный Таиланд, а на побережье. Маленькие рыбацкие джонки перебрасывают его на юг. В непроходимых джунглях на границе Таиланда и Малайзии, откуда воинские подразделения обеих стран не могут изгнать партизан, действующих здесь еще с конца второй мировой войны, открылись новые лаборатории. Драгоценный яд поездом отправляют отсюда на север, в Бангкок, или контрабандой доставляют в Малайзию. Значительным центром опиумной торговли стал переполненный туристами остров Пенанг, имеющий прямую связь с Европой.

— Думается, торговцы смертью и сейчас еще имеют преимущество перед полицией, которая их преследует,— заметил я.

— Верно,— со вздохом согласился мой собеседник.— Торговля наркотиками похожа на мяч. Сожмешь его в одном месте — он раздуется в другом.

От Бангкока до Чиангмая семьсот километров, автобус мчится на север, мимо храмов и развалин древних дворцов, мимо рисовых полей и полицейских постов, в места, где зеленые холмы возвещают о близости Гималаев. Поля, на которых трудятся терпеливые крестьяне, не имеют ничего общего с опием или контрабандистами. И все же без урожайной, богатой и смиренной низменности невозможно понять строгий, бедный и беспокойный край гор, где малоплодородная почва и капризы природы способны загнать целые семьи в костлявые объятия голода.

Ведь мак выращивают там, где не растет рис.

Цветок севера

— У вас есть свободные комнаты?— спросил я китайца.

В общежитии ХСМЛ[1], судя по названию, предназначенном для христианской молодежи, сразу бросалось в глаза, что добродетель так же обходит этот дом стороной, как и христиане. Но китайца, который взял его в аренду, такие мелочи не волновали. Впрочем, и меня тоже. Дело в том, что эту гостиничку я выбрал не случайно.

В Чиангмае, который называют ключом к «золотому треугольнику» и где торговля наркотиками почти полностью в руках китайцев, подобные гостиницы служат местом, где соприкасаются щупальца купцов и заказчиков — неуверенно, почти что вслепую. В гостиницах и ночлежных домах обе стороны могут неделями настороженно приглядываться друг к другу, преодолевая — с помощью случайных на первый взгляд словечек и фраз — взаимное недоверие.

Город переполнен полицейскими в форме и в штатском. Здесь размещены и элитарные армейские подразделения. Бдительное полицейское око следит и за туристами, что не так-то легко, в особенности если учесть, что тайцы питают еще меньшее пристрастие к иностранным языкам, чем, скажем, французы. А количество туристов исчисляется здесь десятками тысяч в год. Их привлекают молва о красоте здешних девушек, возможность дешево скупать художественные изделия, неизведанные приключения.

— Держитесь подальше от наркотиков,— напутствуют туристов сотрудники посольств и предостерегают, что в случае ареста ничем помочь не смогут. В большинстве стран Юго-Восточной Азии каждый, у кого будет обнаружено более 20 граммов героина, приговаривается к смертной казни. Времена, когда ради одного задержанного американца правительство Соединенных Штатов посылало военные корабли, навсегда ушли в прошлое. Как правило, ни заступничество из-за рубежа, ни вмешательство консулов на вынесение приговора не влияют.

За примерами не нужно ходить далеко.

Случай с двадцатидвухлетней медсестрой Ритой Найтингейл, задержанной в

[1] Христианский союз молодых людей (международная организация). *(Прим. ред.)*

бангкокском аэропорту с пакетом героина, привлек к себе внимание во всем мире. Суд приговорил ее к двадцати годам лишения свободы. Жестокость приговора вызвала немало протестов. Но безрезультатно. Верховный суд отклонил ее прошение, и теперь ей остается лишь уповать на амнистию или на смягчение приговора, иными словами — на милость короля или королевы, проявляемую чрезвычайно редко. Не исключено, что королеву Сирикит тронет молодость Риты и по случаю дня своего рождения она сократит ей срок заключения, но такое может произойти очень не скоро — для острастки другим. А меж тем тюрьма несомненно наложит отпечаток на всю дальнейшую жизнь англичанки.

Законы Таиланда более снисходительны к жертвам наркотиков, нежели к тем, кто эти наркотики поставляет. Наркоману грозит менее жестокое наказание, чем торговцу; квалифицированный химик, перерабатывающий опий-сырец в героин, будет наказан строже, чем полуграмотный контрабандист. Естественно, имеет значение и количество, и вид конфискованных наркотиков.

Виновные, имевшие при себе в момент ареста менее десяти граммов героина, под залог отпускаются на свободу. По закону они должны предстать перед судом. Но конечно, они не станут ожидать процесса. Почти все пытаются раздобыть подложный паспорт и исчезнуть из страны, точно за спиной у них ожил огнедышащий вулкан. Пусть уж лучше пропадет залог!

Облава

— В шесть часов на улице начнется облава. Будьте осторожны,— с едва заметной улыбкой предупредил китаец — арендатор общежития.

Во время облавы полиция перекрывает все выходы из гостиницы, бара, улицу и даже целый квартал. Подозрительных лиц обычно без долгих церемоний заталкивают в автофургоны, которые невозможно открыть изнутри, и увозят на допрос. Эти фургоны называют здесь «черная Мэри».

Я с интересом ждал вечера и размышлял, откуда китайцу известно о готовящейся акции.

Предсказание сбылось. Ровно в шесть часов на улицу Мани Нопарат ворвался отряд полицейских. Из машин высыпали плечистые парни с автоматами. На углу маленькой улочки, ведущей к нашей гостиничке, возле тяжелого мотоцикла с рацией расхаживал полицейский, поминутно поправлявший мотоциклетные очки. По тротуару шлепали башмаки на резиновых подошвах. Полицейские свистки пронзительно перекликались с разных углов. Патрули перекрыли оба конца улицы. Каждый, кто проходил мимо одетого в форму стража закона, должен был поднять руки и подвергнуться обыску. Полиция останавливала и автомашины.

Я присел на парапет у канала. Меня никто не окликнул, хотя при подобных акциях полиция обыкновенно не жалует любопытных. Я размышлял, что, собственно, эти парни ищут. Наркотики? Оружие? Запрещенную литературу?

Соскочив с парапета, я направился к полицейским. Ужасно хотелось провести хоть одну ночь в полицейском управлении, посмотреть вблизи на работу таиландской полиции. В нескольких метрах от ближайшего супермена в форме я остановился и перешел на другую сторону. Приблизился к следующему патрулю и повторил свой маневр. И что же? В мою сторону никто даже головы не повернул.

Я побрел к гостинице. На узкой улочке какой-то толстый офицер выкрикивал по рации приказания — он выглядел словно Наполеон во время сражения под Аустерлицем.

— Нет ли у тебя полиэтиленового мешочка? — спросил я у китайца и в нескольких словах объяснил ему, в чем дело. Дескать, хочу, чтобы меня арестовали.

Он заулыбался:

— Сейчас сделаем.— И стал шарить по полкам. Офицер, который там стоит, Прасад, самый большой болван в городе. Командует отрядом уголовной полиции, а пыжится, словно ему принадлежит полкоролевства. Меня ненавидит. Завидует моим успехам. У него тоже небольшая гостиница — неподалеку отсюда, но туристов туда калачом не заманишь. Он уже несколько раз устраивал облаву прямо здесь, у меня. Угрожал моим клиентам неприятностями и сманивал переехать к нему.

Продолжая говорить, китаец достал полиэтиленовую пленку. Перегнул пополам, потом зажег свечу, взял линейку, обернул ее полиэтиленом и подержал над пламенем. Края пленки склеились, получился маленький аккуратный мешочек.

— Что туда положим?

— Что-нибудь белое. Муку или сахарную пудру...— предложил я.

— Нету.

— Тогда хотя бы соль.

Китаец взял с ближайшего стола солонку и высыпал ее содержимое в мешочек. Затем подержал над свечой края мешочка и отстриг ножницами остаток полиэтилена — получилась подушечка, наполненная белым порошком. Он действовал уверенно и ловко, было ясно, что проделывает он это не впервые. Наверняка ему известно о наркотиках больше, чем писалось в газетах.

— Думаешь, тебя задержат?— с надеждой спросил он.

- Надолго, конечно, нет,— не за что. Но возможно, ночь удастся провести в каталажке.

Китаец задумался, потом вышел в кухоньку. Вернулся с небольшим зеленым плодом, с виду похожим на незрелый орех.

— Если спросят, зачем ты носишь в кармане соль, скажи, что ужасно любишь эти фрукты.

Я кивнул и сунул мешочек вместе с плодом в передний карман джинсов.

— Часто у вас бывают облавы?

Китаец презрительно хмыкнул.

— Каждый вечер. И всегда на одном и том же месте.

— Но время-то хоть меняют?

— Нет. Начинают в шесть.

На прощанье он дал мне последний совет:

— За Прасадом следи в оба. О нем и среди полицейских ходит дурная слава, а это кое-что да значит. Такой дурак никогда никого не поймает, а если его люди и выловят кого, долго держать их за решеткой он не будет — слишком продажен. Потому он и устраивает на улицах спектакли, чтобы никто не сказал, будто ему зря платят жалованье.

За окном уже смеркалось, но свистки на улице предупредили бы об опасности и слепого. Полицейские все еще останавливали и осматривали автомобили и пешеходов, но их рвение заметно поостыло.

Я направился к ближайшему патрулю, при свете фонаря его было видно издалека. Полицейский с автоматом жестом остановил меня. Вся сцена походила на пантомиму, не было произнесено ни единого слова. Еще один жест: поднять руки. Я неохотно подчинился.

Он обшарил мои задние карманы, скользнул ладонями по коленям. Обнаружил только носовой платок. Потом повторил ту же процедуру спереди. Ощупывая правый карман, его пальцы замерли, скользнули внутрь. Все разыгрывалось как по нотам. Мгновение он пялил глаза на мешочек с белым порошком, потом обрадованно крикнул что-то во тьму. Подбежали двое полицейских. Не долго думая, один из них надорвал пакетик и, послюнив палец, сунул в него. Засмеялся, бросил несколько пренебрежительных слов. Соль с горьковатым героином и правда не спутаешь. Попытка попасть под арест не удалась.

Все, кроме разочарованного полицейского, сделавшего такое сенсационное открытие, заулыбались. Тем не менее в качестве единственной добычи меня все же препроводили к шефу. Прасад стоял в той же позе, с важным видом опираясь на мотоцикл с рацией.

— Почему соль?— спросил он по-английски, выслушав рапорт подчиненных. Не стоило зря его дразнить.

— Я солить,— приспособился я к его английскому и достал из кармана никем не обнаруженный зеленый плод.— Только соль сыпаться. Потому заклеить. А теперь соль — тю-тю.

— Тю-тю,— злорадно согласился он. И потерял ко мне всякий интерес. Для начальника ударной группы он выглядел не слишком глубокомысленным.

— Вы кого-нибудь поймать?— спросил я, чтобы продолжить беседу.

— Нет,— нехотя признался он и стал меня разглядывать.— Где ты жить?

Да, не мешало бы ему пройти хотя бы языковые курсы для начинающих.

— В гостинице за углом.

— У китаец?— настроение начальника упало еще на один градус.

— Да.

— Китаец торгует героин,— важно объявил он.

— Почему же вы его не арестуете?— допытывался я.

— Когда-нибудь посадить,— хмуро заметил начальник. — Китаец хитра.

В последнем я не сомневался. Тот был явно на два порядка хитрее своего соперника.

Регулярные облавы, проводимые с помпой, в сопровождении оркестра свистулек, напоминали второразрядную оперетку, без конца повторяемую на потеху провинциальной публике. Настоящий полицейский никогда не унизится до подобных шоу. Да он в них и не нуждается. А вот менее способному приходится к ним прибегать. И вообще он не удержался бы в полиции, не будь у него влиятельных родственников или не бери он взяток.

Коррупция в таиландской полиции ни для кого не составляет тайны. Скандалы следуют один за другим — как на конвейере. Постепенно из тюрьмы удалось бежать всем задержанным главарям торговли наркотиками. Другие, охраняемые влиятельными знакомыми, вовсе не были арестованы. Попадалась только мелкая рыбешка.

Подобные вещи не исключены и в других странах. И все же коррупция в Азии отличается своеобразием. Здесь это нечто повседневное, и без знания ее механизма, невозможно понять не только закулисную сторону торговли наркотиками, но и политику ряда стран. В Таиланде, например, она связана с индуистским представлением о божественном происхождении правителя, которое пришло сюда из Индии вместе с буддийской культурой. С государственной казной правитель обходился как с собственной сокровищницей и выдавал из нее деньги на строительство великолепных дворцов, на содержание гаремов и танцовщиц. По его прихоти возникали и переставали существовать города.

Европейские колониальные державы систему правления восточных деспотов устраивала. Предприниматели с Запада не были заинтересованы в изменении отношений между восточными правителями и их подданными. Пускай себе богатеют, пускай убивают кого угодно, поклоняются Шиве, Будде, Аллаху или Конфуцию - лишь бы не вмешивались в коммерцию и политику. Так англичанам и голландцам с помощью местных раджей и князьков без особого труда удавалось контролировать империи с огромным населением. Это осуществлял всего-навсего чиновничий аппарат, который тоже постепенно приспосабливался к Востоку.

Грубый европейский материализм, слившись с местной традицией деспотического правления, породил тяжеловесную систему, основанную на коррупции и вобравшую в себя худшие черты Востока и Запада.

Вот как выглядит пирамида коррупции в Таиланде. Основание ее составляет толпа мелких чиновников, а зачастую офицеров полиции или армии. Эти старательные муравьишки везде и повсюду

систематически вымогают мзду и делают «подношения» своим начальникам. Им платят деньги и торговцы, и ремесленники, и владельцы фабрик, и таксисты. Не остаются в стороне ни бары, ни каучуковые плантации, ни гостиницы, ни общежития, ни ремонтные мастерские... Правитель, сидящий на вершине пирамиды, урвав львиную часть дохода, остаток раздает приближенным. Последние вознаграждают своих подчиненных, и в конце концов кое-что перепадает и тем, кто копошится у основания пирамиды. Расточительность, унаследованная от предков, - мера величия властителя.

С конца пятидесятых годов система коррупции в какой-то мере приспособилась к новым условиям. Бьющее в глаза богатство уже не в моде: оно вызывает зависть, а не восхищение. Студенты протестуют, назойливые писаки из газет засыпают вопросами. Правда, коррупция никуда не исчезла. Она лишь стала менее заметной. Один из самых крупных доходов — наркотики: борьбой с наркоманией и с нелегальной торговлей наркотиками подчас занимаются как раз те люди, которые извлекают из этого барыши.

Безусловно, не все таиландские полицейские - взяточники и бездари. Кроме отряда полиции капитана Прасада в Чиангмае действуют молчаливые, энергичные парни с неприметными лицами; с одним из таких парней мне посчастливилось встретиться на следующий день.

О хороших не говорят

— Откуда вам известно мое имя?

Майкл Пауэрс — мускулистый, черноволосый — сложил на груди руки и смерил меня подозрительным взглядом, как бы ожидая, что я смешаюсь. Вопрос был вполне логичный. У входа в пятиэтажный дом в центре Чиангмая среди имен квартиросъемщиков не было таблички учреждения, которое он представлял. Лишь несколько посвященных знают адрес и телефон местного отделения Американского бюро по борьбе с наркотиками. Обыкновенная с виду дверь на пятом этаже хорошо защищена: надежный замок, да еще и цепочка изнутри. После того как я позвонил, меня долго изучало через глазок невидимое око. Открылась дверь тоже не совсем обычным способом: человек, стоящий за ней, резко дернул ручку и отскочил за угол прихожей — на случай, если на пороге окажется гость с автоматом. Наверное, это уже не раз спасало жизнь хозяину квартиры.

— Не удивляйтесь. Привычка. Чиангмай — небезопасный город,— засмеялся американец с оттенком горечи, потом провел меня в большое помещение и усадил в кресло. Помещение представляло собой нечто среднее между жилой комнатой и рабочим кабинетом. На столе из светлого дерева — телефон, пишущая машинка; рядом со столом узкий металлический шкаф — картотека. Из соседней комнаты выглянула немолодая темноволосая женщина, окинула меня безразличным взглядом и прикрыла дверь.

Я объяснил Пауэрсу, кто меня к нему направил (это был мой знакомый из аппарата ООН). Он слегка усмехнулся, видно, до конца мне не поверил, ибо привык вообще никому не доверять.

— Чем могу быть полезен?— спросил он.

— Не смогли бы вы ответить на несколько вопросов?

— Не ручаюсь, что смогу,— сдержанно ответил он.

Я не строил никаких иллюзий насчет того, почему один из лучших агентов по борьбе с наркотиками во всей Юго-Восточной Азии согласился меня принять: причина тут — подозрительность. Он явно хотел выведать, что я за птица. Не новый ли это трюк в сложной игре контрабандистов и торговцев наркотическими ядами? Его интересовало, что мне известно: а вдруг он случайно услышит от меня что-нибудь, о чем до сих пор не подозревал. Ведь и его ремесло — информация, хотя поступал он с ней совсем не по-репортерски.

Трудность заключалась в том, что ничего конкретного я сообщить не мог.

— Как повлияла на мировой рынок засуха в «золотом треугольнике»? — начал я издалека, чтобы выиграть время.

— Ситуация быстро меняется. Два засушливых года подряд, и продуктивность «золотого треугольника» снизилась на треть. Все повышаясь в цене, героин из Юго-Восточной Азии утратил конкурентоспособность. Если засуха продлится, рынок будет разваливаться и дальше. Все зависит от дождей,— объяснял он с отсутствующим видом. Чтобы больше походить на журналиста, я вывел в блокноте несколько каракулей.

— К концу войны во Вьетнаме «золотой треугольник» стал главным поставщиком наркотиков в Соединенные Штаты. Каков процент их потребления в Америке сегодня? Потребления наркотиков, связанных с этим регионом?

— По нашим подсчетам, примерно треть, но эта цифра постоянно меняется. Теперь все больше выращенных здесь наркотиков находит сбыт непосредственно в Юго-Восточной Азии. В самом Таиланде примерно 600 тысяч наркоманов. В Малайзии — 200 тысяч. Число их постоянно растет и в Бирме, которая прежде была не слишком затронута наркоманией. Добавьте еще Гонконг — главный центр опиумной торговли на Дальнем Востоке,— объяснял он, ничем не выдавая своей скуки, ибо подобной информацией ему приходилось делиться нередко.

У меня появилось неприятное ощущение. Я понимал, что прекращать расспросы нельзя, иначе беседа застрянет на мертвой точке. Но как расспрашивать тайного агента о работе, которая должна оставаться в тайне?

— Послужило ли ужесточение наказаний за торговлю наркотиками достаточным предостережением?

— Едва ли. Опыт показывает, что введение или отмена смертных казней никак не отражается на количестве тяжких преступлений. Несколько дней назад я вернулся из Малайзии, где свиде-

тельствовал на суде против четырех торговцев героином. Всем был вынесен смертный приговор. Но не думаю, что это хоть как-то решит проблему наркотиков в Малайзии.

— Среди осужденных были и иностранцы?

— Все четверо — китайцы.— Расхаживая по комнате, он ни разу не повернулся ко мне спиной. Интересно, что бы он сделал, если бы я вдруг сунул руку в карман? Сомневаюсь, что я успел бы ее вынуть. У него были крепкие бицепсы и тренированное тело человека, жизнь которого слишком часто зависела от быстроты реакции. Очевидно, он нарочно усадил меня сюда: человек, погруженный в мягкое вольтеровское кресло, зажат со всех сторон и не способен ни быстро вскочить, ни выстрелить или метнуть нож.

Тут я про себя усмехнулся. Напридумаешь, чего и нет! Но потом вспомнил драматические обстоятельства своего появления, которые в иных условиях смахивали бы на дешевый спектакль.. С этого парня не спускают глаз десятки отлично обученных убийц. Отчего бы ему и не подозревать меня?

— А сколько европейцев, американцев и австралийцев сидят в Чиангмае в тюрьме?

— Точно не скажу. Четверо или пятеро американцев, несколько австралийцев, три испанца, три итальянца, два-три француза. Судя по тому, сколько их арестовал я сам, пожалуй, больше пятнадцати,— сказал он, словно речь шла о курах. Я уже догадывался, каков он в деле: у него были повадки человека спокойного, решительного и хладнокровного, полагающегося исключительно на самого себя.

— Вчера я слышал жалобы на корыстолюбие таиландской полиции, которая дала возможность ряду крупных торговцев наркотиками скрыться за соответствующую мзду.

— К сожалению, такое случается,— флегматично подтвердил он.

— Вы не испытываете горечи, видя, как виновный уходит от наказания?

Но из равновесия вывести его было не так-то просто.

— Я стараюсь сотрудничать лишь с теми таиландскими чиновниками, которых нельзя подкупить,— спокойно объяснил он. Опыт явно научил его, что в Азии не имеет смысла поддаваться чувству гнева. Возмущением ничего не добьешься, только вызовешь раздражение местных властей.

— Каким образом осужденный на десять лет может бесследно исчезнуть из тюрьмы? И как после его побега удается приостановить следствие?— задал я новый вопрос.

— Из тюрьмы не бегут. Чаще всего таких людей выпускают по решению суда, не сумевшего установить их вину. Свидетели вдруг меняют показания, а порой исчезают и сами вещественные доказательства. Причем для подкупа может хватить и ста долларов,— заметил он.

— Вся ли торговля героином в «золотом треугольнике» находится в руках китайцев из бывшей армии Чан Кайши или в ней принимают участие и другие гангстерские организации?

— Главари Объединенной шанской армии — китайцы, чаще всего уроженцы Таиланда или Бирмы. Большинство химиков в лабораториях, производящих героин,— из Гонконга. Посредничают китайцы и в международной торговле.

— А на каком этапе в нее включаются американские или корсиканские гангстеры?

— Во всяком случае, уже за пределами Азии, если не принимать в расчет курьеров. Но те в основном не профессионалы.— Торговля наркотиками в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке по-прежнему остается в руках китайских тайных организаций.

— Мне представляется, что роль их возрастает и в Амстердаме, Гамбурге, Сан-Франциско,— заметил я.

— И в Нью-Йорке,— добавил он, помрачнев.

— А вам не кажется, что вы пытаетесь втащить огромный валун на крутую гору? Количество наркоманов в мире неудержимо растет, но преступники всегда хоть на шаг да опережают представителей закона. Не охватывает ли вас порой чувство безнадежности, когда вы видите, сколько виновных остаются безнаказанными, сколько лабораторий, вырабатывающих героин, спокойно продолжают функционировать по другую сторону бирманской границы, сколько миллионеров насмехаются над законом?— Я попытался перейти на более доверительный тон.

— Если бы меня охватило чувство безнадежности, я бы оставил свое дело.

— А где сейчас находится Лао Су, один из крупнейших торговцев наркотиками? После побега из камеры смертников он что, поселился в Таиланде?

— Нет. Он живет в Бирме, в Долане, неподалеку от границы.

— И продолжает торговать наркотиками?

— Да,— буркнул он.

— Как вы представляете себе будущее «золотого треугольника»? Удастся ли когда-нибудь полностью ликвидировать здесь торговлю наркотиками?— Если он скрывает свои эмоции, попытаюсь выведать хотя бы его взгляды. Но и тут я не преуспел.

— Я не ясновидец. Я полицейский. Моя обязанность — преследовать и брать под арест тех, кто торгует наркотиками. Я не занимаюсь никакими иными преступлениями — ни уголовными, ни политическими,— резко ответил он. Так и не удалось определить, прозвучала ли в его словах хоть малая доля сарказма. Мне было не до размышлений. В момент, когда я не найдусь о чем спросить, разговор будет закончен.

— Я хотел бы встретиться с генералом Туаном Шн Вэнем, командующим бывшими гоминьдановскими частями в Таиланде. Вы не знаете, как его найти?

— Опасаюсь, что генерал будет с вами не очень-то откровенен.

— Неважно. Даже предлог, под которым он откажет мне в беседе, поведает о многом. Где бы я мог его найти?

— В гробу. Генерал Туан уже месяц как мертв. Его похороны состоятся через семь дней в Мэсалонге.

Я сжал губы. Трудно было с большей наглядностью продемонстрировать свою неосведомленность. Как партнер я перестал для него существовать.

— А попасть на похороны можно?— спросил я, чтобы выиграть время.

— Не знаю. Совсем еще недавно этим распоряжалась таиландская армия.

— А сейчас?

— На ваш вопрос здесь, в Чиангмае, могли бы ответить в штабе 04,— равнодушно произнес он.

— Попытаюсь узнать,— кивнул я, а про себя подумал, что военных-то мне и нужно больше всего опасаться. Вот уж с кем я не хотел бы делиться своими планами. В подобных ситуациях я всегда придерживаюсь принципа: кто много спрашивает, мало узнает. На прямую просьбу о поездке на север мне почти наверняка ответили бы отказом. А потом в случае затруднений я не мог бы даже сослаться на свое неведение, мол, не понимаю, что я такого сделал?

— Вы не рассказали бы мне какую-нибудь историю, относящуюся к последнему времени? – Я все еще не терял надежды разговорить его.

— Нет. Я принципиально не рассказываю журналистам о своей работе.

— Как вы считаете, неужели вся таиландская полиция продажна? Ведь впечатление может быть обманчивым — замечают только худших.

— Вот именно. О хороших не говорят,— не без горечи согласился он. Я понял, что нечаянно затронул больной вопрос.

После подавления крупных демонстраций в шестидесятых годах американская полиция служит мишенью для критики, газеты охотно пишут об отдельных случаях жестокости и подкупности полицейских. Но ведь и полицейский — человек, и он хочет, чтобы его любили.

— Газеты приводят только дурные примеры — посетовал он и, словно устыдившись своей откровенности, вернулся к заданному мной вопросу. Теперь он разговаривал уже почти по-человечески:— Я не могу сообщить вам, сколько именно в таиландской полиции продажных людей. С обыкновенными полицейскими я просто не встречаюсь. Я работаю один, на свой страх и риск. Но с уверенностью могу сказать: ныне система борьбы с наркотиками в Таиланде намного действенней, чем пять лет назад. Наши таиландские коллеги стали гораздо последовательнее. Многому научились. И неудивительно. У одного меня за плечами тринадцать лет службы — в Соединенных Штатах, в Малайзии, в Лаосе, в Марселе. Разумеется, я стараюсь по возможности передать им свой опыт, иначе работа не имела бы смысла. Кроме того, в ряде посольств сидят чрезвычайно опытные чиновники, подготовленные специально для борьбы с распространением наркотиков — из Дании, Франции, двое — из Италии, австралийцы... Присутствие стольких опытных людей не может не сказаться.

Он говорил убежденно. Это был суровый, обстрелянный детектив, ежедневно подвергавший свою жизнь опасности не ради денег или собственного удовольствия,— о приключениях мечтает двадцатилетний юноша, а в его возрасте уже начинают ценить покой. Это был полицейский телом и душой. Однако и он не терял надежды.

Провожая меня, он вновь резко распахнул дверь и глянул за угол, готовый отскочить при первом же подозрительном шорохе.

Но за дверью никого не было. В тот день — еще не было.

Красные маки

— Вы знакомы с Майклом Пауэрсом? Он правда говорил с вами?— удивился Наронг Суфанапиам, директор проекта ООН по развитию земледелия в горных районах Таиланда.— Майкл достоин уважения. Это один из лучших агентов по борьбе с наркотиками в Юго-Восточной Азии. Узнали от него что-нибудь интересное?

— Он сообщил мне, что наркотики — серьезная проблема,— засмеялся я.

— И не ошибся!— горячо согласился Наронг Суфанапиам.

Меня не очень-то радовало, что я столкнулся именно с ним. Дик Манн, в прошлом миссионер, а ныне первоклассный специалист по земледелию, к которому я имел рекомендацию из Бангкока, наверняка говорил бы со мной откровеннее. Увы, он уехал в отпуск — очевидно, недолюбливал сезон дождей. Дик — американец, владеет языком каренов и полудюжиной других горских диалектов. Он не подчинен таиландскому правительству, а Наронг Суфанапиам, хотя бы как директор проекта, должен быть наполовину политиком. Программа помощи горским племенам возникла в 1971 году как совместная акция ООН и правительства Таиланда. Цель этой программы — предложить горцам сельскохозяйственные культуры, которые они могли бы выращивать вместо мака. Я не слишком понимал, каков характер этой организации, быть может скорее престижной, чем действенной.

— В разговоре с Майклом Пауэрсом я испытывал смешанные чувства,— заметил я деловым тоном.— Я не сомневаюсь в его способностях. Но будь я на его месте, временами я испытывал бы ощущение безнадежности.

— Разумеется! — воскликнул директор.— Наркотики — проблема, касающаяся не только полиции. Полицейским ее никогда не решить.

Кто же ее решит? — спросил я.— Вы?

— Надеюсь, нам удастся по мере сил способствовать этому,— осторожно ответил он.

— Пока будут добывать опий, всегда

найдутся торговцы, которые захотят его покупать. Высокие прибыли заглушают страх,— продолжал я.

Он живо закивал.

— Именно поэтому маковые посадки нельзя уничтожить путем запретов. Успех полицейских акций ограничен. Пока земледельцы в «золотом треугольнике» не обретут другой возможности зарабатывать на жизнь, они будут защищать свои маковые поля с оружием в руках. По одну лишь таиландскую сторону границы в плачевных, все ухудшающихся условиях живет около полумиллиона горцев. Перенаселение налицо, а плодородной земли становится все меньше и меньше.

— Но ведь выращивать мак запрещено! — простодушно заметил я.

Директор даже не удостоил меня улыбки.

— В горах опий — самая выгодная сельскохозяйственная культура. Кроме того, это единственное, что можно продать. Для растений, которые произрастают в низменных местностях, там слишком суровый климат. Рис не выдерживает — в зимние ночи температура падает до каких-нибудь пяти градусов. Что же еще выращивать горским племенам?

Вопрос меня удивил:

— Бобовые, засухоустойчивый рис, хлеб. Живут же люди в других частях света с таким же климатом!

Его вздох мог выражать и согласие и беспомощность.

— Крошечные поля, возникшие там, где выжгли леса, не могут прокормить всех. Но допустим, что в некоторых деревнях и образовались бы излишки продуктов питания. Что они с ними будут делать?

Вопрос показался мне странным.

— Продавать.

— Кому?

— Соседям, которые голодают.

— А чем голодающие заплатят? — спросил он насмешливо. Я предпочел сделать вид, будто не слышал вопроса, но постарался его запомнить.

— Почему бы им не вывозить излишки на базар?

— В горах почти нет дорог. Через два-три года урожайность почвы на выжженных участках леса падает настолько, что там уже ничего нельзя сеять. Деревня переселяется. Кое-где, пожалуй, не так уж и трудно вырастить лишний мешок фасоли. Труднее нести его на спине пятьдесят километров по джунглям.

— Можно нанять мулов,— не сдавался я.

— Можно. Но тогда расходы по доставке поглотят прибыль,— терпеливо объяснял он мне основы «маковой» экономики.

— Да ведь и опий требует доставки.

— Опий при бездорожье — идеальный продукт. Годовой урожай уместится в одном небольшом мешке. К тому же крестьянам не приходится заботиться о сбыте. Торговцы сами придут к ним с мулами и заплатят приличную цену. Станет ли голодный крестьянин отказываться?

— А он не боится наказания?

— Голод сильнее страха. Кроме того, крестьяне не видят в выращивании мака ничего предосудительного. С незапамятных времен опий служит им универсальным лекарством. Они пользуются опием при болях в желудке и воспалении надкостницы. Опий способен остановить расстройство кишечника и разогнать печаль, он необходим старикам во время бессонных ночей... Зачем же отказывать другим в утешении, которое они сами так ценят? А потому запрет на выращивание опия для жителей гор, не привыкших к дисциплине, кажется непонятным и бессмысленным.

— Вы пытались их убедить? — спросил я с невинным видом. Если он и заметил скрытый укол, то ничем этого не обнаружил.

— Сумел ли кто-нибудь убедить американцев в пору сухого закона в тридцатые годы, что спиртное вредно? Алкоголь — тоже наркотик, он пагубно действует на мозг, вообще на здоровье, входит в привычку. И все же сухой закон повсеместно нарушался... Контрабанда спиртного из-за границы и тайное его производство только породили организованную преступность. Что ж, повторять подобные ошибки?

На такой аргумент не возразишь. Видно, к нему не раз уже прибегали.

Директор перегнулся через роскошный письменный стол из красного дерева.

— Без опия некоторые горные деревни перемерли бы с голоду,— объяснил он.— А если бы кто и прокормился, то уж купить горшки, мотыги, одежду им все равно было бы не на что.

— Нужда заставила бы горцев спуститься в долины, где почва урожайнее. В конце концов так оно и будет. Это происходит во всем мире,— продолжал я спорить скорее по инерции.

Наронг Суфанапнам покачал головой:

— Нет. Только в горах эти племена и могут сохранить свой язык и культуру. Внизу они растворились бы среди тайцев. Тропическая низменность с ее жарой подорвала бы их здоровье, обессилила, лишила корней и в конце концов полностью бы их уничтожила. Они это сознают и потому никогда не покинут свои горы. Разве жители Европы переселились бы в долину реки Конго?

«Ни за что на свете!» — подумал я.

— Делает ли правительство Таиланда попытки как-то ограничить производство опия? Ведь цветущий мак прекрасно виден с воздуха!

— Мы считаем законными посевы не более чем на нескольких арах, где мак выращивается для собственных нужд. Если же поле слишком велико, мы доставляем туда косарей с косами,— рассказывал он с явной неохотой.

— Такие косари получают особую плату за риск? Или надевают бронированные жилеты?

— Разумеется, их сопровождает вооруженный конвой,— сдержанно ответил директор, подтвердив таким образом слухи о небольших боях, которые порой завязываются на севере, когда горцы ре-

шают с оружием в руках охранять свой мак. Вот почему полиция не любит подобных акций.

— Отчего бы вам вместо кос не прибегнуть к обработке с воздуха? — пришло мне в голову.

Он неопределенно глянул в окно, сложил руки «домиком» и оперся на них лбом. Казалось, он ведет немой диалог со своим письменным столом.

— Что можем мы предложить горцам взамен мака? Неужели голодать? — снова повторил он свой риторический вопрос.

Да, мир героина — это не только гангстеры, но еще и бедные крестьяне. Это не только богатство мафиози, но и нищета. Если бы правительство Таиланда в борьбе с опием перешло к слишком крутым мерам, в населенных национальными меньшинствами горах — как это не раз бывало в прошлом — вспыхнуло бы восстание. Под давлением международной общественности правительство пытается создать видимость бескомпромиссной борьбы с наркотиками, но предпринимает лишь самые минимальные меры. Оно не пойдет на риск — вызвать восстание в горах ради спасения наркоманов в Нью-Йорке или опустившихся людей в Амстердаме от гибели, к которой они сами стремятся. Прежде в Таиланде нужно найти для горцев замену опия.

Но такие поиски могут затянуться надолго.

Алиби на столе генерала

Господин Нароиг Суфанапиам заявил, что наркотики — не «полицейская проблема». Я сомневался, согласится ли с подобным утверждением полиция, которая, вероятно, на всех географических широтах убеждена в своей незаменимости. Прошло три дня после разговора с Майклом Пауэрсом, а я все еще оставался в Чиангмае.

Я уже знал, что дата похорон одного из крупнейших торговцев наркотиками должна остаться в тайне. Отнюдь не случайно упоминание о кончине генерала Туана со значительным опозданием появилось лишь в гоконгском еженедельнике «Фар Истерн экономик ревью» и занимало не более трех строк. Таиландские газеты сообщение не перепечатали: никто не стремился напоминать о пребывании в стране бывших гоминьдановских частей. Имеет ли смысл отправляться на север, размышлял я, в места, скорее всего контролируемые не только таиландской армией, но и самими контрабандистами, поставляющими наркотики? Шансы на успех были ничтожны. Возможно ли вообще, чтобы иностранец проник в лагеря «личных» войсковых частей?

В момент, когда нам чего-то не хочется, мы легко находим доводы в свое оправдание. Перспектива рискованного путешествия в горы меня не вдохновляла. И все-таки я решил оставить для себя лазейку. Господин Нароиг Суфанапиам рекомендовал мне, как, впрочем, и всем навещавшим его журналистам, посетить музей полиции. В отличие от своих предшественников я туда пошел. Дело в том, что я собирался запастись в Управлении пограничной стражи не только информацией.

— Приходите завтра в десять,— приветливо закончил телефонный разговор капитан Суват Пхирарукса.

— Что вы будете, чай или кофе?

— Кофе.

Капитан Суват, человек лет сорока, с коротко остриженными волосами, повернулся к ординарцу и заказал две чашки кофе.

— Генерал просит вас написать заявление и указать, что вам нужно от пограничной полиции. Будьте любезны, сообщите в нем все свои данные, а также — с кем вы в Таиланде встречались и кто вас рекомендует. Пожалуйста, не опускайте никаких подробностей,— добавил он сладким голосом, не объяснив, зачем генералу столь подробные сведения.

— Да мне всего лишь хотелось бы осмотреть музей полиции,— удивленно произнес я.

— Господин генерал и на это должен дать согласие,— с упорным видом возразил капитан. Верно, пустые формальности любят везде.

— Не проще ли изложить просьбу лично? Мне хватило бы и пятн минут,— пытался я настоять на своем.

— Нет, нет, господин,— ответил он тоном хорошо вымуштрованного лакея,— генерал не выразил желания говорить с вами.

Я пожал плечами. Думаю, отдавая такое приказание, генерал не хотел меня обидеть, но любой человек, кроме полицейского, на моем месте оскорбился бы.

— У вас есть пишущая машинка с латинским шрифтом?

— Нет, господин, вам придется писать от руки.- Его голос звучал куда менее приветливо, чем по телефону.

Следующие десять минут я писал послание начальнику пограничной полиции, который сидел в соседнем помещении, с пафосом убеждая его, что наркотики не знают границ. Это невидимое зло угрожает всему миру. Необходимо, чтобы мы (он и я) объединились в борьбе с ним. Только так мы сможем спасти цивилизацию.

Я не строил ни малейших иллюзий насчет того, что письмо произведет впечатление. В стране бесконечных военных путчей любой генерал — прирожденный политик. А политик не верит не только чужим, но даже собственным словам.

— Пожалуйста, подождите ответа здесь,— сказал капитан и ушел.

Ожидание затягивалось. Незнакомый генерал медлил с решением. От скуки я отогнул крайнюю штору. И увидел стенд с фотографиями.

На старых фотографиях были запечатлены вертолеты, садящиеся на лесных полянах, и полицейские с разинутыми ртами возле мешков с опием-сырцом. Только простак примет такие снимки за доказательство непримиримой борьбы таиландской полиции с производителями наркотиков. В действительности уничтожение тайной лаборатории означает не больший успех, чем арест мелкого перекупщика на улицах Франкфурта.

— Я получил разрешение показать вам музей,— победоносно объявил капитан Суват и кликнул солдата. Тот раздвинул шторы. На стене висели графики, карты, фотографии — обычная смесь банальностей и самовосхваления. Героическая полиция — явствовало из них — побеждает на всех фронтах.

— Сколько опия вы конфисковали в прошлом году?

— Около тысячи килограммов,— гордо ответил капитан

— Это не так уж много,— заметил я.— Сколько лабораторий, по мнению полиции, продолжает действовать в «золотом треугольнике»?

— Здесь обозначены лаборатории, в которых, по нашим сведениям, вырабатывают героин,— оживился капитан, указывая на карту, помеченную мелкими значками

На карте было три вида обозначений: кружки, квадратики и треугольники. На таиландской стороне границы были разбросаны треугольники. Кружки заполняли бирманское пограничье, причем в некоторых местах скопились так густо, что почти сливались.

— Это лаборатории, уничтоженные полицией? — спросил я.

— Нет. Мы можем уничтожить их только на своей территории,— хмуро ответил капитан,— остальные действуют в Бирме.

— А в Таиланде новые лаборатории больше не возникают?

— Нет,— самоуверенно заявил капитан.

— Это на вашей карте или в действительности? — решил пошутить я.

Капитан посмотрел на меня как на некую разновидность назойливого насекомого и не ответил.

— Куда девается опий и героин, который вы отбираете у контрабандистов?

— Мы пересылаем их в Бангкок.— Мой вопрос ему явно не понравился.

— Самолетом?

— Нет. Поездом Иногда автомашиной.

— А что с ними делают в Бангкоке?

— Не знаю. Это уж не наша забота. Какое-то время держат на складе, потом, скорее всего, уничтожают.

Оба мы знали, что демонстративное сожжение конфискованных наркотиков на какой-нибудь большой площади в Бангкоке — лишь ничего не значащий жест Многие журналисты подозревают, что в бумажные коробки обитые бензином, вместо наркотиков напихивают обыкновенное сено.

— Сколько опия выращено в прошлом году в районе «золотого треугольника»? — На этот стереотипный вопрос я еще ни разу не получил однозначного ответа.

— Производство опия-сырца в странах «золотого треугольника» распределяется примерно так Таиланд — 1/7, Лаос — 2/7, Бирма — 4/7.

— Опий из Лаоса и сейчас еще поступает в Таиланд?

— Наверняка сказать трудно. Полагаем, что какие-то партии опия к нам оттуда и попадают, но, вероятно, без ведома тамошних властей. Часть опия-сырца доставляется из южного Китая.

— Вы в этом уверены? — спросил я. Подобные заявления время от времени мелькают в мировой печати, но пока что никому не удалось это доказать.

— Не знаю, беззаботно заявил капитан.— По крайней мере, так утверждают некоторые наши источники.

Мне незачем было спрашивать, кто это утверждает. Китайцы — бывшие гоминьдановские солдаты, после поражения бежавшие в Бирму,— имели немало причин ненавидеть свою прежнюю родину. Однако это не слишком веское доказательство.

— При встречах с караванами опия бывают и перестрелки? — спросил я.

— Не люблю стрелять. Я склонен укреплять законность мирными средствами.— улыбнулся капитан. В его лице я даже уловил нечто вполне человеческое.

— Но при переходе границы караваны контрабандистов порой имеют пятикратный численный перевес над вашими патрулями.

— Мы стреляем только при самообороне.

— И часто вам приходится защищаться?

Он поколебался:

— Не без того.

— Могу ли я принять участие в поисковом полете вашего вертолета? — поинтересовался я.

— Опасаюсь, что из этого ничего не выйдет,— ответил капитан Суват вежливым тоном, каким в Таиланде обычно отказывают в просьбе

— А присоединиться к сторожевому патрулю в пограничной области?

— И это не выйдет

Когда в Таиланд прилетели репортеры из «Штерна», командование пограничной полиции решилось ради них атаковать на вертолетах караваи мулов с опием. Несколько тысяч долларов, розданных в качестве «гонорара» за интересную информацию явно оказались убедительным аргументом. Налет не удался. Едва завидев тень приближающегося вертолета, контрабандисты разбежались, однако репортеры нашли в джунглях лабораторию по очистке героина — разумеется, без химиков, которые, как всегда, деликатно удалились.

Мы попрощались. С подозрением поглядывая на меня, капитан объяснил, как кратчайшим путем дойти до ворот, да еще справился по телефону дошел ли я туда

Несмотря на видимую неудачу, этим посещением я добился своего: оно обеспечивало мне алиби на случай, если в горах у меня возникнет какой-нибудь инцидент с полицией. Мое письмо, где было сказано о намерении туда отправиться, как-никак лежало теперь на столе у генерала.

Только генерал не сумел его правильно прочесть.

(Продолжение следует)

Отклики, встречи, впечатления

ПАВЕЛ МЕДВЕДОВСКИЙ

ДЖОВАННИ ПИРЕЛЛИ — ПАРТИЗАН, АНТИФАШИСТ, ПИСАТЕЛЬ

На моей книжной полке стоят несколько томиков Джованни Пирелли, в секретере — стопка его писем. Это вроде бы все, что сохранилось у меня от итальянского друга, нелепо погибшего в автомобильной катастрофе. Нет, не все. Остались встречи в Риме, Москве, Милане, беседы и дискуссии. Остались теплые чувства к этому незаурядному человеку с необычной судьбой.

Познакомились мы весной пятидесятого года в доме одного римского промышленника, проявлявшего интерес к торговле с Советским Союзом. За столом оказались соседями и разговорились. Пирелли, видимо, хотелось послушать, что и как скажет «совьетико», мне было любопытно узнать, что представляет собой этот молодой итальянец, носящий громкую фамилию «резиновых королей». К тому же выяснилось, что мы почти одногодки и участники войны.

Когда мы вышли на улицу, Пирелли оседлал ярко красный мотоцикл и лихо нырнул в поток мотороллеров, наводнявших в ту пору Вечный город.

Через несколько дней разговор был продолжен в траттории близ Тибра, куда Пирелли прикатил на своем красном красавце.

О чем говорили мы тогда? Конечно, о войне, которая еще давала о себе знать. О мире, обернувшемся «холодной войной». О жизни в наших странах. Это был разговор стержневой, один из тех, что определяют отношения между людьми на будущее.

Рассказал Пирелли и о себе. Его история была настолько неординарной, что невольно подумалось: вот готовый сюжет для романа. Во всяком случае, на стандартные биографические полочки она не укладывалась.

Родился он в 1918 году. Детство, отрочество и юность, как пишется подчас, были безоблачными. Будущее? Оно было предопределено: ведь Пирелли — это не только фамилия его предков, но и символ крупнейшей фирмы по производству резины, кабеля и автопокрышек.

Студенческие годы в Миланском католическом университете, более или менее усердные посещения лекций по вопросам экономики. Идеалы? Они, конечно, входили в его духовный «багаж»: он был искренне убежден не только в их возвышенности, но и в совместимости с черной рубашкой, которая висела у него в шкафу. Объявление войны встретил с энтузиазмом и был уверен, что армия дуче выиграет ее с ходу.

Дальше все замелькало, как в кадрах кинохроники. Вокзал. Жонглирует булавой тамбурмажор. Оркестр чеканит походный марш. Перо на форменной шляпе, блики на сапогах. Трогается поезд. Молодой офицер альпийских стрелков едет на греческий фронт завоевывать славу.

На войне с ним произошло нечто ужасное. Нет, он не струсил. Просто на него обрушилась, как снежная лавина с албанских гор, правда мертвой и живой жизни. Правда войны. Какие там, к черту, картинные баталии, о которых он мечтал, когда все вокруг было антигероично и подло: коррупция и бездарность командования, пренебрежение к солдатам, бессмысленная гибель людей. (Позже он описал все это в повести «Энтузиаст», переведенной на русский язык — не затерявшейся в ряду произведений итальянского неореализма, посвященных войне.)

Поначалу ему казалось, что еще не поздно что-то подправить, призвать к ответу

виновных. Память подсказывала готовые клише из речей дуче. Но чем больше он сравнивал эти словесные побрякушки с окружающей действительностью, тем отчетливее понимал, что все дело в фашизме. Как ни крути, вывод был один: жизнь и фашизм несовместимы, фашизм — это враг.

Он нашел способ вернуться в Италию. Установил связь с движением Сопротивления. В ряды партизан вступил новый боец под фамилией Пьятти, от прошлого в этой фамилии осталась лишь первая буква.

Освободительную войну против нацифашистов Пирелли закончил комиссаром 90-й бригады имени Гарибальди. Эта часть его рассказа была нарочито краткой. «Прекрасное и счастливое было время» — сказал он. Справедливости ради приведу цитату из пожелтевшей «Униты», где подчеркивалось, что комиссаром Пирелли стал «благодаря своей политической подготовке и доблести, проявленной в сражениях».

Что было потом? Связи с семьей сохранил, но жить стал своим трудом.

...В тратторию заходит бродячий певец с гитарой. Как старый знакомый здоровается с Пирелли, спрашивает, что тому хотелось бы послушать. Исполняет на различных диалектах невеселые народные песни. Узнав, что здесь находится «совьетико», поет знаменитую «Катюшу», Пирелли в такт постукивает тонкими пальцами по грубому деревянному столу.

Внешне он походил на спортсмена: высокий, худощавый, подтянутый, с чеканными чертами энергичного лица. Но ключ к этому человеку был, несомненно, в его глазах. Они то искрились, то непримиримо сверкали, то в них прыгал веселый огонек. Лишь равнодушными я их не видел.

История знает немало случаев, когда молодые люди по разным причинам отказывались от богатства и бросали вызов своему классу. Один из них шли до конца дорогой борьбы за свободу и справедливость, оставляя по себе добрую память. Были, однако, примеры другого рода, когда «герои-на-час» не выдерживали трудностей и бесследно растворялись в житейском море...

Жили мы близко друг от друга в римском районе Трастевере (Затибровье), обитатели которого испокон веков горделиво величают себя «романи де Рома»— истинными римлянами.

— Нам повезло,— шутил по этому поводу Пирелли,— москвич и миланец без всяких усилий попали в славную когорту чистопробных римлян.

Пирелли не скрывал своего намерения стать писателем. Профессию эту он считал трудной: на одном даровании далеко не уедешь. Без убежденности в своей правоте, без серьезной идеи, говорил он, стоящего произведения не создать. Он не любил снобистские словопрения о «свободе» искусства, отзывался о них презрительно.

Что в ту пору в этом человеке бросалось в глаза? Жажда жизни и активной деятельности. Его притягивал письменный стол, нравился запах типографских гранок, но замыкаться в четырех стенах кабинета — это было не в его характере.

Колебаний в выборе своей главной темы он не испытывал — она была связана с его жизнью. Он видел, как под различными вывесками собирают силы наследники Муссолини, как пытаются они опутать молодежь сетями лжи и демагогии. Фашизм он знал, что называется, изнутри и считал своим долгом противопоставить ему идеалы Сопротивления, духовное превосходство борцов за свободу. Ездил по стране, собирал документы итальянской истории: письма участников движения Сопротивления, приговоренных фашистами к смерти.

Последние письма перед казнью борцов против фашизма... Будь то высокие думы о Родине или обращение к матери, прощальные наставления женам и детям — за каждой строкой прочитывалась вера в справедливость дела, за которое они шли на смерть. Была в этих письмах и очевидная связь с прошлым Италии, с традициями ее народа, веками боровшегося с поработителями. От них тянулись нити и к правдолюбцам, гордо восходившим на костры инквизиции. Но ощущения безысходного отчаяния эти документы не оставляли: участники движения Сопротивления хорошо знали о победах Красной Армии над немецко-фашистскими полчищами.

Мы не раз возвращались в беседах с Пирелли к этой его работе, которая завершилась книгой «Письма участников итальянского движения Сопротивления, приговоренных к смерти». Итальянская общественность высоко оценила сборник — завещание антифашистов, призыв не допустить повторения прошлого. Однако Пирелли считал, что тема далеко не исчерпана. Он задумал продолжить свои разыскания, собрать и издать свидетельства участников европейского движения Сопротивления. Он говорил, что особое значение придает письмам советских партизан и подпольщиков, которые обессмертили себя в борьбе с фашизмом. Речь шла и о том, чтобы московские организации помогли ему в получении необходимых материалов.

Томас Манн, написавший в 1954 году предисловие к книге «Письма приговоренных к смерти участников движения Сопротивления в Европе», назвал ее памятником-предостережением против опасности возрождения фашизма и новой войны. Участники Сопротивления не напрасно отдали свои жизни, писал он.

Проходят годы, десятилетия, оба эти сборника — итоги благородного труда Джованни Пирелли — по-прежнему сражаются с фашизмом. В Италии справедливо считают, что они занимают достойное место среди самых значительных изданий послевоенного времени.

...Иногда мы встречались у него дома — в скромной римской квартире на Джаникколо.

Жена Пирелли, Маринелла,— симпатичная светловолосая итальянка с севера — в отличие от Джованни казалась спокойной и уравновешенной.

— Мой идейный наставник,— подтрунивал над ней Джованни,— Маринелла — член компартии, а я — социалист. Можешь себе представить, какие дискуссии ведутся у нас дома, хотя пакт о единстве действий в целом соблюдается.

Педагог по профессии, Маринелла увлекалась рисованием, иллюстрировала школьные учебники.

Как-то она показала свои наброски к новой книге Джованни. «Это будет современная сказка для детей»,— пояснил Пирелли.

Пирелли рассказал, что давно вынашивает этот замысел. Он хорошо помнил, какими идейками пичкали детей при фашизме. В основу воспитания был положен девиз: «Верить, повиноваться, сражаться». Детям постоянно вдалбливали что они должны денно и нощно благодарить дуче за то, что он «спас Италию от беспорядков и большевизма»

Поддерживать и укреплять стремление детей к счастью, дружбе и солидарности — вот что необходимо в наше время, говорил Пирелли.

Эта сказка-повесть об итальянском мальчике Джованнино и его не слишком верной приятельнице блохе Пульчерозе была переведена и издана в Москве. В предисловии к ней, написанном в 1956 году после посещения Советского Союза, Джованни Пирелли обращался к советским детям: «...у итальянского мальчика Джованнино есть свои трудности, которых нет у вас и о которых вы даже не знаете. Он вырос в стране, где еще существует много несправедливости и эгоизма, где каждый ценой трудного, порой мучительного опыта должен завоевать право на дружбу и солидарность... Я надеюсь, что, прочтя книгу, вы полюбите Джованнино так же, как после окончания моего путешествия я полюбил вас, юные советские друзья. Знать, любить и понимать друг друга — это очень важно».

В тот свой приезд в Москву Пирелли с большим интересом знакомился с жизнью нашей страны. Он никогда не судил людей «по одежке», его всегда интересовал их духовный облик, характер, устремления.

Резюмируя перед отъездом свои впечатления, он сказал мне: «Я уезжаю домой вашим искренним другом».

Со своей семьей он, как я говорил выше не порывал, но от класса, к которому некогда принадлежал, отошел окончательно. Немалую роль сыграл здесь тот эксперимент, который он осуществил в первый послевоенный период. Джованни поступил тогда на службу на один из миланских заводов фирмы «Пирелли», где занимался вопросами организации труда. Изо дня в день он внимательно наблюдал за жизнью цеха, отношениями между рабочими и администрацией, иными словами — между трудом и капиталом. Среди рабочих было немало бывших партизан. Он знал, что встретится здесь с ними. (В его повести «Болезнь командира Гракха» герой-партизан без колебаний направляется после войны в рабочий Милан.)

Не по нутру пришлась Пирелли работа на акционеров фирмы. Во взглядах бывших партизан, своих товарищей, он не раз читал вопрос: «С кем же ты сегодня, комиссар?»

Эксперимент его принес пользу. Был собран богатый жизненный материал. В 1958 году Пирелли опубликовал роман публицистического характера с неброским, но обратившим на себя внимание заголовком: «По поводу одной машины». (Перевод опубликован в «Иностранной литературе» в 1968 г., № 6, 7.) Несмотря на очевидные изменения, которые произошли в итальянской промышленности вследствие научно-технической революции, отношения между рабочими и капиталистами остались такими же, как и раньше. Главное «действующее лицо» романа — современная машина — символизирует собой новые социальные проблемы, пришедшие с передовой технологией. Рабочие выступают не против машины как таковой, а против тех сил, которые за ней стоят,— так определила итальянская прогрессивная критика основную идею романа

Симпатии Пирелли полностью отданы рабочим. Он считает несправедливыми и антигуманными условия их труда и жизни и полностью оправдывает их борьбу с хозяевами.

Читателю запомнились рабочий-коммунист Маркантонио Инверницци, в прошлом партизан, талантливая профсоюзная активистка Гаваццн и другие. Это политически зрелые люди, которых волнуют не только экономические вопросы, но и будущее страны.

Маркантонио Инверницци обеспокоен угрозой фашизма: «Как я посмотрю, дело идет опять к фашизму. Не к тому шутовскому, что был раньше, а похитрее — к современному».

Что было в этих словах, только ли обостренное восприятие действий и угроз со стороны фашистских „молодчиков из «итальянского социального движения»? Нет, дело обстояло сложнее. Пирелли, хорошо знающий обстановку «по ту сторону машины», выводит на сцену генерального директора крупного промышленного объединения, доктора Сику который следующим образом излагает свое кредо: «Это башковитое чудовище Маркс разработал исчерпывающую теорию о причинах, побуждающих авангард рабочего класса вести разрушительную борьбу и о целях этой борьбы. А мы вместо анализа фактов и единой концепции противопоставили ей всякую мистику, вроде свободной инициативы, социальной справедливости, равных возможностей для всех и каждого и прочее и прочее...»

Чутье не обмануло Джованни Пирелли. В годы, последовавшие за событиями, описанными в его романе, итальянские неофашисты, поддержанные реакционными кругами буржуазии, не раз пытались подготовить государственный переворот.

...Пирелли перебрался с семьей из Рима в город Варезе, под Миланом, и мы стали видеться реже.

В 1964 году в Милан впервые прибыл на гастроли Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии под руководством Б. А. Александрова. Пирелли проявил живой интерес к этому событию.

— Милан,— рассуждал он,— по части искусства город избалованный. Думаю, однако, что ваших артистов примут здесь хорошо. Не только потому, что ансамбль Александрова — это крупное явление в искусстве, но и потому, что миланцы не забыли о роли Советской Армии в прошлой войне.

И он оказался прав. На премьере во Дворце спорта триумф был полный. Куда только девалось пресловутое спокойствие ломбардцев, бурно выражавших свое одобрение.

После премьеры Пирелли прислал мне любопытное письмо: «В течение двух часов моя семья испытывала полное счастье. Это

был яркий спектакль, вызывающий восторг, волнение, радость. Мои ребятишки наполнили дом лихими танцами и песнями, которые, по их мнению, повторяли репертуар ансамбля...»

Чем занимался Пирелли в последние годы? Круг его интересов был широким — тут и редакторская и культурная деятельность, и научные изыскания в области истории освободительного движения угнетенных народов. По-прежнему он часто покидал свой кабинет, окунаясь в гущу актуальных событий. Его хорошо знали в Алжире, в странах черной Африки как бескорыстного поборника идей национальной независимости. Борьбе алжирского народа за независимость была посвящена его документальная книга «Письма об алжирской революции».

Для итальянских «здравомыслящих» обывателей он был и остался непонятным человеком. Им казалось, что ему давно пора бы угомониться, ну писал бы свои романы, что ли... А он все чего-то ищет.

В печати Пирелли сравнивали с другим выходцем из крупной итальянской буржуазии — издателем Фельтринелли вокруг имени которого всегда было много шума. Фельтринелли поражал воображение обывателя то скандальными издательскими авантюрами, когда он наживал миллионы то участием в подпольной и террористической деятельности левацких экстремистских группировок (в конце концов это стоило ему жизни). О нем говорили что он все время хотел кому-то доказать, что он — выдающаяся личность

Джованни Пирелли не любил шума и рекламы. Все, что он делал, отражало цельность его натуры. И неизменную верность раз и навсегда избранному жизненному пути..

В газетах я прочел, что 4 апреля 1973 года его прах перевезли из больницы в Дом Ассоциации итальянских партизан — АНПИ. Прощальное слово на похоронах произнес Раймондо Риччи — президент АНПИ. Рядом с близкими у могилы стояли боевые товарищи и друзья партизана антифашиста, писателя Джованни Пирелли.

Не так давно я побывал в городе Комо, он находится недалеко от Милана Его жители, принимавшие активное участие в движении Сопротивления, задумали и осуществили благородное дело соорудили монумент, посвященный освободительной борьбе против нацизма и фашизма Они не замкнулись в границах родного города и подумали о всей Европе, о ее страданиях в прошлой войне, о будущем без войн. На металлических шатрах монумента выгравированы на разных языках, в том числе на русском, письма — завещания павших борцов.

Критика

ИЗ БЕСЕД В РЕДАКЦИИ

ГОЛОС АВТОРА И ПРОБЛЕМЫ РОМАНА

О некоторых особенностях современной западной прозы

Часть I

Д. ЗАТОНСКИЙ. «Задача современного романиста,— писал Алехо Карпентьер в книге «Мы искали и нашли себя»,— изображать этот мир, этот маленький мир, этот огромный мир. Его задача — найти общий язык с ним, с этим сражающимся народом, критиковать его, восхвалять его изображать его, любить его, стараться его понять, говорить с ним, говорить о нем показывать его, раскрыть его глубину, его ошибки, его величие и его несчастья, рассказывать о нем еще и еще тем, кто сидит у края дороги в ожидании неизвестно чего, может быть, и ничего не ожидая, но нуждаясь в том, чтобы им сказали что-нибудь, сдвинули их с места. Такова, по моему мнению, роль современного романиста. Такова его социальная роль».

«...Этот маленький мир, этот большой мир...» — говорит Карпентьер. «Маленький» потому, что нет в нем больше места для амбиций, угрожающих уничтожением роду людскому; «огромный» потому, что он прекрасен, разнообразен — и увы! — устрашающе противоречив.

Карпентьер побуждает писателя занять позицию: стать на сторону народа, на сторону человечества, единого перед лицом своих трагедий и своих надежд. Иллюзия, будто писателю мыслимо быть просто художником и пребывать над схваткой, давно развеяна. И Карпентьер обращается к романисту, иными словами, к писателю как художнику. Оттого, возможно, совсем не по недосмотру слову «позиция» предпочитает он слово «роль» — авторскую роль, которая есть форма реализации писательской позиции.

На искусство XX века, на его пути и перепутья можно смотреть под разными углами зрения. Единым взглядом весь процесс не охватишь, так что целесообразнее поискать для нашего разговора некий специальный ракурс; однако из тех, что обеспечивают максимальную широту обзора. Сосредоточить внимание на авторской роли — значит, по-моему, найти такой ракурс. Нам ведь желательно поразмыслить над литературой современного Запада как над общественным явлением и явлением художественным. Ибо слишком долго нас уговаривали глядеть на искусство как на прямую реализацию прогрессивной темы, передовой идеи, то есть все-таки как на публицистику, лишь ярче рядящуюся в красоты стиля, в сюжетность, а то и в метафоричность. Думается, новое мышление, пробивающее себе сегодня дорогу, предполагает (помимо всего прочего) возвращение искусству его исконных обязанностей и прав: быть духовным учителем жизни, будучи одновременно творчеством, памятующим о собственных внутренних законах. В соотношениях между авторской позицией и авторской ролью как раз и заключена подобная «одновременность», ибо соотношения эти — один из нервов, по которым бегут к искусству важнейшие импульсы эпохи. В смене авторских ролей своеобразно преломляются смены эпох литературных и эпох исторических.

Авторская роль — капля, которую можно использовать в качестве модели моря, но лишь при определенных условиях. Чуть ли не важнейшее из них—ясно отдать себе отчет в том, что есть р о л ь, а что — п о з и ц и я, где они сходятся и где расходятся.

К проблемам терминологии я в общем отношусь довольно спокойно. По-моему, вещи мыслимо называть разными именами, лишь бы была уверенность, что в каждом данном случае в них вкладывается один

ЗАТОНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род в 1922 г.)

Советский критик и литературовед, член-корреспондент АН УССР, доктор филологических наук, член международной Ассоциации литературных критиков. Автор книг «Век XX. Заметки о литературной форме на Западе» (1961), «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1965), «Искусство романа и XX век» (1973), «Зеркала искусства» (1975), «В наше время» (1979), «Европейские реалисты XIX века. Линии и лики» (1984), «Австрийская литература в XX столетии» (1985) и др.

и тот же смысл. Если на этот счет сразу не условиться, возникают недоразумения. Чтобы беспредметных споров по возможности избежать, обращусь все-таки к терминам.

В «Вопросах литературы» (1985, № 9) напечатана статья Карена Степаняна «Приговор мысли». Она посвящена вопросу, который Степанян считает кардинальным для искусства XX столетия — авторской позиции. В начале статьи речь идет об изучении «форм и средств выражения авторской позиции», что естественно и оттого понятно. Но под конец взгляд на обозначаемое явление некоторым образом смещается (может быть, и для самого критика неприметно). Дело в том, что на всем протяжении статьи Степанян, говоря «авторская позиция», чаще имеет в виду нечто иное, а именно «авторскую роль».

Порой он и сам приближается к осознанию своего терминологического дуализма. Например, когда упоминает о литературе, «экспериментировавшей с авторскими «ролями» и «масками». Но почему-то считает ее насквозь модернистской. Оттого авторская роль видится Степаняну чем-то сомнительным. Он считает «более точным называть субъекта повествования в художественной прозе «повествователем», а не «автором». Но что же такое «повествователь» как не авторская роль, как не способ выражения авторской позиции?

Смешение авторской п о з и ц и и с авторской р о л ь ю — явление, нередко встречающееся в нашей критике. Спору нет, то и другое между собою связано. «Позиция» обусловливает «роль» (или, вернее, «роли»), так или иначе диктует последней ее конкретные воплощения. Но воплощения эти внешне могут ничем не напоминать позицию, даже как бы ей противоречить. Ведь они не повторения, не копии ее, а ее образы. И относятся к ней как форма к содержанию, то есть диалектически, соблюдая зависимость, но и сохраняя свободу.

Авторская позиция есть категория мировоззренческая. Это — писательское понимание и толкование жизни, мира, себя в этом мире. Она не только круто замешена на идеологии; она и есть сама идеология. Но в романе, пьесе, стихотворении не поддается выделению в химически чистом виде. Разве что в публицистической статье романиста, драматурга, поэта (да и тут «химическая чистота» несколько условна). У человека (тем более если человек этот, будучи писателем, берется что-то рассказывать другим) не может не быть своего взгляда на окружающую жизнь, собственного суждения о том, что в ней хорошо, а что плохо. Некогда прославленный немецкий комик Вернер Кроль изобразил диктора радио, читающего метеосводку. «Завтра вообще не будет никакой погоды»,— вещал кролевский диктор, и зал хохотал. Наверное, не менее смешно представить себе полное отсутствие авторской позиции. Она может быть вредной, ошибочной, наивной, противоречивой, неясной, пассивной, только не никакой.

Теперь об авторской роли. Она принадлежит сфере поэтики, и можно было бы, например, сказать, что именно она не дает авторской позиции до конца обнажить свое идеологическое лицо. Но это никак не ведущая ее функция, а лишь нечто производное от функции и вправду ведущей, иными словами х у д о ж е с т в е н н о й.

Еще Энгельс, в письме к Маргарет Гаркнесс, возражал против голой тенденциозности в искусстве. Чем прямее, узнаваемее авторская позиция отражается в авторской роли, тем более «голой» оказывается тенденция. Количество переходит в качество: сначала перед нами публицистика (может быть, даже высокого полета), затем, когда некая граница уже позади, вообще не литература. Это, однако, отнюдь не значит, будто нарастание опосредования, «неузнаваемости» в отношениях между позицией и ролью — всегда благо. Да, до определенного предела художественный элемент в этом случае тоже способен нарастать. Затем нить, связывающая позицию с ролью, неизбежно рвется. Образы прекращают друг с другом взаимодействовать, их напряжение, точно в дырявом шланге, падает до нуля, крайности сходятся: перед нами опять-таки не литература.

Образность, метафорика, иносказание — не самоцель, но в равной мере и не украшение идеи, не изящная для нее упаковка; они — форма ее существования, вне которой она прекратила бы быть идеей художественной, поэтической.

Борис Сучков указал на «осознанный историзм» как на одну из определяющих черт социалистического реализма. «Осознанность» — это, пожалуй, ключевое слово для всего современного реалистического искусства. В ходе революционной перестройки планеты, начавшейся с 1917 года, возросла глубина писательского проникновения в окружающую действительность, в суть управляющих ею общественных законов. Естественно, что все это просто не может не способствовать определенности, четкости авторской позиции. Далеко не всегда она проявляет себя открыто и явно,— скажем, в виде гражданственного пафоса произведения. Нередко активизация авторской позиции сказывается на оформлении авторской роли весьма неожиданно, почти непредсказуемо. Взять хотя бы такое характерное для литературы первой половины нашего столетия явление, как «исчезновение автора». Мыслимо ли его согласовать с подъемом авторской активности? На первый взгляд нет. Тем более если к тому же еще дурно различать позицию и роль автора. Стоит, однако, принять в расчет и это различие, и специфичность искусства в целом, как задача перестанет казаться столь уж неразрешимой: повествователь, не афиширующий свою личность, скрывающийся за спинами персонажей, растворяющийся в объективности действия, впишется в художественную систему эпохи.

«Исчезающий автор» не обязательно отрицает автора активного. Но «исчезающий автор» — роль, а активный — позиция. Роль автора, как и всякая р о л ь (то есть нечто уже по природе своей связанное со зрелищем, театром),— в известном смысле условность, в некотором роде «игра». Есть у Чехова рассказ под названием «Гусев». Заглавный герой его служил на Дальнем Востоке в дешицках, потом заболел, был уволен в бессрочный отпуск и теперь, возвращаясь на родину, плывет вокруг всего света в Одессу. Гусева качает на лазарет-

ной койке в духоте и тесноте; он тоскует по своей деревне, беседует с больными на соседних койках, смотрит, как они играют в карты или умирают. Через некоторое время Гусев и сам умирает. «Его зашивают в парусину и, чтобы он стал тяжелее, кладут вместе с ним два железных колосника».

Рассказ написан в третьем лице, но как бы из перспективы героя: мы видим и слышим лишь то, что он мог увидеть или услышать, нам открыты лишь его мысли и сны. Это сообщает повествованию определенную тональность; в нем нет и тени протеста, потому что так принимает сущее Гусев: наивно и с бесконечным терпением. Однако контраст, разлад между его непротивлением и тем что с ним и другими происходит, делает свое дело. Читатель закрывает книгу с сознанием немыслимости такой жизни.

Пока все великолепно (недаром рассказ в свое время потряс Вирджинию Вулф), но можно бы сказать обыкновенно. Необыкновенное начинается со смертью Гусева. Того, чьими глазами Чехов смотрит на мир, уже нет, и однако: «Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажен восемь—десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уже несется в сторону быстрее, чем вниз». И тут появляется акула: «Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов».

Кто все это рассказывает? Проще всего признать в рассказчике всеведущего автора, ибо никто иной не способен проникать взглядом в океанские глубины. Но почему так необычен этот взгляд, почему так личей? Почему манера видеть и говорить ничем не отличается от той, что окрашивает весь прежний текст, то есть от манеры «гусевской»? Будто сам Гусев глядит со стороны на свое погружение и на вспарывающую парусину акулу...

Чехов как бы «играет» с читателем в такую немыслимую возможность. Но это «игра» в высшей степени содержательная: без нее не было бы великолепного, переворачивающего душу рассказа. Посмертную одиссею Гусева *нельзя* было не показать — она венчает всю здешнюю бессмысленность, и ее *нельзя* было показать в другом ключе. На скрещении двух запретов и родилась «игра», жертвующая правдоподобием во имя художественной правды.

Зазор между авторской позицией и авторской ролью делает литературу искусством, искусством слова. Конечно, не только он, но он не в последнюю очередь, а, может, нередко и в первую. Поэтому *роль* так существенна и так показательна. В ее характере, его изменениях проглядывают особенности того или иного периода в национальной и мировой литературе, даже целой литературной эпохи. Потому, чтобы лучше понять период или эпоху, бывает не лишним взглянуть на них сквозь призму наиболее для данного времени специфичных авторских ролей.

В романе Л. Велеса де Гевары «Хромой бес» (1641) дьявол поднимает крыши домов и показывает студенту дону Клеофасу скрытую жизнь Мадрида, всю ее грязь и фальшь. Это — наивное и до предела наглядное утверждение авторского права на всеведение. Бальзак уже не был столь наивным и столь в наивности этой «наглядным», когда в «Человеческой комедии» снимал черепные коробки персонажей и проникал в тайники их мыслей, желаний, страстей. Но в чем он еще подобен сочинителю «Хромого беса», так это в безразличии к тому, сочтут ли такое всеведение возможным, оправдают ли его с логической точки зрения.

Всеведение — это, конечно же, авторская роль. С точки зрения поэтики она ничуть не лучше и не хуже отсутствия всеведения. Но каждая из этих ролей отнюдь не беспричинна. Причины могут быть частными, локальными (то есть связанными с конкретной целью конкретного произведения), и они могут быть более общими, обусловленными всем духом времени. Дух XIX века — особенно начиная с 30—40-х его годов — нацеливал литературу на всеведение.

Великая французская революция и наполеоновские войны привели Европу в движение, беспримерное по своим темпам. Ломался вековой феодальный уклад, власть переходила в руки нового класса — буржуазии,— пока кровно заинтересованного в социальных переменах, в успехах промышленной революции, в прогрессе науки. Это не могло не повлиять на самосознание человечества: казалось, все богатства, все тайны мира ему доступны; иди и бери их, постигай их. Бальзак так и пытался делать. «Главное для писателя...— твердил он,— воспроизводить черты грандиозного облика своего века...»; «я отражу все общество в своей голове!» Берясь за такую задачу, и правда, следовало *знать все* или, по крайней мере, верить, будто все знаешь.

Итак, всеведение — роль, однако, как видим, не безразличная к позиции, даже диктуемая ею. Бальзаковская позиция и бальзаковская роль всеведущего автора необычайно близки друг к другу. Но это не та близость, которая порождает публицистичность или тем паче лишает искусство его специфики. Бальзак играет свою роль почти бессознательно, убежденный в том, что просто следует писательскому предназначению. Он из тех художников, которых принято именовать «естественными гениями». В нем это никак не от простоты, не от бесконфликтности, а от той великой — именно естественной! — внутренней гармонии, которая присуща всякому классическому искусству. И не случайно реализм Бальзака чуть ли не повсеместно признан *классическим*.

Иначе это выглядит уже у Флобера: автор для него подобен богу, и ему надлежит быть столь же вездесущим и столь же невидимым. Флобер как будто не покусился на всеведение. Более того, он строже определил авторское амплуа, с одной стороны, его расширив («бог», как известно, понятие беспредельное), а с другой — подчинив некоей системе правил. Тем самым, как ни парадоксально, Флобер поставил всеведению границы. В том хотя бы

смысле поставил, что, ничуть не отрывая от своей писательской позиции, признал его ролью.

Дальше — больше. В «Войне и мире» помимо традиционной фигуры всеведущего автора перед читателем все чаще (особенно под конец) появляется фигура самого Льва Николаевича Толстого, прямого носителя Позиции. Флобер, в соответствии со своей поэтикой, фигуру эту не принял. Он писал Тургеневу о «Войне и мире»: «Это первоклассно. Какой живописец и какой психолог! Первые два тома — г р а н д и о з н ы; но третий — ужасный спад Он повторяется, мудрствует. Словом, уже начинаешь видеть самого этого господина, автора, русского, а до тех пор были Природа и Человечество». Столкнулись не только разные взгляды на искусство, но, возможно, и разные его эпохи: выступив собственной персоной, Толстой (пусть и не было это его специальной целью) ясно дал понять, что тот всеведущий автор, который, по Флоберу — «Природа и Человечество», не что иное, как р о л ь. Это не делает его хуже, но и не делает лучше; это лишь подрывает веру в безграничность авторского всеведения

А Достоевский хотя и говаривал о «непогрешающем авторе», существенно урезал власть последнего, как бы уравнял в правах его голос с голосами героев, «перенес, — по мысли Бахтина, — автора и рассказчика со всею совокупностью их точек зрения и даваемых ими описаний, характеристик и определений героя в кругозор самого героя...». Возможно, Бахтин и не вполне взял здесь в расчет, что такой перенос — условность, тоже в некотором роде разыгрывание ролей. Как бы там ни было, Достоевский продолжал расшатывание принципа, казавшегося кое-кому незыблемым.

В XX веке как-то вдруг стало очень важным, кто и как рассказывает ту историю, что заполняет собой роман или повесть И еще стало почти дурным тоном нарушать единство повествовательной перспективы. Современные писатели, легко ломающие множество устоявшихся литературных правил, создающие тысячи новых условностей, с этой условностью мириться не пожелали Рассказчику надлежит быть индивидуализированным; нередко его наделяют конкретным житейским опытом, даже вполне реальной биографией. А главное, он всегда ограничен в добывании информации чисто человеческими возможностями: видит лишь то что может увидать, знает лишь то, что может узнать

Правда, следы такого подхода к авторскому предназначению встречались и ранее. Битва при Ватерлоо выглядит в «Пармской обители» Стендаля беспорядочным нагромождением странных событий, потому что описана такой, какой видит ее герой, тогда почти мальчик.

Проще всего было бы сказать, что все заветы и запреты XX века, касающиеся авторской роли, родились на обломках всеведения. Но сказать проще — не всегда значит правильнее. Да, современного рассказчика никак не совместишь со всеведущим автором. Но несовместимы они лишь на уровне ролей, не на уровне позиций. Позиции же эпохальных изменений не претерпели. Всеведение и сейчас остается «тайным идеалом», даже практической целью писателей-реалистов. Конечно, если на сей раз разуметь под «всеведением» не роль, а полноту писательского знания и готовность им с нами делиться. Разве, например, Томас Манн или Фолкнер не способны поведать о своем мире столько же, сколько Бальзак или Диккенс о своем? Но по-иному.

Повествователь ныне — обыкновенный человек. Хромой бес ему не споспешествует, он лишен способности быть одновременно повсюду, все видеть и все знать. Так что доводится прибегать к ухищрениям — формальным, композиционным, психологическим,— чтобы, не нарушая некоей достоверности, поведать обо всем, о чем поведать нужно И в «Игре в бисер» Гессе или в «Докторе Фаусте» Томаса Манна один персонаж пересказывает жизнь другого, в «Иметь и не иметь» Хемингуэя слово попеременно передается разным рассказчикам в «Шуме и ярости» Фолкнера образ действительности строится из перспективы нескольких героев, а в «Осени патриарха» Габриэля Гарсиа Маркеса — за счет скрещивания многих противоречивых точек зрения, имитирующих сознание коллективное. И даже там, где сочинитель довольствуется, казалось бы, привычными, традиционными повествовательными приемами («просто» рассказом от первого лица или лица третьего), на деле они не привычны, не традиционны и уж совсем не просты. Третье лицо — это скрытое первое, а первое, напротив,— форма весьма сложно складываемого всеведения...

Однако к чему все это? Не лучше, не естественнее ли писать так, как писали старые мастера? Но ведь и в их манере присутствовал элемент «игры», правда уже примелькавшейся освященной временем. Так что умерим в себе раздражение и постараемся понять, что же, собственно, произошло и происходит

«Условность, позволявшая в XIX веке сказать: «он подумал», основывалась на шкале ценностей, которая допускала веру в существование объективной действительности. Когда эта шкала ценностей рухнула, фраза «он подумал» оказалась пустой и невыносимой условностью. Отсюда необходимость сказать: «я подумал», и эта фраза точно отвечает нынешней концепции действительности.. »— так еще более четверти века назад писал Альберто Моравиа. И нечто похожее сказал примерно в те же годы Ханс Эрих Носсак: «Собственная правда в современном мире есть единственная правда. Признаться себе в этом — своего рода революционный акт. Формой современной литературы может быть только монолог. Только он отражает состояние человека потерявшегося в чаще абстрактных правд». Оба высказывания элегичны, от них веет чем-то пессимистическим, кризисным Но я выбрал их потому, что они ясиее многих других указывают на непосредственность связи между формами рассказывания (или если угодно, авторской ролью) и современной писателю общественной ситуацией. Если связь видел Моравиа, полагая, будто вера «в существование объективной действительности» в XX веке ис паряется, если ее видел Носсак, считая,

будто новейший человек заблудился «в чаще абстрактных правд», то не значит ли это, что такая связь — непреложная истина? Наличие связи и интересует меня сейчас в первую очередь, а оценка мира и места искусства в нем, оценка, данная Носсаком и Моравиа, интересует пока во вторую.

XX век — время величайших противоречий и время величайших свершений. Разрушительнейшие войны и грандиознейшая революция. Фашистские шабаши и социалистическое строительство. Монополизация капитализма и крах колониальной системы. Угроза термоядерного Апокалипсиса и перспектива освобождения всего человечества. Громкие научно-технические победы и демографический взрыв. Зачин космической эры и тревожные проблемы экологии. Таков лик столетия — светлый и одновременно трагический. Ведь столетие наше — детище перехода, наверное самого знаменательного в истории Земли.

Свершения сказались на самосознании современников: несравненно расширился кругозор, углубилось постижение закономерностей. Однако на сей раз все это не породило ощущения легкой доступности богатств и тайн сущего. Не столько из-за «отрезвляющих» умы трагедий (их и в XIX веке хватило), сколько благодаря более диалектическому осмыслению всего исторического опыта.

Взять хотя бы область естественных наук. В XIX веке могло казаться, будто стоит сделать еще один, еще два шага — и все фундаментальное, самое важное будет открыто. Теперь ни для кого не секрет, что мир воистину бесконечен: ни звезды нельзя пересчитать, ни элементарные частицы. В таких условиях не только знать все, а и делать вид, будто знаешь, немыслимо.

Удивительно ли, что новейший писатель, как правило, более не расположен играть роль всеведущего автора? Начинают преобладать художественные структуры лирического, субъективного свойства. На передний план выдвигается личность, либо та, что повествует, либо та, о которой повествуется. Эту тенденцию современного литературного процесса объясняют по-разиому. Для одних она негативная, субъективистская, упадочная, свидетельствующая о растерянности, об утрате ориентиров. Другие связывают ее с усилением интереса к глубинам человеческой психологии. Третьи — с тем, что человек в условиях перехода от капитализма к социализму во все большей степени становится мерой всех вещей. Каждое из объяснений по-своему резонно.

Немало писателей капитулировало перед контрастами и сложностями современной жизни — особенно на Западе, где противоречия достигают белого накала. Такому писателю представляется, будто все вокруг рушится, все, кроме собственного «я», и он, по словам Натали Саррот, «открыто и честно говорит лишь о самом себе». Однако сегодня никто уже, наверное, не станет искать здесь главную причину лиризма новейшей прозы: слишком он распространился, слишком глубоко проник в пределы отнюдь не декадентские. Оттого интерес к психологии, к внутреннему миру человека — объяснение более универсальное.

Вообще какой-то одной причины не существует. Брать их следует в комплексе, не упуская, однако, из виду, что рост субъективного начала не только цель художественных исканий, но и средство к достижению цели. Ведь выходящий на просцениум индивид — ничуть не менее достойная роль, чем всеведущий автор.

В лучших литературных произведениях нашей эпохи индивид не застит собою горизонт, не заслоняет действительность. Напротив, собирает ее, точно оптический фокус, преломляет и тем выражает. Такие произведения столь же объективны, как и романы классиков XIX века, просто объективны они по-иному. Их материал организуется ролью, так сказать, приличествующей моменту. Так не значит ли это, что, познав авторскую роль, мы легче постигнем суть исторического момента, глубже проникнем в особенности современного нам искусства?

Взяв слово первым, я стремился очертить суть проблемы и потому скупился на примеры. Надеюсь, коллеги будут в этом смысле более щедрыми. Тема трудна, неоднозначна, и ее плодотворное обсуждение требует усилий литературоведов многих и разных.

•

Г. ЗЛОБИН. Хотелось бы начать с того, что практически любая литературная конвенция, любая условность современным читателем принимается, можно сказать, безусловно. Мы настолько привыкли к разнообразию форм манер, голосов в прозе, что, читая, часто не замечаем, как она сделана — особенно если это хорошая проза. Мы научились принимать «правила игры», предложенные автором. С момента публикации «Шума и ярости» Фолкнера я не слышал слишком уж громких жалоб на трудное чтение.

Вспоминаю, как тридцать лет назад Тамара Лазаревна Мотылева вела занятия в Литинституте и настойчиво внушала нам брехтовскую мысль, что реализм — это не вопрос формы. Сказано, пожалуй, чересчур категорично, с полемическим преувеличением. Однако определенный резон в этом высказывании есть. Если же продолжить мысль Брехта, то допустимо сказать и так: литература, настоящая литература — это тоже не вопрос формы.

Нам же, кто читает литературу профессионально, пытается ее постичь и о ней писать,— нам на таком, общем уровне останавливаться нельзя. Проблема техники, технологии, наконец, психологии, творчества должна занимать нас всегда. У меня нет убежденности, что наша критика умеет как следует вскрывать содержательность формы.

Справедлива посылка Дмитрия Владимировича Затонского: роль автора в повество-

---

ЗЛОБИН ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1927 г.) Советский литературный критик, переводчик. Автор книг «Современная драматургия США. Критический очерк» (1965, 1968), «По ту сторону мечты. Страницы американской литературы XX в.» (1985) и многих статей по проблемам зарубежной литературы. В его переводе публиковались произведения Э. По, Дж. Лондона, Дж. Голсуорси, Т. Уильямса и других англоязычных писателей

вании не тождественна позиции автора. Это разные вещи. Вместе с тем, думается, что они неразделимы. Они состоят в динамичных и диалектических отношениях. Одно переходит в другое, а то в свою очередь возвращается в первое.

Мне кажется также, что исчезновение автора в нынешней прозе — мнимое исчезновение. То есть мы реже слышим его прямой голос, он реже является нам в роли всеведущего хозяина повествования. Однако автор всегда присутствует в тексте, если не открыто, то косвенно. Он выражает себя, свое понимание вещей, свою п о з и ц и ю через ролевые функции, через структурные элементы произведения, от композиции до стилистических нюансов.

Ограничусь областью наиболее близкой мне — американским романом.

Да, справедливо отмечено, что Фолкнер в «Шуме и ярости» дал три сознания, и приходится только удивляться, как он проникает в мыслительные процессы трех Компсонов. И все же, перечитывая написанное, Фолкнер понял недостаточность, неполноту картины — и написал четвертую часть. Она представляет собой образец традиционного «объективного» письма: «Бен замолчал... В столовой Дилси накрывала на стол... Послышались шаги спускающихся миссис Компсон и Джейсона». Эта часть соединяет три «точки зрения» единой линией авторского видения вещей.

Более сложна и интересна для анализа структура романа «По ком звонит колокол». Здесь многое держится на внутренних монологах Роберта Джордана. Многое, но не все! Мы не можем игнорировать мощный пласт прямого авторского рассказа в духе прозы XIX века: «Пока Роберт Джордан спал... Андрес медленно подвигался вперед». Точнее сказать, даже три пласта объективированного типа: происходящее здесь и сейчас, там и сейчас, там и тогда. Их прорезает совершенно иной, субъективированный пласт — самовыражение действующих лиц в их внутренней речи. Сами с собой говорят, спорят, убеждают себя старик Ансельмо, Гольц, даже фашистский лейтенант Беррендо, и в этом случае мы слышим чужую речь, чужую, пользуясь выражением Бахтина и д е о л о г и ю. Что до внутренних монологов Джордана, то замечательна их оркестровка, их разнообразие.

Богатство романных средств в «Колоколе» призвано в конечном счете создать чрезвычайную, четырехмерную реальность. Четвертое измерение — это измерение революции.

Говоря о художественных особенностях «Гроздьев гнева» Стейнбека, в первую очередь обращают внимание на переслаивающуюся композицию романа. Главы, где описывается одиссея Джоудов, строго чередуются с другими, которые сам Стейнбек назвал common chapters, то есть «общие», или «общинные» главы. Они несут ярко выраженное хоровое начало. В огромное множество голосов, сливающихся в голос народа, вплетает свой твердый и тревожный голос автор. Он не выше и не вне своих героев. Он тоже народ. Это растворение лирико-гражданственного элемента в массе — принципиальное художественное открытие писателя. Оно и делает роман народным эпосом.

Смело сводит быль и небыль, пережитое и придуманное, документ, автобиографический факт и вымысел Стайрон в романе «Выбор Софи». Если в конечном художественном сплаве кое-где видны трещины — издержки производства, то уж в новизне подхода к жанру и клокочущей злободневности писателю не отказать.

Грандиозный эксперимент с двумя типами художественного сознания, двумя способами романного отражения действительности, реалистическим и модернистско-массовым, и их нравственными результатами поставил Джон Гарднер и наглядно показал преимущество и неисчерпаемые возможности первого. При всем том «Осенний свет» — отнюдь не пособие по прозе, не упражнение, а увлекательный роман высшего класса. Пластика зримого образа органично соединяется в нем с психологическим портретом и безукоризненной причинной мотивировкой поведения персонажей.

Совсем иначе у Доктороу в «Гагарьем озере». Здесь перемешаны авторское письмо, рассказ от лица главного героя и его потоки сознания, внутренняя речь других действующих лиц, атрибутировать которую часто не удается. Недаром автору пришлось приложить к роману анкеты основных героев — без них сплошь и рядом не догадаешься, кто и когда говорит. Скользят и ускользают «точки зрения», и дела не спасают рационально-понятийные пассажи безличного Комментатора: «Приглашаю поразмыслить над таким фактом...» — они, пожалуй, даже усугубляют положение. Доктороу добивался глубины и многозначимости, а получилась подражательная множественность, ложная многозначительность.

Никуда, к сожалению, не «исчезает» автор и в недавнем романе Сола Беллоу «Декабрь у декана», повествующем о пребывании в Бухаресте руководителя факультета журналистики одного чикагского колледжа. Подчеркиваю — к сожалению, потому что эта вещь лауреата Нобелевской премии, как и его книги 70-х годов, буквально начинена затасканными антисоциалистическими идеями. Язык и слог в последней работе Беллоу еще раз подтверждают мнение, что он преуспел скорее в тезисе, чем в творчестве.

Любые эстетические правила пасуют перед комедией. За фейерверком острот и парадоксов, за розыгрышем и сменой масок иногда с трудом просматриваются поэтика и позиция, скажем, у Хеллера или Воннегута.

В романе Хеллера «Золото, а не человек» ведется откровенная игра темой и словом, игра веселая, насмешливая, местами азартная до злости. Ставка в этой игре высока: материал, профессиональное мастерство, мироощущение. Отказ Голда от карьеры означает возвращение к себе и своим. Поэтому роман не поддается разъятию на две части — удобную и неудобную. А такие попытки предпринимались и в критике и в практике.

Сколько написано о Воннегуте, и много, много верного, но вот мне лично не попадалось объяснение того, почему каждая его книга открывается прологом. Выходит, мы

берем произведение не в его целостности, а некими кусками. Как прологи соотносятся с основным массивом текста? В чем смысл автобиографических моментов в них? Не есть ли пролог — декларация намерений? Возникает много других «зачем» и «почему».

Два слова о документальном романе, где сама природа жанра сводит «авторскую роль» к минимуму. Возьму «Линкольна» Гора Видала. Важнейшая черта его поэтики — полное отсутствие внутренней речи главного героя — да и других тоже. В отличие от Толстого, который «знал», какие чувства испытывает Наполеон накануне Бородина, американский писатель «знает» о Линкольне только то, что засвидетельствовано документально. И говорит Линкольн в романе только то, что он говорил в жизни и что написано в его бумагах. Но несмотря на то, что Видал не прибегает к «историческому воображению», перед нами роман, и роман хороший — в отличие от Мейлера, у которого «Песнь палача» как роман, по-моему, не состоялась. Чем достиг Видал чисто художественного эффекта? Прежде всего умелым отбором и отличной организацией документального материала. За ней-то и различаешь гражданственную позицию писателя, зоркого наблюдателя и исследователя политических нравов в США.

Соглашусь, что в документальной книге Стадса Теркела «Хорошая война. Устная история второй мировой войны» есть изъян: некоторое самоустранение автора. Однако этот изъян покрывается сверхзадачей писателя. Он вел беседы с людьми о войне минувшей, а держал в уме другую, возможную, катастрофическую. Без этой перспективы — третьей мировой быть не должно — теркеловский том мало что значит.

Наш разговор идет в основном вокруг книг новейшего времени. Но я позволю себе обратить внимание на роман столетней давности — «Приключения Гекльберри Финна». В нем вроде бы нет и намека на присутствие автора. Рассказ целиком доверен полуграмотному мальчишке. И все-таки мы чувствуем, что переживает, говорит, действует не только Гек. Не только его глазами видим мы рассвет на реке или мещанское убранство дома Грэнджерфордов. Полное совпадение двух «видений» — твенова и гекова, слияния двух голосов — мужского и детского — вот оно, истинное новаторство и мастерство. Под пером Сэмюэла Клеменса литература США впервые заговорила языком простого народа и о таких вещах, над какими бьются и сегодняшние писатели. Если существует такое понятие — американская школа реализма,— то ее начало здесь, в этом шедевре.

Мне видится удивительный историко-культурный парадокс. В прежние времена, в старой и классической литературе, автор был полновластным и всезнающим хозяином текста, однако же, повествование текло по каким-то своим законам, по логике характеров и положений. В наше же время он отказался от роли демиурга, но и живых людей в литературе стало меньше.

Разнообразие форм романа XX века есть хотя бы частично свидетельство возросшего, нередко насильственного вторжения автора в текст, возросшей авторской воли и роли и — соответственно — своеволия. Этому есть, разумеется, историческое объяснение. Добавлю еще некоторые факторы: жгучее желание художника если не понять многотрудную и бурную современную эпоху и повлиять на ход вещей, то хотя бы приспособиться к эпохе, найти способ сосуществования с ней. Если не адекватно отобразить время, то хотя бы выразить себя во времени — иногда на грани истерии, иногда с олимпийским спокойствием, которое ни к чему не обязывает. Жажда самовыражения у западного писателя — это сопротивление силам стандартизации, наступлению техники и новейших средств коммуникации, засилию коммерции в культуре и искусстве, словом, сопротивление массовидности и обезличиванию. Если автор не хочет или не способен говорить с обществом, то он все равно испытывает потребность выйти из одиночного заключения внутри собственной шкуры — воспользуюсь выражением Теннесси Уильямса — и докричаться до другого узника.

Думаю, что всякий, кто достоин называться писателем, движим сейчас двумя идеями. Одна — это мысль о несовершенстве человеческого общежития и сообщества и об исторической возможности сделать этот мир лучше. Другая — опасение, как бы мир не перестал существовать и человеческая история не прекратилась вообще. Как знать, может быть, на стыке этих идей и родится Новое слово.

А. ЗВЕРЕВ. Проблема, которую мы обсуждаем, чрезвычайно интересна и важна. Голос автора, способы, позволяющие ему осуществить свою роль архитектора создаваемого им художественного мира,— все это как будто относится к области поэтики, но прав Дмитрий Владимирович Затонский, настаивая на том, что тут не обойтись без категорий мировоззренческих. Я бы только добавил, что не обойтись тут и без других категорий, связанных с историей идей и с меняющимся самосознанием личности.

Все мы воспитаны на реалистической классике, и по-своему естественно, что свои общие суждения об искусстве мы обычно формулируем, подразумевая прежде всего ее опыт, а конкретнее — великий русский роман прошлого века. Этот роман приучил нас к тому, что автор знает все. Для автора не должно быть тайн в том событии, которое он воссоздает. Для нас это эталон повествования.

Но такой эталон имеет историческую почву, хотя в художественном отношении он, конечно же, останется непревзойденным, как всякое действительно эпохальное свершение литературы. Мы воспринимаем всеведение как органическую норму творчества, хотя на самом деле это известного рода позиция. Не говорю уже о том, что в основе ее лежит не какая-то сверхгениальность, позволяющая «знать все» и относи-

---

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.)

Советский литературный критик, доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982), «Грустный солнечный мир Сарояна» (1982), многих статей по проблемам современной зарубежной литературы.

тельно хода Бородинского боя, и относительно переживаний Эммы Бовари. Нет, основывается эта позиция на определенном мироощущении и подкрепляется совершенно осознанной, предельно тщательной работой, нацеленной на конкретный творческий результат. А именно — на достижение эффекта всеведения.

Зачем он был нужен, какое отношение к действительности за ним стояло? Существует мнение, что в XX веке для художников Запада стало характерным ощущение метафизического одиночества, и оказалось невозможным исчерпывающее знание не то что о вселенной, но и об отдельном человеке. Мне думается, что это не совсем так, хотя бы по той причине, что подобные настроения возникли задолго до нашего времени

Их можно обнаружить даже у просветителей, хотя тогдашняя литература демонстрирует блестящие примеры авторского всеведения — достаточно упомянуть Филдинга или Дефо. Но упомянем о Дидро с его «Жаком-фаталистом». Перечитайте этот роман, он словно бы создан для нынешнего нашего разговора о позиции, роли автора, функциях и границах его осведомленности. При кажущейся простоте роман Дидро построен до того замысловатым способом, что читателю, закрывшему книгу, трудно освободиться от мысли о совершенной условности даже и азбучных истин насчет природы вещей. Нетипично для столь последовательного рационалиста, каким был Дидро? Может быть, и так. Но едва ли случайно.

Потому что писатель Дидро, в отличие от Дидро-философа, не мог не чувствовать некоторой ненадежности всех тех понятий, которыми мыслители Просвещения так логично и стройно объяснили прошлое, настоящее и грядущее, не мог не сознавать, что жизнь не укладывается в эту продуманную, безупречную и все-таки кабинетную систему ее интерпретации. Как идеолог Дидро давно принадлежит истории, как художник — многое может сказать даже сегодняшнему читателю

Ведь умонастроение, владевшее им, когда он писал «Жака-фаталиста», и в дальнейшем много раз давало себя почувствовать. Разве не обнаружим мы его у многих романтиков? Разве остался ему чужд Достоевский, и не то же ли самое недоверие к уверенным, строго логичным толкованиям человека побуждало его строить свои романы как накаленный спор героев-антагонистов, как полифонично организованный диалог сознаний, обладающих собственной, от автора не зависящей правотой?

Но Достоевский все равно был «всеведущим» автором в том смысле, что для него оставались непоколебимыми конечные истины о мире и о человеке — не те, что декларированы в «Дневнике писателя», а те, которые возникают как объективный художественный итог, подготовленный «многоголосием» его романов. Такими «всеведущими» художниками были и Пушкин, и Диккенс, и Толстой — люди в общем-то одной эпохи, очевидно заключавшей в себе необходимые предпосылки для того, чтобы не казалось насилием над реальностью это вот стремление познать и объяснить ее целиком, до конца.

Эта эпоха завершилась вместе с XIX столетием. Чехов в русской литературе, Генри Джеймс, Мопассан, Уайльд и все поколение, которое могло бы сказать о себе флоберовскими словами о «художниках перехода»,— в западной уже не соответствуют представлениям об авторе, «знающем все». У них иной взгляд на действительность и понимание художественной истины тоже иное. Переменившееся. Потребовавшее усложнения форм, в которых выражается присутствие автора, его направляющая воля.

По-моему, изменение роли автора не понять, если его не связывать с изменившейся духовной ситуацией, для которой в XX веке все более свойственна вынужденная скромность, когда речь идет о достижимой полноте познания мира в индивидуальном опыте. Позволю себе продолжить тезис Дмитрия Владимировича. Мы пережили невиданный расцвет науки, но наше столетие не выдвинуло своего Ломоносова, своего Леонардо — титанов, которые вот уж действительно и знали, и могли все. Мы были свидетелями колоссальных общественных сдвигов, до неузнаваемости перекроивших всю ту реальность, запечатленную литературой прошлого, мы далеко продвинулись по пути технического и материального прогресса. Но парадоксальным образом (хотя эти парадоксы давно объяснены) это не приблизило нас к реннесансному идеалу целостного, универсально и гармонично развитого человека. Тому самому идеалу, который, в сущности, и заключала в себе идея всеведения автора, его безграничной свободы в обращении с материалом.

Приходят на память строки из старых стихов Андрея Вознесенского:

> Ландау, погибший в косом лаборанте,
> встаньте.
> Коперник, погибший в Ландау гаванном,
> встаньте...

Есть очень много современных писателей, в которых вот тоже «погиб Коперник». Их за это, конечно, всего проще корить, но разумнее подумать о том, отчего это происходит почти с неизбежностью и в самом ли деле тут только утраты для искусства. Повторяя, что литература несвободна от меняющегося времени, давайте попытаемся придать этой истине не отвлеченное, а реальное содержание Вероятно, тогда не придется спешить с обобщениями в том духе, что художественная история XX века на Западе являет собой лишь летопись упадка. На самом деле она была не менее достоверным и ярким свидетельством об эпохе, чем литература любого другого столетия.

Вот, к примеру, одна из особенностей современного художественного мышления еще раз побуждающая говорить о его узких (по сравнению с классикой) масштабах,— нескрываемая субъективность обобщения, даваемого отнюдь не от лица всеобщей истины, постигнутой писателем, но от его собственного лица. Подчас это называют лиризмом, или исповедальностью, но дело не в названии. Существенна устойчивая тяга сегодняшнего художника к таким формам, которые не притязают на широкий и

упорядочивающий «обзор века», а напротив, расцвечены красками подчеркнуто личного отношения к событиям — глубоко своеобразного и, конечно, выборочного, никак не всеохватного ощущения реальности.

Такие формы исключительно подвижны и многолики. В этом убедится каждый, кто прочтет философские повести Павла Вежинова или автобиографичную по сюжетам прозу Кристы Вольф, романы-фантазии Курта Воннегута или погруженные в поток реального исторического времени книги Генриха Бёля с их очень прихотливыми связями между автором, повествователем и главным героем. Намеренно упоминаю писателей, по характеру дарования не близких. Общность их авторской роли сказывается вопреки всем конкретным различиям и проблематики, и художественных средств.

Выигрышна ли эта роль, которую я бы определил как роль весьма пристрастного свидетеля, все видящего по-своему, все переживающего неповторимо — в соответствии с собственным жизненным опытом и духовным складом, который не может быть «продублирован»? По-моему, творчески очень выигрышна. Потому что она позволяет понять и показать в каком-то особом, лишь искусству доступном ракурсе мир, который так полно охарактеризован при помощи понятийного языка, выработанного социологией, философией, психологией, историей и другими науками и так исчерпывающе описан в своих внешних связях стараниями тех, чья деятельность создала нынешний «информационный взрыв». Литература незаменима и в том смысле, что ей подвластно открывать неизвестное в привычном, она будоражит мысль и чувство, слишком пленившиеся иллюзией, будто реальность объяснена всесторонне. Она создает в читателе сознание прямой причастности к тревогам нашего времени, и субъективность взгляда, все более ей свойственная в последние годы, мне кажется, как раз помогает этой необходимой работе — уже хотя бы тем, что порождает доверие именно к этому свидетельству, согретому теплом души художника, чего не заменит никакая его осведомленность. Вот и судите, обретение или утрата такого рода «узкий масштаб».

Что касается утрат, они ведь всегда на виду, если сравнивать современную литературу с классической. Опознать приобретение куда труднее. Греки, смотревшие трагедии Еврипида, были убеждены, что на фоне Эсхила это сплошное измельчание. Миновали тысячи лет, но подобный стереотип отношения к сегодняшнему искусству все так же прочен. И вот странно — при этом никогда не вспоминают, что нетленная классика вовсе таковой не являлась для своих первых читателей. Алехо Карпентьер остроумно заметил, что истинно великий роман — тот, о котором при его появлении с уверенностью говорили: «Это не роман». Так, между прочим, было с «Войной и миром», «Братьями Карамазовыми», «Моби Диком» «Красным и черным». Так было и со «Степным волком», «Фиестой», «Шумом и яростью»... Сколько еще можно было бы упомянуть в этой связи книг, которые, как теперь ясно каждому, составляют золотой фонд литературы XX века!

Когда они выходили в свет, много было сказано о сухой логичности, подменившей настоящее творчество, о холодном умствовании, убивающем живое чувство, о переусложненности, за которой скрыто неумение писать, и прочем. Кое-что такое и сегодня можно услышать от критиков, полагающих, будто эстетическая норма, выработанная великим реалистическим романом от Бальзака до Толстого, не то что непререкаема, но и неизменна. А меж тем она меняется и должна меняться, чтобы не окостенеть. Способы выражения авторской позиции, необычный синтез эпического и лирического начал в романе последних десятилетий — очень существенный, но все же частный момент, если подразумевать более широкую тему — творческую активность реализма. И как раз активность реалистической традиции, ее испытанная временем способность находить новаторские, подчас весьма необычные формы для воплощения новых социальных и духовных контекстов — самое весомое свидетельство ее неисчерпаемости.

«Контексты» — понятие, которое в обиход критики ввел Сартр. Для него оно плотно примыкает к другому понятию — «константы». У Сартра обе эти категории наполнены экзистенциалистским содержанием: под контекстами он имеет в виду политические и моральные коллизии, определяющие сиюминутную ситуацию в мире, под константами — некие повторяющиеся, от времени не зависимые характеристики человеческого опыта. Мы знаем, какого рода «константы» Сартр признавал определяющими. Достаточно взглянуть на заглавия его книг: «Стена», «Тошнота», «Дороги свободы» (той, которая обретается личностью, совершающей выбор позиции перед лицом тотального и агрессивного абсурда).

Экзистенциализм стал фактом истории, и сартровская трактовка «констант» (как и «контекстов») больше не находит ни питательной среды в реальности, ни сочувствия даже у былых приверженцев. Но если преодолеть экзистенциалистское толкование этих терминов, сама попытка проследить в новейшем романе взаимодействие «контекстов» и «констант», мне кажется, была бы любопытной.

Сошлюсь еще раз на Алехо Карпентьера. Он пользуется теми же понятиями, когда характеризует своеобразие латиноамериканской прозы. Для романа Латинской Америки контексты созданы социальными антагонизмами континента, накаляющимися год от года. Ну, а константы? Это, разумеется не абсурд, мистифицированный Сартром, это совершенно реальные черты латиноамериканской действительности, сохраняющиеся от эпохи к эпохе. Они-то и порождают те устойчивые образы, которые непременно возникнут и у Гарсиа Маркеса, и у Фуэнтеса, и у самого Карпентьера,— насилие одиночество, барочная избыточность как свойство мироощущения «магия», прорастающая целым комплексом верований, для европейского сознания непостижимых Думаю, эти вот специфичные константы более всего интересны в латиноамериканском романе, явившемся крупным художественным завоеванием последнего времени.

А если от него отвлечься, разве не уви

дим мы и во многих других произведениях современной мировой литературы, как настойчиво заявляет о себе то же устремление к константам, к тому, что роднит сегодняшнего человека с его далекими предками и словно бы вписывает опыт личности в опыт народа и всего человечества? Конечно, эта тенденция проявляется совсем по-разному, скажем, у Чингиза Айтматова в «Буранном полустанке» и у Отара Чиладзе в «Железном театре», в «Песни Соломона» Тони Моррисон и в циклах новелл Йордана Радичкова, в «Загадке Прометея» Лайоша Мештерхази и в «библейских» притчах Пера Лагерквиста. И предстоит еще большой аналитический труд, прежде чем будет понято, отчего к концу столетия такая проза становится все примечательнее, хотя трудно сомневаться, что ее подъему способствует именно атмосфера века, который завершается и требует масштабного осмысления: к постижению констант побуждает сам сегодняшний контекст.

Мы знаем, какими факторами он определен. Решающим стал вопрос о выживании человечества: под угрозой все ценности, им созданные. Надо ли повторять, что настоящий художник не может оставаться безучастным перед лицом такой опасности — об этом свидетельствует не только художественная практика, но и публичные выступления и участие в общественных акциях многих писателей. Как никогда прежде литература испытывает необходимость разобраться в фундаментальных конфликтах времени со всей ответственностью. Без этого серьезного творчества сегодня попросту нет.

А формы, в которых осуществится это постижение, и способы, какими выразит свое понимание итогов века автор, конечно, могут оказаться самыми различными. Ведь развитие литературы обязательно приносит неожиданности. Важно только, чтобы происходило развитие, а не повторение — точнее сказать, копирование — того, что уже было.

В. ЛАКШИН. Хотелось бы обратить внимание моих собеседников на одну сторону дела, связанную с движением современного литературного процесса, о которой мы все знаем, но говорим осторожно. У меня такое ощущение, что последние годы не являются, деликатно говоря, годами большого подъема мировой литературы. По-видимому, это не местный и не региональный процесс, а нечто свойственное самым разным районам мира. Разумеется, в разных национальных литературах и сегодня есть заметные достижения, интересные имена. Но таких книг, какие в последнее десятилетие завоевывали бы умы людей, становились общенародным и затем общечеловеческим достоянием,— таких книг-вех нет или их совсем мало, берем ли мы французскую, американскую или японскую литературу. (Я называю традиционно наиболее сильные литературы мира.)

Могут возразить: таких книг и всегда было немного. Это так. Но если вспомнить XIX век русской или французской литературы, то, пожалуй, мы насчитаем их там побольше. В первую половину нынешнего века и американская литература имела очень крупные достижения, а равнозначными ныне не может похвалиться. В сравнительно недавнее время пережила заметный подъем, став феноменом общемировой культуры, латиноамериканская литература с Алехо Карпентьером и Борхесом, Мигелем Отеро Сильвой, Жоржи Амаду. Но даже пик невероятного и вполне заслуженного успеха Габриэля Гарсиа Маркеса, кажется, уже позади.

Еще в 60-е годы модной стала тема «гибели романа». Естественно, у него нашлось множество поклонников и защитников, и атака скептиков была отбита, во всяком случае в теории победа была полная. И однако, наблюдательные критики отмечали, что в последние годы меньше встречается романов «долгого дыхания», о которых стоило бы говорить. Когда ушла пора эпопей, родились псевдоэпопеи — «Генриады» и «Россияды». Жалея прощаться с романной формой, литература все чаще предлагает разновидности псевдоромана.

Случайно ли это? Концепция романа, очевидно, стоит в зависимости от глубоко пережитого и осознанного авторского идеала. При сопоставлении с классическим романом многое становится нагляднее. Оглядываясь на «золотую пору» жанра, мы должны будем отметить, что в основе самых реалистических, «жестких» по изобразительности романов было глубокое идеальное содержание. Какое? Его нельзя свести к одной лишь социальной проблематике, религии или нравственности, но в основе неизменно было овладение художника общим «состоянием мира», если использовать выражение Гегеля. Век веку рознь, и в наши дни писателю, столько вместившему в свой опыт, вставшему вплотную перед проблемами конечности человеческого рода и глобального уничтожения, куда труднее овладеть подобным «идеальным» представлением о мире. Он часто чувствует себя как барка, оторванная от причала,— образ, идущий от Блеза Паскаля, но подхваченный в нашем веке Альбером Камю.

Тем не менее традиция романа еще крепко живет в мировой литературе, хотя порой, по современной западной традиции, романами называют повести, иногда уже и большие рассказы. Да и у нас романная форма размывается разными прибавками к жанровому определению: роман-эссе, роман-исследование, роман-памфлет. Литературные эссеисты, историки и журналисты — все жаждут лавров романиста, будто в самом подзаголовке «роман» таится некая магия, равнозначная для автора получению нового литературного чина.

Такому жанровому тщеславию есть, пожалуй, оправдание: роман не только самая читаемая форма (занимательность, быть мо-

---

ЛАКШИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.)

Советский литературовед, критик, доктор филологических наук. Автор книг «Толстой и Чехов» (1963, 1975), «Островский» (1976, 1982), «Физиология успеха» (на венгерском языке. Будапешт, «Европа», 1978), «Биография книги» (1979) и ряда работ в области советской и зарубежной литератур.

жет, и любовь!), но и самая почтенная, потому что требует от автора большего духовного масштаба, понимания не частного среза или угла жизни, а сознательного взгляда на мир в целом.

Дмитрий Владимирович Затонский, если я правильно его понял, пришел к мысли, что едва ли не определяющей чертой литературы нашего века, если брать его стилевую основу, является утрата автором претензии на в с е в е д е н и е, на то, что он все знает о своих героях и мире, в каком они действуют. Отсюда многообразие точек зрения, принципиальная «открытость» финалов, смещенная композиция и тому подобное. Черта ли это только стиля?

Есть, по-видимому, две стороны вопроса. Одно дело — всеведение как мировоззрение художника, который осознал, что он вправе писать, потому что понял мир, управляющие им законы; понял, каким, в идеале, должен быть человек и как будет строиться жизнь человечества. Пусть даже это сознание иллюзорно, но оно крепко и искренне. И таким оптимистическим художественным сознанием, целостным во всей своей противоречивости, обладал Толстой, оно присуще, как уже отмечалось, Бальзаку и Диккенсу.

Этот род всеведения становится все более редкой вещью в литературе, ибо по лицу земного шара в последние три четверти века прокатилось столько бурь, затронувших всю жизнь человечества, столько было социальных катаклизмов и взрывов, процессов и контрпроцессов, что они способны были сбить с толку любого: компрометировали, как розовую водицу, старый гуманизм, посмеивались над выводами логического разума...

Но есть другое всеведение, которое не надо путать с первым и о котором лучше сказать как о черте стиля. Пожалуй, ему лучше называться не всеведением, или мировидением, а в с е в и д е н и е м. Художник, даже не обладающий целостностью взгляда на жизнь, обязан быть всевидящим в пределах того, что изображает. Само собой разумеется, если писатель взялся писать о чем-то, он должен это знать «лучше всех на свете»:

> О том, что знаю лучше всех на свете,
> Сказать хочу. И так, как я хочу.
>
> *(А. Твардовский)*

Если ты не уверен, что лучше всех на свете знаешь о таком-то времени, таком-то конфликте, о таком-то социальном слое или человеческом типе — зачем тогда браться за перо? Но если уж писатель отважился засесть за роман, то он творец создаваемой им действительности. В пределах той «волшебной коробочки» воображения, о которой говорит Булгаков в «Театральном романе», он вседержитель человеческих судеб. И о каждом из героев знает или готовится узнать в конечном счете все, знает их прошлое и будущее, знает несомненно и изнутри.

Почему никогда не мог бы стать писателем Алексей Александрович Каренин? Лишь по одной причине, названной Толстым: «Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу». Кто обладает хотя бы этим «малым всевидением», тот может стать писателем. Перед его внутренними очами может развернуться театр, где он бог, где он все знает и видит. Другое дело, что по задачам техники письма, это свое преимущество автор может до поры скрывать, и скрывать так умело, чтобы читатель был вправе решить: ведь все, о чем он думал и о чем догадался, читая книгу, думал и догадался он самостоятельно, без подсказки! В этом и сила художника — создать у читателя иллюзию, будто творит он сам, и тем доставить высшее наслаждение сотворчества при обычнейшем акте чтения.

Без этого «малого всевидения» вообще нет искусства, нет литературы. Но вот что не лишено интереса. Чехов, который отличался абсолютным «всевидением» в отношении людей и положений, какие изображал, упрямо говорил, что сам не знает, что из этого следует, как строить жизнь в целом. «Ты спрашиваешь, что такое жизнь?.. Морковка есть морковка». Но ведь это благородное недоверие к претензиям всезнания есть, во всяком случае в применении к автору «Дяди Вани», тоже род самообмана. Пусть писатель не обладает законченной философской системой, не исповедует никакой доктрины и, как ему кажется, не имеет идеала, способного осветить жизнь. В действительности этот идеал начинает расти у художника объективно, изнутри, каким-то особым способом, едва он становится творцом в воображаемом им мире. Проза скатывается к «беллетристике» и отдает рационализмом, если писатель слишком очевидно исходит из холодноватого знания, как воздействуют на читателя современные приемы композиции, пышной образности, выстроенной структуры. Проза хороша, когда сердце автора умно и зряче, а ум сердечен. Понятия о добре и зле, цели и смысле жизни растут часто стихийно, в силу зоркости понимания и сил души. Если этих сил нет, то нет и почвы для художественного чуда, нет художника. Когда же эта сила является в творце, от малого «всевидения» она приведет с другого конца к большому «всеведению».

Интересно было бы присмотреться к результату в свете психологического, творческого импульса художника. Среди побуждений к творчеству обычны (в этом не стыдились признаться и крупнейшие мастера) такие, как тщеславие, высокая амбиция, надежда на успех среди читателей. Можно вспомнить пушкинское: «Желаю славы я...». Существует и другой важный стимул художественной деятельности — бескорыстная жажда новизны, искушение эксперимента. Всегда импонирует попытка идти по незнакомой дороге, нащупывая новый путь и форму. Свежий материал реальности нас особенно привлекает: если, повествуя, романист дает возможность познать новые края, обычаи, профессию или ремесло— рука читателя тянется к такой книге. Благородная страсть автора к познанию — тоже добродетель таланта.

Но есть и другой род творчества: писатель творит, не испытывая желания удивить или понравиться, не задумываясь о само-

проявлении и самоутверждении, пишет оттого, что испытывает боль. Тогда его жгучее тяготение к правде, порыв ее сказать, донести до людей важнее всех соображений мирской славы и успеха и невозможность промолчать становятся характеристикой личности творца и его искусства. Я думаю, таким чувством была вызвана когда-то у Чехова «Палата № 6» или, ближе к новейшим впечатлениям, незаурядная повесть Валентина Распутина «Пожар».

Чудесный пример книги, вырвавшийся от сердца, дала сравнительно недавно французская литература. Я говорю о романе Ажара «Вся жизнь перед тобой», удостоенном несколько лет назад Гонкуровской премии. Имя писателя-новичка, окутанное тайной, вся история поисков автора-невидимки притянули к книге множество любопытных взоров. В конце концов открылось, что автор романа — Ромэн Гарн, известный во Франции литератор-профессионал — пошел на мистификацию, прикрывшись вымышленным именем, поскольку не был уверен, что публика и критика услышат его, когда он начнет писать в новом духе. Но в сущности, он напрасно прятался: роман о городском дне, печальных задворках нынешнего Парижа был написан так, что мало кого оставил равнодушным. Судьба беспризорного мальчишки-араба и старой бандерши-еврейки, занимавшейся нечистым промыслом, рассказана как история сыновней преданности и материнской любви. Никакая грязь, никакие нечистоты не липнут к подлинным человеческим чувствам. Книга Ажара пробилась к сердцам многих, потому что она жглась и делала стыдным всякое национальное и социальное предубеждение.

Соотечественница Ажара, изысканная историческая романистка философского склада, Маргерит Юрсенар написала роман, в котором имела дерзость воссоздать за римского императора Адриана его утраченные или несуществовавшии мемории — поразительно смелая попытка интеллектуального всеведения: романистке хотелось восстановить не историческую декорацию, костюмы и действие, но дух мышления античности первого века. «Воспоминания Адриана» — попытка эффектная и завораживающая, и все же от этих страниц веет холодком мраморных руин.

Отдавая всю дань уважения несравненной интеллектуалке Юрсенар, думаешь: а все же куда богаче — всеведение сердца, какое обнаруживает автор, который не стесняется по-старому жалеть, любить, внушать сочувствие к «отверженным» жизнью героям. Конечно, не обязательно как это сделал Ажар-Гари, менять имя, чтобы выразить боль и достучаться до закрытых, окутанных современным скепсисом и усталостью душ. Но живое чувство желание проникнуть в чужие миры и познать их — лучший путь к «всеведению», удесятеряющий силу писательского голоса.

Настоящий художник — редкость в мире, но когда он есть, есть и целостное, пусть при всем трагизме и неизбежных иллюзиях искреннее сознание, есть и прорыв к «всеведению», о котором мы сегодня говорим.

С. МИКОЯН. Включаясь в разговор, хотел бы остановиться на некоторых чертах современной латиноамериканской прозы. Я бы несколько уточнил сказанное Владимиром Яковлевичем Лакшиным: «В сравнительно недавнее время пережила заметный подъем, став феноменом общемировой культуры, латиноамериканская литература... Но даже пик невероятного и вполне заслуженного успеха Габриэля Гарсиа Маркеса, кажется, уже позади». Тут, мне кажется, есть повод для полемики. Литературы стран Латинской Америки стали явлением общемировой культуры не в недавнее время — при всей относительности слов «давно» и «недавно». Во всяком случае, нобелевские лауреаты по литературе там появились 40—50 лет назад. Впрочем, Нобелевский комитет не главный судья: он «проспал» многое, не говоря уже о том, что в XVII—XIX веках его попросту не было.

Вряд ли верно все сводить к Габриэлю Гарсиа Маркесу. Ведь не сводим же мы русскую романистику XIX века, скажем, к Достоевскому! Гарсиа Маркес — преемник традиций, блистательными представителями которых являются Мигель Анхель Астуриас (Гватемала), Хосе Мариа Аргедас (Перу), Ромуло Гальегос (Венесуэла), Хуан Рульфо (Мексика), Алехо Карпентьер (Куба), Мигель Отеро Сильва (Венесуэла), Карлос Фуэнтес (Мексика), Марио Бенедетти (Уругвай), Жоржи Амаду (Бразилия), Хулио Кортасар (Аргентина), Аугусто Роа Бастос (Парагвай) Марио Варгас Льоса (Перу) и многие другие. Это — только о романах! А хроники времен конкисты и после нее, а поэзия, открывшая новые горизонты прозаикам в языковом отношении?!

И потом — почему разговор о латиноамериканской прозе идет в прошедшем времени? Естественно, некоторых из мною упомянутых писателей уже нет в живых. Совсем недавно ушел Хорхе Луис Борхес. В достаточно преклонном возрасте находятся Хуан Карлос Онетти, Артуро Услар Пьетри. Однако еще активно работают и публикуют романы или готовят их к печати такие мастера старшего поколения, как кубинцы Хосе Солер Пуиг и Синтио Витьер, чилиец Хосе Доносо, а также упоминавшиеся уже Амаду, Фуэнтес, Роа Бастос. Ну, а как же быть с поколением, находящимся в расцвете сил? Это сам Гарсиа Маркес, выступивший недавно с романом «Любовь во время чумы» и книгой-репортажем «Приключения Мигеля Литтина»; Варгас Льоса, выпустивший в 80-х годах роман «Война конца света» (на русском языке он готовится к печати в издательстве «Радуга»), кубинец Лисандро Отеро, опубликовавший исторический роман из эпохи Кромвеля — «Время ангелов».

Кстати, сейчас можно говорить о таком явлении, как «новый латиноамериканский исторический роман», что само по себе свидетельствует о зрелости и расцвете литературы континента. Позволю себе при-

---

МИКОЯН СЕРГО АНАСТАСОВИЧ (род. в 1929 г.)

Советский историк, публицист, доктор исторических наук. Главный редактор журнала «Латинская Америка». Автор ряда работ по истории международных отношений, статей о жизни и творчестве Э. Хемингуэя, Хосе Марти, Мигеля Отеро Сильвы и др.

вести в качестве примеров произведения Мигеля Отеро Сильвы «Лопе де Агирре, князь Свободы» и «Крепкий орешек Христос», «Остров Робинзона» Артуро Услара Пьетри и «Время ангелов» Лисандро Отеро. Для этих романов в целом характерна органичная перекличка событий минувших веков или десятилетий с общечеловеческими, «вечными проблемами», с событиями наших дней. Такая особенность не случайна, она связана с политической заостренностью лучших образцов латиноамериканской литературы, с тем, что там называют «ангажированностью» писателя. Латиноамериканские писатели как раз и отличаются от многих своих коллег из Западной Европы и Северной Америки четкими гражданскими позициями, конкретным, даже конкретно-политическим пониманием гуманистического идеала. Поэтому можно говорить уже и о политическом романе. Для такого романа характерна патриотическая, нередко открыто антиимпериалистическая направленность.

Наконец, главное: всемирно известные имена писателей и романы, переведенные на многие языки не просто прозвучали и уж тем более не вызвали «эпидемию» среди подрастающего поколения писателей. Они создали традицию, школу, вывели литературу континента на новый качественный уровень. В результате сложились условия для выдвижения молодых (и не совсем молодых) писателей достаточно высокого класса. И они уже появились! Мы не всегда хорошо их знаем, поскольку пока не имеем переводов, но можно уже сегодня назвать Сенеля Паса (Куба) с его романом «Король в саду» — о кубинской революции через восприятие ребенка; Альфредо Брайса Эченике (Перу) с его романами «Мир для Джулиуса» и «Путешествие в кресле Вольтера». Фернандо дель Пасо (Мексика) с его эпическим романом «Мексиканская панорама» — так условно можно перевести его название. Эррера Луке (Венесуэла) с его романом «Луна и Фауст». Есть, конечно, и другие имена.

Безусловно, шедевры не появляются с заданной периодичностью, таланты тоже не рождаются, равномерно распределяясь, скажем, по пятилеткам или десятилетиям. Просто я хотел бы возразить против умозаключений, лейтмотив которых — слово «позади». Никто не знает ведь, что нас ждет впереди и когда именно — тем более в Латинской Америке. Один из факторов, косвенно, опосредованно влияющих на появление шедевров, заключается в том что у писателя должно быть выстраданное им, то, что он должен — «не может не» — излить в тексте романа. Как раз в этом отношении действительность Латинской Америки дает все основания ожидать появления значительных и по форме и по содержанию произведений — большого вклада литературы в общественный прогресс. Романисты стремятся создать — и читатели в Латинской Америке даже требуют от них именно этого! — не «субъективную эпопею» (по выражению Гёте, использованному Томасом Манном), а «объективную эпопею», то есть эпический роман об окружающей их действительности.

В связи с этим хотел бы коснуться затронутого в нашем разговоре вопроса о «всеведении» автора романа. Порой вопрос рассматривается в основном как чисто стилевой, вопрос формы изложения. Думаю, что его нельзя начисто отделить от проблемы авторской позиции, влияния мировоззрения автора на творчество, а самого этого творчества — на читателя. Ведь для писателя главный адресат, естественно, читатель, а не критик, анализирующий те или иные особенности его стиля, его формальные приемы. В лучших произведениях латиноамериканских романистов всегда отчетливо различим голос автора, проникнутый гуманистическим пафосом.

Конечно, бывает гражданская позиция и иного характера. Я имею в виду одного из писателей «первого ряда», Марио Варгаса Льосу Или покойного Борхеса. Но кстати, их путаные и даже реакционные точки зрения проявлялись обычно в интервью для журналистов, а не в художественном творчестве. А ведь главное у писателя — что он говорит своим творчеством, а не в заявлениях для печати (хотя и они, конечно, важны). Последние делаются порой под влиянием какого-то события, настроения. Но пусть даже они отражают устойчивые взгляды писателя как представителя той или иной общественной позиции. Если взгляды эти прорвутся на страницы его книг, они прозвучат фальшивой нотой. В этих случаях он сбивается на памфлет, несмотря на все свое мастерство. «Бесы» показывают, что творчество даже такого гения, как Достоевский, страдало от предвзятости реакционного толка. Подобное произошло и с Льосой — достаточно вспомнить его недавний роман «История Майты», оказавшийся и художественно слабым произведением (в этом конкретном случае аналогия с «Бесами», мне кажется, как нельзя более уместна).

Но хотел бы подчеркнуть: подобная ангажированность на страницах латиноамериканского романа — исключение, а не правило. Типичным явлением для него является подлинный гуманизм, патриотизм, приверженность антиимпериалистическим воззрениям. Писатель подлинно высокого класса на латиноамериканском континенте — по эту сторону баррикад!

Если следовать формальному подходу, то для большинства латиноамериканских писателей свойственно скорее «отсутствие» в своем романе, чем навязчивое «присутствие». Ибо нет ничего более несоответствующего характеру и темпераменту как самих писателей континента, так и их читателей, чем дидактика, стремление впрямую поучать и разъяснять. Такой подход учитывает множественность идейных и этических устремлений, но он вовсе не мешает писателю активно воздействовать на психологию того, кто читает его книгу.

Раз уж так у нас на уме Гарсиа Маркес, вспомните его «Осень патриарха»: абсолютное всеведение о каждодневном быте диктатора и его окружения, однако ни одной поучающей строки, которая «разжевала» бы для читателя авторскую позицию — решительное осуждение диктатуры. Или «Превратности метода» Карпентьера и «Я, Верховный» Роа Бастоса. Там

если очень поискать, можно найти даже нечто человеческое, неоднозначное — хотя и довольно мрачное — в образе диктатора, ибо романы носят интровертный характер. Читателя уважают, ему рассказывают о поступках, обстоятельствах, характерах (то есть те же контексты и константы Сартра, о которых говорил Алексей Матвеевич Зверев), а он должен сам делать свои выводы. Таким образом, писатель говорит меньше, чем знает, — или наоборот, он дает понять и почувствовать столь многое, что читатель испытывает потрясение и сам приходит к нужным выводам.

Наверное, это и есть наиболее эффективный в современный период способ диалога с читателем — не только для латиноамериканского континента (хотя мне кажется бесспорной мысль о том, что формы выражения авторской позиции в романе XX века могут быть очень различны). Как говорил Алехо Карпентьер в цитировавшейся здесь книге с полным глубокого смысла названием «Мы искали и нашли себя»: «Дать свободу персонажам со всеми их достоинствами, пороками и слабостями... исходя из той глубокой правды, которая всегда «заложена» в самом писателе...»

Как писатель-романист приходит к этому, как рождается замысел? Тот же Алехо Карпентьер рассказывает поразительный случай: после девятидневного путешествия по реке Ориноко, протекающей в венесуэльской сельве, полного наблюдений за окружающим пейзажем, изучения книг географов прошлого, сравнения своих впечатлений с описаниями Гумбольдта и других, разговаривая с людьми, живущими там или плывущими на судах куда-то откуда-то, он вдруг пришел к мгновенному озарению: «Роман «Потерянные следы» родился в несколько секунд, выстроенный полностью, совершенно готовый — оставалось лишь вернуться в Каракас и написать его». Природа — величественная, дикая, всевластная — оказалась отнюдь не простым фоном действия, а основным толчком к творчеству. Люди и их отношения, образы, сюжет, мироощущение героя, от имени которого ведется рассказ,— все это пришло в сельву как дополнение к «глубокой правде», созревшей у автора под прямым воздействием природы. Не правда ли, как далеко это от «лирических отступлений», где пейзаж призван лишь дополнить сюжет, создать соответствующее настроение у читателя, от отступлений, являющихся небольшим по объему и значению элементом привычного нам, традиционного европейского романа?!

Я привел этот пример, чтобы показать, что национально-культурное своеобразие — а природа, конечно, воспринимается в этом контексте — накладывает неизгладимый отпечаток на творчество латиноамериканских писателей, на стиль и манеру письма.

Опыт латиноамериканских литератур интересен и еще в одном отношении. Латинская Америка — образно говоря, заповедник католицизма, однако сколько здесь издавна, еще со времен Берналя Диаса дель Кастильо, современника Колумба, конкистадора и писателя, а также гениальной поэтессы XVII века монахини Хуаны Инес де ла Крус, авторских исканий, сомнений, недоумений! Что же касается современности, то четкая мировоззренческая позиция (то есть социальные или даже политические взгляды), подразумевающая авторское всеведение — но не навязывающая его читателю! — для многих писателей заменила в этом смысле религиозные устои. Возможно, разумеется, и сочетание того и другого — как, например, у известного поэта, министра культуры революционной Никарагуа Эрнесто Карденаля.

Отказ от претензии на всеведение (это отнюдь не означает отказа от гражданской позиции автора), от позиции всеведения — именно позиции, отраженной в форме изложения, в стилевой манере,— широко распространенное явление в латиноамериканской литературе в силу причин, которые я попытался объяснить выше и которые подтверждают, как представляется, тезис выступления Дмитрия Владимировича Затонского. (Тем не менее, повторяю, активная гражданская позиция налицо.) Что же касается крайностей подобного отказа, то есть действительного «изъятия» автора из романа (читатель при этом вынужден блуждать по волнам «потока сознания» с сумятицей в голове и в сердце), то такие случаи, как правило, представляют собой проявление подражательства, копирования писателями весьма среднего уровня некоторых западноевропейских романов соответствующего типа. Для серьезной латиноамериканской литературы, о которой только и стоит говорить в масштабе мирового литературного процесса, это нехарактерно.

Хочу в этой связи повторить: взлет латиноамериканского романа в последние десятилетия помог преодолеть распространенное среди очень многих представление о Латинской Америке как о литературной провинции. Он не просто вывел литературный процесс на уровень «мировых стандартов», как говорят техники. Новый латиноамериканский роман и вызванный им эффект долговременного действия заставляют меня вспомнить беседу видного мексиканского философа Леопольдо Сеа с Андре Мальро. Как рассказывает Сеа, французский писатель признал, что латиноамериканская культура не беднее европейской, ибо усвоила достижения последней. Сеа возразил: не только не беднее, но богаче. И пояснил — в ответ на недоумение Мальро: мы усвоили достижения вашей культуры, но имеем в нашем багаже и собственную культуру — доколумбова Западного полушария,— которой вы не знаете.

К словам Сеа можно только добавить, что существует еще и третий компонент культурного багажа Латинской Америки: сегодняшняя собственно латиноамериканская культура, самобытная и быстро развивающаяся.

Правда, написание романа, равно как и ввоз романов, изданных в Европе, были запрещены специальным указом испанской короны, почему этот жанр и отстал от европейского на полтора столетия. Но огромный культурный багаж, лежащий в основе литературного процесса, сделал возможным

стремительный взлет романа. Другим фактором, как это отмечалось в нашем литературоведении, скажем в книге Веры Кутейщиковой и Льва Осповата «Новый латиноамериканский роман», явились бурные социально-политические сдвиги, рост национально-освободительной, антиимпериалистической борьбы. Оба эти фактора продолжают действовать. И мы вправе ждать от латиноамериканских писателей новых свершений, которые обогатят мировую культуру.

Т. ГРИГОРЬЕВА. Ну, а как быть с такими явлениями в литературе, как Гомер, Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин, Достоевский? Занимает ли писатель «позицию всеведения», если он каждый раз преодолевает себя чтобы дать жизнь слову, которое требует полной отдачи. Жизнь за жизнь! Законен ли в таком случае вопрос — присутствует или не присутствует писатель в том, что он творит или что созидается через него? По-моему, здесь не очень подходят такие определения, как «позиция всеведения» или «роль всеведущего». Значит, что-то важное в нашем разговоре опускается или почти опускается, какой-то главный план духовных свершений, то, без чего нет литературы, способной пережить свое время.

Китайские философы сунской эпохи (XII—XIII века) говорили: в каждой вещи есть две природы, общебытийная — единая и явленная в конкретной форме своего времени — единичная; закон один, формы его выражения разные. Японцы унаследовали этот взгляд. Поэт XVII века, Мацуо Басё, видел назначение искусства в поиске неизменного в изменчивом (фуэкирюко): «Без неизменного нет основы, без изменчивого нет обновления». Не нарушаем ли мы это равновесие в пользу «изменчивого», упуская из виду «основу»?

Истинное всеведение, или «всевидение»,— это дар гения, а значит, свойство, внутренняя потенция человеческой природы. И заметьте, кому дано это «всеведение», те не предлагают концепций — в этом нет необходимости. Они пришли в литературу, музыку, чтобы сделать истину доступной сознанию простых смертных. И если ни один из них не скажет «Я есмь путь, и истина, и жизнь» (Евангелие от Иоанна, 14, 6), то сказать «Я есмь жизнь» может каждый из них.

Позиция же «всеведения» — это порождение определенной эпохи, главным образом XVIII—XIX веков, и отражает общий настрой умов, дух эпохи, веру во всесилие разума, которая дает о себе знать в философии, в музыке и в литературе. (Мышление едино, формы выражения различны.) И эта эпоха породила великих писателей, писателей-учителей, которые вторгались в жизнь, веря в возможность ее переустройства, в спасение человечества. Для них «роман — это концепция», слово есть способ выразить если не истину, то свое представление о ней, свою идею, свою озабоченность состоянием общества. И в отношении этих писателей — целителей человечества (несмотря на всю разницу, они оказались рядом — Бальзак, Флобер, Толстой) — можно говорить именно о «позиции всеведения». По самой своей сути, по мировоззрению, как говорилось, они не могли иначе, то есть, полагая, что поняли болезни общества, они считали своим долгом способствовать его исцелению.

Но по мере того как XIX век сменялся XX, со всеми его глобальными проблемами, менялся и дух эпохи, и это не могло не сказаться на том, что созидалось творческим умом человека в любой сфере — искусства ли, науки. (Разве что литературная критика, уж будем самокритичны, никак, по-моему, не перейдет эту грань веков.) Время показало, что «общество», когда определились его границы, понять легче, чем человека: там — система, здесь — вселенная. Общество — это часть целого, конкретный этап истории, а человек — это вся история, микрокосм: в его памяти, в его подсознании хранится все пережитое прежними поколениями. И литература с неизбежностью поворачивает к человеку, от временного к вечному (от контекста к константам, по выражению Алексея Матвеевича Зверева). Естественно, при таком повороте сознания исчезает иллюзия или ощущение «всеведения». Приходит осознание того, что не достигнуто еще полное знание ни о вселенной, ни о материи, ни об отдельном человеке. Это говорит о взрослении души, и в этом, по-моему, одна из причин «отказа от условной роли всезнающего автора» и причина подмеченного Дмитрием Владимировичем Затонским парадокса противоречия между возрастанием «активности» позиции романиста и его все дальше заходящим «самоустранением». Чем меньше внешне, явно присутствует автор в том, что он делает, тем больше он присутствует неявно, внутренне (вспомним еще раз Чехова).

Но чем больше писатели приглядываются к человеку, тем больше теряются в догадках. Если общество как-то поддавалось наблюдению и анализу, то человек (создается впечатление) — нет, словно бы ускользает. Почему? Не потому ли, что поначалу происходит поворот от объекта (общества) к субъекту (индивиду) — из крайности в крайность. И тогда центр тяжести переносится на субъект, но сохраняется односторонность: индивид рассматривается сам по себе, со своими будничными заботами,— и теряется ответ, ибо истина — это целое. И справедливы сетования Владимира Яковлевича Лакшина по поводу современного литературного процесса, который не жалует нас крупными явлениями, «книгами-вехами», которые завоевали бы умы людей и стали бы общечеловеческим достоянием. Но, может быть, в муках рождается *новое сознание*, и в этом дело.

Постижение целого предполагает соответствующий метод изображения, не *описание*, а *проницание*. Идти не вбок (из крайности в крайность), а вглубь, в глубь фактов с их поверхности, осознав

ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

Востоковед, доктор филологических наук, пишет по вопросам японской культуры, философии. Автор работ «Японская литература» (1964), «Одинокий странник» (1967), «Японская художественная традиция» (1979), «Японская литература XX века» (1984).

факт не как причину (скажем, поведение героя у Золя обусловлено влиянием среды и дурной наследственности), а как следствие иной, гораздо более глубокой и постоянно действующей причины. Метод же европейских писателей, отошедших от традиционной формы, в чем-то оставался прежним, несмотря на все их новации,— описательным, хотя объектом изображения могли быть еле заметные движения души, как у Натали Саррот, например, и у других провозвестников «нового романа»: сознательная фиксация мельчайших, «точечных» реакций психики во имя поиска правды. И тот же Ханс Эрих Носсак очень четко выразил эту тенденцию. Я позволю себе еще раз его процитировать, уже в другом, так сказать, контексте: «Собственная правда, в современном мире есть единственная правда. Признаться себе в этом — своего рода революционный акт. Формой современной литературы может быть только монолог. Только он отражает состояние человека, потерявшегося в чаще абстрактных правд». Что же, я, например, не нахожу здесь ничего «кризисного» или «пессимистического», по-моему, даже очень актуально. Правда и в самом деле всегда бывает и общая, и личная, другой правды нет, если она лично не выстрадана. Другое дело, что, скажем, в «новом романе» появилось ощущение самоценности отдельного, но не сразу пришло ощущение того, что все «точки» расположены в одной великой окружности, в едином поле земного, космического притяжения. Центр везде, в каждой точке, и потому — каждая целостна. Этот взгляд ведет к осознанию того, что человек есть носитель всех прошлых и будущих обществ, и чувство социальной принадлежности не декларируется, а испытывается им как некое внутреннее качество.

Настало, видимо, время взглянуть и осознать землю как целое. А стало быть, и литература не может не подняться выше. И наверное, это уже не будет форма «классического» романа — всякая внешняя форма рано или поздно устаревает, но эта форма будет заключать в себе заряд нового сознания и отражать целостное мироощущение, не посягающее на суверенность и свободу отдельного. И это уже будет не «позиция», а само всеведение, а значит, и ощущение всеединства. Собственно, я не говорю ничего нового. Это уже есть у Достоевского. От невозможности посягать на отдельное, на любую малость, слезинку ребенка, от немыслимости унизить, умалить кого-то или просто распорядиться по-своему чьей-то судьбой — и его многоголосие, чтобы никакому голосу по крайней мере тесно не было. Или, как об этом давно уже сказано у Бахтина: «Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основной особенностью романов Достоевского. Не множество характеров и судеб в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развертывается в его произведении, но именно множественность равноправных сознаний с их мирами сочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, в единстве некоторого события». Вот чем его стиль отличался от «монологической структуры» тех, кто занимал позицию «всеведения» и в произведениях которых есть единый центр, есть авторская точка отсчета. У Достоевского же центр везде, в каждой точке, и тем он оказался столь близок нашему веку с его поисками «целостного подхода», немыслимого без внутренней свободы и суверенности отдельного, идет ли речь об отдельных нациях или отдельных личностях.

Сама по себе форма содержательна, то есть может быть нравственной и безнравственной. Чтобы понять жизнь, надо полюбить ее «прежде логики» (по словам Алеши Карамазова). Или, как сказано в «Записках из подполья»: «Без чистого сердца — полного, правильного сознания не будет». (И это созвучно народной мудрости и словам из «Вималакирти сутры»: «Все вещи порочны, если ум порочен и все вещи чисты, если ум чист».) Другое дело (вернемся к мысли Носсака), что правда может выражаться в форме крайнего отчаяния, как в романе Оэ «Футбол 1868 года»: «Сказать правду?» — это строка из стихотворения. Я думал об одной абсолютной правде, высказав которую человек становится перед выбором: быть кем-то убитым, покончить с собой, сойти с ума и превратиться в нечеловека, чудовище, на которое невозможно смотреть без ужаса». Что ж, это аномалии психики, и с ними приходится иметь дело. Эту «правду» носит в себе человек, прошедший через ад одиночества, но так и не сумевший найти себя. Вряд ли, однако, можно согласиться, что единственно возможна в наше время форма монолога. В следующем романе, где Оэ преодолевает это отчаяние, он прибегает скорее к форме диалога: «Я решил написать роман почти с драматической структурой, чтобы показать, что все вокруг движется к катастрофе и люди не могут не отвечать за это. Форма драмы показалась мне более подходящей для этого замысла». Речь идет о романе «Потоп», предупреждающем о возможности «конца света», если люди не опомнятся.

И это, наверное, главная черта литературы наших дней — желание послать сигнал бедствия, предупредить о грядущей всеобщей катастрофе, по причине ли атомной войны или экологического голода. Потому и переходит в разных обличьях из романа в роман ощущение грядущего всемирного потопа и выжженной пустыни — как возмездия за утрату человеческих качеств, и никакие при этом обстоятельства не могут оправдать его. Человек прежде всего сам за себя в ответе. И об этом роман «Плаха» Чингиза Айтматова, и я его воспринимаю как крик души и как великое предупреждение. И об этом же лучшие романы и японской, и европейской, и американской литературы, не говоря уже о набирающей силу литературе так называемого третьего мира. В предельной ситуации приходит ощущение того, что «...воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват... ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается» («Братья Карамазовы»). Теперь человек — и в этом заслуга литературы немалая — начинает ощущать, что он не

может быть беспристрастным зрителем происходящего в мире, ибо этот мир не только творит его, но и творится им ежемгновенно, стало быть, он за него в ответе. «До сих пор всегда возможно было уклониться от участия в истории. Тот, кто не одобрял, часто мог молчать или говорить о другом. Ныне все изменилось, и само молчание приобрело страшный смысл. Ныне каждый художник взят на борт галеры своего времени» (Нобелевская речь Альбера Камю). Нет выбора: или новое мышление или конец. Если люди не научатся «думать по-новому», они доконают эту землю. Ученые заговорили о сверхответственности — в силу уникальности момента,— о нравственной ответственности за последствия своих научных идей и открытий. Сейчас уже недопустима ситуация «не ведаю что творю». И когда идея Делийской декларации, идея мира без ядерного оружия, ненасильственного мира, выношенная двумя народами, станет достоянием человечества, мир сможет вздохнуть спокойно.

Если люди не склонны были бы забывать заветы древних и уроки истории, то избежали бы многих бед. После первой мировой войны были потрясены умы человеческие, и многие из писателей предупреждали о грядущей катастрофе. Ромен Роллан в 1928 году призывал созвать Интернационал Мира, преодолев «политические, социальные, религиозные, философские, умственные пристрастия» во имя «общности между всеми живущими». Он и о причинах «пристрастий» говорил: «Огромное большинство наших европейских умов запирается в своем этаже Жилища Человека, и хотя этот этаж полон книг, пространно повествующих об истории этажей прошлого,— остальная часть дома кажется им необитаемой... они не слышат ни снизу, ни сверху шагов своих соседей, минувших веков, которые упорно продолжают жить». Истинное всеведение — когда нет глухих стен или глухих душ, которые не слышат прошлого и потому не могут иметь будущего.

(Окончание следует)

Зарубежная литература в СССР

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Амаду Ж. **Собрание сочинений.** В 3-х томах Перевод с португальского Том I. 527 с.

Во имя жизни. Перевод с английского, тагальского. Составление В. Макаренко, И. Подберезского. 351 с. (Современная зарубежная новелла Филиппины).

Дан П. **Избранное.** Рассказы. Перевод с румынского. 269 с.

Кубка Ф. **Избранное.** Перевод с чешского. Составление И. Ивановой. 863 с.

Рыцарь Фуртуна и оружейосец Додицою. Перевод с румынского, немецкого. Составитель А. Старостина. 287 с. (Современная зарубежная новелла. Румыния).

Хартли Л. П. **Посредник. По найму.** Романы. Перевод с английского. 495 с. (Зарубежный роман XX века).

«РАДУГА»

Дельбанк С. **Река памяти.** Романы, повесть. Перевод со шведского. Составитель А. А. Мацевич. 509 с.

Доблес Ф. **Рассказы Таты Мундо.** Перевод с испанского. 160 с.

Клавель Б. **Свет озера.** Роман. Перевод с французского. 320 с.

Кокона В. **По волнам жизни.** Роман. Перевод с албанского. 544 с.

Круг. Болгарская поэзия 70—80 годов. Перевод с болгарского. Составитель Л. Дымова. 311 с.

Лао Шэ. **Сказители.** Роман. Перевод с китайского. 256 с.

Нгуен Минь Тяу. **Женщина в скором поезде.** Повесть, рассказы. Перевод с вьетнамского. 191 с.

Раффаи Ш. **Горы слагаются из песчинок.** Авторизованный перевод с венгерского 223 с.

Фекете Д. **Медовый месяц.** Повести. Перевод с венгерского. Составитель Б. Я. Гейгер. 557 с.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Оссовски Л. **Бегство.** Роман. Перевод с немецкого. 215 с.

Хнёупек Б. **Ломая печати.** Роман. Перевод со словацкого. 319 с.

«ПРОГРЕСС»

Карпентьер А. **Превратности метода.** Роман. Перевод с испанского. 334 с.

Фриш М. **Листки из вещевого мешка.** Художественная публицистика. Перевод с немецкого. 320 с. (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза).

«КНИГА»

Мечи — на орала. Поэты мира в борьбе за мир. В 3-х томах. Составители В. С. Коткин, П. М. Грушко, М. Н. Ваксмахер. Иллюстрации П. Пикассо.

Критика

Я. ЗАСУРСКИЙ

РОБЕРТ СТОУН: ЧЕЛОВЕК И ПИСАТЕЛЬ

Я познакомился с Робертом Стоуном в Палермо во время недавней встречи советских, американских, итальянских и болгарских писателей. Роберт Стоун в американской делегации был, наверное, самым известным писателем и в то же время самым необычным по характеру творчества: его книги отличаются острым чувством времени и соединяют актуальность проблематики с глубиной человечности и литературным мастерством. В самом деле, первый роман Стоуна «В зеркалах» (опубликован в 1967 году, на русском языке в «Иностранной литературе» вышел в 1973 году в № 4—6) рассказывал о брожении, которое охватило тогда американский Юг, о резком столкновении сил борющихся против расизма с представителями крайне правых, профашистских сил. Книга в известном смысле пророческая, поскольку она вводила читателей в атмосферу обостренных социальных конфликтов, которые характеризовали состояние американского общества в конце 60-х годов, — это была Америка так называемой «студенческой революции» и борьбы за гражданские права. Тогда Роберту Стоуну исполнилось 30 лет.

Последующие его книги были написаны в том же русле. В 1974 году он выпустил роман «Пасынки войны». За год до позорного бегства американской военщины из Вьетнама он раскрыл моральное и духовное убожество солдат американской армии и показал разлагающее воздействие войны во Вьетнаме на американскую молодежь. Этим романом он предсказал не только скорый крах вьетнамской агрессии, но и необратимые катастрофические морально-этические ее последствия для американской нации — быстроту распространения наркомании, волну самоубийств и откровенного бандитизма.

Наконец, в 1981 году Роберт Стоун опубликовал роман «Флаг на заре», который также увидел свет на русском языке в журнале «Иностранная литература» (в № 1—2 за 1986 год). Это роман о проблемах Центральной Америки. Его действие происходит в вымышленной стране, но мы можем узнать и события, предшествовавшие свержению диктатора Сомосы в Никарагуа, и острые социальные конфликты, потрясавшие и потрясающие Сальвадор, Гондурас, Гватемалу — стра́ны, в каждой из которых на защиту реакции, коррумпированных политиков и насильников в военной форме выступали американские власти, представавшие в разном обличье.

Роман прекрасно передает атмосферу жестокой войны против народов Центральной Америки, которая ведется местной олигархией и военщиной под покровительством ЦРУ и Пентагона. В этой книге, как и в предыдущих, автор беспощадно правдив в анализе трагических сторон современной жизни, но вместе с тем и в этом его романе есть герои, которые в состоянии понять интересы народа. Среди них и американцы,

ЗАСУРСКИЙ ЯСЕН НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1929 г.)

Советский литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор. Вице-президент Международной ассоциации по научным исследованиям массовой информации. Автор работ «Жизнь и творчество У. Уитмена» (1955), «Американская литература XX в.» (1966, новое, дополненное издание — 1985), «Американская массовая конформистская беллетристика» (1970), «Теодор Драйзер» (1957, 1964, 1977) и многих статей по проблемам литературы США.

такие как монахиня, сестра Джастин — в миру Мэй Фини, — готовая сражаться за благородное дело свободы и гибнущая под пытками садиста, офицера местной национальной гвардии. Проблема выбора пути, которая стоит перед честными американцами в странах Центральной Америки, проблемы совести, чести и бесчестия поставлены здесь Робертом Стоуном остро и бескомпромиссно.

На симпозиуме в Палермо, а затем на другой стороне острова Сицилия, в городке Ачиреале, Роберт Стоун был внимательным слушателем и активным участником дискуссии. Большая часть американской делегации пыталась отвлечься от проблемы войны: говорили о том, что долг писателя — быть верным слову, служить слову, служить литературе, и утверждали, что писатель ничего не может сделать для того, чтобы помешать войне. Роберт Стоун не полемизировал с коллегами по делегации, но в своем выступлении подчеркнул необходимость служить правде и попытаться объединить понятия правды, истины и справедливости.

Смысл русского слова п р а в д а — не только в точности и достоверности, но и в справедливости. В английском языке нет полного эквивалента этому прекрасному русскому слову, которое вело на бой Степана Разина и Емельяна Пугачева, вдохновляло русских революционных демократов и стало наконец знаменем Великого Октября. Поэтому, говоря о правде, Роберт Стоун вынужден был выражаться более многословно: «Мы оказались сейчас перед лицом необходимости точно осознать, что такое истина. Истина — это то, к чему, мы полагаем, мы стремимся. Но бывают времена и определенные ситуации, когда стремление к истине воспринимается как вещь не совсем желательная. И вот тогда-то мы теряем свою невинность и вступаем в епархию морали... В практике художественной литературы эстетика и мораль тесно связаны». Здесь Р. Стоун очень близко подходит к важнейшей проблеме художественного творчества, которую сформулировал безвременно ушедший из жизни американец Джон Гарднер в названии книги своих эссе «О моральной ответственности литературы».

Выступая на Сицилии, Р. Стоун задал себе вопрос: «Может ли деятельность писателей быть эффективной в формировании общественной морали? Могут ли они, например, способствовать антивоенным умонастроениям?» И тут же дал на него ответ: «Я считаю, что могут». И добавил: «Но они не добьются этого, если будут отрывать слова от их значения и прибегать к удобным умолчаниям или фальсификациям любого рода». В этих словах очень точно передана и эстетическая, и этическая позиция Роберта Стоуна, который считает, что служение истине помогает решению самых сложных проблем в мире.

Осознанное таким образом понятие истины вдохновляет и, пожалуй, лучшую пока книгу Роберта Стоуна — «Флаг на заре». Вместе с одним из героев этой книги, священником Эганом, автор приходит к мысли о том, что «истина — прекрасная вещь, но она требует жертв». Верной истине оказывается Мэй Фини — и гибнет. Не выдерживает испытания истиной антрополог Холливелл — предает Мэй Фини и спасает свою жизнь. Так проявляется в романе тема не столько истины, сколько п р а в д ы, правды жизни, той правды, которую искала Мэй Фини.

Роберт Стоун узнал от меня на симпозиуме, что его романы, опубликованные на русском языке, популярны у советских читателей. Его интересовали методы работы, так сказать, техника творчества советских писателей. Он спрашивал, например, пользуются ли они персональными компьютерами, работая над своими произведениями. Сам Роберт Стоун пишет свои книги именно так. Я не успел подробно расспросить его о том, какие преимущества это дает ему как романисту, но из разговора с ним и другими американскими писателями понял, что далеко не все они разделяют энтузиазм Роберта Стоуна по отношению к компьютеризации творческого процесса.

В Москве, уже по возвращении из Италии, я разговаривал с еще одним известным американским прозаиком, Э. Доктороу, и спросил у него, как он работает над своими текстами. Доктороу сказал, что пользуется пишущей машинкой, и очень удивился, узнав, что Роберт Стоун пишет на персональном компьютере. Впрочем, это проблема, видимо, вкуса и личных привычек. Гюнтер Грасс, скажем, пишущую машинку не любит, он считает, что писатель может хорошо писать только ручкой. Доктороу предпочитает машинку, а Роберт Стоун — персональный компьютер, притом, что у него отличный, почти каллиграфический почерк. Может быть, персональный компьютер и дает какие-то преимущества романисту; проще править, легче осуществить монтаж текста, изменяя или уточняя композицию романа... Но очевидно, что главное — не в технике записи текста, а в тех идеях, идеалах и характерах, которые превращаются в текст под пером писателя, будь то на пишущей машинке или на видеотерминале персонального компьютера.

Последний роман Роберта Стоуна посвящен людям киноискусства, судьбе художника в современной Америке. Он называется «Дети света» и вышел в свет в 1986 году.

Если мы оглянемся на все четыре романа Роберта Стоуна, то увидим, что в центре каждого из них — всегда новая проблема, а действие происходит всегда в новом месте Соединенных Штатов или в новой стране: первый роман — об американском Юге, второй — об американцах, прошедших через вьетнамскую катастрофу, о Калифорнии и Мексике, третий — о Центральной Америке, четвертый — о Голливуде и Мексике. И в каждом романе автор предстает как человек, хорошо знающий не только детали жизни и профессий своих героев, но и то место, где происходит действие.

Поражает удивительная точность проникновения Стоуна в психологию героев — хотя они принадлежат к разным социальным

слоям и имеют разные профессии — и достоверность в воспроизведении подробностей повседневного существования персонажей.

Мне удалось детальнее поговорить с Робертом Стоуном только в автобусе по пути из Ачиреале в Сиракузы, куда мы ехали для того, чтобы посмотреть пьесу Еврипида «Просительницы» (она поставлена там под названием «Матери» в древнегреческом амфитеатре, которому более двух тысяч лет). Разговор прерывали гудки автобуса и реплики соседей, но тем не менее Роберт Стоун сумел сосредоточиться и рассказал о себе и своем творчестве содержательно и интересно.

На Роберта Стоуна сильное впечатление произвело выступление академика Д. С. Лихачева, который говорил о том, что любое настоящее искусство сочетает в себе элементы как литературной традиции, так и народной художественной культуры. Роберт Стоун попытался эту формулу применить к современной американской литературе. Он признал, что серьезный писатель не может жить в вакууме — в США он неизбежно оказывается вовлеченным в тот культурный и литературный контекст, который создает массовая культура, а это прежде всего телевидение — оно в Америке ужасно и разрушительно, по его мнению, но вместе с тем даже и кинофильм и телефильм, пусть и детективный, помогают иногда писателю найти новые аспекты и новые средства для выражения своих творческих возможностей. Говоря об американизации европейской культуры, он не без иронии заметил: «Сначала американизация произошла в Америке». Имея в виду наступление массовой культуры, добавил: «Мы живем среди этой вульгарной культуры».

Р. Стоун считает, что телевизионная сеть «Пи-би-эс», которая субсидируется в основном из средств штатов, часто делает и хорошие передачи, но сейчас Рейган не дает ей денег.

Рассказал он и о себе. Родился в 1937 году в Бруклине в семье потомственных портовиков — несколько поколений его семьи работали на буксирах в нью-йоркской гавани. Потом его семья перебралась на Манхэттен, где он ходил в католическую школу, но учился не очень хорошо и ушел из последнего класса. Хотел устроиться на работу в порту, но, когда это не удалось, поступил на службу в военно-морской флот и с восемнадцати лет (с 1955 по 1958 год) служил на вспомогательном корабле. Военным моряком он посетил многие страны. В 1956 году в Порт-Саиде Р. Стоун пережил англо-французско-израильскую агрессию против Египта — ему пришлось участвовать в эвакуации американцев из Порт-Саида.

Во флоте он получил аттестат об окончании средней школы, попытался поступить в Нью-Йоркский университет, но, не преуспев и там, в 1960 году уехал в Новый Орлеан, где познакомился с движением против сегрегации. Стал работать в газетах, поскольку всегда любил писать.

Когда Р. Стоун прочитал объявление о том, что Стенфордский университет предлагает стипендию желающему заняться литературным творчеством, не требуя от поступающего документа о высшем образовании, он воспользовался этой стипендией, переехал в Калифорнию и там начал писать. Сошелся с местными литераторами, с битниками, встречался с Керуаком и Гинсбергом. Но к тому времени, говорит Стоун, движение битников уже утратило свой смысл, они слишком углубились в самих себя.

Опубликовав первый роман «В зеркалах», он взял аванс под второй у издателя и стал работать как журналист и сценарист. Затем переехал в Лондон и сотрудничал там в различных журналах.

Там же познакомился с американцами, дезертировавшими из армии в знак протеста против войны во Вьетнаме. Р. Стоун стал размышлять об этой войне, захотел разобраться в том, что же там на самом деле происходит. В 1971 году в качестве корреспондента от маленького лондонского журнала «Инк» он отправился во Вьетнам. Корреспондентская работа в этой стране послужила основой для его следующего романа «Пасынки войны», в котором он выразил свое неприятие войны во Вьетнаме как войны несправедливой и уродующей человеческую душу. По роману был снят фильм.

В середине 70-х годов Р. Стоун побывал в Гондурасе и в Никарагуа накануне революции. Как итог этой поездки появился роман «Флаг на заре», о котором уже шла речь.

Роберт Стоун пишет и стихи, но не публикует их.

Он много путешествует по свету и представляет не очень обычный для современной американской литературы тип писателя — человека бывалого, пришедшего в литературу из университетов жизни, из журналистики (кстати, до второй мировой войны это было характерно для подавляющего большинства американских литераторов).

После службы в американском военно-морском флоте Р. Стоун много плавал, в том числе и на судне, которое обслуживало американскую антарктическую экспедицию, и два месяца провел в Антарктиде. Служба во флоте была для него, по его собственному признанию, едва ли не единственным выходом из всех трудностей, в которых он оказался в юности.

Разговор коснулся ситуации в Центральной Америке, и Р. Стоун отметил, что там сложилась исключительно сложная обстановка. Он сравнивает имперские амбиции США с колониальной политикой Англии в XIX веке. На прямой вопрос о том, как он сам относится к политике Соединенных Штатов в Никарагуа, ответил коротко: «То, что я чувствую,— в моей книге».

Что касается литературных симпатий Роберта Стоуна, они связаны с реалистическим направлением художественного творчества. В течение какого-то не столь давнего времени реализм, по его мнению, было принято считать в США чем-то устаревшим, но теперь он переживает, пожалуй, новый подъем в своей специфической разновидности — глубокого проникновения во внутренний мир индивидуума. «Мы не верим в «буквальный» реализм», — говорит Стоун, имея, видимо, в виду формальные признаки жизнеподобного построения сюжета.

описаний характеров и так далее, но истинный реализм, с его точки зрения, является главным и самым плодотворным направлением в литературе.

Речь заходит о том, кто наиболее близок моему собеседнику из американских писателей. Он называет Джона Дос Пассоса и Эрнеста Хемингуэя. Особенно почтительно говорит о Хемингуэе, называя его «великим техником, мастером». «Молодые писатели, — считает Стоун, — идут за ним»

Да и в книгах самого Роберта Стоуна можно найти много общего с творчеством Эрнеста Хемингуэя: ведь в чем-то «Флаг на заре» напоминает «Иметь и не иметь» и «По ком звонит колокол» — в нем ощутимо воздействие сурового и строгого стиля Хемингуэя, сочетающееся с панорамностью видения, свойственной Джону Дос Пассосу.

Фолкнер менее близок Роберту Стоуну, но, подчеркивает он, «я не вступаю ни в какие противоречия ни с одной реалистической школой творчества. Реализм определенно вознаграждает писателя наибольшей свободой выражения»

Возвращаясь к XIX веку в литературе США, Роберт Стоун рассказывает, что еще в юные годы его привлек Эдгар По — поэт. «Марк Твен,— говорит он,— положил начало современной литературе. Его роман о Гекльберри Финне сродни русскому роману; как у Гоголя, у Твена здесь безграничный юмор, юмор, который ищет».

Чрезмерно важен для Стоуна Мелвилл: «Моби Дик» для меня — великая книга. Это более чем роман — это философия жизни, поиска».

Он очень любит Стивена Крейна и его «Алый знак доблести». Ему нравится Драйзер, который «запечатлел переломный этап в жизни Америки. Романы «Сестра Керри» и «Дженни Герхардт» он считает социально интересными, хотя при этом и полагает, что «стиль Драйзера слишком очевиден». Высоко ценит Фрэнка Норриса.

Джек Лондон кажется ему очень интересным писателем, хотя и «неинтеллектуальным» по образу жизни и творчества. В его произведениях, и прежде всего в «Морском волке», он усматривает влияние Ницше.

Что же касается русской литературы, Роберт Стоун ссылается на чье-то высказывание о том, что славяне внесли в мировую культуру два великих вклада, подарив миру соху с железным наконечником и русское искусство. Первым из близких ему русских писателей он называет Ф. М. Достоевского, которому нет равных, по мнению Стоуна, и который обнажил зло и страсть в жизни человека и общества (Рядом с Достоевским он ставит Диккенса, чье влияние испытал и сам.) В наследии Достоевского ему особенно дороги романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы».

После Достоевского Роберт Стоун называет Льва Толстого: «Толстой — гигант знаток и исследователь человеческого сердца. Достоевский и Толстой — это два величайших гиганта литературы». Он любит Чехова, широту его натуры и глубину чувств. Знаком с прозой Пушкина.

Сильное впечатление на него произвели «Мертвые души» Гоголя. «Читая их, — говорил он, — познаешь, каким должен быть роман». Пьесу М. Горького «Враги» видел в театре; в кино — японский фильм по пьесе «На дне». Читал из советских писателей Шолохова («Тихий Дон») и Эренбурга (документальную прозу).

Отвечая на вопрос, как оценивает он творчество своих молодых коллег (а нужно сказать, что в американскую делегацию входили два очень молодых писателя — 24-летний Дэвид Левит, автор одной книги, и Джей Макинерни, который в свои 30 лет опубликовал уже два романа), Роберт Стоун очень дружески отозвался об их творчестве, но подчеркнул, что они смогли написать свои романы так рано потому, что им не нужно было думать о заработке в юношеские годы. Выходцы из состоятельных семей, они окончили престижные частные университеты, а затем обратились к литературному творчеству. «Я же,— говорил Роберт Стоун, — не был готов к литературному творчеству в юности. У меня не хватало времени: я должен был зарабатывать на жизнь. К тому же я рано женился». В этих простых словах — характер человека, который знает тяготы и трудности жизни, который понимает радости и горе человеческого существования, и это придает особую жизненность его творчеству, особую остроту и человечность его взгляду на жизнь — честному и правдивому.

В своем выступлении на симпозиуме Роберт Стоун коснулся угрозы термоядерной войны, которую кто-то из советских участников назвал «поистине сатанинской» «Принцип, в соответствии с которым миру приходится ожидать ядерного разрушения, может быть «первым сатаническим», — согласился Стоун, — но писатели должны помнить, что сатана по традиции — отец лжи. А мы не можем позволить себе отрицать истину даже во имя лучшего из дел» Под истиной он прежде всего имел в виду отказ от общих фраз и дешевых сантиментов. Так снова всплыла в нашей беседе тема честности и правды — роль писателя в борьбе против ядерной катастрофы в глазах Роберта Стоуна связана с этими понятиями неразрывно.

С некоторым беспокойством Роберт Стоун говорил о своем последнем романе «Дети света». Он огорчен тем, что в нем усмотрели отход от главной линии его творчества. Дело в том, что в отличие от первых трех романов, написанных по таким острейшим проблемам, как борьба за гражданские права на Юге США, как растление душ молодежи, прошедшей через войну во Вьетнаме, или как революционная ситуация в Центральной Америке, «Дети света» вводят нас в, казалось бы, спокойный мир преуспевающих актеров Голливуда. Но и в их жизнь проникают трагические ноты. Стоун не утрачивает драматического видения жизни — героиня этого его романа гибнет не сумев подчиниться голливудским «правилам игры». И в самом беспокойстве Роберта Стоуна по поводу упреков в отходе от острых тем современности проявляется его характер — характер человека и писателя, стремящегося служить не только истине, но правде.

◆

Антирубрика

РАССКАЗЫ ФИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Перевод с финского ТАИРЫ ДЖАФАРОВОЙ

КЕРСТИ БЕРГРОТ

Законный муж

Нас, женщин, почему-то часто упрекают в том, что мы несдержанны на язык. Считается также, что в браке именно мы бываем нервными и слишком придирчивыми. А что в этом удивительного? И как можно не сердиться на мужа? Ведь он все делает не так. Даже прилично вести себя не умеет. Предпочитает общество каких-то странных, одетых не по моде людей, молчит, когда нужно говорить, и говорит, когда нужно только мечтательно вздыхать, остается дома, в то время как обещал пойти куда-то вместе с тобой и увязывается следом, когда ему гораздо приличнее остаться дома. Такое ощущение что мужчина не вписывается в правильный распорядок мира. Все шло бы по разумным и ясным канонам логики, если бы муж не был исключением из законов природы и величайшей несуразицей.

Это сразу заметно, когда хозяина несколько дней нет дома. Живется тогда легко и привольно, ничто не нарушает естественного течения жизни. В доме с утра царят веселая суета и беззаботность. В пеньюарах, с чашкой в руке бегаем из комнаты в комнату, медленно одеваемся и при этом беседуем Ибо утренней порой человек, как никогда, настроен вести дружеский, откровенный разговор обо всем на свете, и в частности о замужестве. Например: «Ты веришь в брак? Я — нет. Два года назад верила, но теперь вера моя рухнула; я вижу, как люди далеки друг от друга».— «А я верю в брак. В основном из-за детей. Легко могу вообразить, что у меня другой муж, а не Юрьё или что мужа нет вообще, но не представляю себе жизни без Пупси и Пойю»

Говоришь и не наговоришься, будто до этого молчала месяцы. В такие дни вдруг замечаешь, что с мужем и словом не перемолвишься по-человечески, в его обществе ты всегда должна произносить только то, что положено законной жене, а не то, что думаешь на самом деле. Если выкладывать мужу все, что приходит в голову, он перестанет вообще тебя понимать. Он не успевает следить за порханием твоей мысли, когда, назвав что-то черным, ты в следующую секунду говоришь, что оно белое. Мужчине вообще не дано оригинально мыслить; не умея поддержать разговор, он твердит свое, неуклюже доказывая, что если что-то белое, то это же самое никак не может быть черным. Убеждать мужа бесполезно, поэтому многие жены предпочитают не разговаривать с ним вообще. Поспорить — пожалуйста, но в споре, как известно, истина не рождается. Спорить — это все равно что смеяться или плакать: рефлекс, ничего более.

Но вернемся к той прекрасной поре, когда главы семейства нет дома, прекрасной потому, что, когда мужа нет, особенно ясно ощущаешь его недостатки. В такие дни даже завтракается и обедается совсем по-другому, в трапезах появляется элемент свободной импровизации. Скучные обеды, необходимые лишь постольку, поскольку этого требует чувство долга и традиции, отменяются: вместо них на столе лишь то,

КЕРСТИ БЕРГРОТ — KERSTI BERGROTH (1886—1975)

Финская писательница. Автор романов, пьес и множества фельетонов. Рассказ «Законный брак» взят из антологии «Финский юмор» («Suomalaista huumoria». Helsinki, Tammi, 1963).

что отвечает самым простым и скромным потребностям: сардины в масле, сыр рокфор, какао, торт со взбитыми сливками. Часть еды мы захватываем в гостиную, чтобы есть и одновременно наслаждаться чтением увлекательного романа. А ведь муж еще ни разу в жизни не переходил во время еды из одной комнаты в другую. Мужчине свойственна какая-то непреодолимая потребность в обеденной церемонии, превращающейся в бесконечное пережевывание пищи. То ли дело, когда за столом одни женщины: уж они-то, в отличие от мужчин, дают волю фантазии. Каждая ест как и что хочет: подцепит вилкой кусочек с одного блюда, потом с другого, третьего; кто-то, позабыв о том, что еда уже на тарелке, самозабвенно отщипывает ветчину с общего блюда.

Мужчина сначала сосредоточенно накладывает себе еду, а потом за один присест поглощает. На это нужно немало сил, и трапеза превращается в ритуал, который женщину утомляет. Когда мужа нет дома, дни бегут беззаботно и весело. Все уходят на работу и возвращаются в самом лучшем расположении духа. Вечером приглашаются именно те гости, которых хозяин дома терпеть не может. Сразу становится уютней, когда тетушки Ирья и Миина (при отце семейства их обычно стараются выпроводить до ужина) слоняются, перекликаясь, по квартире.

А как восхитительны долгие вечера без мужа! Для них припасены откровенности и полупризнания, о которых на следующий день сожалеешь. Но женщины к подобного рода сожалениям относятся философски, тогда как муж после очередного проигрыша в вист испытывает к себе отвращение.

Замечено, что глава семьи обычно пребывает в одном из трех состояний; он либо ест, либо читает газету, либо спит. Женщине, пытающейся вспомнить на своей серебряной свадьбе счастливые дни совместной жизни, очень трудно бывает выстроить в хронологическую последовательность тысячи картин, которые все сводятся к трем неизменным: муж с вилкой в руке, муж за газетой и муж с закрытыми глазами и с открытым ртом. Мобилизуя всю свою нежность, она пытается связать воедино картины юности с нынешними, но видит перед собой лишь с годами округлившийся силуэт мужа. Иногда все картины прошлого сливаются в одну: мужчина с вилкой в руке.

Ни для одного живого существа поглощение пищи не является столь типичным занятием, как для законного мужа. Для других людей, которые спокойно живут и здравствуют, это всего лишь способ поддержания жизни, но для законного мужа еда становится чуть ли не смыслом существования. Детям муж кажется странным существом, которое появляется, когда подают жаркое. А для хозяйки и для прислуги он тот, ради кого нужно регулярно готовить.

Женщине вообще хотелось бы, чтобы муж не ел. Ведь на то, что без этого он не может обойтись, до свадьбы не было и намека. Если муж хочет сохранить любовь жены, ему не надо питаться совсем. В те мгновения, когда он пережевывает пищу, в нем появляется что-то первобытное, некое тупое самодовольство, оскорбляющее чувства жены.

Интересны и другие особенности поведения законного мужа. Среди женщин (особенно молодых) его невозможно узнать: он теряет над собой всякий контроль и сосредоточивает внимание обычно не на тех, с кем ему разрешено общаться,— от них он шарахается словно от чумы, зато, как назло, крутится около двух-трех красоток, которых его жена (по вполне объективным причинам, разумеется) терпеть не может. У законного мужа, к сожалению, напрочь отсутствует способность взглянуть на себя со стороны, что вносит в жизнь разом скуку и суету.

Когда муж дома, он в любую минуту может что-нибудь выкинуть. Загадочна, скрыта во мраке душа даже самого лучшего из мужей. В ней есть глубинные течения и неожиданные извивы, которые жену держат в постоянном напряжении. Сливками общества законный муж считает заядлых курильщиков и пьяниц. Тут проявляется основная черта мужского характера. Хотя на словах законный муж признаёт, что опустившийся человек жил и действовал неправильно и непрактично, втайне он убежден, что это было всего лишь следствием одного из прекраснейших порывов — стремления к свободе, которой сам он теперь лишен. С непостижимой силой притягивает его к себе люди, которым не нравится его жена. Если кто-то хочет завоевать симпатию мужа, ему достаточно лишь избегать общества его жены или клеветать на нее. Еще одна отличительная особенность законного мужа: он стыдится брака, особенно если этот брак счастливый. Из-за мужчин нужно вместо семейного союза выдумать что-то другое. А может, просто скрывать свой брак? Ибо неловкость из-за него испытывают все без исключения мужья, и они самыми разнообразными способами стараются показать неженатым мужчинам, что семьи у них как бы не существует. Они во всем соревнуются с холостяками, пытаясь их убедить, что они, мужья, в браке свободны.

Но если так, мужчины, то не женитесь! Пусть у вас будут тайные возлюбленные и тайные дети на стороне, это пристойно и даже утверждает мужское достоинство. Долой современный брак с его «женами» и «семьями»! «Семейный мужчина»! Какое пошлое сочетание слов! Брак лишает жизнь мужчины поэзии.

Да, но что же в таком случае будет с домашним очагом? Мужчина в доме необходим, и вообще без мужчин на свете было бы скучно. Капля иррациональности, которую они вносят в наше существование, прекрасна. Когда муж после двухдневного отсутствия возвращается домой, происходят тысячи разных странностей и нелепостей, жизнь неузнаваемо меняется, становится наполненной. Снова начинается тайная борьба противоположностей: с одной стороны, острый ум жены и ее трезвое понимание того, что хорошо и что плохо, а с другой — капризное и безответственное существо, муж. Но миллионы женщин все же предпочитают эту захватывающую игру

унылому течению правильной жизни. Мужчина — это авантюрное начало нашего бытия, очаровательный каприз и парадокс природы, маленькая упрямая штормовая волна, кружащаяся в мощном водовороте жизни. Ошибаются те, кто не признает значения и прав мужчин. В огромном царстве природы мужчинам безусловно отведена своя роль.

Менкен[1] утверждает, что каждая женщина считает мужчину идиотом. Ничего подобного. Разве стали бы тогда жены называть мужа «розанчиком» или «котеночком»? Даже если он столь же бездумен и беспечен, как кошка или цветок? Нет! Если смотреть на вещи трезво, все на свете прекрасно и все имеет свое назначение, даже законный муж!

ОРИГО

Темная сторона финского брака

Во время встречи читателей с редакцией одного литературного журнала было выяснено наконец, в чем заключается темная сторона финского брака. О существовании таковой подозревали уже давно, но теперь определили ее доподлинно.

Вот к брачному ложу финна приближается его жена в сияющей первозданной чистотой и белизной ночной рубашке. Колени ее отмыты до блеска, тело благоухает дурманяще и призывно. Брови причесаны, зубы почищены, ногти на руках и ногах — словно лепестки роз. Она устраивается на чистейших простынях и берет в руки книгу под названием «Советы любящей жене», где, в частности, написано: «Чтобы сохранить любовь мужа, женщина должна быть ему хорошей женой, преданным другом, пылкой возлюбленной и матерью его детей. Все эти достоинства одинаково важны, и женщина, обделенная хотя бы одним из них, способна потерять и остальные».

Счастливая и убежденная в том, что обладает всеми этими совершенствами, жена призывно смотрит на дверь, из которой вскоре должен появиться глава семейства. И вот он появляется! Линялая фланелевая пижама на нем совсем обветшала и пузырится на коленях, в петлях вместо пуговиц — скрепки, штаны спадают — настолько растянулась резинка. Под мышками выступили темные пятна, а если он, не дай бог, тряхнет случайно головой, вокруг нее образуется серое облачко перхоти. Он давно не брился и зарос щетиной по самые глаза, зубы его пожелтели от никотина, под ногтями — глубокий траур. Но главное — дух, который исходит от него. Даже нетренированный нос сразу уловит запахи табака, пота и бифштексов, в то время как жена благоухает ванилью. Чуткий же нос различит гораздо больше: пивной перегар, аромат дешевых духов секретарши, запахи несвежих чехлов на сиденьях в его машине и всех бродячих собак, которых он удостоил трепки. Вместе взятое, это образует мощную симфонию запахов, по которой в наши дни безошибочно узнаешь финского мужа. Симфония эта посвящается его ушедшей молодости, недостигнутым целям, несбывшимся надеждам, успехам и поражениям, радостям и печалям. И вот этот муж приближается наконец к брачному ложу, восходит на него, гасит свет и... мгновенно засыпает. В этом-то, и ни в чем другом, заключается темная сторона финского брака.

СЕРП

Как хорошо, что не у нас!

За одно мы можем быть благодарны правительству: радиовещание у нас государственное. Только вообразите, что было бы, если бы оно принадлежало миру бизнеса. Крупнейшие концерны и торговые фирмы оплачивали бы программы передач, используя их заодно в целях рекламы, как во Франции, например, или в Америке. Оторопь берет, когда подумаешь, насколько изменилась бы атмосфера покоя, царящая в нашем доме, что сталось бы с тишиной и уютом. Представим себе, что по радио передают концерт классической музыки. Звучит симфония Бетховена, состоящая из частей: Allegro ma non troppo, Andante...

Еще не стихли последние торжественные аккорды, а уже убедительно и страстно раздается неотразимый, бархатный вкрадчивый голос диктора:

— Дорогие радиослушатели, этот изумительный концерт финансировала торговая фирма «Помазок и пена»! Покупайте нашу превосходную продукцию! Только

© Jouni Lompolo, 1983

[1] Генри Менкен (1880—1956) — американский писатель, литературный критик.

ОРИГО — ORIGO (род. в 1936 г.)

Псевдоним финского фельетониста Йоуни Ломполо, архитектора по образованию. Творчество Ориго отмечено государственной литературной премией Финляндии. Рассказ «Темная сторона финского брака» взят из сборника Ориго «Избранные фельетоны» («Valitut pakinat» Helsinki, Tammi, 1983).

СЕРП — SERP (1894—1977)

Псевдоним финского писателя, драматурга, фельетониста Сеере Салминена. Рассказы «Как хорошо, что не у нас!» и «Обеденный перерыв» взяты из сборника его юмористических рассказов «Смотрите веселей» («Hiukan iloisempi ilme». Helsinki, Werner Söderström, 1954).

что в продажу поступило новое туалетное мыло «Чудо-дева». Оно отлично пенится, прелестно пахнет и насыщено гормонами. Покупайте, пока это мыло есть в продаже. Итак: «Чудо-дева», «Чудо-дева»...

Диктор умолкает, раздаются божественные звуки Allegro ma non troppo.

Но слушатель уже не в состоянии им внимать. «Чудо-дева» заполонила его воображение. Скорее бы стать счастливым обладателем мыла! Сегодня уже поздно, но завтра с утра...

Или, допустим, декламирует известная чтица, как всегда выразительно, блестяще, виртуозно. Едва лишь она произнесет последние строки, уже затрещит, точно пулеметная очередь, голос диктора:

— Вы только что слушали прекрасное чтение Эллы Эронен. Это — подарок от нашей лучшей деревообрабатывающей компании «Чурбан». Только что в магазины поступила очередная новинка — спички без головок. Они называются «Античирк». Внедряйте их в быт! Можете спокойно дать коробок ребенку, он все равно не сумеет зажечь такую спичку. Итак: «Античирк» — в каждый дом!

Или вообразим себе, например, что известный своим красноречием профессор университета живописует пиршества Древнего Рима. Он торжественно переворачивает третью страницу текста, но вдруг замолкает, и мы слышим прерывистый голос запыхавшейся кинозвезды.

— Дорогие радиослушатели, выступление профессора организовано для вас на средства объединенных брючных мастерских. Знаете ли вы, что они могут обеспечить вас всем, в чем только нуждается человек, начиная с младенческого возраста и до ста лет? Покупайте наши ползунки, джинсы, «бананы», кальсоны! Скорее, прямо завтра, с утра, пока не разобрали! Наше объединенне предлагает самые лучшие в мире брюки. Только приходите завтра же, иначе можете опоздать...

Снова вторгается размеренный голос профессора. Но античное спокойствие уже покидает вас, ибо «Купите, купите, купите!» — назойливо стучит в голове. Какой ужас! Ведь и без того рекламная шумиха и толчея в магазинах доводят нас до безумия. Что же будет, если еще присоединится радио? А как раздражают эти глупые вставки, ради которых прерывают передачи! Так, и только так, хотите верьте, хотите нет, живут за границей. Какое счастье, что это у них, а не у нас!

Обеденные перерывы

Торговая фирма «Пеллава и Хампу» — в конторе г-н Хампу и г-н Пеллава.

Г-н Пеллава. Вы еще здесь?

Г-н Хампу. Да, побуду немного. А что?

Г-н Пеллава. Мне нужно уйти, у меня деловой обед, важная встреча...

Г-н Хампу. Смотрите, чтобы этот деловой обед не затянулся до ужина. У нас тут много срочной работы. Что это за бумаги у вас?

Г-н Пеллава. Для господина Виккери. Он должен прийти с минуты на минуту. Кладу бумаги на стол. Когда он придет, дайте их ему на подпись.

Г-н Хампу. Ясно. Не исчезайте на весь день, хорошо?

Г-н Пеллава. Скажите это себе.

Г-н Пеллава уходит. Г-н Хампу некоторое время работает, потом смотрит на часы и вызывает г-на Торьява.

Г-н Хампу. У меня деловой обед. Оставляю на столе договор господина Виккери. Когда он явится, передайте ему, что мне, к сожалению, пришлось уйти на важное совещание, но он, разумеется, может сам подписать эти бумаги. Все уже согласовано.

Г-н Торьява. А сколько времени вас не будет, шеф? Дело в том, что через полчаса у меня обеденный перерыв.

Г-н Хампу. Подумаешь, какое дело! Возьмите и сдвиньте. Как известно, перерыв растягивается надолго.

Г-н Торьява. Ну да, так вообще можно остаться без обеда.

Г-н Хампу. Ладно, я пошел. Если кто будет меня спрашивать, я на совещании.

Г-н Горьява. А что сказать, если поинтересуются, когда вы вернетесь?

Г-н Хампу. Хм-м... пусть оставят номер телефона — когда вернусь, позвоню.

Г-н Хампу наконец уходит. Г-н Торьява открывает ящик, в котором, как ему известно, шеф хранит сигареты, достает одну и закуривает. В комнату входит машинистка Кукканен с бумагами.

Барышня Кукканен. Что, Хампу уже исчез? Я принесла ему письма на подпись.

Г-н Торьява. Положите их на стол. Вы, как всегда, кстати. Шеф просил вам передать: когда придет некий субъект по фамилии Виккери, пусть подпишет эти бумаги.

Барышня Кукканен. Но у меня сейчас перерыв, я иду есть.

Г-н Горьява. Шеф сказал, что мне можно уйти на перерыв, а вам придется подождать Виккери.

Барышня Кукканен. Как же так? Я ведь голодная.

Г-н Горьява. Покидая нас, шеф сказал, что в этой богадельне слишком много времени тратят на еду.

Барышня Кукканен. Да что вы говорите? Господа объедаются с утра до вечера, а мне и пообедать нельзя? Взвалили на меня всю работу и еще кричат, что клиенты недовольны! Хватит, брошу я эту лавочку!

Г-н Торьява. Что вы, милая барышня, стоит ли нервничать из-за пустяков? Минутой позже, минутой раньше — не все ли равно? Виккери придет очень скоро. И как же вы оставите такое хорошее место? Тем более теперь, когда знаете наш распорядок..

Барышня Кукканен. Именно потому и оставлю. Вот вам бумаги, а я иду обедать. Привет!

Барышня Кукканен уходит. Г-н Торьява гасит сигарету и звонит курьеру. Появляется курьер Яллу.

Г-н Торьява. Слушай, Яллу, я ухожу на перерыв. Когда придет господин Виккери, дай ему эти бумаги и попроси подписать. Да скажи, что я и начальство — на важном совещании.

Яллу. В каком ресторане?

Г-н Торьява. Это тебя не касается. А

будешь дерзить, вообще можешь отсюда убираться.

Яллу. Я как раз собирался пойти поесть.

Г-н Торьява. А я не разрешаю!

Г-н Торьява уходит. Яллу выдвигает ящик, в котором, как ему известно, шеф хранит жвачку. Едва он успевает засунуть в рот две штуки разом, как входит господин Виккери.

Г-н Виккери. Можно ли видеть господина Пеллаву?

Яллу. Кроме меня, в конторе никого нет: ни Пеллавы, ни Хампу, ни Торьявы, ни девицы. А у меня сейчас перерыв, я никого не обслуживаю.

Г-н Виккери замечает бумаги на столе, берет их и сердито надевает шляпу.

Г-н Виккери. Передайте своим начальникам, что, поскольку г-н Виккери из-за них остался без обеда, он с голодухи проглотил бумаги и направился затем в другую контору, где не только объедаются целыми днями, но еще и работают.

МАРТТИ ЛАРНИ

Интервью

У меня взяли интервью. Журнал «Салат юлки», издаваемый большим тиражом и способный ошарашить любого читателя своими сенсационными публикациями, захотел узнать, как я отношусь к курению.

— Скажите, вы много курите? — спросил корреспондент.

— Хм...

— Как по-вашему, можно чем-нибудь заменить курение — флиртом, например? Легкий флирт совершенно безопасен для здоровья и в то же время отвлекает от табака. Что вы об этом думаете?

— Хм...

— Отлично. А что вы думаете о международной обстановке, космических полетах, модах летнего сезона и современной поэзии? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями

— Не хочу.

— Спасибо. Было очень приятно получить у вас интервью. Наш журнал придает огромное значение всему, о чем мечтает рядовой финн. Поздравляю, теперь о вас узнает широкая публика. До свидания! Всего доброго!

— Прощайте!

Наш разговор продолжался всего минуты две. Он не вызвал у меня ни перенапряжения умственных сил, ни комплекса неполноценности, ни зазнайства, ни бессонницы, ни желания заменить курение флиртом. Я остался абсолютно равнодушен.

Сегодня это интервью появилось на первой странице журнала, оно занимает три столбца. Если вы еще не читали, я его вкратце процитирую.

«...Долгие годы я был заядлым курильщиком, изводил сигарету за сигаретой,— доверительно сообщил нам господин Икс.— А потом бросил курить и переключился на флирт, в чем весьма преуспел. Спустя немного времени я все-таки обратился к трубке, но теперь у меня столько поклонниц, что я, образно выражаясь, прикуриваю прямо от их пламенных сердец. Мой любимый табак так и называется — «Пламенное сердце», он ароматен и побуждает к возвышенным размышлениям. Его продают в коробках в форме сердца с обнадеживающей надписью «Сердцу не вредит». Должен сознаться, что мои отношения с трубкой тоже вначале носили характер флирта, но потом мы с ней вступили в прочный союз».

«Итак, господин Икс рекомендует заядлым курильщикам именно трубку, поскольку она настраивает на философско-романтический лад. Причем во время интервью сам господин Икс постоянно где-то витал — по всей вероятности, в космическом пространстве...»

«...О модах летнего сезона он заявил следующее: всякий разумный человек скорее предпочтет вступить в общество нудистов, чем станет покупать модную одежду по баснословным ценам. Для одних главное — мода, для других — удобство. Став нудистом, убиваешь сразу двух зайцев! Кроме того, нудисты не подозревают, что на свете есть моль и нафталин...»

«...Об ограблении банков и о современной поэзии господин Икс сказал слова поистине знаменательные: «И то и другое в духе времени». Вдумайтесь, это же просто гениально!»

«...В заключение господин Икс просил передать от него сердечный привет читателям нашего журнала. Ибо, по его мнению, «Салат юлки» — один из самых замечательных журналов на свете, активно вторгающийся во все без исключения области жизни. Кстати, брать интервью у господина Икс — одно удовольствие: говорит он немногословно, но убедительно. Продолжение нашего интервью, дорогие читатели, мы опубликуем послезавтра».

А теперь разрешите сказать, что по поводу этого интервью думаю я. Нам повезло: мы живем в эпоху космических полетов, и я твердо уверен, что в следующий раз туда отправят (и, надеюсь, надолго) корреспондента журнала «Салат юлки», ибо он великолепно живописует то, чего не видел, и цитирует то, чего не слышал.

Завидую всем, у кого воображение богаче, чем у меня. Но очень боюсь интер-

---

МАРТТИ ЛАРНИ — MARTTI LARNI (род. в 1909 г.)

Финский писатель. Советским читателям известен по переведенным на русский язык романам «Четвертый позвонок», «Госпожа советница» («ИЛ», 1960, № 8, 9), юмористическим рассказам.

Рассказ «Интервью» взят из сборника «Поющая финская кошка» («Suomalainen mollikissa». Helsinki, Tamml, 1962), рассказ «В сауне» — из сборника «Непостижимое счастье» («Uskomatota onnea». Helsinki, 1966).

вьюеров. И поскольку флиртовать, а тем более с трубкой, я не умею, остаюсь ваш, по-прежнему заядлый курильщик,

Мартти Ларни.

В сауне

От финского национального характера можно ожидать любых сюрпризов, но лучше всего раскрывается он в сауне. Этому, как наукой доказано, чрезвычайно способствует сухой пар, что могу подтвердить и я после необыкновенно веселого вечера, который провел вчера в городской сауне Хельсинки.

На полке потело и кряхтело человек десять мужчин, весьма разнообразных анатомически: толстых и тонких, низеньких и длинных и, наконец, средней комплекции. Среди них не было ни одного адониса, но, к счастью, не оказалось и таких, кого полицейские, приняв за сбежавших орангутанов, ловят на улице и сдают в зоопарк. Любители сауны были столь же доверчивы и откровенны, сколь и раздеты. За короткое время я услышал одно из ряда вон выходящее признание и четыре обыкновенных. Первое выразилось в исполненной детской радости фразе:

— Ну и псих же я, черт возьми!

Хуже всего, что с этими откровенными словами купальщик — коренастый лысый смуглый человечек — истово поддал пару. Обеими руками он усердно растёр грудь, после чего с радостным воплем выплеснул воду из шайки на раскаленную печь. Термометр показывал уже сто градусов. Двое мужчин спрыгнули с полки вниз и бросали на маленького безумца негодующие взгляды, а он снова с восторгом провозгласил:

— Ну и псих же я, черт возьми!

— Не следует приходить в сауну в подпитии,— заметил преклонного возраста седой худощавый человек, назвавшийся налоговым инспектором.

Хотя все уже чувствовали, что в парилке нечем дышать и сумасшедшего коротышку давно пора стащить с полки, никто не поддержал справедливого замечания инспектора. Это лишний раз говорит о том, какую лютую ненависть питают финны к ни в чем не повинным сборщикам налогов.

— Да тут кожа слезет! — задыхаясь, возмутился инспектор.

— А с меня вы и так ее уже содрали,— зло сказал атлетически сложенный купальщик.— Кто ваши налоги выдержит, тому любой пар нипочем!

— Ну и псих же я, черт возьми! — снова восторженно провозгласил коротышка.

Тут инспектор, и без того замученный налоговой каруселью, спустился ступенькой ниже и сказал:

— Пойду потребую деньги за вход обратно. Нужно заявить в полицию. В общественную сауну нельзя пускать пьяниц и сумасшедших.

— Ах, сумасшедших? — скривился атлет.— По-моему, весь мир уже давно сошел с ума, взять хотя бы транспорт в Хельсинки. В машинах одни психи разъезжают! Думают, что искусство вождения по наследству передается или что у пешеходов есть крылья. Дело обычно кончается тем, что пешеход отправляется в рай или в лучшем случае покупает костыли. В наши дни, чтобы не попасть под машину, надо быть чемпионом по бегу. Что до меня, я бы все автомобили обратил в металлолом! Эй, поддай пару! — повернулся он к психу.— А то здесь можно насморк схватить!

— Не умеешь — не берись! Финскому пешеходу неплохо было бы раза два попасть под машину, только тогда он научится правильно переходить дорогу,— заметил моложавый мужчина, у которого кожа приобрела цвет помидора.— Я автомобилист и знаю, что говорю. Слава богу, не только по Финляндии ездил!

— Ну и псих же я, черт возьми! — прокричал опять смуглый безумец и ринулся к шайке.

На сей раз все выскочили в предбанник, чтобы остудить обожженную кожу. Налоговый инспектор быстро оделся и поспешил к кассе — получить назад деньги за сауну. А все остальные продолжали изторопливый разговор, начатый в парилке. Оттуда послышалось злое шипение печи и тот же ликующий возглас:

— Ну и псих же я, черт возьми!

— Так вот, что касается безумия,— скрипучим голосом сказал скрюченный человечек,— я согласен с тем, что здесь говорили. Мир действительно сошел с ума!

— На что вы намекаете? Опять на превышение скорости? — поинтересовался автомобилист.

— Именно, именно. Мы живем в бешеном ритме. Люди так быстро сгорают, и совсем молодыми.

— А кто вы, собственно, такой? — спросил водитель-лихач.

— Кто, я?

— А кто же еще? Что, я должен на «ты» вас называть?

— Да нет же. Я бывший учитель. В прошлом году вышел на пенсию. Не могу больше выносить это нынешнее пренебрежение к правилам.

— Каким? Уличного движения?

— Да любым. Все распоясались, и те, у кого нет автомобиля, тоже. Но что меня больше всего тревожит, так это быстрое распространение порнографии.

— Распространение чего? — заинтересовался атлет.

— Порнографии.

— Порно, что ли? — в свою очередь спросил автомобилист.

— Ну да. Сейчас всё сокращают. Это тоже тяга к сверхскоростям. Вы даже не представляете себе, какая в этом таится серьезная опасность.

— В чем, в порно или в скоростях? — грозно спросил автомобилист

— В первую очередь в порно. С вашего позволения, я объясню, что это такое.

— Мы и так знаем! — вставил молчавший до сих пор купальщик.

— Порно сейчас так в моде! — воодушевился юнец.

— Я и не сомневался, что у вас это в моде, молодой человек! Меня больше всего волнует, с какой необычайной скоростью

растет на это ваше порно спрос. Еще бы, в пособиях недостатка нет — об этом позаботились наши молодые издатели и писатели, стоящие на страже прогресса и культуры. А знаете вы, что сейчас самая главная задача — найти преподавателей новой школьной дисциплины «Психология и физиология семейной жизни»? Разве можно допустить, чтобы в этом отношении Финляндия оставалась на уровне слаборазвитых стран?!

— Бред какой-то! — сказал юнец.

— Совсем спятили,— поддержал автомобилист.

— А еще преподаватель! — буркнул атлет.

— Ну и псих же я, черт возьми! — послышался из сауны счастливый голос, и раскаленная печь, на которую плеснули водой, тут же изошла сладострастным шипением.

Все замолчали и прислушались.

— Чтобы я еще хоть раз пошел в сауну! — возмутился атлет, натягивая кальсоны на свои могучие ноги.— Дайте этому психу дозреть в одиночестве! Да и вы, педагог, тоже того, немного спятили. Не иначе как вам... пар в голову ударил!

— Почему же, я как раз хочу еще разок пойти попариться,— бодро возразил тот.— Ревматизм, знаете ли, замучил, да и кровь что-то стынет. Никак не могу к этим современным темпам приноровиться.

— Оставь автомобиль в покое! — сказал автолюбитель.

— Я же не про автомобиль!

— Кого нужно учить, так это психов-автомобилистов, как следует водить машину,— вмешался атлет, натянувший уже носки на свои ластообразные ноги.— А с преподаванием «психологии и физиологии» можно повременить.

— Вы хотите сказать, что сперва этот предмет нужно ввести в порядке эксперимента? — спросил педагог.

— Я ваших ученых слов не понимаю! Мне интересно только, чем будут заниматься школяры на уроках по этому предмету?

— Друг мой, ученье — всегда свет,— отечески объяснил учитель.— Покажу вам на примере, к чему приводит незнание. Моей внучке одиннадцать лет. В один прекрасный день малышка приходит из школы и начинает горько плакать. Бедняжка, слезы смыли всю пудру и тушь с ее лица — так горько могут плакать лишь одиннадцатилетние девочки. «Что с тобой?» — спросила встревоженная мать. «Я больна, мне нужно скорее к врачу...» — «Но что у тебя болит: животик, головка?» А дитя опять в слезы: «Хуже, все намного хуже: мальчишки сказали, что я фригидная».

В предбаннике воцарилось гробовое молчание. Атлет, уже совсем одетый, шагнул к двери и буркнул:

— Все вы здесь помешались, психи несчастные!

Тут вышел из сауны веселый коротышка. Довольный, он что-то нечленораздельно восклицал и приветственно махал рукой. Автомобилист побежал к кассе и, явно нервничая, попросил немедленно вызвать врача-психиатра. Но оказалось, что жизнерадостного клиента девушка-кассирша знает. Это был алжирский моряк, который в сауну попал второй раз в жизни. По-фински он знал всего семь слов: «Ну и псих же я, черт возьми!»

Наши гости

Булаид Дуду и Мулуд Ашур

Алжир

Редакцию «Иностранной литературы» посетили известные алжирские литераторы Булаид Дуду и Мулуд Ашур.

Булаид Дуду — директор Института языка и литературы Алжирского университета, доктор филологических наук, специалист по западноевропейским, русской и арабской литературам. Он также автор нескольких сборников рассказов, пьесы «Земля», публицистических статей и переводов немецкоязычных авторов на арабский язык.

Булаид Дуду переводил произведения Пушкина и Толстого.

Мулуд Ашур — прозаик и журналист. Вот уже десять лет он ведет раздел культуры в газете «Аль-Муджахид», выходящей на французском языке. Автор четырех сборников рассказов. Нашим читателям известны его повесть «Тот, кто выжил» и рассказы, публиковавшиеся в литературном альманахе «Африка».

Советских участников встречи прежде всего интересовали тенденции развития современной алжирской литературы.

Вопрос: Прошло уже более двадцати лет со времени окончания национально-освободительной борьбы алжирского народа. Как вам кажется, почему не угасает интерес — и авторов и читателей — к этой тематике?

Мулуд Ашур: Национально-освободительная борьба алжирцев против колониального господства Франции — важнейший и не такой уж отдаленный во времени этап нашей истории. Она стала началом периода многих прогрессивных преобразований в алжирском обществе, продолжающихся и в наши дни. Социальные сдвиги происходят у нас на глазах и требуют осмысления, в том числе и художественного, тем более что процесс это не простой, идет не так уж гладко, выдвигает попутно все новые и новые проблемы. Вот почему тема национально-освободительной борьбы и связанных с нею общественных преобразований продолжает занимать алжирских писателей. Те, кого мы по праву считаем классиками алжирской литературы — Катеб Ясин, Мухаммед Диб, Мулуд Маммери, Малек Хаддад, Мулуд Ферауи, — в своих книгах постоянно возвращались и возвращаются к событиям тех лет. Назову хотя бы роман Маммери «Опиум и дубинка», действие которого происходит в период вооруженной борьбы, или «Человека в резиновых сандалиях» Катеба Ясина, в котором как бы проводится параллель между освободительной войной вьетнамского и алжирского народов.

Булаид Дуду: Да и первые годы независимости Алжира были во многом продолжением, только иными средствами, борьбы за национальную независимость. Борьба против засилья иностранного капитала, национализация земли и промышленных предприятий, принадлежавших частным компаниям Франции и других стран Запада, возникшее в ходе этих важных экономических мероприятий движение за рабочее и крестьянское самоуправление — вот лишь малый перечень тем, которые волновали алжирских писателей в конце 60-х годов. Большинство из них стремились в меру своих сил содействовать созданию общества, ориентирующегося на идеи социализма, но при этом сохраняющего традиционное уважение к духовным ценностям ислама.

Мулуд Ашур: Да, в тот период литературная продукция была весьма обильна, но настоящий «рывок» мы наблюдаем с начала 70-х годов. Появляются произведения, в которых делается попытка серьезного анализа тех социально-культурных противоречий, что сопутствовали борьбе с отсталостью. Писатели обращаются к таким проблемам, как все еще неравноправное положение женщины, резкое различие уровней жизни в городе и в деревне, и как следствие этого различия — отток деревенских жителей в город. Во многих произведениях остро критикуется косность иных живущих еще обычаев и традиций, особенно в сфере семейных отношений. Примером произведений такого рода могут служить романы На-

биля Фареса «Отречение» и «Солнечный удар».

Булаид Дуду: А такие писатели, как Рашид Мимуни, Рашид Буджедра[1], Ат-Тахир Ваттар, Абдельхамид Бенхаддуги, смело обращаются и к злободневным общественно-политическим вопросам, вопросам социального и культурного развития страны в целом. Они обращают внимание на то, что высказывания некоторых алжирских политических деятелей часто не совпадают с их практической работой и ее результатами, в итоге чего благие намерения, ими декларированные, никак не способствуют реальному прогрессу страны. Писатели поднимают голос против коррупции чиновничества, против того, что некоторые революционные принципы периода вооруженной борьбы претерпевают отнюдь не прогрессивную трансформацию из-за неблаговидной деятельности государственных чиновников, стремящихся лишь к личному обогащению.

Мулуд Ашур: Добавлю, что к писателям этого направления относится и сам Булаид Дуду.

Вопрос: Кто из современных алжирских писателей может, на ваш взгляд, быть назван среди наиболее крупных художников слова?

Мулуд Ашур: Бесспорнно, Мохаммед Диб и Мулуд Маммери — наиболее крупные франкоязычные алжирские писатели. Не так давно Маммери опубликовал во Франции роман «Переезд», который, с моей точки зрения, является вершиной его художественного творчества. Рашид Буджедра, несомненно, на сегодняшний день один из самых значительных и наиболее регулярно пишущих алжирских писателей. Я бы назвал еще одного, молодого, но, безусловно, талантливого прозаика — Азеддина Боннемера.

Среди арабоязычных авторов, считаю, следует упомянуть, помимо названных уже Абдельхамида Бенхаддуги, Ат-Тахира Ваттара и Булаида Дуду, еще и Мерзака Багдаша.

Вопрос: Велика ли тяга читателей к литературе в Алжире?

Булаид Дуду: В отличие от ситуации, существовавшей у нас до середины 70-х годов, когда из-за почти поголовной неграмотности населения, унаследованной от колониального периода, число читателей было весьма незначительным, теперь читательская аудитория заметно расширилась. Алжирцы, особенно молодые, с интересом встречают каждое новое произведение и на французском, и на арабском языках.

[1] «ИЛ» публиковала роман Р. Буджедры «Идеальное место для убийства» (1984, № 10).

Вопрос: Как отражается в литературной жизни процесс арабизации, проводимый государством на всех уровнях социально-культурного развития страны?

Булаид Дуду: Бесспорно, этот процесс выразился в увеличении числа произведений, написанных по-арабски, особенно это касается поэтических сборников. Однако в области прозы пока преобладают франкоязычные произведения.

Вопрос: В каких периодических изданиях алжирские литераторы имеют возможность публиковать свои произведения?

Мулуд Ашур: У нас выходит много журналов — на арабском и на французском языках, — посвященных вопросам культуры. В них определенное место отводится художественным произведениям и критике. Что же касается собственно литературных изданий, то существует только один франкоязычный журнал «Экспрессьон», издаваемый Оранским университетом, и один арабоязычный, выходящий раз в два месяца.

Вопрос: Каковы условия работы писателя в Алжире?

Булаид Дуду: Правительство приняло ряд мер, призванных способствовать улучшению этих условий. Например, авторские права, предоставляемые государственными издательствами, сейчас у нас намного шире, чем в западных странах. Правда, сравнительно небольшие тиражи книг не позволяют пока нашим писателям «жить своим пером». К сожалению, нет у нас пока ни творческих стипендий, ни специальных социальных мер, обеспечивающих писателям возможность заниматься исключительно литературным трудом. И все же нынешнее положение алжирского литератора не сравнить с тем, каким оно было до завоевания независимости, когда алжирцу просто не было места в литературной жизни страны. Если он в порядке исключения (а таких случаев было крайне мало) не был принят в «европейскую элиту», писатель-алжирец вообще не имел возможности публиковаться на родине. Парадоксально, но большинство произведений арабских писателей нашей страны выходило в то время в метрополии, и в Алжир они попали только после приобретения независимости.

Мулуд Ашур: Сегодня мы не можем еще сказать, что в Алжире идет интенсивная общественно-литературная жизнь. Тем не менее Союз писателей, журналистов и переводчиков нашей страны делает многое для того, чтобы создать благоприятные условия для литературных дискуссий и обсуждений, часто организуются конференции, поэтические чтения, встречи за «Круглым столом», посвященные вопросам развития алжирской литературы и литературной критики

Беседу записала М. МЕЩЕРЯКОВА

◆

Нэлида Пиньон

Бразилия

Достаточно беглого взгляда на карту Южноамериканского континента, чтобы увидеть, как бескрайни сертаны, как пространные плоскогорья, как обширны поймы рек Бразилии — самой большой страны Латинской Америки. Литература огромной страны не менее богата и разнообразна, чем ее природа. Советскому читателю известны имена Жоржи Амаду, Эрико Вериссимо, Освалдо Франсы Жуниора, многих других писателей. Однако бразильские литераторы в последние два десятилетия нечасто посещают нашу страну: во времена господства военной диктатуры в их стране наши литературные контакты резко сократились не по нашей вине. Сегодняшняя гостья журнала — бразильская писательница Нэлида Пиньон, чье имя стоит в первом ряду представителей современной бразильской литературы.

На VIII съезде писателей СССР Нэлида Пиньон присутствовала в числе зарубежных гостей. Естественно поэтому, что речь сразу зашла об этом событии. «Писательский съезд,— сказала Пиньон,— произвел на меня огромное впечатление прежде всего потому, что это был откровенный, открытый диалог, который вновь заставил задуматься о назначении литературы».

В чем же оно состоит, по ее мнению?

«Писательство есть для меня нераздельное двуединство — долг эстетический и этический, долг перед профессией и перед людьми, слово и жизнь, а жизнь всеохватна, она была, есть и будет, она и составляет то, что объединяет писателей различных стран, живущих в различных обществах, решающих различные проблемы...»

А когда мы попытались уточнить некоторые художественные понятия, Нэлида Пиньон заметила: «Приятно видеть такое внимание к слову. Стремление нащупать общий, общечеловеческий смысл слова есть воплощение мечты о братстве народов в нашем полном антагонизмов мире, где часто даже изначальная суть слова оказывается искаженной».

Так с первых минут беседы мы ощутили общность, заговорили на одном языке, который рождался из взаимного интереса, из желания понять друг друга,— что не только не исключало возможности дискуссии, а, напротив, сообщало беседе глубину и широту. И если позволительно сравнить наш диалог с многоголосым аккордом, то главной, «несущей» нотой в нем была именно тема взаимопонимания, к которой снова и снова возвращался разговор.

От проблем писательского труда и некоторых общих аспектов современного литературного процесса обсуждение перешло к собственно бразильской литературе, и Нэлида Пиньон рассказала о ее тенденциях, о жанровом разнообразии, назвала имена таких романистов и новеллистов, как Жозе Жоаким Вейга, Жоан Убалду Рибейру, Освалдо Франса Жуниор, Отран Доураду, Антонио Калладо, Адониас Фильо, Лижия Фагундес Теллес, Рубен Фонсека, Иван Анжело, Далтон Тревизан, Жоан Антонио и другие.

Как соседствуют разные жанры в современной бразильской литературе?

Сейчас преобладает тенденция обращения к жанру романа, говорит Пиньон и делится интересным наблюдением: в годы военной диктатуры в Бразилии наблюдалось поразительное явление — «эпидемия рассказа» среди прозаиков. Видимо, действительно, у каждого времени свой жанр и каждому жанру — свое время. Ведь роман требует не только писательской зрелости, профессионального мастерства, владения техникой прозы, но и философских обобщений, осмысления реальности...

Сама Нэлида Пиньон не замыкается в рамках одного жанра: ее перу принадлежат три сборника рассказов и семь романов — седьмой вышел совсем недавно и называется «Республика мечты»: это своего рода семейная сага, эпопея, охватывающая сто лет бразильской истории.

Произведения Нэлиды Пиньон еще не переводились на русский язык, и творчество ее пока не известно советским читателям, но то, как она сама говорит о нем, поражает эмоциональностью и одновременно какой-то особой глубиной в подходе к писательству, к его художественному и социальному смыслу. «Я писательница очень жадная, жадная до всего. Я хочу объять необъятное, а это необъятное есть человек, его натура, мир его души и мысли. Да ведь только так и можно писать! Мне важно не просто раскрыть проблему, но и оживить избранную тему огнем своей души, своими чувствами. И по мере того, как я со всей горячностью отдаюсь литературе, у меня прибавляется смелости жить, прибавляется веры в людей. Литература облегчает доступ к сердцам человеческим»

Писательницу очень волнуют проблемы назначения и смысла писательского труда:

«Писать — огромное счастье для меня, занятия литературой я ощущаю как великое чудо. Но я считаю, писатель должен помнить об огромной социальной и моральной ответственности перед людьми

Я вспоминаю, что мое поколение было в свое время буквально «бомбардировано» голливудскими фильмами, и порой удивляюсь, как мне удалось остаться невредимой, пройдя через такое «промывание мозгов».

Мне попался путеводитель по Ясной Поляне, и, прочитав его, я почувствовала такую родственность, такую близость тому, к чему я прикоснулась здесь, словно оно со-

держало частицу духовного мира писателей моей страны.

Совершенно очевидно, что творчество русского писателя Льва Толстого стало духовной ценностью всего человечества. Это пример того, как национальное становится общечеловеческим достоянием».

Нэлида Пиньон держится очень естественно, непосредственно, и когда она в ответ на свой вопрос о журнале услышала, что он выходит более тридцати лет тиражом без малого полмиллиона экземпляров, принося солидный доход государству,— ее искреннее изумление и сказанные в наш адрес лестные слова вряд ли можно было отнести только за счет вполне понятного желания сделать приятное хозяевам. Назвав возраст журнала «прекрасным бальзаковским», она продолжала:

«Мне это кажется просто невероятным — чтобы журнал подобного уровня просуществовал столько лет, сохранив такой колоссальный тираж! У нас это было бы невозможно, в нашей стране культура сталкивается с громадными экономическими трудностями. Правда, наш нынешний президент Жозе Сарней сам принадлежит к когорте писателей — он был избран членом Бразильской академии литературы раньше, чем президентом! — и он уже решительно заявил, что «мы начинаем культурное возрождение». Он выступает за возрождение литературы, театра, кино, музыки, фольклора... Так что в русле общего процесса демократизации идет и оживление литературной жизни».

Заговорили о том, как далеки наши страны — тысячи километров, разные культуры, разные проблемы, разные взгляды, разные традиции... Однако Нэлида Пиньон вовсе не принимает это как должное. Рассуждая как литератор, со своей профессиональной точки зрения, она считает, что немалое значение имеет и ограниченность представлений бразильских читателей о современной советской литературе, и чем более широкими станут эти представления, тем легче будет преодолеть многие предрассудки в отношении Советского Союза. Это справедливо и в отношении читателей из других западных стран.

«Сама я,— заметила Пиньон с улыбкой,— чувствую себя в Советском Союзе каким-то путешественником-первооткрывателем, кем-то вроде бразильского Марко Поло, и я увезу отсюда представление о величии вашей страны, чтобы в Бразилии больше знали о вас, чтобы «прорвать», преодолеть границы».

Мы говорили долго, обсуждали творчество писателей русских и бразильских, советских и американских, обсуждали проблемы современного мира и литературного мастерства и еще многое другое. Время, отведенное для беседы, давно истекло, однако, хотя день нашей гостьи был подчинен строгому расписанию поездок и встреч, мы, прежде чем распрощаться, проговорили еще добрых полчаса у дверей редакции.

Нам было интересно.

Е. МИРСКАЯ

◆

РЕДАКЦИЮ ПОСЕТИЛИ...

У нас в гостях побывала делегация работников пхеньянского издательства «Художественная литература»: директор и главный редактор Чон Со Чхон, заведующий отделом революционной литературы Рян Нам Ик и заведующий отделом иностранной литературы Хен Сан Рюль. Чон Со Чхон — известный корейский поэт, Рян Нам Ик — прозаик, а Хен Сан Рюль — переводчик русской и советской литератур. Гости рассказали о литературной жизни Кореи, о деятельности своего издательства. «Художественная литература» — одно из крупнейших издательств КНДР, печатающее не только классическую и современную корейскую литературу, но и переводные произведения. Издательством выпущено 100-томное собрание корейской классики, в настоящее время осуществляется издание 100-томной «Библиотеки иностранной литературы», в которой будут представлены все крупнейшие писатели мира, в том числе немало русских и советских: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Гоголь, Белинский, Чернышевский, Горький, Шолохов. Кроме книг «Художественная литература» издается и целый ряд журналов — литературный, кинематографический, детский.

«Основная задача литераторов социалистических стран,— сказал Чон Со Чхон,— теснее сплотить ряды перед угрозой империалистической агрессии, не допустить новой мировой войны». Ведущие темы современной корейской литературы, рассказали гости,— борьба с японским милитаризмом, пути воссоздания единой Кореи.

Большой интерес у гостей вызвала деятельность нашего журнала. Они выразили желание развивать контакты с редакцией и поставить наше сотрудничество на более регулярную основу.

Состоялась встреча сотрудников журнала с делегацией литераторов из Иордании. Новеллист Бадр аль-Хакк и поэты Али Фазаа и Юсуф Абд аль-Азиз представляли Союз писателей Иордании, насчитывающий сейчас более трехсот прозаиков, поэтов и критиков. Гости рассказали о жизни и деятельности своих коллег, об их проблемах и творческих планах. Занимаясь литературной работой, каждый из членов делегации имеет и основную профессию («У нас,— объяснил Бадр аль-Хакк,— одним литературным трудом писатель прожить не может»): Бадр аль-Хакк — главный редактор журнала «Аль-Афкар», Али Фазаа ведет отдел культурной жизни на иорданском радио, а Юсуф Абд аль-Азиз работает преподавателем в школе. Юсуф Абд аль-Азиз говорил о современной иорданской поэзии, зародившейся в 40-е годы. Сейчас в литературную жизнь страны активно входит уже третье поколение поэтов.

Иорданцы внимательно следят за развитием советской литературы, у них популярны книги, выпускаемые на арабском языке издательством «Прогресс», а также журнал «Советская литература» на английском языке.

Гости выразили стремление укреплять связи с советскими писателями, активнее сотрудничать с журналом «Иностранная литература».

Г. ЧХАРТИШВИЛИ

К нашим иллюстрациям

«Американские элегии» Эндрю Уайета

Выдающийся мастер современной американской живописи Эндрю Уайет (род. в 1917 г.) хорошо известен советскому зрителю: почетный член Академии художеств СССР, самобытнейший живописец-реалист, Уайет знаком ему и по серьезным исследованиям Е. М. Матусовской («ИЛ», 1970, № 12), Т. С. Юрьевой («Эндрю Уайет». М., 1986). Вновь заводя речь о его произведениях, целесообразнее сосредоточиться на позиции мастера, на своеобразии его роли в сегодняшней культуре США.

Индустрия заокеанской массовой культуры навязывает всему миру китчевые утопии и антиутопии «американской мечты». Но все же непреходящим критерием истины об американской действительности остаются образы Фолкнера, Сэлинджера, Брэдбери, Фроста, других блестящих мастеров слова, популярных у нас не менее, чем на своей родине. Есть, наконец, образы Уайета, составляющие суверенную и равноправную параллель гуманистической литературе США. Недаром во многих странах, несмотря на все фантасмагории «авангардистских» мод, именно Уайет, убежденный традиционалист, уже не одно десятилетие остается самым популярным американским художником, своего рода эталоном американской живописи.

Традиционализм Уайета отнюдь не провинциален, в чем нередко склонны упрекать мастера западные критики. Искренняя, первозданно-природная простота его мотивов, неизменно связанных с «малой родиной» художника (городки Чадсфорд в Пенсильвании и Кушинг в штате Мэн), передают общечеловеческие надежды и тревоги, с благоговейным уважением к натуре, к первичной «истине предмета», как говорит сам Уайет. Природа, мир сельской глубинки предстают тут, как в стихах Роберта Фроста, любимейшего поэта Уайета, живым средоточием человеческих трудов и дней, символическим свидетельством мужественного поединка с судьбой. Интерьеры Уайета одухотворены незримым присутствием хозяев дома, словно в картинах старых голландцев, пейзажи сродни выдержкам из лирического дневника. Портреты величественны, являя зрителю, при всей тонкости индивидуальных черт, целостные и масштабные, как сельский ландшафт, олицетворения гордой женственности, мечтательной юности либо старческого одиночества.

Уайет — подлинный исторический живописец, хотя он не написал ни одного полотна на исторический сюжет. И дело не только в том, что, с каллиграфической тщательностью прорабатывая детали в своей темперной живописи, он любит писать старинные вещи, напоминающие о минувших столетиях американской истории. Не только в том, что многократно запечатленная им Брэндуэйнская долина в окрестностях Чадсфорда — настоящий заповедник былого, связанный и с Войной за независимость, и со сражениями Гражданской войны. Все образы Уайета насыщены до предела, буквально пропитаны Временем, ощущением его вечного, неодолимого движения. Частицы бытия (как в той же поэзии Фроста или же, если провести еще одну явственную параллель, Эмили Дикинсон) тем самым обогащаются памятью поколений, прочной нитью связывая частное с историческим.

При этом «американские элегии» Уайета — действительно элегии, ибо его картинам неизменно присущ оттенок задумчиво-грустного воспоминания, они исполнены высокой доброты, стремления к светлой гармонии. Доброта — свойство не столь уж обиходное в трудных, напряженных поисках западного искусства нашего времени, в салонных же своих видах она граничит с приторной слащавостью, подменяющей этику косметикой. Доброта образов Уайета иная — строгая, по-фолкнеровски взыскательная, но неизменная в своем утверждении торжествующей вопреки всему человечности.

М. СОКОЛОВ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ОТКРЫВАЯ «ДРУГУЮ АМЕРИКУ»

Верю в человека. Голоса демократической Америки. Антология. Составитель О. Кириченко. Предисловие и общая редакция Г. Злобина. Москва, «Радуга», 1986.

Четверть века назад появилась в США книга публициста и социолога Майкла Харрингтона, имевшая шумный успех, которой он дал емкий, крылатый заголовок: «Другая Америка». В ней говорилось о многомиллионной армии бедняков, безработных, стариков, представителей этнических меньшинств. О тех, кто брошен на экономическое дно, кого стараются не замечать, ибо быть неудачником постыдно. Шли годы, а проблема «невидимой Америки» оставалась. Спустя два десятилетия Харрингтон вернулся к своей теме уже в эпоху хваленой рейганомики и обнародовал вторую книгу, названную «Новая беднота Америки». В ней он констатировал, что бедность по-прежнему остается одной из острейших проблем «общества благоденствия».

Впрочем, «другая Америка» — это, конечно же, не одни бедняки и отверженные. Это радикально настроенные американцы. Активисты рабочего движения. Коммунисты. Борцы за мир. Лидеры этнических групп, выступающие в защиту подлинного равноправия

В исторической перспективе противостояние двух Америк очерчивается то с большей, то с несколько меньшей решительностью. Писатели, составлявшие цвет национальной культуры, не раз становились голосом «другой Америки». Солидаризировались с теми, в чьих сердцах зрели «гроздья гнева».

Так было в пору «красных тридцатых». Целые пласты действительности, жизнь рабочих, фермеров, безработных впервые сделалась объектом художественного внимания. Уолдо Фрэнк назвал свою публицистическую книгу «Новое открытие Америки». Драйзер от «Американской трагедии» шел к «Трагической Америке». Майкл Голд, подводя итоги десятилетия, писал, что в это время писатели совершили «второе открытие Америки»

«Красное десятилетие» было яркой эпохой. Оно оставило неизгладимый след в национальной памяти. Заложило традицию боевую, демократическую, которая, несмотря на все трудности, не иссякла. «Литература «пролетарских красных тридцатых»,— свидетельствовал критик-марксист Сидни Финкелстайн,— так часто рассматриваемая как временное отклонение от магистрального пути, была особенно сильным и значительным компонеитом того течения, которое никогда не прерывалось». Да, никогда не прерывалось!

А ведь им всегда было непросто в «стране свободы» писателям левой, радикальной ориеитации. Их замалчивали. Не печатали. Иногда откровенно третировали и травили как в пору маккартизма, «холодной войны» и неомаккартизма. Обвиняли в «пропаганде» в ущерб художественности. В том, что они живописуют быт низов или классовую борьбу, что якобы «неинтересно» и «противопоказано» искусству.

Но писатели эти были и есть. Многие из них впервые «открыты» нашему читателю на страницах рецензируемой антологии. И сегодня они составляют существенный элемент современной литературной панорамы Америки.

Под одной обложкой собрано более четырех десятков имен. Поэтов, прозаиков, очеркистов, публицистов. Светлокожих, и черных, индейцев, чикано, представителей других этнических меньшинств. Широк спектр их политических воззрений, от марксистов (подобных С. Финкелстайну, Ф. Боноски, М. Дэвидоу) до тех, кто стоит на

общедемократической платформе. Среди них есть совсем молодые, до последнего времени почти неизвестные, и те, чьи имена уже знакомы. Рядом с дебютантами — ветераны, подобные Мериде Лесюр, Джеку Конрою, Дону Уэсту. Те, кто начинал тогда, в пору «красных тридцатых». Наверное, это соседство и правомерно, и по-своему символично, ибо эти писатели передают новому поколению эстафету демократической традиции.

Джек Конрой, тот самый, что в начале 30-х годов стоял во главе журнала «Энвил» («Наковальня»), а потом написал один из лучших романов о шахтерах, «Обездоленные», выступил на Первом конгрессе Лиги американских писателей в 1935 году с речью (она приводится в антологии), в которой, обращаясь к литераторам, призывал: «Наша задача воссоздать живую картину непрекращающейся борьбы, надежд, побед, разочарований будущих хозяев земли — трудящихся». Эта мысль повторена и Уолтером Лоуэнфелсом, поэтом социалистической ориентации, продолжателем уитменовской традиции, в его книге «Революция — это гуманность»; и Томасом Макгратом, крупным поэтом и прозаиком, выступившим в 40-е годы, в его «Интервью»; и Джозефом Нортом, неутомимым публицистом, редактировавшим «Нью Мэссис» еще в 30-е годы, автором прекрасной автобиографической книги «Нет чужих среди людей», в его исповедальном очерке «Мое кредо». И конечно же, Мериде Лесюр, жизнь которой олицетворяет нерасторжимую связь времен. Поэтесса, прозаик, публицист, она была участницей памятного конгресса 1935 года. И когда четыре с лишним десятилетия спустя литераторы США, осенью 1981 года, собрались на свой съезд, они избрали Лесюр его почетным председателем. В речи на открытии съезда она говорила о долге литератора в наше время, о необходимости противостоять напору реакции и опасности войны.

Закономерно, что для литераторов прогрессивной ориентации особую актуальность обретает опора на демократическую, боевую традицию американского народа. Потому столь весомы эти экскурсы в историю, обращение к героическим славным именам, возникающие на страницах антологии. Барри Стейвис, драматург, плодотворно осваивающий историческую тему, автор пьес о Джоне Брауне и Джо Хилле, воссоздает волнующие эпизоды Войны за независимость (в драме «Саднящая рана победы»). Дон Уэст, поэт, несгибаемый поборник прав горняцкой бедноты, рассказывает о славной борьбе своих земляков, шахтеров Аппалачей, этой зоны хронического бедствия (очерк «История Аппалачей»). Уолтер Роджерс, бывший в 1910 годы в рядах ИРМ, говорит на митинге студентов о традициях антивоенного движения, антифашистской борьбы (речь «Мост между поколениями»). Трумэн Нелсон, публицист, автор исторических романов из эпохи аболиционизма, напоминает о мужественной борьбе против расизма и войны У. Б Дюбуа. Фред Уайгхед, много делающий для сплочения прогрессивно настроенных литераторов в Канзасе, пишет о Билле Хейвуде, славном вожде американских пролетариев (стихотворение «Глаза „Большого Билла" Хейвуда»). Негритянская поэтесса Джун Джордан славит славную аболиционистку Соджорнер Трут.

В антологии нашла отзвук характерная тенденция: выдвижение в 70-х — начале 80-х годов группы одаренных художников слова, представляющих различные этнические группы США. В их творчестве, в частности поэтическом, отмеченном национально-фольклорным колоритом, настойчиво звучат темы прославления жизни, труда, единения людей, независимо от их расовой принадлежности. Интонации светлые, добрые. Это — Эрл Нурми, выходец из среды финских иммигрантов, одаренный поэт, которого заботит завтра планеты; Ольга Кэбрел, потомок португальских иммигрантов, воссоздающая в своих стихах образы Пикассо, Сикейроса; Фэй Чанг, поэтесса китайского происхождения, рассказывающая о нелегкой доле своих соотечественников в других американских мегаполисах. Это — представители набирающей силу литературы чикано: поэт Луис Вальдес, осваивающий жанр остросатирических драматургических миниатюр (так называемых «акто»). Это — целая группа индейских литераторов (Саймон Ортис, Лесли Морман Силко и др.), подлинных выразителей культуры своего народа, стихи и проза которых пропитаны легендарно-фольклорной символикой и образностью.

И если ли не у всех авторов антологии звучит тема противостояния ядерной угрозе. И у Миллена Брэнда, автора «Марша Мира»; и у Дона Уэста, мечтающего о том, чтобы стихи могли «заглушить бред ядерного безумия»; и у Томаса Макграта, размышляющего о своих соотечественниках, сложивших голову во время «грязной войны» во Вьетнаме; и у крупной поэтессы Денизы Левертов, призывающей «выиграть не войну, а будущее».

Разные творческие индивидуальности, нередко рельефно выраженные. Разные судьбы. И все-таки есть у авторов этой антологии немало общего. Почти все они связаны, непосредственно и живо, с людьми труда. Не раз подвергались репрессиям. Преданы идеям социальной справедливости. Находятся в рядах тех, кто протестует против ядерной гонки.

...Разные жанры и художественные формы. И все-таки в этой на первый взгляд многоцветной мозаике прослеживаются глубинные темы и мотивы. Это — утверждение прав и достоинства простого труженика. Это — изображение его нелегкой доли и его воли к борьбе. Это — причастность к чаяниям «другой Америки».

Закрывая антологию, убеждаешься в справедливости слов Мериде Лесюр, обращавшейся к своим единомышленникам: «Мы должны вернуться к народу. Только народ дарует жизнь нам и нашей культуре... Никакое искусство не может развиваться, пока не проникнет в глубины народной жизни».

Создатели антологии — и ее составитель Оксана Кириченко, собиравшая некоторые материалы буквально по крупицам, и автор предисловия Г. Злобин, и группа переводчиков стихов и прозы — проделали большую, важную работу. Но, думается, это

только начало. Антология, конечно, не могла исчерпать всего материала, но наметила перспективу. Есть потребность в сборниках Далтона Трамбо и Джона Говарда Лоусона, Мериделл Лесюр и Лестера Коула, Альберта Мальца и Арта Шилдса. И это не только наша задача. Это наш долг

Б. ГИЛЕНСОН

НЕХРЕСТОМАТИЙНЫЙ ФЛОБЕР

Гюстав Флобер. О литературе, искусстве, писательском труде. В двух томах. Перевод с французского. Составление С. Лейбович. Вступительная статья Д. Затонского. Москва, «Художественная литература», 1984.

21 октября 1879 года Флобер пишет Мопассану: «Итак, договорились. Через две недели, считая с будущей субботы, я увижу вашу милую рожицу... Только не говорите со мной о реализме, о натурализме или об экспериментальности Я сыт этим по горло. Какие все это пустые слова!»

25 декабря 1876 года: «Как можно увлекаться такими ничего не значащими словами, как «натурализм»? Чем это лучше «реализма» бедняги Шанфлери, который является такой же нелепостью, а вернее, той же самой нелепостью? Анри Монье не более правдив, чем Расин».

Так мы попадем в самую гущу споров о новом искусстве, разгоревшихся в 70-е годы прошлого века, в которых Флоберу безусловно принадлежит уже главенствующая роль.

В чем же заключалась суть спора?

Из знакомства с двухтомником становится ясно, что для Флобера существовала иная точка отсчета, более широкий и гибкий критерий в оценке Правды, Достоверности, Красоты искусства, чем тот, на который пытались опереться натуралисты и близкие им писатели Прежде всего он возражал против сужения границ, в которых развивалось искусство правдивое и возвеличивавшее человека Для Гонкуров эталоном правдивости в искусстве был Бальзак. Флобер иронизировал над этим в письме к И. С. Тургеневу и настойчиво называл другие имена — Шекспира, Рабле, Сервантеса, Расина, Гюго...

Интересно в этом отношении его письмо к Леону Эннику от 3 февраля 1880 года: «Эта мания воображать, будто мы первые открыли «натуру» и более правдивы, чем наши предшественники, выводит меня из себя... Само по себе Правдивое не существует. Есть лишь различные способы видеть вещи. Разве похожа фотография? Не более или в той же мере, как и портрет маслом».

«Искусство не есть действительность,— пояснял Флобер Гюисмансу.— Волей-неволей мы вынуждены выбирать среди тех элементов, которые она нам предоставляет Лишь к одному этому, вопреки утверждению Школы, должно стремиться в искусстве, а отсюда следует, что нужно тщательно отбирать».

Но вернемся к оценке натурализма и к тому, что Флобер вкладывал в понятие «реализм».

Безусловно, Флобер не отождествлял натурализм с реализмом. Да, Флобер употреблял слово «реализм» в отрицательном смысле. Однако это был протест против узости бытующих понятий и намерение заявить, что те, кто говорит о реализме (Шанфлери, Дюранти), искажают это понятие. Для Флобера по масштабу идей реалистами были и Шекспир, и Сервантес, и Рабле, но суть вопроса заключалась в том, что он сам вынашивал новаторский метод, пользовался им в романах, был одиноким первооткрывателем того высокого искусства, которое мы сегодня в качестве высшей похвалы называем реалистическим. При этом нельзя было ждать от Флобера, что он изречет абсолютную истину. Он предпочитал говорить о «чистом искусстве» и даже звал уйти в башню из слоновой кости от пошлости людской. И только теперь, вчитываясь в его эстетические суждения, мы понимаем, что и понятие «чистое искусство», и флоберовский культ стиля имеют, да, безусловно имеют, отношение к «великой проблеме реализма» — реализма вершин!

Через все высказывания Флобера проходит мысль о правдивости великого искусства о потребности удержать искусство на линии высоких идеалов, он рассматривает искусство как высшую духовную ценность. Но есть в этой «великой проблеме реализма» Флобера свои аспекты, которые, кстати говоря, нам помогает осмыслить рецензируемый двухтомник. В нем впервые приводятся некоторые письма Флобера к Тургеневу и Ипполиту Тэну, сравнительно недавно опубликованные во Франции, где Флобер утверждает, что для писателей действительность «должна быть только трамплином»

Была ли действительность только трамплином для автора «Госпожи Бовари»?

Кредо Флобера выражалось в словах «faire voir» — «сделать зримым»! Но за этим стремлением стояло не просто изображение по принципу сходства, а «стереоскоп, доведенный до совершенства и создающий полную иллюзию реальностей».

Гонкуры, которым принадлежит это наблюдение, утверждали, что «Госпожа Бовари» — «последнее слово правды в романе», но даже Гонкуры таким образом признали, что встретились с явлением загадочным, небывалым и новаторским.

Однажды Тэн задал Флоберу вопрос: «Случалось ли вам смешивать плоды своего воображения с объектами реального мира?» И получил неожиданный ответ: «Да, всегда. Создаваемый образ для меня столь же достоверен, как объективная реальность вещей,— а то, что предоставила мне реальность, очень скоро перестает для меня отличаться от тех украшений и изменений что привнесены мной».

Флобер часто жалуется, что, создавая свой шедевр, он пожертвовал лучшими годами жизни ради пошлого сюжета, а в письме к Луизе Коле 1852 года скажет: «Вся ценность моей книги — если таковая у нее есть — будет в том, что я сумел пройти по волоску между двумя безднами — возвышенного и пошлого (которое

хочу сплавить в повествовательном анализе). Когда думаю, что может получиться, голова идет кругом. Но когда потом вспоминаю, что это мне, мне доверено столько прекрасного, такой одолевает страх, что впору убежать и спрятаться куда попало».

И становится очевидной сложная связь действительного и воображаемого, которая определяет индивидуальную особенность художественного метода Флобера. Она еще более очевидна в «Саламбо», «Буваре и Пекюше» или «Искушении святого Антония».

Итак, перед нами двухтомник высказываний и размышлений Флобера о литературе и искусстве. Хочется отметить огромную работу, проделанную переводчиками. Письма и тексты Флобера читаются легко и вполне передают его стиль изложения. Комментарий иногда грешит прямолинейностью и обнаружнвает крен в сторону романтизации представления о писателе, но очень важно, что комментаторы двухтомника постоянно подчеркивают: эстетическая концепция Флобера находится в тесной связи с литературой Возрождения, XVI века и классицизма. И помогают понять это.

Как известно, и в своем мировоззрении, и в своих взглядах на искусство Флобер был противоречив, иногда заведомо необъективен, но именно этот «нехрестоматийный» Флобер сегодня важнее для нас, изучающих его творчество, чем Флобер, вольно или невольно поставленный в определенные рамки.

И. ДЮШЕН

ПРАЗДНИК В БУДНИ

Винцент Шикула. Избранное. Составление Н. Шульгиной. Москва, «Художественная литература», 1985.

В «Ноктюрнах» (которыми завершается сборник) Шикула пишет: «Моя главная тема — тема родного дома». Нет, писатель не замыкается «на своей деревне» Но «в действии» у него и маленький городишко, и столица Братислава, и Вена, и вся Словакия, и Чехия, и вся Австро-Венгрия — да где только не оказываются герои Шикулы: Дюрис («Солдат») и в Италии побывал (и ногу там оставил), и чуть до Америки ие добрался. То же — во временном отношении: редко обходится Шикула без путешествий в историю. Прошлое сопоставляется с настоящим. Вчера словаки ходили в Россию целебными травами торговать, а в сорок первом погнал их Гитлер Кавказ завоевывать. «Тебе что нужно у моря? А где Кавказ, знаешь? Чего ты там не видал?» — в этих вопросах, обращенных к соотечественникам, и гнев и боль. Сегодняшний день рассматривает Шикула в отсветах вчерашнего. Потому и возвращается часто в детство, юность — там корни, истоки, яснее становится, куда дальше движется народ, история. Поэтому родную деревню не мыслит обособленно от огромного разномастного мира С другой стороны, как бы широко ни раздвигал Шикула горизонты повествования, в центре его внимания все равно остается она — та самая словацкая деревня, его «родной дом». В финале «Орешника» возникают перед нами оба полюса Земли — сидят на них два глухих старика и переговариваются. А между ними, посередке, помещает Шикула деревню Иванку, и в этой Иванке нищий студент тихонько дует в кувшин, а глухим старикам чудится, будто он на валторне играет.

И получается, что за словами «родной дом» (они прекрасны и сами по себе) стоит весь мир и судьба родного народа, крепко повязанная с судьбами других народов. Только у Шикулы это не звучит декларативно. Даже напротив — совсем не декларативно и вовсе не торжественно. Его проза — это прежде всего яркие картины, динамичные характеры, конкретные судьбы, поступки и действия. В откровенно публицистичных отступлениях сохраняет Шикула предметность, сочность, образность языка, ироничность и юмор — все, что так характерно для языка народа.

Его художественные принципы с успехом были воплощены в трилогии «Мастера.— Герань.— Вильма», с которой мы познакомились несколько лет назад. Его новые романы русскому читателю еще неизвестны, и потому мы с удовлетворением находим в сборнике «Избранное» недавние повести — «Орешник», «Солдат». Сожалеем, что недостает в сборнике кое-чего из прежнего. (Все ли лучшее «избрано»? Не следовало ли включить «Не на каждом пригорке тракторы стоят»?)

После знакомства с трилогией по-новому смотришь на раннего Шикулу. Уже в первых рассказах писатель нашел свою интонацию. Органичную и живую. Интонация, как лицо человеческое,— неповторима. Ее нельзя найти где-то вне себя — будет мертва, искусственна,— можно только открыть ее изнутри и дать ей зазвучать — свободно и раскованно. Шикула сумел это сделать. И кажется, что пишется ему легко, как птице поется! Так легко, непринужденно и естественно льется речь рассказчика. Именно речь — трудно назвать прозу Шикулы повествованием. Однако насчет «легкости» обманываться не будем: это та же легкость, с которой порхает по сцене «невесомая» балерина, за такой легкостью — тяжелый, кропотливый труд.

Крохотный рассказ «Не аплодируйте на концертах», всего-то на три страницы,— трехчастный, как музыкальное произведение. Юный солдатик приходит в концерт — часть первая. Вторая часть: концерт начался, это, собственно главное, музыка, которую он пришел слушать, но вместо музыки — картинки детства, родного дома! А лучше и нельзя рассказать о музыке, которую слушает солдатик. И часть третья: концерт окончен, аплодисменты вырывают солдатика из детства — снова он одинок, оторван от дома и семьи. Не аплодируйте на концертах!

Однако мораль упрятана в живую плоть рассказа. Шикула только рисует, выводы делайте сами.

Уже в ранних рассказах довольно четко определились основные черты прозы Шикулы: явное пренебрежение сюжетом, сюжет для него — лишь повод, предлог, очень уж

незатейлив; вся соль — в разработке. И за внешним «слоем» всегда проглядывает второй план, скрытый, глубокий смысл. Просто, прозрачно разворачивается действие в рассказе «С Розаркой» — будто бы в безмятежной тональности бытия самой Розарки, невинного великовозрастного дитяти,— а напряжение, драматизм тем временем нарастают. Рассказчик то и дело отвлекается в сторону: старичок в окне, бабочка, упорно атакующая фонарь, дети с сачками, сами похожие на рой бабочек,— но все эти «посторонние» зарисовки странным образом нагнетают атмосферу. И лишь в финале слышим голос рассказчика — но как он драматичен: «...и больше я ее не видел... Вышел я с этими пустыми чемоданами и долго стоял, не зная, куда же мне теперь...»

Уже в ранних рассказах явно проглядывает и усиленное внимание Шикулы к самому обыкновенному, простому человеку, к «низам» — бедняки, голытьба, обделенные жизнью люди населяют его рассказы и повести: раио осиротевшая Маидуля, родившая такого же сироту-безотцовщину, которому достается в деревне и от детей и от взрослых; потом встретимся в «Иволге» с Филкой — тоже сиротой (хоть характер совсем иной). Калейдоскоп лиц: мужики, пекари, портные, бродячие гуцулы, продавцы и продавщицы — всех не перечесть. Рассказчик и его герои живут в густонаселенном мире — этот прнцип полнее воплотится позже, в крупных вещах, но проявился уже в «Улочках маленького города», рассказе, насыщенном не только лицами, но и движением, звуками, красками. И все это схвачено метким глазом и чутким ухом. «Рисунок» Шикулы фрагментарен, эскизен, но в незавершенности и недосказаиности таится обещание будущих углубленных масштабных вещей.

В сборнике первая такая масштабная вещь — «Иволга». Здесь «сюжет» — уже сама история, судьбы героев вплетаются в нее. Так было в трилогии, так будет позже — в повести «Солдат». Первая мировая война, вторая мировая, фашисты, гардисты, восстание, освобождение. (К концу повести возникает, правда, чувство, что все останавливается и топчется на месте, будто История, как один из персонажей, генерал, вышла на пенсню.) Необычен герой этой повести, обездоленный, «иволга»: «еще в детстве или в молодости на него пахнуло холодом». В деревне он чужак а в городе ему душно Лес поле — вот его стихия Природа и свобода Тяжкий крестьянский труд Яно не влечет И болтается он между небом и землей. Но тот же Яно таскал в горы партизанам продовольствие, за что едва не поплатился жизнью. Однако спасся — благодаря характеру своему, в котором Шикула открывает нечто сказочное, фольклорное. Яно сманивает догнавшую его немецкую овчарку и вместе с ней бежит по следам зайца — один из лучших в повести эпизодов. Такого, как Яно, не тронут и дикие звери, не то что собаки Рядом с Яно ищейка забывает о своем «фашистском воспитании». И он и она — часть природы. В этом — весь Яно.

А Дюрис в «Солдате» с развитием повести вырастает в гигантскую, прямо-таки былинную фигуру. Повстречал рассказчик солдата, а иаписал Солдата. Такой имеет право и о своей смерти сам — без помощи автора — рассказать во всех подробностях. И даже о том, что было после смерти: «А потом — ничего. На небе светил месяц». Пожалуй, впервые Шикула уступает роль рассказчика герою, но голос Дюриса удивительно похож на голос самого Шикулы. Собственно, ничего удивительного. Ведь именно у таких Дюрисов, Яно и других метельщиков, пахарей, виноградарей, плотников, каменщиков учился Шикула языку. Во всех его вещах голос рассказчика сливается — не выделяясь — с голосами персонажей. Потому что сам он — плоть от плоти их.

Не только в языке глубокая народность творчества Шикулы. В принципах обрисовки характеров, построения сцен (особенно массовых), в укрупнениях и заострениях действия, во всепобеждающем юморе (голодным надо оставить хоть право смеяться — вот позиция Шикулы) — во всем этом много от фольклора, от лубка, от райка. Поэтому Шикуле удается уравновесить трагическое подлинным оптимизмом, поэтому остается от его вещей ощущение праздничности великого карнавала — вечного круговорота жизни и смерти. И хоть пишет он о земном и обыденном, часто о горьком и печальном, но как истинному художнику — воспользуемся собственным выражением Шикулы — ему удается и будни превратить в праздник.

ВАДИМ КЛИМОВСКИЙ

Издано за рубежом

ВРЕМЯ РАЗВОДИТЬ САДЫ

Jozef Puškáš Záhrada (v piatom období roka). Bratislava, «Smena». 1984.

Иозеф Пушкаш. Сад (в пятое время года). 1984.

В современной литературе все отчетливее звучит тревога за окружающий нас живой мир природы, трезвое сознание небезграничности природных ресурсов, недопустимости самовольного обращения с ними. Это важная черта нового современного мышления, свою лепту в выработку которого вносят писатели социалистических стран.

Словацкий прозаик Йозеф Пушкаш (род. в 1951 г.) принадлежит к поколению, рожденному после победы в стране социалистической революции, которая открыла молодежи широкий доступ к образованию и

всестороннему развитию. Но на долю этого поколения выпали и свои трудности. Студенческая юность Пушкаша пришлась на сложный период борьбы с последствиями общественно-политического кризиса в Чехословакии 1968—1969 годов. Может быть, именно поэтому он с первых шагов в литературе (сборник рассказов «Игра на жизнь и на смерть», 1972) обратился к проблеме нравственных ценностей и духовной цельности современного молодого человека. Рассказы привлекли внимание самостоятельностью взгляда автора на современную действительность, сочетанием детального показа внутреннего мира героя с элементами сатирического гротеска. Эти черты получили развитие в последующих произведениях писателя — сборнике рассказов «Приятные разочарования» (1977), в повестях «Признание» (1979) и «Четвертое измерение» (1980). Его успех не был шумным, но оказался весьма прочным, и сегодня Пушкаша, без сомнения, следует отнести к наиболее известным представителям молодой словацкой прозы.

Роман «Сад (в пятое время года)» — наиболее крупное его произведение. И не только в смысле объема. В прежних работах Пушкаша его микроанализ отличала порой известная самоцельность, в новом романе аналитичность в подходе к человеку соединялась со стремлением к более широкому охвату действительности, к постановке как нравственно-психологических, так и экологическо-философских проблем, которые отнюдь не ощущаются как «публицистические вкрапления», а органически входят в художественную ткань произведения.

Это роман о молодом человеке, который находит призвание в служении природе, в выращивании деревьев. Казалось бы, такой путь был предначертан Петеру Буриусу, от лица которого ведется повествование, с самого рождения. Он — сын садовода, всю жизнь проработавшего в небольшом сельскохозяйственном училище в восточной Словакии. Но никто из троих детей старого Буриуса не увлекся его благородной профессией. Старший сын Павел пошел по инженерной стезе и перебрался в Кошице, любимая дочь Ленка стала учительницей в одном из отдаленных уголков республики. Уехал из родительского дома и младший Петер. Хотя он и не чувствовал особой склонности к технике, но по примеру брата поступил в технологический институт, там попал в скандальную историю, был исключен, пошел в армию, научился водить машину, после демобилизации мыкался в Братиславе, пока благодаря случайному знакомству не стал шофером при дирекции крупного предприятия, а потом — в редакции газеты.

Критики, писавшие о романе Пушкаша, отмечали, что он впервые выбрал в главные герои не интеллигента. По профессии Петер действительно рабочий. Однако по образу мыслей и строю речи его вполне можно было бы отнести к рефлектирующим интеллектуалам. В романе это психологически мотивировано: пусть недолго, но Петер был студентом, а сближение с Зузаной — эксцентричной переводчицей с французского — ввело его в круг «элитарной» интеллигенции. Он много читает, «на равных» разговаривает с людьми из мира искусства. Но при всем том он внутренне раздвоен. Началось это еще в детстве, когда Петер то вместе с другими мальчишками воровал фрукты из пестуемого отцом сада, то вдруг бросался этот сад защищать: был как бы и «вне сада» и «в саде» одновременно. Это чувство осталось и у взрослого Петера. Вроде бы его жизнь определилась. На работе его ценят. Порвав с Зузаной, он женится на привлекательной и скромной Денисе, мечтает о ребенке. Но он по-прежнему словно неприкаянный, словно в затяжном кризисе.

Роман начинается традиционным семейным праздником в доме старого Буриуса. Это закалывание свиньи — знаменитая словацкая «забиячка», на которую съезжаются дети. Автор неторопливо описывает процедуру «забиячки», разное отношение к ней действующих лиц. Буриус-отец спокоен и серьезен, Павел — суетится, пытаясь снять фильм, его маленький сын жалеет свинью и в страхе убегает... Петер и участвует в домашних событиях, и в то же время отстраненно думает о своем. В гостях у родителей он заболевает детской болезнью, свинкой, и надолго оказывается в инфекционном отделении местной больницы. Здесь он снова перебирает в памяти обстоятельства своей жизни, которая не кажется ему удавшейся, но он даже не знает, что конкретно хотел бы в ней изменить.

Петер занят собой и поначалу его не слишком трогают проблемы, беспокоящие Буриуса-старшего. А между тем над опытным садом училища, в который он вкладывал душу, нависла угроза гибели. Ушел на пенсию и переехал в другой город прежний директор, с которым у садовода было взаимопонимание, а новый директор затеял модернизацию, отведя под новые постройки и жилые дома большую часть сада и всю территорию питомника. Старый Буриус, знающий и ценящий каждое дерево в саду, не может с этим смириться, он ходит по разным инстанциям, не встречая поддержки. Наконец он решается написать письмо в газету. Его привозит в Братиславу мать Петера. Отец впервые обращается к сыну с просьбой — помочь опубликовать письмо в газете, в которой работает. Петер относит письмо в редакцию и там его «проверяют», направив запрос в те самые местные учреждения, которые уже отказали Буриусу. Круг замыкается: старый садовод осознает и тяжело переживает свое поражение. И вскоре, работая в саду, внезапно умирает от инфаркта.

Все же усилия Буриуса оказались не совсем напрасными. Они принесли неожиданный результат. Письмо отца в газету, которое Петер внимательно прочитал и прочувствовал, а потом его внезапная смерть вызвали перелом в душе. Петер оставляет профессию шофера и идет работать на опытную станцию, где выводят новые породы деревьев. Это не просто смена занятия, это — изменение жизненной позиции. Если прежде он «плыл по течению», то теперь делает сознательный выбор. И пусть речь идет всего-навсего о выведении новых сортов ивы и тополя, но они будут посажены на осушенных болотах, по

берегам водоемов, они станут верно служить земле и людям. Петер берется за дело, которое его увлекает, даже представляется ему «героическим»; ведь только через 30—50 лет станет ясно, удалось ли вырастить настоящее дерево. В выращивании деревьев есть и мечта, и риск, а больше всего — труда. Но это — труд, который приносит моральное удовлетворение, наполняет жизнь смыслом

Начатый вроде бы в несколько замедленном темпе, роман Пушкаша постепенно прочно завладевает вниманием читателя, заставляет по-новому увидеть некоторые привычные вещи и явления. Он несет в себе определенный философский заряд, направленный против бездумного обращения с природой, этого, по мысли старого Буриуса, «варварства в новом варианте».

Книгу пронизывает убеждение в высочайшей ценности каждой человеческой жизни, всего живого вообще. Очень просто, без нарочитого пафоса рассказано о красоте старого сада. Подробно и тепло описано, как в братиславском роддоме бережно выхаживают родившуюся до срока дочку Петера и Денисы. Трогателен образ другой маленькой девочки, вместе с которой Петер лежит в больнице и которой он — сам очень слабый — пытается помочь. Это девочка из отдаленной «пьяной» деревни, где много недоразвитых детей. В свои шесть лет она почти не говорит и только все время зовет «Атю». В конце романа Петер попадает в ее деревню — именно там учительствует его сестра Ленка — встречает девочку и узнает, что «Атя» — это собака, и, наверное, единственный друг обиженного судьбой и заброшенного родителями ребенка

Во времена буржуазной республики Словакия была ее отсталой аграрной окраиной, не выбивавшейся из нужды. Ныне это поистине зажиточный край с мощной промышленностью и крепким сельским хозяйством Но прошлое подчас дает о себе знать. Это и грустная судьба детей из деревни Тарков, это и пережитки регионализма Пушкаш рассказывает, что восточнословацкий акцент — речь в прошлом самой бедной части Словакии — до сих пор считается признаком «отсталости». Выходец из восточной Словакии, заместитель директора, которого возит Петер, старается поэтому избавиться от акцента. А вот для матери Петера тот же акцент становится средством в шумной Братиславе сразу же установить сердечный контакт с земляками.

Уже в первых произведениях Пушкаш проявил незаурядное мастерство психологического анализа. В новом романе это мастерство окрепло и углубилось. Может быть, писателя еще можно упрекнуть в том, что некоторые интересно намеченные образы и сюжетные линии остались на уровне зарисовок, эскизов, что-то недоговорено, а что-то необязательно. Однако в целом из деталей и подробностей в романе складывается своеобразная и убедительная картина современной жизни, окрашенная гуманистическим ее пониманием, верой в осуществимость дружбы и сотрудничества человека и природы.

С. ШЕРЛАИМОВА

МЯТУЩИЙСЯ «ГЕРОЙ»?

Tchicaya U Tam'Si. Les cancrelats. Paris, Albin Michel, 1980.
Tchicaya U Tam'Si. Les Meduses ou les orties de mer, 1982.
Tchicaya U Tam'Si Les phalenes, 1984.

Чикайя У Там'си. Тараканы. 1980. Медузы, или Морская крапива, 1982. Ночные бабочки, 1984.

Конголезский автор Жеральд Феликс Чикайя У Там'си известен советскому читателю прежде всего как поэт [1].

Несколько особняком стоят в творчестве этого автора его пьесы, написанные в 70-е годы — в период, когда он, по его собственным словам, «учился у гриотов», африканских народных историков и сказителей. Пьесы Чикайи — первая попытка писателя заговорить с народом на его языке, доступном пониманию каждого; они написаны в подражание народной драме, и в центре каждой из них — народный герой прошлого («Великий Зулус», 1976, и «Вузне-основатель», 1976) или антигерой того же масштаба, противопоставленный народу («Славная судьба маршала Нникои-Ннику», 1979). Это наиболее простые по форме произведения Чикайи.

Выпустив в конце 70-х два сборника рассказов («Африканские легенды», 1979, и «Сухая рука», 1980), Чикайя У Там'си пишет трилогию о Конго, основанную на собственно африканской культурной традиции и связанную проблематикой и формой с устным народным творчеством.

Сюжетный стержень трилогии составляет история семьи Тома Ндунду на протяжении почти семидесяти лет, с 1890 года по 1959 год. В качестве «боя» Том объездил с хозяином-французом всю Европу и Америку и через двадцать лет решил вернуться на родину. Однако Ндунду, не будучи своим для белых, стал чужим для африканцев. На родине его встречают неприветливо, и вскоре он умирает.

Печать неприкаянности лежит и на детях Ндунду. Сироты не приживаются в семье дяди, среди простых африканцев, особенно Проспер, главный герой трилогии.

Софи, старшая дочь Ндунду, чтобы обеспечить себя и брата, становится любовницей француза, «мамай». Отныне у нее не будет другой семьи, кроме семьи брата.

Проспер мучительно ищет место в жизни. Он пытается разбогатеть на торговле, но терпит крах. Крахом и смертью жены кончается первый брак Проспера. Тогда он решает начать новую жизнь в Браззавиле, обзаводится новой семьей, детьми, начинает служить «у белых» в конторе, но смутное недовольство не покидает его. А между тем жизнь страны усложняется Идет подготовка конституции 1946 года, обещающей равноправие: по расчетам метрополии, Франции, она должна предотвратить «взрыв изнутри», назревающий из-за безжалостной эксплуатации африканцев

[1] См., например, сб. «В ритмах тамтама». М., 1961; «Поэзия Африки». М., 1979; «Из современной поэзии Конго» М 1980

Значительная часть действия трилогии происходит в бурные 40-е годы. Так роман «Медузы» рассказывает о судьбе трех рабочих; один погиб во время расстрела бастующих на железной дороге Конго-Океан (1944), второй, узнав об этом, попал на работе в аварию, третий не вынес смерти друзей и покончил с собой. Сюжетно не связанный с первым и третьим романами трилогии, роман «Медузы» подробно, достоверно и образно воссоздает обстановку середины 40-х годов в Конго.

В романе «Ночные бабочки» Проспер — руководитель местной ячейки прогрессивной партии. Он пытается разобраться в действительности. Все чаще на ум ему приходит сравнение африканцев с ночными бабочками, которым «огонек» — новая конституция — опалила «крылышки». Душевный разлад Проспера усугубляется тем, что он любит одновременно и жену Жюльетту, и образованную француженку Эме. Совершенно очевидно, что не Просперу с его мятущейся душой суждено быть революционным вожаком.

Особой прелестью и сложностью отличается образ Софи Практически каждый поступок того или иного персонажа трилогии автор оценивает через ее восприятие, хотя она не всегда права Символично, что, когда под влиянием Эме и собственных раздумий Проспер отсылает во Францию сына, Софи исчезает из дома, и с ней уходит «мудрость», и отчаянно ищут Софи Проспер и Жюльетта.

В итоге Софи находит применение своим силам в одной из религиозных партий — существенная черта конголезской действительности того периода, когда христианство было не только по-прежнему влиятельно, но играло прогрессивную роль.

Образ Софи — словно триединая мифологическая ипостась женщины, матери, Африки, — это самый загадочный образ трилогии; он необычайно многослоен и одновременно выразителен и поэтичен.

40—50-е годы в Конго — мир офранцуженных африканских фамилий и африканизированных европейских суждений, мир легко возникающих и так же легко распадающихся политических партий, всеобщей политической неразберихи и вместе с тем повышенного интереса к политике. Этот мир африканцев, постепенно обретающих национальное самосознание, живет в трилогии Чикайи Перед нами не только судьбы отдельных людей. но судьба народа страны — так тесно переплетаются судьбы героев, столь сильное влияние оказывают друг на друга. Где-то во Франции у Эме родится от Проспера дочь, которую назовут Мария-Антуанетта (Эме не подозревает, что так звали мать Проспера, но сам он видит в этом перст судьбы), а в Конго почти одновременно с маленькой Марией-Антуанеттой появится на свет сын Проспера и Жюльетты и нарекут его именем деда — Тома Ндунду. Маленький человечек станет надеждой отца, надеждой и самого Чикайи, а через него, образно говоря, и всей страны.

Интересно отношение автора к главному герою: Чикайя далеко не идеализирует Проспера, слишком сумбурна его жизнь и настроения, а кроме того, он постоянно размышляет, но мало действует.

Чикайе, как никому другому из африканских писателей, удалось передать духовную атмосферу решающего, послевоенного периода в истории Африки. Но главное в трилогии то, что она написана для африканцев. Это образец африканского романа-эпопеи, сопоставимый с такими произведениями, как «Целители» А. К. Армы, «Помни Рубена» Монго Бети, «Порча» Сембена Усмана. И дело тут не только в реалистичности и подлинной народности героев трилогии и не только в реальной исторической ее основе, но и в том, насколько тесно судьба страны сплетена с судьбами героев (характерная черта эпического произведения), в том, что романы Чикайи пропитаны фольклорными мотивами, мифологическими образами и сравнениями, рассчитанными именно на восприятие и мировидение африканцев, которое все еще в значительной степени мифологично. Может быть, также впервые в африканской литературе мы встречаем столь крупное и сложное произведение, которое труднее — и значительно! — читать европейцу, чем африканцу.

Чикайя-поэт и Чикайя-романист постоянно взаимодействуют. Сначала текст произведения осложнен «потоком сознания», перенасыщен метафоричностью, смещениями действительности в область ирреального, путаницей временных планов, но постепенно вырисовывается сложный, объемный и логически четкий сюжет, и читателя завораживает музыка поэтического языка Чикайи

Из народного гриотского эпоса пришла в роман Чикайи стихия иносказаний. Для знающего фольклор и историю своей страны хитросплетенне ассоциаций не должно представлять сложной загадки, тем более что речь идет о совсем недавнем прошлом.

Чикайя постоянно обращается к читателю, подобно гриоту в африканском народном театре: он задает вопросы многочисленным собеседникам, заставляя их думать.

Сложную внутреннюю ассоциативность африканского искусства еще в начале века отмечали Аполлинер, Гриоль, Пикассо,— и ту же ассоциативность мышления и богатство образной системы мы наблюдаем в трилогии: поэтические символы, умелое использование фольклора (мифы, вещие сны, поговорки, народные песенки, описания обрядов и поверий и т. д.), а также искусное построение диалогов, ярких, выразительных, зачастую основанных на фольклорно-мифологических ассоциациях, словно пришедших из народной драмы.

Трилогия Чикайи У Там'си — пример того, как наиболее прогрессивные и талантливые писатели Африки устанавливают контакт с собственно африканской широкой аудиторией, создавая произведения в русле более всего доступной для нее, фольклорной, традиции.

И. ТОГОЕВА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К «ДНЕВНИКУ АННЫ ФРАНК»

«De Dagboeken van Anne Frank». Amsterdam, Bert Bakker, 1986.

«Дневники Анны Франк». Амстердам. 1986.

У нас много писали об Анне Франк, о ее короткой трагической жизни. Ей и ее «Дневнику» были посвящены газетные статьи, журнальные очерки. В 1960 году «Дневник Анны Франк» вышел массовым тиражом в русском переводе с предисловием Ильи Эренбурга. Поток откликов на эту книгу долго не прекращался, но с момента выхода книги прошло уже более двадцати шести лет и нелишне будет напомнить о трагических обстоятельствах, при которых стало возможным появление этого удивительного человеческого документа. «Дневник Анны Франк» принадлежит перу одаренной девочки-подростка, погибшей за два месяца до освобождения страны, в концлагере Берзен-Белген. Анна Франк родилась во Франкфурте-на-Майне в 1929 году, а в 1933 году семья эмигрировала из нацистской Германии в Нидерланды, где отец Анны, Отто Франк, вступил компаньоном в небольшую фирму.

Однако спокойная жизнь эмигрантов продолжалась недолго. В 1940 году германская армия вторглась в Нидерланды и установила в стране жестокий оккупационный режим.

О всех перипетиях жизни и гибели семьи подробно рассказывается во вступительных статьях к книге «Дневники Анны Франк»: «Приехавшие из Франкфурта», «Донос», «Арест». Располагая точными фактами, автор статей Харри Паап воссоздал впечатляющую картину жесточайших репрессий, обрушившихся на несмирившийся народ: расстрел партизан, уничтожение коммунистов и евреев, зверская расправа с участниками массовой стачки в феврале 1941 года в Амстердаме, угон голландской молодежи на принудительные работы в Германию, полное разорение одной из богатейших стран Европы.

12 июня 1942 года школьнице Анне исполнилось тринадцать лет, и среди других подарков ей была вручена толстая тетрадь в коленкоровом переплете — для ведения дневника, а 8 июля девочка записывает, что на имя отца пришла повестка из гестапо. Уже на следующий день родители и обе дочери, нагруженные одеждой и книгами, отправились в убежище, помещавшееся в мансарде высокого дома на Принсенграхт, 263. Лестница, ведущая в мансарду, была внизу искусно замаскирована полками с книгами и справочниками. Здесь, ежеминутно ожидая ареста, семья Франков и их друзья — всего восемь человек — прожили два года и 30 дней и, быть может, дожили бы до освобождения, если бы не телефонный донос в гестапо.

В тот же день гестаповцы нагрянули по указанному адресу. Быстро найдя дверь, в два прыжка очутились наверху и потребовали деньги и ценности. Отец Анны молча подал им портфель. Небрежно вытряхнув из него «бумажный хлам» — школьные тетради и какие-то листочки, гестаповцы, забрав у арестованных все ценные вещи, увезли их в тюрьму. Друзья Франков подняли тетради, конторскую книгу и листочки, исписанные рукой Анны, и сохранили до возвращения Отто Франка, единственного из восьмерых, кто остался живым; его освободила Советская Армия вместе с немногими уцелевшими узниками Освенцима.

Кружным путем — через Марсель и Одессу — Отто Франк возвратился в Амстердам, где друзья вручили ему дневниковые записи дочери. Прочитав строго датированный дневник Анны, где каждая запись начиналась с обращения к «милой Китти» — прием, который, по мнению юного автора, придавал дневнику теплоту и интимность, он перепечатал его на машинке, предварительно внеся некоторые исправления, в основном орфографического и стилистического характера, а затем предложил ряду издательств. Издатели, однако, не спешили публиковать рукопись неизвестной девочки, опасаясь убытков. К счастью, рукописью заинтересовалась прогрессивная голландская писательница Анни Ромейн Ферсхор, впоследствии написавшая предисловие к первому изданию книги. Ее муж, известный публицист Ян Ромейн, прочитав за одну ночь рукопись Анны Франк, был, по его словам, «оглушен, растроган, очарован» искренностью и свежей безыскусственностью дневника. Статья Яна Ромейна «Детский голос», опубликованная в апреле 1946 года в антифашистской газете «Хет Парол», привлекла внимание широких читательских кругов, а также издателей. Книга Анны вышла в издательстве «Контакт» в 1948 году и сразу приобрела огромную популярность. Переведенная на десятки языков, инсценированная в Англии, экранизированная в США, она выходила большими тиражами во многих странах мира, в том числе и у нас.

Однако уже в 50-х годах наряду с ростом популярности книги становились все более злобными и тенденциозными нападки на «Дневник», утверждения, что он — подделка, что сама девочка никогда не могла бы написать такую зрелую, законченную вещь. Сомнения в подлинности «Дневника» приобрели открыто политический характер. Это была попытка скомпрометировать и опорочить все, что бичевало уродливые формы германского фашизма и его преступления против человечества. Не случайно наиболее ожесточенные нападки на «Дневник» доносились из лагеря бывших нацистов: так, некто Спилау, до 1945 года возглавлявший отряды гитлерюгенд, а ныне доцент высшей школы в Любеке, писал, что: «Сфабрикованные дневники Евы Браун и не менее фальшивая книга Анны Франк помогли нажить миллионы тем, кто ищет выгоду в поражении германского рейха, взвалив на нас ответственность за происходившее».

Началась судебная волокита, длившаяся несколько лет. Рукопись Анны Франк была подвергнута тщательному графологическому анализу, проверялось все, вплоть до цвета чернил, и, наконец, после двух авто-

ритетных экспертиз судебное дело было закончено в пользу «Дневника», признанного подлинным. Клеветники уплатили большие судебные издержки.

В издательском предисловии к «Дневникам Анны Франк» сообщалось, что в ноябре 1980 года Государственный институт военной документации в Амстердаме получил из нотариальной конторы Базеля черновые рукописи дневниковых записей Анны, которые по завещанию ее умершего в том же году отца поступали в полное распоряжение института. Тогда же началась исследовательская работа над литературным наследием Анны Франк. Оно оказалось немалым: рукописи Анны состояли из дневника, двух его продолжений, ряда заметок для дневника, готовой рукописи «Рассказиков» и неоконченной повести «Жизнь Кади». Они были изданы в 1960-м, переизданы в 1982 году.

Поднявшаяся опять-таки из нацистских кругов в 1979 году новая волна нападок побудила составителей книги провести глубокую исследовательскую работу. Ее выполнил Д. Барнау, опытный литератор, который в течение нескольких лет занимался изучением, сверкой, анализом тех страниц дневниковых записей, которые были написаны рукой Анны в конторской книге и на отдельных листках бумаги. Эту уникальную работу Барнау отразил в главе «Нападки на подлинность дневника». Исходя из опубликованного «Дневника», который он считает первым и самым ценным из всего, написанного девочкой, он видит именно в этом первом варианте ключ к объяснению того, на первый взгляд непонятного явления, как создание еще двух вариантов, так и оставшихся незавершенными. Ссылаясь на запись в «Дневнике» от 12 мая 1944 года, Барнау цитирует слова Анны: «Ты знаешь мое давнишнее желание стать сначала журналисткой, а потом знаменитой писательницей. Осуществится ли это стремление к великому... покажет время, но и сейчас у меня тем хоть отбавляй. Во всяком случае, после войны я обязательно выпущу книгу под названием «В убежище». Удастся ли мне это — не знаю, но мой дневник послужит основанием». Так сама Анна Франк дает объяснение, почему она написала еще два варианта. Она готовила материалы для будущей книги и, стараясь расширить ее диапазон, сделать более занимательной, вносила некоторые эпизоды из своей дозаторнической жизни, включая, например, подробное описание школьного клуба для пинг-понга, вечеринку у подружек, дружбы с мальчиками и так далее.

С другой стороны, эти материалы, которые должны были послужить заготовками к «Убежищу», отличаются более зрелым взглядом на окружающий мир, что вполне естественно — девочка стала на два года старше.

Автор статьи «Нападки на Дневник» шаг за шагом прослеживает каждую страницу, каждую строчку и каждое слово «Дневника», сличает его с обоими вариантами и, в случае изменений, дает соответствующую сноску. Вот почему книга, над которой начали работать в 1980 году, вышла только в 1986-м — редкий случай в практике голландских издательств. В систематизированном виде добавления, сокращения, изменения составили специально приложенную к книге таблицу в 25 страниц, а для наглядности на каждой странице воспроизводились все три текста. Так, интерес к «Дневнику Анны Франк» прошел испытание временем и клеветой. Книга заняла видное место в разоблачении фашистского варварства. В этой борьбе против попыток реваншизма, военной агрессии и неонацизма книга Анны Франк тоже играет существенную роль, она стала как бы символом борьбы за сохранение мира на земле. Патетические вопросы в «Дневнике» 3 мая 1944 года: «Почему, зачем война вообще? Почему люди не могут жить мирно? К чему эти ужасные разрушения?» — стали цитироваться во многих антивоенных брошюрах, издаваемых Обществом имени Анны Франк, созданном в 1980 году и поместившимся в том же доме, где укрывались Анна и ее семья. Знамя Общества имени Анны Франк реяло над головами участников грандиозной демонстрации в защиту мира и за ликвидацию ядерного оружия в ноябре 1981 года в Амстердаме.

В свете той актуальности, которой и по сей день обладает «Дневник Анны Франк», быть может, стоит предпринять переиздание этой книги, которая стала почти библиографической редкостью и была прекрасно переведена на русский язык Р. Райт

И. ВОЛЕВИЧ

◆

Из месяца в месяц

Алжир

«АЛЖИРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Как сообщает журнал «Ас-Сакафа» в Тизи-Узу — главном городе провинции Кабилия — состоялся симпозиум на тему «Алжирская революция и арабская литература», организованный Институтом арабского языка и литературы. В симпозиуме приняли участие видные писатели, поэты и ученые-литературоведы. Большой интерес вызвал доклад «Отклики на алжирскую революцию в поэзии Египта», прочитанный египетским литературоведом Хасаном Фатх аль-Бабом. С докладом о революционной тематике в творчестве выдающегося алжирского поэта Муфди Закарии выступил литературовед Ахмед Хидуш. Другой ученый — доктор Абд аль-Кадер — сделал доклад на тему «Алжирская революция и палестинская поэзия».

Журнал «Ас-Сакафа» охарактеризовал симпозиум как важное событие в культурной и научной жизни страны.

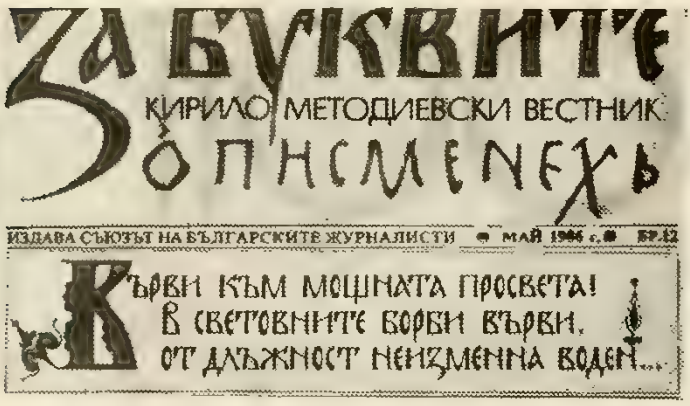
Болгария

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Газета «За буквите», которую издает Союз болгарских журналистов, существует около десяти лет, но пока вышло всего 12 номеров: каждый выпуск готовится к годовщине какой-нибудь знаменательной даты из истории славянской культуры. В прошлом году по решению ЮНЕСКО во всем мире отмечалось 1130-летие создания славянской письменности, 1100 лет со дня смерти Мефодия — одного из ее создателей, а в мае 1986 года в Софии состоялся Второй международный конгресс по болгаристике, поэтому в 1985—86 годах вышло подряд целых три номера газеты. «За буквите» («Об азбуке») имеет подзаголовок «Кирилло - Мефодиевская газета о письменах», названа она по произведению Черноризца Храбра, созданному в IX веке — «золотом веке» болгарской литературы. Основная цель издания — рассказать читателям о новостях болгаристики. На страницах газеты есть и рецензии на книги, и интервью с крупнейшими учеными-болгаристами из разных стран, и сообщения о выставках, симпозиумах, конференциях. Поражает в «За буквите» и обилие иллюстраций. Это факсимиле отдельных страниц из старинных рукописей, образцы разных видов старославянских шрифтов, фотографии древних памятников, произведения современных болгарских и зарубежных художников на сюжеты из истории славянских культур. В редколлегию газеты входят крупные ученые: Петр Динеков (Болгария), Роже Бернар (Франция), Д. С. Лихачев (СССР), Б. А. Рыбаков (СССР).

На страницах последнего номера «За буквите» выступили ученые-слависты из Индии, Франции, Болгарии, СССР, были помещены рецензии на книги «Грамматика старославянского (староболгарского) языка» японского ученого Сёити Кимура и книгу Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Гостями номера стали известная болгарская поэтесса Елисавета Багряна и изобретатель первого электронного цифрового компьютера, болгарин по происхождению, Джон Атанасов, который сейчас занимается созданием универсальной мировой азбуки с помощью электронных средств. В этом же номере советский писатель Виктор Астафьев, обратившись к читателям «За буквите», высоко оценил живую связь современной болгарской культуры с ее истоками: «...жив народ, пока жива его историческая память, а вещее слово, рожденное славянами, особенно нужно и бесценно сейчас, во дни растления человека массовой культурой — этой всепожирающей ржавчиной двадцатого века».

Титульный лист газеты «За буквите».


ЗА БУКВИТЕ
КИРИЛО МЕТОДИЕВСКИ ВЕСТНИК
О ПИСМЕНЕХЪ
ИЗДАВА СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ • МАЙ 1986 г. • БР.12
ВЪРВИ КЪМ МОЩНАТА ПРОСВЕТА!
В СВЕТОВНИТЕ БОРБИ ВЪРВИ,
ОТ ДЛЪЖНОСТ НЕИЗМЕННА ВОДЕН...

Боливия

«ПАНОРАМА БОЛИВИЙСКОГО РОМАНА»

Так называется новая книга известного боливийского писателя и критика, лауреата Большой национальной премии Аугусто Гусмана. Это первая попытка обобщения и научного осмысления путей развития прозы Боливии. Рецензент боливийской газеты «Пресенсиа» пишет: «Мы хорошо знаем, что Боливия не идет в авангарде «романного производства», но хотим отметить, что и она занимает достойное место в литературной жизни Латинской Америки». По мнению газеты, «книга А. Гусмана раскрывает для многих неожиданное богатство боливийского романа».

Автор рецензии П. де Анасагасти рассказывает читателям о том, что в «Панораме боливийского романа» подробно анализируются произведения более 150 авторов. Не оставлено без внимания творчество ни одного из сколько-нибудь заметных писателей. Кратко излагается содержание каждого романа, рассматриваются их идейно-художественные особенности. А. Гусманом собран богатейший материал: по отзыву специалистов, книга включает исчерпывающие биографические и библиографические сведения о боливийских романистах. А. Гусман предлагает свой принцип деления истории боливийского романа. Он видит в ней пять этапов: романтизм (1834—1905), реализм (1905—1932), натурализм (1932—1959), неореализм (1959—1972) и так называемый «ситуационный роман» (1972—1985).

«Пресенсиа» информирует читателей о подготовке к публикации второй части работы, целиком посвященной анализу современной боливийской прозы. Отмечается, что «особую ценность исследованиям А. Гусмана придает оригинальная интерпретация материала, глубина подхода и обоснованность выводов». Заслугой двухтомника, подчеркивает газета, является показ вклада Боливии в общий процесс латиноамериканского литературного развития.

Бразилия

ГЕРОИ ГАРСИА МАРКЕСА НА ЭКРАНЕ

Международный кооперативный альянс представил на суд британской публики фильм выходца из Бразилии режиссера Руя Гуэрры. «Этот режиссер,— пишет рецензент газеты «Таймс» Дэвид Робертсон,— предпринял дерзкую попытку средствами кино воссоздать «магический реализм» лауреата Нобелевской премии писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. Р. Гуэрра перенес на экран историю «невинной Эрендиры» — ставшую эпизодом в романе Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Ирена Папас в роли бабушки Эрендиры.

(Журнал «Мансли филм буллетин»)

В фильме сирота Эрендира (ее играет Клаудиа Охана), которую терзает безжалостная бабушка (актриса Ирена Папас), случайно поджигает дом. Старуха делает из этого следующий вывод: внучка сама обрекла себя на пожизненную проституцию, ведь ущерб должен быть возмещен. Красивая девочка послушно встает на путь порока, который приносит немалые деньги, но в один прекрасный день она встречает юного Улисса (Оливер Вехе), который решает спасти ее от злых чар старой колдуньи.

Зритель сам должен решить, насколько адекватны системы образов Гуэрры и Гарсиа Маркеса, пишет критик, но бесспорно одно: режиссер создал свой, особенный мир, «осязаемо ирреальный», и вклад актеров — Ирены Папас, создавшей образ старой ведьмы, и Клаудии Оханы с Оливером Вехе, ставших в фильме олицетворением невинности,— огромен.

Великобритания

НОСТАЛЬГИЯ ПО КЛАССИКЕ

В лондонской Национальной галерее, одном из лучших в мире собраний полотен старых европейских мастеров продолжается интересный эксперимент. В последние годы работники музея время от времени организуют необычные экспозиции под общим названием «Взгляд художника», предоставляя видным мастерам современного английского искусства право развесить по своему вкусу ряд старинных шедевров из собрания галереи в отдельном зале. Пресса Великобритании, с большим вниманием освещающая эти выставки, пишет о всеобщей «ностальгии по классике», вдруг охватившей западное искусство на его нынешнем, «постмодернистском» этапе.

Действительно, ни в острых по теме, но причудливо зашифрованных картинах Роналда Китеджа, подчеркивает журнал «Студио интернэшнл», ни в безысходно-мрачных холстах Фрэнсиса Бэкона, ни в скульптурных абстракциях Энтони Кэро (каждый из них уже устраивал по собственной «галерее в галерее») нет ничего общего по духу с живописными гармониями Яна Ван Эйка, великих итальянцев Возрождения или голландцев «золотого» XVII века, картины которых современные художники выбирали. То же относится и к последнему из мастеров, приглашенному в Национальную галерею осенью минувшего года,— к создателю остраненно - холодных, нарочито банальных по материалу натюрмортов Патрику Колфилду, выбравшему для показа в «своем» зале пейзаж А. Альтдорфера, бытовые полотна Ж.-Б. Шардена и Э. Мане.

В чем же суть этого противостояния, где даже любимые произведения прошлого, отобранные современными живописцами, смотрятся как явные духовные «антагонисты» их собственного творчества? Быть может, дело в самой природе модернизма, разрушившего мосты традиции и теперь пытающегося хотя бы в чистом созерцании преодолеть пропасть? Но, ставя этот вопрос, английская искусствоведческая пресса не дает на него определенного ответа.

«ЖИЗНЕННАЯ СИЛА» СКУЛЬПТУР ГЕНРИ МУРА

Творчеству английского скульптора Генри Мура (1898—1986) посвящена статья в газете «Морнинг стар». Ее автор, искусствовед Рэй Уоткинс, называет недавно скончавшегося Г. Мура «одним из величайших ваятелей современности».

Сын шахтера из Йоркшира еще в детстве, листая страницы энциклопедии, открыл для себя монументальный мир Микеланджело, но лишь в 21 год, напоминает Р. Уоткинс, получил возможность серьезно заниматься искусством — сначала в Художественном колледже в Лидсе, затем в Королевском колледже искусств в Лондоне. Самые же необходимые знания Мур, по его собственным словам, приобрел, изучая обширную экспозицию Британского музея. Особенно привлекало его художественное наследие древних цивилизаций — примитивное искусство мексиканских, перуанских, африканских мастеров кисти и резца.

Генри Мур и одна из его работ. Фотография 1948 г.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Творческий метод скульптора достаточно рано сформировался в основных чертах. Своим произведениям Мур придает органичную форму, в основе которой — сплав естественных линий человеческого тела и литых форм обкатанной морем гальки или гладких валунов.

Задумывая свои произведения, отмечает Р. Уоткинс, Генри Мур предполагал, что они будут экспонироваться не в музеях, а под открытым небом. Скульптура, по мнению ваятеля, должна обладать большой жизненной силой, чтобы зритель ощущал исходящую от нее естественную энергию. Возле своего дома в Хертфордшире Мур создал большой скульптурный парк — там его творения «живут» на лоне природы.

«МЕЗАЛЬЯНС»

Молодая английская писательница Анита Брукнер завоевала репутацию серьезного, талантливого прозаика; новый ее роман «Мезальянс» также получил высокую оценку критики и читателей. Рецензент газеты «Таймс литерари сапплмент» Патриция Крэг в статье, посвященной творчеству Брукнер, пишет, что причину успеха писательницы угадать нетрудно: она скрупулезно исследует характер и судьбу своих современниц. Обычно это женщины здравомыслящие и в меру ироничные, безупречные в нравственном отношении, которым выпадают на долю тяжкие, порой унизительные для них испытания, но в конечном счете они оказываются сильнее этих испытаний.

Героиня нового романа Бланш Вернон живет одна — муж бросил ее, ибо, по его словам, нуждался в «новых ощущениях». Бланш работает в больнице, человек она сдержанный и замкнутый. Ее часто можно увидеть в Национальной галерее, где она подолгу рассматривает полотна великих мастеров, на которых изображены нимфы и богини — идеалы земной и неземной красоты. В них молодая женщина, видимо, надеется найти ответ на мучающий ее вопрос: почему внешняя благопристойность не в состоянии сирыть порочности натуры, почему все-таки искушенность побеждает чистоту, а красоте духовной часто предпочитают обольстительный взгляд «падшей души»? «Антагонизм благоприличия и порока — главная тема произведений Аниты Брукнер»,— подчеркивает рецензент «Таймс литерари сапплмент».

Бланш сближается с семьей, в которой зреет драма: трехлетняя Элинор, чувствуя фальшь отношений между отцом и мачехой, прибегает к единственно доступной ей форме протеста: сначала отказывается говорить с ними, а потом и вовсе умолкает. Но Бланш ничем не может помочь девочке, на своем печальном опыте она знает, что фальшь в личной жизни людей стала нормой, исковерканные отношения — повседневностью.

Анита Брукнер.

(Журнал «Букс энд букмен»)

Вьетнам

ПРИЗЫВ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Имя вьетнамского поэта Хюи Кана, председателя Ассоциации деятелей литературы и искусства, известно советским читателям благодаря переводам его стихов, издававшимся в нашей стране в разные годы.

Недавно, сообщает газета «Нянзан», Хюи Кан — один из инициаторов начатого Союзом писателей Вьетнама и Государственным архивом СРВ сбора литературного наследия и представляющих историческую ценность личных вещей писателей — передал сотрудникам архива сорок рукописей поэтических и прозаических произведений, критических статей, докладов, художественных переводов — как своих собственных, так и принадлежащих перу недавно умершего поэта Суана Зиеу.

Решение об организации централизованного литературного архива было принято на совместном заседании Союза писателей и Госархива СРВ в апреле 1986 года в связи с тем, что множество ценнейших, порой уникальных историко-литературных документов (черновиков, записных книжек, писем, дневников, кино- и фотоматериалов), находящихся в частных руках, в распоряжении различных учреждений, гибнет и теряется: этим наносится непоправимый ущерб национальному литературному наследию.

Судьба личных писательских архивов не может не волновать общественность СРВ. Остается еще немало неисследованных страниц в истории вьетнамской литературы последних десятилетий, далеко не полностью изучены биографии и творчество вьетнамских писателей, в том числе тех, кто героически сражался и погиб на фронтах войн сопротивления; отсутствуют документы, которые могли бы дать более полное представление о деятельности Союза писателей.

Еженедельник «Ван нге» опубликовал обращение Союза писателей к населению страны, к деятелям литературы и искусства, организациям и учреждениям, к вьетнамцам, живущим за пределами страны, в котором призвал всех оказать помощь в этом важном начинании.

Постоянная комиссия Союза писателей приступила к изучению и оценке поступающих рукописей и других архивных материалов. В будущем на их основе планируется создание литературного музея.

ГДР

«РИЛЬКЕ И РОССИЯ»

Печать ГДР весьма положительно оценила книгу «Рильке и Россия», вышедшую в 1986 году в издательстве «Ауфбау»; она быстро разошлась, и сейчас готовится ее второе издание. Райнер Мария Рильке, крупнейший мастер немецкой поэзии XX века, знал и любил русскую литературу и искусство, два раза (в 1899 и 1900 годах) был в России, посетил Л. Н. Толстого в Москве и в Ясной Поляне, встречался и переписывался с художниками Л. О. Пастернаком, А. Н. Бенуа; в 1926 году, в последний год жизни Рильке, у него завязались заочные дружеские отношения с Б. Л. Пастернаком и М. И. Цветаевой. Книга «Рильке и Россия», представляющая результат многолетней исследовательской работы ленинградского литературоведа Константина Азадовского, впервые дала широкую, полную картину русских контактов Рильке. Она открывается обширным монографическим этюдом составителя; далее следует переписка поэта с русскими корреспондентами, воспоминания его русских друзей, стихи или фрагменты стихов Рильке, навеянных его впечатлениями от России. Этот объемистый сборник представляет большую научную ценность, и вместе с тем, как отметила известный критик С. Шленштедт в еженедельнике «Зоннтаг», он интересен широкому кругу читателей. Из 170 писем, вошедших в книгу, половина публикуется впервые по материалам литературных архивов СССР, ГДР и ФРГ. Сборник дает возможность судить не только о глубине и прочности русских симпатий Рильке, но и об истоках и характере этих симпатий.

Россия осознавалась молодым немецким поэтом как своего рода противовес бездушной цивилизации капиталистического Запада. В русских людях, с которыми ему довелось встречаться, он ценил общительность, душевную открытость, богатство духовной жизни. Отражение этих свойств русского национального характера он находил в книгах Достоевского, Толстого, Чехова, Гаршина, а также в старинных иконах, в живописи Репина, Крамского и особенно любимого им А. Иванова. Будучи далек от политики, Рильке не соприкоснулся с острыми проблемами русской социальной действительности начала XX века. Однако круг его русских знакомых не ограничивался творческой интеллигенцией обеих российских столиц: он познакомился и подружился с поэтом-крестьянином Спиридоном Дрожжиным, прожил несколько дней у него в деревне; встречался и с передовыми московскими рабочими, слушателями Пречистенских рабочих курсов, где преподавала его приятельница Софья Шиль.

Русский язык Рильке освоил настолько, что мог свободно объясняться, писал по-русски письма и даже стихи. Он перевел на немецкий язык «Слово о полку Игореве» (с оригинала), несколько стихотворений русских поэтов (в частности «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова), отрывок из «Бедных людей» Достоевского, «Чайку» Чехова. Ряд писем Рильке свидетельствует, что он в 900-е годы вынашивал планы переезда в Россию на длительное жительство: его крайне тяготила атмосфера кайзеровской Германии, шовинизм, возведенный в ранг официальной политики.

Лирика Рильке, проникнутая духом миролюбия, человеческого братства, была и осталась неприемлемой для идеологов реакции. Об этом напоминает помещенный в конце сборника фрагмент мемуаров В. Янчевского (романиста В. Яна), где сообщается, что после краха рейха сотрудники Государственной библиотеки в Берлине извлекли из тайников и предъявили советским офицерам-освободителям книги Рильке, спасенные ими от сожжения.

Телевидение Германской Демократической Республики показало новый фильм «Вигвам для аистов». Сценарист Манфред Рихтер и режиссер Андреас Шрайбер создали эту телевизионную ленту по рассказу Вольфа Шпильнера.

...Старый человек Фриц Шмаль, всю жизнь много и честно трудившийся, вместе со своим маленьким другом Тилем строит гнездо для аистов. Тяжелобольной, он отдает этому делу последние силы. Но Шмалю не суждено дожить до того момента, когда аисты поселятся в новом «доме»...

В роли Фрица Шмаля снялся известный артист Эрвин Гешоннек. Как отмечает газета «Нойес Дойчланд», он играет очень искренне, с юмором и совсем не сентиментально.

«Главная тема фильма — взаимоотношения человека с природой, ответственность человека перед природой,— пишет рецензент.— Заслуга создателей фильма в том, что они рассказали об этом очень поэтично, без всякой назидательности».

На снимке: кадр из телевизионного фильма «Вигвам для аистов». В роли Фрица Шмаля — Эрвин Гешоннек, в роли Тиля — Кристиан Чолбе.

(Газета «Берлинер цайтунг»)

Дания

САМЫЙ ДАТСКИЙ ХУДОЖНИК

У выдающегося норвежского живописца Эдварда Мунна было мало по-настоящему преданных ему друзей. Одним из них по праву считается датский художник Роберт Стром Петерсен, излюбленным жанром которого была газетная иллюстрация (публиковал он свои работы, подписываясь Стром П.).

Творческое наследие Строма П. — сотни и сотни иллюстраций, 60 тысяч рисунков, около 150 картин маслом и несколько акварелей. Большинство этих работ удалось собрать в реконструированном недавно музее художника в Копенгагене.

Стром П. «Ребенок родился».

(Газета «Фрихетен»)

По мнению директора музея, искусствоведа Йенса Бинга, Стром П. — «самый датский из всех датских художников». Отличавшийся необычайно ироничным взглядом на события, он видел жизнь такой, какова она на самом деле, и отнюдь не приукрашивал ее в своих произведениях. Стром П., отмечает газета «Фрихетен», — самый датский художник и потому, что многие поколения датчан выросли на его книжках для детей, а рисованная серия про мальчика и собаку «Петер и Пин» до сих пор, спустя сорок лет после смерти художника, публикуется в газетах страны.

В театре «Тим» с большим успехом идет спектакль «Твой навеки, Джонни». Как отмечает театральный обозреватель газеты «Ланд ог фольк» Ранди К. Педерсен, актуальность этой постановки очевидна: острое, беспощадное оружие сатиры направлено в ней против угрозы новой мировой войны, ее ужасов и абсурда. Авторы спектакля — поэт Том Лерер, композитор Мадс Нерregорд, режиссер Антони Микель — избрали для воплощения своего замысла изящную, остроумную форму музыкального шоу.

На снимке: актеры Сус Кристиансен и Юрген Ларсен в спектакле «Твой навеки, Джонни».

(Газета «Ланд ог фольк»)

Египет

ПРОЗАИК-ЖИВОПИСЕЦ

Среди египетских писателей, чьи произведения переводятся в Европе, первое место принадлежит Нагибу Махфузу. Как писал журнал «Аль-Хиляль», большинство его произведений нашло путь к всемирному читателю (в Советском Союзе опубликованы переводы романов Н. Махфуза «Вор и собаки», «Осенние перепела», «Пансионат «Мирамар», «Любовь под дождем», а также ряд рассказов).

Недавно во Франции вышел перевод романа Н. Махфуза «Бейна-ль-Касрейн», составляющего первую часть трилогии, в которой рассказывается о жизни трех поколений египетской семьи с 1918 по 1944 год (Бейна-ль-Касрейн — название одного из районов Старого Каира). «Аль-Хиляль» приводит отзывы французской и бельгийской прессы на это произведение — одно из самых значительных и колоритных в творчестве писателя, а также высказывания о его творчестве в целом.

Газета «Фигаро»: «Это сама действительность во всей своей простоте и сложности».

Бельгийская «Бельжик либр»: «Вы читаете книгу этого писателя, словно пьете вино, добытое из плодов, взращенных на земле его страны, льющееся легко и свободно».

Французская «Либерасьон»: «Махфуз ввел в арабскую литературу живую действительность».

Парижский журнал «Нувель обсерватёр»: «Махфуз — прозаик-живописец. Об этом узнаешь из его романов — читая их, словно созерцаешь полотна художника».

Ирак

В ЗАЩИТУ «1001 НОЧИ»

Примерно год назад произошло событие, глубоко взволновавшее арабскую общественность: египетское цензурное ведомство конфисковало весь тираж нового, полного издания сказок «Тысяча и одна ночь», усмотрев в этом шедевре мировой литературы угрозу для нравственности молодого поколения. Этот шаг вызвал возмущение как в самом Египте, так и в других арабских странах. Одновременно он послужил поводом для широкого обсуждения вопроса о старом литературном наследии, о его значении в прошлом и в наши дни, о различных подходах к его публикации.

В этой связи журнал «Аль-Аклям» опубликовал специальную подборку материалов, посвященных «Тысяче и одной ночи». В редакционном предуведомлении говорится, что, публикуя эту подборку, журнал стремится «пролить свет на бессмертные арабские сказки, которые представляют интерес не только для литературы и культуры, но и для некоторых областей общественных наук». Редакция «Аль-Аклям» надеется, что помещенные в журнале исследования станут дополнительным аргументом в защиту «Тысячи и одной ночи».

Подборка включает статьи иракских литературоведов Абд аль-Мутлаба Салеха («Влияние «1001 ночи» на французскую литературу»), доктора Сабри Муслима («Использование мотивов «1001 ночи» в иракском романе»), Али Хаддада (о влиянии «1001 ночи» на творчество иракского поэта ас-Сайяба), Ас'ада Мухаммеда Али (о роли музыки в сказках «1001 ночи»), а также исследование американского востоковеда Густава фон Грюнебаума («Античное влияние на сказки «1001 ночи»). Однако наибольшую ценность, по мнению журнала, представляет библиографический обзор «1001 ночь» в исследованиях ученых», составленный литературоведом Абд аль-Джаббаром Махмудом ас-Самарраи (перечень работ занимает тридцать журнальных страниц). Особый интерес представляет раздел библиографии, посвященный влиянию сказок «1001 ночи» на зарубежные литературы.

Италия

«ОТЕЛЛО» ВЕРДИ НА ЭКРАНЕ

В последнее время кинорежиссеры все чаще переносят на экран оперные произведения. Осуществляя экранизацию оперы Джузеппе Верди «Отелло», итальянский режиссер Франко Дзеффирелли обращается с музыкальным текстом довольно свободно, считает рецензент английской газеты «Таймс» Дэвид Робинсон, но эта свобода действий, по мнению критика, необходима режиссеру, чтобы показать, насколько произведения Верди современны, насколько им тесны рамки «викторианской оперы» XIX века.

Кадр из фильма Ф. Дзеффирелли «Отелло».

(Газета «Таймс»)

Основное, к чему стремится Дзеффирелли, продолжает критик, — выявить напряженность коллизий пьесы. Но действие получилось чересчур трагичным: «Кажется, что актеры постоянно находятся в томительном предчувствии беды».

Музыкальная интерпретация дирижера Лорина Маазеля, полагает Д. Робинсон, безупречна: «В исполнении полностью реализуется богатый драматический колорит знаменитой оперы, написанной Верди по либретто А. Бойто».

Главные роли в фильме сыграли многие известные певцы: Пласидо Доминго (Отелло), Хустино Диас (Яго), Катя Риччарелли (Дездемона). Но не все исполнители поют сами. Так, в роли Кассио мы видим на экране Урбано Барберини, музыкальная же партия поручена Эдзио ди Чезаре.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИКА

Недавно в издательстве «Мондадори» вышел первый том серии критических эссе о классиках итальянской литературы (XII—XVI вв.). Автор книги — известный прозаик и критик Энцо Сичильяно.

Италия весьма богата литературными традициями, пишет газета «Унита». Однако создается впечатление, что читающая публика предпочитает Ариосто, Петрарке или Кавальканти классику других народов. Итальянские учебные заведения уделяют серьезное внимание изучению национальной классики, но, окончив школы и университеты, итальянцы почти перестают ее читать, полагает газета. Поэтому необходимо помочь читателю вернуться к произведениям национальной классической литературы.

Именно это и попытался сделать Энцо Сичильяно, который, по словам обозревателя «Униты», доступно рассказывает об известных итальянских писателях и их произведениях, приводя много примеров.

Бо́льшая часть книги посвящена Данте, Петрарке, Боккаччо, Ариосто. Но Сичильяно пишет и о других значительных авторах, которых привыкли считать «второстепенными». Так, например, он говорит об Арриго да Сеттимелло, писателе конца XII века, авторе написанной на латыни «Элегии о превратностях судьбы и философском утешении», которая была переведена в XIV веке на итальянский под названием «Арригетто». Отрывок, цитируемый Сичильяно, начинается так: «Никогда не проси только вещей приятных или же сладких; не всегда должен быть на губах вкус меда».

В сборнике есть и эссе о таких авторах XIII века, как тосканские поэты Гвиттоне из Ареццо и флорентиец Рустико ди Филиппо, монах-францисканец Якопоне.

Простота и свобода изложения, отмечает «Унита», являются несомненными достоинствами этой книги, воссоздавшей картину итальянской литературы на протяжении примерно четырех веков.

Знаменитый роман «вундеркинда французской литературы» Рэймона Радиге «Дьявол во плоти» (1919) уже привлекал внимание кинематографистов: сорок лет назад, отмечает журнал «Магазин литтерер». Клод Отан-Лара снял по нему удивительно поэтичную картину, где в главных ролях были заняты Жерар Филип (Франсуа) и Мишлин Прель (Марта). Теперь свою экранную версию предложил зрителям известный итальянский режиссер Марко Беллоккьо, перенеся действие в современную Италию и насытив его остросюжетными поворотами: муж Джулии (так зовут героиню в новом фильме) — бывший террорист, член одной из «красных бригад». «Беллоккьо отнюдь не искажает текст романа,— как и в других своих фильмах, он переделывает литературный материал, — пишет кинокритик Жан-Дидье Вольфромм в журнале «Магазин литтерер». — Но фильм стал бы еще интереснее, будь эта переделка исторически оправданной »

На снимке: Марушка Детмерс — Джулия и Федерико Питзалис — ее возлюбленный в фильме М. Беллоккьо.

(Журнал «Магазин литтерер»)

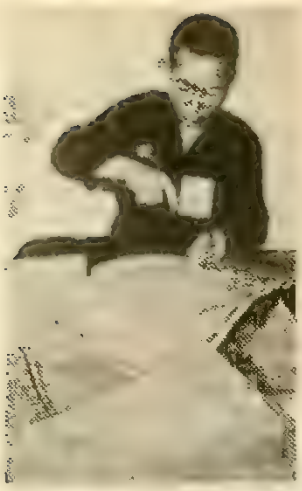
Кампучия

МАСТЕРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Провинция Сиемреап в Народной Республике Кампучии издавна славится замечательными изделиями мастеров художественных промыслов. «Мастера этой провинции, — пишет журнал «Кампучия», — успешно сохраняют и приумножают древние традиции народного искусства».

В X—XII веках провинция Сиемреап являлась политическим, экономическим и культурным центром могущественной Ангкорской империи. Именно здесь находится всемирно известный храмовой комплекс Ангкорват, а также многие другие памятники зодчества и скульптуры древней Кампучии.

Прекраснейшие образцы древнекхмерского искусства всегда служили и продолжают служить источником вдохновения для народных мастеров провинции. Художники, резчики по дереву, камню, кости создают замечательные произведения, в числе которых — изображения Ангкора, выполненные тиснением по коже, статуэтки персонажей старинных кампучийских мифов и легенд, различные предметы прикладного искусства. Очень популярны в Кампучии миниатюрные каменные модели башен Байона — одного из известней-



Народный мастер провинции Сиемреап за работой.

(Журнал «Кампучия»)

ших древних храмов. Храм Байон венчают пятьдесят две башни — по числу недель в году. На четырех гранях каждой башни — четыре лика, которые с едва заметной улыбкой смотрят на мир сквозь полуопущенные веки. Народные мастера Сиемреапа удивительно тонко передают в своих миниатюрных произведениях загадочность и обаяние «улыбок Байона».

Жителям провинции, как и всем кампучийцам, пришлось пережить мрачные годы правления полпотовской клики. После освобождения художественные промыслы в Сиемреапе возродились вновь.

«В целях развития народного искусства и пропаганды национальной культуры, — сообщает журнал «Кампучия», — при музее провинции Сиемреап организовано объединение мастеров художественных промыслов. Члены объединения призваны вносить свой вклад в возрождение традиционной культуры Кампучии».

Канада

РОМАН В НОВЕЛЛАХ

Вышел новый, пятый по счету сборник новелл Элис Манро «Путь любви» (издательство «Кнопф»). Э. Манро (род. в 1931 г.) дебютировала в 1968-м книгой рассказов «Танец счастливых теней» и сразу же обратила на себя внимание критиков, отметивших незаурядное мастерство психологического анализа, отточенность стиля, умелое построение сюжета. Характеризуя стиль Манро, американский журнал «Тайм» подчеркивает: «Канадская писательница обладает даром писать кратко, что свидетельствует не только о стремлении «экономить художественные средства», но и о желании добиваться предельной емкости слова». В рецензии на новую книгу Манро, помещенной в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью», известная американская романистка Дж. К. Оутс отмечает: «Как и другие столь же одаренные ее современники, авторы рассказов — англичанин Уильям Тревор, ирландка Эдна О'Брайен, американец Питер Тейлор,— Элис Манро создает новеллы, которые конденсируют в себе столь значительный материал, что иным писателям его хватило бы на целый роман».

Действие рассказов Э. Манро происходит в небольших провинциальных городках и деревеньках Онтарио. Спокойную, неторопливую жизнь обитателей этих захолустных уголков Канады «нередко нарушают драматические события, которые кажутся здесь вселенскими трагедиями». Как и предыдущий сборник Э. Манро «Спутники Юпитера» (см. «ИЛ», 1983, № 10), новая книга представляет собой своего рода «роман в новеллах». Все одиннадцать новелл в «Пути любви» рассказывают о труднообъяснимых зигзагах человеческих судеб, непредвиденных инцидентах, вторгающихся в размеренный быт, драмах изломанной жизни... Иногда кажется, пишет рецензент журнала «Тайм», что в названии книги скрыта ирония. Ибо слишком мало любви дано узнать персонажам Э. Манро — одиноким, тоскующим, неприкаянным,— слишком много невзгод причиняют друг другу живущие бок о бок люди. Но все же в житейских драмах, о которых повествует канадская писательница, остается место и для комедийной ситуации, словно солнечный луч рассеивающей мглу печального бытия ее героев.

Куба

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Важным событием культурной жизни Кубы стала 3-я Международная книжная ярмарка, проходившая в Гаване. «Ярмарка позволила продемонстрировать новейшие достижения издательского дела Кубы, — пишет обозреватель газеты «Гранма» Мирейя Кастанеда, — а также представила прекрасные возможности для расширения деловых контактов и заключения договоров».

44 страны, принявшие участие в этом форуме, экспонировали свыше 30 000 наименований книжных изданий. Кубинскую экспозицию представляли 14 издательств и другие организации, в том числе Национальная библиотека, Кубинское движение за мир и Латиноамериканское литературное агентство (только за последний год ими было выпущено в свет 2168 новых книг тиражом 40 миллионов экземпляров).

В рамках ярмарки проходило 7-е внеочередное заседание Комитета по планированию совместных изданий в Латинской Америке, работающего под руководством ЮНЕСКО. На нем отмечалось, что ЮНЕСКО будет всемерно поддерживать программу деятельности этого Комитета. «Совместные издания, — подчеркивает «Гранма», — единственная возможность для детей Латинской Америки получить книги по доступным ценам». В этом проекте участвует большинство стран континента.

Центральное событие ярмарки — встреча латиноамериканских писателей, на которой обсуждалось влияние экономического кризиса на издательское дело.

Ярмарка, проходившая под девизом «Книга на пути к дружбе между народами и социальному прогрессу», способствовала развитию издательского дела на Кубе и в Латинской Америке. По мнению представителя английского издательства «Пенгвин букс» Дэвида Уильямса, она дала возможность западным издателям планировать совместную работу с издателями из социалистических стран и Латинской Америки.

Ливан

К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

Ливанская общественность, пишет журнал «Аль-Аклям», отметила столетие со дня рождения крупного писателя и литературоведа Марун Аббуда (1886—1962).

М. Аббуд родился и вырос в одной из деревень Горного Ливана в семье священника-маронита. Долгие годы преподавал арабскую литературу. Первый рассказ М. Аббуда — «Вдова Марина» — был опубликован в 1935 году. В своих новеллах писатель создал галерею образов ливанских крестьян, людей честных и трудолюбивых. Самое крупное произведение М. Аббуда — историческая повесть «Кровавый эмир» (1954). М. Аббуд является автором ряда работ по классической и современной арабской литературе, а также многих публицистических статей, в которых затрагиваются острые социальные проблемы Ливана.

В интервью журналу «Куллю-ль-араб» внук писателя, литературовед Валид Аббуд, рассказал о создании специального фонда, который поставил своей задачей возродить наследие Ма-

руна Аббуда. Фонд принял решение опубликовать все его работы. Уже вышел из печати первый том сочинений М. Аббуда; в него включены ранние статьи писателя, сопровождаемые подробными комментариями.

Оман

МУЗЫКА И ПЕСНИ ОМАНСКОГО НАРОДА

Журнал «Аль-Араби» опубликовал репортаж о Международной конференции по изучению традиционной музыки Омана, которая состоялась в столице султаната городе Маскате в конце минувшего года.

«У приехавшего в Оман впервые, — отмечает автор репортажа, известный египетский писатель Абу-ль-Муати Абу-н-Иага, — возникает ощущение, что он находится на древней земле, где история Азии встречается с историей Африки и Европы, где взаимодействуют культуры и цивилизации всех этих трех континентов». В музыкально-песенном наследии Омана чисто арабские мотивы переплетаются с мелодиями и танцевальными ритмами, занесенными в страну с острова Занзибар и с восточноафриканского побережья (на эти районы распространялась когда-то власть султаната), а также с музыкой индийцев, персов и белуджей, живущих в Омане. В последнее время на музыкальную культуру оманцев оказывает значительное воздействие европейская музыка.

В Международной конференции, организованной оманским министерством информации, приняли участие ученые-музыковеды и фольклористы из ряда арабских стран — Иордании, Ирака, Туниса, Бахрейна, Омана, Египта, а также из стран Западной Европы, из Японии и США. Участники конференции обсудили ряд проблем, связанных с сохранением богатого музыкального и песенного наследия оманцев. Для них были организованы выступления оманских танцевально-песенных коллективов, продемонстрировавших все жанровое богатство и разнообразие этих видов народного творчества в стране. Приятным сюрпризом для участников конференции явилось исполнение «Оманской симфонии», написанной композитором Азизом аш-Шавваном по мотивам оманских народных песен.

США

БИОГРАФИЯ ДЖЕЙМСА ДЖОНСА

Со дня смерти Джеймса Джонса (1921—1977) минуло уже десять лет, однако его место в пантеоне американской прозы все еще не определилось. Роман «Отсюда и в вечность» (1951), которым Джонс дебютировал, был тогда признан лучшей книгой года; второй же его роман «И вот подбежали они» (1958) многие критики сочли «провалом». Такое с писателем случалось не раз: добившись успеха, он затем нередко терпел фиаско... Американский литературовед Фрэнк Макшейн выпустил в издательстве «Хаутон Миффлин» исследование о жизни и творчестве писателя «...И во веки веков». В своей книге Ф. Макшейн пытается, по словам рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», выяснить причины столь неровного творчесного пути Дж. Джонса.

«С 1958-го по 1974 год Джонс с семьей жил в Париже, где, подобно Скотту и Зельде Фицджеральдам, Джонсы вели светскую жизнь, путешествовали и отдавали дань дорогим развлечениям». У Джонса было множество друзей-писателей, некоторые из них нуждались, бедствовали, и он, человек широкой души, оказывал им щедрую помощь. Отличавшийся большой работоспособностью, Джонс легко подписывал заманчивые контракты с киностудиями и издательствами, и эти поделки отрывали его от настоящей работы.

Джонс писал о мирных и боевых буднях американской армии, о жизни американской провинции, о фешенебельных курортах на Карибском море, о студенческих волнениях в мае 1968 года. Он испробовал себя в самых различных прозаических жанрах — от социально-исторического романа до детективного... Но настоящего успеха Джонс добивался лишь тогда, когда брался писать о самом близком, выстраданном — о второй мировой войне. Он был, подчеркивает биограф Джонса Ф. Макшейн, «одним из немногих американских писателей, умевших, не впадая в сентиментальность, лепить исполненные достоинства, полнокровные человеческие характеры, изображать людей из социальных низов».

Наиболее сильные стороны таланта Джонса, пишет в заключение рецензент, проявились в его «военной трилогии», которую блистательно завершил роман «Только позови» (1978; см. «ИП», 1982, № 7—9). «Можно без сомнения сказать, что именно благодаря этой трилогии Джонсу суждено было снискать репутацию одного из наиболее значительных прозаиков своего поколения».

На снимке: участницы одной из женских танцевальных групп в г. Марбате исполняют оманский народный танец.

(Журнал «Аль-Араби»)

НА ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА

Еженедельник «Ньюсуик» откликнулся большой рецензией на кинофильм «Обездоленные», созданный режиссером Рэндой Хэйнс и сценаристом Хэспером Андерсоном по одноименной пьесе Марка Медоффа (в 1980 году она была удостоена литературной премии «Тони»).

Картина рассказывает историю молодой женщины, в раннем детстве потерявшей слух, рассказывает о поиске ею контакта с окружающим миром, о разочарованиях и надеждах. В главной роли снялась 19-летняя акт-

Кадр из фильма «Обездоленные».

(Журнал «Ньюсуик»)

риса Марли Мэтлин; она, как и ее героиня Сара Норман, перестала слышать в возрасте полутора лет, переболев корью. «Впервые в истории кинематографа на «Оскара» выдвинута глухая актриса. Игра Мэтлин великолепна — искренна, эмоционально насыщенна, динамична,— хотя Марли снималась в кино впервые»,— пишет обозреватель еженедельника «Ньюсуик» Джек Кролл, отмечая необыкновенную пластичность исполнительницы, изящество ее жестикуляции, выразительность мимики.

Марли всю жизнь мечтала о сцене. Когда ей исполнилось восемь лет, она начала посещать театральную студию при Центре занятий с глухонемыми в Чикаго, где участвовала в постановках детских пьес. В двенадцать лет девочка научилась «показывать песни» на языке жестов, а впоследствии благодаря деятельности Национального театра глухих Мэтлин, как и многие лишенные слуха актеры, получила возможность выступать перед широкой аудиторией.

Партнером Мэтлин по фильму стал известный актер театра и кино Уильям Харт. Он исполнил роль Джеймса Лидса — педагога, преподающего в школе для глухих, романтика и идеалиста. Чтобы помочь подросткам преодолеть чувство страха перед будущим, жалость к самим себе, Лидс организует группу рок-музыки «Ноу-тонс» («Без звука»), выступающую под фонограмму. Сара, окончившая эту школу, хочет «спрятаться» от враждебного мира людей, обладающих нормальным слухом, и остается здесь работать уборщицей. Любовь, вспыхивающая между Джеймсом и Сарой, вынуждает обоих пересмотреть свои — абсолютно противоположные — взгляды на жизнь. По мнению критика, беседы влюбленных на языке знаков — Джеймс Лидс переводит сказанное «танцующими» руками Мэтлин — производят ошеломляющее впечатление. В фильме ярко воплотилась мысль его создателей о необходимости сближения людей, о преодолении отчуждения между ними, о поиске общего языка и взаимопонимания.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Рэй Брэдбери — один из самых интересных авторов, работающих в жанре научной фантастики, — хорошо известен советским читателям. В последние годы писатель, по мнению многих американских литературных критиков, переживал период творческого кризиса. Брэдбери не публиковал новых произведений, не выступал в печати и не давал интервью. Недавно он нарушил свое молчание: в парижском издательстве «Деноэль» вышла его книга под названием «Хрустальный саркофаг одиночества». Затем во французском журнале «Нувель обсерватёр» появилась большая статья Брэдбери, посвященная наиболее актуальным политическим, социальным и научным проблемам нашего времени. Автор считает, что многие из них могут быть решены уже к началу XXI века. На страницах «Нувель обсерватёр» Рэй Брэдбери также поделился своими планами на будущее: «Я работаю одновременно над сценарием и постановкой фильма-спектакля для американского телевидения, который будет называться «Обрести крылья». Знаменитый фантаст мечтает о возможности выхода в космос для тех, кого не считают полноценными членами общества. Герои телеспектакля — люди, страдающие неизлечимым параличом ног. «Покинув Землю, — мечтает Брэдбери, — они освободятся от силы тяжести, откроют новые для себя ценности, обретут наконец счастье». В статье в «Нувель обсерватёр» Брэдбери пишет о своей вере в то, что все народы объединят усилия, чтобы сохранить «общее наследие» — цивилизацию и культуру человечества.

«ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ»

Исполнилось 140 лет со дня рождения выдающегося русского исследователя и ученого Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846 — 1888). К этой дате издательство «Юниверсити оф Калифорния пресс» выпустило книгу Э. М. Уэбстер «Человек с Луны». Это уже не первое англоязычное исследование, посвященное жизни и деятельности Н. Н. Миклухо-Маклая, но, по свидетельству рецензента «Таймс литерари сапплмент» Кенелма Барриджа, критики назвали его «замечательной книгой о замечательном человеке».

Э. М. Уэбстер рассматривает деятельность русского ученого в контексте политической и научной жизни того времени, повествует о его широких научных интересах, его взаимоотношениях с родными и друзьями. К. Барридж отмечает, что, описывая юношеские годы Миклухо-Маклая в России, годы его обучения в Германии, первые путешествия на Канарские острова, в Марокко и Сицилию, его жизнь среди папуасов Новой Гвинеи, рассказывая о научных изысканиях этнографа, о финансовых трудностях, которые он испытывал при организации экспедиций, и о физических недугах, с которыми он мужественно боролся, писательница старается выдерживать ровный, бесстрастный тон, но, переходя к оценке исследований выдающегося ученого, она уже не скрывает своего восхищения. «Миклухо-Маклай оставил ценнейшие записи о всех своих многочисленных путешествиях, опубликовал около восьмидесяти научных статей, не потерявших актуальности и до сегодняшнего дня»,—подчеркивает К. Барридж.

В книге Э. М. Уэбстер читатель найдет карты путешествий ученого и рисунки, сделанные самим Миклухо-Маклаем.

Танзания

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПЕСЕН «ТААРАБ»

Как сообщает газета «Ухуру», в Дар-эс-Саламе с успехом прошли гастроли Маулида Джумы, известного кенийского автора и исполнителя песен «тааараб». Этот жанр песенного творчества издавна пользуется огромной популярностью в странах Восточной Африки. Песни «тааараб» исполняются под аккомпанемент не-

большого оркестра, в состав которого входят аккордеон, скрипка, флейта, ударные инструменты, а в последнее время, как правило, еще и электрогитары. Эти песни поют на одном из наиболее распространенных языков Тропической Африки — языке суахили, но по своей мелодической основе они восходят к арабской и индийской музыкальным традициям. Как считают некоторые исследователи, название «таараб» происходит от слова «тараб», что на языках хинди и урду означает: быстрый темп в музыке.

Маулид Джума родился в 1941 году в небольшой деревушке близ города Малинди (Кения) — одного из крупнейших центров афро-мусульманской культуры. В этом городе в 1960 году М. Джума впервые выступил как исполнитель собственных песен. В то время он пел в ансамбле «Янг спортс мьюзикл клаб». Позже, в 1973 году, он переехал в Момбасу, где создал собственную группу. М. Джума — автор уже 340 песен, им записано 34 кассеты. В его репертуаре — в основном лирические песни. Большим успехом пользуются также переведенные им на язык суахили песни из индийских кинофильмов.

Финляндия

В городском театре Хельсинки состоялись премьеры спектаклей по трем ранним пьесам А. П. Чехова — «Иванов», «Платонов», «Леший». В главных ролях заняты: Ральф Лонгбака (Платонов) венгерский актер Габор Жамбек (Войницкий), Кайса Корхонен (Иванов). Перевел пьесы на финский язык Эса Адриан, они изданы отдельной книгой.

На снимке: сцена из спектакля «Иванов» в постановке театра Хельсинки.

(Газета «Тиедонантая»)

Франция

«АВГУСТОВСКИЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ»

На залитых солнцем берегах Марны Сильвия Вилькур знакомится с фотографом, приехавшим сюда сделать серию снимков для книги о речных отмелях. Между молодыми людьми вспыхивает любовь. Ради Жана (так зовут главного героя, от имени которого ведется повествование) Сильвия решает оставить мужа и отдает на хранение своему возлюбленному «Южный Крест» — огромный бриллиант чистейшей воды, за который ее супруг рассчитывал получить у перекупщиков крупную сумму...

Основные «нити» сюжета сплетены Патриком Модиано в тугой клубок банальной на первый взгляд интриги, отмечает рецензент еженедельника «Кензен литтерер» Мари Этьенн. Внешний план действия, по ее словам, соотносится с клишированной схемой детектива, да и метафора бесценного «Южного Креста» реализована автором достаточно прямолинейно. «Мне вдруг почудилось, — вспоминает Жан,— что мерцающий в полумраке бриллиант на шее у Сильвии — это ослепительный знак беды, символ тяготеющего над нами злого рока. Снять цепочку с камнем я никак не мог—не поддавалась застежка».

История бриллианта отягощена грузом трагических событий, пишет Жан-Франсуа Жосслен на страницах журнала «Ивель обсерватёр», любовникам тоже не миновать несчастья: в Ницце они знакомятся с «богатыми американцами» — мистером и миссис Вирджил Нил, которые оказываются спекулянтами из Марселя. Они-то и похищают Сильвию вместе с ее сокровищем, навсегда разбивая мечту об «августовских воскресеньях» на берегу реки...

Но не все так просто в романах Модиано. Его последнюю книгу, лукаво замечает критик английского еженедельника «Таймс литерари сапплмент» Николь Ирвинг, можно было бы назвать попросту «негативом «полицейского романа», если бы не образ Жана. Главный герой — классическая для Модиано фигура. Он мучительно пытается разобраться в себе самом и в окружающих его людях, возвращаясь к прошлому, сурово исследуя настоящее.

В «Августовских воскресеньях» писатель по-прежнему верен излюбленным темам, приемам, особой стилистике — именно благодаря им публика по достоинству оценила его романы, напоминает Ж.-Ф. Жосслен в «Нувель обсерватёр». «И тем хуже для скептиков,— заявляет критик,— которые думают, что книги Модиано недолговечны, как снег весной!..»

Жители Валлориса, небольшого города на юге Франции, где многие годы жил и работал Пабло Пикассо, увидели замечательную выставку его керамики. Восемьдесят работ, предоставленных Жаклин Пикассо для экспозиции, пишет журнал «Нувель обсерватёр», создают ощущение подлинного и вечного праздника искусства. «Вакханки, фавны, кентавры словно ожили под волшебной рукою художника на глиняных вазах и блюдах, сверкающих яркими красками, пронизанных солнцем...» — так восторженно оценивает выставку известный искусствовед Франс Юзер.

На снимке: П. Пикассо. «Жаклин». Керамический медальон.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ФРГ

НАЦИЗМ: УЖАС ПОВСЕДНЕВНОСТИ

«Страшные слухи заменяют нам теперь реальность,— так сказал мой отец матери, когда я передал им слова фрау Шелленбаум, которые услыхал в молочной лавке. В ратуше, говорила фрау Шелленбаум, есть подвал, где взаперти сидит множество людей, и там их вроде бы избивают. Она по ночам не спит и слышит оттуда крики... «Но может, я ошибаюсь,— добавила фрау Шелленбаум,— может, мне все это просто почудилось». «Да, такие ужасы даже трудно представить», — сказала фрау Юбеляйс, и фрау Шелленбаум тоже сказала: «Видит бог, нельзя!» И они попрощались и разошлись, каждая со своим молоком».

Цитатой из новой повести известного западногерманского писателя Герта Хоффмана «Вайльхенфельд», вышедшей в издательстве «Лухтерханд», начинает свою рецензию в гамбургском еженедельнике «Цайт» критик Пауль Михаэль Лютцелер.

Это книга о повседневной жизни при нацизме, увиденной глазами ребенка. Роман рассказал, отмечает «Цайт», «о нежелании людей воспринимать даже реальность, если она страшна. Немцам хотелось покрепче закрыть глаза, заткнуть уши — из равнодушия, из страха,— может быть, они

даже испытывали тайное удовлетворение, что мучают других. У третьего рейха был свой «мирный период», когда прекрасно функционировал прежде всего механизм психологического «вытеснения» неугодных режиму. Именно этот механизм является подлинным героем повести Герта Хоффмана, героем отрицательным, но торжествующим...».

«Перед читателем,— продолжает «Цайт»,— проходит череда сцен, показывающих, как с усилением террора нарушаются привычные связи между людьми... В книге нет прямых обвинений, но этот «моральный вакуум» становится почти физически ощутимым. Ребенок, воспринимающий события, рассказывает обо всем, что видит и слышит, для него не существует запретных тем, но ему непонятны связи между событиями. Осмысливать и анализировать их предоставляется самому читателю...» Герт Хоффман принадлежит к числу старших в новом поколении писателей. Его творчество отмечено премиями имени Ингеборг Бахман и Дёблина. Повесть «Вайльхенфельд» — произведение талантливого автора, и форма повести, написанной от лица ребенка, проста лишь на первый взгляд, подчеркивает П. М. Лютцелер. В действительности это — мастерская композиция. «Все еще болезненная тема, которой касается Герт Хоффман, может быть, одна из самых трудных для современной литературы ФРГ», — но избранная перспектива, по мнению рецензента, позволила автору справиться со своей задачей.

---

190 работ Пабло Пикассо из различных музеев мира — пастели, гуаши, акварели — с большим успехом экспонировались в Тюбингене и Дюссельдорфе. Организатор выставки — искусствовед и критик Вернер Шпис.

На снимке: одна из работ Пикассо, представленная на выставке,— «Девушка в шляпе» (1920—1921).

(Журнал «Шпигель»)

Чехословакия

Все более тесными становятся творческие связи между театрами Чехии и Словакии, пишет газета «Руде право». Пример тому — дружба и сотрудничество, связавшие пражский Театр Э. Ф. Буриана и театр Словацкого национального восстания, работающий в словацком городе Мартине. «Контакты между нашими коллективами завязались еще в 50-е годы и особенно укрепились в 70-е,— рассказывает в одном из интервью художественный руководитель мартинского театра В. Градиел.— С этого времени мы ежегодно ездим друг к другу, обсуждаем вопросы развития театрального искусства»

Театры предоставляют друг другу свои сцены для гастрольных спектаклей: словацкая публика получает возможность следить за работой чешского коллектива, а чешские зрители знакомятся с достижениями словацкого театра.

Театры совместно готовят отдельные спектакли, обмениваются актерами. Пражские режиссеры ставят спектакли в Мартине, мартинские — в Праге; дружба коллективов, отмечает газета «Руде право» вносит большой вклад в развитие театрального дела страны и обогащает чешско-словацкую театрально-художественную жизнь.

На снимке: сцена из спектакля театра Словацкого национального восстания «Зники-бенники», показанного во время последних гастролей мартинского коллектива в Праге.

(Газета «Руде право»)

Швеция

НОВЫЙ РОМАН ЛАРСА ЮЛЛЕНСТЕНА

«Возвращение тени» — продолжение романа Ларса Юлленстена «В тени Дон Хуана», известного советскому читателю. Главный его герой нисколько не изменился: стремление к власти, гордость, честолюбие составляют основу его натуры. Власть, данная Дон Хуану с рождения, не подкреплена нравственными устоями, гордость его сильнее благородства, а честолюбие не знает границ. Жизнь для него — коррида, игра, полная неожиданностей, приключений, опасных трюков.

«И в новом романе, — отмечает рецензент журнала «Бонньерс литтерера магазин», — Дон Хуан верен себе. Он по-прежнему продолжает погоню за любовными приключениями, обольщая и бросая то одну, то другую красавицу. Правда, по-прежнему он отвергает и слащавые идеалы среды, где торжествует алчность, лицемерие, притворная добродетель, утверждает превосходство своей силы и власти».

Образ Дон Хуана противоречив, продолжает рецензент. С одной стороны, он — волевая, самостоятельная личность, восставшая против общества, покоящегося на столпах старомодных традиций и ритуалов. С другой стороны, он не останавливается ни перед чем ради достижения своей цели. Не трудно найти соответствия образу Дон Хуана в современном обществе, отмечает рецензент «Бонньерс литтерера магазин». Это — чиновники и карьеристы всех мастей. Как и в предыдущем

Повесть выдающейся шведской детской писательницы Астрид Линдгрен «Мы все из Бюллербю», написанная несколько десятков лет назад, и теперь остается одной из самых любимых книг шведских ребят.

На киностудии «Свенск фильминдустри» готовится новая экранизация повести. Фильм будет сниматься на родине отца писательницы в местечке Севедсторп (провинция Смоланд), послужившем «прототипом» Бюллербю.

На снимке: кадр из фильма «Мы все из Бюллербю»

(Газета «Афтонбладет»)

романе, по пятам за Дон Хуаном следует Хуанито — слуга и паж, оруженосец и тень. С детства очарованный Дон Хуаном, ослепленный его внешним «блеском» Хуанито добровольно связал с ним свою судьбу, став «двойником» своего кумира. В новом романе Хуанито, ставший домоправителем во дворце Тенорио, уже немолод, впрочем, как и другие персонажи — Дон Хуан и донья Анна де Уллоа, которая ушла в монастырь в поисках не столько бога сколько духовной свободы.

Роман «Возвращение тени» — событие литературного сезона, новая встреча с одним из самых значительных писателей современной Швеции.

Япония

«А. К.»

Фильм о том, как делается фильм,— в кинематографе не новое явление. Особенно интересен этот жанр, когда один выдающийся кинорежиссер исследует творчество другого. Именно таков фильм «А. К.» («Акира Куросава»), снятый Крисом Маркером, ведущим мастером французского документального кино.

Полнометражная кинолента, созданная в сотрудничестве с японскими кинематографистами, посвящена главным образом съемкам картины «Смута», продолжающей цикл экранизаций классики, который был начат Куросава еще в 50-е годы фильмом «Трон в крови» (по «Макбету»). «Смута» — это возвращение японского режиссера к Шекспиру, перенесение прославленной трагедии (на сей раз «Короля Лира») на национальную почву (см. «ИЛ», 1986, № 2). Однако Маркер не ограничивается историей создания этой экранизации, он делает попытку проследить путь Куросава в кино, проникнуть в суть творческого метода замечательного японского режиссера. На экране — кадры из «Расёмона», «Семи самураев», «Тени воина» и других картин Куросава, ставших классикой мирового кинематографа.

Однако, по мнению Тони Рейнса, обозревателя лондонского журнала «Мансли филм буллетин», последнюю работу Маркера нельзя отнести к числу его творческих удач. Несмотря на прекрасную композицию ленты и мастерские съемки, Маркер, как считает рецензент, не сумел подняться до главного — критического исследования творчества знаменитого режиссера. Причину неудачи Тони Рейнс видит в явной коммерческой нацеленности картины — по замыслу продюсеров (они участвовали и в финансировании «Смуты»), фильм «А. К.» должен был предварять выход на мировой экран японского «Короля Лира» и создавать ему рекламу.

Совместная франко-японская картина, заключает Тони Рейнс, более всего интересна тем, что в ней показаны эпизоды, позднее исключенные взыскательным Куросава из окончательной версии «Смуты».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Т. П. ГРИГОРЬЕВА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Я. Н. ЗАСУРСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **В. С ПЕРЕХВАТОВ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 25.12.86. Подписано в печать 13.02.87. А 08361. Формат 70×108$^1/_{16}$
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 30,44.

Тираж 465 000 (1-й завод: 1—415 000 экз.) Зак. 4573.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

«Ветер с моря»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394